

В.В.Розанов Около церковных стен

В.В.Розанов



Около церковных стен



В. В. Розанов

Около церковных стен



В.В.Розанов

Около церковных стен



В. В. Розанов

Собрание
сочинений

В. В. Розанов

Около церковных стен

Собрание сочинений
под общей редакцией
А. Н. Николюкина

Москва
Издательство «Республика»
1995

Подготовка текста

П. П. Апрышко, А. Н. Николюкина, С. Р. Федякина

Комментарии *С. Р. Федякина*

*Издание выпущено в счет дотации,
выделенной Комитетом РФ по печати*

Розанов В. В.

P64 **Собрание сочинений. Около церковных стен / Под общ.
ред. А. Н. Николюкина. — М.: Республика, 1995. — 558 с.
ISBN 5—250—02488—2**

Настоящий том знакомит со взглядами В. В. Розанова (1856—1919) на русскую церковь, православие и католичество, официальную церковь и сектантство, школьное воспитание, милосердие и добро. В. В. Розанов избегает прямого обращения к богословию — он как бы «не входит в храм», а лишь проникает «внутрь ограды церковной». В книге рассматриваются идеи и судьбы писателей и философов, деятелей церкви и народного просвещения — А. С. Хомякова и Вл. С. Соловьева, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, Амвросия Оптинского, архимандрита Федора Бухарева и других. Читатель найдет в книге яркие образцы розановской эссеистики.

Издание рассчитано на интересующихся философией, религией и культурой.

P 0301080000—006
079(02)—95

ББК 86.3

ISBN 5—250—02488—2

© Издательство «Республика», 1995



Том первый
Около церковных стен

Имени Господа, Бога твоего,
не приемли всуе.

Исход, XX.

Ничто из далеких моих воспоминаний так не ярко, как весенние игры на бугорке, где стояла наша Покровская церковь. Кстати, что за праздник Покрова Пресвятой Богородицы? Это любимый, самый выпуклый годовой русский праздник; а храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы — всегда у нас по городам большие, видные, обильные богомольцами, народные: между тем в Евангелии даже вовсе и не упоминается ни о каком Покрове Пресвятой Богородицы, и на вопрос, что это такое, — не только всякий мужик, но и почти все образованные отвечают: «Не знаю». Эта странная смесь любви и незнания, молитвы с неведением, к чему она, собственно, прикреплена, — напоминает наивный ответ древних на вопрос: «Чей жертвенник это стоит?» — «Это жертвенник Неведомому Богу», «Deo ignoto». Достопочтенный архимандрит (ныне епископ) Антонин на одном из Религиозно-философских Собраний в 1903 году объяснил об этом templo Dei ignoti афинян: что «древние политеисты не только не исключали поклонения никакому, чуждому им самим, Богу, но были так простодушны и ласковы ко всем народам, что на тот случай, если в какой-нибудь стране, так сказать географически не открытой, тамошнее население или по забывчивости, или от бедности, или по какой-нибудь случайности не поставило алтаря своему Богу: — то вот они, афиняне, ставят этому Deo ignoto алтарь; и, таким образом, божество не останется без жертвы, а народец ничего не потеряет за безбожие». Не правда ли, какая простота и грация? любовь и братство международное еще в пору, когда не существовало науки международного права?!

Вот на бугорке такого-то в своем роде «Неведомого Бога» Православия, церкви «Покрова Пресвятой Богородицы» в Костроме, я и играл с мальчиками из своей околицы ранней весной. Хороший обычай у русских — ставить храмы на бугорке, на горке. Это напоминает обычай древних поклоняться Богу «на Высотах», «высоких местах», «горах». Еще Соломон «приносил жертвы и курения на Высотах»... Мартовское-апрельское солнце обсушит, бывало, этот бугорок раньше всей околицы. Везде — зима, а около храма — весна. Как это хорошо. Пусть физики догадываются, что каменные ступени паперти и отражение от белых каменных стен солнечных лучей необыкновенно нагревали

бугорок. Я не делю Бога и солнце: Солнце — как правый глаз Божий, а луна — левый, и ими обоими Небо смотрит на нашу милую землю. Значит, если Небо сушит бугорок своего возлюбленного места — это Бог его сушит. Ведь земля — дитя Солнца?.. Но я все сбиваюсь в сторону и пишу рассеянно. Везде в садах, в огородах стоит глубокая зима, хоть и яркая уже, солнечная, а около Покрова Пресвятой Богородицы — лето; и, забирая бабки, плитки, деревянные шары и клюшки, все летние забавы, мы, бывало, спешим туда, и пока наши мамы берутся с нуждою своей, добывают нам корм, мы с беспечностью и легкомыслием предаемся там забавам.

Старые воспоминания... Позднее, взрослым, особенно любил я слушать церковную службу с улицы, из садика. Это бывало уже в летние или в осенние праздники. В церковь пройти нельзя от народа. И вот станешь около открытого окна. В окно несется: «Иже Херувимы». И слушаешь одним ухом, а глазами рассеянно смотришь на колокольчики, на розы, на астры, которые любящая рука *ignoti viri* * насадила вокруг церкви. И всегда я думал: как хорошо, если церковь в цветах, — не только в саду, но и в окружении именно цветников. Я удлинил бы эти грядочки цветов и узкой полосой ввел бы их и в церковь: пусть и цветочки, как я же, слушают неизъяснимую херувимскую песнь, которую если и я слушаю — то не понимаю, а все же хорошо. И я думаю: все хорошо — что мы не понимаем; а что мы понимаем, то уже не очень хорошо.

И так слушаешь и смотришь, смотришь и мечтаешь; видишь и дремлешь; а сквозь дремоту — грезы. Что-то неопределенное, и милое, и туманное. Человеческое и религиозное. Эти мои «стояния» около стен церковных и слушание *неведомого* (не всегда все расслышишь, не всегда все поймешь) дали мне мысль и сборник статей, крайне разнообразных по тону и содержанию, соединить в одно под именем «Около церковных стен». Стены эти как бы расходятся; служба становится открытою; херувимская несется по лугам, лесам; умиляет птичек, смиряет зверей, все спешат к человеку: «Благодарим, что ты не забыл про нас и вынес Бога твоего всем твоим братьям по Райскому саду. Ныне, как и тогда,— Бог ходит между своих творений».

Мечты эти, впрочем, вдали... Пока и народ-то наш темный едва слышит Бога и только как Старец-Провидец поклоняется «Покрову Пресвятой Богородицы»... Пока еще глухо, зимне, темно... Но мне хотелось бы, чтобы статьи, здесь собранные, начали «около стены церковной» хоть что-нибудь подобное тому весеннему таянию, какое кстати или некстати я припомнил здесь, и — нашим невинным детским играм.

* неведомых людей (*лат.*).

Грезы — грезами, а дело — делом. Дам маленькую библиографию здесь помещаемого. Все статьи эти были уже ранее напечатаны в разных повременных изданиях *. Под всеми (почти) выставлен год напечатания; под некоторыми поставлен двойной год: более *ранний* — время написания статьи, которую по какой-либо причине я не мог тогда же напечатать, и более *поздний* — когда она была напечатана. В статьях есть колебания тона, — в зависимости от частного возбуждения, которое дала им жизнь. Но общий ход их и направление — цельно. Все они тянут... ну, куда тянут — рассмотри читатель. Надо же ему читать книгу. Но из сборника этого исключены статьи, напечатанные в эти же годы: «Трепетное дерево» («Мир искусства»), «Случай» (там же), «Об основаниях церковной юрисдикции, или Христос как Судия мира» («Новый путь»). «Святость и смерть» и «Об Иисусе сладчайшем и горьких плодах мира» («Вопросы жизни»): ибо и направление и тон их иной. Есть два духовенства у нас: *белое* и *черное*. Они и не появились бы, в своем существе и противоположении, не падай на нас религиозные лучи *белые* и *темные*. Настоящая книга вращается исключительно в белых лучах и имеет белые тоны, усиливается к белым целям. Но есть и монашество... Нельзя его отрицать. Это великий факт, мирообъемлющий; всегда побеждавший, может быть, непобедимый. Вот эту-то «монашескую книгу» и составили бы выделенные пока статьи, да еще — «Тревожная ночь» (в «Северных цветах» за 1903 г.): но я бы ей дал заглавие «После арифметики»... Ибо все статьи, здесь собранные, вращаются в прямых, понятных, сравнительно легчайших темах христианства, как бы в темах «арифметических»; тогда как те, более трудные и темные (монашеские), статьи, в самом деле, представляют собою что-то «после арифметики», ну, там «непрерывные дроби», что ли христианства, его логарифмы...

К этим «логарифмам» примкнули бы частью уже ранее изданные мною сборники: «Религия и культура» (во 2-й половине) и «В мире неясного и нерешенного», а также статьи, посвященные Библии и еврейству и греческому и азиатскому язычеству.

СПб., 1905

* В настоящем сборнике некоторым из статей дано другое, более соответствующее содержанию заглавие, чем какое они имели при напечатании в журналах и газетах, например: «На черном и желтом материках» (вм. «Лицемерие»), «Наши возлюбленные усопшие» (вм. «Живые и мертвые»), «Талантливость и бесталантность в духовенстве» (вм. «Сословное ли только безкусие»), «Духовенство, храм, миряне» (вм. «Записка о возрождении церкви»).

РЕЛИГИЯ КАК СВЕТ И РАДОСТЬ

Евангелие как основа жизни.
Священника Г. Петрова.
Изд. 2-е, 1898 г.

Есть нечто связующее между автором и читателями, хотя он их не видит, не слышит. Я заскучал о своих читателях: в привычной газете, и очень грустно было бы, если бы в ответ на горячо схваченное перо они вдруг сказали кисло: «Опять этот несносный писатель». Увы, читатель! хочешь или не хочешь — беру перо «опять».

Из-под таинственной холодной полумаски
Звучал мне голос твой, отрадный, как мечта.
Светились мне пленительные глазки
И улыбались лукавые уста.

.
И создал я тогда в моем воображенье
По легким признакам красавицу мою,
И с той поры бесплотное виденье
Ношу в душе моей, ласкаю и люблю.

Странна жизнь писателей: жизнь мечты, иллюзии. Возможно, что он говорит « в трубу» и «на ветер»: но при таком представлении, все равно все продумав про себя,— автор ничего бы не напечатал. Он именно «из-под таинственной холодной полумаски» создает в воображении каких-то друзей, что-то невыразимо интимное; ночью, один, за лампой — он в каком-то сиянии бала, духовного бала, бального роскошествования. Он кружится в каком-то вихре слов, произносит речи совершенно невероятные в одиночестве, интимничает, исповедует и исповедуется, хитрит, увлекает:

Сквозь дымку легкую заметил я невольно
И девственных ланит, и шеи белизну.
Счастливец! видел я и локон своевольный,
Родных кудрей покинувший волну.

Сумасшествие. Фантасмагория. Я говорю о литературе и о «призвании писателя», которое есть до некоторой степени «призвание к сумасшествию», позыв «сойти с ума» и, вот подите же, подумайте с поэтом:

И все мне кажется — живые эти речи
В года минувшие слышал когда-то я;
И кто-то шепчет мне, что после этой встречи
Мы вновь увидимся как старые друзья.

В «бальную ночь» писатель именно так думает о читателе. Но бал кончился, и назавтра автор, выходя «в службу», встречает читателя, который в свою очередь пришел поутру в «бальное настроение» от его статьи. Жмет руку. Автор ничего не понимает. Благодарит. Автор еще меньше понимает. То — уже прошло, кануло в вечность. Литература тем поразительная вещь, что это — сгорающая дотла, без остатка вещь: искры из трубы парохода, которые гаснут на ветре. Это — необыкновенно красиво; это — нужно. Я не хотел бы жить, если бы не было красивого в мире; никто не захотел бы жить. Дальше — еще что? Необыкновенное наслаждение. Но польза? польза? Боже, какой вам «пользы», когда фейерверк красоты и счастья погрузил вас в сон; и, пробужденные, — вы бегите к «делам», к «пользе» с удвоенной энергией, как бы вчерашней усталости не было, вылеченные, — вылеченные от труда жизни, от «пота жизни», от страдания жизни. Литература — живая вода; глотни — «и не умрешь». Только? — Только. Пустое? — Нет, самое важное: кровь в жилах утружденных, голубой огонек небесной искры, бегущий по нервам и вдруг усталое «вчера» преобразующий в бодрое «завтра».

Странно, мне все это внушил «священник Петров» и его маленькая книжка. Я раскрыл некоторые страницы — и вдруг почувствовал в душе «бал». Дело в том, что у меня уже давно в душе стоят, в нерешенном споре, две фигуры из Достоевского — отца Зосимы и отца Ферапонта. Читатель, вероятно, помнит их. Зосима — благостный старец. Он неудержимо влечет к себе праведного Алешу Карамазова, и, обратно, сам уже умирающий, влечется к молодому послушнику более, чем к седовласым собратьям-монахам. Свет глубокого вечера, почти ночи, сливается с светом утра, почти утренней зорьки. Удивительно: мы вообще наблюдаем нередко, что близость к смерти как-то совпадает в трансцендентном значении своем и влиянии на человеческую психику с близостью еще не отодвинувшегося вдаль рождения. Это — не всегда так, но иногда так; и именно так было между Зосимою и Алешей. Второй еще не знает греха в его глубоких изгибах; но и первый, знающий всяческий человеческий грех (через исповедь), с тем вместе каким-то внутренним светом или какою-то загадкой преодолел тяжесть греха и не чувствует его, не чувствует в себе и в самом мире. Он оставляет Алеше нечто вроде биографических воспоминаний и поучений: и главное из них — не бояться греха, не убегать грешного человека; и, наконец, это поучение разливается светозарною любовью на целую природу, на безгрешных животных, «у которых начало мысли Божией», и поэтому человек не должен их оскорблять и возноситься над ними:

«Братья, — учил он, — не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его: ибо сие уже подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие: и целое и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь — и тайну

Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на всякий день. И полюбишь наконец весь мир уже всецело, всемирною любовью. Животных люби- те: им Бог дал начало мысли и радость безмятежную. Не возмущайте же ее, не мучьте их, не отнимайте у них радости, не противьтесь мысли Божией. Человек, не возносись над животными: они безгрешны, а ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный оставляешь после себя — увы, почти всяк из нас! — Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, для очищения сердец наших и как некое указание нам. Горе оскорбившему младенца! А меня отец Анфим учил деток любить: он, милый и молчаливый в странствованиях своих, на поданные ему грошки им пряничков и леденцу, бывало, купит и раздает; проходить не мог мимо деток без сотрясения душевного: таков был человек». И т. д.

И вот он умер. Любовь к нему, да и действительно праведная жизнь внушила ожидание в монастыре, что тление не коснется тела его. Но тление коснулось «перси» «красной глины» человека. Обманувший монастырь воскорбел о любимом старце. Но не воскорбел, а обрадовался этому отец Ферапонт. Это — обратный полюс Зосимы, его благодати, его отсутствию тягостного ощущения греха. По Ферапонту, мир именно подавлен грехом; и символ его, выражение его, «бес», является чем-то везде присутствующим. Угрюмый, одинокий, он является в келью Зосимы с обличениями. В невероятно дикой сцене Достоевский нарисовал его фигуру во весь рост; во весь рост нарисовал его духовный образ. «Извергая — извергну!» «Сатана — изыди! сатана — изыди!» — повто- рял он, крестя все углы и стены комнаты, по его уверению наполненной «чертями», которых напускал сюда Зосима и «днесь сам провонял от них». Тяжелые вериги завистливого постника звенели при каждом его движении, внушая почтительность наполнившему келью народу. «По- стов не содержал по чину схимы своей!» — гремел Ферапонт. Наконец, выйдя из кельи, он повалился с воплем на землю и, обращаясь к заходя- щему солнцу, возопил:

— Мой Господь победил! Христос победил заходящу солнцу.

— Вот кому сидеть в старцах! вот кто свят,— заговорила толпа, умиляясь и приходя в исступление: исступление уже не умиления к миру, а строгости к миру; не в восторг вездеприсутствия Бога, а в страх вездеприсутствия дьявола.

Это — не так просто. Это — всемирно многозначительно. К. Н. Леонтьев, автор «Наших новых христиан — Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой», «Востока, России и Славянства» и многих других сочинений, сам того не замечая, сыгравший в 70-х годах XIX века только роль «отца Ферапонта» в нашей литературе и частью политике, заметил о «Братьях Карамазовых»: «Там монахи не совсем то говорят, что говорят *действительно в монастырях действительные монахи*». Может

быть. Сам Леонтьев долго жил на Афоне, жил в Оптиной пустыни и был тайным пострижником: ему по части *действительности* «и книги в руки». Отец Зосима, конечно, есть мечта Достоевского, и — личная мечта: «буди, буди» его сердца, «золотой сон», может быть, еще с каторги, может быть, даже с детства. И суровая поправка Леонтьева, именно к Зосиме отнесенная: «не то́, не то́», по всему вероятно, правильна. Но Достоевский не только высказал «буди, буди» своего сердца, но противопоставлением Зосимы и Ферапонта, может быть безотчетно — он выразил вековечную и уже о самой действительности истину: истину о тысячелетнем борении двух идеалов — благословляющего и проклинаящего миролюбывающего и мироплюющего, поднимающего из скорби и ввергающего в скорбь — в мировой жизни древа Господня, древа евангельского. Что́ такое католицизм, в его отделении от православия? Францисканцы, с веревками и босые, даже и одевались совершенно как Ферапонт. Вообще «Ферапонт» — слишком возможен, «Ферапонту» есть какая-то лазейка в христианский мир; Ферапонт прокрадывается туда, «садится» или, пожалуй, «сажается старцем», начинает «крестить чертей» * и наконец говорит:

«Поклонитесь моему Богу, поклонитесь Заходящему Солнцу»...

В самом деле, концепция его до того противоположна благословляющей концепции Зосимы, что при одном имени, при одном месте жительства и, вообще, при полной внешней, по символу веры, слиянности с Зосимою и Паисием — он прямо исповедует *другую вовсе веру*, имеет *второго* и именно *своего* «Бога», с Христом «благодеяющим миру», с Христом, «искупившим мир от греха» и уже «заклывшим дьявола» «в бездну» — прямо не имеющего ничего общего! Ферапонт, несмотря на слова о себе «погань есмь» (что довольно верно), имеет Богом себе свою гордость; о, он везде «сядет», несмотря на смиренное «не сяду в старцах», «*servus servorum sum*» ** etc. Бог — забыт. Это — именно Навуходоносор, преобразенный в «зверя» и пожирающий «траву» в тот самый миг, когда воззрится на мир: «Кто равен Мне в поднебесной». И этот «Навуходоносор», этот «*servus servorum*» — как показал великий наш аналитик сердца человеческого — возможен в каждом человеке, или, точнее, в зародыше он обитает каждое сердце, Ферапонта, меня, читателя, всякого. Это — дух ложного смирения; дух — прикидывающегося смирения; дух — всем будто бы «служения», который вдруг кончается, как Сикст V при избрании: «Да мне все послужат». Тут есть демон какой-то; т. е. в сердце человеческом есть какая-то демонская струйка, которая, например, начинает:

— От большого разума вознеслись вы над моим ничтожеством. Пришел я сюда малограмотен, а здесь что и знал — забыл: сам Господь

* Со средних веков (см. «История рационализма» Лекки) повелся обычай, на Западе, при невольной зевоте — крестить рот: воздух наполнен «чертями», и неосторожно забывший во время зевоты перекрестить зев — проглатывал дьявола.

** «слуга слуг» (лат.).

Бог от премудрости вашей меня маленько защитил (речь Ферапонта же, *ibid.*, стр. 17).

И — кончает прямо владычеством над разумом, т. е. насильственным и внешним прямо ломанием его в щепы. Галилею он скажет — «отрекись»; труд Коперника, «не читая», поместит в «Index» (католический каталог «отреченных книг»). Он шел «с сумочкой», «прихрамывая», а кончает, как И. Навин: «Стой, солнце, и не движься, луна». Вся история средневекового папства есть история «отца Ферапонта»; и, повторяем, это — далекая история, это — вечная история, это — история вовсе не кончившаяся еще сейчас, ибо тут завязан какой-то вековечный грех, что-то запутанное в судьбах и характере человека! Не «благословляющее» начало, а «проклинающее»: это самое, самое яркое отличие, водораздельная между Зосимою и Ферапонтом линия, которую из великого страха мы должны держать в уме. Ибо «Ферапонт» далеко не побежден, и «Зосима» есть только мечта, личная мечта романтика и психолога, но — да будет позволено за образ Зосимы сказать — и великого праведника, хотя и не удостоившегося мощей, Земли Русской.

Да, мы верим — Бог есть Любовь. Это — написано (Иоанна Ев.). Это — для нас катехизис. Так и будем называться «Иоанниты», дабы не примешивать к единому ценнейшему зерну еще пустой соломы, вымолоченной от любви, соломы очень поздних и очень неверных измышлений. «Любовь» — и баста; и ничего «проклятого». Пусть Ферапонт со своими «чертями», и, в сущности, — ибо «дьявол есть отец лжи и человеконенавистник искони» — тайно именно бесу поклоняющийся (отсюда и запах «беса», его мучащий, — запах неопознанной собственной его молитвы «бесу»), толкнется именно о эту стену, где начерчен Евангельский глагол любимейшего Христова ученика.

* * *

Книжка «батюшки Петрова» (так и хочется просто его назвать) есть именно «Иоаннова» книжка, редакции «Зосимы», где нет «ничего проклятого» (апокалипсическое обетование), хотя страницы его книжки бегут по темам, которые как-то навевают память об одном ректоре Казанской духовной академии, о котором профессор Знаменский, в классическом труде об истории этого учебного заведения, приводит два стиха, со страхом произносившиеся студентами:

Ходит Ректор, ходит строгий,
Посохом стучит...

Коротенькие главы небольшой книжки «Религия и наука», «Нравственное вырождение», «Величие Евангелия», «Царство Божие». Мы так и думали, начиная читать и даже увидев эти заголовки: «Ну, — вот посохом застучит». Ибо около этих именно тем уже века стучат веригами и клюкою «Ферапонты». Но мы ошиблись. Кроткая и какая-то веселая любовь (любовь всегда должна быть веселая: этим и отличается

ее истина от притворства в любви, что тоже бывает) так и веет со страниц его, и мы приведем несколько выдержек, предваряя их коротенькими объяснениями.

Древний (античный) мир погиб от неумения радоваться о мире. В его созерцаниях не было такой безусловной лжи, но ему не хватило умелости проложить к миру эти созерцания и самому стать к миру в правильное отношение.

Где стол был яств — там гроб стоит —

этот стих Державина («На смерть кн. Мещерского») выражает истину не только о смертном человеке, но и о смертных цивилизациях. Древние стали объедаться миром — и «провоняли», выражаясь термином Достоевского о смердящей плоти человеческой. Вот момент психологический, где свихнулся «эллин». Мера, умеренность и даже строгость, читаемая нами еще у Гомера (верная Пенелопа), есть неперемненное последствие убеждения, что мир — брат нам, родной нам, что он «гость» у Бога в его тайных уготовляемых «обителях», где нам принадлежит соседски и родственно созерцать его, приветствовать его, многодумно с ним беседовать, пожалуй, «волхвовать» с ним (философия и поэзия): но не принадлежит разбойничать или что-либо «пожирать». Природа — друг, но несъедобное. Она — такой же «дух», и даже, как заметил Зосима, — «безгрешный дух», пусть элементарнейших форм развития, нежели наш сложный, но уже павший (в «Бытии» о *всех* живых тварях, до человека созданных, сказано, что Бог дал им *душу*). «Грехопадение» человека выразилось у эллина именно грубостью; притуплением, в поздние времена, к «живому» мира, к «духовному» мира; тем, что «лилии полевые» стали для него только «съедобным салатом» и «безмятежно радующиеся животные» (Зосима) — просто «бифштексом». Вот граница отношений к миру эллина и христианина: это — не антагонизм, не Ферапонтово «крещение» эллинских «чертей»; вовсе нет:

«Они — безгрешны, а ты своим величием — гноишь землю» (Зосима о теперешнем человеке, см. выше).

Это, в таинственном предвидении, наш психолог отгадал меру «рая», ритм «рая», его лишь чаемую или, пожалуй, вспоминаемую в сновидениях «музыку», по коей человек обнимается с ланью как бы с понимающим его существом, заговорит с медведем — как говорил один святой пустынный; где откроется разумение между животным и человеком, и какая-то разумеющая им обоим родственная и обоюдно-общая им радость, восторг даже. И вот Зосиму продолжает «батюшка Петров», не отвергая, не издеваясь над эллином, а только поправляя его.

Евангелие, как он указывает и доказывает ссылками, поставляя человека над материальной природой, *не противопоставляет его ей*. И та одежда вещественного блистания, в какую он сам облачается, нимало не в упрек истинному христианину. «Кто говорил о красоте полевых лилий, Кто в тяжелые минуты душевной скорби удалился

под тень Гефсиманских кедров и оливок и здесь молился среди аромата благоухающих цветов, облитых сиянием кроткой луны, не мог запретить наслаждение красотами природы. Не осуждал Он и *разумного, уместного наслаждения благами природы*, если Сам с такою нежной добротой принял от женщины помазание драгоценным мирром. Ничего не отвращая человека от наружного мира и не перерезывая нить связующей их радости,— Евангелие только восстанавливает истинную зависимость материального от духовного. Оно говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире», т. е. не привязывайтесь слепо сердцем к благам его; пусть сердце человека, предназначенное быть алтарем чистой любви и вечной правды, будет свободно от грубых плодов плоти».

Остановимся. «Не любите мира» — это точный глагол ученика Иисусова; но можно ли дать этим словам чудовищную интерпретацию: «ненавидьте мир», и «будьте злы к миру»? «Благая весть» Евангелия самую тему и содержанием своим требует благостного истолкования; и когда мы не находим его, то должны лучше оставить всякую попытку истолковать место, чем истолковывать его в злом, озлобленном и озлобляющем направлении. «*Пренебрегайте миром*» — это мог бы истолковать «совершенный» фарисей; «будьте *холодны* к миру» — это Иуда говорит. «Любите мир, но тою *возвышенною*, как бы с небес, *любовью*, при которой нет для вас избранников в мире, нет к одному *предпочтения*, но *все* нам *благостно*, *все* — *мило*; любовью, которая не как страсть — рабствует своему предмету, но как владыка — объемлет все предметы одинаково»: вот истолкование данного места. На нем и останавливается священник Г. Петров:

«Христианство прямо утверждает: «Кто любит мир, в том нет любви Отчей»; но оно нигде не требует ради любви к Творцу вражды к Его творению. Иисус Христос сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись от себя» (Мф., 16 гл., 24 ст.), т. е. «освободись от грубых инстинктов, от низменных привязанностей, стань новым духовным существом».

Так поясняет он знаменитые евангельские слова, давшие повод к множеству злых перетолкований Ферапонтов Востока и Запада, противопоставивших «мир» и «мирское» — «церкви» и «церковному».

Но мы еще упростим его истолкование. Слова Иисуса имели конкретное отношение к конкретным людям: «Фарисей, сними с себя фарисейство и гряди по Мне», «Книжник, оставь книгу — и слушай благовест», «Корыстолюбец, оставь корысть!» Было совершенно чудовищною интерпретациею истолковать это личное и конкретное обращение, почти только *modus dicendi*, как росток для какого-то Юстинианова *Codex'a*, как какой-то кантовский морально-философский императив в его логической сухости. Через дикое углубление в легкий сирийский глагол получилась доктрина: «Отвергнись, т. е. *забудь* и *пренебреги* ради Меня — детей»; «разори честный *достаток* — плод пота и труда»,

и вообще духовно и материально «оголись» и «гольем за Мною следуй». А богатый Иов? А многоженный Давид? Да неужели же святое Богу есть одно в *третьем* тысячелетии, иное — во *втором* и противоположное — в *первом* минувшей и нашей эры? Святое — *вечно* свято! Богово — *всегда* Богово!

Священник Петров так и истолковывает: «Иисус нигде не говорит: «отрекись», «отстранись совершенно от всего окружающего тебя». В своем окончательном заключении Евангелие заповедует нам: «все создано на пользу и на радость человека, но ничто созданное не должно *властвовать* над нами». И только мрачный изувер-фанатик может думать, что христианство вообще враждебно светлым, жизнерадостным впечатлением бытия. Напротив, тщательное рассмотрение убеждает, что среди всех философских и религиозных учений нет более светлого и жизнерадостного * мировоззрения, чем христианское.

«Проповедь Спасителя начинается и оканчивается призывом всех труждающихся и обремененных к *самой полной совершенной радости*. На Тайной вечери, подводя перед учениками итоги своей свыше трехлетней проповеди, Иисус Христос говорит им: «Все это сказал Я вам, да *радость моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна*» (Иоан., 15, 1 гл., 11 ст.). Если же в Евангелии говорится немало о кресте, о страданиях, о неизбежности горестей для христианина, то все это не есть собственно неотъемлемая принадлежность Царства Божия, а результат противодействия последнему со стороны царства зла. Апостол Павел пишет коринфянам: «надлежит быть и *разномыслиям* между вами». Здесь, понятно, речь идет не о *желательной* необходимости, а о *печальной неизбежности*. Путь к истине труден, идет через ошибки и заблуждения; без споров не обойтись; разномыслия неизбежны. Точно так же и путь к Царствию Божию. Без терний он пройти не может. Зло сильно в мире; без боя своей власти не уступит. Против поборников любви и правды оно выдвигает все силы ада. Страдания, мучения физические и нравственные, то, что названо общим именем «крест», тут будут неизбежны. Их не замалчивает голгофский Страдалец. «Меня гнали,— говорит Он,— будут гнать и вас; но эти гонения не должны омрачать светлых надежд». Лицемерие, неправда и насилие распяли Христа на Голгофе, завалили Его в могиле тяжелым камнем, приложили печати, поставили стражу и в злобном упоении торжествовали победу над Ним; но прошло два дня, и торжество рушилось: Христос воскрес, а с Ним воскресли добро и правда» (стр. 108).

Остановимся еще раз. Остановимся на великом недоразумении, которое в судьбах христианства образовалось около момента Голгофы. Голгофа — это страдание; явилось чудовищное подозрение, а потом и твердая уверенность, мысль, что Царствие Божие «нудится» (приобретается) страданием. И как самосожигатели, так и закапыватели в землю, и вообще все варианты нашей сектантской «морельщины»

* Замечателен правильный инстинкт, побуждающий православных всегда устроить и преимущественно любить светлые храмы, где много света, и притом простого белого света. Напротив, религия «*Dies irae, dies illa*» — католицизм любит запутанную готику, узкие стрельчатые окна, задерживающие свет, и цветные стекла, преобразующие белизну света в затемненные, пепельные цвета.

(так и называется одна секта) — суть лишь поздние и далекие отпрыски, но уже тысячелетне старой мысли, как-то запутавшейся, впутавшейся в христианскую логику и алкания: «*Сораспнемся Христу!*» Подумаем. Ведь в Гефсиманском саду не Он ли молил: «*Да мимо Меня идет сия чаша.*» Он *не хотел* страдания не только другому и никому: но *и Себе*. Страдание, как нам сказано в Евангелии, легло на Спасителя черною марою: не зовомою, но *убегаемою* Им. Но Он не избежал — и умер. Бог — умер; Вечная Жизнь — на три дня померкла. Для чего? Неисповедимо это в недрах Три-Ипостасного Божества, но кое-что и в части, нас касающейся, об этом открыто: «*Той бысть язвен за грехи наши и мучен за беззакония наши; наказание мира нашего — на Нем, раною Его мы исцелили.*» Спаситель — *умер*, человек — *воскрес*. Он *сошел* в ад, человек — *вышел* из него. Бог — в *темнице*; но (внимательнее, читатель) что же делает узник-человек? Он садится с Богом: «*И я — с Тобою.*» Вот тысячелетняя логика христианства! Но Бог *для того и вошел в темницу*, принял оковы, «оплевание», «венечный терновый», чтобы человек не промедля *бежал отсюда*. Так верный друг, так любящая жена, принимая муку мужа или друга, иногда обманывали, переодеваясь, «иудеев»-сторожей. Но «друг» или «супруг», этот бестолковый (да будет прощено грубое слово в нужных целях) «человек», как бы не понял совершившегося; или отвергнув совершившееся, — остается *недвижим в темнице*: «*И я — с Господом.*» Казалось бы — религиозно, а в сущности — кощунственно! Кассировалось через это все дело искупления, кассировалось уже свободным пониманием и свободным истолкованием «узника». Не знаю, чувствует ли читатель всю важность этого поворота мысли: чтобы *не страдал человек — Спаситель пострадал*; чтобы, маленький и слабосильный, он *не гнулся* под грехом, — Спаситель тяжесть мирового греха *взял на Себя*; человек стал сейчас же через это абсолютно безгрешен, свободен от первородного греха и способен к греху лишь личному, у каждого своему ничтожненькому и легонькому, затираемому легко же добрым (малейшим) делом. Отсюда неразгаданные слова Спасителя, что «меньший в царстве благодати — больше Иоанна Крестителя и Моисея; ибо на тех лежал первородный грех, и при всей высоте личной — он понижал их долу. Но в «благодати», уже «купленные» Спасителем от греха, подобны пустым корпусам кораблей, которые выпирает из воды наверх, и они чуть-чуть доньшком погружены в «океан» побежденного греха. Таково положение вещей: но именно после Спасителя, из «подражания Ему» и именно в момент «Голгофы» образовалось в христианстве неутолимое искание страданий: «терновых венцов», «оков», «оплеваний», т. е. появилось что-то юдаическое в христианстве, и, усердно «усаживая друг друга в темницу», приглашая «пострадать» и морально через это «нагнетая» на человека страдание, — люди *слились не с Спасителем в Гефсиманской Его молитве, но именно с иудеями* в их вопле: «Распни Его». Юдаизм, иудейские крики; величайший излом сознания в истории. Но читатель уже видит, в самом деле, что через этот излом

мысли все «дело» Иисуса, весь «акт искупления» прошел *мимо* человека и рухнул в какую-то бездну, в пустоту — никого и ничего не спася («не захотели сами спасения», «со Христом — в темнице»).

Весь пессимизм христианский отсюда льется; и отсюда так часто наблюдаемое слияние его, до удивительной точности — с пессимистической философией. «Несть человек, аще и миг единый поживет — который не согрешил бы» — до чего это совпадет с Шопенгауэровым:

...Кто б ни был ты в сем мире:
Есть нечто лучшее — не жить.

Мы положемся, обмываемся, спарапываем с себя грех: когда единый наш грех после Спасителя и состоит в гипотезе, что мы еще грешны, все-таки не святые. Мы — святые: вот подлинный восторг христианина; мы — свободны (так и учили Апостолы) не внешнею независимостью, но внутреннею — от греха. Мы — в раю (душою): вот самоощущение человека; да и всей твари, с секунды, как изглаголось на Голгофе: «жажду». «Элой, Элой: ламма савахфани» («Боже, Боже, почто Ты оставил Меня»).

На наш взгляд, это есть неисследимо искусный и непоправимо ядовитый плевел, всеянный врагом рода человеческого в пшеницу Господню, в зерно Искушения. Демон вторично соблазнил человека, через очень простой силлогизм, и вместе через тонкий расчет на героическую сторону человеческого сердца, вечный и благородный порыв человека — *самому* за другого поболеть, *самому* за кого-нибудь пострадать. Демон погубление человеческое построил на богоподобии человека; ибо как Бог не пожалел Единородного Сына ради человека, так ведь и вечная суть «богоподобного» человека, даже еще до Христа, состоит в вечной жажде кости своя преломить за Бога. Рассчитав этот тончайший эфир его души, Искушитель вторично поманил человека прямо не послушаться Бога, не поверить Богу и потрясающему глаголу Его: «Не бойтесь греха, он — умер, взят от земли; земля и на ней вы — вторично чисты, как Адам и Ева до падения». Человек ни разу этому не поверил, и, может быть, только по бессилию к этой вере он еще и продолжает умирать. Замечательно, однако, как самая жизненность, сила жить поднимается у каждого человека в меру душевной его облегченности, далекого и смутного прозрения, что не так уж мы грешны; и, словом, при приближении только к колоссальному открытию, что мы даже вовсе и совершенно безгрешны, дети Божии, птицы Божии, лилии Божии, без какой-либо тени первородной испорченности в нашем «я». Маленькое психологическое наблюдение: вы даже невиновны, но сознаете, что вас *подозревают* в вине, что на вас пала *дурная тень* и которой вам нет средств избыть: какая унылость, апатия устанавливается в душе! до чего не хочется ничего делать! И эта психика угнетенности наконец переходит и в психику *озлобления*: так тяжело, что я становлюсь и в самом деле дурен, я ишу и подлинно нахожу (создаю) вину! Т. е. *иллюзия греха создает в самом*

деле грех. Вот психология: и кто не узнаёт ее, оглянувшись кругом на помертвевшие, тусклые очи мира? Но мы — похвалены: а, теперь-то мы уже побежим! и ноги не устанут, и руки не опустятся! Теперь это частное практическое наблюдение раздвинем до края «видимого и невидимого». Мы — всемирно милы, Богу милы. Бог прямо не *налюбуется* на нас и нашу невинность и, так сказать, ежесекундно в творческих недрах Своих повторяет: «Какую тварь Я создал: кто подобен в красоте и совершенстве ей». Ну, тогда мы — герои Богу; с этою мыслью мы станем героизировать и, пожалуй, тоже будем «преломлять кости», но уже в восторге, в упоении, а не с унылым и смертным взором, как, «сораспинаясь», преломляем эти кости сейчас. Умереть от радости: да, но то ли это, что́ вечно умирать от страха и печали?

Мы привели примеры этого радостного полета души доброго «батьюшки»: он не оскорбится нашим переименованием, угадывая, из какого глубокого уважения оно идет. Да и как не уважать человека, который говорит о человеке такие добрые вести, и говорит, не впадая в мистические созерцания, но касаясь только практических нужд нашей души.

Живая душа любит живое. Отдавая почтение и даже преклоняясь перед мистическим умом Филарета Московского, не можем, из юдоли скорби человеческой, не воззвать к его могиле: «Отче, ты нам раскрыл тайны Божии, но почто не устремил ока на мытарство наше, на геенну нашу, на биение кулаками в иссохшие наши груди?» Поразительной тонкости языка и мысли, отточенные проповеди московского святителя как-то вовсе не касаются эмпиризма действительности и, так сказать, подобны пробковому поплавку с горящей свечкой в нем — перед образом, в лампаде; самому поплавку, а не внутреннему маслу, глубже лежащему, и которое, собственно, и горит Богу, подымаясь от дна сосуда. Простая речь «батьюшки» Петрова именно движется по дну и от дна жизни и полна иллюстраций, привлекательных именах у священника.

В последние годы у нас широко зашумел Фаррар; очень начинает шуметь Друммонд; но, право же, наши «родные» батьюшки, во-первых, естественно, нам кровнее и понятнее, да и в высоте христианского созерцания едва ли нуждаются в помощи Друммонда и Фаррара. Не так давно нам приходилось читать тоже прекрасную книгу: «Пастырство (учительный подвиг) Христа Спасителя» профессора здешней Духовной академии Пр. С. Соллертинского. Все тут — родное, колорит наших «бедных селений», и выражено все с глубокою, европейскою ученостью. Подвизайтесь же, пастыри Божии, ибо нива человеческая «захудала» где побита градом, где подгнила с корня, и везде требует помощи или освежения. И, главное, не стучите на «мир» посохом:

Ходит ректор, ходит грозный,
Посохом стучит...

Ибо в «мире»-то, от грешных мирских человек, и идет «воня святости» (церковный термин), благоухание почти мощей: от жизни и живого духа, от труда, от пота, а не от минеральных телесных частиц, и также не от правящего ректорского посоха. Еще, в самом деле, незамеченная сторона Евангелия: будь «мир» и «грешные человеки» так совершенно плохи, как это постулируют в веригах Ферапонты, разве бы мог Бог «тако возлюбить мир — да и Сына Своего Единородного предать за него»? *По достоинству искупаемого дается величина жертвы.* И ни за неудачливое свое создание, чтобы его «возродить», не дал бы никто и ничего; ни за испорченную вконец вещь не пошел бы никто в темницу, если бы и был благ, как бы ни был благ. Очевидно, не в благодати одной Господней лежит причина искупления: но что *было к чему* приложить благодать, в некоторой изначально и почти божески благой нащи («Сына предал за нее»). Таковы дары человека, открывающиеся из возможности искупления: и вот еще причина для нашей радости. «Будем» же «всегда радоваться» — как и зовет к этому апостол. И самую религию и ее дыхание сольем с отрицанием именно уныния и с вечно о всем радостью.

— Нужно посмотреть, что там за немцы такие и как они живут? — подумал я, получив этот год летний отпуск, и отправился в Ригу. Нужно заметить, Бог так устраивал меня всю жизнь, что я не только не выезжал из любезного отечества, но никогда и не подъезжал близко к его границам. Не забуду восхищения, с каким лет восемь назад, заехав на Финляндский вокзал (я осматривал Петербург) съесть пирожок и отогреться, я вдруг увидел огромную карту Финляндии *с нерусскими надписями*. «Что такое? Неужели близко граница?» И сердце у меня учащенно забилось. От этой-то безвыездной жизни в глухой России я и люблю окраины. Я просто люблю в них ощущение новизны, люблю свое новое волнение, новую полосу цвета в поле зрения, новый запах, новый вкус. И ничего более. Никакой политики. Просто человеку, всю ночь спавшему на правом боку, хочется к утру перевернуться на левый бок.

«Нужно посмотреть на немцев», — и я поехал в Ригу. Удивительно, что первое впечатление есть в сущности самое верное и самое глубокое; потом пойдут «умные впечатления», т. е. смесь размышлений, которые вы с собою принесли или из себя извлекаете, с фактами действительности. Но первое впечатление, физиологическое — это-то и улавливает главную новизну в стране или местности. Только выхожу с вокзала, глядь — все извозчики в мундирах (форме). Это до того невероятно, что я ахнул. Вот и не нужно никаких исторических документов и никаких справок в психологии, чтобы догадаться, отчего немцы есть, были и частью остаются чуть ли не коренным служилым сословием в России. Позднее я с любопытством расспрашивал и убедился в том, о чем, впрочем, догадался и сразу: что форма есть изобретение самих извозчиков. Вот погодите же: как азиата неловко было бы представить себе не в халате, даже не художественно, не нормально; так эти немцы и латыши просто почувствовали бы себя неловко, неудобно в наших армяках, рубахах, поддевах и проч. На козлах сидит чиновник; чиновник извозчичьих обязанностей. Он сидит легко, ловко, в синей короткой форме, с галунными нашивками и металлическими светлыми пуговицами. Торгуется, норовит сорвать с вас лишнее — так же, как и наш извозчик, и вообще во всей психике и быте это есть просто обыкновенный извозчик. Даже нельзя сказать, что он «при параде». Нет — это будень. И я уверен, ложась спать, он надевает на ночь тоже какую-нибудь

формочку, и тут где-нибудь нашивочка. Форма, оформленность — ему мила самым существом своим; и без этого чувства «милого» он не надел бы ее, как не надел бы и бесчисленного множества русских официальных, служебных форм. Но если он так тянется к ним, то совершенно естественно, что и самая служба ищет себе немца, т. е. человека, которому она, наверное, будет не тягостна, который все в ней исполнит без напоминания, сам. Служба — это порядок; немец — это порядок. Вот почему они совпадают.

Рига — красива, богата, блестяща. Вот не столица, но рядовой город, в полном ходе жизни и одушевления. Лет пять назад я посетил свою родную Кострому, где прошло мое детство. Боже, какое убожество, какое нищенство! Какая тишина! — «Да чем они живут? чем кормятся? и кормятся ли?» — «Так — побираются друг около друга; сапожник сделает портному сапоги, а портной за это починит ему пальто — и тем живы; один в сапогах, другой в пальто». Это впечатление обоюдного нищенства, менового труда, чего-то в высокой степени «обывательского» и «гарнизонного» — произвела на меня Кострома. — «Это, однако, что же за дом», — указал я на какой-то замок среди лачуг. — «Это — дворянское собрание». Вот дисгармония. Наш губернский город точно какая-то не связанная ни стропилами, ни в пазах бревен — храмина: так, друг около друга все стоит, помещается, занимает место, но не живет, не взаимодействует одно в связи с другим. Тут — купцы; там — дворянин; здесь — сапожник. А все вместе Кострома. В Риге все ходко и в высшей степени связано. Это — Рига живет, а не купцы в Риге живут. Веселится ли — Рига веселится; «политику ведет» — опять Рига. Это не наши купцы, которые норовят подкузьмить «гг. дворян»; и не дворянин в родовом и вековом его презрении к «аршиннику», которого он в особенности презирает за то, что вынужден немножко его побаиваться. Да, здесь уже не вечная и печальная на Руси «ссора Ивана Иваныча с Иваном Никифоровичем». Бессмертный Гоголь: как в этой ссоре он выразил всю суть России. А ведь почти и не жил в ней, нехристь, — только «проехался».

Немцы не пробуждают к себе никакой любви, но возбуждают много уважения. Полная противоположность Кавказу, где я ничего не уважал, но на все посмеивался и почти все любил. Востоком можно заразиться; заразиться немцем совершенно невозможно, но можно, и хочется, и следует у него перенимать. Как французские моряки, виденные мною в Петербурге, оставили во мне впечатление большей душевной чистоты, наивности и непосредственности, чем какая есть у русского простолюдина; так для меня совершенно очевидно, до чего немец как собирательный человек, как вообще человек — грубее русского. Острая рюмка водки, гущая у вас внутри, и кружка пива, только приятно полощущаяся в животе, вот отношение русского и немца. В сущности, нет более острый, наркотической, артистической нации, чем русские: я говорю

о сапожниках, о толпе, о всей нелепой ходынке нашего бытия и характера. Но, Господи, когда-то она разовьется, когда-то этот «сапожник» истории перестанет пить водку и явится трезвым перед лицом народов. Пока до сих пор на нем «ни образа, ни подобия», и это Бог весть почему, Бог весть как давно. Толстой в «Воскресении» хорошо выразился: «поговоришь с иным мужиком и диву дашься: это мудрец какой-то перед тобой; соберите этих мудрецов на волостной сход и предложите им на обсуждение самую простую вещь — ничего и притом совершенно чисто-сердечно не понимают». Тут именно народ — артист: ведь артистичность, в чем бы она ни выражалась и чего бы ни касалось, — есть индивидуальнейшее качество, которое моментально исчезает при компактной гуртовой работе. Соберите всех скульпторов в мире и велите лепить им сообща статую. Получится столпотворение вавилонское. То же наш волостной сход. То же — русский. То же — Россия.

Я прошелся по крытому Рижскому рынку. Какая чистота лиц. Вот уж люди «без подноготной». Чистота лиц и ясность выражения. Конечно, тут есть, т. е. в толпе, преступники, порочные, но, я думаю, немецкие пороки не есть какие-нибудь ужасные, как мне встречалось, живя по губернским городам, узнавать среди гоголевского затишья вдруг о какой-нибудь фантастической, дьявольской драме, — что-то из римских времен века упадка, и это в богобоязненной на вид купеческой семье, где каждый раз накануне именин хозяйки справляли «всеношную на дому». Помню одну такую драму в Ельце, кровавую, бесчеловечно-развратную, которая долгие горы тянулась в «купеческом средней руки домике», не в центре города, на спуске горы; и никто ничего не подозревал, пока, спохватившись, не откопали разом три женских трупика и запечатав желудки в банки, перепроводили их в Петербург. Петербург и раскрыл. Орел ничего не мог раскрыть. Когда появились на суде дед, сын, внук — целое столетие «святой Руси», и раскрасавица невестка, которая пыталась от срама удавиться на собственной косе в тюрьме — в городе говорили: «ну и типы»; «и ужаснее всех — уже почти полуживой от старости дед». Да, мрачна Русь, и вся-то она какая-то неразобранная «подноготная». И около этого — какая гениальность! Что бы, казалось, мещанам нашим до народного образования. Я долгие был учителем, много размышлял об учении и училищах; считал, что некоторые мысли у меня суть новые и оригинальные, и я их в самом деле в книгах не встречал. Но я их слышал... проезжая в Петербурге на общественных санях в должность. Закутаешься в шубу и сквозь дремоту слушаешь пассажиров. И вот решительно нельзя отвергнуть, что некоторые из них не только по наблюдательности, но и по силе теоретической мысли решительно были Соломоны. — «Вот бы кому управлять губернией»... подумаешь иной раз, дивуясь.

От немцев я не только не слышал ничего любопытного, но ясно было, что и не услышишь ничего. Надел форму и сидит себе. — «Да о чем ты думаешь, немец этакий?» — «А ни о чем не думаю, смотрю на

вечер».— «Может быть, восхищаешься?» — «Нет, восхищаться я буду, придя домой и начав, в четыре руки с женой, разыгрывать Шумана». Даже не понятно, как у них были Шиллер и Гете, был Кант. Ригу мне показывала одна федосеевка, раскольница местная: — «Пойдемте посмотреть площадь Гердера и памятник Гердера: это у них вроде как бы...— она затруднилась и договорила,— вроде святого». Какое удачное выражение, какое гениальное выражение! Она не знала, что мне известно имя Гердера, как и сама ничего о нем не знала: «лет 200 назад жил». Но она схватила общее отношение города к памяти, лицу, имени человека.

— Пойдемте,— сказал я, и все дивовался на ее определение. Я припоминал наших Грановского, Ломоносова: нет, ни к кому не идет имя «святого». Но к Гердеру, да и вообще к немецкому ученому, к немецкому мыслителю? — В высшей степени идет! И обмолвка нашей федосеевки вскрыла мне главную святость Германии: святость ума, святость умственного их настроения, святость умственной их культуры. Говорят, немецкая наука — скучная. Но в высокой степени похоже на истину, что в их способе отношения к этой скуке и в воззрении на себя, как на ученых, есть в точности что-то святое. Мы пришли на площадь. Она — крошечная, среди огромных зданий. Совсем миниатюрный цветничок. И среди него бедный монумент св. Гердера. Так пусть и сойдет прозвище за истину.

— Теперь пойдемте в нашу моленную.

Это в так называемом Московском форштате Риги, очень старинной части города и очень грязной. Тут все идут бани, и смеялся же я их вывескам: над воротами — железный крашенный лист и на нем художественно изображен веник. «Ну, тут Русью пахнет»,— подумал я. Веник торчит листьями кверху, и это сообщает ему возбужденное и призывное выражение. Огромные каменные корпуса, из превосходного кирпича, и отличные около них каменные же тротуары обозначали всевозможные благотворительные заведения, сгруппированные около староверческой моленной. Как это близко к немецким киркам, которые тоже обросли, как мхом, благотворительностью; и как не похоже на наши храмы, около которых никогда не уютится ничего для мира. У нас есть церкви в богадельнях, но у нас нет богаделен при церквях, т. е. как устройства церковного, как продукта забот церковного чина.

Никогда до этих пор я не бывал в раскольничьих моленнах, как и никогда не имел отношения к раскольникам иначе как через рассказы Печерского-Мельникова. Вхожу: это — церковь нашего старого архитектурного стиля. Мужская и женская половина совершенно разделены, т. е. собственно для женщин устроена совершенно отдельная моленная и только она помещена в том же корпусе здания, туда же обращена, как и мужская, и имеет во всем с нею одинаковый вид. Но почему это «моленная», а не «церковь»? Высочайший иконостас, образа по стенам. Только приблизившись, я увидел, в чем дело: нет ни алтаря, ни престола. У федосеевцев нет таинств, нет церкви и нет самого духовенства,

а только «старички», «наставники». Таким образом, мираж церковности был в точности миражем. То, что мы зовем иконостасом, было восточной стеною моленной, и только ряды старинных икон, в нее вделанных, и в том самом расположении, как это устроится в наших церквах, производят зрительный обман. Но почему же мне все кажется, что это церковь? Федосеевцы сделали все усилия, чтобы моленная их производила иллюзию древней церкви; но алтаря и престола — этого они уже не могли сделать, по правилам своей веры и строгого отречения. И опять я дивился душе человеческой в ее изгибах, в ее судьбе, в ее заблуждениях и порывах к истине. Люди исходной для себя точкой взяли: ни йоты старины не нарушить. Но силой вещей, которую они не предвидели, они поставлены были в такое положение, что оказались отрекшимися в сущности почти от всей полноты старины. И вот они хватаются, усиленно хватаются за всякую мелочь, за подробность, за что-нибудь из старинки; и держат соломинку с крыши сгорбившегося дома с той любовью, с какой нужно бы держать самый дом. Они имеют солею, но не имеют алтаря. Нельзя представить себе трогательности и чистоты их благочестивого домашнего быта (я познакомился): но они не имеют таинств. Они бесконечно уважают строгих «наставников», которые их «учили бы», т. е. укоряли в слабости: но этот наставник есть простой мужик-начетчик, без всякого преимущества, кроме простого знания, над теми, кого он поучает.

Моленная была совершенно пуста, кроме нас, троих посетителей, и показывавшего нам ее «помощника батюшки». Худенький и маленький, он объяснял нам старинность и ценность живописи. «Вот Всевидящее Око — отойдите сюда: Оно на вас смотрит; встаньте туда — оно вас видит; оттого — Всевидящее». Действительно, в старинной и в сущности бедной живописи «Око» не имело устремления, не имело центра в себе и угла зрения: от этого получалось безразличие впечатления, с какой бы стороны на него ни смотреть, и это безразличие можно было принять за «всезримость». — Вот «Всякое дыхание хвалит Господа». Какая наивность и, пожалуй, грациозность живописи: огромное множество козлят, лошадей и совершенно фантастических животных необыкновенно весело резвятся или смотрят на небо. — «Вот зачатие пресвятой Девы»: на образе Иоаким и Анна, гуляя в саду, склонились и умиленно целуются. Изображение прекрасно по наивности и деликатности. Я вспомнил лекции незабвенного Н. С. Тихонравова: вся моленная была живой иллюстрацией к его чтениям о возникновении раскола, о его художественной и литературной стороне. Я вспомнил угрюмый упрек начинавшегося раскола «звездочетам» их времени и всяческим книжникам: «ваших Платона и Аристотеля черви поели, а негленные тела праведников через сколько веков, — как живые благоухают». Что против этого скажешь?

Мы вышли. — «Вот эти ворота штурмом брали», — сказала нам проводница с гордостью. — «Как штурмом?» — «Отцы наши

заперлись в моленной и не впускали полицию, которая хотела войти. Принуждены были войска звать». Это было в царствование Николая Павловича. Действительно, их хотели объединить с общей церковью; но они были соединены с дедами, и дедовская связь выдержала и пережила. В сущности, детям ужасно трудно критиковать родителей: и вот на этот первоначальный факт натывается всякая попытка реформы; а уж если реформа совершилась — то попытка движения вспять. Дело веры на земле решается представлением о небе: «ну родители горят в аду, они заблудились: что же мы, дети, гордо сядем над ними в раю, будем из рая посмеиваться их заблуждениям?» Таким образом древнее «чти отца и мать» переламинает все новейшие заповеди и всякое обширное богословие. «Мы — не хотим; мы — с отцами». Вот и весь аргумент. И как его поколебать?

Я узнал, что в Риге около 13 000 федосеевцев. Они вплотную слились с немцами, безукоризненно говорят по-немецки, служат в немецких конторах и фабриках, брачатся с немцами. У наших добрых знакомых, соседей по даче, была дочь, только что кончившая гимназию, и сын в пятом классе коммерческого городского училища.

«— Русский ли, немец ли посватается — все равно».

В самом деле, по речи и по самому быту, за исключением больших образов и кой-чего в складе мышления, они уже совершенные немцы. Та же безупречная аккуратность. Странно — то же отсутствие «червоточинки». Я редко встречал в великороссийских губерниях такую открытость и незатаенность, такую прямизну и смелость речи, разговоров, всего склада жизни. Кажется, на третий день знакомства уже были рассказаны большие контуры биографии, и через полтора месяца — ее подробности, несчастья, и иногда щекотливые несчастья. Ни обмана, ни лукавства; признаюсь, я никогда бы не мог быть так откровенен, да и к чему? что мне люди? Очевидно, эти милые люди искали людей и доверяли людям, очевидно — они не обманулись в людях.

«— Перед свадьбой я капризна была, и мучила Николая Павловича. Но вот мы восемнадцатый год женаты — и ни я ему, ни он мне не сказал грубого слова».

Я вспомнил, что у этих бедных людей нет собственного брака.

— Ведь у вас нет... т. е. не может быть венчания?

— У нас служат молебн брачующимся, и благословляют родители, — сказала она сконфузившись.

При описании моленной я забыл сказать, что перед серединой восточной стены, т. е. как бы перед царскими воротами, перед *местом* их, стоит аналой с Евангелием и крестом. И, немного конфузясь, раскольница объяснила мне:

«— Да, Евангелие и крест. У нас только Евангелие и крест, — и она сделала строга в лице. — Это и есть алтарь», — с торжеством в голосе сказала она.

Она стыдилась и она гордилась, это можно было заметить.

Не правда ли, тут есть кое-что протестантское? Т. е. наше «древнее благочестие», не желавшее шагу двинуться вперед, в сущности, в истории нашей церкви сыграло роль и заняло положение протестантства. То же отсутствие иерархии, отсутствие таинств; народная толпа — и над ней воздвигнутое Евангелие. Так иногда крайности, вместо того чтобы разойтись, — сходятся.

Во всяком случае нельзя было не заметить, что эти федосеевцы удивительно подошли к немцам, как и немцы с полным уважением слились и сливаются с ними. В дому у наших знакомых уже играли немцы-дети, были гости-немцы. И немецкая речь быстро бежала и перебывалась с моей русской. Ну, милые люди, как бы вас ни устроил Бог, а устроил.

ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ, ИНТЕРЕСНОЕ ВРЕМЯ И ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ

Кто любит литературу, любит невольно и подробности ее существования. Радует не только хорошее новое сочинение, но и хорошее новое издание. Читаешь к нему предисловие; вдумываешься в план издания; мысленно рассчитываешь число последующих томов любимого писателя и приблизительный состав каждого тома. Такие казалось бы пустяки, как шрифт, приложенные портреты и автографы — все радует. Становишься типографщиком, становишься издателем и почти книгопродавцем, если не de facto, то в идее и горячих желаниях. Это несколько типографское и издательское волнение я испытываю сейчас, держа в руках только что появившуюся четырнадцатую книгу «Жизни и трудов М. П. Погодина» почтенного Н. П. Барсукова, и два тома, почему-то первый и пятый, «Сочинений А. С. Хомякова, Москва, 1900 года», — с двумя портретами знаменитого славянофила, философа, лингвиста, богослова и борца с холерой. Не все читатели знают, что Хомяков изобрел средство против холеры и что он умер от холеры, и я мельком напоминаю это, чтобы объяснить последнее из своих определений. Перелистывая и разрезывая, — одно из самых счастливых для меня ощущений, — листочки новых только что созданных станком книг, я торопливо достал «Сборник сочинений» Н. П. Гилярова-Платонова, т. 1, появившийся в прошлом году: издание столь же фундаментальное и многообещающее, как и только что появившиеся два, и однородное с ними по духу, содержанию, всему кругу интересов. Четырнадцатый том Барсукова начинается манифестом о восшествии на престол Государя Александра II, обнимая в вышедших ранее 13 томах полное царствование императора Николая I и конец царствования Александра I, во всей громаде литературного, общественного, бытового и политического волнения, переданного в подробностях почти домашней жизни и ежедневных разговоров, и важных, и шуточных. Г. Барсуков, как нам кажется, является в настоящее время самым важным бытописателем, как в смысле трудолюбия, так и искусства, и, наконец, темы: нравов общества в связи с литературным развитием страны. Искусство его заключается в подробностях: он выкидывает на стол перед читателем ворох записочек, листков, пожелтевших дневников, откуда-то выкраденных разговоров, чрезвычайно умело подобранных; вы ловите эти листки, и их дух, их слог, их минутный интерес совершенно переносит вас из 1900 года,

положим, в 1865. Вот Александр II, сейчас еще бывший наследником и сейчас уже ставший императором. Второй день царствования; Государственный Совет, по приказанию накануне, созван в залах Зимнего дворца. Молодой Монарх выходит перед лицо своих будущих советников, и в первом слове, к ним обращенном, вспоминает о Родителе, бездыханное тело которого покоится почти за стеною. Он передает им предсмертные его слова:

— «Хочу взять себе все неприятное и все тяжелое, только бы передать тебе Россию устроенною, счастливою и спокойною». Так говорил мне Родитель в прежние годы. Но Провидение судило иначе, и он в последний час своей жизни сказал мне: «Сдаю тебе мою команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал, оставляя тебе много трудов и забот». Я отвечал ему: «Ты, верно, будешь там молиться за твою Россию, и за дарование мне помощи». — «О, верно, буду», — ответил он (стр. 3).

Как трогательно и многозначительно для русского!.. Но вот текут дни, и, среди всеобщего нетерпения и волнения, И. С. Аксаков записывает впечатление:

«Положение какое-то странное; все в недоумении, никто не прочен, никто не знает настоящего пути, которым хочет идти правительство. Государь все живет как наследник; живет в прежних комнатах, носит генерал-адъютантский мундир. Очень усиливается Ростовцев, которого в Петербурге называют Мазарином».

Не правда ли, как характерно? И все полно волнением около нового Государя и перед живыми событиями. В Пасхальную заутреню встречаются Киселев и Блудов, и полуконфликтный, полунеприличный разговор их передан в записочке А. О. Смирновой:

«Блудов — печален. Он вчера мне признавался: — «Каждодневно молюсь Богу, чтобы он простил мне то чувство презрения, которое я испытываю против всех людей в настоящее время». В Пасхальную ночь Киселев сказал ему с явным намерением его уколоть: — «Вот два вымирающие русские варварские обычаи: пасхальные лобзания и кареты в четыре лошади» (стр. 18).

Верно говорится о четверке митрополичьей упряжи... Но как любопытен этот язык и воззрение, в сущности уже совершенно нигилистическое, хоть бы в «Отцы и дети», в первые три месяца нового царствования, и в разговоре старых и знаменитых министров. Мы же часто склонны думать, что нигилизм пошел от мальчишек.

* * *

И все любопытно. Как приуготовление к маленькому принципиальному вопросу, который нам хочется здесь разобрать по поводу начавших выходить новым изданием трудов Хомякова, приведем из книги Барсукова еще одну параллель. Погодин и митрополит Филарет оба в волнении по поводу перемены в царствовании. Обоим хочется сказать

что-нибудь, сказать лично, от себя и от представляемой ими науки и Церкви — юному Государю. И вот в «Дневнике» Погодина записи:

«11 апреля. Набросал о царском времени. Обдумывал письмо. Письмо поздравительное».

«21 апреля. Отправил статью к Назимову с письмом. Кошелев доволен также статьею».

«24 апреля. Письмо положено на стол камердинером в день рождения».

Неприятно, что из книги не узнаешь: к кому оно положено на стол, к Назимову или подано было Государю? Во всяком случае, личное письмо Погодина к Государю написано и послано:

«Государь! Среди торжественных славословий, коими оглашается ныне вся Россия, позволь смиренному труженику истории, удостоенному издавна Высочайшего Твоего благоволения, принести тебе искреннее поздравление... Приношу Тебе малую лепту от своих трудов и размышлений, и почту себя счастливым, если этот краткий мой очерк, внушенный чувством неограниченной к Тебе преданности, даст повод рассмотреть тщательно вопрос важнейший в нашем государственном быту: вопрос о *царском времени* (курс. Погодина). Время царское — дороже всего на свете! Оно должно быть сберегаемо и соблюдаемо до последней минуты для решения важнейших вопросов государственных, для размышления о существенных предметах управления. Занимать царя частностями и подробностями, развлекать формами и церемониями — есть величайшее гражданское преступление».

Не правда ли, смел язык? Но и как важны и существенны, сейчас и в наше время существенны мысли! Историк говорит, что уже Петр I, при всей его колоссальной неутомимости и работавший во всю жизнь от раннего часа до поздней ночи, жаловался, что у него недостает времени, — недостает его для управления десятью только миллионами подданных. Теперь не только 70 миллионов жителей, но и по характеру эпохи — все дела стали мудренее, сложнее, ибо духовные и культурные.

«До каких же колоссальных размеров, при неизменившемся характере управления, достигло количество дел, повергаемых на Высочайшее воззрение, решение, утверждение? Мысль цепенеет. И вот Русский царь делается первым тружеником своего царства, несчастнее последнего батрака, у которого после тяжелых ежедневных трудов остается все-таки несколько времени для беззаботного отдохновения. У Русского царя нет этого времени — для возношения своего духа к Богу и теплой сердечной молитвы; нет времени для вкушения тихих радостей в кругу своего семейства. Ему некогда подумать о себе, о важнейших человеческих вопросах и задачах земной жизни; ему некогда заглянуть в книгу и освежить свою мысль, чувство. Перед его глазами мелькают беспрестанно длинные списки текущих обязанностей и встают грозным привидением высокие груды бесконечных дел, над которыми он должен проводить свои часы, — груды, которые завтра сменяются новыми, и так далее, без конца. Сизифова работа!»

Погодин очерчивает то «расслабление всех сил», которое не может не вызвать эта работа у венценосного труженика, расслабление не только физическое, но и духовное; «наконец,— тонко замечает он,— нельзя же не почувствовать в глубине своего сердца страшного внутреннего червя тоски, досады, неудовольствия, который подточит самое сильное здоровье и истомит самую твердую душу». И кончает:

«Несчастливая система, низведшая во гроб, вместе со внешними неожиданными ударами, покойного императора Николая Павловича! В порыве неограниченного своего усердия на благо Отечества он хотел делать все сам, работал в течение 30-ти почти лет, не думая о себе, и пал наконец жертвою царственного долга. Увлечшись блистательным примером предка, он не подумал, что со времен Петра I обстоятельства переменились и что Петровское «делание», перенесенное в наше время, становится оптическим обманом; что большая часть дел, несмотря на невидимую непосредственную зависимость от государя, обращается таким образом в добычу частного произвола, застрахованного священным царским именем, и потому безнаказанного,— где все делается часто в ущерб общей пользе и составляет противоположность России по бумагам с Россиею в натуре» (стр. 25—27).

Не правда ли, как живо, современно, как практически нужно?! И, наконец, как открыто смело. Это говорит гражданин Царю. Кто он? «Историограф», как всегда именовал себя; без риторических же украшений — отставной профессор Московского университета, журналист, составитель скучнейшей и бесталанной «Истории России до монгольского ига», и, наконец, сын крепостного крестьянина. Почему он так говорит? Потому что он верит в себя и в почву под собою, потому что он бесконечно обожает возлюбленного своего Монарха, и, как «историограф», в начале царствования считает долгом обратить его внимание не на продолжаемую еще войну, не на скорбь сыновничью, но... на чрезвычайную груду дел, которая мешает ему раскрыть на досуге и прочитать умную книгу, например ту же знаменитую «Историю Руси до монгольского ига» Погодина. Однако если убрать в сторону «ученую часть» Погодина, то гражданин в нем — прям, велик и даже политически и административно чрезвычайно проницателен.— «Почему Вы не велики, Государь, почему Вы не Петр или Екатерина?» — «Боже, но я не имею времени быть великим, потому что занят исключительно маленькими делами — до пресыщения, до удушения, даже до головокружения» — вот краткий исторический диалог, в который разлагается длинный монолог Погодина. Труд его очень похож на чрезвычайно распространенные в XVIII веке «Разговоры в царстве мертвых», где усопшие государи и их министры и полководцы разговаривали о минувшем своем царствовании, объясняли подробности этого царствования и давали живым загробные советы. Это была форма политических рассуждений, в сущности очень умная и живая.

В эти же самые дни митрополит Филарет тревожился другою трево-

гою. Подходило 17 апреля, день рождения воцарившегося Государя и в то же время память преподобных Зосимы и Савватия, соловецких чудотворцев. Филарет изготовил икону и хотелось ему отправить ее в Петербург, но предварительно он писал своему другу архим. Антонию:

«Я в недоумении, послать ли икону Государю Императору ко дню его рождения? Что делается по принятому правилу и обычаю, то делаю с мыслью: так должно; и остаюсь в покое в отношении к последующему. Но когда представляется что-либо свыше обычая, тогда спрашиваю себя: кто емь аз, чтобы поступать с дерзновением? — и не нахожу ответа. Если бы мне решиться писать Государю, то надлежало бы в случае, преимущественно важном, при восшествии его на престол; но я и тогда не решился. Почему теперь быть смелее? Нынешний генерал-губернатор при покойном Государе начал писать поздравительные письма и получал ответные рескрипты. Не знаю, как это делалось: но это особенность царского наместника в столице, как он себя представляет. К Государыням Императрицам я писал потому, что на то была их воля. К Государю Императору писал о пожертвовании; и тогда сказал, что не вдруг решился писать собственно к нему. При покойном Государе о пожертвовании, сколько помню, писал я к обер-прокурору, для доклада Его Величеству. Преподобный Сергий не прогневается, что я, по моему недостойнству, не сделаю себя посланником Его к Государю и преподавателем Его благословения, и за мое недостойнство не уменьшит своих молитв о нем к Богу, и непосредственно подаст ему свое благословение... Таковы мои помыслы. Однако икону оставляю у себя, чтобы еще подумать. Если не решусь послать, возвращаю ее».

Письмо кончено. Под ним стоит одна строчка автора книги: «Икона была возвращена». Это был образ преподобного Сергия Радонежского, и о его «непосредственном по нужде» благословении Императору пишет своему другу митрополит.

* * *

Не знаю, как читать, но я едва не заплакал, переписав письмо. Какая бездна вопросов, какая тема для размышления! Вот ключ к истории Феоф. Прокоповича и Стефана Яворского, к учреждению обер-прокуратуры Синода, и, наконец, поправка одной огромной ошибки, в которую впадало всегда славянофильство, и более всего в нее впадал автор двух томов лежащего перед нами «Собрания сочинений» — Хомяков.

Если мы сравним письма Погодина и Филарета, мы будем поражены необыкновенною душностью, затрудненностью дыхания во втором письме. Прежде всего, кто пишет? — Первый ум века, или один из первых, — ум бесконечной политической даровитости и почти святой, только не канонизированный святой. Во всяком случае — первый нравственный авторитет своего времени; скажем так — первая солидность своего времени. О чем пишет? О сущих пустяках, по сравнению с темою, которую взял Погодин. Можно сказать, что Филарет пришел бы в истинный трепет, если бы ему предложили подписаться: «Смиранный

Филарет, митрополит Московский» под бумагою такого содержания — «О царском времени», какую написал, сочинил и послал Погодин. Филарету показалось бы, что он губит себя, что только личный враг и злодей мог дать ему к подписи такие рассуждения. Он пишет, пишет к другу: послать ли ему икону? Как робок его язык: и очевидная, очевидная трудность положения. Очевидно дыхание затруднено! Какие обороты слов: «что делается по принятому правилу и обычаю, то делаю с мыслью: так должно; и остаю в покое в отношении к последующему». Какая точность языка — ведь это Цицерон! Но как он боится! «Но когда представляется что-либо свыше обычая, — тогда спрашивает себя: кто есмь аз, чтобы поступать с дерзновением». Куда Цицерон — щенок против нашего Филарета, да и конечно щенок прежде всего по уму. Ум Филарета был до того светозарен, что уже в конце царствования Александра I производил какое-то всеобщее вокруг себя обаяние. Мы лично знаем людей, которые однажды видели его где-нибудь в общей процессии, в крестном ходу — и не могли забыть его фигуры. «Поодаль всех, один, не поддерживаемый, шел святитель; маленького роста, полуклоненная голова... Видел и не могу забыть». И таково было от него впечатление на простых и на великих.

Но в этом письме где же его гений? Нет, более — где его личность? Погодин около него не только кажется, но и точно есть исполин, и около исполина-Погодина — совершенно крошечный карлик-Филарет. Он боится послать, — да так и не послал — икону. Неужели бы ее не приняли? — Приняли бы! — Может быть, он не получил бы «ответного рескрипта», о котором упоминает? — Может быть. В день рождения нужно послать икону: нужно ли? не нужно ли? — Не понимаю. — «Не понимаю и не понимаю», — пишет он другу: «дух занимается, ум кружится: как нужно бы, как хочется, но... не знаю, не знаю». Да неужели же этот гений не заблистал бы в чудесных словах на те же погодинские темы «о царском времени», если бы как к Дмитрию Донскому Сергей Радонежский — он вышел навстречу юному государю из дебрей московских лесов? — Какое воспоминание, какое сравнение: к чему оно? Прошли века; сковались тяжелые золотые одежды; парча и парча; длинные разводы на мантиях; и эти посохи, священные в веках, «посох митрополита Петра», который он, Филарет, несет в священной церемонии, единожды в год. Он не человек более; он более не лицо; отнюдь не монах. О, эти церемонии, и посохи, и облачения; тяжелы они, душны они! Гений веков подавил гений личности: и Филарет не дышит, едва дышит в церемонии. И ведь послать образ Государю — тоже часть церемонии, в которой разве возможно вступить не так, повернуться не этак: нужно все «церемонно»... Вот разгадка: Филарет есть член, узел, звено или, пожалуй, глава священных церемоний, и церемонных священных жестов, и церемонных слов; и часть его исторической славы и лежит в необыкновенном уменье, в гении такта при этих движениях. Кто отвергнет, что за XIX век, а может быть даже и за все века,

Филарет есть, так сказать, завершитель великолепия церковного в смысле «разводов» и «разводов» «голубое по шелку»,— и эти чудные благословения народу, и величественные слова в праздник, и краткая кованая записка к богатой благотворительнице, и благоуханное умом и религиєю письмо к Императрице. В шелесте его мантии — как бы звуки всех этих почивших Злотоустов, Двоесловов и целого сонма ликов, которых он представляет собою.

Разве же тут пошевелишься!!! Боже, как трудно, какая тяжесть надо мною.— Десять веков лежит на моей груди, и этот крест давит, давит, и я не могу вздохнуть. Мое дело — не шевелиться. Мое дело — более не шевелится. Весь мой гений устремлен на то, чтобы пронести посох митрополита Петра в крестном ходу так, что у взглянувшего раз — по гроб не забудется. Кончилась церемония. Теперь я один в келье; я в простой рясе; келейник прислуживает мне: приди, вот теперь приди, и я твою христианскую душу напою глубочайшим христианским словом, и теперь, теперь — о, теперь я научил бы государей и выдрал бы за уши их министров и этого невежду Погодина. Теперь — я царь. Царь личности, личного начала, личного гения; ума и сердца русского, да даже и мирового.

Разрываются двери и входит Погодин, чтобы быть выданным за уши: это — посторонний, это внешний. Да кто он? Тайный советник и отставной профессор университета. Филарет, «не облачаясь», придвигает к себе одну из бесчисленных своих одежд, так еще небольшую, и все-таки прикрывает ею свою Адамову наготу и вместе небесную мудрость. Гения убыло и митрополита московского прибыло на вершок. Но входит не Погодин, а Закревский: Филарет берет большую свою одежду, гений почти совсем скрылся, осталось от него «общее место», зато митрополит московский стоит в половину роста. Наконец входит, или, точнее, Филарет сам идет... Нет, его везут в карете, шестернею цугом, к обер-прокурору Синода. Теперь в нем $\frac{9}{10}$ митрополита, и ничего или $\frac{1}{10}$ человека. Гений его померк; воля его померкла; личность его померкла... Наконец он пишет письмо Императрице, или наконец он собирается послать икону Императору: где он? Не видно. Смотрим и не видим Филарета. Перед нами протискивается, грубо работая локтями, «историограф» Погодин, который весь личность, полная личность, напряженная до 100 град. температуры, и мы кричим: «bravo, bravissimo!»

Филарета вовсе нет. Есть церемония, есть церемонный жест, церемонный поступок, церемонное слово, которое, чтобы выслушать-то только — нужно для этого принять церемонную позу, благоговейно наклониться, поцеловать руку, отойти в сторону и задуматься, и опять-таки церемонно задуматься о выслушанном слове. Фу, пропасть — как трудно! Сколько труда: я так устал, и так напряжен был во все время слушания поучительного слова, что решительно ничего из него не помню, даже не слушал ничего, а только думал: «так ли стою, так ли держу голову, так ли у меня наклонено ухо внимания». И вот — психика,

вот — атмосфера. Не только перед лицом верующего — церемония, но и сам верующий уже ответно и невольно (ведь тысяча лет тяжести!) становится тоже только складкою церемонии, подробностью процессии, так сказать «камением», которого касается конец «посоха митрополита Петра», несомого благоговейно Филаретом. Великолепно. И не поучительно. И вот — обер-прокуратура.

«Нет, мне решительно некогда! Я решительно не могу: и Погодин объясняет, что — нет, нет и нет времени, даже на самонужнейшее». «Уж как-нибудь ты, ты — попроще и с тобою будут попроще, да и жилого-тый ты человек — все церемонии вынесешь», вот во всю вторую половину XVIII века и во весь XIX век психика и логика того, что около священного одеяния Церкви у нас поставлен обыкновенный гражданский чиновник, которого без натяжек можно назвать министром церкви, ибо, имея полномочия министра, он «составляет бумаги и подает их к подписи» одетым в камение и блистание членам высшего духовного управления. У нас раздавались и раздаются глубочайшие против этого протесты, во главе коих стояла славянофильская школа, Хомяков, Самарин, все Аксаковы и «все иже с ними». Но тут есть.. какое-то невнимание к действительности! Обратим сейчас внимание на следующее: кто теперь и вот уже много лет есть первое сияющее христианское лицо в церкви? Каждый назвал дорогое имя — «Иоанн Сергиев, священник кронштадтского Андреевского собора». — Еще кто, если не сейчас, то недавно? — Иеросхимонах Амвросий, т. е. просто монах, живший в келье Оптиной пустыни. — Нет ли еще? — Есть Варнава у Троице-Сергиевской лавры, тоже просто схимник и просто монах. Но кто настоятель лавры? — Не знаем, имя темно. Кто был епархиальным архиереем в Калуге, при Амвросие? — Не знаем же. Да почему не знаем? — Они были все хранителями церемоний, оберегателями религиозной в стране церемониальности: великолепно и святой, но при которой *имя и человек не значащи*.

Таким образом, великое дело творения веры и совести начинают делать простецы церковные, священники, монахи; и оно просто, в смысле *нового* подвига — недоступно и недостижимо для больших имен и для высоких положений в церкви. Просто — нельзя ничего сделать, ибо ничего более нельзя «от сердца» и «от своего ума». Десять веков бытия — и кончено. Все великое — лежит, с единственной задачей — не пошевелиться. В общем зрелище и общей панораме Церковь сущую можно сравнить с благоухающею ракою св. мощей: никто не скажет, чтобы это было умаляющее сравнение, ибо сравнивается она со святым, с Божиим. Есть благоухание; есть чудеса около них; народ течет сюда. Все — чудно, все — свято. Все есть высшее на земле. Но никак нельзя оспорить, что св. мощи, привлекая к себе движение народное и даже будучи духовным центром страны — сами не движутся, не шевелятся... И вот опять-таки роль обер-прокуратуры: растворить двери храма, пропустить к раке св. угодника молящихся, указать им, сказать им,

и, словом, исполнить сторожевую и черную работу около мощей, которую *сами* св. мощи не могут около себя исполнить.

Церковь есть святыня прошлого; она вся — в памяти: вот краеугольные камни, которые прежде всего сама церковь не даст пошевелить под собою; и не дает, отстраняя всякую прибавку, убавку и перемену в себе. В этом ее *суть*, страстнее всего ею самою отстаиваемая. Суть — чтобы не шевелиться, не совершать новых движений, применимых к обстоятельствам изменяющихся дней. Т. е., позволительно обобщить, — Церковь есть святое Памятование и святое Прошлое. Sancta Memoria et Sanctum Perfectum. Читатель простит, что я пишу с прописных букв отвлеченные слова, ибо они суть в то же время имена очень определенного и узкого, т. е. собственного, значения. Между тем для блага же церкви, «для благосостояния святых Божиих церквей», как мы молимся на литургии, — необходимо около св. Памяти и св. Прошлого делать некоторое современное дело, живое, иногда грубое, материальное и практичное. Опять обратимся к фактам дня. Есть у нас Палестинское общество: какова его роль? — Колоссальная: оживление Востока, упорядочение всех православных дел в Палестине, удешевление тарифа для богомольцев туда, устройство там пищи, крова и лечения их. Кто его члены? — Светские люди, чиновники, особы, богачи, но вообще светские и светские. Тут нужно бегать и хлопотать. Роль именно сторожа, святая деятельная роль, но вот «деятельную»-то часть этой святой роли решительно и не могли бы выполнить св. мощи. Мы здесь просто разделяем природу вещей и констатируем факт, но отнюдь не случайный, а вечного значения. На духовенство наше сыпалась бездна обвинений, и в интимных разговорах — их, этих обвинений, еще больше, чем в явных, притом с крайне расположенной к церкви стороны. С. А. Рачинский — это ведь, кажется, само одушевление, сам полет в смысле вечного и неустанного лобзания подножий церкви: между тем его «Письма к духовному юношеству», т. е. к студентам духовных академий, завтрашим священникам, похожи на столь горестный памфлет против нравов нашего духовенства и общего бессилия, собственно, всех христианских церквей (говорится и об англиканской церкви, и об европейском миссионерстве в Африке), что сам автор, из благоразумия, первоначально не пустил книжку в продажу, и только год спустя после издания, едва ли осторожно, дал доступ к ней всем желающим. Но мы решительно становимся на сторону духовенства, считая его доблестнейшею и самую здоровую частью русского населения; а для доказательства указываем на митрополита Филарета и его бессилие, его «занятый дух», «запыхавшийся дух», перед написанием самого пустого письма и совершением самого коректного поступка, простой любезности, внимания, благожелательства. — «Так или не так?» — «Не знаю и не знаю», и «томлюсь: Господи, научи меня, просвети меня, послать икону в Петербург или не послать?» Всякий может сделать ошибку, Погодин; генерал-губернатор, и последний вот получал за это рескрипты; но святитель московский, в лучах

славы и памятования Златоустов и Двоесловов, конечно не может сделать ошибки, и ступня его ноги, как и почерк его пера, и движения языка, и мановение руки должны быть... «святы», «святы» и «святы»: и вот это до того трудно, это такая тема, что в каждом случае малейшего колебания — лучше не шевелиться, не двигаться. Логика святости требует неподвижности. Авторитет так огромен, в сущности бесконечен, что сильнейшие могут едва пронести его в руках несколько шагов, и уж с такою корrekтностью движения, под которую задыхаются.

«Пожалуйста, они не могут сделать, они уже ничего не могут, кроме как нести авторитет: сделай ты *для них и ихнее дело*», — вот логика оберпрокуратуры. Неужели можно подумать, что императоры наши за все XIX столетие хотя бы мало вспоминали Никона и его гордую и неудачную попытку? Ничего подобного, конечно ничего подобного! Александр III был истинно благочестив, старо-московски благочестив, но вопроса о восстановлении патриаршества при нем даже не поднималось; и оно никогда, конечно, никогда не будет восстановлено, ибо это было бы еще увеличение тяжести авторитета, достоинства, силы, славы, т. е. опять «одеяния и одеяния», «разводы и разводы», и словеса, и благословения: до окончательной невозможности люд их толщею не только двигаться, но хотя бы лежать и дышать.

Мы написали с больших букв: «Память», «Прошлое». Напишем же также с больших букв: «Совесть», «Будущее». Мы сказали, что оберпрокуратура Синода есть движение около логики неподвижности; хлопоты сторожа около св. Мошей. Однако есть тут и более: принцип *Святой Совести* и принцип *Наступающего Будущего*. Мы обращаемся к Гилярову-Платонову, труды которого начали выходить, и к произведшим в свое время большое впечатление «Запискам из истории ученого монашества» почившего архиепископа одесского Никанора. Оба автора, насколько они касаются Церкви и вращаются около церковного интереса, говорят с безмерною к ней любовью и бесконечною ей преданностью. Но в то же время невозможно не заметить, что как только речь из общей фразеологии переходит к чему-нибудь конкретному, нужному, материальному, и очень дорогому и страшно полезному, — она начинает скользить около имен чиновников. И, например, нам памятливы глубоко благодарственные слова за заботливость о положении духовных училищ, обращенные которым-то из них к Протасову, оставившему почему-то в печати и истории не симпатичную о себе память. В одном месте арх. Никанор записывает общее, итоговое впечатление от петербургских дел: «все, что делается доброго, — делается не нами, а светскими чиновниками» (в Синоде). Да почему так? — Да потому же, почему Палестинское общество «сделано и делается» светскими людьми; ими же сделано «Общество духовно-нравственного просвещения в духе малославия», и без числа — богаделен, больниц, общества призрения малолетних преступников, предохранения падших девушек, и, словом — все необъятное дело *Наступающего* (употребим опять большие буквы) *Грядущего* и *Живой Совести*. Нужно распутницу поднять с улицы,

накормить, согреть, научить: Погодину это в высшей степени легко сделать; но Филарету? Я говорю совершенно серьезно, что Филарету этого совершенно невозможно сделать, не по малости его сердца, не по недостатку его ума, но по необыкновенной и страшной высоте и тяжеловесности его московского святительства. Тут нужен простой священник: Иоанн Кронштадтский — он побежит; старец оптимист Амвросий: он тоже сделает, ибо он ходил в бедном подряснике, вставал когда хотел, ложился когда хотел, молился сколько хотел или не хотел, и, словом, был *личность*, и — бесконечная личность. Напротив, Филарет, за исключением одиноких минут в келье, есть бесконечная безличность, есть «общее место» святости, «сан» церкви, и... бесконечный, «до небес» авторитет. Каким образом «до небес авторитет» совершит страстное и мучительное и иногда нечистоплотное дело «очищения грешника от грязи»? Невозможно. Несоизмеримые величины. Кошка питается мышцами, но не может питаться ими лев; и не может императрица сделаться белошвейкою, хотя бы для того, чтобы сшить рубище замерзающему. Просто — нельзя; не так сложились дела. И нет здесь виновного.

Совість *сейчас* и *здесь*, на улице, далее — фатальный поворот колеса истории к *Будущему*, и, наконец *материальное* и *факт*: вот те ингредиенты, которые захватила себе около Церкви обер-прокуратура, не по властолюбию, не по равнодушию государства, общества, литературы к церкви; но потому, что эти ингредиенты *не входят вовсе* и не войдут *вечно* в самое тело церкви, которое, не изменив всему в себе, есть тело прошлого и тело памяти. В ней — все кончено, в смысле — закончено. И все — свято, т. е. неподвижно. Но ведь законченное-то «*было закончено*», а дни — *текут* и есть «*сегодня*» и будет «*завтра*»? Возьмем иллюстрацию на Западе: Лев XIII обратился к социализму и начал связывать себя с рабочим движением. Все дивятся: «какое *новое* движение!» *Никакого* движения: вы обратите внимание, переменял ли и даже мог ли бы переменить Лев XIII что-либо в *себе* собственно, ну, например, откинуть археологическое «двери! двери!» перед пением Символа веры на литургии. «Двери! двери!» значит: «бегите к дверям, стражи, и посмотрите, не идут ли язычники Нерона и Веспасиана, чтобы открыть наше убежище в катакомбах». Кажется — старо и не соответствует действительности. А попробуйте это «старо» сдвинуть с места: не сдвинете. И папа собственно позволил *идти к себе* рабочим, он цветок своего сеяния повернул к поденщикам, но пяты своей исторической он не сдвинул, да и, очевидно, не может сдвинуть на «йоту» в сторону. «*Духу Святому* и нам изволилось»: это стоит под суммой всех догматов и канонов, как подпись, как удостоверение, как санкция, которой верили 10—15 веков. Да что «верили» — *молились* этому и *спаслись* этою верою миллиарды людей! Возьмем наш старообрядческий вопрос: неужели порознь, уединенно и келейно, каждый благий пастырь, всякий епархиальный архиерей, ради безмерной любви к единству религиозного сознания в стране и просто по смирению своему и доброте, не согласен был бы на «снятие клятв собора 1667 г. на старый обряд

и старые книги и старое двоеперстие». О, если бы в *этом*, в благом дыхании *индивидуальных* сердец было дело: раскол, который и держится только перед упорством неснимания «клятвы» с их отцов и дедов, завтра же перестал бы существовать! Какое благо! какое великое пожелание! какое совершилось бы истинно христианское движение и событие истории, слава целого царствования! Но ведь «клятвы 1667 г.» были положены свяшенно-церемониально; это не был порыв, но «рассмотрение», одежды и одежды, «разводы» и «разводы», евангелие на аналое, большой крест, величавое чтение. Нужно Церкви не святым же порывом, но облечась в Память и в Прошлое решить... что? Решиться пойти против них просто как против *обыкновенной памяти* и против *обыкновенного прошлого*. «Было и — вперед не будет»: вот этого *никогда* и при всяческой нужде не сможет сказать Церковь, даже до смерти и смертной муки. Еще пример: «клянусь св. Евангелием» — это произносится в присяге; в семидесятых годах даже в литературе поднялся протест за старообрядцев, говоривших, что «не можем мы клясться тою книгою, где сказано: **Не клянись ни небом, ни землею, ни всем, что тебе не принадлежит, но будут слова твои просто: ей-ей**». Была предложена и прекрасная перемена: «клянусь *перед* св. Евангелием». Кажется — все свято и право в этом пожелании, опирающемся прямо на слово Христа! Но «двери! двери!», т. е. принцип памяти прошлого — одолел, потому что он и вообще неодолим, составляя самую суть церкви как законченного и святого здания.

Вот почему и забегали обер-прокуроры, чиновники и чиновники; «все — *они*, и ничего более — *мы*». «У них наша школа; у них — программы и назначения». «Нас двигают, когда мы не двигаемся». В «С.-Петербургских Ведомостях» была передана в прошлом или позапрошлом году жалоба почившего митрополита Палладия: «Дело дошло до того, что мы даже накануне не знаем тех дел, которые сегодня нам предлагаются к обсуждению и заключению и подписанию». Едва ли очень осторожное сетование. Зачем вам *советоваться*? прибегать к земному и матерьяльному и погрешительному способу нахождения истины? «Духу святому и вам изволится»... Вся сумма дел церковных сейчас, и сверху донизу все вообще здание церкви, есть только перечень или «раскрытие» того, что «Духу Святому и вам изволилось». Отсюда — и авторитет, и это — суть. Для чего же вам знать накануне те дела, которые сегодня вы будете «по изволению Духа Святого» подписывать? «Дух святой сойдет на тебя» сегодня, как вчера, как прошлым годом, как в 1667 году, и так еще в Никее, Константинополе, Риме, вечно. Отсюда — все, всякие подробности. И если мир выносит этот авторитет, и не стонет, не подломился — уж не подламывайтесь и вы «на ноженьках», что вчера заготовленные бумаги в обер-прокурорской канцелярии сегодня вам будут поднесены для простого «соизволения». Вы благоухаете, и мы на это молимся; но мы ничего более не можем, потому что и вы ничего более не можете.

НА ЧЕРНОМ И ЖЕЛТОМ МАТЕРИКАХ

Война с бурами, которая обещала быть частным эпизодом английской истории, вырастает в явление общеевропейского интереса по тому чрезвычайному нравственному вниманию, которое она к себе притягивает. Дело в том, что в лице Панамы, шантажистов печати, Дрейфуса и пр. и пр., Европа испытала столько потрясений своей совести, что вести из Капской земли о героической борьбе полупастушеского народца с громадною всемирною акулой — поразили всех.

Вот уж новый дух, повеявший на старую и усталую Европу! Это — внуки, вдруг порадовавшие дедов; это — Ермак, слагающий к подножью Грозного покоренную им Сибирь в самую минуту горестных унижений Ливонской войны. Там была радость и отдых политические, здесь не менее важный нравственный отдых. Европа слишком связана сейчас духовно, и, не шевеля своими железными армиями, она очень может шевельнуться, да уже и шевельнулась, как нравственный авторитет, настроенный крайне враждебно к Англии. Англия чрезвычайно любит красивые позы и красивые фразы; Гладстон, «вознегодовав на отечество» (будто бы), с знаменитым возгласом о Болгарии, в сущности сыграл хорошую нравственную партию для своего отечества, вызвав упоение, едва ли дальновидное, целой Европы: «Смотрите — Англия! смотрите, какие там классические старцы! они читают Библию и Гомера, пишут стишки и не говорят иначе, как смотря на небо!». Доброму Джон Булю «все в котомку», и он разом собирает плоды и с гешефтмахерства Биконсфильда и от классических седи́н «великого старца».

Маленькая и нелицемерно благочестивая страна, страна скотоводов и охотников, заброшенная в сторону от больших путей истории, — она каждому европейскому народу напомнила его историческое детство такого же простого быта, такого же неломаного отношения к Богу, такого же мужества в перенесении опасностей.

Бог в помощь бурам! Борьба их не есть ли начало не обширной, но прекрасной истории маленькой страны, вроде Швейцарии? Напомним, что буров недостаточно покорить, — их нужно еще удержать в покорности. А, кажется, это народ не очень покорливый...

1900, февраль

Волны новой борьбы, на этот раз в Китае, заглушают последние остатки борьбы на юге Африки. Кажется, уже недолго продлится агония маленьких буров, проглатываемых «львом Британии». И, кажется, можно подвести итоги: что же мы пережили здесь, на континенте, за этот истекший год в отношении к столь далеким и казалось бы вовсе ни для кого третьего не интересным событиям?

Пережили сочувствие Европы к не-Европе, временами странным образом переходившие в отвращение к себе, в неуважение к своему; сочувствие всеобщее и пламенное! На фоне огромных пространств совершившейся и умершей жизни можно лучше разглядеть и оценить факт этого года, факт, которого мы — участники. В древности был «эллинизм»: Спарта, Афины, Коринф, Ахайя, эти десятки греческих городов и областей абсолютной политической между собою несвязанности и часто даже культурной противоположности, с огромным множеством далеко разбросанных колоний, имели что-то в себе, что в поздние годы истории получило название «эллинизма»: дух эллинов, идеалы Эллады, смысл лучших внешних и внутренних событий, там и здесь, сейчас и давно — объединилось в этом слове. Бороться против варваров — это было эллинизмом; призвать варваров в союзники к себе против могущественного соперника, как сделала Спарта в поздние годы против Афин, — это была измена эллинизму; захотеть над собой тирании — было изменой духу Эллады и казалось варварством. Эллинизм был критерием; эллинизм был заветом. — В Европе еще гораздо мощнее был общий, единый, трудно определяемый и могущественно-действующий дух; и вот нам чудится, что в этом-то духе и просвечивает теперь какая-то начальная трещинка, какой-то раскол, «распад», который хочется рассмотреть.

Без всякого соглашения, но с явным энтузиазмом все презирали Англию в Трансваальской войне. Вспыхнула борьба в Китае: и уже в Европе раздалась резкие укоры по адресу своих «дельцов», коммерческих и всяких других, слишком свободно там хозяйничавших. Речь Салисбюри о миссионерах, которые шли как апостолы христианства, а при первой неприятности бегут в консульства и требуют вооруженной помощи, поразительна по смыслу и останется долгим впечатлением в Европе. Во всяком случае... укоры и перекоры, как в отношении Трансвааля, так и Китая, что-то в круге совести, что-то в отношении общеевропейского духа. В сущности, события здесь и там пока маленькие; это не то, что огромная европейская война сдвигающимися миллионными армиями. Но огромное чуткое внимание решительно всей цивилизации, всего цивилизованного в Европе и Америке, вспыхнуло моментальным умственным пламенем к небольшим событиям. Боролась Пруссия с Австрией — это было местное явление; борьба двух и только двух; без интереса для кого-либо. События в Трансваале, напротив, при всей их миниатюрности, сразу же поняты были как общецивилизационные события и приковали к себе неслыханный интерес всех и каждого. Так внимали только

февральским дням в Париже, мартовским — в Берлине. Африка, Восточная Азия, как они обе перенесли на истомленные стога европейских городов, и стали как бы внутренними фактами европейской жизни. Люди, встречаясь, поздравляли друг друга с победой буров; лица всех делались грустны: значит — победа переходила на сторону Англии. И это в Петербурге и Нью-Йорке, без возражений с какой-либо стороны, в удивительном согласии, с поразительным энтузиазмом.

Общеввропейский дух, этот, так сказать, европейский эллинизм, род какого-то европейского славянофильства, был гордостью Европы о себе; и предположением честного человека, что вот это или то никогда не будет сделано — на почве Европы, европейскими людьми. Была граница возможного, за которою начиналось невозможное для европейских заветов, европейских идеалов. В мертвом царстве мы знаем кристал: его плоскости, его грани, его углы имеют математическую точность. Вот некоторую математическую точность, но нравственного порядка, и потерял сейчас европейский дух; и как о банкроте пишут на черной доске: «не платит», так в этот год все о Европе читали, подчеркивали, указывали: «это — нравственный банкрот; его вера и его дела, его лозунги и его поползновения имеют также мало общего между собою, как настоящий вексель с порядочною подписью и бронзовый вексель, на котором написано 1 000 000 и за который опасно дать рубль».

В Трансваале европейцы сочувствовали чужой первобытной свежести и явно не уважали свою старость. «Старые циники», — вот против чего все возмутились и закричали. Интересовались бытом маленькой далекой страны, нравственностью страны, верою страны; как и сейчас мы пытаемся вникнуть в духовный строй Китая, без исторического к нему презрения, с явною тенденциею что-то в нем рассмотреть, угадать и непременно уважить. В Трансваале сочувствовали не политическому успеху, но успевающему человеку, т. е. лично и нравственно. Жали руку доброму и радовались, что побили злого или негодного. Интерес был нравственный, интерес был совестный, в совести — без всякого любопытства собственно к политической стороне.

«Трещинка» общеввропейского духа, сейчас наблюдаемая, и заключается в саморазочаровании. *Европа утомилась собою и начала не доверять себе.* Ни в сороковых годах, ни в тридцатых — это явление не было еще возможно. Но во вторую половину истекающего века Европа сразу и как-то бесконечно постарела; она вдруг осела; начала расти в землю, как это делается со стариками. Вот впечатление и главная суть. Во внутренних европейских событиях чем ближе к концу века, тем яснее «общеввропейскою» делалась только пошлость. Все менялось; но пошлость не менялась. Появились ех-короли; появилась противоестественная политика; приключения Милана сербского, — смерть наследника австрийского престола — сливались или, по крайней мере, не противоречили в смысле с громкими судебными процессами Франции.

Нигде возвышения, а понижение — всюду. Вдруг англичан стали бить.— «Давно пора!» — вот восклицание Европы.

Змея меняет каждую весну шкурку. Старая шкурка отделяется от тела, морщится, лопается. Змея в это время болеет и представляет крайне отвратительный вид. С Европой делается что-то подобное этому болезненному и некрасивому процессу. Главное, чем мы возмущены были, как в Трансваале, так и сейчас в Китае,— это несомыми там и здесь плакатами, вывесками. Англия не просто шла приобрести себе алмазные копи, а, видите ли, она «возмущена» была «негуманным отношением буров к туземцам», патриархальным невежеством их управления, и хотела освободить, просветить и для этого присоединить; в Китае не беззастенчиво торговали опиумом, а сперва крестили и уже потом спаивали. Вот суть маленьких европейских «делишек». В Европе все это и всегда видели. В Европе приказчики укладывали в ящики опиум, отраву, грязь; ставили ярлык: «в Китай». И когда вдруг высоких коммерсантов и благочестивых миссионеров начали бить там, множество простых людей, зная всю подноготную, закричали: «мы это знали! это поделом!». В Европе и Америке незаинтересованные люди давно знают, чем, собственно, интересуются в Африке и в Азии их соотечественники; но никто не говорил, потому что не было повода, не представлялся случай. Поговаривали, но не кричали. Вдруг мелкие делишки выросли в величину конфликта; создалось политическое событие; потребовались войска, заговорили дипломаты, министры; и вдруг толпы закричали: «это — мошенничество, оно всегда было и есть».

То новое, что обнаруживается под старою шкуркою, что закричало, что слилось в энтузиазм всей Европы и Америки,— есть простое честное и простое доброе отношение к вещам и людям, без доктрин, без вывесок над собою. А то, против чего оно соединилось,— есть старые, вековые, но бесконечно обветшавшие в Европе доктрины, которыми прикрываются и в которых уже давно нет жизненного, творческого сока. Соединилась непосредственность против фразеологии, нерв — против силлогизма. Соединилось простое благожелательство к скотоводам и земледельцам — против движения их экономически облагодетельствовать и цивилизовать; соединилось простое уважение к чужой самостоятельности против попыток научить, просветить христианством и дать инструкторов военных и гражданских. «Руки прочь» — это восклицание Гладстона против Австрии, пролезавшей в Турцию, оно раздаётся сейчас в Европе по отношению к Европе же, лезущей на чёрный и жёлтый материк.

«Лицемерие» — вот старая шкурка Европы, которую усиливается сбросить болеющее животное. Европеизм раскалывается; старые обще-европейские лозунги, длинные и древние,— прекрасны, неоспоримы, но они просто *не действуют*, и вот их недействительность и есть пункт борьбы против них. Кто может сказать что-нибудь против христианст-

ва? Никто не может, а главное — никто не хочет. Но все говорят: «если ты умеешь действовать как христианин — то ты христианин, и таково твое имя; но если ты этого не умеешь — то и не называй себя всуе». Да, не нужно «всуе», ничего не нужно — вот короткий и новый лозунг, объединивший простых и честных людей Европы. Кто против образования? гражданства? «Но не делай этого предлогом» — вот опять лозунг, против которого трудно возразить. Тут дело не в абсолютной истине, но в истине принадлежности нашей к древним истинам, о которой поднялось всеобщее сомнение и презрительный смех: «мы христианизуем Китай!? мы защищаем готтентотов от буров!? Мы — просто хотим алмазных копей, и хотим порта, аренды, концессий; мы — выжиги, а лезем в святые и герои». И «старой шкурке» нечего возразить...

1900, июнь

Никогда еще Россия не была поставлена, непредвиденно и против воли, в положение столь неудобное, двусмысленное и опасное, как сейчас на Востоке. Прежде всего констатируем тот факт, факт просто зрительный и слуховой, что все русские, как частные люди, немножко на стороне «боксеров» и глубоко возмущены назойливостью, вероломством и эгоизмом европейцев, которые вызвали в Китае взрыв, положим, диких действий, однако долго созревавших в глухой, молчаливой ненависти, о которой не были неосведомлены как миссионеры, так и негодяи католические и протестантские. Мы, русские, сами испытали высокомерие и презрение католиков в свое смутное время; сами тогда освободились через народное движение; и логика и психология китайцев нам не незнакома из родной нашей истории. Это — раз. Во-вторых, сюда присоединяется и политическое соображение: расшевелил муравейник — куда бросятся муравьи? На соседа! Они поползут совершенно тихо, и тем более необоримо, поползут просто потому, что им мучительно, что их пошевелили дома; поползут как рабочие, как поселенцы, — и от такого движения избави нас Боже! Ничего нельзя представить себе более опасного в экономическом, политическом, во всяческом отношении. Китай спокойный, Китай, прижавшийся к Великому океану, Китай, весь сбившийся в кучу, с неодолимым центробежным стремлением в себе — это такое удобство для его соседа, которое дорого можно купить и ни за какую цену нельзя продать. Китай в желательном его виде — именно тот, каким он был всегда и каким усиливается сохраниться: доступный только в некоторых точках для соседей, и доступный так, как в Кяхте-Маймачине: мы получили от них товар и передали свой товар. Что нам там нужно, внутри его? Ничего. Европейцы нахлынули, они воткнули свои палки в опасный муравейник, так как что же им там угрожает?! Взяли свое — и уехали! Эксплуатируя Китай, европейцы играли

с порохом на заднем дворе нашего дома. У нас загорится, а у них будет цело. Ушли — и все тут. Европейцы потому жадно шли в Китай, потому их такое множество там сравнительно с нами, потому они под угрозой пушек требовали открытия себе новых и новых портов, что в Китае у них — только выгода, и ни малейшей угрозы. Можно заметить, как они спешат туда теперь с большими десантами, как они почти рады заварившейся там каше: «Что бы ни взяли — все ладно, и кто первый возьмет — тому и лучше!» Можно же чувствовать, как у европейских фабрикантов и коммерсантов разгораются сейчас глазки. В европейской истории не новость разорять, будто бы христианизируя, целые цивилизованные миры: так некогда испанцы хлынули в Мексиканскую империю и в Перуанскую империю и смыли эти древние культуры до основания. Может быть, кой у кого на Западе уже мелькает мысль, что на голодные европейские зубы очень кстати будут китайские богатства. Но какая выгода нам взамен тихого, трудолюбивого, мирного 400-миллионного царства получить в тылу какую-то оргию страстей и appetитов, какой-то мир случайностей и приключений?

На громадном, неизмеримом протяжении, около стран редкого русского населения и слабой русской культуры, мы имели соседство, где можно было довольствоваться охраной старых инвалидов, вышедших из употребления пушек, без опасности соперничества, нападения, без всякой, вообще, опасности. И этот теплый уголок облегченного существования, где с границы мы мирно брали любимый свой чай, бессовестной эксплуатацией доведен до взрыва, и мука нашего положения заключается в том, что неожиданно, невольно, фатально мы должны разорять условие своего собственного спокойствия и мира своими руками. Как будут ликовать иностранцы, если их отряды, «соединенные отряды», поведут в бой русские офицеры. И между тем все дело поставлено так, что уже дипломаты не могут или бессильны отсюда предупредить то или иное движение, прямо предпринимаемое во имя спасения там жизни. Никогда не было столь сложного положения! Конечно, нельзя не спасти жизнь человеку! Но спасая — мы нападаем, во всяком случае мы убиваем, в сущности, самозащищающихся людей, которые никогда ничего кроме добра нам не делали, а главное — обещают необозримое добро мирного соседства в будущем. Тут важно простое зрительное впечатление, какое получают и сохраняют китайцы: «Мы русским ничего не сделали, а они — против нас, в рядах наших мучителей». Нельзя сказать, что мы уничтожаем только разбойничью шайку, когда она до очевидности не в своих интересах действует, когда ею руководит национальная китайская партия и когда самое положение правительства между европейцами и этими «кулаками» — весьма неопределенно. Как будто гверильясы испанские, воюя против регулярных наполеоновских войск, не защищали отечество против иноземцев?! Но русские, запершие поляков в Кремле,

позволяют нам не прибегать к чужеземным иллюстрациям. Во всяком случае, воображать, что правительство китайское согласнее и, так сказать, интимнее с европейскими колонистами и десантами, чем со своим народом и народным, хотя и диким, движением,— значит представлять его себе не только европейски-образованным, но и национально-ренегатским. Ни на одно предположение, ни на другое у нас нет прав.

В этом необыкновенно трудном положении вся задача русских, кажется, должна состоять в том, чтобы как можно более устраняться от всякого «рука об руку» с иностранцами. Мы имеем причины для большого сетования на иностранцев за их долголетнюю политику на Востоке, но никакого мотива не имеем, чтобы вытащить на этот раз драгоценнейшие каштаны с пылающих углей своего заднего двора и предложить их в завтрак наследникам Биконсфильда, Бисмарка и Андраши. Да пройдет мимо нас эта чаша горькой полыни...

1900, сентябрь

ЖЕЛТЫЙ ЧЕЛОВЕК В ПЕРЕДЕЛКЕ

Между многими прекрасными и новыми наблюдениями, какие сделал Дарвин, меня всегда особенно привлекало начало уподобления. Гусеница бабочки, сидящая на суке, серовато-черноватая, с одним или двумя переломами в тельце, совершенно сливается цветом и фигурой с суком. Другая крошечная гусеница, сидящая на зеленом листе и объедающая его, совершенно не отделима от него по своему зеленому цвету и мясистой фигурке. Зимой зайцы — белые, летом — серые. Конечно, странно предполагать, как объяснял Дарвин, что некогда, положим, гусеницы на капусте были всех цветов радуги, но птицы выклевали гусениц шести цветов спектра и оставили только зеленого цвета, которых не заметили; что волки съедали серых зайцев зимой и белых летом, и оставили только те счастливые случайные исключения, которые зимою были беловаты, а летом сероваты. Словом, объяснения Дарвина фантастичны, неправдоподобны и как-то глубоко неуклюжи, тогда как наблюдение его не только верно и превосходно, но и имеет в себе какую-то эстетическую прелесть. Да, все в мире *подобится*, потому что все любит друг друга какую-то слепой, безотчетной, глупую и неборимую любовью. Мы сказали: «любит»; но это — конечно, не в смысле нашего специального и тесного чувства любви, а в гораздо более общем смысле, однако имеющем что-то родственное с нашей любовью: все, каждая вещь даже извне отражает в себе окружающее, и факт, открытый Дарвином, может быть лучше назвать *зеркальностью* вещей, нежели объяснять его «перезиванием приспособленнейших». Я вот давно присматриваюсь к чухонцам. Какое своеобразное лицо! Бороды нет, или она сбрита, инстинктивно сбрита; волосы бесцветные, бесцветные глаза; что-то мертвое, серое, худое, угловатое в лице, фигуре. Как-то на меня смотрит чухна-извозчик, смотрит так, что и фигура, и лицо его пролагается на фоне родного соснового пейзажа: и вот он — как пятно среди пятен. «Фу, белоглазая чудь!», — подумал я; «какое верное определение: действительно — белоглазая! Как таких любят женщины? — ни точки выдающейся во всем лице и в целой фигуре!» Я гулял с детьми по лесу и остановился. Прилегли. Подо мной был ковер исландского моху, этого длинного, корявого, угловатого, серого, некрасивого. «Вот на кого похож чухонец», — подумал я. Этой мысли нельзя «доказать», потому что, как проводить параллель между мхом и человеком?! Конечно —

они не совпадут! Но не совпадут геометрически, а художественно — совпадут! Есть что-то общее между этим белесоватым и угловатым человеком, живущим среди мхов, и самым мхом. Как будто мох и человек бесконечно долго стояли друг перед другом и начали мало-помалу близиться, уподобляться, сливаться, конечно, — не в фигуре и не в смысле, а в художественном, так сказать, фокусе своем. Еще замечание: живя среди столь тусклой природы, чухонец должен бы любить яркое и цветное, напр. в платье. Между тем костюм их столь же бесцветен, общ, сер, тускл, как их таратайки и лошаденки, как вся Финляндия. Проверая, прав ли я во впечатлительности своей, я перенесся мыслью к великородам: в красной рубашке, с поясом-ленточкой, в смазных сапогах и шароварах за голенищем, наконец, в шляпе старого типа, с короткими, загнутыми кверху полями, — нельзя ли сблизить его по общей живой внешности, сблизить в художественном его фокусе, с преобладающим растением его страны — зеленой кудрявой березкой? Такой же веселый вид, нарядность и постоянная подвижность...

Отсюда, из этой связи человека с родным ему миром, — тоска вне родины. «Все не по мне». Однако ведь «по тебе» пища, жалованье, отопление, освещение, вся цивилизация? «Вся цивилизация не по мне, потому что я серый человек, я мшистый человек, а эта другая цивилизация — игривая и яркая». Да, иногда думается, что эта взаимная зеркальность вещей простирается даже на цивилизацию, и в ее штрихи входит что-то из ландшафта природы, из угловатого или округлого лица человека. Вся русская цивилизация отличается мягкостью, как характерен мягкий сгиб русского носа. Горбоносый римлянин или тяжелоносый армянин создали бы и действительно создали совсем иную цивилизацию, а белоглазая и безгласная чужд тоже свою: она 4000 лет промолчала и даже, вечно ездя на быстрых своих лошадках, только сосала трубку и никогда не догадалась запеть.

Мысли эти, которые я не придумываю, а они сами лезут в голову, невольно я применяю к желтому человеку. Тут одно воспоминание. Лет должно быть десять назад я был в гостях у знаменитого педагога нашего времени Серг. Алекс. Рачинского в его Татеве. Среди отдыха и ничегонеделья он показывал мне разные фотографии то местностей, то людей, и над одной группой фотографий я не мог не остановиться. Я знал раньше о каком-то японце, посещающем Татеве, но ничего не знал о нем определенного и осмысленного. Остановившая мое внимание группа фотографий и была японского и полуяпонского, европейского и полувосточного содержания. Тут он мне сказал, что это Сережа Саотзы, его любимый или один из любимых учеников, ставший христианином, — «а вот и его семейство», «в такие-то и такие-то годы». Саотзы был юношей, почти мальчиком, а его семейство, отец с матерью и братья и сестры, — уже старые или взрослые японцы. «Вот это Сережа, когда он еще ходил в японском костюме, а вот — как он теперь». «Вот он — один, кабинетный портрет, а вот — группа семейная, и все они — еще

они, а он — уже христианин». Я рассматривал. Я не художник. Но ведь всякий о березе скажет, что она — нарядна, а о сосне, о хвойном дереве — что оно угрюмо. Дробь художника есть в каждом из нас, и этую дробью в себе художника я невольно смутился.

Тут все дело в том, что на некоторых photographиях, вывезенных из Японии, был и ландшафт, т. е. мебель и обстановка их чрезвычайно открытых, воздушных жилищ, и кой-что из деревьев, их листвы и распределения сучков. Что у человека и разных пород человека — стан фигуры, выражение лица, то у дерева и разных пород деревьев особое расположение сучьев. Весь вид дерева определяется не формою и цветом листа, это — морфология, а расположением сучьев, которое определяет характер дерева и характерное в дереве. В Крыму, спускаясь впервые с гор, я Бог весть как далеко завидел, помнится в Симеизе, кипарисы. «Это что за чудо? Что это за прелесть? Что это за изнеженная аристократия среди северных простолюдинов?!» Дуб, пальма, береза, сосна, тополь — все это говорит на своих языках и говорит именно характерным видом расположения своих сучьев. Так было и на японском пейзаже. Не зная местной природы, я не могу объяснить источников своего впечатления: но скажу только, что все в пейзаже было прелестно, гибко, как-то переломлено в сучьях, малотенисто и от этого бесконечно воздушно. Ничего сырого и ничего тяжелого.

Поэтому, увидав Сережу Саотзы в рединготе и застегнутого на все пуговицы, я был поражен сыростью и тяжестью его фигуры на фоне ландшафта существенно легкого. Вот бегемот пробует сесть за завтрак и подвязывает себе салфетку. В данном случае «бегемотом» был редингот. Замечу следующее. Все японцы, как и все, кажется, китайцы, немного сутуловаты. Вероятно, жаркий климат делает то, что фигура их несколько опущена. Европейец по фигуре всегда гвардеец; на гвардейце редингот сидит великолепно, — прямая спина, выпяченная грудь, открытое большое лицо и этак как-нибудь усики. Соответственная стрижка волос, полукороткая, с пробором. Все дает впечатление целого, все — картина. Но все картина — у нас; вот — паркет, обширный зал, картины по стенам, каменные стены, громадный домина, зимние зеркальные рамы, свет люстр и в стороне пылающий камин; у подъезда — дожидющееся ландо. Все чудно сплочено, сколочено, все глядится друг в друга, как зеркала, повешенные друг против друга. Теперь возьмите японца; на сутуловатой, непременно и исторически сутуловатой его фигуре, редингот сидит мешком; в сутуловатом — что-то скромное, и ведь скромность может быть прелестна; но соединение скромного в позе с гордым костюмом — есть смешное, есть претензия, есть хвастовство. Все имеет вид украденного костюма, который второпях передел на себя воришка и идет по улице. Скверно. И вместе с тем человек прекрасен. «Это не я украл, это меня украли у моей цивилизации, с моего ландшафта, у моих родных и из моего дома; украли, положили в карман, как вещь, и показывают, как бонбоньерку».

Так тоскливо я думал, смотря на фотографии. Обращу еще внимание на японское лицо. Оно — без углов, какое-то округлое, мешочком, похоже на недозрелые маленькие арбузы, какие продают в конце июля неопытным. Без всякой растительности снизу. Это яблочко с узенькими глазками, под рединготом — опять смешно, опять обезьяна, опять является бесконечное к нему неуважение. Около большого европейца, его фигуры, усов, цилиндра, галстука, — переодетый в европейца «Сереза Саотзы» есть просто «малый», кому хочется сказать: «Принеси, братец мой, лимонаду». Да. Переодетый есть всегда немножечко лакей того, в чей костюм он переоделся. Он потерял связь со своими зеркалами: ландшафтом, небом, деревьями; и, очутившись среди системы новых для него отражателей, — растерян, убит, уничтожен. То же было бы с европейцем в императорском Риме, с русским — в Афинах. В обществе Перикла и Аспазии представляю себе нашего... ну, положим, даже Кречинского. Он стал бы ма-а-а-ленький, маленький!

И везде мал человек, кроме как у себя; а у себя он всегда в меру и гармонично росл. Костюмы японские — суть какие-то материи, накинутые на тело, с прорезами для рук, но не длинные, не до земли. На сутуловатой его фигурке они прекрасно рисуются, и в воздушном пейзаже и среди легкой мебели производят впечатление необходимой малости. Большой человек и гордый вид и не шел бы к этой мебели и характерно летнему ландшафту. Летом большое тело тяжело, а маленькое тело — к лету идет. И все японцы и все японское не только «идет», но единственно оно «идет» к японскому небу, и островам, и морю, и зелени, и складке сучка у дерева, и к форме их листьев, и к легоньким носилкам, на которых их несут, а они не едут в ландо. У себя японец — природа; у нас — феерия: вернувшись к себе и усвоив наше — он феерия же, которую едва ли приязненно встречают туземцы. Тут решает не размышление, не наука, едва ли даже религия, а художество. «Ты не красив, и я не люблю некрасивого».

Отсюда, я думаю, глубокая разделенность, которую не создают туземцы около христианина-японца или китайца, но эта разделенность сама вырастает. Она вырастает на почве взаимной некрасивости. Разве вы дружите с людьми самыми умными, самыми благочестивыми, даже самыми честными? — Нет. Просто вы дружите с людьми, самыми для вас милыми суммою неизъяснимых и неопределимых, большею частью художественных, качеств; совпадение центров художественного плана двух людей устроит дружбу, как несовпадение этих центров производит разлад. Это мне симпатично, а это антипатично, этот симпатичен, а тот антипатичен. Тут действуют законы дополнительных цветов, законы контраста и законы однотонности, т. е. вообще пластические, а не законы умственные, этические и вероисповедные. Японец, который, в переломке в русского, так поразил некрасивостью меня, русского, — поразил просто и разом, без объяснений и доказательств, — можно представить себе, как он поражает сородичей! Кажется, они так и называют

перемалеванных: «обезьяны», «черти». Это едва ли религиозный термин. Скорее это термин эстетического негодования.

Рассмотрев фотографии, конечно, я не передал С. А. Рачинскому своего тоскливого впечатления. Он дал мне книжку, им изданную и написанную прозелитом: «Как я стал христианином. Сергея Саотзы». Я ее прочел. Она прекрасна в духе, в тоне, в описаниях, в рассуждениях, хотя этот дух слишком общий дух, этот тон слишком общий тон и эти рассуждения и описания — все чрезвычайно общее и не имеет в себе ни одной черты личной. Как будто книжка написана на тему, как вообще и почему вообще делаются христианами, напр. вот я, Сергей Саотзы. Гораздо позднее, уже приехав в Петербург, я познакомился на службе с одним бывшим воспитанником С.-Петербургской духовной академии, с которым учился вместе, т. е. начинал становиться православным богословом, и этот Сергей или Сережа Саотзы.— «Отличный был мальчик, отличный товарищ, веселый и живой, очень неглупый». Еще позднее, совсем недавно, мне привелось узнать от одного соседа Рачинского по имени дальнейшую судьбу японца: он сделался офицером и служит в котором-то полку.— «А что же богословие? Духовная академия? Свежее зерно на свежей почве, и привитое такой могущественною рукою (Рачинский), как в смысле просветительном, так и в смысле благочестия?» — «Не знаю; только он пошел в офицеры». Т. е. ничего не вышло ожидаемого. Он пал в русский океан, как желтая капля своей желтой родины, смешавшись и утонув в волнах бесцветной, во всяком случае не колоритной в смысле христианства и богословия — русской интеллигенции, и утонул в ней. Ничего не вышло, если вдуматься. Стало русских 140 000 001, а японцев 39 999 999. Разница арифметическая, а не для Бога и не для цивилизации.

Именно Божия-то дела тут и не выходит. Божье началось бы, если бы он поехал на родину, если б он привел к нам и нашей вере своих родных, кого-нибудь из друзей детства, и вообще если бы он пал обратно на родину — христианским лучом. Конечно, это от него и ожидалось, но этого не случилось. Может быть, он напишет когда-нибудь более любопытные воспоминания: «Как я был христианином, и что делал и что чувствовал до старости». Без сомнения, с ним что-то произошло, от чего он предпочел, сойдя со специальных путей, на которые был поставлен, свернуть на большую и общую дорогу интеллигентного существования, как, напр., и его товарищ по духовной академии — ставший контрольным чиновником, как и другое множество семинаристов, становящихся докторами и проч. Между тем он находился под влиянием, и малая доля которого не падает от заурядного миссионера. Он находился среди полного русского быта, среди огромных образовательных средств, в глубочайше благочестивой обстановке, под написанием обдуманного и уточненного научения. И сказал: «Я пойду в офицеры»... Не вышло несколько страницы евангельского обращения, страницы апостольского прозелитизма, но одна из обыкновен-

ных и ничем не выдающихся страниц русского интеллигентного расшатывания старого быта, и последующего интеллигентного праздношатайства.— «Был японцем, поступил в духовную академию, а потом поступил в офицеры». Типичный образчик типичного русского существования.

* * *

От этого частного случая перейдем к соображениям более общим. Мне кажется, когда говорят о миссионерстве на Востоке, всегда недоговаривают самого важного, и от этого самого важного не понимают. Ведь отсюда, сидя в Петербурге, Москве, Тамбове, Нижнем, сидя в Берлине, Париже, Лондоне, как представляется дело? «Им понесли христианство, а они не приняли и восстали, потому что они грубы и желты». Или: «благородные европейские народы приняли Евангельскую весть, а вот монголы, низшая раса, не принимают». Так дело формулируется издали. А чтобы почувствовать, до чего мы правы в пропаганде, а они не правы в сопротивлении, мы открываем нагорную проповедь и читаем:

«Блаженны чистые сердцем, яко тии узрят Бога»...

«Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божиими»...

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся»...

«Блаженны вы, когда вас будут изгонять»... И прочее.

Пораженные, мы закрываем книгу и со слезами спрашиваем: «вот чего они не захотели принять!» — «Вот что мы несли им, и вот что не вошло в их желтую кожу, потому что самая эта кожа негодная, и проклят всяк человек, отвергающий столь очевидную истину; и теперь, когда они нас прогнали и убили, остается их завоевать, сорвать с них прежнюю кожу, облечь их, даже насильно облечь, в нашу белую, и вообще во все наше белое существование, христианское существование».

Так дело разыгрывается и, может быть, так кончится. Но раньше, чем будет «поставлен крест» над желтым существованием, мне хочется повести белого человека туда, вдаль, и, так сказать, попробовать год за годом пережить с ним впечатления «обращаемого». Сергей Саотзы и мой товарищ по контрольной службе, бывший студент Духовной Петербургской академии, помогут усилиям нашего воображения.

Мы прочитали нагорную проповедь — и заплакали. Прочитал ее с нами и Саотзы — и заплакал же. Это первый день, светлый день творения христианина.

Но ведь солнце не останавливается и луна бежит по небосклону. За «сегодня» наступит «завтра», за «завтра» — «послезавтра», потекут дни, недели, годы; и из первого класса семинарии юный прозелит переходит во второй, третий, пятый, девятый; идет в академию; он «становится «богословом», а не христианином. И настоящее заглавие книжки, какую написал Саотзы и издал С. А. Рачинский, не «Как я стал христианином — Сергея Саотзы», а «Как Саотзы, из Кио-Сиу, поступил в С.-Петербургскую духовную академию». Устраним иллюзию

общего, поставим на ее месте конкретное, определенное — и пыл остынет. Рачинский — художник, и ему нравится: «Как я стал христианином; но я — реалист, и мне более нравится: «Как я стал семинаристом». Уверен, что в этом — все дело, и бедный «порченный японец», если бы ему случилось прочесть эти строки, прямо упал бы мне в объятия и сказал бы: «да! да! в этом все дело, я только не умел объяснить! Они говорили всем, что делают из меня христианина, и этого я сам хотел, прочтя Евангелие: но на самом деле они стали делать из меня бурсака, и вот этого я не хочу, этого я не понимаю и от этого я убежал в офицеры, потому что это все-таки правда и понятное мне, и более похожее на мое родное Кио-Сиу, чем ужасный подрясничек и стихарчик, в котором ни победать, ни засмеяться, а только стоять благочестиво и безмолствовать. Я не захотел! Я не хочу».

В самом деле, за «сегодня» наступает «завтра», и, пройдя нагорную проповедь, поражающую его блистанием, всякий японец и китаец переходит на второй год к катехизису. Это — фатум, без этого нельзя. Без надежды и уверенности пройти с японцем и китайцем «ки катехизис» — решительно ни один миссионер не двинулся бы шагу на Восток из Берлина, Лондона, Петербурга. В этом все дело. Сердце наше опадает, сердце японца падает. О, я сам помню, из студенческих лет еще, весну 1879 года в Москве, на Третьей Мещанской, в доме Сабуровой. Я сидел на окне в своей светелочке. За нашим большим двором начинался сад — глубокий, душистый. Шел, должно быть; апрель или май. Не то что было бело в саду, но сад был весь белый, весь пушистый и чудный. Цвели вишенки, бесчисленные вишенки. Вечер не жарок, но тепел. Через два дня экзамен у проф. Сергиевского, и вот вместо лекций литографированных я учил, из страницы в страницу, его печатную книжку: «Апологетическое богословие»... Взгляд — на страничку книги, и потом устно повторяя — взгляд в сад...

Я ничего не запомнил.

Помню только, что мне было тяжело. О, как грустно было, и скучно. Никакого протеста, да и зачем протест, и против чего? Ведь я был малыш и необразованный человек. Но мне было ужасно грустно, потому что секунды эти были единственные, а ведь таких книжек много... Их много, и они всегда, везде, а вот этот сад, и этот вечер и я, мой возраст в этот вечер — единственное сочетание! Толсто надувши щеки, я вздохнул, отвернулся к стене, к обоям какой-то «резедой в рамке», и начал «дуть»: 1) «доказательство онтологическое бытия Божия», 2) «доказательство нравственное того же», 3) «доказательство телеологическое — того же». — «Буль-буль-буль», точно тону. — 1) «Возражения против материалистов», 2) «Возражения против рационалистов», 3) «Возражения против мистиков». — Я все «буль-буль»... 1) «Неправомыслие Дарвина», 2) «Неправомыслие Спенсера»: все я «буль-буль»... И прошли годы; я ничего не помню из ученого, и только помню все же белые пушистые вишенки, которые и видел-то мельком и в отдалении.

Как будто от Бога я оторвался, а погрузился в не-Божие. И вот Божие — запомнилось, а человеческое — пропало. Так, я думаю, и японец.

И для него родина, с ее чудеснейшими пейзажами,— то же, что для меня — весна, но своеобразная, своя родная японская весна. И вот на фоне ее, с воспоминаниями о ней, он учит во второй, третий или девятый год:

- 1) Неправомыслие Лютера об оправдании одною верою.
- 2) Неправомыслие католиков о чистилище.
- 3) Неправомыслие старообрядцев, слагающих крестное знамение двумя перстами.

И прочее. Ох как это теперь далеко от нагорной проповеди! «Что же они меня манили нагорною проповедью? И что же, в Берлине, Петербурге, Лондоне они так компактно и вообще красиво для себя и некрасиво для нас формулируют: «Мы их обращали в христианство, а они нас не приняли, а и приняв — пошли в офицеры».

Все очень обыкновенно. И из наших духовных академий идут в чиновники и в доктора, и мы все не весьма пылки в вере и не весьма интересуемся богословскими вопросами, хотя кто же из нас имеет что-нибудь против которой-нибудь страницы Евангелия? Так в Европе, так везде. И так в Японии и в Китае. Ожидая сейчас каких-то апостольских озарений на Востоке, мы забываем, что апостолы несли только Евангелие, а мы сейчас несем «и 1800 лет после Евангелия», к «непрерывной вере и непрерывному исполнению»,— что совершенно не одно и то же. «И катехизис», «и богослужение», «и апологетическое богословие», и еще тысяча таких же непрерывных «и»... В этом все дело! На Западе, при посылке миссионеров, кажется «одно христианство»; в Азии, на Востоке видят и вкушают и понуждаются вовсе не к этому, а «к исповеданию Тридентского собора», к «Аугсбургскому исповеданию», к «Никейскому исповеданию». Не спорим, что это истинно и фундаментально; но ведь это уже не нагорная проповедь: а прося отворить себе двери, открыть порты, дать свободу миссиям в Китае и Японии — просили открыть двери именно нагорной проповеди, и выслушать слово и учение Христа! Так говорили дипломаты и первые миссионеры, кратко и наскоро объясняя, что это «блаженны алчущие правды» и «тому подобное».

От этого апостолы успевали, мы не успеваем. У апостолов было одно Евангелие, а доказать его, и поразить им, и ослепить им — легче, чем последующими «1800 годами наших дум об Евангелии». Но и не только это. Христианство было тогда *in statu nascenti**, и оно заражало и рождало, к чему ни прикасалось, этим своим *statu nascenti*. Но христианство давно перестало быть бродилом, дрожжами. Оно не «бродит», а установилось. И это его внутреннее только статическое, а не динамическое состояние — есть огромная причина притупления его действия.

* в процессе возникновения (*лат.*).

Христианство не только не успевает в Японии и Китае, оно не успевает и в самой Европе. Никто против него не спорит, но никто им и не пламенует. Говорят, сами миссионеры холодны. Лично мы этого не знаем, но, оглядываясь на Европу, уже лично думаем: «холодны».

И наконец нужно высказать одну великодушную мысль. «Разве вы не знаете, что солнце восходит над добрыми и злыми». Это сказал наш Господь. Можем ли мы думать, что китайцы и японцы совершенно вне мысли Божией и вне Божия о них попечения?.. «Разве вы не знаете, что и волос человеческий не падает с головы без воли Божией»? Итак, большие и тысячелетние пути Востока Азии совершились ли вне того Провидения, которое движет и планеты в путях их? Поэтому наша мысль подойти к ним как к некоторому щепню историческому, подлежащему к разбору, едва ли даже религиозна. Они только слепы в истине; они не глаголют истину; но *существуют* они в истине. Их особые пути, их странные верования, их некоторые прекрасные воззрения, как, напр., культ предков, уважение к старшим, благоговение к царю, который — «сын Небесный», все это, конечно, не вне мысли Божией и даже не без некоторого небесного веяния на землю. Все прекрасное на земле — от Бога. Мы слишком рационалисты и, показывая свои пушки, которые «сами сделали», воображаем, что так же «сама сделалась» и всякая цивилизация. Но пушки — это одно, а обширная цивилизация — это другое. Одно — искусство, и оно принадлежит человеку; другое — природа, и она принадлежит Богу. Китай стоит от сложения земли. Он — самый ранний; он — первый; до него — никого не было, ничего ясного не было на земле. Это — первичное человеческое устройство, без перерывов существовавшее до сих пор. Я — бедный человек, я — малый человек, мне осталось десять лет жизни; итак, что бы мне Китай? Но я не могу, необъяснимо для себя не могу, без мистического трепета думать о *небытии* Китая, о *разрушении* Китая, о сведении его к *провинциальному европейскому существованию*. Пошатнется что-то действительно «срединное»; и я думаю, сам не зная почему, что «конец Китая» был бы вообще «началом конца концов». Самому европейцу отраднo сознать, что еще «не все — европейское». Мы еще не знаем глубин полной европейской тоски. «Теперь — *только* мы на земле», «теперь — *все* уже Европа», «и Вильгельм, и социалисты, и Крупп, прусские юнкера и французская палата депутатов». Я говорю, что глубин европейской тоски, тоски европеизма, «от моря до моря», от океана до океана, между землей и небом — мы еще не измерили, и вовсе не знаем этого чувства, но предугадывать — можем. Это — именно конечное, эта тоска собственного европейского существования. Найдем ли мы внутри европейского существования бесконечное? А без бесконечного человек существовать не может. Все идеалы европейские замечательно конечны. Мы стали баловаться спиритизмом,

окультизмом. Что за притча? — «Может быть, там — бесконечное!» Но там, конечно, нет бесконечности, а только наши шалости и наша скука. Главный центр бесконечного — в истории, в будущем. И вот пока есть Китай — есть великий и даже последний «х» в истории, стерев который мы получаем уже слишком разрешимое уравнение. Остаются слишком конечные и даже слишком малые для истинной занимательности величины: соперничество Германии и России, окончательное торжество евреев, конец морского и колониального могущества Англии, и еще несколько подобных тем, совершенно доступных Иловайскому. Да, забыл: еще миссионеры! — «и окончательное мирное распространение миссионеров по всем странам земли». Право, это гробом пахнет. Едва мы уьем первое детство человечества,— я говорю о Японии и Китае — как тотчас же ощутим сами первое дуновение и настоящей старости, и собственной могилы. И вот это-то чувство и будет одно *ново* в Европе, и оно будет чрезвычайно страшно...

1900

НАШИ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ УСОПШИЕ

Много лет назад я беседовал с одним старым доктором о разных сторонах его науки, и, между прочим, спросил об особенно мало мне понятной ее части, именуемой судебной медициной.

— Я понимаю, что это прикладная медицина, как есть прикладная математика. Чистая математика занимается числами, величинами и взаимными положениями величин, как иксами, игреками и зетами. Прикладная математика на место z , y , x — подставляет балки, цемент, рельсы — и получается инженерное искусство или, еще частнее, искусство строить железные дороги. Но судебная медицина? Это, по-видимому, приложение анатомии, физиологии и патологии к... судебным казусам? Да?

— К труп, о котором мы не знаем, как он стал трупом,— относительно которого у судебной власти есть сомнение, чтобы он стал трупом естественным образом. Есть случаи, когда судья решительно ничего не может сделать без доктора, не может сделать самого первого шага: начать следствие.

— Например?

— В моей практике был такой случай. Сгорел дом и в нем обгорел труп; труп не только обуглился, но сгорели его внутренности, и по желудку, легким, не говоря о наружных признаках, нельзя было заключить, имеем ли мы дело с несчастьем или с судебным казусом. Я велел распиливать череп. Через череп проходят в некоторых точках кровеносные жилы. Если бы он сгорел живым, жилы эти были бы наполнены артериальной кровью и в разрезе дали бы ряд красных точек; но точки были черные, жилы были наполнены венозной кровью, и человек задушен был раньше, чем сгорел. Вот определение, и вот что нужно было знать судебному следователю.

За многими истекшими годами я могу ошибиться в качестве точек: были ли они красные, черные или другого цвета. Но я точно помню главный очерк рассказа, т. е. что вот был пожар, найден сгоревший труп, и что по единственному остатку, его черепу, именно через разрез последнего и цвет соответствующих точек, доктор не колеблясь, а утвердительно сказал судебному следователю, что это — убитый человек, а не сгоревший. Значит — «ищи». И закон, судья начали искать.

Человек может утонуть; но можно уже мертвого человека бросить в воду. Смотря по тому, чем наполнены легкие, водою или кровью,

доктор говорит, утопленник это или удушенник. И т. д. Наука не может быть передана в кратких строках, и достаточно, если здесь мы укажем, что наука эта есть разумная, что наука эта есть полезная, что наука эта есть уместная.

Но, позвольте: доктора приводят на скотобойню и, указывая на только что заколотого быка, говорят: «определи причину смерти». Если бы этот доктор был умный человек, он оскорбился бы за себя; если бы он понимал свою науку, он ответил бы:

— Позвольте. Наука есть познание неизвестных причин по известным последствиям. И если вам нужно открыть что-нибудь, увидеть научным глазом то, чего не видно вовсе простым глазом необразованного человека,— я к вашим услугам, к услугам общества. Но вы подводите меня к быку и задаете проблему: «Вот мясник заколол быка: скажите, г. доктор, отчего умер бык»? — Я могу только смеяться вашему вопросу, я могу рассердиться на вашу невежливость, но мне не о чем рассуждать с вами.

Так поступил бы врач, благовоспитанный в своей науке. Но что сказать о враче, который с университетским значком входит на бойню, и, щупая теплого еще быка, начинает длинную речь:

— Э, позвольте, позвольте,— это все не наука. Вы говорите: его заколол мясник. Это уж мне лучше знать, мясник ли его заколол, или бык закололся сам, например случайно наткнувшись на нож; или может быть он был удушен, а мясник уже потом проколол ему кожу и жилу, так что выходит, что как-будто он заколот, а на самом деле он не заколот. Позвольте, позвольте, не перебивайте речь: и бойня ваша ничего не значит, и кровь под быком ничего не значит, потому что ее мог принести в бутылке этот же г. мясник и подлить ее под тушу быка. Позвольте, позвольте, не кричите и не волнуйтесь: вы не учились, а я учился, и вот у меня значок, что в составе других наук медицинского факультета я слушал и эту, которая называется судебною медициною...

Мне кажется, такой доктор прежде всего не понимал бы своей науки; но и кроме того: он обнаружил бы чрезвычайно много грубости, неделикатности в чисто житейском смысле...

* * *

Груб может быть человек; но гораздо печальнее, когда человек со своими грубыми манипуляциями, не нужными исследованиями, является только подневольным исполнителем общего правила, верного в своем существенном смысле, но которое становится чем-то бесчеловечно-жестоким, циничным и наконец наглым, применяясь к случаю, совершенно не подходящему. Такое режущее впечатление вероятно произошло на многих недавнее в газетах сообщение о финале страшной царскосельской драмы. Сестра-убийца, выбежав из дома, бежала по улицам и, встретив детей своих с гувернанткой, крикнула им: «не подходите ко мне, я дурная мать»; вошли в дом, где нашли труп застреленной из ревности девушки-сестры: она бежала, хваталась

за косяки дверей, и упала в последней комнате. Но вот финал: «К величайшему ужасу, произведенное судебно-медицинское вскрытие тела убитой показало убитую *девушкой*».

По всему вероятно, ни сестра-убийца, ни ее муж не могли помешать вскрытию. У нас когда закон входит — уж человек молчи. Едва в вашу квартиру вошел человек с бляхой, кокардою, цепью и, словом, чем-нибудь металлическим в составе знаков своего достоинства, — так уж не вы хозяин этой квартиры, а он; и ваша обязанность только отвечать на вопросы, какие вам будут предложены властительным и неделикатным гостем.

Входят судебный следователь и доктор и берут тело.

— Позвольте, это наше тело, нашего родного человека...

— Позвольте, позвольте — закон. Я — закон.

— Но, позвольте, ведь и родство — тоже закон, и тело — наше.

— Оно и будет ваше — после; оно ваше в смысле суммы ног, рук, головы, внутренностей и прочее, которые мы все вам возвратим в целости, а пока — распотрошим.

— Да вы кто?

— Доктор и представитель судебной медицины.

— Да тут нет казуса для вас.

— Есть казус. Труп. Убийство.

— Но ведь убийство так ясно, как убиение быка на бойне.

— Для вас, потому что вы не учились. Но я учился и для меня оно не ясно.

— Но вы видите пули, кровь, след и путь бегства, видите лицо и слышите слова убийцы, знаете мотив убийства и, наконец, если уж очень любопытны, можете ощупать отверстие ран в затылке, спине... Тут нет темы для исследования, нет неизвестного предмета, который вам предлежало бы найти по известным данным.

— А вот мы покопаемся и, может быть, что-нибудь найдем. Это уж наша наука и вообще это наш круг обязанностей, специальность нашего знания и должности, а вы, как частный человек, пожалуйста, на время отойдите...

И экспертиза произведена; и единственно новое, что она нашла и может быть чего искала, что погибшая — действительно девушка!

— Да зачем это вам?

— Да ведь убийство из ревности.

— Ну?

— Мы и открыли, что не было причины для ревности. Вина убийцы отягощается. Судебный казус, и мы добыли деталь. Наука.

— Да вы с ума сошли и с вашей наукой, а, пожалуй, — и с вашим судебным воззрением...

— Почему?

— Неужели жена могла начать ревновать и дойти в этой ревности до исступления, только получив или заподозрив данные, что убитая уже не девушка? Что за вопрос! Что за чудовищная мысль! Неужели с *этого*

начинается ревность и *это* имеет своим предметом, раздражителем, мучителем ревность? Ревнуют к любви, а не к анатомии. Жена любила мужа. Если бы она не любила, она бы и не ревновала и даже не выстрелила бы, имея перед глазами те данные, которых вы торжественно ищете. Ей было бы все равно. Но раз в ней было чувство любви, то оно и относилось к чувству же любви, к его уменьшению, охлаждению, и ясному для несчастной, или подозреваемому несчастною, предмету новой любви. Почему вы думаете, что начинают стрелять только... начиная с физиологической измены?

— Так написано в законе.

— Что написано?

— Прелюбодеяние состоит в этом. До этого нет вины.

— Вы хотите сказать: нет мотива к гневу, ярости, выстрелу?

— Да.

— Но, помутившиеся ваши сердца,— если нет мотива для медика и для члена духовной консистории, то он есть для жены, как любящего и чистого создания, и которая имеет мужа, а не есть только предмет обстановки своего мужа. Что за нигилизм в вашем понятии о прелюбодеянии и в воззрении на женщину, супругу, супружескую верность и жизнь! Вы говорите о науке, а от вас псиной пахнет, как от собаки. Вы квалифицируете прелюбодеяние, как мог бы квалифицировать его доезжайчий на псарне.

— Наше дело исполнить, а уж тут закон.

— Да, конечно, закон. И как закон, так и исполнитель — оба не без вины... Закон не договорил, что «судебное медицинское вскрытие может иметь место только в виду неясности причин смерти или способа смерти», когда это вскрытие «может добыть данные, безусловно необходимые для судебного следователя, ставшего в тупик перед вопросом, кто убил и как убил». Но ни судебный следователь не должен спрашивать медика, ни медик — отвечать ему, если картина убийства дана, нарисована, удостоверена до полной очевидности суммой других данных. Анатомический нож есть последнее средство вынудить как бы у самого убитого указание на убийцу; но огромная ошибка заключается в том, что у нас прибегается к этому ножу не как к последнему средству, а напротив, как к первому и какому-то непременно. Прежде всего хватаются за нож: вскрыть убитого, распотрошить его! Это — по-китайски... Нет, хуже: у китайцев есть уважение к мертвецу, было это уважение у язычников, а у нас — нет.

Известен священный ужас к сожжению трупов, проект которого обсуждался и в нашей печати несколько лет назад. Между тем сжечь или схоронить в землю тело — не одно ли и то же в священном смысле? Огонь во всяком случае чище земли. Далее, сгоревшее тело уже никогда не будет оскорблено, а вот мне самому пришлось видеть, как в Нижнем, в огромном бугре над Волгой, где давно и следа не было кладбища, случайно осыпавшаяся земля обнажила целый угол должно быть древнего кладбища, с торчавшими гробами, костями ног и черепами. Это было

неподалеку от гимназии и самых центральных мест города. Я был гимназистом и, как занимался любительски анатомией, то сам извлек оттуда несколько черепов. Никто вообще останков этих ничем не прикрыл, и вместе с людьми к ним могли подходить и, без сомнения, подходили и собаки. При сожжении тел этого не будет никогда, вечно. Но тем не менее сожжение все-таки ужасно, и вот чем: образ, вид, очертание тела, лица и, наконец, связь частей дорогого покойника — абсолютно уничтожаются; и как?! — фабричным способом, в огромной печке, через какой-то раскаленный газ! Вот эта фабрика уничтожения тел и ужасна: «ты прожил свой век и умер; теперь мы живем и не хотим нюхать ни твоей вони, ни опасаться заражения от тебя воды или земли. Сгинь вовсе!.. Да мы и придумали, как тебя... свести к нулю: мы сожжем тебя». В круге этой мысли есть нечто ужасное, и это ужасное лежит в отчуждении живых людей от умерших, сегодняшних — от вчерашних. Ужасно, потому что грубо; ужасно, потому что цинично...

Хоронить в земле — предпочтительнее, потому что тут выражается, что мы не тяготимся покойниками, что хотя они и умерли, но сами тела их дороги нам. Кстати, в видах введения в некоторые скромные границы нашего христианского самонадеяния, сделаем одно параллельное историческое припоминание: однажды Перикл вернулся с битвы, морской битвы, победителем. Его спросили:

— А подобрал ли и похоронил ли ты тела убитых?

Битва была очень трудна, и победа почти неожиданна. Именно впопыхах радости афиняне-победители и сам Перикл забыли о долге к павшим. Тела не были подобраны и похоронены; кстати, нелегко их было и собирать по морю и везти на землю. Но это едва не стоило головы Периклу и другим вождям! Их победа была сброшена насмарку, вместо награды они получили жесточайшие порицания и, как говорю, их едва формально не потребовали к суду и не казнили за кощунство, за святотатство! Так чувствовали язычники; но не так чувствуем мы, христиане:

— Вскрыл девицу, и оказалась невинной,— говорит доктор.

— Вскрытая девица оказалась невинной — записывает в протокол судебный следователь.

— К ужасу всех свидетелей кровавой драмы, судебно-медицинское вскрытие обнаружило совершенную невинность потерпевшей; она оказалась девицей.

Так известил корреспондент свою газету; и все газеты столицы повторили: «Она — девица».

И все это — о человеке с определенным именем, о человеке с родными, о человеке в самом деле невинном и так ужасно несчастном! О человеке столь юном, как 16—17-летняя девушка,— и все на основании закона! по правилам науки!!

Неуважение, цинизм. Глубочайшее непонимание святыни смерти, святыни реликвий; истинное неуважение чувства родства. Просто — свинство. Иначе и назвать нельзя. И нас хотят уверить, что мы или

вообще из нас кто-то «чает воскресения мертвых»... Красивая риторика вокруг нашего бездушия: ни я не «чаю», ни ты, читатель, не «чаешь»; ни судебный медик, ни следователь, наконец — ни закон и общество...

— Чаю...

— Что «чаю»?

— Чаю «воскресения мертвых».

— Ну, вот не ожидал.

— Нет, я в самом деле; нет — это моя вера...

— Ну, «вера»! Далеко «вера»! Конечно, не сказать нельзя, что — «вера»: ибо ведь как же жить и сохранить порядок? Это как бы вроде полицейского устоя и столба, чтобы не падало ничто и чтобы нас чем не задавило. А вот мы справили потрошенного покойничка на Смоленское, и пока он «чает»; мы — закуски и чаю. Кстати, около самых ворот Смоленского здесь кладбища, vis-a-vis с церковным домом и всяческими лавочками монументов и венков, огромная-огромная стоит гостиница, и с вывеской: «Поминальные обеды». И батюшки не обходят; и родные, и приятели покойничка; и все они «чают воскресения» и спрашивают «закуски и чаю»... Но закуски они съедают, а «чаяния»... так, вроде десерта к закуске, для разговоров и сохранения вида. «Все-таки не китайцы». Но, я думаю, мы в данном пункте все немножечко китайцы, и даже, меньше, чем китайцы.

«И все бесчисленные бедняки-китайцы,— продолжает корреспондент,— ежегодно эмигрирующие из Небесной Империи, неизменно связаны между собою невидимыми для европейцев социальными связями, контрактами и синдикатами, ограждающими их от всех тех бедствий и опасностей, которым подвергаются эмигранты других стран.— В этих договорах все предвидено и определено, *даже смерть. На случай смерти какому-нибудь работающему в Калифорнии кули гарантируется перевезение его тела обратно на родину, что китайцами считается необходимым условием покоя умершего*». Так я прочел в одной из журнальных статей этого года.

Да, и Пушкин сказал:

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать...

Вот эта поэзия,— да не одна поэзия, а и религия,— «своего угла» для могилы, извечно присуща смертному. Извечно мы будем любить покойного. Любовь эта, уважение к праху — один из краеугольных камней красоты образа человеческого. «Я умер, но ты найдешь мою могилу»;— сказал и древний египтянин своими пирамидами. Только христиане смотрят на умерших, как на собак: «сжечь их»? «опустить в землю»? «на родине»? «на чужбине»? — «Э, все равно, где-нибудь и куда-нибудь». Заметим, что ведь не так бы дорого было умирающих

на кораблях людей — их очень немного! — в свинцовых гробах отправлять на родину, к родным: но их спускают в море, конечно после отпевания — однако на съедение акулам! Я говорю, что у христиан нет почтения к праху, или, по крайней мере, его меньше, чем у древних и у современных язычников. Между тем умерший человек — это невозвратимое и бывшее. «Мы его никогда более не увидим, никогда, вечно!» Как это страшно! Какое испытание для любви, перелом жизни сердца! Тут следовало бы не плакать слезами наемных плакальщиц, а настоящими. И если бы к живым у нас были настоящие слезы, умели бы мы отстаивать и прах умерших почивших.

Кстати, о бесконечно грустных петербургских похоронах, о которых ничего не знает матушка зеленая Русь. Здесь обязательно гроб должен быть закрыт и заколочен на дому. Ни по пути, на протяжении нескольких верст, к кладбищу, ни в кладбищенской церкви, во время довольно долгого отпевания, родные и друзья уже не видят черт возлюбленного покойника. Мне тоже пришлось так хоронить своего «присного». Положительно, я был раздражен и спросил:

— Да отчего это?

— Да может быть зараза.

— Да какая же зараза от умершего воспалением мозга?

— А мы не знаем.

— Так вы спросите.

— А кого мы спросим, да и очень нам надо.

— Да нет ничего проще: ведь у вас и внести покойника на кладбище не допускается без пропуска от полиции, а в свою очередь полиция выдает пропуск, только получив докторское удостоверение, от какой болезни умер покойник. Две бумаги, и вот только бы кратко приписывать в них: доктору — «умер не от заразной болезни», а полиции «хоронить открыто», и отец, мать, родные видели бы лишних три часа лицо умершего. Это дорого.

— Ну, вот дорого. Умер,— и конец. А нам возня. Теперь все гробики заколочены, и так-то живо — пропоем и к выносу. Хорошо начальство распорядилось. И никаких этих «нагробных рыданий», за которыми бы прошел лишний час. А нам когда? У нас — требы.

Я похоронил малютку-дочь и не мог не подумать даже в ту утружденную минуту:

— Ну, и люди!

Нет, если мне придется (чего Боже избави!) умереть и быть похороненным в Петербурге, я все усилия сделаю обратиться в того злого китайца, который, по их желтым легендам, будучи похоронен не на родине — не дает покоя живым и посещает их; и в особенности бы вечно плевал в те поминальные «яства и пития», которыми заниматься ведь есть и досуг и охота в нашей гастрономически-нигилистической цивилизации.

Начальству следовало бы все это обдумать.

ИЗ-ЗА ЧЕГО СЫР-БОР ЗАГОРЕЛСЯ?

(О ген. А. Кирееве
и его хлопотах)

Позволительно человеку, не окончательно глупому, предложить печатно вопрос, которого он никак себе разрешить не может и который, по-видимому, совершенно ясно разрешен множеством самых почтенных людей. Почти лет двадцать назад, слушая в Московском университете лекции по всеобщей истории, на одной из них, читанной профессором Герье, пишущий эти строки услышал приблизительно такую фразу: «Провозглашение папской непогрешимости на Ватиканском соборе вызвало протест и отделение нескольких епископов; но это не имеет в себе жизни, так как непогрешимость папы, правда не формулированная в догмат, всегда была в католической церкви, как мнение, и никогда не вызывало протестов». Меня поразило чрезвычайно спокойный и равнодушный тон профессора: сам он — протестант; в сфере своей науки — чрезвычайно строгий ум, и тоже равнодушный к самым страстным увлечениям минуты. Наконец, по убеждениям — это прогрессист и либерал, который особенно должен был бы подшутить над «непогрешимостью» римского pontifex'a. Но, излагая в курсе лекций ход развития римского католицизма, он почти мимоходом и совершенно безапелляционно сказал: «конечно, папа непогрешимым чувствуется не только с 1870 года, но решительно всегда». Как юного студента, меня это поразило, и вот 20 лет я думаю: «в самом ли деле он не погрешим, т. е. не с моей точки зрения, а с ихней, католической?»

Нынешним летом я разговорился с одним богословом (православным) и высказал удивление, что ведь вот папа даже с социалистами почти дружит, однако ни словом никогда не обронился относительно «погрешностей» в древней папистской истории, напр. хотя бы относительно сожжения Джордано Бруно, заключения Галилея в тюрьму и проч. Богослов этот, весьма обширной учености и притом ярый противник папства, сказал, почти вступаясь за папство: «да, католики не распространяются, но и теперь, как в древности, уверены, что церковь вправе казнить своих отступников даже до сожжения на костре: церковь католическая нисколько не переменяла этого своего мнения». Меня и в этом тоне поразила логика. Мой собеседник как бы говорил: «Тут — логика, и католики были бы смешны и похожи на детей, если бы они не были логичны».

Прочтя в № 8855 «Нов. Врем.» статью почтенного деятеля по старокатолическому вопросу ген. А. Киреева, я и решился «лучше поздно, чем никогда» обратиться к нему с вопросом: да имеет ли старокатолическое движение серьезный фундамент под собой, более серьезный, чем добрые пожелания, прекрасные исторические воспоминания и совершенно несбыточные надежды? Ведь уже сейчас можно заметить, что старокатолическое движение, вспыхнувшее было довольно горячо в семидесятых годах, не только не запылало пожаром в Европе, но перешло к... хладно-хроническому существованию, которое теплится «яко лампада» и потухнет, как только масло выгорит или светильня догорит; и как светильни, так и масла в сей новенькой лампаде не Бог весть как много, даже пожалуй — чуть-чуть на доньшке.

О чем спорит ген. Киреев? Разве, напр., наша церковь, православная, погрешима? Он сам упоминает в своей статье о епископе старокатоликов д-ре Вебере, который, опровергая статью д-ра Циригибеля в «Немецком Меркурии», формулирует, что «Немецкий Меркурий не есть ни официальный, ни официозный орган старокатолической церкви, и что поэтому д-р Циригбель в нем высказал лишь свое собственное мнение, ни в каком случае не могущее быть рассматриваемым, как *мнение церковного* (старокатолического) *правительства*». Вы видите, что тон совершенно «ультрамонтанский», только не в пользу папы, а в пользу себя, старокатолицизма. «Вчера был папа непогрешим, сегодня — мы». Да иначе и невозможно: тут логика и психология. Ну, как же бы старокатолики потрясли авторитет Рима, если бы сейчас же они не перенесли «Рим» в себя? Рим — вечность. Что такое Рим? Авторитет.

В довольно наивных рассуждениях Хомяков, во 2-м богословском томе его «Сочинений», дело прямо так и начинается с заявления: «Церковь — не авторитет, а любовь». Это его новая точка зрения, которую он и развивает во всем томе. Ну, хорошо, допустим, что «любовь». Это ведь высшее, абсолютнейшее, Божие? Хомяков скажет: «Да». Тогда я, старокатолики, папство, кто угодно, «приняв всю любовь на свои плечи» или в свое сердце, говорю: «Вот какая драгоценность; нет еще такого сокровища на земле; у меня — любовь, а у вас раздоры; напою я вас из своей амфоры — и не будете вы алкать, не напою — будете терзать друг друга; без меня — вы погибли, все погибли, мир погиб; берегите же меня; выплеснется моя любовь из амфоры — и пропало дело, для всей земли и всячески пропало. Не коснитесь до моих одежд, не толкните меня нечаянно, раскройте уши, разиньте рот: я буду с ложки давать каждому по унции любви, а к тому же и научать словами любовными и истинными». Получился авторитет. Теперь вы можете заподозревать, что в амфоре не любовь и прочее, но это — уже нигилизм, это — непотребство, бунт. Нельзя этого допустить. Нет, Хомяков и Самарин, подняв в книге знамя «любви», тоже почувствовали себя довольно авторитетно, и, например, в известном предисловии Ю. Ф. Самарин прямо провозгласил Хомякова «Отцом церкви», «вселенским учителем

церкви». Довольно много для журналиста и обыкновенного помещика. Но всякий глупый поймет, что и тут потянуло к папству, к естественному и неодолимому росту «я», к всемирности, к абсолютности. Да это и непременно: кто держит в руках абсолют — тот абсолютен. Был акт «искупления», 1900 лет назад, «от греха, проклятия и смерти», и с завещанием Искупившего в словах особенных и поразительных: «Симон Ионин — паси агнцев моих, паси овец моих» (от Иоанна, гл. 21). Ну, вот на этом все и основано. Что же абсолютнее есть снятия греха с человека? И кто держит или кому передано «искупление», «врата Царства Небесного», — тот и абсолютен. Правда, сонм епископов вселенной закричит: «И мы — епископы; и в Риме — тоже *только* епископ». Но крик этот довольно неудачен, ибо совершенно очевидно, что Петру, в глубочайшем и таинственнейшем Евангелии от Иоанна, в заключительной его главе, передано *все*, и притом *лично* и *исключительно*. «А этому что», — спросил Петр, получив необыкновенные заветы от Иисуса, о любимом его ученике Иоанне: «Тебе что?» — ответил Иисус: «ты — иди за мной, а этот пребудет, доколе я не приду». Римский епископат вовсе держится не на апостольском учреждении епископства, административном только и удобном: епископство — ничто в папе, придаток, привесок, малая одежда. Папа приял все Спасителево, он пастырь мира: и глаголов Иисусовых *об этом самом* не выжжешь из Евангелия. Я русский, я православный; отвергаю совершенно папство; но ведь у меня есть еще логика, и я не сомневаюсь во всем, что сейчас написал: он (папа) есть камень, на котором все зиждется... и который всех пасет, а вне его — только «разговоры»...

И старокатоличество — только «разговор» один. И они, повинувшись абсолютному уклону, потянулись к абсолютной же, но только провинциальной, в своем углу, власти. Ведь папа «непогрешим» не как Пий, не как Лев, не как человек и имя, но как сан и должность, как миссия и апостольство, «*ex cathedra*». Так и формулировано было на Ватиканском соборе, что «*ex cathedra*». Но позвольте, разве, напр., наш священник, говоря на литургии в церкви проповедь, «погрешим»? Нисколько. И ни один царь, перебив его, не станет ему возражать, не может ему возражать. Это самая *суть* церкви и всего в ней *священства*, что «*ex cathedra*» им никому в частности и всем вообще нельзя возражать... иначе как *из «церкви» же*. Протестанты возражают католикам: но для того, чтобы начать это, им нужно было выйти из церкви и начать свою церковь. Кто возразил священнику во время проповеди — тотчас и стал второю и новою перед ним церковью. Старокатолики возразили против одного, единственного постановления церковного — и сейчас полетели в бездну «новой церкви», где живут, развиваются, строятся и перестраиваются, но уже по своему особому закону и совершенно вне орбиты старой церкви. Да это так вечно будет, и это непременно. Церковь есть авторитет. Сперва, может быть, она есть любовь, «искупление», но сейчас же вслед за этим — авторитет!

Разве наш Синод не называется «святейшим»? А святость и безгрешность — одно. Пусть ген. А. Киреев возразит Синоду: тогда мы поверим чистосердечию и его возражений против древнекатолического, а в сущности вселенско-общего учения о непогрешимости вообще «сего святого места». Митрополит — в Сербии, у нас — Синод, у старокатоликов — «правительство» их, у римлян — папа, и даже у славянофилов — Хомяков «ex cathedra», «в книгах», «в слове спасительном о любви» — непогрешимы. Но и далее, разве мы не исповедуем в Символе веры: «и во едину *святую* (безгрешную) соборную и апостольскую церковь». Славянофилы сейчас закричат: «а, соборную, — это мы, Хомяков с Самариным, или по крайней мере Синод»; но папа, раскрыв от Иоанна 21-ю главу, прочтет о личном Симону-Петру вверении «овец Моих»: глагол Спасителя, против которого мало что могут поделать последующие судьбы церкви. Ибо ведь глагол-то этот особенный, поразительный, прямо на самом конце четвертого таинственнейшего Евангелия и очевидно во всем тоне — завещательный. Спаситель, как бы возносясь, сказал: «Вот — Я возношусь, а вам (миру, овцам) оставляю Симона, сына Ионина»... Кто не верит или думает, что я преувеличиваю, — пусть перечтет. Ведь весь мир верит, что Евангелие есть книга любви; между тем «да любите друг друга» составляет всего одну строчку. Как было папам не поверить целой главе, столь *лично* сказанной, столь таинственно указующей, после дней страдания и воскресения, непосредственно перед вознесением Спасителя на небо? Да это — новозаветная милость (одежда), как и брошенная Илиею пророком ученику своему Елисею. И милость эта пала в Рим.

Передачей «пасомых овец и агнцев» *лично* и *исключительно* Петру Спаситель отстранил всякую мысль собственно о коллективизме в церкви. Да и непонятно, зачем этот коллективизм, даже по нашему учению. «Духу святому и *нам* изволилось», или «Духу Святому и *мне* изволилось» — разве не все равно? Ни «я», ни «мы» тут незначачи, а только — Дух Святой, который и говорит многоязычно или одноязычно, в соборе или в папе. Ведь нужно быть совершенно скептиком и заподозрить не только папу, но и соборы, чтобы сказать, что «Дух Святой» произносится только ради титула, а на самом деле тут «мы», многие, дебатырующие, «выясняющие» истину, друг друга ограничивающие, друг за другом подсматривающие и наблюдающие, а посему и «несогрешающие» в отличие от папы, который «один-то Бог знает, что назлоумышляет». И папа — советуется, учится; папство хорошо организовано. Но в решительную минуту, ex cathedra — он лично, как Пий или Лев, исчезает, остается сан, апостольство, и «Святой Дух», рекущий в судьбах истории, направляющий стопы избранных, напр. его, Синода, проповедующего священника, и даже Хомякова или сотрудников журнала «Миссионерское обозрение». Увы, в разных степенях — они все святы: святость в смысле обширности приложения — распространяется расходящимися кругами; напр., очень велик круг святости в Петербурге,

но Петербург всего существует с 1703 года, Россия — с 862 года, христианство у нас — с 988 года. А Рим через «непосредственное рукоположение», без единого перерыва, существует от распятого апостола Петра, и о самом этом распятии таинственно предсказал ему Иисус перед своим возвращением, одновременно с посланничеством: «иди пасти их». Это — совсем другая традиция. Мы — новенькое, мы — недавенькие. Это мы в этом понимаем, и, главное, что можем *чувствовать*? Ведь о нас-то «лично» ни словечка не сказано в евангелиях и даже в посланиях. Совсем другое чувство и самоощущение. Правда, предание рассказывает, что «Андрей Первозванный, приплыв к берегам Черного моря, водрозил там крест»... И ведь как оно нам дорого, это предание! Мы — не умолчим о нем в каждом учебнике истории, мы чуть-чуть зиждемся на нем, оно — камень под нами, не очень большой, но которого мы никак не хотим оттолкнуть. А каков же «камень» под Римом?! с распятым там апостолом Петром? со словами Спасителя Петру: «Ты, ты, все на тебя кладу, ты будешь, как и Я же, распят, но — там, в Риме, который Я полагаю в столп мира на место этого Сиона, который дерзнул не принять Меня, и от которого камня на камне не останется?!»

Но, может быть, я говорю вздор? Может быть, я с поразительной слепотою чего-нибудь не вижу, что с поразительной ясностью видит ген. А. Киреев? Может быть. Но я чистосердечно не вижу и чистосердечно прошу его раскрыть мне глаза. Главное пусть бы он поговорил на тему, что мы все, миряне — ужасно грешны, а они все, от папы до священника, святы, «безгрешны», откуда и проистек особенный термин «священства», а не «учительства», или «пастырства», или «руководства», или еще какой другой возможный. Дело ведь в том, что вся эта область есть область святости, «искупления от греха»: а на святом месте стоящий есть «святой» или «безгрешный».

Но эта «безгрешность», выросшая в факт на Западе, осталась на Востоке бессильным посягновением, — как, впрочем, и следовало ожидать по точному глаголу Иисуса («паси овец» и проч.). На Востоке на этом основалось чрезвычайное раздражение против Запада, ибо никто более не мучится, чем завидующий. Византия подсказала Руси, что католики — даже не христиане, и в Московском государстве был закон, по которому принимаемых в лоно православия папистов положено было крестить, как бы они приходили в церковь из язычества. Константинопольский патриарх именовал себя: «Судия Вселенной, имеющий права Бога» («Богословский Вестник», 1901 г., июнь, стр. 380); и если в то же время он принужден был выпрашивать подаяния у Великих Московских князей и дипломатизировать около Султана, то это было уже положение истории, а не внутренняя психология. Психология же — одна, в Риме, Константинополе, Петербурге, в Калуге или Туле. Но только она везде — не провиденциальна, и потому везде не удалась, а удалась там, где была провиденциальна: «Паси агнцев Моих! паси овец Моих! паси овец Моих!» (трижды).

Неподалеку от Рима, однако за городом, стоит громадный собор San Paulo,— параллель св. Петру в Риме. В медальонах, часть которых пустые и ожидают портрета, помещены *все* папы, «епископы», начиная с ап. Петра. Я сосчитал их и записал счет, но сейчас не могу найти бумажку, куда занес цифры. Это в самом деле традиция, перед которою константинопольские традиции — детская улыбка! И дела в истории, идущие от Константинополя, тоже не работа гигантов, а шалости мальчиков, позднее наказанных султанами. Но вот что больше меня поразило. Тело св. Апостола Павла покоится в склепе под собором. Неподалеку от собора великолепный монастырь, и при нем часовня с тремя ключами, именуемая «Три фонтана»: рассказывает предание, что они открылись в местах, которых коснулась голова св. ап. Павла, отсеченная мечом римского воина; и тут же камень, на котором была усекута глава Апостола (внутри часовни). Может быть, легенда? Но ей верят. «А на камне веры созиждется все». Дело в том, что им есть *во что* верить. Ведь читают же они все, от папы до последнего испанского гидальго, что потрясающее душу (даже *мою*) последнее завещание Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня? — паси овец Моих!» Но я договорю о Соборе. Над телом ап. Павла воздвигнут балдахин, и в нем колоссальная мраморная статуя. Он держит в руке — книгу. Я всмотрелся: — это — разогнутое... «*Послание к Римлянам*»!! Я прочел: «Павел раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к Благовестию Божию... *всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и мир*»...

«Вам»... как это услышать из уст Апостола!! Ну, если б в Евангелии были слова: «вам, Московитам», если бы было «послание апостола Павла к Москвичам»... Я думаю, у нас была бы такая радуга в сердце, с которой мы сочинили бы нечто большее, чем «Краткое руководство к русской истории» Иловайского. Но не было сего.

А не было, нет *камня* под нами,— то и машем мы только руками. Посягаем. Волнуемся. Кричим, что у нас Андрей Первозванный водрузил крест; да ведь и водрузил-то он еще печенегам и половцам, а уж никак не русским. Никакого «Послания к русским» нет и не было...

І. Закон Божий в училищах

Крайняя невлиятельность в наших училищах так называемого «Закона Божия» — вещь общеизвестная. Между тем причины таковой невлиятельности далеко не ясны. Два недельных урока, отведенные на преподавание его от первого до восьмого класса, достаточны для очень большого усвоения. Если прибавить сюда два или три часа, проводимые еженедельно учениками на церковной праздничной и предпраздничной службах, то мы получим сумму впечатлений и длительность действия очень значительную. Однако ни для кого не секрет, как мало религиозного приносят с собой русские юноши в университет, где краткие лекции на первых двух семестрах по курсу богословия мало что прибавляют к легкой ноше гимназии. Между тем солидное религиозное воспитание юношества есть и останется всегда одной из капитальных задач школы, и особенно таковой она останется у нас, как ответ на запрос вообще очень религиозно настроенного населения.

Ветхозаветная и новозаветная часть этого курса отнесена к самому детскому возрасту учеников, к первому и второму классам гимназии. Два коротеньких учебничка, Рудакова или Соколова, разучиваются: один в первом классе — это Священная история Ветхого Завета, и один во втором классе — это Священная история Нового Завета. По-видимому, такое распределение вытекло не из самого материала преподавания, а, скорее, из времени преподавания. Один год, еще один год; и в два года *повествовательная* часть предмета кончена. Начиная с третьего класса, вплоть до восьмого, т. е. шесть лет, и притом самых важных для духовного склада ученика лет, уделяется догматическому мышлению и литургическим подробностям, включая в состав первого и историю христианской церкви. При первом же взгляде нельзя не быть пораженным, что только один второй класс гимназии посвящен Священной истории Нового Завета, и это есть часть, конечно, бесследно тонушая среди других частей курса, и более солидно поставленных, и проходимых в более солидные годы ученика.

Между тем более чем естественно желать, чтобы Священная история Нового Завета выдвинулась на передний фасад всей восьмилетней программы и проходила не по пересказам Рудакова или Соколова, но как *подлинное Слово Божие* в подлинном Слове боговдохновенном — Евангелии. Обратим внимание на странность вообще всего строя

преподавания в наших школах Закона Божия: в них дано ничтожное положение собственно догмату, догмат совершенно теряется в сознании учеников, во внимании учеников, и это внимание загромождается комментариями к догмату. Что есть христианство? Слово Божие, слово Иисуса Христа. Это слово, однако, даже и отдаленно не заучивается с тем благоговением и вниманием, как литургический, катехизический и всякий другой комментарий к нему. Все внимание и все силы учеников сосредоточены на *подробностях катехизиса и литургии*, между тем как Евангелие заменено *пересказами*. Из четырех евангелий, почти совпадающих в смысле излагаемых там событий и содержащихся там слов Иисуса Христа, может быть составлено, *без перемен в тексте*, одно *евангельское повествование о жизни и учении Иисуса Христа*; и вот это-то Евангелие должно быть предметом самого тщательного изучения учениками. Для отроческого и юношеского ума были бы неотразимо убедительны, неотразимо понятны нравственные истины, оставленные человечеству в несравненной красоте бесед, изречений, притчей; но для них гораздо менее вразумительны и часто совсем непонятны тонкие споры, которые поднялись впоследствии в христианском мире и разделили его. Слово Божие, этот истинный и единственный догмат равно всех церквей, всего христианского мира, вполне может быть *усвояемо наизусть, заучиваемо*, как теперь заучиваются только катехизис и литургия; а изучение катехизиса, т. е. собственно только *комментария* к Слову Божию, может быть отодвинуто несколько далее, к более сознательным годам юности; что же касается литургии, то гораздо желательнее усвоение ее *в пластических впечатлениях* при посещении церковной службы, нежели в мелочных и утомительных объяснениях, в которых перед взором ученика как бы развинчивается и показывается по частям, подобно механизму, напр., часов, пышный и мистический, в высшей степени *музыкальный* церемониал служб. Едва ли это удобно даже в смысле сохранения благоговения к церковной службе; ибо мистически благоговеть мы можем только к тому, в чем есть место для *тайны*, чего мы *не умеем развинтить и понять*.

1900, февраль

* * *

При усилиях поставить в реформируемой теперь школе преподавание всех предметов на другие и лучшие основания, чем на каких оно стояло до сих пор, нельзя не обратить особенного внимания на так называемый «Закон Божий». Та же сухая программа и здесь, как на уроках алгебры или немецкого языка; та же ответственность преподавателя и ученика к экзамену; тот же насоро составленный и сжатый до последней степени учебник; то же унылое «от сих до сих» на завтра; и имена праотцев патриархов, пророков, святых, запоминаемые с таким же чувством, как

реки Австралии или плоскогорья Азии. Между тем кто же станет спорить, что задачи преподавания здесь совершенно другие; что Евангелие или Ветхий Завет и, наконец, история христианства — не «сухой материал», практически необходимый для путешественника, торговца и для читателя газет. «Практично необходимое» в Законе Божьем именно — воздействие на душу ученика; воздействие на его *воображение* живых фигур мучеников, апостолов, пророков; *картина* событий истории, самой потрясающей; и, наконец, *размышление* над нравственными законами, над заповеданиями совести человеческой, какие оставил миру и человеку Христос. Где это все? В пожелании — это у каждого; в осуществлении — ни у кого. Нет ничего печальнее тех длинных славянских текстов, которые, полу-разумев их, выучивают на память ученики гимназий; тех сложно-хитрых умозрительных построений, которые возникли как плод ученой работы над вопросами веры: и эту ученую работу (катехизис) распутывают, с усилиями и напрасно, отроческие наивные и беззаботные головы! Память обременена, а совесть не просвещена. Да, совесть, ибо конечно *суть* Закона Божия и его миссия на земле — *будить и просвещать разбужденную совесть*. Добавим, что *разбор единичных встречающихся или возможных случаев из живой жизни, поступков в жизни, при свете евангельском* — вот прекрасная как бы *хрестоматия*, которая может и составляться и изучаться на беседах пастыря с учениками. Что мы наблюдаем сейчас? Безверие и обрывки богословских знаний. Лучше дайте веры, и дайте ее хотя бы в ущерб богословским умозрительным построениям, при уменьшенном фактическом материале. Кто же не знает, что из духовных наших академий выходят пастыри не более ревностные в вере, а часто и более слабые, чем поступающие в священство прямо из семинарий. Вот огромное наблюдение, которое может нас разочаровать в благом действии обширных программ по Закону Божьему. Совершенно очевидно, что *качества* воздействия есть единственная сторона, которая здесь что-нибудь значит. Контингент наших законоучителей-священников таков, что можно без опасения доверить им преподавание с меньшей требовательностью относительно программ, экзаменов и прочих принадлежностей усердной и ускоренной зубрячки. И мы думаем, что через это выиграют не только дети, выиграет прежде всего Церковь, Россия — в смысле оживления в ней веры. И теперь школьные воспоминания, какие есть, в той части их, которая касается Закона Божьего, — всегда сосредоточиваются около личности «батюшки». Никто не пишет: «как мы славно учили катехизис — до сих пор помню», но многие записали: «какой светлый и хороший был у нас законоучитель: его речи и объяснения я до сих пор помню». На этом и нужно основать все, пустив в рост всё доброе, и обстригая — безразличное в смысле действия на душу.

1900, апрель

II. Семинаристы-студенты

Теперь, когда наше учебное дело тронулось так всесторонне и всевозможные нужды учащихся находят себе благоприятное внимание, свое временно напомнить о едва ли основательном устранении от университета воспитанников семинарий. Им открыт доступ в три университета — Томский, Юрьевский и Варшавский. По положению университетов видно, что тут имеется в виду не столько интерес учащихся, сколько цели обрусения. Семинаристы — слишком коренные русские люди, чтобы не придать русскую окраску всякому месту, где они появляются. Но вполне гуманно принять во внимание и их собственные интересы. Трудолюбие, старательность воспитанников семинарии слишком общеизвестная и общепризнанная вещь, чтобы о ней надо было распространяться. Подготовленность их в смысле общего развития не представляет сомнения для всякого, кто помнит время, когда все университеты были для них отворены и они были в первых рядах студенчества по даровитости, прилежанию и, так сказать, наукоспособности. Целый ряд светил нашей профессуры вышел из семинаристов. Ограничимся для краткости одним именем: покойным Вышнеградским, директором Технологического института и потом министром финансов; напомним также известного историка Ключевского. Огромное множество бывших семинаристов, пройдя после семинарии университет, трудятся теперь на разнообразнейших поприщах государственной службы и общественной деятельности. Из семинаристов вышло множество докторов, некоторые — с большим именем. Таким образом, вне всякого сомнения, *университет только выиграет от притока к нему студентов из духовного сословия*. С другой стороны, и сословие это едва ли не выиграет в качествах, в солидности и в преданности своему важному делу священнослужения, если допустить отток из себя таких воспитанников семинарии, которые *явно проходили бы это служение холодно и равнодушно*. Нигде так не нужен порыв и чистое усердие, как в священниках; нигде хотя бы тень *притворства* на ниве делания не принесет столь пагубных плодов, не окажет такого вредного влияния на народ и на распространение раскола. Но ожидать, чтобы подрастающее поколение целого сословия сплошной стеной рвалось к специальной службе этого сословия, чтобы в нем не проявилось порывов к чистому занятию теоретическими науками, к медицине, юриспруденции, истории, филологии, — ожидать этого, говорим мы, невозможно. Вот почему высокая одухотворенность нашего духовенства, которая требовалась бы, обуславливается свободным *отпуском* из этого сословия всех не приспособленных и не расположенных к нему сил и дарований; как и *допущением* в него всех таких дарований и сил, которые, родившись в других сословиях, чувствуют призвание к священнослужению. В духовные академии хотя и изредка, но поступают ученики гимназий, студенты университетов; и параллельно этому следовало бы допустить невозбранный переход учеников семинарии во все,

без исключения, университеты и на все факультеты. Только это может послужить гарантией, что всякое призвание найдет соответствующее себе поприще. А все поприща в сумме своей образуют единую целокупную Россию, у которой, чем больше будет везде раскидано талантов, тем краше будет от этого она сама, наша всем общая мать.

1901, май

III. Слово Божие в нашем учении

Его я узнал первый раз при переходе со второго курса на третий в университете. Памятен мне этот вечер. Я пришел совсем изнеможенный с последнего классического экзамена. Без уговора, но точно по уговору, этот год у нас читались самые избранные, самые роскошные произведения классической древности: шестая песня Илиады, «De Republica» * Цицерона и «Речь о венке» Демосфена. В шестую песнь входит знаменитое прощание Гектора с Андромахой, и, Боже мой, что это за поэзия, какая бледная тень ее остается в переводе! Кстати, у нас в «Слове о полку Игореве» есть тоже знаменитый «Плач Ярославны», по мысли и сюжету и всему тону и сущности близкий к теме Андромахи. Оба произведения еще языческие — и как, значит, язычницы умели любить мужей, говорить о мужьях, какое в них было высокое чувство любви и жены! Но перехожу к другим произведениям. Палимпсест «De Republica» был найден Анджело Маи, итальянским ученым XIX века, где-то в монастырском средневековом погребке. Это был заплесневелый пергамент, на котором были написаны какие-то католические тропари и кондаки; но ученый, при рассматривании, заметил под готическими буквами средневекового письма царапины какого-то другого письма. Он смыл позднейшее писание, и под ним открылся знаменитый текст Цицерона: оказалось, невежественные монахи, чтобы не тратить свежего пергамента, употребили старую рукопись, соскоблив письмо с нее. Но они соскоблили краску, а черты острием остались.— Цицерон тут пел свою лебединую песнь. Он не осмеливался защищать республику перед лицом валившегося на нее Цезаря. Страшный триумvir подавил его адвокатское красноречие. Он боялся, он страшно боялся, но он и помнил доброе старое время, патрицианское время, эту римскую помещичью эпоху, но доблестную, но благородную, но с великими воспоминаниями. И он запел. Он вводит в рассуждение *Somnium Scipionis*, мифический «Сон Сципиона», где великий римский полководец передает привидевшийся ему сон о том, что может угрожать республике, спасенной им от Ганнибала: потеря чувства равенства, узурпация одного. Под пером Цицерона это был намек на Цезаря, и тут, я думаю, адвокат особенно трепетал. Но песня хороша. Демосфена же обвинил Эсхин.

* «О государстве» (лат.).

Кто-то предложил наградить Демосфена за политические заслуги золотым венком. Встал знаменитый оратор Эсхин и объяснил гражданам, что, кроме вреда, Афинам ничего не принесла задорная и бессильная борьба ритора Демосфена с македонским владыкой. Эсхина в поздние его годы изгнали из отечества, и, не имея чем существовать, он открыл ораторскую школу; и вот, чтобы объяснить ученикам на примере свои правила, он повторил им в классе свою речь против Демосфена. «Что же, что же он мог сказать тебе?» — воскликнули удивленные и восхищенные ученики.

«А вот послушайте, что этот дьявол сказал», — ответил Эсхин и повторил им речь Демосфена. «Теперь-то мы понимаем, — сказали, выслушав, ученики, — почему ты был побежден и даже выгнан из Афий». Действительно, вот двадцать лет прошло, а я помню еще наизусть целые отрывки Демосфеновой речи. Местами она груба (для нашего уха и понятий), и это-то сообщает ей красоту правды. Право, она напоминает «Слово о полку Игореве»: то же великое течение несказанных природных сил. Особенно мне помнится изображение судьбы изменников (читай — Эсхина) после того, как дело их кончено и они становятся ненужными господину, которому служили и за деньги предали отечество. Это ужасно по силе натиска, по горечи. Другое патетическое место — где он говорит, как не за силу оружия, не за политические дела, но через искусства, образование и благородство афиняне сделались средоточием Греции. «Все сюда идут, чтобы увидеть и указать, чем может быть грек». Место это удивительно. И такая оказия: издатель лекций закутил у нас и растерял все листочки. Мы потеряли не только комментарии к речи, но и самый перевод. И вот в пять дней приготовления пришлось приготовить, т. е., в сущности, вновь перевести всю речь. Это была чудовищная работа и чудовищный страх перед экзаменатором, сухим и строгим немцем. И такова красота подлинника, что даже испуг перед экзаменом (а я ничего не знал по-гречески) не лишил меня способности несколько раз почти прослезиться и над Афинами, и над обвиненным героем, который парировал крик: «Ты — мальчишка».

Я получил «три» на экзамене, едва переводный бал. Профессор, которому мы не комментировали, а только уже переводили, все время кричал на нас. «Ради Бога, сколько угодно кричи, только поставь три» — это была наша психология. Я пришел домой, бросил книги в угол комнаты, решил идти в баню, чтобы смыть всю тяжесть экзаменов легким московским паром, а пока бросился на диван, но заснуть не мог. А так как студент машинально читает, когда не разговаривает, то и я достал с полки до сих пор благоговейно мной хранимые два старых-старых тома, взятые у одного товарища — «Библии», издание еще времен Александра Благословенного, с мелкой, как бисер, славянской печатью. А по-славянски я тоже не знал, т. е. никогда и ничего не читал, кроме каких-то склонений в четвертом классе по грамматике Перевлесского: „рѣвъ“, „рѣва“, „рѣвомѣ“ (кажется — так). Эти славянские

неразборчивые буквы я всегда ненавидел. Положив ее на валик кушетки, я открыл — конечно, случайно — начало Исаии пророка... и стал почти по складам разбирать, но потом все быстрее и быстрее.

И тут я почувствовал, именно сейчас после смены тех греческих впечатлений, до чего же это могущественнее, *проще, нужнее*, святее всего, всего... Первый раз я понял, почему это «боговдохновенно», т. е. почему так решили люди вот об этой единственной книге, а не о других. Это шло куда-то в бездонную глубину души... Это было совсем другое, чем Демосфен. О чудная Сирия, о твои тайны! Ничего мы не понимаем в Востоке. Бог говорит, а то — человек говорит. Да не важно, что тут (у Исаии) «Бог» написано. И мы везде и всюду это «Бог» пишем. Но если бы «Бог» и не было написано (у Исаии): все равно я и всякий почувствовали бы, что это — Божье слово, что вообще это какое-то нечеловеческое слово. И как оно нужно! И как оно дорого! Оно спасительно, опять не в правоучительном смысле, а в каком-то другом, глубочайшем, — вот в чем дело.

Так я не пошел в баню. А с тех пор люблю и читаю слово Божие. Но вот дело и практика, ради которой я заговорил. До этого 1880 года я никогда не читал слова Божия. В восемь лет ученья в гимназии мы, ученики, прошли катехизис, богослужение, историю русской церкви, священную историю Ветхого завета Рудакова и его же священную историю Нового завета: но Евангелия и Библии я никогда не читал, и знал разницу между ними только в том, что Евангелие — маленького формата, а Библия — огромная и тяжелая. Я хочу сказать и хочу, наконец, пожаловаться, что на так называемом «Законе Божиим» нас учат чему угодно, но не слову Божию, а слово Божие точно держат от нас в карантине. Как это мудрецы распорядились — я не знаю, но знаю еще и второй факт, что оканчивали курс мы в гимназии сплошь лютыми безбожниками, и какое-нибудь религиозное чувство во мне пробудилось только в университете, начиная с рассказанного вечера, да еще под впечатлением талантливой лекции по всеобщей истории (курс средних веков, курс реформации). Насчет безбожия я не о себе одном говорю, а о всем нашем товариществе: не было для нас большего удовольствия, как поглумиться над верой, приблизительно с четвертого и до восьмого класса гимназии.

Но еще о слове Божиим: позднее я узнал и чудную «книгу Товита», и речи Иова, и страницы «Истории царств», и таинственное «Бытие». Все до того хорошо, что трудно выразить. Вот что надо проходить в гимназиях, взамен теперешнего безверного набора фраз, разных тоже в своем роде «Иловайских», переделавших по-своему, скомпилировавших по-своему слово Божие. Заставьте-ка в первом классе проходить «Книгу Товита»: ведь это идилия, святая идилия. Где-нибудь в пятом классе проходите мудрое «Бытие», ибо тут уже о грехе и это может усвоить не ребенок же в 10—11 лет (теперь проходят в этом возрасте священную историю Ветхого завета), в шестом классе — Евангелие,

в седьмом — апостольские послания. И будет выходить из гимназии христианин, а не безбожник и циник, издевающийся над отрывочными текстами, которым его старательно и бесполезно выучили.

Если в какой реформе мы серьезно нуждаемся, то в этой. Ибо без помощи слова Божия и без веры в него прожить трудно, и тем труднее, чем серьезнее человек и чем труднее время.

1901, август

КТО ВИНОВАТ

(Письмо в редакцию)

Хорошо все то, что высказано В. В. Розановым в статье: «Слово Божие в нашем учении», и пусть поверит он, что многие и многие законоучители солидарны с ним во взглядах; скажу даже больше — очень многие так и делают, как желается, т. е. читают ученикам подлинное Слово Божие. Но как читают? С постоянной мыслью в голове: «ах, еще 30 человек не спрошено, а скоро уже инспектор классов потребует четвертные баллы!» Времени, времени-то *всего* два часа в неделю назначено на *христианское* воспитание юношества, двадцать лет уже воспитывающегося на *языческих* классиках *. Ведь какой угодно предмет поставлен в школах и в отношении количества часов, да и отношения к нему воспитателей, других учителей, самих родителей, а где и начальствующих,— лучше, только не Закон Божий. Плохой балл — «ну, это по Закону Божию»,— говорят все **. Не успел прочитать ученик по Закону Божию — «ну, это ничего»; а вот задачи не решил или *extemporalе* *** не выполнил — это громадное преступление. Судите же теперь сами вместе с родителями и всем воспитательским персоналом, кто тут виноват?

19 августа 1901 г.

Законоучитель М. Лисицын

ЕЩЕ «О СЛОВЕ БОЖИЕМ В ШКОЛЕ»

Недостаточно того, чтобы в классе читать Слово Божие, необходимо, чтобы его читали и сами ученики. Но дать в руки учеников Библию вряд ли можно порекомендовать ****. Не все из них бывают сохранены в семье до поступления в школу неиспорченными, многие уже бывают развращены в мыслях и знают о таких сторонах жизни, о которых детям не следовало бы знать. Вот почему в некоторых учебных заведениях Библии, отданные в руки ученикам, оказывались подчеркнутыми в некоторых местах. Надобно сделать для школы особое издание Библии без таких мест, как, напр., о женитьбе Лота на своих дочерях и др. За границей такие издания уже существуют, а у нас желание их было высказано в духовном журнале «Труды Киевской Духовной Академии» проф. Св. Писания В. П. Рыбинским. А что действительно книгу Иова и Товита *in extenso* *****

* В переводе: 1) нам жалованья мало, 2) львиная доля его досталась классикам, 3) когда мы учим христианству!!! В. Р.-в.

** В переводе: отчего за дурной балл по Закону Божию не оставляют без обеда? В. Р.-в.

*** Упражнение для перевода на латинский или греческий язык (*лат.*).

**** Вот вам и «слово Божие!» Ну, конечно, Лисицынское — куда важнее!! Да и вообще «наше семинарское» слово давно заменило и *подменило* подлинно божественный дух и научение: и от этого-то и проистекли *судьбы* (выброшенного) слова Божьего в нашем учении!! В. Р.-в.

***** полностью (*лат.*).

ученикам куда плодотворнее читать по Библии, чем по плохим учебникам Закона Божьего, говорит опыт. Да и много других священных историй назидательнее было бы усвоить по Библии. В старших классах весьма полезно было бы знакомить с боговдохновенными, пророческими книгами. Тогда бы изучение катехизиса было не мертвым и сухим, а жизненным. А то приходится говорить на уроках Закона Божьего, что о боговдохновенности Слова Божьего говорит его собственная «высота», а также «могущественное действие на сердца человеческие»: но все это усваивается учениками теоретически, на веру, а другими заучивается механически, иногда даже и без доверия к читаемому. Из опыта сами они не знают этого. Но опять вопрос во времени, этой категории, вне которой человеческая деятельность на земле невозможна. На Закон Божий надо дать *minimum* 3—4 урока в неделю вместо 1—2 уроков, да нужно освободить законоучителей и от четвертных баллов, заменив их годовыми, или хотя бы полугодовыми аттестациями о религиозной настроенности ученика. Нужно также дать самое широкое участие голосу законоучителя в советах педагогических и др. и поставить законоучителя в самые близкие отношения к воспитанникам, чтобы он имел возможность видеть их не только на уроках, но и во всякое время. Для этого, конечно, законоучитель должен жить при учебном заведении, а не вдали от него, как это бывает очень часто. Тогда будет больше возможности для законоучителей оправдать надежды нашего Царя на то, что в нашей школе будет обращено внимание на усиление религиозно-нравственного воспитания нашего юношества.

23 августа 1901 г.

Свящ. М. Лисицын

Мне не может не быть приятно, что рассказ, как и когда я узнал впервые слово Божие, вызвал два письма в редакцию заботливых законоучителей. Письма, однако, вращаются около вопроса о *времени*, около *учебных часов*. Их каждый желает, все рвут себе, и как-то не хочется видеть священников, оспаривающих время у других учителей. Мне кажется, всемирный опыт может показать, до какой степени *количественная* сторона времени не играет никакой роли в просвещении нас религиозным светом. Разве мы не знаем людей, которых много и долго учили так называемому «Закону Божию» — и из этого не вышло ничего, даже при впечатлительности и даровитости учившихся... Других *едва* коснулся религиозный луч и просветил навсегда. В чем же тут дело? Явно — в *качестве* луча.

Все другие предметы, положим гимназического учения, суть *науки* и они механически требуют *пространства времени*. «Чем больше — тем лучше»; «лучше» — потому что *основательнее, полнее, подробнее* «проходится предмет». Я почувствовал в письмах г.г. законоучителей, что им хочется также приравнять свой «предмет» к *науке*: и в этой именно тенденции их, бесспорно отлично уже использованной в их практическом труде, и лежит объяснение, отчего их труд и труд вообще всех (почти всех) наших «законоучителей» не вызывает никакого *религиозного* света и даже до известной степени производит атрофию самой религиозной восприимчивости в детях и юношах. Религия *вовсе не наука*; и представляет глубокую педагогическую ошибку, а главное,

религиозную ошибку, подходить к ней с приемами *научообразной передачи* и *научообразного усвоения*. Вот почему предложение, напр., оценивать «годовую религиозную настроенность «ученика» баллом, каковое сделал свящ. Лисицын, мне представляется прямо чудовищным! «Вы на сколько молились?» — «На три с плюсом». — «Я превзошел вас: мое усердие к Богу дошло до четырех баллов». Это может вызвать самые длинные улыбки...

* * *

Самое печальное в нашем учении в гимназии не то, что оно дает мало религиозного просвещения, а что оно дает его в каком-то исковерканном виде или в страшно ослабленном. И зависит это от неблагообразия самих средств подачи такого света. Тут и отметки, тут и учебники, также зуброчка, экзамены и ревизия: весь педагогический режим, педагогический мундир, в который законоучитель и законоучительство облечены, как и каждый другой учитель и урок. Но для каждого учителя и всякого предмета это еще не беда, а для законоучителя — беда, ибо это смерть для живых веяний религии.

Слово Божие в подлиннике — вот одно из средств спасения; слово Божие не слушаемое только, а читаемое. В Библии есть такие сцены, страницы, целые книги, которые совершенно доступны самому нежному возрасту. «Книга Товита», история «судей», первосвященников и двух первых царств. Здесь все картинно, ярко, невинно и вместе доступно пониманию. Хронология в слове Божиим — вовсе неуместна.

Но скажу или лучше вспомню о том, что, может быть, тоже вызовет размышления компетентных людей, будучи только биографическим и личным фактом.

Три вещи: таблица умножения, острова и полуострова Европы, и «Помилуй мя, Боже» доставили мне первую детскую муку. О, как помню я эти вечера: большие уже сели за чай, горячее молоко дымится, тут и булка и сладкая сахарница, а я, перед поступлением в гимназию, в истоме июльских дней, сижу на подоконнике и с отчаянием, как попугай, твержу: «окропиши мя исопом и очишуся, омыеши мя и паче снега убелюся». На географию, еще более трудную, меня из страха, чтобы я не убежал из дому, запирали в комнату, пустую и большую, и там-то с лютым холодом на сердце я твердил: «Новая Земля, Шпицберген, Ирландия, Великобритания, Балеарские и Питиузские, Корсика, Сардиния, Сицилия, Ионические и Кандия». Но совершенно, как это перечисление, для меня были трудны молитвы (кроме как-то бессознательно усвоенных «Отче наш», «Богородице» и «Царю небесный») «Утренняя», «Отходя ко сну», «Ангелю хранителю» и 90-й псалом. Между тем я видел служение литургии молодых священников, только что принявших сан: они служат по книге, хотя, конечно, в семинарии могли бы выучить литургию наизусть. Какой от этого вред? Никакого. Так же детьми должны изучаться и молитвы. *Молитву нужно изучать*

молясь, т. е. слушая или читая: и эта азбучная истина должна бы быть известна в каждой семье. Но во всяком случае распространить эту истину есть задача приходского священника, а затем законоучителя и учебного заведения. Я, выучивши молитвы таким же способом, как таблицу умножения,— на много лет, на очень долго потерял способность и так сказать вкус к молитве (молиться). Ведь любил-то я их, конечно, не более, чем острова Европы или таблицу умножения: ну, а уж их ни в каком патетическом настроении души не вспомнишь! Для чего это? Вот у меня это лето гостил одиннадцатилетний кадет: каждое утро и каждый раз на ночь он бойко и по-военному, став на молитву, прочитывал «папу», «маму», человек пять сестер и братьев (т. е. «помяни Господи») и затем довольно длинных пять молитв. Так он приучен дома, так молился много лет по молитвеннику и запомнил все, как запоминает священник литургию, читая ее первый год по книге. Я видел в Риге, в лютеранских церквях, и в Италии в католических, *молящихся с молитвенниками*: они читают службу, и это прекрасно, потому что они все понимают через это в слушаемом, разбирают все слова пастора или патера. Но мы до такой степени привыкли со словом «молитва» соединять понятие «наизусть», и именно с раннего детства, с ранней муки,— что для нас если не «наизусть», то и не «молитва». Это совершенно нелепое представление, и воспитывается оно школою, а первый шаг этого ложного воспитания есть приемный экзамен в первый класс гимназии, куда «по программе» надо сдать наизусть: «таблицу умножения и одиннадцать молитв». Это вовсе не нужно. Если еще можно «рассказать наизусть» историю Товита и Товия, ибо тут есть пластика, событие: то неужели же живое чтение на дому молитвы можно заменить приготовлением их к экзамену? Теряется самая идея молитвы: что она и для чего, в каком настроении духа. И если дома этого не сделали, то лучше уж пусть канет в Лету этот грех, но не поправляйте его экзаменом. Тут и наступает роль пастыря-священника, роль законоучителя, как авторитетного в школе лица: «не экзаменуя из молитв — и баста», а на опрос и недоумение директора — и прочитайте самому ему краткий урок о значении и смысле молитвы, о времени молитвы, о цели молитвы! Достаточно священникам энергично и живо взяться за свое дело пастырства,— и их послушают; но нельзя не заметить с горечью, что они сами несколько архаично и слишком «в зубрежку» понимают свое дело: слишком «научнообразно», в рубрике отметок и экзаменов, в рубрике недельных часов «уроков Закона Божия» — силятся исполнить его.

Я говорю, как представляется дело мне, бывшему ученику, мирянину, слушателю. Мне кажется, это основная точка зрения. Я учился много, но не был религиозен. Вдруг луч, один только луч «в щелочку» — и я кое-что узнал и понял. Вот это-то и отсутствует вовсе в гимназии, а что есть в ней,— баллы, отметки, экзамены и вечная жалоба законоучителей, что им на преподавание отведено мало уроков и времени,—

все это почему-то не действует. «Ты о многом заботишься, Марфа, а между тем — единое на потребу» — это нужно помнить и родителям, и начальству гимназий, и священникам-законоучителям.

1901

IV. Весеннее и осеннее древонасаждение

Ничего не было о нем слышно еще года три назад. Откуда взялся прекрасный праздник и кто его первый выдумал? Насаждение деревьев и еще насаждение цветов, соединение изящного с полезным, и на какой здоровой почве — сближения с природой! Можно ли забыть стих Шиллера:

Из груди благой природы
Все, что дышит, радость пьет.

Природа есть утоление болей, но, кажется, никакие боли столь успешно и специфически ею не лечатся, как самые острые боли нашего времени — «интеллигентные»: недомогание характера и воли, их истощение. Право же, если бы десять лет назад уже существовали эти милые праздники, — в восьмидесятых годах прошлого века самоубийства не развивались бы у нас в какую-то заразительную эпидемию. *Taedium vitae* *, отвращение к жизни — оно и может быть исцелено только соками *naturae genitricis* **.

Императорское Российское общество садоводства учредило целую комиссию для устройства подобных праздников, а штаб петербургского военного округа отводит для насаждений место при въезде на военное поле в Красном Селе. Из Лисинского казенного лесничества (близ стан. Тосна Николаевской железной дороги) по распоряжению министерства земледелия и государственных имуществ будет отпущено 1600 казенных саженцев. Вот где мундирные канты не спорят и ведомства примирены. Но что же их примирило, даже соединило? *Соучастие* детской, рябяческой веселости! Мы вполне уверены, что и Министерство путей сообщения найдет возможным удовлетворить ходатайство комиссии о бесплатном проезде учеников по Балтийской железной дороге и что попечитель Петербургского учебного округа отпустит питомцев здешних гимназий, прогимназий и реальных училищ на сентябрьский праздник. Уж радоваться, то всем и сообща радоваться, а тут предмет для радости слишком понятный и близкий. Мы уверены, что и древонасаждения пойдут мало-помалу по утилитарному пути. Ведь 1600 саженцев — это целый сад, и хороший, большой сад. Да вот одно из ближайших утилитарных приложений: обсадить деревьями свою школу. И еще другое: развести при школе плодовый сад, с которого доход составлял бы.

* Отвращение к жизни (*лат.*).

** природа-мать (*лат.*).

так сказать, ренту физического кабинета гимназии для покупки новых инструментов, или ренту библиотеки — для приобретения новых книг. Вот и новая сторона разнообразия.

Нельзя не припомнить одного до сих пор памятного предприятия еще времен Александра Благословенного: это обсаждение деревьями больших трактов. По всей почти России, проезжая «большой дорогой», вы едете между двумя линиями теперь уже огромных старых берез. Говорят, государь, проезжая какою-то местностью Германии, полубо-вался на вид дороги, похожей на аллею. И любящая Россия ответила на это любование своего царя фактом. «Большак», как зовут эти дороги мужики, уже не гол и пустынен, местами он не так песчан: корни деревьев укрепляют почву. А теперешние засухи напоминают, что всякое вообще дерево не бесплодно для России.

В высшей степени желательно, чтобы весеннее и осеннее древонасаждения не остались только столичной затеею. Важно, чтобы они получили повсеместное распространение. Конечно, тут придется похлопотать, и похлопотать об этом не так легко в провинции, как в Петербурге и Москве. Но, может быть, опять же из Петербурга и Москвы тут помогут местным радетелям люди опыта, помогут советом и даже делом. Начинание так хорошо, что желательно было бы, чтобы о нем стали сговариваться и переговариваться из далеких уголков России.

V. Физическое и нравственное воспитание юношества

Не без чувства зависти русский человек узнаёт об основании в Петербурге «Комитета содействия молодым людям в достижении нравственного и физического воспитания», открытие которого под попечительством принца Александра Петровича Ольденбургского последовало 22 сентября. Комитет, по опубликованной программе его, предполагает устраивать *музыкальные и литературные вечера, гимнастические упражнения, всевозможные чтения и загородные прогулки*; за небольшую отдельную плату — преподавание новых языков, стенографии и бухгалтерии. Небольшая медицинская помощь и приискание занятий для молодых людей, временно лишающихся своего заработка, также входят в состав забот комитета. Но как этот комитет устроился и кто его инициатор?

Увы, он *приехал из-за Атлантического океана!!* Это — американец Джемс Стокс. В речи, произнесенной при открытии Комитета, он объяснил, что, потеряв несколько лет назад «самое дорогое его сердцу», он решил посвятить свой досуг и свои средства молодым людям *всех национальностей*. Еще будучи несовершеннолетним мальчиком, он смотрел на флаги русских судов, прибывших в американские воды во время войны за независимость. И вот раннее впечатление, пав на добрую почву его сердца, привело его в старости к нам, в Петербург, с заботами

о наших может быть скучающих, может быть развращающихся среди несоответственных удовольствий юношах. «Филантропия,— сказал он в заключение,— не знает религии, национальности и вероисповедания». Мы думаем, всякое доброе дело — христианское дело, и в американском госте своем можем приветствовать лучшего христианина.

В Германии каждый городок имеет свои ферейны. В Германии нет скучающей молодежи и нет угрюмых обывателей, выглядывающих недоброжелательно на соседей из своего угла. Все трудится и по-своему веселится. Всегда все вместе. От университета, где юношество сплочено в корпорации, даже от гимназии, где мальчишки образуют полуигрушечное, полусерьезное «общество натуралистов» под руководством своих учителей,— в этой Германии всякое местечко и всякое сословие кишит кружками, обществами, самодеятельностью, самопомощью. Но у нас, у русских? Вот исполняется 40-летие со дня смерти основателя славянофильства, Хомякова, который возвещал, что западная цивилизация «гибнет от личного начала», от «развития в ней центробежных сил», а что Россия полна силами центростремительными и русская душа — по природе своей, так сказать, «соборная душа», выражает собой начало соборности, слияния с другими душами. Но вот на Западе прежде были и сейчас есть ферейны, а у нас?.. Все сидим по своим углам и повторяем при всяком зове исконное, историческое: «Моя хата с краю,— ничего не знаю». Как русская жизнь мертва на всем необозримом провинциальном протяжении... Точно мертвецы, которые ждут из Петербурга указа: «Начните жить». Право, точно ждут трубы архангела, дабы зашевелиться в «гробах»... Клуб, карты, маленькое пьянство, маленький флирт и в общем итоге — опадающая внутренняя Русь, как западающая грудь чахоточного: вот картина, которую не без слез видишь и с особенной болью о ней думаешь теперь, когда американец приехал в Россию сделать русское дело.

VI. Рождественские елки в сельской школе

Скоро вот Рождество... И нам следует подумать не только о своих городских удовольствиях, но и о сельских; не только об удовольствиях взрослых людей, но и об удовольствиях детей. Тут есть кое-что, о чем предстоит не только практически позаботиться, но и принципиально решить.

Только что вернулся из поездки в Орловскую губернию один мой родственник и рассказал о селе, где он провел недели две:

— Сельчане не нарадуются на своего молодого диакона.— Вот, барин, послал нам Бог ангела; такого, сколько ни живем, не запомним. Все-то он с нашими ребятами. Бывало, они распущенные бродят по селу, шалят, озорничают, портятся, сызмальства развращаются. А те-

перь постоянно около отца диакона и все-то грамоту слушают. То он им читает что, то картинки показывает и объясняет, то сам рассказывает. Во, как любит наших ребят». Секрет разъяснился просто. Молодой диакон, сам образованный и начитанный человек, по окончании семинарии женился на сельской учительнице и, чему дивится вся округа, ничего за женой не взял. Вместе дружной парой они вошли в село, и уж не разберешь, стало ли на селе два диакона или две учительницы: так служебный диаконский сан сплелся с вдохновенным учительским призванием. Но диакон ужасно томится и все просится в город.

— Что так? — удивился я.

— Он третий год в селе. Село большое, до полутора тысяч жителей, не богатое, но и не бедное, в сорока верстах от огромного города. В приходе два священника: помоложе — лет сорока и старше — лет под шестьдесят. Две школы — земская и церковно-приходская. До приезда этого диакона церковно-приходская школа до того была распущена в смысле отсутствия серьезных занятий, что младший священник провел двух своих сыновей, теперь учащихся в семинарии, через земскую школу, а не через свою церковно-приходскую. Но теперь эта школа процветает благодаря новому диакону. Но он рвется вон.

— Этого-то я и не понимаю.

— Я с ним говорил, и он жаловался: «Когда я был псаломщиком, то тоже занимался в школе, и священник меня ни в чем не связывал. Я и волшебный фонарь приобрел и показывал детям картины из Священного Писания и из Русской истории. И читал с ними из духовного и из светского. Из светского: разные рассказы из сельского быта наших писателей. Отец Симеон (старший священник) все запретил: «Только рассказывайте из священной истории Ветхого и Нового Завета и задавайте наизусть, а прочее в сельском быту неуместно». — Но я все-таки и фонарь им показываю, и рассказы читаю, только во внеучебное время. А вот с елкой пришлось проститься. Не позволил и назвал «чертовой затеей».

— С какой елкой?

— У меня успехи учеников в другом селе, где я был псаломщиком, были удивительные. И достигались они очень просто. Я устраивал в училище на Рождество елку, на которую соседние помещики охотно давали детские игрушки, кто из своих прошлогодних, а кто и вновь покупал. В зиму, когда шло ученье, я и предупреждал учеников, что подарки с елки получают только те, которые хорошо учатся и имеют в журнале хорошие отметки. А кто худо до Рождества учился, ничего не получит, и наконец, самые дурные даже вовсе не будут на елку допущены. Вы не можете представить, какое это вызвало соревнование учеников и как поднялись успехи школы! Теперь всему этому конец. Не понимаю, почему елка «чертова».

Я вспомнил, как много лет назад с удивлением узнал, что, в сущности, обычай рождественской елки не принадлежит к числу коренных

русских обыкновений; что он возник в Германии в пору Лютера и был занесен к нам в XVIII столетии. Я вспомнил теорию «миграций» или странствований народных поверий, сказок, обычаев. Оказывается, редко что бывает у народа доподлинно оригинального. Но все народы — братья и так хорошо это чувствуют в демократических своих слоях, что иную занесенную из-чужа диковинку лелеют часто лучше своей. Елка в настоящее время так твердо привилась в русском обществе, что никому и в голову не придет, что она не русская.

— Само собой разумеется, что от. Симеон, не находя ничего в «Прологах», «Минеях» о древнем обычае рождественской елки, не позволил ее и в церковно-приходской школе, где является распорядителем. Во всем селе он вообще преследует всякое народное веселье, находя все это «бесовскими игрищами». Сам он отлично («хоть бы у вас в Петербурге», — сказал мне очевидец) служит церковную службу, не курит, не пьет, в карты не играет, в гости почти не ходит, строжайший постник, но беспощаден в деле платы за требы, а мать — древнюю старуху, когда-то за тридцать верст носившую ему лепешки в семинарию, держит на кухне, и там же она обедает с прислугой, так как сын до стола своего ее не допускает.

Об этом случае я не стал бы рассказывать, если бы еще ранее не слышал, что в некоторых местах не только наблюдатели-священники препятствуют устройню ученической елки в церковно-приходской школе, но что против подобного устройства высказались и епархиальные училищные советы. Так как в то же время в других церковно-приходских школах такие елки устраиваются, то, очевидно, мы здесь имеем дело с недоумением, с принципиальным вопросом.

И его следует разрешить принципиальной власти. Голос ее в вопросах не юридических, а бытовых мы редко слышим, как будто вся жизнь религиозная у нас сосредоточилась в наблюдении и соблюдении *juris canonici* Юстиниана Великого. Церковно-приходские школы у нас всего существуют с немногим десятилетие, и елка для учеников их, и именно в помещении самой школы, — явление новое и требует нового дозволения. Заметим, что запрещение елки в школе равнялось бы запрещению ее полностью, потому что не в избушке же крестьянской устраивать ее для шестидесяти или ста учеников: помещение школы есть единственное приспособленное для детского школьного праздника. Поэтому было бы желательно, чтобы в ответ на это недоумение высказалось с церковной кафедры авторитетное духовное лицо, вроде почившего архиепископа Амвросия в Харькове, и параллельно с этим (потому что это уже менее громко и не столь народно), чтобы об этом высказался и Св. Синод: так как Училищный Совет, при нем состоящий, есть учреждение бюрократическое, а нужны здесь голос и решение священноначальническое. Очевидно, здесь мы имеем дело с упорным фанатизмом, с религиозным рвением верующих. И, очевидно, этот вопрос об елке в церковной школе есть часть более общего вопроса об отношении

самой церкви к радостям людским, к радостям, например, безгрешным и детским. Мнение об этом компетентных лиц и учреждений очень и очень нужно выслушать и взрослым.

1901

VII. Смерть учительницы Еремеевой

В газеты проникла сперва молва, а затем и точный рассказ, переданный в «Вестнике Новгородского Земства», о печальном случае смерти учительницы Еремеевой. Она была преподавательницей в церковно-приходской школе, получала жалованья 7 р. 50 к. в месяц, из которых 3 р. уплачивала за наем комнаты, так как *при школе квартиры не было*. Знавшие ее рассказывают, что она была всегда весела; ее любили окружающие помещики, часто ее приглашавшие к себе; но она уклонялась, и особенно уклонялась от приглашений обедать. Случайная простуда заставила ее слечь в постель. Она была свезена в земскую больницу и там умерла. Пустяжное заболевание было бы без труда перенесено 18-летним организмом, если бы он не был глубоко *истощен хроническим голодом*; учительница питалась хлебом и чаем, и когда ей случалось обедать где-нибудь в гостях, у нее происходило расстройство пищеварения от непривычки к твердой и вообще нормальной пище. Таким образом, она таилась в своем голоде, и страх показать себя голодною и заставлял ее целомудренно и строго уклоняться от приглашений на обед.

Все хорошо знают, какой огромный идеализм и неистощимое самопожертвование внесено в деревню русскою образованною девушкою как учительницею крестьянских ребят. Но мы все это знали; все этим пользовались. Однако обеспечение хотя бы просто сносного способа существования этих маленьких героинь остается как-то тускло, неясно, неопределенно. Ведь очевидно, что на 7 р. 50 к. можно существовать только нищенски. Между тем «noblesse oblige» *, и совершенно невозможно при всяческой скромности, непритязательности, безропотности сельской учительнице одеваться и вести себя нищенкою. Нам думается поэтому, что само основание школы *с такими условиями для учительницы* уже представляет собою более чем неосмотрительность — жестокость. Если школа не располагала более чем 7 р. 50 к. и притом без квартиры в месяц «учительскому персоналу», то она едва ли имела право и открываться. Нельзя же положить камень, на него положить копейку и сказать: «Это школа». Человеческое тщеславие не имеет границ, и если бы успехи просвещения стоили так дешево, то мы «на даровщинку» усеялись бы школами. Ибо нет «ведомства», которому бы не лестно было сказать о себе: «Вот у меня *сколько* школ!», т. е. «вот как я *благодетельствую* народу».

* благородство обязывает (фр.).

В частности, на церковно-приходские школы были в последнее время отпущены большие суммы и сюда же текли огромные частные пожертвования. Достаточно припомнить 500 000 р., пожертвованные покойным московским доктором Захарьиным. Может быть, заведующему этими школами Училищному Совету (при Св. Синоде) было бы полезно сократить или не увеличивать *их число* и *улучшить содержание уже существующих*? Может быть, излишне многое идет на *администрацию* и на *надзор* за школами? Следует вообще заметить, что надзор и администрация над деревенскими школами теперь тройная: Министерства народного просвещения, Ведомства Св. Синода, земская. Три ревизора над одною школою, и все они едва ли служат безвозмездно. Во всяком случае разделение учебных функций между тремя ведомствами прежде всего бьет по бюджету сельской школы, ибо все, что идет на администрацию и надзор, на «переписку» и «канцелярские принадлежности», на «разъездные», «обмундирование» и проч. чинов «Ведомства»,— собственно идет им от стола, от «чая с булкой», квартиры «у кузнеца» той же сельской учительницы и сельского учителя: и ниоткуда больше идти не может. Но, по крайней мере, тройной ум трех ведомств должен позаботиться, и хорошо позаботиться, улучшить положение беззаветных работников школы.

НЕОБХОДИМОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ

В № 9130 газеты «Новое Время» (5 августа) напечатана статья г. Розанова: «Смерть учительницы Еремеевой». Здесь говорится о печальном случае смерти учительницы Еремеевой, умершей будто бы от хронического голодания, на которое была обречена ничтожным вознаграждением по должности учительницы церковно-приходской школы, вследствие чего, истощенная, она не вынесла, несмотря на свои 18 лет, пустяшного заболевания от простуды. Пользуясь этим случаем, автор высказывает несколько упреков по адресу Ведомств, взявших на себя заботы о распространении народного образования; особенно достается Духовному Ведомству, которое будто бы, из тщеславия казаться благотворительствующим народу, усиленно старается открывать школ побольше, да подешевле — «на даровщинку», тогда как, получая на школьное дело большие средства от казны и значительные пожертвования частных лиц, должно бы позаботиться о надлежащем обеспечении учителей и учительниц школ. Статья эта составлена на основании известия, напечатанного в «Вестнике Новгородского Земства».

Однако это известие оказывается совершенно неверным.

Газета начинает сообщением, будто покойная Еремеева состояла «преподавательницею в церковно-приходской школе, получала жалованье 7 р. 50 коп. в месяц, из которых 3 р. уплачивала за наем комнаты, так как при школе квартиры не было».

Но покойная Еремеева состояла учительницей не церковно-приходской школы, а небольшой женской школы грамоты (17 учащихся девочек) в погосте Ручьи Крестецкого уезда Новгородской губ.

Школа грамоты отличается от церковно-приходской между прочим тем, что ее курс есть курс начальной грамотности не в пределах положенного программами, а в пределах возможного по силам и усердию учителя. Открываясь

в глухой деревне, отдаленном поселке, бедном селе или погосте, она в прежнее время довольствовалась весьма немудрым учителем из грамотных крестьян, отставных солдат, писарей, черничек и т. п., учитель избирался крестьянским обществом или предлагал общество свои услуги и договаривался о плате — 15 или 20 р., реже 25—30 руб. со столом от крестьян (по очереди) за все учебное время, т. е. за зиму, за 5—6 месяцев учебных занятий: такой учитель обучал детей, как знал и умел, без всякого руководства и педагогического надзора; кончив ученье, он в остальное время года занимался, как крестьянин, у себя на пашне или кустарным промыслом, или каким-либо подходящим для него делом. Духовно-учебное управление, приняв под свое покровительство и руководство эту прежде гонимую и брошенную призором педагогов, но близкую народу школу, старается сохранить драгоценные черты ее быта, но улучшить ее обстановку и дать ей более подготовленного к делу учителя, который точно так же, занимаясь зиму в школе, летом работал бы, как всякий другой крестьянин, что и как умеет по крестьянству.

Для подготовки к учительству в школах грамоты открыто с 1896 года до настоящего времени около 400 второклассных школ и открываются еще новые, мужские и женские, в которых дети крестьян, по окончании курса начальной школы, учатся три года и практикуются в обучении детей начальной грамотности, а по выходе оттуда становятся учителями школ грамоты. По определению Св. Синода, окончившим курс второклассных школ учителям и учительницам школ грамоты должно быть назначено 120 руб. в годовой оклад жалованья (часть из местных средств, и дополнительно до 120 руб. из казенных), что в сущности составляет при занятиях в течение 6, много 7 месяцев, жалованье по 20 руб. в месяц, так как остальное время года учителя и учительницы школ грамоты вполне свободны заниматься своим крестьянским трудом, для которого становится весьма важным подспорьем прибавка 120 руб., получаемых в вознаграждение по учительству за зиму.

Подобного типа учительницей была покойная Еремеева: она была крестьянка, кончила курс только двухклассного училища министерства народного просвещения, свидетельства на звание учительницы начальной школы не имела, и экзамена на получение такого свидетельства не сдавала: следовательно, к числу «образованных» девушек, в общепринятом смысле этого слова, как названа она в газете, не принадлежала и была учительницей (по установившейся терминологии) неспособной. По окончании курса двухклассного училища Еремеева просила местное уездное отделение Епархиального Совета о назначении в какую-нибудь школу, и получила первое же свободное место в маленькой школе грамоты глухой деревушки Подмошье, а в следующем году была переведена по просьбе в женскую, тоже небольшую (17 учащихся девочек) школу грамоты погоста Ручьи, недалеко от родины. Так как она кончила курс двухклассного училища и год пробыла учительницей подмошьевской школы, то отделением Совета приравнена к окончившим курс второклассной школы, ей было назначено 120 руб. в годовой оклад жалованья, т. е. по 10 руб. в месяц, а не по 7 р. 50 к., как утверждает газета; из этих 10 р. она получала 2 руб. 50 коп. от местной церкви и 7 руб. 50 коп. казенных; те и другие деньги всегда выдавались ей аккуратно, как видно из ее расписок. Кроме того, в конце прошедшего года она получила денежное пособие в виде награды 15 р., что наверное было бы и в текущем году.

По словам г. Розанова, учительница Еремеева из своего жалованья платила 3 р. в месяц за комнату, так как при школе квартиры не было. Но при Ручьевской школе (помещающейся в принадлежащем приходскому

попечительству причтовом доме) есть хоть небольшая, однако сухая и теплая комната для учительницы, где предшественница Еремеевой (учительница Троицкая) и жила; Еремеева же предпочла иметь за плату стол у частных лиц в четверти версты от школы, почему квартирой при школе почти не пользовалась.

Г. Розанов сообщает, что «местные помещики часто приглашали Еремееву обедать, но она отказывалась от приглашений; она питалась хлебом и чаем, а когда случалось обедать в гостях, у нее происходило расстройство пищеварения от непривычки к твердой нормальной пище». Объяснение не серьезное. Бедная учительница избегала сближения с этими помещиками, людьми иного быта и иных понятий; поэтому она отказывалась от барских обедов и угощений под тем благовидным предлогом, будто эта пища ей не по желудку ее, что от этих обедов ее «тошнит».

По словам газеты, от хронической будто бы голодовки истощен был организм учительницы Еремеевой, вследствие чего «случайная простуда заставила ее лечь в постель, пустяшное заболевание без труда было бы перенесено 18-летним организмом, если бы он не был истощен хроническим голодом». Можно подумать, будто бедную учительницу измором морили. На самом деле было так: она простудилась в холодное время и когда оказалось сильное повышение температуры, то по желанию и распоряжению местной помещицы, без ведома священника, без надлежащих предосторожностей, несмотря на сырую и холодную погоду (на пятой неделе Великого поста), больная была отправлена за 17 верст в земскую больницу в гор. Крестцы; простуда перешла в воспаление легких, которого не одолело больничное лечение.

Конечно, Ручьевская школа грамоты не лучшая, хотя и из порядочных; существует много школ грамоты весьма плохих, гораздо худших, чем Ручьевская, особенно если школа принуждена переходить в течение зимы из избы в избу, по очереди к каждому домохозяину деревни, которого дети обучаются. Однако, уже ввиду практикуемого еще во многих местах договора учителя с крестьянским обществом независимо от священника, ввиду чрезвычайно развивающейся за последнее время среди крестьянского населения жадности грамотности и просвещения, напрасно укорять Духовное Управление, будто оно старается открывать побольше школ, да подешевле, — «на даровщинку». Духовенство силою вещей и даже иногда против своего желания, по неотступным просьбам крестьянских обществ, вынуждается давать согласие на открытие новых школ, особенно школ грамоты, наиболее зависящих от желаний и пожертвований того или другого общества. Будучи не в силах удовлетворить все такие просьбы, Духовное Управление разрешает их только тогда, когда нет уже никакой возможности отказать, особенно когда общество дает, например, половину содержания школы. Так число школ неуклонно растет, совсем непропорционально увеличению средств, которых недостаточно для надлежащего обеспечения даже только существующих школ. В настоящее время получается казенного пособия собственно на начальные школы Духовного Ведомства до 4½ миллионов руб., школа же состоит в настоящее время до 42 000; в среднем получается до 107 руб. на школу; если к этому прибавить изыскиваемые на местах средства до 5 миллионов, то получится в среднем до 225 р. Нужно ли говорить, что такие средства крайне скудны; они не дают возможности надлежаще обставить все школы и обеспечить учителей. В прошедшем году возбуждено было ходатайство об отпуске казенного дополнительного пособия школам 3 518 270 руб. в год, почти исключительно на увеличение жалованья учащим, причем изъяснено, что из всех учащихся в церков-

ных школах (по сведениям 1898 года) 11 535 лиц получали вознаграждение менее 50 руб. в год (это учащие в школах грамоты), 5 824 лица получали от 50 до 100 руб. (большею частию в школах грамоты), 9 126 лиц получали от 100 до 200 руб., 2 710 лиц от 200 до 300 руб., и только 1 477 лиц получали от 300 до 400 р., а весьма многие, особенно из членов причта, занимались в школах бесплатно. Государственный Совет признал необходимым уважить ходатайство Духовного Ведомства полностью, но, к несчастью, события в Китае вынудили Высшее Правительство приостановить фактический отпуск этого пособия в 1901 году, и школы наши продолжают страдать от недостатка средств.

Наконец, если бы ждать, когда наш бедный живущий в нужде крестьянин настолько разбогатеет, что по всем углам и глухим поселкам необъятной России в состоянии будет заводить благоустроенные школьные здания и давать многочисленные оклады учителям, то... то это значило бы сидеть у моря и ждать погоды.

А. Ванчаков, член Учебного Комитета при Св. Синоде.

VIII. Нищета деревенской школы

Обширное «Разъяснение» г. Ванчакова набрасывает такую печальную картину состояния нашей деревенской и сельской школы, которая заставляет сильно задуматься и ожидать каких-нибудь административных и законодательных забот об этом явно забытом и заброшенном деле. Как можно не связывать вообще школьное образование с *физическим и экономическим* благосостоянием? Хроника наших «недородов» и «неурожаев», *первобытные*, как при Рюрике, орудия обработки земли, *неумение* орошать землю, которую умеют орошать *даже сарты в Туркестане*, непогодка выстроить избу иначе как из бревна и соломы, мелкий захудалый скот, зверские семейные нравы — неужели все это не приходится связывать с беспроглядной темнотой *тысячелетие безграмотного народа?! Староверы наши сплошь грамотны и благосостояние их другое.* Колонисты наши тоже грамотны,— и едва ли уж такая совершенная кровь у них, такая счастливая у них белая косточка, что живут они чисто, уютно, мирно, торгово и хлебно?! Только коренной русский православный мужик смотрит каким-то лесовиком-медведем, неучем, безобразником, лентяем. Все его обвиняют: но кто же его научил? Более одиннадцати тысяч учителей получают *в месяц менее пяти рублей жалованья!* Кухарка на *всем готовом* и при *готовом помещении* получает более, чем получала умершая учительница Еремеева на *всем своем.* Да и вообще всякая работница-поденщица, всякая скотница, ходящая за коровами, обеспечена и награждена лучше, нежели как обеспечил Училищный Совет Духовн. Ведомства учительницу, ходящую за крестьянскими детьми с некоторыми педагогическими задачами.

Что такое пишет г. Ванчаков, что учительница Еремеева «не имела таких-то и таких-то учительских прав», «не кончила такое-то училище», учила «без ревизий» над нею, учила всего семнадцать девочек и не могла обедать у помещиков, «людей иного быта и иных понятий»? Какой

такой «быт» и какие такие «понятия» можно иметь за 7 руб. 50 коп. «от казны» и при «сухой комнатке», которую почему-то не взяла привередливая учительница, предпочитая из 7 руб. 50 коп. платить три рубля за наем комнаты? Что такое за «комната», интересно бы видеть ее иллюстрацию, размеры и особенно узнать что-нибудь *о ее сухости*? Теперь над покойником легко петь всякие акафисты, ибо мертвые уже не говорят и не возражают. Но оставляя этот частный и может быть действительно особенно несчастный случай, нельзя не обратить внимания на сообщение г. Ванчакова, что положение *множества других учительниц еще хуже*, и они буквально изображают уже не скотницу, ходящую за скотом, а почти что самый этот скот.

Для забот наших трех Ведомств — Министерства народного просвещения, Св. Синода и Земства,— во всяком случае предстоит чрезвычайно много работы. Нельзя оставить дело в таком положении, и особенно жалко это было бы ввиду «жадного стремления к грамотности и образованию сельского люда», на что как будто даже жалуется г. Ванчаков, изъясняя, что «все хотят учиться и нетерпеливо хотят, а средств на открытие школ не хватает». У старообрядцев тоже «все хотят учиться», но они *все и выучены* своими начетчиками, людьми простыми, вероятно невежественными, но вероятно и добрыми.

Право, мы хотим жать, не сеяв. С одной крестьянской семьи берется иногда налогов не менее, чем сколько уплачивается учителю. А ведь что же непосредственно деревне и непосредственно крестьянской семье дается еще от государства, кроме учительницы? Это и есть пока *вся сумма забот о мужике*, тут на месте и лично. Ибо проселочную дорогу он прорубил и выровнял сам, большой тракт и железная дорога существует для городов, винная лавка существует столько же для интересов казны, как и для согревания от морозов мужика.

Сельская учительница и земский врач, последний уже не в близком расстоянии, *есть итог забот о деревне*. Да и они-то везде ли есть? Прочие места уже совершенно оголены от всякого так сказать культурного обсеменения. Таких абсолютно глухих мест сколько есть в Сибири! да и на европейском Севере!!

О ШКОЛАХ ГРАМОТЫ

(Письмо в редакцию)

На моих глазах открылось уездное отделение Епархиального Училищного Совета, куда я был назначен членом от учебного ведомства. Быстро созданы благочинные уезда и выбраны наблюдатели за будущими школами. И работа (к сожалению бумажная) закипела. Не хотелось отстать от деятельности земства, у которого в уезде было 68 отлично (за немногими исключениями) устроенных школ. И вот к концу первого отчетного года в годовом отчете о деятельности отделения фигурировало около пятидесяти церковно-приходских и около шестидесяти школ грамоты. Откуда так быстро выросло такое множество школ?

А вот откуда.

Оо. наблюдатели и оо. настоятели пооткопали в своих приходах крохотные нелегальные школки, где досужие чернички, унтера, спившиеся писаря и иные грамотеи обучали ребят грамоте или вернее питались от доверчивых мужичков за проблематическое просвещение ребят их грамотой. Эти школы были зарегистрированы и переименованы одни в церковно-приходские, другие в школы грамоты. Унтера, писаря, чернички обратились в учителей, учительниц и им положены были оклады от 25 руб. до 120 руб. в год. Г. Ванчаков в своем «Разъяснении», напечатанном в «Нов. Вр.», безусловно прав, что для такого контингента преподавателей оклад в 50 руб. Божия благодать, а в 120 руб.— верх земного благополучия. Но что же это за учителя и школы? Я думаю, что г. Ванчаков не только не поручил бы им своих детей, а, несмотря на то, что они, эти педагоги — полные сосуды «драгоценных черт», не подпустил бы их близко к себе. Я не стану рисовать типов этих педагогов: жители деревни их отлично знают, а скажу только о том волнении, какое вызвало в земском собрании среди крестьян-гласных предложение одного из земских начальников — передать земские школы в ведение духовенства. Несмотря на то, что в реформированном земстве от крестьян в гласные попадают волостные старшины, сельские старосты,— все лица подначальные земским начальникам,— нашелся один почтенный старшина, и как раз района того же начальника, и сказал простую, но полную глубокого интереса речь. И он отстоял земские школы.

Если бы г. Ванчаков услышал из уст этого крестьянина характеристику этих школ, этих педагогов, то едва ли у него достало бы смелости искать «драгоценные черты» в омуте пьянства, нищеты и невежества.

Нет, настоящее просвещение народа не в школах грамоты, а в хороших земских школах, где рядом с разумной, осмысленной грамотой идет широкое воздействие того же духовенства: Батюшка-пастырь, батюшка-законоучитель, батюшка-альфа прихода, его душевный и духовный элемент,— кажется, нет больше, нет шире простора для благотворного воздействия духовенства на прихожан и детей их. Но батюшка школьный администратор, директор училищ — это обязанности и несовместимые и непосильные для священника.

Всякому зерну своя борозда. На своей борозде оно даст обильный плод. А расколи его, брось частицы в разные борозды, будет ли плод?

25 августа 1901 г.

К. Гре-в

«ДРАГОЦЕННЫЕ ЧЕРТЫ»

(Письмо в редакцию «Нов. Вр.»)

М. г. В № 9143 уважаемой вашей газеты напечатано «Необходимое разъяснение» г. А. Ванчакова по поводу смерти несчастной учительницы Еремеевой. Не считая себя вправе касаться фактических и цифровых данных этого «разъяснения», мы хотели бы спросить г. Ванчакова: какие «драгоценные черты» он нашел в школах грамоты, в которых учание получают менее 50-ти руб.?

По званию члена одного из отделений Епархиального Училищного Совета, мне приходилось не раз объезжать церковно-приходские школы и школы грамоты одной из южных губерний. И при всем желании найти эти «драгоценные черты» школ грамоты, я, грешный человек, таких не обретал. Правда, в одной школе я нашел поразившую меня черту, о которой я не могу не рассказать.

Приезжаю в один хутор, где есть школа грамоты, находящаяся в ведении отделения. Обучает грамоте традиционная «черничка», хотя «черного» на ней я

не нашел ничего. В школе душ 15 учеников разных возрастов. У малюков церковные буквари и они, бедняки, долбят «аз, буки, веди» или «буки-рцы-аз-бра». Бьются малюки над этими египетскими иероглифами до седьмого поту и тошноты (буквально), но понять что-нибудь они не могут. Как я у малюков не добивался сознательного усвоения букв и звуков, так и не добился. Обращаюсь к подросткам, почти парням, сидящим на псалтыри и «чыслови», заставляю их читать. Читают бойко, хорошо. Я беру у одного Часослов, переворачиваю листов 20 вперед и заставляю читать какой-то псалом. Парень молчит.— «Ну, что же ты, братец, молчишь, читай, хоть не торопясь». Опять молчание. На повторенную просьбу парень мне отвечает: «Мы чего ще не вчылы». Тогда я переворачиваю листов десять назад от бегло читанного и даю читать из середины псалма. Опять молчание, которое меня уже поразило. «Ведь я же даю тебе читать уже «вченое», ну, читай же!» «Мы вчылы видцеля»,— сказал, наконец, грамотей, указывая на начало псалма. «Да как же вы учили?»— спрашиваю я. «Нам показывают». Оказывается, что парни, проходившие 3—4 зимы, не знали ни одной буквы и не могли самостоятельно сложить ни одного слова. Может быть г. Ванчак эту и подобные им черты называет «драгоценными». Только эти черты (других я не нашел), едва ли стоят того, чтобы их бережно охранять и тратить на них 10 мил. народных денег.

20 августа 1901 г.

К. Гре-в.

IX. Педагогические архаизмы

Письмо г. К. Гре-ва, бывшего члена Епархиального Училищного Совета, относительно успехов в так называемых «школах грамоты» — появилось очень своевременно. Нет сомнения и всегда все знали, что школы эти самые элементарные. Слово «элементарность» выражает курс учения, крошечный объем сообщаемых ученикам сведений или навыков, не превышающих простую грамотность; но несколько это слово не должно выражать собою столь первобытные способы преподавания, что, просидев три зимы над «псалтырю и чыслови», ученики все-таки не умеют читать. Ученики учатся не по здоровому методу азбуки, а по-старинному: «буки-рцы-аз-бра». Давно было объяснено, что когда учитель ученику говорит: «сложи *буки* и *рцы*», то ученик довольно рационально отвечает: «*букирцы*», не понимая, что бы это значило? О звуковом методе обучения грамоте у нас так много писали и педагоги, и непедагоги в шестидесятых и семидесятых годах, и он до того прост и естественен, что — можно было ожидать — «буки-рцы-аз-бра» везде брошено и забыто; по крайней мере — брошено в официально существующих училищах. К удивлению, они здравствуют. Таким именно способом учатся «Псалтырю» в школах грамоты, не во всех, но по крайней мере во многих. Мы даже не знаем, во скольких именно, и можем подозревать, что в очень многих. «Я так постоянно видал,— пишет г. Гре-в,— объезжая по обязанности члена школы».

Школы эти были основаны в восьмидесятых годах и представляют как бы подготовительный курс или младшую стадию церковно-приход-

ских школ. О последних писалось очень много, писалось по преимуществу священниками, с жалобами, кажется не обосновательными, что им, за множеством треб и обширностью приходского письмоводства, некогда внимательно учить. Признаемся, в откровенном рассказе о положении дела нельзя не видеть заслуги. В способе, каким вводились церковно-приходские школы, была излишняя торопливость, не пропорциональная подготовленным средствам. Прежде всего не было подумано, есть ли действительно у священников время? Не много времени берет воскресная и предвоскресная служба, но сколько времени берет выписка из метрических книг о всех рожденных за двадцать один год назад? — Таковая «выписка» требуется воинским присутствием для составления списков призыва крестьян на воинскую службу.

А сношения и переписка о брачующихся, с опасностью ответить за неправильный брак? А погребения, крестины и исповеди? Умиравший не ждет, когда окончится урок у батюшки; и священник должен бросать урок, потому что слишком для него очевидно, что у постели умирающего долг пастыря нетерпеливее зовет к себе, чем в школе. Вся эта картина приходской сельской жизни едва ли предносилась воображению устроителей церковно-приходских школ иначе, как в чертах общих и отдаленных. Сказать, чтобы священники никогда не становились в подобную коллизию, в такое столкновение обязанностей, с одной стороны — душевных, а с другой стороны — официальных, невозможно. Мы слишком много возлагаем на священников, едва ли измерив даже физические их силы.

Но торопливость «Ведомства» шла далее. Едва ли организовав отлично или удовлетворительно церковно-приходские школы, оно расширило район своего педагогического управления основанием «школ грамоты». Что же это за школы? Случайный инцидент с учительницею Еремеевою заставил случайно спросить о жалованьи учительницам, а интересное «разъяснение» г. Ванчакова раскрыло такие подробности платной стороны дела, которые заставили вероятно вздохнуть миллионы русских грудей, привыкших уважать сельскую учительницу. Но что же однако дают сами школы и что они собою представляют? «Буки-рцы-аз-бра», «три года сидим, а читать не умеем». Достаточно ведь было только показать самому учителю звуковой метод, т. е. *командировать его хотя на неделю в какую-нибудь учительскую семинарию*, чтобы он не мучил детей над грамотностью целые три зимы!! Очевидно, у Духовного Ведомства вовсе нет или есть крайне мало учительских семинарий. Школы грамоты суть живые сцены педагогики, которая казалась уже невозможною Фонвизину, и он изобразил их в том же бессильном чтении «Псалтыря» Митрофаном, о каком пишет г. К. Гре-в. «Обучает грамоте традиционная черничка... У мальков церковные буквы... Бьются малютки над этими иероглифами до седьмого поту и тошноты (буквально), но понять что-нибудь они не могут». Да и как понять, когда «буки-рцы-аз» действительно и рационально читаются «букирцыаз», а не «бра». И все это можно бы устранить через неделю

занятий «чернички» в учительской семинарии. Ведь только показать, всего только показать ей: она уже взрослая и такие пустяки, как секрет звукового метода, в час поймет. Но этого не сделано. Что же сделано? Ничего. Написано «школа», позволено под эту вывеску собираться крестьянским ребятам, прийти туда какому-то учителю, ничему не выученному... и пусть они повторяют бессмертные сцены Фонвизина. Такое зрелище для тысячелетней России слишком наивно, а может быть кто-нибудь прибавит, что оно и «очень дико».

Х. О деревенском учении

Хорошие пожелания — при хороших средствах. В огромной массе наших деревень еще вовсе нет никакого училищного света, в других он есть, но в таком изломанном и допотопном виде, что почти приходится пожалеть, для чего его заводили. Последние пятнадцать—двадцать лет и Министерство народного просвещения, и особенно Земство несколько отодвинулись на задний план со своим излюбленным училищным делом, очистив место для педагогической деятельности Училищному Совету при Св. Синоде. Но судя по доносящимся с места сведениям, обильно со всех сторон подтверждаемым, положение деревенского учения так плохо и так хило, что и Министерству, и земству придется взяться и может быть усиленнее, чем когда-нибудь за учебное дело. Нужно всеми средствами усиливаться не столько повышать уровень учения, сколько расширять пространство его, чтобы добиться, наконец, хоть твердой и повсеместной грамотности, умения *читать, писать и знать счет*. Первоначальное образование с выучкою чтению, письму, молитвам и решению легчайших задач счета вместе с тем не выведет ученика школы из крестьянского быта, что чрезвычайно важно. Нельзя представить себе, до чего важно сохранение в недрах самого крестьянства даровитых элементов, и несколько подученных; до чего бедственно действует как бы подставление к деревне насоса, который вытягивает из нее всякое возможное или начинающееся дарование и перебрасывает его от поля и сохи положим в педагогику, в фельдшерство, в мелкое чиновничество, вообще в городской и мелко-интеллигентный труд и быт. Все это обогащается даровитым крестьянином; не само-то крестьянство беднеет ровно настолько, насколько от него обогатились другие. Вопрос о судьбе крестьян-учеников вообще всегда оставался как-то тускл. Известно, как много интеллигентных людей, рожденных и воспитавшихся в городе, шло в деревню. Они сослужили свою хорошую службу. Но вот вопрос: если образованный человек, и хорошо образованный, находит, что нигде он не принесет столько пользы, как живя в деревне и трудясь среди крестьян, то что же мы скажем о молодом выучившемся крестьянине? Не приложима ли аксиома о деревенском труде для него удесятеренно сравнительно с интеллигентом? Поднимать просвещение деревни поэтому нужно очень ровно, не скачками и в особен-

ности не кусками, не оазисами. Теперь невозможно до известной степени не примириться с покиданием деревни питомцами деревенской же школы, во всяком случае этому нельзя положить предела: просто человек ищет однородной себе среды, общения в умственных интересах, пусть даже не высоких. Но столь же очевидно, что тоска по городу не станет лишним мотивом для покидания деревни, раз *вся* деревенская жизнь начнет подниматься ровно над теперешним заброшенным, одичалым своим состоянием.

XI. Нечто о мыле, трахоме и «Заветах Минина и Пожарского»

Далекая восточная газетка («Приамур. Вед.») сообщает случай: в селе Средне-Бельском крестьяне решили построить взамен ветхой и полусгнившей прежней школы новую, большую и светлую. Не только инспектор народных школ края, г. Окунцов, но даже и сам начальник области, ген.-лейт. Грибский, отнеслись равно сочувственно к постановлению сельского общества. Уже заготовлен был лес. Вдруг — неясно, отчего и как — вышли споры о том, чьей быть школе и какого типа, министерской или церковно-приходской? Спор оказался более горячим, чем можно было ожидать, и не решился до сих пор, а заготовленный на школу лес лежит и гниет. В другой приволжской газете сообщается, что здесь среди крестьянского населения особенно развита и все увеличивается трахома — болезнь глаз. Болезнь эта, выражающаяся течением гноя из глаз и болью в них, настолько сделалась народна, что уже крестьяне считают ее обыкновенным и почти всеобщим явлением, и на исследование врача смотрят, как на тягостную и бесполезную придирку, а прописанные рецепты вероятно бросают в огонь или в реку. Эти крестьяне по месяцам, а иногда до износа, не меняют белья, освещаются лучиною вместо свечи и вовсе не знают употребления мыла.

В самом деле, кому же этих немых и больных учить — Министерству народного просвещения или Св. Синоду? И как — по «Псалтири» учить или по «Родному Слову» Ушинского? Кому учить — «черничке» по способу «буки-рцы-аз-бра», или учителю, выученному в учительской семинарии, который знает все-таки звуковой метод? Не знаем, кому учить. А крестьяне сидят все так же немые и из глаз их течет какая-то гадость. Говорят, школы грамоты и церковно-приходские школы суть «продукт высших государственных и даже почти историко-государственных соображений». Это как бы голос Минина и Пожарского. Минин и Пожарский как бы смотрят из могилы очами,— вероятно более здоровыми, чем у живых русских крестьян,— и завещают нам учить детей непременно начиная с «Псалтири», а не с чего-нибудь другого. Повинуясь «сему голосу» замогильному, «сему завету» историческому, Русь должна скорее погодить, нежели торопливо и антиисторично ринуться по путям Ушинского, Пирогова и других меньших. Нам кажется,

что сия «историческая забота» и есть главная причина, что бревна в Средне-Бельском селе гниют под дождями, а глаза приволжских крестьян тоже несколько гниют от лучинного дыма и вечной неумытости.

Кому учить? Ведомства ревниво следят друг за другом, как Патрокл за Ахиллом и Ахилл за Патроклом. Все это так. Но жаль и леса в Средне-Бельском, и глаз по целому Поволжью. Да и по одному ли Поволжью? Лучина и неумытость в России то же, что муравьи в лесу: где ни приткнись, они ползают. Где вы ни войдите в крестьянскую избу, но если она далеко от железной дороги,— вы встретите ту же лучину и то же отсутствие мыла. Повальная трахома потому и открыта в Поволжье, что на нее было кому посмотреть. Вошел врач — и увидел; в другом месте он не вошел — и не увидел, а она все-таки есть.

Кому учить? Загадочный вопрос. И страшно Минина, и хочется Ушинского. Но еще более хочется в деревню здорового и просвещенного хозяина, какие, говорят, бывали встарь, и приучали крестьян к изделиям, промыслам; девушек сажали за рукоделие, а мальчиков выучивали ремеслу и даже иногда искусству. В деревню нужно культуру, вот кого туда нужно. Спор между Ушинским и былыми сценами Фонвизина все-таки не настоящий. Настоящий спор все-таки идет о мыле, об умении и охоте позвать доктора, об умении вымазать стены избы глиною и покрыть ее не соломою, а черепицею — это с одной стороны; а с другой — о теоретизме, будет ли все излагаться буквами гражданской печати или церковно-славянской. Деревне нужна школа, но непременно практическая, чуть-чуть подкармливающая крестьян через повышение ценности продуктов его труда и в то же время очищающая его быт. Вот, думается, две задачи школы в деревне. Школа непременно должна быть *выгодна крестьянину*. А то ведь он и без того достаточный патриот,— и невозможно же ему совсем уж и лучины не зажигать у себя по ночам, чтобы окончательный рубль передать на церковно-приходскую школу или школу грамоты, дабы «черничка» наводила ему на лицо глянec Минина в видах сохранения исторической преемственности. *Только выгодная школа нужна мужику*. Он слишком беден, чтобы баловаться ученьем, хотя бы и в высоко-архаическом или высоко-художественном стиле. Дело в том, что мужику еще нужен доктор — так где уже тут думать о Минине и Пожарском и заботиться, чтобы длинноротый крестьянин не терял разительного сходства с героями-предками и как-нибудь не уподобился, Боже упаси, латышу, чухонцу, колонисту-немцу или штундисту...

Выгодная для крестьянина школа — вот знамя, под которым должен быть понесен свет в деревню. Дайте такую школу, перестаньте теоретизировать, *перестаньте думать о себе и подумайте о нем*; и он все, что у него остается хлебного, денежного, ценного, отдаст школе.

А судьбу Средне-Бельского училища все-таки надо решить: кому же принадлежать ему, Министерству народного просвещения или Св. Синоду? А то зима настанет и лес уже совсем сгниет.

МИССИОНЕРСТВО И МИССИОНЕРЫ

Миссионерство и миссионеры

I

Истекшее лето мне случилось провести верстах в девяти за Териоками. Мы переехали на дачное жилье целою группою семей, связанных зимним знакомством, — и, любя беседы на религиозные темы, я имел случай удовлетворять эту жажду с людьми высокого богословского образования, частью прошедшими духовную академию, частью университет и духовную академию. Из них трое, М. А. Новоселов, В. М. Скворцов (редактор «Миссионерского Обозрения») и В. А. Тернавцев, были упомянуты в газетных сообщениях, как участники двух миссионерских съездов — в Нижнем Новгороде и Орле. Священники Альбов, Устьянский, Городцев, хотя и реже, по причине своих занятий, но принимали здесь участие. Вообще нужно сожалеть, что так редко и мало в общую печать доносятся отголоски очень живых и очень частых теперь в Петербурге и Москве религиозных бесед, неустановленных, беспрограммных, чистосердечных, проникнутых самым глубоким взаимным уважением и, на мой взгляд по крайней мере, глубоко содержательных и волнующе интересных. При взаимном уважении, кому хотелось бы обидеть — не обижал, кто вправе был бы быть нетерпимым — не оказывал нетерпимости. Острота мнений притуплялась, жестокость решений — сглаживалась. И при полном очевидном несогласии друг с другом относительно многих весьма коренных пунктов, мы сходились и расходились не только с взаимным благожелательством, но и с желанием как можно скорее вновь сойтись и еще и еще беседовать.

Не нужно напоминать читателю некоторых церковных явлений этой весны, чтобы указать, что одна тема, именно о свободе религиозных мнений, получила тогда особый импульс. И вот, я помню один летний вечер, как три наших семьи собрались у почтенного священника П. Д. Городцева, чтобы почайничать на веранде. Хлебосольный хозяин, любитель рыбной ловли, отличный ученый, законоучитель в нескольких высших учебных заведениях в Петербурге, расставил нам всяческие яства и пития, — но мы жаждали более питания духовного и сейчас же заговорили о некоторых статьях «Миссионерского Обозрения», редактор которого был с нами и несколько смущался, поступил ли он тактично или нетактично, опубликовав рискованные документы *. Все мы привыкли

* Именно он опубликовал в полном виде «Ответ гр. Л. Толстого Св. Синоду», только что отлучившему его от Церкви, с исповеданием веры этого писателя, из какого исповедания даже в официальных документах, — где, как известно, «все должно быть изображено», — были выпущены большие куски текста.

уважать этого редактора и дружно принялись утешать его, говоря, что, оставляя в стороне вопрос о такте, в котором все мы не компетентны, подаем руку как мужественному христианину, который всегда хочет бороться, потому что верит в свою правду. И вот я помню памятные слова старого нашего почтенного хозяина-священника:

— У нас в Академии преподавал Янышев (теперь — протопресвитер). Что это были за лекции и какое тогда было время! Он первый устранил из чтений своих условность и схоластику, устранил деланный высокопарный язык и начал показывать нам все всякого разбираемого вопроса. Мы, студенты Духовной академии, все были одушевлены. Вот раз мы собрались и говорим своему профессору: «Пусть откроют свободу мнений, пусть пишут все: мы победим. Неужели же мы не победим?!»

И он оглянул нас, сидевших, горящим взглядом и, сделав жест, как бы переламывает палку, которую тянет к себе, когда его противник тянет ее в противоположную сторону, продолжал:

— Кто кого перетянет? Неужели же мы не одолеем?

И лицо его осветилось победой.

— И как я тогда думал, тридцать лет назад, так и сейчас думаю: пусть печатают всякие еретические мнения! Истина несокрушима, Православная вера непобедима! Только уж тогда и нам дремать не придется. Придется покинуть ленивое существование и начать работать, работать и работать — для торжества св. Православной веры.

Меня это несколько удивило и я посмотрел на В. М. Скворцова:

— Рано, рано, отец. Нет! Какое ведь наше время и общество? Разве возможен ныне честный спор? Вас не поймут, засмеют, вас оклеветают, мнения ваши извратят, затопчут — и вам негде защититься... Тут — страсти; тут — литературная ловкость. Победителем окажется не человек честный, а человек ловкий. Рано, отец.

Но вот факт. Мнение о свободе изложения религиозных мнений было высказано священником и отпарировано редактором миссионерского журнала не по принципиальным основаниям, а по практическим соображениям. Сколько вечеров я сам беседовал с этим редактором. Когда-то учитель семинарии в Киеве, никем не нудимый, открыл около Киева прения с сектантами, и, любитель-кустарь своего дела, теперь перенес деятельность в Петербург, сохраняя те же приемы не академического высокомерия, а, так сказать, домашнего рукоделья в своей деятельности. Все в нем открыто, твердо и порядочно. Сколько вечеров я задушевно переговорил с этим редактором, при первом же со мной знакомстве спасшем от духовной цензуры одну ею не пропущенную мою статью («Замечательная еврейская песнь»). Мы почти непрерывно разговаривали о разных явлениях в церковной современности, и вот образец его терпимости:

— Помилуйте! — говорил я раз. — Как перепутываются при непонимании мнения и меняются взаимно позиции. Уже в печати я обвиняюсь в том, что будто бы высказываюсь за гражданский брак, без религиоз-

ных форм, когда я стою здесь не за *убавление* религиозных форм, а за *прибавление* религиозных форм; за дальнейшее, более глубокое и более последовательное освещение всех сторон и всех моментов супружества, отчества и материнства. Почему о путешествующих, воинствующих есть в эктении прошения, а когда наши жены рождают и мучаются, и боятся смерти, и ищут помощи — нет о них простого и умиленного слова в эктении? А это возможно было бы и нужно было бы. Сошлюсь, что невозможно что-нибудь здесь прибавить или убавить. Неправда. Установлена же новая молитва после несчастной кончины Александра II, в которой испрашивается у Бога, чтобы он оградил своего помазанника ангелами-хранителями. Молитвенное творчество, молитвенное созидание Церкви не кончено, не запечатано. О всякой скорби и во всякой муке можно молить Бога, и молить не общими, а особо приуроченными словами. И вот я говорю, что для такой особенной и страшной и вместе радостной минуты, какую женщина переживает, рождая, нужны бы две молитвы: личную для нее, утешающую и ободряющую, и — общую за них всех и о всех их, которую, слушая на эктении, повторяли бы мысленно их отцы, братья, мужья, дети. Но этого нет! И наши всемирные и прекрасные эктении о всем помнят, а такой центральный факт, как рождение — забыли и обошли молчанием. Мне это обидно; как семьянину — мне это больно. Теперь обращусь и к разводу, который опять же должен бы вытекать из таинства, т. е. протекать религиозно-торжественно, а не в судебных протоколах, что соответствует гражданской сделке. Не находит ли дух гражданского брака себе опоры в вашей же церковной сфере, установившей для брачных людей, в случаях несчастия брака, — *судоговорение, свидетельства, документ*, т. е. сумму *юридических* форм?! Ибо ведь если *формы* юридические, то, предполагаемо — и *зерно* их тоже юридическое? Кто же наглядно учит о гражданском браке, кто его внушает обществу? *Вы сами!* Пусть бы священник, в епитрахили, выйдя после литургии на амвон, объявил такой-то брак расторгнутым. А, это я понимаю! Это — таинство. Но теперь? Я вижу судей, юристов; и даже если вижу священников в консистории, то *без епитрахили*, т. е. не священствующим, а разбирающих житейское дело, как в консистории же они разбирают разные жалобы на священников. И, следовательно, вот *откуда* идет, а не от моих статей, воззрение и внушение другим, что брак есть вообще только житейское дело, *юридическая сделка*. Я-то — за таинство, а мои оппоненты — *против* таинства. Но этого никто не замечает.

— Это интересно, это совершенно ново и глубокой правдой дышит... Конечно, вся сумма не вашего, а нашего отношения — юридична, и тут много забыто из того, что «едино на потребу». Все это было бы полезно вам изложить и напечатать.

Такое слово мне дорого. Никогда в этом человеке я не видел ни официала, ни официоза, а мужественного, прямого воина своего дела,

хотя преданного, ревностного, желающего именно воинствовать. И речи с ним лились легко.

Однажды, под живым впечатлением только что произведенной ревизии, он рассказывал мне с негодованием, с горем, об одной семинарии, в которой ректор, обязанный следить за содержанием живущих в интернате учеников, одиннадцать лет не спускался в столовую. «Была одна салфетка на семь учеников. Вы представляете себе, какой грязной и вонючей тряпкой они утирались?! Юноши заволновались на одиннадцатый год, и их обвинили в либеральном духе и политической неблагонадежности. А они были только брошены и забыты, как свиньи».

Он чистосердечно признавался в недочетах. Как было не признаться ему в своих недочетах? И душам, открытым с одной и с другой стороны, было легко. Я думаю, это отношение между нами было христианское. А воистину, где метод христианских отношений (я настаиваю на слове «метод»), — там все хорошее и доброе становится не трудно, а все злое само собой выскакивает вон.

II

Я позволил себе эти маленькие воспоминания, чтобы объяснить читателю то недоумение и неприятное чувство, с каким прочитал речь г. Стаховича на последнем миссионерском съезде в Орле, посвященную свободе религиозной совести. «Не то! Не то! Не так! Не так!» — думал я, читая эту речь. В ней есть своя правда. Конечных целей, в ней поставленных, я думаю — достигнет Россия; я думаю, многие деятели самого Съезда, отрешенно от условий пространства и времени, страны и истории, думают так же, как г. Стахович. Неужели и они не знают, что Евангелие есть милость, есть любовь, есть прощение, а не кара, не угроза? «Я пришел для грешных, а не для праведных», неужели этого они не читали у Христа? Уверен, множество священных сердец облились кровью, слушая речь светского оратора «Боже, он *наше*, наши слова взял, наше сердце вырвал: и продает его на рынке, как говядину, обращая выручку против нас же».

И душа моя волновалась за некоторых друзей, присутствовавших на Съезде, которых я знал подлинными, настоящими, внутренними христианами. Из них два светских богослова, гг. Тернавцев и Новоселов, оба прошедшие длинную стадию религиозных сомнений, — до того преданы интересам и вопросам религии, что, кажется, ни о чем ни думать, ни говорить не могут, кроме дел Церкви. Но как много они простирают критики на дела церковные, можно видеть из слов, неоднократно мною слышанных из уст одного из них: «Только кат (палач) может говорить против нужды в реформе Церкви; но в реформе, — к *улучшению* направленной, а не к *разрушению*». Он же духовную цензуру называл всегда «прямо чудовищной»; капитальные богословские труды «ничтожными и презренными», в то же время зачитываясь греческими мистиками-

аскетами IV—V века. Вот их умственный строй. А простота и великодушные их сердца, сказывающиеся в простых житейских отношениях, так высоки, что, право, умирая, я хотел бы видеть их около своей постели. Позволяю себе это сказать, ибо речь г. Стаховича, может быть независимо от прямого намерения оратора, забрасывает семена нравственной подозрительности на деятелей миссии. «Вы притеснители, а не христиане»,— говорит смысл его слов. Речь его была только по виду предложением, а на самом деле она была судом и осуждением. А где есть суд, там есть и права защиты, там есть право свидетельствования. Съезд ответил оратору, что «отклоняет его доклад как по существу, так и по несоответствию задачам местного миссионерского съезда». Ответил съезд уклончиво, сухо, официально. Но ведь таким же тоном заговорил и оратор? Почва взаимного понимания между критиком и критикуемыми была потеряна. Он не понял их. Они сказали, что не хотят понимать его. Повторяю: по смыслу речь г. Стаховича — правильна, по далекому идеалу — правильна. Но она не проникает * вовсе в существо темы, мучительной и запутанной для миссионеров еще более, может быть, чем для сектантов. Она чужда братского воззрения на рядом сидящего человека и, я думаю — поэтому не благородна.

В царствование императора Николая не было миссионерских съездов. А простое и научное исследование вероучения религиозных сект в России я читал в лондонском издании Кельсиева, похитившего труды этих исследователей в петербургских тайных архивах. Вот как дела делаются, когда отношение к расколу бывает *только* преследование, *одно* преследование. Оно не помогло. Сила раскола и сектантства не сократилась, а выросла. Я думаю, самое главное возражение против какого-либо употребления чиновнических и полицейских сил против сектантства и заключается не в общих ссылках на принципы свободы, но главным образом в указании на совершенную *практическую безуспешность* всяких против веры притеснений. Это — как брызгать керосином на раскаленную полосу железа. Скопцы производят над собою

* Ниже мною, по вопросу о свободе совести и вероисповедания, помещено еще несколько статей, которые все могут показаться читателю *уклончивыми*. Таковы они и были по самому замыслу во время писания. Я брал вопрос и сбрасывал его со стола: «не хочу решать, вопроса этого нельзя решить при имеющихся или принятых в опору свою диспутантами точках зрения». В самом деле, дико думать, чтобы Августин, по силе мысли равный Декарту и Ньютону, не знал аргументов, пришедших на ум Стаховичу. Или что Кальвин и папы, в данной теме не расходившиеся между собой, знали Евангелие и вникали в него менее, чем Орловский предводитель дворянства. Пустяки. «У стены церковной» решить этого *трансцендентного* вопроса о преследованиях, гонениях, мучениях за веру в христианстве — *нельзя* вовсе. Это — не «арифметика» Евангелия, его прямые и открытые стороны; а, так сказать, логарифмы Евангельского духа, текста и судьбы, вращающиеся на границе миров христианского и нехристианских. Поэтому статью, прямо исследующую этот вопрос и уже *не уклончивую* в языке: «Об основаниях церковной юрисдикции, или о Христе как Судии мира» (доклад, прочитанный на «Религиозно-философских собраниях» в Петербурге в ответ на речь кн. Волконского, аналогичную с речью г. Стаховича) — я вовсе выключил из настоящего сборника, как глубоко разнородную с ним. Все это уже скорее «вдали» от стены церковной; и вообще вне «арифметики целых чисел», разрабатываемых в данной книге.

известную операцию. Что сравнительно с нею значат два года тюрьмы? Как же пугать людей тюрьмою или и подлинно засаживать их в тюрьму, когда они не побоялись этой операции,— не в смысле боли одной, а лишения важнейших утешений земли, потомства, семьи, очарований поэзии и красоты. Очевидно, души этих людей кипят в чудовищном заблуждении, и одно средство против этого: охладить, успокоить атмосферу их веры, и, затем — разъяснить. В секте «бегунов» люди бегают из места в место, побросав дома, работу, семью: что вы сделаете, выслав их в Тобольскую губернию? Совершенно очевидно, что степень уже принятого на себя сектантами страдания превышает всякую меру возможного наказания, какое им могли бы придумать гражданские власти. Они сами зажгли для себя ауто-да-фе: а миссионеры хотели бы их наказать как школьников. Наказать карцером, после того как запрещены розги. Несчастное баловство, безумное педагогическое самообольщение! Русский раскол глубок и страшен. И миссионерство просто наивничает, если воображает еще, что тут возможно что-нибудь побороть силою, притеснением, причинением страдания, наказания. Наказывают озорников, но фанатиков не наказывают. Мне кажется, русская миссия и становится теперь быстро на эту точку зрения, перейдя от веры еще николаевских времен, что все тут «надо держать в тайне», нужно «секретно преследовать и секретно подавлять» — к таким мерам, как, например, съезды миссионеров, где открыто обсуждается положение дел, или к публичным собеседованиям с сектантами, к печатанию в журнале рассказов об этих беседах, с полным и открытым изложением их вероучений *. Вот это я считаю большим делом, добрым путем; ибо в нем я вижу в самом миссионерстве сознание, что раскол надо разъяснить, а не победить. Или лучше: что его и можно победить — только *предварительно* разъяснив. Но страшный фанатизм русского раскола, его раскаленная температура бросает иногда самих сектантов прямо к таким поступкам против Церкви, к таким уже не словам, а деяниям, которые прямо вынуждают не слова же, а действия самозащиты. «Страшно жить в деревне, где завелись скопцы; вы не знаете, не совлекают ли уже тайно вашего сына, вашего мужа к операции. Вы узнаете о ней, когда все кончено и ваше счастье и жизнь погибли». Так говорила одна женщина-крестьянка из скопческой местности. Повторяю, явления иногда бывают так страшны, что совершенно простительна растерянность борцов с таким явлением. Видя прямо надвигающийся ужас на местность, они начинают хватать, бить, физически бороться, без всякого, впрочем, успеха. «В Нижегородской губернии до тридцати тысяч хлыстов: позволь им свободу — вся губерния заплашет», — говорил мне высокопросвещенный человек, гово-

* Тот же В. М. Скворцов с удивительным (может быть, наивным) чистосердечием печатает такие «собеседования» с сектантами, и особенно их «ответы» гг. миссионерам, каких наша печать, по «независящим обстоятельствам», никогда и приблизительно не видела. Это я (да и не я один) считал всегда большою заслугою г. Скворцова.

рил прямо с отчаянием. Некоторые монастыри, особенно женские, небольшие и в глухих местах, в целом иногда составе переходят в хлыстовщину. С виду кажется, что стоит православный монастырь; совершаются там все службы, весь круг, полного и самого ревностного православия. Они истощаются в молитвах и постах; а в глухую ночь собираются и кружатся «радея». Другой видный миссионер мне говорил: «мы не боимся и для нас не составляет тревоги старообрядчество. Это сила консервативная, и как они стояли — так и стоят. Но хлыстовщина — вот чего мы боимся. Вы не можете представить, какой это тайный, крадущийся зверь, до чего он везде проползает, будит воображение народное, и, извращая его — ввергает людей в гибель. В ней есть какая-то дьявольская поэзия, нам еще неизвестные чары; она внушает мечтательность, рисует надежды, манит загробными обещаниями. Что мы тут сделаем? А делать что-нибудь нужно. Можете ли вы представить себе хлыстовскую Россию? А откройте вы свободу пропаганды и обряда — и через сорок лет Россия покроется огромными пятнами хлыстовщины, как кожа больного человека лишаем».

III

От себя скажу, что тут кое-что можно сделать, о чем не догадываются миссионеры. Все народно-религиозное брожение в России бродит не на своем собственном корне, выдуманном ими, сектантами. Нет этой оригинальности и автономности в русском расколе. Чтобы понять это, надо быть верующим и углубиться в веру. Тогда в самой Церкви, в совершенно официальном и утвержденном ее учении окажутся некоторые *недоговоренности*, неясности, так сказать *догматические многоочия*, и вот все сектантство и есть как бы попыткой *написать определенные и точные слова* — взамен этих многоочий, неясностей, официальных колебаний. Скопчество... да позвольте, что же такое монашество, как нескопчество до операции и без операции? Совершенно те же утверждения, какие содержатся вскопчестве, содержатся и в монашестве: но лишь без хирургической прибавки. Скажут: «она-то и ужасна». А я отвечаю: да *зачем* вам анатомия, когда *отвергнута физиология*? Что за орган, коего функция подавлена, вредна, ядовита, — а ведь в этом же и состоит монашество!! Ну, у меня растет криво ноготь, врос в тело, болит, вредит: конечно — взять ножницы и срезать его! Это и делаютскопцы, потому что они чистосердечны, пламенны, верующи, последовательны, а монашество — более прохладно *в том же учении*, и *уклоняется, колеблется, боится*: власть взяло себе над миром, а чего подлинно *стоила бы эта власть* — того не дает, не платит. Скопцы и думают, что они достигли высшего архиерейства, так сказать небесного монашества, ибо все совершили, что можно совершить: стали «юродами» для мира и «верными» Христа. Это страшно. Но это и глубоко. Миссионеры могут разбить голову об стену, но они не поколеблют этого учения, неопровержимого

с тех самых точек зрения, которые обязательны и для миссионеров. Миссионеры находятся именно в состоянии тех неопитов, к которым только подкрадывается это учение; волны скопчества уже есть, уже ходят около них, *в совершенно официальном учении*. Но они их, прохладных душою, не увлекают. А встретит душу горячую, слезную, обращенную к Богу: и она закружится, впадет в неодолимую логику, выбросив оговорки, колебания, явные противоречия и, наконец, прямую полемическую недобросовестность гг. миссионеров — и совершит операцию. Не нужно! кривой ногой, вредная болячка — по *вашему* же мнению. Но ее вы на себе оставляете, а я — режу, по слову Господа, *если глаз твой правый соблазняет тебя — вырви его, если рука соблазняет — отрежь ее*. Но вы не веруете и не делаете, а я верую и делаю».

Я читал за несколько лет «Миссионерское Обозрение», и не скрывал от В. М. Скворцова, до чего позорны все попытки опровергать сектантов и раскольников. Точно это в расчете на детей написано, которых можно убеждать, складывая словесные карточные домики.

Так вот в чем дело. В «многоточиях» богословия, в его уклончивости, неясности, непоследовательности около очень многих пунктов. От этого-то в сектантство и идет чистые сердцем и высокие умом люди. Они доходят, так сказать, до дифференциалов и интегралов того самого учения, в котором гг. миссионеры не могут переступить дальше и выше четырех правил арифметики. «Дальше — темь! не человеческого, по крайней мере, не нашего разума дело! Умолкаем, не понимаем». Но ревностные лезут дальше, но даровитые углубляются. Получаются разные виды сектантства. Все наши секты суть *гипотетические построения на местах богословской неясности*. В них много и уродства; но есть и гениальность. Чтобы побороть его, действительно побороть, нужно чтобы среди миссионеров поднялись Оригены, Клименты Александрийские. Куда им до этого!

И слабые, но честные люди, — я говорю о миссионерах — бьются. Положение их безвыходно, мучительно, жестоко. Они очень любят Россию, бесконечно преданы Церкви. В самой Церкви, в строе ее науки и иерархии — они «седьмая спица в колеснице». Что же они могут поправить в тех многоточиях, о которых упомянул я? Они не только *сил* не имеют, но и *права* лишены что-нибудь свое сказать в «пунктах неясности». А кто *мог* бы и должен — одни читают лекции студентам, другие просматривают «пархиальные дела» о том, как в пьяном виде такой-то побил свою тещу, или другой «взял не по чину» за требоисполненье.

Раз я сказал В. М. Скворцову: — «Вы стреляете из тех пушек, какие вам дают. Не вам же, миссионерам, выдумывать новые аргументы. Это должны делать духовные академии. Это принадлежит светилам мышления и религиозного усердия. Но арсенал-то у вас не исправный, и вот вы стреляете; грому много, а результата никакого: враг стоит цел и невредим. Пушки скверные: и хотя наводчики их старательны, но нужно

прогнать старых литейщиков и изготовить, по новой системе и с глубокой добросовестностью материала — совершенно новый снаряд пушек». Я помню, что он ничего мне не возразил.

Нужно пожалеть и их. Сектантство растет и кружит головы народу. Самая глубокая тревога (я наблюдал) миссионеров — просто за Россию. «Неужели же она должна потерять облик православия и стать чем-то другим, невообразимым». Верность истории своей — их главный мотив. Достаточно их ближе узнать, чтобы искренно их полюбить и начать уважать. Они сами ищут помощи и вот призывают светских богословов, людей университета, но преданных Церкви. «Может быть вы что-нибудь рассмотрите, чего мы не видим, и сможете, чего мы не можем?» Неужели это недобросовестный шаг? Еще немного минут исторического самосознания, — и лучшие пожелания г. Стаховича исполнятся: но исполнятся в созидательных целях, в целях религиозного строительства, роста кверху, а не в том смысле и направлении, чтобы разобрать старые камни древней постройки. Я думаю, неосторожным тоном своей речи и нравственным недоверием к людям, которые этого доверия безусловно заслуживают, он скорее поставил камень препятствия на пути к тем идеалам, которые слишком по-европейски воспринял, не считаясь с русской действительностью. Нам нужна свобода для Бога. А без Бога уже ни свободы не нужно, ни рабство не страшно. Тогда все равно... А не нужно, чтобы было «все равно». Нужен не конец религии, не щепень Церкви, а религия — светлая, небесная, Церковь до небес поднимающаяся.

1901

Голоса из провинции о миссионерстве

Есть темы ответственные, где автор не может удовольствоваться одним своим мнением, где затрагивается множество и притом самых различных интересов: и элементарная добросовестность требует, чтобы высказавший такой-то взгляд не только про себя выслушал, но и довел до общего сведения некоторые важные себе возражения. К числу таковых тем принадлежит наше сектантство. Им волнуются до десяти миллионов человеческих душ, т. е. более, чем вся Греция во время греко-персидских войн, чем Рим при начале Пунических войн, чем некоторые из современных третьестепенных государств Европы. И в практическом, и в теоретическом смысле — это явление неисчерпаемого интереса и непредвидимых последствий. Что значит тут мнение одного, положим — меня? Щепка. Все права ее на существование основываются только на том, что она плывет около других таких же щепок, ни одну из них не топит, ничему не мешает и, может быть, при обстоятельствах сослужит чему-нибудь службу.

Я рассказал о сектантстве и миссионерстве то, что видел. Но видел-то я едва миллионную долю того, что есть. Мне это дело представилось

со стороны миссионеров трудом тяжелым и добросовестным, притом чуждым самообольщения, а особенно (самая для меня симпатичная сторона) — простым, не чопорным, не сановным, не бюрократическим, хотя местами до очевидности грубым и почти везде, в сравнении с задачей, наивным. Так я видел; так я рассказал. Мой рассказ вызвал несколько писем. Из них три принадлежат лицам, имеющим все права быть выслушанными. Сейчас я приведу самое резкое письмо, оговорившись в объяснение его тона, что ведь в самом деле мы рассуждаем о сектанстве со стороны: мы никого не гоним и нас самих никто не гонит, и спокойный тон наших суждений может капнуть как серная кислота на того, кто испытал в данной сфере кое-что практически. Попробуйте лишиться имущества, попробуйте потерять детей, ну, положим, по нерадивости доктора: и вы ощутите в душе своей звуки, очень близкие по жесткости к следующим: — «Какою-то ложью и лицемерием * веет от всего, написанного вами по поводу религиозной свободы. Вы так же, как и ваши знакомцы, гг. Новоселов, Тернавцев и др., не решаетесь или не можете точно и ясно ответить: нужна ли свобода совести и в каких формах должна она существовать? Вы даете в утешение старый гегелевский афоризм, что рабом делают человека не цепи, а рабское сознание; что всякий волен мыслить и чувствовать Бога по-своему, но высказывать это, а тем паче изъяснять другим — ни под каким видом!»

Конечно, каждый судит, как может, как умеет: для меня Бога только и можно ощущать внутренне; не знаю форм внешнего осязания Бога. Также не умею придумать и «форм» для совести: ведь совесть есть голос меня ко мне, это есть упрек мне, это есть моя радость о моем добром поступке. Никакими резонаторами и ни в какой телефон голоса совести не уловить. Другое дело, выражение мнения своего вслух. Конечно, и этого часто хочется. Но оспорит ли меня автор письма, если я скажу ему: «А государству хочется сказать: не могу дать тебе *аудитории* для излияний. Моя аудитория уже занята *определенною лекциею*, поищи своей лекции *других*». Знаю, что сказать так — значит сказать жестко, больно. Но ведь все, возражающие против права государства на это, себе предоставляют право иметь пламенное мнение, и даже за именование-то таковых пламенных убеждений они себя и уважают, а у государства право иметь убеждения — они отрицают. Скажу в предупреждение, что как писатель я имею кое-какие мнения, которых решительно не в силах провести в печать, прямо и открыто их сказать. Больно ли мне это? Смешно спрашивать: это — мука моих бессонных ночей. Но я прямо не уважал бы России, если б она сказала мне: «батюшка, г. писатель, пиши на мне, как на заборе, все, что хочешь; я только пустой, гладкий забор для вывески всяких на нем плакатов». Нет, мне хочется, чтобы Россия

* Автор может быть только грубо назвал (и приписал как *мотиву*) то, что и сам я определил выше как *уклончивость*, нежелание решать вопрос.

имела мнения. С ее живою личностью я борюсь. Как борюсь,— это дело моего искусства, зоркости, настойчивости и пр. Возьмем пример исторический. До Белинского русское образованное общество имело мнения анти-«белинские», после Белинского оно имело мнения «как у Белинского». Для произведения этой перемены сгорел Белинский. Так и надо. Каждая душа есть феникс и каждая душа должна сгорать; а великий костер этих сгоревших душ образует пламя истории.

Мой корреспондент хотел бы лежать колодой и что-то бормотать равнодушно, а чтобы Россия не мешала его слушателем слушать его. Посмотрите, как к иным (не к своей) сектам он относится холодно. Он пишет далее, в том же письме: — «Ссылки на скопцов, хлыстов и пр. к делу совсем не идут: эти секты не имеют ничего общего с религией,— они коренятся на почве половой психопатии, истерии и прочих чисто патологических причин». Автор и не догадывается, что между Озирисом-египетским и Кондратием Селивановым, захватывая в круг свой Авраама и его обрезание, Моисея и его субботы, Матфея 19-ю главу и видение Апокалипсиса о 24 000 старцах, которые «не осквернились с женами»,— круг всемирного религиозного сознания колеблется, как маятник, между «да» и «нет» относительно пола, упираясь, как в полюсы, в классическую фигуру Озириса *, как она до сих пор сохранена на стенах египетских храмов, или в классическую же фигуру нашего Селиванова — «Бога-Саваофа»; и *tertium non datur* **. Таким образом, в чисто религиозной сфере автор очевидно легкомыслен и, как младенец, плещется около берега на мелководье. Он только и понимает под религиею вегетарианство, обязательность «быть ко всем добрым» и, собравшись в маленькое и приятное общество, отнюдь не закуривая папирос, начать читать что-нибудь о любви к ближнему.— «А вот вы скажите-ка,— спрашивает он далее,— имеет ли кто право преследовать и мучить,

* «Озирис *всегда* (мой курс.) изображался с fallus'ом», так пишет в подстрочном примечании архим. Хрисанф в III томе своей классической «Истории религий древнего мира». В таком же опять подстрочном примечании (самые важные тайны египтологии!) он помещает «схологию» на полях одного папируса, написанную неизвестным египтянином: «*Мир* есть *семя Озириса*» (первая, древнейшая идея Родителя или Отца мира). Когда я рассмотрел в Петербургской Публичной библиотеке подлинные атласы ученых экспедиций в Египет и, в основе всех их, 12 томов in-folio «Denkmäler» Lepsius'a, то я увидел, в чем дело. Озирис везде представлен как Бог (Кондратий Селиванов тоже именуется скопцами — «Бог-Саваоф») *cum fallo in statu erectionis* (о чем умалчивается в историях религий), и перед Ним «верные» Египта, мужчины, женщины, девушки (прямо — отроковицы, по рисункам видно) совершают, из особых ручных кадилниц с короткою ручкою (до сих пор употребительны везде в Италии) курения из душистых трав и ладана. Очевидно, Кондратий Селиванов, придя к идее своей знаменитой операции и впервые *религиозно* над собою ее совершив, стал бессознательно, и притом *впервые он* один, на полюс, противоположный Озирису, стал *анти-Озирисом*. Озирис и *анти-Озирис*: или, если все перевернуть передом назад: Саваоф-Селиванов и Дьявол-Озирис. Но уже с начала нашей эры древние «боги» были призваны «демонами», «небо» повернулось (ведь *повернулось* оно?): однако до Селиванова это было литературно, бродило около края, а он ударил в *центр* всего дела; и сказал или о нем сейчас же заговорили: «Он — Бог наш! *без fallus'a!* Один он таков из всей твари: он и стоит *выше* всякой твари, открыл мир духовный: где не рождаются и не рождают, но все совершается *modo caelestico*, без костей, крови, без семени».

** третьего не дано (*лат.*).

ссылать в Якутскую область, что будет почище инквизиции, прекрасных людей за то лишь, что они вместо посещения церкви предпочитают в строго религиозном настроении читать дома Св. Писание и беседовать о прочитанном со своими близкими, как любите делать и вы. А ведь их здорово за это бьют. Вы знаете, конечно, и штунду, и баптистов, и духоборов; и толстовцев. Не думаю, чтобы вы осмелились утверждать, что они плохие христиане по Евангелию и плохие люди. Обвинять в этих преследованиях гражданскую власть прямо несправедливо. Преследования начинаются лишь по указанию и инициативе гг. миссионеров. Не знаю, известно ли вам, что многие миссионеры усердствуют не из любви к истине, а из честолюбивого желания вылезть в люди и пр. Но всего не перескажешь; да и не в этом суть. Суть в той фальши, том ханжестве скверного тона, которым проникнута ваша статья о миссионерстве и сектантстве. Сильный мыслитель и просто честно думающий человек не может так скверно вилять хвостом и туда и сюда. Вы должны, если вы честный писатель, сказать прямо, за кого вы стоите».

Да как же, друже, не вилять (не колебаться)? Конечно, жалко вас; но и Россия мне не посторонняя женщина, а хоть и во многом горькая, но в общем родившая меня — мать. Тут уж непременно будешь двоиться в мнениях. Скажу кратко и может быть кое-что поучительное. Люди, спасающие себя «некурением табаку» и благочестивыми беседами о тихом и милом образе жизни, — не только религиозно, но даже и литературно для меня неинтересны! Просто я считаю их немецкими пиетистами, приравниваю к старым девицам, читающим Фому Кемпийского, чисто-плотными, как свежeweымытый ребенок, — людьми пресными и скучными, похожими на неприятный суп, который забыли посолить. Так вот мне и хочется им сказать нечто вероятно очень для них новое, но, надеюсь, убедительное, собственно в религиозной сфере.

Они читают Евангелие, а в церковь не ходят, и боятся, пренебрегают ходить: это, видите ли, для них слишком грубо и необразованно. Но вот, завзятый антивизантиец, я скажу объективно, холодно и даже равнодушно, что в церкви есть такие некоторые глубины и высоты, и красота, и проникновения, каких в Евангелии вовсе нет — нет ни в полноте, ни даже в зачатке. Это всех удивит? Да, в дивных трудах тысячелетнего размышления и созидания Церковь кое в чем поднялась над Евангелием: и это-то и есть линия вечного непонимания протестантов, и вместе восторженной и чуткой веры множества русских, что «Православие — это конец, дальше которого некуда идти». Заметьте: Православие, а не Евангелие. Сердце читателя в негодовании поднялось на меня, но я в упор остановлю его одним примером: почему весь народ при пении Херувимской падает ниц, без приказания, без примера священника или диакона, по умилению своему, а при пении молитвы Господней, единственной содержащейся в Евангелии, хотя диакон и подает пример к коленапоклонению, но за ним лишь весьма немногие следуют? Херувимская — дивно мистична, непонятна: а ведь душа религии — в тайне,

в сокровении, «в облаке». И вот в Херувимской и выражена небесная тайна религиозной души, смотрящей в небо и что-то особенное там видящей. Напротив, в молитве Господней («отче наш») все понятно, рационально; она устраивает землю, перечисляя ее нужды, но Престола Господня, как в Херувимской, в ней не видно. Это-то и почувствовал народ и пал наземь; а при второй молитве, земной, рациональной, остался на ногах. Что на это скажут господа, «не курящие табаку»? Не ходя в церковь, они лишили себя Херувимской песни, которой решительно невозможно заменить чтением ни одной страницы Евангелия, по отсутствию равенства и сходства настроения, потому что Херувимская — *новое, другое, сотворенное впервые*. И, поразительно, сотворенное даже не святым угодником, а каким-то греческим императором. Так, дохнул в него Св. Дух — и века и народы умилились.

Что в Евангелии сказано о смерти и погребении? Единственное: «оставь мертвым погребать мертвых». Больше ничего. Кто же как не Церковь придумала, и притом вновь придумала, по своему почину, а не на почве Евангелия, двуночное над покойником чтение Псалтири, омовение его тела, как бы умащение и приготовление его к переходу во что-то чистое; и, — наконец, дивные по глубине и звукам надгробные песнопения, которых ни один человек не может равнодушно слышать. Развилось ли это из слов: «оставьте мертвым погребать мертвых»? Конечно — *нет*, конечно — при молчаливом *обходе* этих слов! Хорошо ли это? и уместен ли этот новый и смелый росток, новый и самостоятельный порыв души учителей церковных, Иоанна Дамаскина и других?! Конечно — *благодетелен*, велик, свят. Уловив острую и щемящую боль живых около умершего, они обвеяли их чудесными словами, до заключительного: «прииди и даждь последнее целованье!» Вот чего никогда не поймет безвкусная штунда, люди без вкуса и остроумия, без размышления. Или возьмем труд, работу: «Раздай имение нищим и возьми крест свой и иди», «взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут». Но бедному человеку в земной юдоли приходится и жать и сеять. Что же, отвернулась ли и от этого Церковь? Не знаю, есть ли молитва на посев зерна; жалею, если нет; но на случай засухи — есть, и я сам во время чрезмерной засухи слушал длинное молебствие епископа Миссаила посреди площади городской в Ельце. Худо ли это? Конечно — отлично! «Не на сей горе и не в Иерусалимском храме будут поклоняться, но на всяком месте в духе и в истине». Но неужели же мы осудим Церковь за то, что она усеяла землю и страны, и жизнь народную храмами? и даже не возрадуемся ли, что соделала их златоглавыми, с золотящимися алтарями, с кадильным дымом, святой водой, с миром и пахучим ладаном? Боже, до чего бедна была бы жизнь без них, до чего дика! Плоска как дорога, не обсаженная деревьями, и скучна как кратко сложенная басня о белом бычке, из струки в струку твердящая одно и то же! Церковь-то, храмы-то, и Херувимская, и ладан, и праздники «Господские», и «Богородичные»,

и день св. Духа, и Троица, и Введение во храм — о последнем даже строки нет в Евангелии — с их отличающимися и несходными чертами, и сложило все-таки в некоторый, хотя еще слабый и бледный, узор нищенское бытие нашего народа! И не за одним «спасением души», какового можно достигнуть и дома, но и за красотой и благолепием идет за тысячу верст какой-нибудь мужик с котомкой в Печерскую лавру, в Троицкую лавру, непременно богатую, блистающую, многоглавую, даже если возможно роскошную и утопающую в архитектурной, и певческой, и богослужебной красоте! И до чего этот мужик был бы убит, если бы ему, нищему, после тысячеверстной усталости, напомнив слова о поклонении «в духе и истине», показали кучку не курящих табаку господ, читающих в укромной комнатке Евангелие, с предложением: «Вот, садись и послушай мудрецов». Да разве же не читаем мы в том же Евангелии, в «Откровении» Иоанна Богослова, о Небесном сходящем на землю Иерусалиме, т. е. о последнем венце религиозной на земле жизни, что он сходит в блистании драгоценных камней, даже с перечислением пород: «и смарагд», «и изумруд», «и яхонт», «яспис», «лазурь», и со стенами из чистого золота? Роскошь... Мы растащили ее на ничтожные земные дела, для грубого личного эгоизма; между тем как, конечно, *народное* употребление богатств есть всегда церковное, *храмовое* и *праздничное!* И не жаловаться бы на это, но еще и еще, как Возлюбленную Невесту, убирать бы религию и благовониями, и красками, и цветами, и деревьями (садами) вокруг церквей, и камнями, и металлами, и искусством живописным, и архитектурным, и певческим. Вот что и значило бы потрудиться для народа: открыть очам его, после того, как открыто слуху, другую мистическую «Херувимскую песнь», теряющуюся куполами и спицами в тверди небесной...

Евангелие безгрешно. Но всего круга бытия нашего оно явно не обнимает; а Церковь и есть движение к восполнению, к дополнению, к окончанию, по слову Спасителя: «Я есмь лоза и вы ветви», т. е. *растите*, живите, *умножайтесь* в слове и разуме. Что сказано в Евангелии о рождении? Только одна строка: «Женщина, когда рождает, то терпит скорбь, а когда родила, то забывает скорбь свою, ибо новый человек пришел в мир». Здесь нет никакого приготовления для чудного обряда таинства крещения, с возженными свечами, с каждением ладаном, новой крестильной рубашечкой младенцу и золотым крестом и розовым поясом. Как все хорошо! «Растите и растите», — сказал Христос: и уже дело нашего сердца и мышления и вдохновения религиозного — *как, куда, доколе* «расти». Бедные протестанты, кальвинисты, анабаптисты, духоборы, толстовцы этого-то и не понимают, вообразив в 4-х Евангелиях полный круг в 360 градусов, когда это явно есть только начатая дуга: и Церковь прекрасно и верно, хотя едва ли везде безукорно, повела далее эту дугу, прибавляя в веках градус к градусу. Слишком проста была бы задача истории: не курить и читать Евангелие.

Такового созидания, а отнюдь не духовборческого умаления, нужно желать и ожидать и в будущем. Остановимся на примере, чтобы показать, как с излишней косностью мы все-таки во многом опаздываем.

Ну, вот эти простые и, может быть, наивные, но все же добрые и прекрасные по намерению сборы с целью читать Св. Писание и говорить о прочитанном. Сейчас и духовенство стало устраивать «внеслужебные собеседования», но минута уже потеряна, уже миряне сами и *раньше* начали «внебогослужебно» собираться, а духовенство спохватилось потом, позднее, и очевидно уже теперь хотело бы, но *не может стать во главе движения*. Кто приходит поздно, тот и считается опоздавшим и садится на последнее место, на оставшемся пустым стуле. Духовенству теперь нечего разгонять читающих *без него* Св. Писание: назад не смотрят и потерянного не ищут. Духовенству нужно смотреть вперед, нет ли таких добрых явлений в народе, которые еще имени не получили, но в сердце народном и разуме народном назревают, готовятся; и вот *тут-то* и стать *впереди* народа, встретить его в новом движении с крестами и хоругвями, со святою водой. Обратим внимание на слова письма: «мы трудолюбивы и тихи». Опять к тишине и труду повело ли духовенство народ? Говорило ли оно хотя в проповедях с кафедры о безобразии народной жизни, о грубости нравов, о бесчеловечии в семье, о заброшенности детей, об отсутствии школ? Увы! Был у меня товарищ-законоучитель гимназии, приходский вместе с тем священник: все-то он брал из гимназической библиотеки книжки одного духовного журнала за двадцать лет назад. На вопрос мой: «зачем ему», он беззастенчиво отвечал, что там «напечатан перевод с греческого проповедей Иоанна Златоустого, и они ему нужны для проповедей же». Представьте, Златоуст громил императрицу Феодору, супругу Юстиниана Великого. И вот, переменив имена, грады, улицы — сей Златоустов гром несется на бедные стогна уездного русского городка в 1882—86 годах!!

Вот о чем духовенству подумать: чтобы любовью к народу, заботою, нежностью вернуть очевидно слабое доверие к себе. И затем, может быть, в читающих теперь самостоятельно Св. Писание пробудится желание пригласить к себе запоздавших сюда пастырей. И пусть священники, именно как запоздавшие, войдут сюда смиренно, без власти, без требований, просто как слушатели. А потом, при разуме и искусстве, они и завладеют толкованием Св. Писания. Больше что же делать?

Все же в русском духовенстве есть прекрасные светочи. Но кажется они редки, и всегда я замечал, что это или болеющий человек, или обиженный кем-нибудь сверху. Таинственно, что к великому и прекрасному сердце доходит через страдание. Мне пишет издалека один священник о почившем уже своем архиерее (да будет позволено и о них сказать слово, ибо ведь и они не безгрешны):

«Сколько раз я шел от него со слезами, и ни разу с *радостью сына* (подчеркнуто в письме). Раз он (епископ) сказал мне, узнав о желании поместить в духовном журнале статью о местном угоднике, мощи коего без ведома Св. Синода были перенесены из одного храма в другой, этим архиереем построенный: «гордость и глупость — две родные сестры, ты от гордости оглушел, я тебя выгоню из N (имя большого города), я в тайне (от Петербурга) это сделал, а ты — репортер, пошел вон, dixi» *... Вот отношение к священнику-академику: как же они относятся к загнанным сельским попам! к дьяконам!.. Здесь все говорят о страшном событии в селе Павловке — разгром православной церкви. Поразительны подробности его, не попавшие в газеты. Блудница жена скверная, — от каковой по церковным книгам должен народиться и антихрист, — несет впереди разъяренной толпы свое дитя и, подымая, кричит несколько раз: «Вы веруете в это дитя?» — «Веруем!» — «Ура», «Христос воскрес» — и следует разгром церкви. Самым лютым богоборцам приходится поучиться у павловцев. Это не штунда, по-моему, и *не толстовство* (подчеркнуто в письме) тем более, как говорит в «Миссионер. Обозрении» г. Скворцов, а просто — антиномизм (противозаконне), блудоразлияние. Отрицание брака — вот корень. Блудница три раза целует публично парня и он, после третьего раза, чувствуя приток сил, разбивает замок церкви. Вот над чем нужно подумать, а не писать с маху, как в восхваляемом вами «Миссионерском Обозрении»: «это — штунда, это — анархизм». К чему такое неправдоподобие?»

Так пишет мне издали священник. Я думаю, не *войдя* вот в эту народную толпу, совершившую разгром церкви, ничего нельзя понять. Все наши гаданья и подведение движения под такую-то рубрику — не выдерживают критики. Что мы понимаем в душе народной? Ничего. Лучше уж остаться при вопле народном, как-то афористически доносящемся до нас, и не писать к нему коротеньких и неудачных комментариев.

Кроме выдержек из писем, которые я привел, я получил еще длинное письмо от одной южнорусской помещицы, рисующей такую запущенность у нас религиозной жизни в селах и деревнях, о которой нельзя без горечи думать. Сколько я наблюдал, в миссионерстве нашем есть добросовестность, хотя и грубоватая. Ну, вот, важную задачу миссии, одну из самых первоначальных, без выполнения которой двигаться вперед нельзя, — составляет то, чтобы добиться позволительности во всей подробности опубликовывать подобные документы: чтобы видеть нашу матушку-Русь во всей неприглядности, а местами и безысходности ее церковно-религиозного состояния. Кажется, в миссионерстве есть тенденция не к сокрытию дел своих, а к выявлению. Но пусть же луч света падает не только туда, где «они худы, а мы хороши», но и туда, «где они хороши или посредственны, а мы худы». Миссия не может добиться успеха себе без сочувствия общества; а для пробуждения его нет иных путей, как открытость, свет.

Это последнее письмо, очень любопытное и замечательное, я привожу сейчас ниже.

* сказал (*лат.*).

Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

Я только что прочла ваш фельетон о разговорах на религиозные темы.

Вы так пишете, что каждое ваше слово проникает прямо в душу — и вот я не могу удержаться, чтобы не высказаться вам по вопросу, которым вы меня задели за живое.

Вы правы и убедительны во всем, что вы сказали в этой статье; и только потому, что вы внушаете полное доверие вашей искренностью, мне хочется указать вам на одну сторону борьбы с сектантством, которую вы, вероятно, упустили потому, что живете и вращаетесь там, вдали от народной жизни, в умственных сферах, где вы имеете счастье встречать таких славных, почтенных священников.

Вы говорите, что сектантство процветает вследствие многоточий, неясности и условности богословия. Это совершенно так. Но ведь устранить этого нельзя ни из какой религии *; и в вопросах вероисповедания, а тем более догматики, по самому существу и разнообразию человеческого духа, всегда были и будут разногласия.

Дикие же виды сектантства процветают лишь там, где царит тьма народная и где уровень духовенства оставляет многого желать... Простите, ради Бога, жестокость моих слов, но надо так наболеть душой в этом вопросе, как я, чтобы понять и оправдать эту жестокость. Замечу при этом, что я совершенно частное лицо, простая жительница деревни, и никогда ни в какие контры с духовенством не вступавшая — напротив, пользующаяся их благосклонностью за приличную «мзду».

И если бы вам, как мне, пришлось много лет прожить в деревне и изучить деятельность наших сельских «батюшек» и слышать постоянные жалобы крестьян — вы бы убедились, подобно мне и многим, что главный наш недуг духовный — в них (хотя, конечно, они лишь таковы, какими их делают) и что *они* более всего виновны в отпадении от церкви, а не те несчастные, темные изуверы, которые изобретают всякие безобразные секты.

И вместо того, чтобы посылать миссионеров переубеждать сбившихся с пути фанатиков (что вообще дело бесплодное) — следовало бы посылать их к нашему сельскому духовенству и его обращать в христианство и настаивать на путь истинный, чтобы они действительно были служителями Церкви и отцами духовными, а не чиновниками, дельцами, и даже, что так грустно видеть, ростовщиками нетрезвыми.

Приходилось ли вам видеть, как священники в деревенских церквях стоят во время литургии в боковых дверях алтаря с протянутой рукой, в которую целые вереницы жалких, оборванных крестьян кладут свои, потом и кровью добытые, гроши за поминовение!.. Христос вышел из себя, когда торгаши брали деньги в храме, а что сделал бы Он с нашими отцами духовными, которые так бесстыдно позорят и храм, и себя, и всю паству такой грубой формой обирания!.. Мне приходилось спрашивать священников, почему они это делают и неужели не сознают того, что делают? — Вопросы эти им не нравятся, но они настаивают, что народ *этого* не понимает и не так смотрит на это **.

Посмотрите также, какое направление и воспитание дается в провинциальных духовных семинариях! Мне близко знакома наша Полтавская. Один мой

* «Религия,— говорит Амвель,— есть жизнь высшая, мистическая в корне своем». *Примеч. В. Гриневиц.*

** Тут нельзя только порицать. Духовенство очень бедно. И корень дела — улучшение положения сельского духовенства.— *В. Розанов.*

знакомый протоиерей, на мой вопрос, почему так часто слышно о некрасивом поведении семинаристов,— без колебаний, как об известном факте, заявил, что ведь «самые испорченные ученики — это семинаристы»!

Два года тому назад целый выпуск семинаристов хвастали своим атеизмом и заявляли, что из них никто не будет попом. И действительно, большинство кинулось в разные другие учебные заведения и в учителя, но по своей испорченности и встретившимся трудностям многие опять вернулись к духовному званию. Хорошие священники из них вышли — не правда ли? И против этого мера есть: открытие для детей духовенства свободного доступа в другие высшие заведения. У нас в Полтавской губ. вы часто услышите, что молодые священники еще хуже прежних,— больше обижают народ, большие лицемеры и атеисты. И неудивительно, что чем дальше, тем больше растет у нас общее безверие и индифферентизм к религии; потому что стеснена свобода мысли в вопросах религии, и искренние религиозные люди молчат, их не слышно, а ханжи, лицемеры — проповедуют. И молодежь это чувствует.

Народ же наш, несомненно, обладает большими духовными запросами — и это, мне кажется, покрывает все остальные его недостатки. Но может ли он находить удовлетворение в такой формальной, лицемерной, торгашеской церкви, которую создает наше *неуважаемое* сельское духовенство, занятое исключительно заботами о добывании средств.

Мне пришлось в этом году продать с народом вечерней службы в вербную субботу часов до 8 вечера. Батюшка сеял и спешил воспользоваться влажной землей, что понятно для каждого хозяина. Но вот он наконец приехал с поля — и что же? — Служитель заявляет, что батюшка устал и службы не будет. Громадная толпа народа, ворча и презрительно махнув рукой (они уж привыкли к такому отношению), поплелась домой...

Посоветуйте, многоуважаемый Василий Васильевич, вашим знакомым искренним миссионерам пожить инкогнито в деревнях и прислушаться к жалобам крестьян, к их поговоркам, вроде: «что у попа да у жида» и т. п.: и тогда они увидят, с кем и с чем надо бороться, и убедятся, что если бы можно было оглашать все наши духовные недуги и все печали народные — то это заставило бы духовенство подтянуться и менее бесцеремонно злоупотреблять своим положением.

Боятся «соблазна»: но ведь он налицо, и устная молва толкует о нем свободно. Только наружу ничего не попадает и не знают о положении дела именно те, кому следовало бы охранять меньшую братию от соблазна.

Отчего миссионеры не настаивают на том, чтобы священники не ограничивались бы только формальной службой и безграмотным чтением печатных проповедей в церкви, а имели бы частные беседы с крестьянами, читали бы им и толковали Священное Писание и церковную службу, о которой народ имеет самое грубое, ложное представление. Так, в нашей губернии, где вообще народ развитой — плащаницу считают какою-то святою женщиной и т. п. Как, значит, они понимают Страсти Христовы?!

Миссионеры скажут, что это, конечно, желательно, но что это частное дело, которое нельзя проверить.— Но если можно проверять частные дела прихожан — то лучше бы заботились сперва о делах и поведении священников.

Удивительное у них равнодушие к религиозному просвещению народа! Я много лет формирую школьные и народные библиотеки, подбирая лучшие книжки для них; и сколько я ни обращалась к священникам с просьбой помочь мне указанием наиболее доступных, необходимых для крестьян книг по богосло-

вию — я всегда поражалась и их невежеством, и их нежеланием мне помочь, когда я прямо просила взять несколько купленных мною книг на просмотр!

Даже московское «Общество распространения духовно-нравственных книг», куда я обращалась, ответило мне: что не их дело составлять подборки книг и что не все ли равно — все книги, одобренные цензурой, хороши! А как народ любит религиозное чтение, как радуется всякой доступной его пониманию книжке!

Один наш школьный учитель, человек религиозный, охотно водивший учеников в церковь, стал было читать им Евангелие, но когда священник узнал об этом — он запретил, угрожая донести на учителя и мотивируя запрещение тем, что он не может доверять ему, в каком духе он будет толковать Евангелие. Это 10—12-летним детям опасаться какого-то духа и предпочитать полное неведение! Но это ведь политика нашего духовенства и всевластного чиновничества особенно.

И у нас все в народе знают, что собираться для частных религиозных бесед или чтений *запрещено* и что это грозит полицией и судом.

Читали ли вы обидные, горько мучительные для всех нас, русских, слова Кеннана в его ответе Боткину: «Голос за русский народ»?

«Где двое или трое русских соберутся во имя Христово (в деревнях, конечно) — там среди них и полицейский. Если б сам Спаситель, — продолжает К., — явился бы в русской деревне и, бедный и неизвестный, каким Он явился в Галилее XX веков тому назад, начал учить народ теми же словами, какими Он говорил в Галилее и которые приводятся в 4-х Евангелиях, — Он и суток бы не провел на свободе! Его прежде всего препроводили бы по этапу в черту своей оседлости, как еврея, и затем, если бы Он продолжал учить — Он бы вторично был бы арестован и посажен в тюрьму. Если бы Он и избег окончательного распятия, от представителей той самой нашей веры, которая носит Его имя, — то только единственно потому, что распятие заменено в России ссылкой, тюремным заключением в кельях для еретиков в отдаленных монастырях и работами в рудниках Забайкалья».

И что можем мы возразить Кеннану, если мы не захотим лицемерить о существующей у нас свободе совести и веры?!

Стоит только узнать, сколько у всех земских начальников разбирается дел о том, что в такой-то хате застали мужиков за чтением Священного Писания — только за *это одно!* Таких мужиков суд обязан или штрафовать, или сажать под арест, а после повторения таких преступлений их подвергают более тяжелым наказаниям... Еще недавно приговорили одну 75-летнюю старуху (мать нашей няни) нищую, жившую у бедняка сына, к штрафу в 100 р., а за неимением их, к месячному аресту с ворами, мошенниками — за то, что застали ее в избе, где читали Евангелие. — Только за это, — говорила мне, рыдая, ее дочь.

Зачем кланут у нас Кеннана, когда мы все знаем еще больше, чем он, знаем и страдаем, видя, как у нас служат делу веры и любви к Богу.

Неужели думают, что народ без всякого Кеннана этого не понимает, не знает и что это его не развращает... Лучшие из народа только упорнее уходят прочь от Православной Церкви, не желая, конечно, отделять ее от ее слуг: и за то нещадно их гонят, преследуют, разоряют, ссылают.

И утверждают, что времена инквизиции давно прошли... Конечно, у нас нет пыток, костров, у нас, несомненно, «тонкие культурные приемы».

Мужу моему, когда он был земским начальником, приходилось испытывать отвратительные минуты при разбирательствах донесений на штундистов, когда приходилось заведомо честных, уважаемых людей штрафовать и сажать под арест только за то, что их уличали в чтении Священного Писания... И они, уходя,

бросали всему суду горькие, презрительные, но глубоко справедливые слова: — «Если бы мы пьянствовали, вели безнравственную, противную Богу жизнь — нас бы оставляли в покое: а за то, что мы честно держимся закона Евангельского и хотим дружно, сообща читать духовные книги — нас преследуют и наказывают, как преступников, воров и мошенников»...

Знаете,— только благодаря царящему у нас лицемерию, подавленности и полному отсутствию гласности и общественной критики возможно такое возмутительное положение вещей. И пусть миссионеры не лицемерят, пусть честно сознают, что они больше озабочены борьбой с нравственными сектами, как шундисты и духоворы, чем с изуверскими, нравственно вредными. Пусть они не прикрываются охранением народной этики, потому что все понимают, что тут дело не в этике, а наоборот. Иначе бы сектантов просто привлекали бы к ответственности за те поступки, которые противны нравственности, оставляя вопросы веры в стороне от суда и казней.

А чтобы бороться с дикими безнравственными сектами, то лучшее и самое успешное средство — это просвещать народ, потому что интеллигентным людям не опасна пропаганда хлыстов, малеванцев, скопцов и т. п.

И если бы миссионеры, вместо своей бессильной аптекарской медицины, вносили бы здоровую духовную гигиену в народ, заботились бы о распространении школ светских (не создавая вражды и антагонизма на этой почве), распространяли бы книги и чтение в народе, еще не отпавшем от Церкви, но легко к этому склонном, а в особенности лечили и исправляли духовенство — тогда бы их деятельность была успешна и ценилась бы всеми.

И, что особенно важно в лечении нашего духовенства, так это освобождение его от необходимости жить поборами,— и в сущности осуществить это совсем не трудно. Точно так же как земство, облагая землю крестьян, дает им и даровую медицинскую помощь, и даровое обучение, и дороги, и богадельни: так точно можно было бы содержать духовенство. Причем, конечно, и крестьянам было бы легче нести равномерный правильный налог, чем платить в экстренные, часто трудные минуты, и подвергаться тому *бесконтрольному вымогательству*, от которого оно теперь так страдает.

Сколько я знаю случаев, когда священники отказывались не только совершить погребение, а даже прочесть молитву над умершим, если ему вперед *наличными* не принесут 3-х рублей. И несчастные бедняки так и хоронят своих близких без обряда, а каково это им при их вере в спасение души от молитв Церкви!

И в то же время посмей кто-нибудь из богатых похоронить без священника — его отдадут под суд!

Вопрос об уничтожении поборов так важен, что о нем бы следовало кричать на всех перекрестках, и настаивать, чтобы хоть в виде опыта ввели его в какой-нибудь богатой губернии, ну, как Полтавская, почти не знающая недоимок.

Нет! не вижу я нигде и ни в чем искренности у наших служителей Богу, и мне будет также безнадежно тяжело, если вы не найдете слов, чтобы рассеять хоть немного мой пессимизм.

Если наше духовенство, убаюканное гробовым молчанием общественного мнения в России, думает, что таких голосов, как мой, единицы,— то чем объясняют они *только в России* существующее, а не во всем мире, неуважение к духовной профессии, выражающееся в том, что никто из высших или даже чиновничьих, дворянских классов населения не отдает своих детей в духовные училища? Все родовитые знатные фамилии во всех странах мира имеют родственников в духо-

венстве, а у нас только редкие случайные субъекты из этих классов идут в монахи, но не начинают своего воспитания в духовных заведениях. Почему вообще у нас духовенство не пользуется почетом в обществе, живет обособленно и, напр., в деревнях на помещичьих обедах священника сажают поближе к концу стола? Иностранцы всегда удивляются и высказывают нам презрение за то, что мы не держим наше духовенство в почете.

Во многом виноваты и наши усилия сделать из священников еще что-то, кроме служителей алтаря. В этом мы подражаем католичеству, не понимая, что когда католичество было великой политической силой — оно само создало ее, а не было понукаемо извне к этому, как наше православие. Но почему же умные чистосердечные пастыри наши не имеют честности заявить об этом, и так раболепно служат полицейским, тираническим целям необузданного чиновничества?

Я бы хотела кого-нибудь спросить, что сказал бы Христос двум пастырям, из которых один привел бы ему многолюдную паству, похваляясь своим усердием: и Христос бы увидел, что вся она состоит частью из полудиких, ничего не понимающих в Его учении людей, частью же невольных, принужденных лицемеров (как вся наша интеллигенция), а также ханжей и фарисеев. Другой же — скромно привел бы только горсть людей, но действительно *Им* просвещенных, глубоко, сознательно верующих.

Наши же церковные люди теперь безбожно гонятся только за численностью прихожан, возмутительно лицемеря и насилуя.

Но простите, ради Бога, что я злоупотребляю вашим временем. Я была уверена, что напишу лишь два слова, но поймите, что я живу и не вижу просвета, не нахожу ни в ком утешения и завидую вам, что вы знаете с такими светлыми, духовными лицами...

Быть может, вы захотели бы помочь мне еще в очень трудном и тяжелом для меня вопросе религиозного воспитания моих детей. Я много, много думала и читала об этом, обращалась ко многим лицам, но все же страдаю недовольством собой в этом вопросе.

Вы уж два раза отнесли ко мне с сердечным участием и это причиной тому, что я злоупотребляю вашей добротой — помните, я была у вас в октябре по поводу статьи в «Н.В.» о школе Левицкой? С глубокой благодарностью и сердечным уважением

Вера Гриневич.

Красный Рог, Екатеринбург. губернии.

Письмо это мне представляется одним из лучших литературных памятников общественного и духовно-религиозного содержания, и вместе — важным историческим документом. Тотчас же по получении, я представил его В. М. Скворцову для напечатания в «Миссионерском Обзрении», но он — продержав месяца два его — возвратил мне (не напечатав). Все я маялся, надеясь провести его в печать: и когда открылись «Религиозно-философские собрания» в С.-Петербурге, показал его Председателю их, ректору С.-Петербургской Духовной академии, епископу Сергию, как равно и многим членам этих собраний. Все смотрели на него одобрительно: но напечатать как в духовных, так и в светских журналах или газетах, — мне его не удалось. Трогательная сторона письма лежит в том, что автор пламенно относится к Христу,

Евангелию, стоит твердо на твердой почве Церкви: и негодует исключительно на людей, исполнителей или лучше не исполнителей Слова Божия и закона нравственного. Получив его, разумеется, я изменил и свой, немного высокомерный (по теоретическим причинам) взгляд на собрания евангелистов, «читающих Библию и не курящих табаку». По-прежнему я не считаю их гениальными: но *человечности* — вот чего *мы не дали им*. И если они «просты», то мы — преступны.

О больных старообрядцах

Мною получено письмо, по-видимому, принадлежащее русскому и православному, но которое касается здешних петербургских старообрядцев. Будучи до последней степени некомпетентен во всем, что касается старообрядчества, я не ответил на это первое письмо. Но вчера получаю вновь письмо по тому же поводу и, кажется, от того же самого лица, с усиленною просьбою.

Автор письма ко мне говорит, что к нему обратился с горькою жалобою знакомый старовер, из «приемлющих австрийское священство» — на то, что к умирающим или боящимся умереть старообрядцам в здешней петербургской Обуховской больнице не пропускается их старообрядческий священник для принятия исповеди и причащения. Администрация больницы сама по себе не имела бы ничего против предсмертного напутствования старообрядцев по их обряду и их духовниками; но при больнице живет православный священник, который воспротивился пропуску сюда старообрядческих священников, так как законом 1883 года вообще «всякая публичность старообрядческих служб запрещена». Этому разъяснению священника начальство больницы не могло не последовать, так как само не компетентно в вероисповедных вопросах. Думаем, что и священник не имел никакого *намерения* совершить неправду. По всему вероятию, он опасался нарушить свой *долг*, боялся не исполнить *закона*. О последнем и приходится говорить.

Закон 1883 года предоставляет старообрядцам «свободу отправления их треб по их обрядам в частных домах и в особо предназначенных к сему зданиях», под тем условием, чтобы при этом «не были нарушаемы общие правила благочиния и общественного порядка» (пункт 5) и чтобы «не было публичного оказательства последования расколу, каковыми признаются: а) крестные ходы и духовные процессии в церковных облачениях, б) публичное ношение икон, в) употребление вне домов, часовен и молитвенных зданий церковных облачений и г) раскольничье пение на улицах и площадях» (пункт 11).

Закон в мотивах и цели необыкновенно ясен. Он не стесняет совести, но отказывает старообрядцам в правах *манифестации*. Он не насилует души, но не хочет *шума улицы*. Он оставляет веру Ивана, Петра, Катерины, многих Иванов и многих Катерин, но при непременно

условии, чтобы это была их частная, душевная вера, и только. При этом совершенно бесспорном смысле закона как посмотреть на случай больного, зовущего в Обуховскую больницу старообрядческого священника, чтобы причаститься перед смертью?

Священник идет (как и у нас к исполнению требы) *без облачения*. Облачение он несет в мешке под мышкою, оно не видно и никого не смущает. Он начинает облачаться (надевать епитрахиль), только приступая к исповеди, но исповедь, как известно, может совершаться только *наедине*. Как известно, в больнице есть одиночные комнаты и общие. В одиночной комнате, само собою разумеется, и исповедание, и причащение произойдет настолько тайно, что о нем никто и не узнает. Болящего раскольника можно положить на носилки и вынести на требуемый час в отдельную комнату. Мне кажется, эта деликатность так проста и удобоисполнима! Я уже не поднимаю вопроса о том, до чего соседним больным, трудным больным вообще нет интереса к вероисповедным различиям, и как мало можно рассчитывать или бояться, чтобы кто-нибудь из них не увлекся и не сошел в раскол! Я говорю о букве закона и мне кажется, что моим предложением не нарушается и буква.

Буква пресекает *публичность, манифестованность*, буква охраняет *улицу*. Но исповедь и причастие до того внутренние и душевные акты, что чудовищная мысль поставить препятствие исповеданию и причащению, конечно, не входила в мысль законодателя. Ничего подобного нет в самых принципах наших законов, вообще ни в каких. Больничный покой имеет в высшей степени *уединенный* характер, *изолированный*; туда и к родному больному не всегда пропускают, а только в указанные, немногие и краткие часы. Какая же это «публичность и место публичного оказательства».

Закон ясно перечисляет, что разумеет под публичным оказательством: крестные ходы, духовные процессии, появление на улице в облачении, раскольничье пение на улицах же. Тут разумеется, кажется, не только появление в публичном месте, но и появление старообрядцев *скопом, толпою, публикою*. «Будьте не публикою, а частными людьми», — вот что говорит закон. Исповедание и причащение в больнице в высшей степени отвечает этому. Какой тут «скоп», какое «манифестование себя»? Это — интимнейшее дело. И куда деваться больному, как ему выполнить душевную нужду?

Корреспондент мне пишет еще, что это недопускание старообрядческих священников практикуется единственно в Обуховской больнице, а не во всех петербургских больницах, и, мне кажется, уже из этого одного можно заключить, насколько закон 1883 г. не препятствует нисколько отправлению старообрядческих треб в больницах. Нельзя не заподозрить, поэтому, не замешано ли еще здесь таящееся поползновение к мздоимству и вымогательству: явление — повсюдное, где живут старообрядцы!

О совести

В № 272 «Моск. Вед.» епископ Никанор поместил весьма интересную статью: «Свобода совести как христианская основа». Вызвана она тою же речью г. Стаховича на Орловском миссионерском союзе, которая вызвала в нашей печати вообще так много шума. Статья имеет философское построение, содержит новую мысль и, если к ней не приложить внимательное рассуждение, кажется трудно опровержимой. Судите сами: «совесть есть закон для совестливого человека, совесть есть судия совестливого человека. Но как закон, так и судия ограничивают свободу. Потому совесть противоборствует свободе, и сказать: *свобода совести* — значит сказать абсурд».

Таким образом, выпадает целая рубрика философских рассуждений. Оказывается, философы рассуждали, не делая точного определения тех понятий, над которыми оперировали. С тем вместе значительно изменяется и общепринятое по крайней мере понимание христианства, которое везде его исповедниками принималось как исповедание совести и именно свободной совести. Автор-епископ говорит:

«Свобода совести имеет в христианстве значение весьма ограниченное и даже ничтожное, так как здесь сочетаются понятия не соответственные между собой и для христианства малопригодные. Свобода, как стремление действовать независимо ни от чего и ни от кого, неприложима к совести, как закону и судие, потому что этот закон есть так сказать ограничение ее, противоположение ей, стеснение ее. Где закон, там свободе положены пределы. И пределы эти тем сильнее и непреборимее, чем основательнее, тверже и несокрушимее закон. А закон совести — один из самых несокрушимых. Его нельзя ни заглушить, ни выравнять ничем».

И автор цитирует стихи:

В их сердце дремлет совесть,
Она проснется в черный день.

Скажем более и уже от себя: совесть есть не только судия, но страж нас. Однако именно этот страж и делает нас свободными. Кто не замечал, что человек *без совести* легко нам *покоряется*, отдается нам в руки, мы им вертим и так, и этак и говорим: «Вот *покладистый* человек! Как с ним *удобно!* Вьем из него веревки: куда ни пошлем, что ни укажем делать — он бежит *исполнить*, как собачонка!» О человеке же глубоко совестливым говорим: «С ним неудобно; то слушается, то нет; его надо уговаривать, надо ему разъяснять, убеждать: и только тогда он слушается». Купец-кулак берет в приказчики бессовестного человека, а совестливого не возьмет, потому что он слушаться его не будет. Цезари-тираны окружали себя *бессовестными* же, потому что они искали *рабов*. Из этих примеров видно, что бессовестность сливается с рабством, и уже из этого можно начать предполагать, что с совестью действительно сливается свобода. Посмотрим еще ряд примеров. Сколь-

ко записано в «Житиях Святых» примеров *непослушания даже детей родителям*: св. Варвара, св. Алексей Божий Человек, Феодосий и Антоний Печерские. Что же, скажет ли преосвященный, что они были люди без совести? Или от того они и *преслушались* родительского и государственного закона, что были люди *совестливые*?

Да, совесть была *стражем их свободы и источником непослушания*. Совесть есть действительно судия, но какой и кто? Она есмь я сам, судящий меня; но никто не может взять мою совесть и через нее судить меня. Она родилась, когда я родился; и до моего рождения вовсе не было моей совести. В ней родилась душа моя, а какая же душа захочет убежать от самой себя? Таким образом, говорить о зависимости человека от совести и значит говорить о величайшей его свободе. О, если бы только этот судия стоял над нами, если бы около него не стояли другие, темные, с угрозой именно нашей совести; можно было бы запрыгать козлом от радости. Совесть нельзя купить, подкупить, победить; неужели это не свобода? Свобода никому не рабствует, не угождает, не льстит; неужели опять это не есть признаки свободы? Тогда чем же господин отличается от раба? Раб — чужой: чужая воля, чужая мысль в нем; господин сам владеет собою. Но совестью кто может овладеть? С нею можно вступить только в дружбу, нашептать ей, убедить ее, обольстить ее. Но это отношение союза. Совесть непобедима, и только как союзник входит в союзы с чем-нибудь. Таким образом, она есть не только господин, но, так сказать, *господское* начало выражено в ней утонченным и недостижимым способом.

Вот почему совесть мучеников не покорялась римскому судебному трибуналу, а Евангелие, это благовествование совести человеческой, никто не смешивал с *Corsus juris civilis* *. Епископ Никанор, поставив слово «судия», не отличил судию оправдывающего и отворяющего дверь темницы от судьи обвиняющего и заключающего в темницу. Он воспользовался бедностью языка и на филологической сбивчивости построил философскую путаницу. Совесть, конечно, суживает, стесняет мои поступки. Но в каком направлении? Она запрещает мне пугаться внешних, велит не льстить, не угодничать, не соображаться с материальными своими выгодами, а поступать единственно «по совести», т. е. «по душе моей», так сказать (богословский язык): «воображать в поступках моих образ и подобие Божие, в чертах которого я родился». Видали ли вы человека, который, поступив по совести, впадал бы в уныние, горесть, отчаяние? Ничего подобного. Путь совести — самый легкий, восхитительный. Живя в согласии с совестью, мы имеем хороший сон и отличный аппетит. Но извне это трудный путь, потому что до совести нашей никому нет дела и все топчут, атакуют на нас, выпускают на нас псов клеветы, недоброжелательства и проч..

* Гражданское законодательство (*лат.*).

Потому-то сего доброго судию, своего действительно знающего одну линию добрых поступков, мы бережем как бриллиант. Она нас оправдает перед Богом, как бы нас ни гнали здесь. Совесть была посохом мучеников, и они умерли радостными. С совестью вообще всегда радостно человеку и она побеждает мир не унылою борьбою, но светлою борьбою. Она освободила мир от римских оргий, заставив им не послушаться; когда папы стали продавать отпущение грехов настоящих, прошедших и будущих, то встала совесть Лютера и освободила Германию от папства, которое ведь канонически и юридически и всячески было право. Скажет ли епископ Никанор, что Лютер, рядовой августинский монах, вдруг «потерял совесть, стал бессовестным человеком, начав выходить из повиновения папе и его буллам?» Папа после бессильных угроз пытался обольстить его совесть, говоря: «мы не будем тебя обличать, если ты не будешь нас обличать». Но Лютер обличал... как *раб?* или как *свободный?* Ибо мне-то кажется, что он обличал как совестливый человек. Кстати: *свободен* ли Бог? А ведь Он есть мировая совесть, и в то же время древнееврейское Его имя «*Адонай*» означает: «*Господин*». Ибо быть совестливым до величайшей степени — это и значит достигнуть величайшей *господской* в себе черты, достичь почти *господнего* в себе уподобления и в то же время совершенной от всего постороннего свободы.

1901

Совесть — отношение к Богу — отношение к Церкви

Нужно различать в споре о совести две стороны:

- 1) отношение ее к Богу,
- 2) отношение ее к Церкви.

Бог по учению христианскому есть Личный бесконечный дух. Каждый с первого же взгляда поймет, что отношение к *Лицу* несколько иное, чем к *порядку вещей*, к *системе* вещей. Никто решительно не скажет, что и Церковь лична: напротив, лицо в ней, напр. всякого иерарха, глубоко покоряется некоторому завещанному и общему порядку. Попытка и Церковь понять и выразить лично создала папизм, перед которым испуганно отступили германские и славянские народы. Не нужно объяснять, что если отношение к лицу невольно и неизбежно субъективно, внутренне, сердечно, востроженно или горестно; то отношение к порядку спокойнее, уравновешеннее, более исполнено сообразительности, чем движений чувства. Например, припоминая самые религиозные свои годы (вполне сознательные, за 30 лет), не могу не поделиться с читателем удивлением: я всегда любил более священника, чем церковь, храм более, чем российское церковное управление. Слово доброго священника было для меня авторитетнее, чем церковный закон. Я считал себя спасенным настолько,

насколько любил священника и чувствовал, что он любит меня. Читатель быстро перенесет это в сущности верное явление на панораму больших фактов. Отношение к Богу вовсе иное, чем к церкви безличной, или имеющей мириады лиц (праведники, учителя, книги, законы).

Рассмотрим это отношение в смысле предполагаемой свободы или не свободы. Факты дают для этого безусловное решение.

Свобода есть право *выбрать* одно или другое в то время, как высшим авторитетом *предлагается* только *одно*. В св. Писании отношение Бога к человеку везде выражено словами: «заповедал», «заповедь». Законы не заповедуют, а приказывают. Цари подданным ничего не «заповедуют», начальники подчиненным не «заповедуют» же. Заповедание есть единственная мягкая и кроткая форма, не мучающая душу человека, через которую Бог относится к человеку.

Таким «заповеданием» было первое слово Божие к невинному человеку. И что последний был сотворен свободным, видно из того, что он *выбрал другое, не заповеданное*. Но еще более: достаточно было не открывать человеку древа познания добра и зла, чтобы он и не пал никогда. Но Бог открыл, показал ему это дерево, т. е. Он не только дал свободу человеку, но и указал возможность неповиновения Себе: дабы повиновение-то было любовно, восторженно, детски-человечно, а не рабски-подчиненное. Блудный сын ведь есть любимый, а грешный человек — предмет любви Божией даже до послания на смерть за него Своего Сына. Конечно, это не значит, что Бог хочет греха в человеке; но Он бесспорно хочет человека свободного и для правды, и для греха, и не фаталистически-праведного. Фатализм есть мусульманство; но в христианстве нет фатализма.

Но вот Сын — на земле для грешного человека. Он воскрес и явился апостолам. Фома сказал: «Не верю!» Позвольте, какой догмат церкви более очевиден, чем Христос перед Фоמוю? Что же сделал Христос? Наказал его? Приказал ему? Порицал его? «Вложи персты в язвы и ощупай», т. е. убедись не через Меня, но через себя, *само-убедись*. Самоубеждение есть сущность христианства. Второй случай — разбойники на кресте. И здесь в наших провиденциальных целях — один уверовал, другой *не* уверовал. Зачем это? Да иначе и объяснить нельзя (ведь не «случай же такой вышел!») как еще усилием показать человеку, до чего он свободен не следовать величайшей очевидности и в самые свои критические минуты.

Да это так и есть непременно: если бы мы избирали добро не по свободе, а по принуждению, то *заслуга и принадлежала бы не нам, а принуждающему*. Где же заслуга человека? и как же могло бы совершиться тогда искупление? Идея искупления неотделима от свободы.

Но блаженный Августин в борьбе против донатистов (карфагенская секта) первый высказал принцип о принужденном приведении к правдой вере; Лютер, человек чуткой и тревожной совести, проповедовал

укрошение некоторых еретиков; Кальвин сжег Сервета. Наш Стефан Яворский написал громадную книгу «Камень веры», чтобы доказать право Церкви наказывать еретиков, в частности, заведшихся в то время в Москве кальвинистов. Все сейчас поднявшиеся споры о свободе совести в этом «Камне веры» разобраны подробнейшим образом. Что же это значит, что в тысячелетнем строе своем еще на словах церковь высказывалась иногда за свободу совести, но в поступках своих она или с крайнею болью признавала эту свободу, или вовсе не признавала ее, не признавала всегда, когда могла. Что значит это явление?

Да то и значит, что сама Церковь не сливает отношение человека к Богу с отношением к себе; и мысля первое, как свободное, второго не мыслит свободным. Я от совершенно неверующих людей слышал часто: «Помилуйте! нет общества, ассоциации, клуба, где члены его делали бы что хотят. Все признают и подчиняются некоторой сумме общих правил; меньшего не может требовать и Церковь». Возражение это очень часто; его можно услышать (и уже давно слышим) на каждом шагу; но редко кто углубляется в его многозначительный смысл. Действительно, и в катехизисе церковь определяется как «собрание верующих», и вот терминуто «собрание» и принадлежит нетерпимость. «Общество верующих» требует от членов своих не отступать от известной uniformности ради принципа общности, солидарности, единства. «Иди с нами в ногу, иначе мы тебя раздавим». Но имеет ли это какое-нибудь отношение к Богу? к совести? Никакого.

Сектанты же, обычно пламенные, озабочены отношением своим к Богу, и со своей точки зрения просто не могут понять принципов стеснения. Церковь и сектанты говорят на разных языках, с разных точек зрения, даже, если хотите, о разных совершенно предметах. «Как быть России» — предмет тревоги миссии; «как быть моей душе» — предмет тревоги сектанта. «Бог хочет моей свободы», «порядок церковный не терпит отступлений» — это совсем разные темы, разные линии суждений.

Величайшие факты нетерпимости, как Кальвина или Торквемады, происходили в пунктах и в минуты, когда Церковь, вдруг забывая, что она «порядок», «общество верующих», начинала сливать себя с Богом, отождествляться с Богом. Она начинала требовать себе чистосердечия, любви. Но чистосердечные исповедники все равно сжигались как еретики; на этом основывался сыск, подглядывание: горячо ли человек верует, «добрый ли он католик». Но это чистосердечие есть собственность Бога, а не порядка. Если церковь хочет себя слить с Богом, добиться любви к себе, как к Богу: то прежде всего она должна позволить верующим «вложить персты и осязать», или — «вкусить и от запрещенного древа познания добра и зла». Самой тенденции к подобному самообнажению не появляется у «Собрания верующих». И в меру этого оно мирится (и всегда примирялось) и с некоторым равнодушием, и с некоторым нечистосердечием, при сохранении согласия.

Мы имеем почти аксиомы:

1) Бог и церковь сближаются теснее и теснее и наконец слиты: в этом пункте — абсолютная свобода человеку, абсолютная любовь человека к Богу-Церкви. Такова вера и положение апостолов, Давида, Авраама, Адама (Бог и человек — лицом к Лицу).

Но в истории этого почти не встречается: и для будней ее, для религиозных будней, наступает действие второй аксиомы:

2) Богу — опять любовь, и в Боге — свобода; но это — внутри и субъективно; это — отношение маленького нашего лица к бесконечному Лицу Божию. А снаружи — повиновение порядку «общества верующих», видимое с ними согласие, с возможностью сердечного отклонения от него, которого они и не преследуют. Церковь в общем нимало не тревожится, что многие лениво или равнодушно исполняют ее обряды, уставы, даже вовсе не исполняют ничего. Церковь не перестает «числить своими» множество сектантов, о которых открыто известно, что они сектанты; и всеми мерами противодействует «документальному» (через запись в паспорте) отделению от себя: на этом, напр., основан закон о смешанных с иноверцами браках. Как «общество верующих», Церковь менее пытается веру и ревнивей исчисляет сонмы верующих.

Иногда, утомясь счетом, она хочет сверх повиновения и любви. Тогда наступает движение к слиянию с Богом; но параллельно этому непременно узы повиновения должны быть ослаблены, сами должны ослабеть и, слабая более и более, перейти в совершенную свободу.

Каждый верующий может сказать: «Я даю то, что ты хочешь. Но твоё хотенье должно быть сообразовано с законами твоего собственного существования».

Церковь же обратно может сказать верующему: «Я не требую больше, чем сколько ты можешь дать, и всегда можешь дать. Что ты ропщешь? Мое требование невелико».

Вот почва, на которой, мне кажется, обе стороны могут помириться. И если кое в чем будет больно одной стороне, то именно в этой же точке и совершенно равномерно будет больно и другой стороне. Так что уж обе они как-нибудь уладятся...

ЛЮДИ И КНИГИ ОКОЛО СТЕНЫ ЦЕРКОВНОЙ

Об одном сомнении гр. Л. Н. Толстого

«Я не понимаю таинств, в них нет смысла, они суть колдовство». Так выразился гр. Толстой в ответе на его официальное отлучение от Церкви. Не критикуя других сторон в его «Ответе», психологически и субъективно очень глубоких и интересных, остановимся на одной этой. Кто же их «понимает»? и не оттого ли они и получили имя «таинств», «тайн», «непостижимого», — что стоят *вне* разума? Может быть, не *выше*, не *ниже*, но просто — *вне*! В «Войне и мире» он даже войну 12-го года и, в частности Бородинское сражение, признал «таинством», «непостижимым». Он написал об этом целую главу, с чрезвычайным упорством и горячностью. Позднее он переменял объекты этого имени: но два объекта, *рождение и смерть*, кажется, никогда не переставал считать «таинствами».

«Они — колдовство», — утверждает он. Значит, он соглашается, что они есть. Можно ли назвать каким-нибудь именем и даже определить качества того, *чего нет*, не существует?! Итак, по его же признанию, в христианстве содержатся тайные вещи, именующиеся у христиан *таинствами*. Только он их *не хочет* и *порицает* («колдовство»), христиане же их хвалят и хотят. Еще что сказал он о них и, даже, что он единственно о них сказал? То, что они суть *колдовство*. Радует, что суть их, как *непостижимости*, он схватил в этом слове; но какие он приписал им качества? Колдовство есть *злое, ко злу направленное и чрез злого человека*. Но таинства — все «во врачевание души и тела», и, кажется, совершаются чрез добрых или приблизительно добрых людей. Он не видит колдуна, а толкует о колдовстве; не видит вреда (врачевательство) и все же кричит о колдовстве. Бессильный крик, который никого не смутит.

Но может быть, его задача — показать, что таинство *с виду похоже на колдовство и так же ничего не содержит в себе, как и подлинное колдовство*; что *таинства суть пустые, бессодержательные, немощные вещи*? Таковая мысль содержала бы рационализм и утверждала бы неверие его, собственно, не в христианские таинства, но вообще во все чудесное и таинственное в мире. «Ничего нет, кроме Иловайского. Иловайский же достоверен». Это есть *настроение ума, предрасположение ума*, на которое можно ответить только: «У меня — не такое». Кто любит капусту, а кто — суп с картофелем; один читает Иловайского, другой — Пушкина. Толстой так не любит все чудесное, что в пере-

дельваниях Евангелия даже не остановился вниманием на чудесном, сверхъестественном *Откровении* (Апокалипсис) Иоанна Богослова. Но он хочет увидеть чудо? Согласен указать его: такое чудо есть творчески-художественный гений самого отрицателя чудес. Вполне чудо, что я не имею такого. Ведь зачаты-то мы с ним довольно одинаково, и родители наши были довольно равные люди; те и другие — обыкновенные, серенькие люди. Считая «по-обыкновенному», все без исключения люди должны бы родиться приблизительно одинаково, и различия не более, чем березы в березовой роще. Но какая между ними разница! Мне под 50 лет, и хоть я пытался писать повести, но даже и малой повестушки не вышло. А он, подите, в двадцать с немногим лет написал вдохновенное «Детство и отрочество». И вот, его дар сравнительно с моим великое есть *чудо*, и он сам, как творец и человек, есть *чудо* по необъяснимости происхождения и необъяснимой природе.

Нужно очень мало бояться Бога, чтобы, получив от Него чудесный дар, с магическим действием на души человеческие, начать употреблять этот дар на отрицание всех прочих чудес Божиих, которые предназначены служить людям в скорбях их и в бедах, для утешения и для поддержания.

Я получил — может быть, в связи с отрицанием Толстым «таинств» — письмо-запрос от одного торговца из Казани. Он спрашивает: «Не есть ли *язычество обоготворять*, считать *святынею*, даже просто *священными* — вино ли и хлеб, кровь ли или плоть, это все одно. Поклоняться можно только Духу — в духовной религии. В главном церковном таинстве я нахожу *матерьялизм*, даже апофеозу матерьялизма». Довольно замысловато для торговца, письмо которого носит явные следы если не безграмотности, то малограмотности (буква «к» соблюдена, но слог мужицко-мещанский), но ход мысли и аргументации именно те, которые я изложил. Так как с тем вместе этот торгующий философ из Казани высказал попутно в письме полную веру в божественность Христа и боговдохновенность Евангелий, — то я сослался просто на слова Христа: «Пейте Мою кровь, ешьте Мою плоть — в жизнь вечную», т. е. что евхаристия (о чем он в непостижимой торопливости забыл) установлена вовсе не Церковью *после Христа*, но Самим Христом. Непостижимая эта забывчивость случилась и у Толстого: и он евхаристию отвергал, *принимая Евангелия*, т. е. в период полной своей веры и в Христа, и в особливую, исключительную божественность Евангелий. Затем, кроме этой ссылки на авторитет, я представил и некоторые рациональные объяснения. Корреспондент мой явно *гнушается плотью*, и этот вечный скопческий лейтмотив, так вкорененный вообще в христианах даже самой безукоризненной ортодоксии, был и настоящею почвою или побудителем его отрицания евхаристии. Я объяснил ему, что «Бог создал *видимое* и *невидимое*», что это есть первая строка

нашей религии: и «видимое» столь же достойно почтения, почитания, исповедания его *тайною*, как и «невидимое». Может быть, сомнения Толстого, как и моего корреспондента (лавочник Максимов), довольно теперь распространены: и мои разъяснения, не удовлетворив или мало удовлетворив их, рассеют сомнения других.

1901

28 января 1881—1901 г.

Сегодня исполнилось двадцать лет со дня кончины одного из самых великих, благородных, загадочных и далеко еще не разъясненных русских характеров и умов, Фед. Мих. Достоевского. Умственные сокровища, им оставленные в «Дневнике писателя», «Карамазовых», «Бесах», «Подростке», едва ли тронуты критикою. Критика наша более любит бродить «около», говорить «по поводу» и вообще излагать себя, нежели, собственно, приводить в систему, подчеркивать, обрабатывать и освещать содержание разбираемого писателя. Критика более занимается собою, нежели литературою, и, кажется, более тщеславна, нежели проницательна. Так, одно из самых поразительных созданий Достоевского, «Сон смешного человека» (в «Дневнике писателя»), и находящееся с ним в связи «Видение золотого века» (в «Подростке») едва ли были в нашей критике хотя бы названы, а не только разобраны. Обществу эти творения вовсе почти неизвестны. Общество давно свело Достоевского к коротенькой схемке: «был страдалец», «проповедовал милость к падшим», «истинный христианин», «проникновенный психолог, давший России Раскольникова и Алешу Карамазова, а посему *в. н. з. р.*» (= «великий писатель земли русской»). Между тем Достоевский — едва тронутый с поверхности рудник мыслей, образов, догадок, чаяний, которыми долго-долго еще придется жить русскому обществу, или по крайней мере — к которому постоянно будет возвращаться всякая оригинальная русская душа.

Воображение Достоевского было безмерно, а его идеи, психологические и метафизические, суть идеи в глубочайшем значении религиозные: т. е. такие, которые как принять, так и отвергнуть можно только с точки зрения «сердца человеческого, лежащего в деснице Божией». Идеи эти, во всяком случае, переливаются за край и литературы, и в тесном смысле за края национального существования. Хотя Достоевский имел свою долю успеха за границей, но там более были удивлены его странностью, поставили его на особую полку, тоже подвели итог «страдальцу», «христианину», «защитнику падших» и «замечательному психологу», — нежели сколько-нибудь успешно расчленили и схватили в целом его духовный портрет. Но Достоевский есть в полном смысле европейский писатель, потому что никто с такою силою и глубиною не подверг критике самые устои психологического и метафизического существования Европы. У Токвиля есть книга: «L'ancien régime et la révolution»...

Вот Достоевский и есть такая «révolution» в отношении «l'ancien régime» Европы: «révolution», еще не начавшаяся, но которой он положил твердые основы. В исторический великий час, когда его идеи станут окончательно ясными и даже только общеизвестными (ибо, несмотря на бесчисленные издания, мы утверждаем, что он даже и на родине большою публикою еще *не прочитан*), — начнется идейная революция в Европе. Самые столбы ее, подпочвенные сваи, на которых зиждутся ее великолепные надпочвенные постройки, окажутся... косо положенными и частью совсем неверными.

Чтобы показать в кратком штрихе, до чего он был проникателен, отметим, что еще при Пии IX он предсказал поворот папства, совершившийся при Льве XIII. «Папа покинет бессильных королей и обратится к демократии», «он сойдет, босой и в веригах, к четвертому сословию и скажет: дети мои, все, о чем вы мечтаете и чего вы требуете, — справедливо, и все это содержится в Евангелии; но без меня вы ничего не достигнете. Идите за мною, и я поведу вас». При Пии IX, не мечтавшем ни о чем подобном, все это можно было принять за галлюцинацию романиста. Но умер Достоевский, умер Пий IX, и при Льве XIII галлюцинация русского романиста стала деловою программою папства. Между тем приведенный пример — совершенно крошечная черточка в необозримом составе мыслей Достоевского. Также ему, в пору славы и всемогущества Бисмарка, принадлежит фраза (в «Дневн. писателя»): «Бисмарк отлетит в сторону, как щепка, а Ротшильд и банк — всемирно утвердятся». В самом деле, Ротшильд вот уже потянулся и к бакинской нефти, и к кахетинским виноградникам, а Бисмарк давно умер, покинутый, забытый, чуть не запертый последние годы в клетку... Но это все, как ни изумительно, — только незаметные блески на длинной мантии нашего восточного мудреца...

В нем самом (Достоевском) было немножечко «папы»: в фанатизме его идей, в исключительности и нетерпимости его идей... Да, он был бы не прочь стать pontifex'ом maximus'ом «униженных и оскорбленных», «бедных людей», всех этих Неточек Незвановых и Соней Мармеладовых. Но религиозная идея демократизма есть только первоначальная и вовсе не самая богатая в нем часть, не самая новая и оригинальная. Это — положительные его мечты, розовый романтизм «подростка»-Достоевского. В «Бесах», «Карамазовых» и «Сне смешного человека» он является нам старцем-мечтателем, анализ которого точно пробуравил самое дно «сложения человеческого», а воображение построит совершенно новые миры и еще никогда не испытанные и не почувствованные схемы отношений между людьми! Он так и называет это: «Сон! Сон!» Но тут же прибавляет, что сон этот *реальнее* всякой действительности. Замечено, что идеи Платона, грека-язычника, изложенные в его «Πολιτεία»*, нашли себе до некоторой степени

* «Государство» (греч.).

осуществление в средневековой католической теократии *. Кто знает, идеи христианина-Достоевского, самые несбыточные, невероятные, не найдут ли для себя поприще действия тогда, когда Рим, Париж и Лондон будут напоминать собою развалины Акрополя и Пальмиры, и, может быть, в новых странах начнется вовсе новая цивилизация? По крайней мере, ясно чувствуется, что как «Сон смешного человека», так и видение «Золотого века» (в «Подростке»), так сказать, не вмещаются, как большее в меньшее, в рамки Европы. Они — шире Европы, они — лучше Европы, они — счастливее Европы.

Еще многие помнят взрыв скорби над его могилою 20 лет назад, и вот сейчас как будто он еще не умирал: так живы его идеи, образы, занимавшие его споры и в наши дни. Достоевский — весь в движении сейчас бегущих идей. Ничто в нем не постарело; ничто не умерло. Он так же раздражает одних; умиляет других. Все прощают великие недостатки собственно *живописи* у него; точнее — гармонии в живописи, которая лишь в отдельных вершинах несет на себе краски точно какого-то иного мира, а на сплошном полотне своем являет рытвины, пустыни, обвалы и пустыри. Все это забывают: ибо слишком ясно, что центр личности его — не в эстетике, а в мышлении, однако в мышлении при помощи картин и образов, то зовущих и соблазняющих, то мучащих и наконец отталкивающих. Ему над могилою не приходится сказать: «Прощай, да будет тебе земля легка!» — но: «Живи! броди между живыми и буди их от проходящих снов к сновидениям вечным».

28 января 1901

На панихиде по Вл. С. Соловьеве

Небольшой кружок друзей и почитателей покойного Соловьева собрался 30 июля 1901 г. в Сергиевском соборе, на Литейной, на панихиду по нем. Как отвечали дивные слова этого православного служения личности и судьбе покойника. Просто хотелось еще и еще раз выслушать слова напева или слова читаемой молитвы, чтобы конкретно связать их с какою-нибудь памятною его житейской чертой или прижизненною надеждою. Они так связывались! «Точно чин панихиды для него нарочно придуман»: это мелькнуло у меня раза два в церкви. Я вошел в нее холодный, а ушел растроганный. Невольно хочется вслух сказать и следующее пожелание: чтобы не ограничились ближайшие личные друзья или родные Соловьева этою одною годовою, формально почти требующеюся, панихидою, но и в следующие годы не поскучали бы заказать такую же панихиду и оповестить о ней через газеты. Его память, очевидно, горячо хранится и, очевидно, она долго сохранится. Для него же, — как представляется духовный и даже физический его лик, —

* Точнее, Платон и католические «идеалисты» IX—XIII веков едва ли не реставрировали, один сознательно и другие безотчетно, идеи египетской теократии.

никакой разбор его трудов или литературное прославление не надобны так и так горячо не желательны, как простая зауспокойная литургия.

Вот уж был странник в умственном, идейном и даже в чисто бытовом, так сказать, жилищном отношении! Сын профессора, с большими правами на кафедру, он не получил «по независящим обстоятельствам» кафедры; внук священника, посвятивший памяти деда «Оправдание добра», он был крайне стеснен в своих желаниях печататься в академических духовных журналах; журналист, он нес религиозные и церковные идеи, едва ли встречая для них распахнутые двери в редакциях. Он пробирался в шелочку, садился пугливым гостем, готовым вот-вот вспорхнуть и улететь со своим двусмысленным смехом. Какой странный у него был этот смех, шумный и, может быть, маскирующий постоянную грусть. Если кому усиленно не было причин «весело жить на Руси», то это Соловьеву. И где он жил, в Москве ли, в Петербурге ли, у себя ли, у приятелей? Кажется, он чувствовал себя в родном гнезде только у Иматы, которую так часто любил посещать. Должно быть, шум водопада и его фантастический вид, особенно зимою, возбuditельно, и хорошо возбuditельно, на него действовали. Он так воспел его, и биографически сам так с ним связался, что хочется переименовать это местечко угрюмой Финляндии в «Водопад Соловьёва».

Дедовская священническая кровь, учено-университетские заботы отца, и, наконец, весь духовный пласт наших шестидесятых годов, с их хлопотливыми затеями, шумными отрицаниями и коренным русским «простецким» характером — отразились в Соловьеве. Он был какой-то священник без посвящения, точно несший обязанности, и именно литургические обязанности, на себе. Это заметно было в его психологии. Точно он с вами говорит-говорит, а вот придет домой, наденет епитрахиль и начнет готовиться к настоящему, должностному, к завтрашней «службе». Ссылки на Священное Писание, на мнения отцов церкви, на слова какого-нибудь схимника-«старца» постоянно мелькали в его разговоре. Рядом с этим у него был, хотя не столь коренной, интерес к университету, к состоянию науки, к ученым корпорациям. Сюда примыкала его (недолгая и случайная) лекционная сторона. Он любил читать лекции и читал их мастерски. Университет наш потерял в нем одно из возможных своих светил, потерял огромное возможное влияние на студентов, и влияние идеалистическое, философское. Тут уж приходится посетовать на «неблагоприятное расположение созвездий», где было решено, что пусть уж лучше читает хоть вахмистр, а только не возбuditельный ум. «Тише едешь, дальше будешь» — русская мудрость. Наконец, из-за священника и профессора у него вырывалась личность журналиста, самая бойкая, переменчивая, то колющая, то плачущая, крикливая, самонадеянная: настоящий парфянский наездник, который не давал успокаиваться дремлющему и самодовольному Риму. В образе мыслей его, а особенно в приемах его жизни и деятельности, была бездна «шестидесятых годов», и нельзя сомневаться, что хотя в «Кризисе

западной философии» и выступил он «против позитивизма», т. е. против них,— он их, однако, горячо любил и уважал, любил именно как «родное», «свое». Он был только чрезвычайно даровитый и разносторонний «шестидесятник», так сказать, король того времени, не узанный среди валетов и семерок. Духовная структура знаменитой реформационной эпохи была в значительной степени и у Соловьева.

Он начал писать в семидесятых годах. И с людьми 80—90 годов он уже значительно расходился. Это второе, послереформационное поколение, было значительно созерцательнее его. У Соловьева было явное желание завязать с ним связь, но она не завязывалась, несмотря на готовность и с другой стороны. В этом втором поколении было заметно менее желания действовать, а Соловьев не умел жить и не действовать. Как-то он мне сказал о себе, что он — «не психолог». Он сказал это другими словами, но заметно было, что он жалел у себя о недостатке этой черты. Действительно, в нем была некоторая слепота и опрометчивость конницы, сравнительно с медленной и осматривающейся пехотой или артиллерией. Во всем он был застрельщиком. Многое начал, но почти во всем или не успел, или не кончил, или даже вернулся назад. Но если были неудачны его «концы», то были высоко даровиты и нужны для отечества и славны для его имени выезды, «начатки», первые шаги...

Заметно, как образ его улучшается, очищается после смерти; как и перед самою смертью он быстро становился лучше, как будто именно приуговлялся к смерти. Разумею здесь его отречение от горячих и неподготовленных попыток к церковному «синтезу» и вообще быструю его национализацию. Внук деда-священника вдруг стал быстро скидывать с себя мантию философа, арлекинаду публициста. «Схиму, скорее схиму!» — как будто только не успел договорить он, по примеру старорусских людей, московских людей. И хорошо, что он умер около Москвы, москвичом. Там ему место — около сердца России.

Мы же на забудем еще и еще помянуть его, и именно церковно помянуть. Поверим, что это было самое горячее его прижизненное желание.

1901

Скептический ум

Пятое издание книги К. П. Победоносцева «Московский Сборник» заключает в себе некоторые добавления сравнительно с предыдущими изданиями. Это — прежде всего, небольшая и яркая статья, направленная главным образом против идеи «сверхчеловека» и вообще ницшеанства: «Новое христианство без Христа»; три новые главы в «Болезнях нашего времени» и статья С. Рачинского: «Древние классические языки в школе». Сборник, как известно, не весь оригинален: в нем нам встречается прелестное стихотворение «Старые листья» — из Саллета, выдержка о бессознательной жизни души — из Каруса, переводы из Гладстона,

Карлейля и Эмерсона. Но если, таким образом, не все в этом «Сборнике» принадлежит лично его автору, то тем не менее «Сборник» есть высоко цельная книга, проникнутая совершенным единством духа. Каждый человек много думает и много читает. Если это в то же время серьезный человек, то читаемое и найденное самостоятельно у него сливается в один ком, где он не умеет и не хочет различать свое и чужое. Самолюбие авторства отходит на второй план перед величием тем.

«Сборник» этот прелестен по языку, краткости статей и по важному их содержанию. Это как бы листки записной книжки, но без небрежности изложения: все статьи одушевлены и чистосердечны именно как страницы дневника. Невозможно читать эту книгу и несколько не заразиться ею. Почти каждый год появляется ее новое издание, и нет причин думать, чтобы успех ее стал меньше, когда ее автор перестанет быть живым и действующим лицом. Мы скажем и похвалу и некоторое порицание, если сравним книгу с «Баснями Крылова», книгой поучительной, читаемой, народной, но несколько элементарной. Отсутствие слишком большой сложности хода мышления составляет недостаток ее построения. В записной книжке не доказывают, не убеждают, но вдохновенно летят вперед и увлекают самым этим полетом. «Сборник» имеет чарующую прелесть для сердца, но уму везде хочется с ним спорить, и, да не будет это обидно для автора, ум часто чувствует крайнюю легкость опрокинуть этот симпатичный полет благородного скорбного мыслителя. Он, напр., называет «великою ложью нашего времени» выборные, голосовательные и т. п. «говорильные» принципы западной цивилизованной жизни. Пусть. Мы не за них. Но достаточно указать автору на параллели эпохи Аракчеева и Клейнмихеля с временем Питта и Каннинга, чтобы заставить его или умолкнуть, или сознаться, что есть принципы гораздо худшие «говорильных». Это только один из примеров «кстати»...

На просторную всех 366 страниц книга полна явного или тайного вздоха. Невозможно без волнения прочесть эти строки в ней:

Срывая с дерева засохшие листья,
Вы не разбудите заснувшую природу,
Не вызовете вы, сквозь снег и непогоду,
Весенней зелени, весенней теплоты!

Придет пора — тепло весеннее дохнет,
В застывших соках жизнь и сила разольется,
И сам собою лист засохший отпадет,
Лишь только свежий лист на ветке развернется.

Тогда и старый лист под солнечным лучом,
Почувяв жизнь, придет в весеннее брожение:
В нем — новой поросли готовится назем,
В нем свежий сок найдет младое поколение...

Читателю в строках этого стихотворения невольно слышится ретроспективный взгляд его переводчика на себя. Под осень соки в дереве идут в обратном направлении сравнительно с тем, как шли весной. И вот этим «обратным направлением» полна рассматриваемая книга. Но природа имеет свои законы; они — есть у дерева, и есть у времен года. И осень для того, кто умеет ее видеть, понимать и ценить, может быть почти так же хороша, как и весна. «Обратное направление», которое вызвало бы у нас бурный протест, будь то высказано кем-нибудь другим, — в К. П. Победоносцеве исполнено такой природности, неодолимости, ума, своезаконности, что мы только говорим: «Ну, что ж, осень! Что делать — осень! Нет душистых роз, но есть эти красивые, кожистые, вечные астры. Остановимся над ними и насладимся зрелищем».

Но как горько, что автор чужд той природной веры, которая и составляет характерный момент весенней души. Весна провидит осень и сбор плодов, но осень видит уже только зиму. Взор автора или «составителя» «Сборника» весь обращен к прошлому. Прошлое есть его поэзия, его утешение. В будущем он ничего не видит, для будущего он не имеет надежд. Как это горько читателю, деятелю, каждому! Горько за автора, горько за будущее. В будущее легче было бы идти, имея другом этот опытный ум, а астры, конечно, имели бы внутреннее счастье, благоухая, как розы. Но нет этого. Между автором и читателем нет мира. Сердца их враждуют, борются. А как хотелось бы быть вместе!

И счастье было так возможно...
Так близко...

— Неужели,— обратимся мы к автору,— люди так глупы и непоправимо глупы, что могут только сломать шею, идя вперед? Неужели люди так дурны в обыкновенном и пошлом смысле, что если они хотят идти вперед, то делают это как злые и испорченные мальчишки, только с намерениями дебоша, а не чего-нибудь прекрасного? Как можно не верить в человека? И особенно не верить в него, озирая столь сложный узор времен и событий, какой пронесся перед автором? Можем ли мы думать, что он, в длинной чреде лет, не встречал людей высокого сердца, большой чистосердечности, обширного ума? Его небольшая книжка «Вечная память» опровергает такое предположение. А между тем «Московский Сборник» весь дышит недоверием к людям, и как к толпе, и индивидуально. Он не был бы написан или имел бы совершенно другой колорит, если бы автор не изверился в величайшем сокровище мира, в человеческой душе! Горько это. Страшно. А главное — ошибочно. Автор как бы рассматривает все худое в увеличительное стекло, а все доброе в отражении вогнутого уменьшающего зеркала. Он не имеет объективно спокойной картины перед собой и заразился скептицизмом относительно того, о чем невозможно и наконец грешно, порочно сомнение.

«Московский Сборник» — грешная книга, вот наше résumé. Она

полна скептицизма и проистекающей из него печали. «Дух же уныния, любоначалия и празднословия отжени от меня»,— молится Церковь. Без психологического момента веры, без способности уповать, надеяться, без некоторой святой наивности — невозможна вообще религия; зато в ком эта вера утвердится, то она вырастет, как зерно горчишное, в целый лес доверчивых и любящих отношения к людям, к государству, к природе, к событиям! «Ангел Иеговы»,— приведу библейское выражение,— ведет народы к битвам, к миру, к открытиям, успехам и запрещает им остановиться. Где же и быть Богу, где же Ему и сказаться, как не в истории? Ведь есть же Провиденциальность? А это другое имя Бога, и только грешный отвергнет в истории Промысл. Поэтому историческое уныние, политическое уныние есть грех. Между тем таким-то унынием и полна изящная и малодушная книга, которую мы рассматриваем.

Она полна общими идеями. Но средоточие всех идей, сам человек, во всех подробностях его конкретного и милого образа, забыт, обойден в ней. Автор, напр., хочет бессмертного человека, т. е. он хочет бессмертия души человеческой. И в длинном извлечении из Каруса он передает ощущения умирающего, ощущения возрастающего оживления и радости: и так как эти ощущения — предсмертные, то он считает «доказанным», что мы воскресаем во вторую и лучшую жизнь. Хорошо. Догмат бессмертия души утвержден. Но если бы он с такими же подробностями передал, положим, жизнь Пастера, напр., рассказ о том, как, имея на руках ребенка, умершего от укуса бешеной собаки, он на несколько лет отложил в сторону все научные работы и предался изысканию средства против ужасного этого страдания, и наконец нашел его,— то он показал бы и доказал читателям еще важнейшую истину, что человек есть любящее существо и что его самого стоит любить. Автор любит многие институты: церковь, отечество, закон; больше всего — церковь и древность. Но человека в его индивидуальности? Не видим этого. Человек представляется ему несчастным червяком, который ползает в великом мавзолее истории. Это бедное и неверное представление, и просто оно основано на незнании *подробностей* в человеке.

Книга вообще не имеет в себе подробностей. Это — отвлеченная книга, и ее отвлеченность тем более мучительна, что это — не отвлеченная ума, а отвлечения сердца. «Церковь», «государство», «закон», «прошлое», «будущее», «настоящее», «характеры» (самые общие, схематические) — вот рубрики, по которым движутся эти плоды

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Но вы не найдете в ней собственного имени, любующегося на человека рассказа. На всем ее протяжении нигде не попадает анекдота, смеха; а ведь смех примиряет, а ведь смех есть добрая черта в человеке. И совершенное отсутствие даже намека на него есть в этой книге зловещий признак.

Она вся серьезная и сплошь серьезная. Я сказал, что в ней нет подробностей. Это не только в смысле очерка, но и в смысле рассуждения. Он пишет, например, «Болезни нашего времени» (16 глав). Копаются ли он с усердием Захарьина, с осторожностью Захарьина в этих болезнях? Он поступает как маг. Развернул широкое полотно и начертал узор своих вздохов, не объясняя, не доказывая, почти только поэтизируя. Все его статьи похожи на résumé председателя суда: в них нет прения сторон, борьбы защиты и обвинения, и, главное, не представлены самые материалы судебного разбирательства, рассказы и свидетельства очевидцев-обывателей. Я говорю — это ряд знойных схем, почти без всякого фактического материала.

За четверть века нашей литературы это одна из самых прелестных, до известной степени обворожительных по изложению, по стилю, по темам и построению книг. Поэзия и мысль сплели узор ее страниц. Но по отсутствию Захарьинского усердия к темам, пусть бы лучше уж неуклюжего, но основательного, это есть неубедительная и даже чуть-чуть поверхностная книга. Невозможно касаться таких серьезных и до известной степени страшных тем в блестящих очерках по 15, по 20 и часто гораздо менее страниц. Мы не доверяем председателю, когда он не дал нам выслушать ни судебного разбирательства, ни материала фактов. Мы его résumé прослушали, но не хотим ему следовать. Тут он виновен, а не читатель. Читатель видит перед собой прекрасные... миражи слова, затейливые башенки, журчащие ручьи, пальмы и горы; но все это — fata-morgana, опрокинутая в небе над знойной и безлюдной и страшной пустыней. Эту пустыню образуют: скептицизм, неуважение к человеку, и плод их — уныние. Книга эта — привлекательный собеседник для человека, но не теплый друг человека. Навеваемое уныние парализует человека, отнимает силы у читателя, у возможного деятеля. Вздохи автора отдаются резонансом и в груди этого читателя,— рождаются в ней свои, другие вздохи. Он вырастает в собственных глазах, приобщившись всей этой умственной роскоши, умственного изящества. Но эти приобретения читателя никогда не будут приобретениями общества. В читателе и особенно в почитателе названной книги общество скорее потеряет здорового, нужного, бодрого труженика, обогатившись одним лишним меланхоликом. И счастлив тот осмотрительный читатель, который, ухватясь за здравый смысл и веру в Бога, «провздыхав» все 365 страниц, на последней 366-й скажет: «Э, ну их, эти страхи! Бояться волка — в лес не ходить! Бог не выдаст — свинья не съест».

1901

К. П. Победоносцев. *Воспитание характера в школе.*
С.-Петербург. 1900. Цена 10 к.

Автор книжки — великий любитель теорий. Все теоретическое его привлекает; восхищает, когда оно планомерно и упорядочено; вызывает

гнев, когда оно не упорядочено. «Умная жизнь» — вот заголовок, который можно было бы дать всей серии книг и переводов, им изданных. При этом он настолько пронизателен, что, конечно, видит, что одним умом не проживешь, и он «входит с умом» в мир инстинктов, сердца, воли, даже страстей, пытаясь упорядочить и связать в умный механизм самые эти инстинкты и сердце. Таково и лежащее перед нами «Воспитание характера в школе», собственно перевод статьи г. Barnet — «Common sense in education and teaching». London, 1899. Статья очень методично подвигается по рубрикам школьной жизни и везде дает советы, в уме и правильности которых нельзя усомниться. Как у людей, почти обремененных умом, у автора и переводчика есть скептицизм к самому уму, недоверие к его творческим силам, сознание роли его, как только умного воспитателя около гениального ребенка. Этот гениальный ребенок — инстинкты, сердце, душа, страсти. — Что выйдет из них? Воспитатель трепещет. Сильнее и сильнее он напрягает морщины чела, чтобы к каждому шагу необузданного создания придумать... не правило — так поступают глупцы, но принцип, т. е. нечто эластичное — так поступают мудрецы. Все труды г. Победоносцева и суть принципы и принципы, ткань «умной сетки», из которой гениальный ребенок не вывалился бы. Нам думается, однако, что зерно инстинктивных сторон, «душа» души человеческой — для него все-таки темна и непроницаема в том поэтическом и неуловимом свете, которым она единственно живет и существует. Огромная разница между «управлять инстинктами» и «иметь инстинкты». Чрезмерное неравенство между «управлять» и «иметь» порождает осторожность, неуверенность и вообще подсекает крылья в тесном смысле творчества. Инстинкт — *verum*, потому что он *есть*; ум — не верит, потому что он только видит, что *кто-то* есть, и не знает точных границ этого «есть», ни сил его, ни вообще природы. Жизнь, история — непременно творятся верою, без веры — ни шагу, не только в религии, но между прочим даже и в политике. Я повторяю, что вера есть великое ощущение сердцем просто избытка в себе бытия — того, что оно просто есть: «я *есмь* и вот — я иду вперед». Этого нельзя создать и этого нельзя заменить никакой критикою, как бы она могущественна и утонченна ни была, никакой теорией и теоретизмом.

Во Франции был великий теоретик Буало, автор «L'art poétique», имевший огромное влияние на современных и последующих поэтов, но сам не поэт. Вот пример и вот мерило, которое мы хотели бы и которое вправе приложить к переводчику разбираемой брошюры. Если около порывистых современных ему умов, из которых все *критически* были гораздо ограниченнее и грубее К. П. Победоносцева, поставить его, то он будет около них, как Буало около Расина или Корнеля; а все его труды можно озаглавить: «L'art politique, pedagogique et religieux de vivre très prudemment et solidément». Некогда греческий философ Платон написал две книги — теоретическую «Республика» и практическую — «Законы»; незаметно и бессознательно этот замысел Платона все обдумать

и для всего начертать план, «предначертать жизнь» — живет и в знаменитом современном нам государственном человеке, и живет с этим же разделением точных практических указаний и более высоких духовных полетов. Но как в одних, так и в других есть одна господствующая страсть, уже почти в силе и яркости инстинкта,— управлять, направлять. В сущности, это есть черта любви к человеку, заботы о человеке. «Тебе без меня будет хуже». Да, мы верим, что в великих политиках живет любовь; и грустная сторона их существования заключается в том, что самое положение управляющего заставляет политика хорониться в лучших своих чувствах, и главный мотив их деятельности, как совершенно задрапированный, остается неизвестен никому, а потому — без ответа и неразделен. Это — дядьки без благодарности воспитанника. «Воспитанник» чувствует себя только измученным муштрованием, наставлениями, правилами и принципами «долгой и счастливой жизни», «жизни добродетельной и рассудительной». Нам кажется, у Пушкина есть хороший стих обо всем этом, т. е. об этих учителях, от Платона до г. Победоносцева:

В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много!
Неравная и резвая семья!
Смирренная, одетая убого,
Но видом величаява жена
Над школою надзор хранила строго.
Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.
Ее чела я помню покрывало,
И очи светлые, как небеса.
Но я вникал в ее беседы мало.

Этого психологического несоответствия между критическими, дисциплинарными, регистрирующими способностями человека и между его непосредственной субъективностью — трудно избежать, никто его не сумел преодолеть. Какую бы это боль ни причиняло «регистраторам человечества», но и субъективисты имеют тоже свою боль, как и законы своего движения. Тут может быть соглашение, компромисс, но о победе нечего и мечтать; да и в самой выработке параграфов компромисса податливость и уступка должна идти от критических способностей, ибо человеческая субъективность, сумма человеческих инстинктивных даров всегда может, вглядываясь в непроницаемую будущность, сказать о себе, насмешливо шурясь, стихом Лермонтова:

Здесь — я владею, я — люблю,

т. е. *будущность* и *факт* принадлежат во всяком случае творчеству и непосредственному факту, принадлежат, так сказать, Расинам и Корнеям политики, а не Буало политики.

Из оклеветанной книги

Во всемирной литературе мало есть книг, которые несли бы на себе такое множество обвинений, как знаменитый «Талмуд». Каждому, незнакомому с ним, представляется, что это какая-то черная книга, исполненная непонятно в одной половине и злобного в другой. Но вот я, русский и христианин, уже не первый год читаю выходящий аккуратно том за томом знаменитый этот сборник в тщательном переводе еврей-филолога Переферковича и до сих пор не нашел там ничего ни злобного, ни темного. Талмуд — это сплошная забота об евреях их великих древних учителей. Здесь есть предмет для зависти всякой нации: «о, если бы и мы уже тысячу лет назад имели подобную заботу о себе своих учителей и своих законодателей». Не пришлось бы тогда Чехову писать своих «Мужиков», Толстому — «Власти тьмы» и, может, Максим Горький выбрал бы для себя более мягкий псевдоним. Таким образом, здесь есть предмет для зависти. Но какой же для упрёка?! Пусть каждый народ имеет о себе ту заботу, какую он только в силах иметь! Кто знает, может быть, сохраненный в силах и здоровье, он когда-нибудь придет на помощь другим народам, не имевшим о себе этих предохранительных забот.

Правда, евреи везде представляются в «Талмуде» исключительным избранным народом. Но разве мы не читаем о том же в Библии, которая через это не становится для нас ненавистною книгою? И разве, говоря «Святая Русь», — чего мы ни о какой стране не произносим, — мы не выражаем, в сущности, аналогичной мысли? Нам лично всегда казалось, что знаменитое «избранничество» евреев показывает только, что их так называемый «монотеизм» далек от того отвлеченного значения и доктринерского ригоризма, который придали ему европейские ученые, не знающие хорошенько, о чем они говорят. Их монотеизм есть просто формула для слов: «Ты — у меня *единственный бог*», как бы: «одна моя надежда», «*одинокое прибежище*». *Чрезмерность* любви европейские ученые смешали с *единоличностью*, и притом универсальною, любимого существа. Хотя соперничество еврейского «бога» с «ваалами» и победы его — уже могли бы показать, что, по представлению самих евреев, их пророков и Моисея, много разных «богов» старалось овладеть сердцем «избранного народа». Соперничество, невозможное при «едино»-Божии в нумерационном смысле. Кто же, кроме Христа, владеет или пытается овладеть сердцем европейцев? «Адонай» евреев чрезвычайно далек от той отвлеченной универсальности, какую придавал «Первому Двигателю» мира Аристотель, или «Мировому Разуму» — Платон, и какому имеет «Существо единое, вечное, всеблагое» и проч. средневековых схоластов. Это «бог» не столь великий и более теплый. Дыханием Его согрет Израиль, но только — Израиль. К другим народам Он не имеет отношения, иначе как косвенного и большею частью отрицательного. «Иегова» есть Бог Израиля, Господин Сиона, живущий в храме Соломо-

новом: и нельзя смотреть иначе, как на искусственную работу, на попытку перевести Его в гордые и холодные труды мнимых европейских монотеистов; я же скорее сказал бы — «европейских алгебристов». Ибо гораздо более похоже на дело, что европейцы не имеют никакого Бога у себя в сердце, и эту пустоту, умственную и сердечную, наполняют чисто абстрактным именем «Бог». Но не стану дальше углубляться в эту бесконечную тему, а лучше расскажу что-нибудь из книги законов древнего и любопытного народа.

Читая «Талмуд», я не мог не отметить некоторые места, которые меня тронули своею нежностью, или простодушием и деликатностью, иногда — глубиной. Вот, напр., — слова одной молитвы:

«Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, *создающий плод лозы виноградной*». Это читается в Пасху. Или вот, в этот же день, «славословие празднику»:

«Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, избравший нас из всех народов и возвысивший нас над всеми языками и освятивший нас своими заповедями. Ты дал нам, Господи, Боже наш, *с любовью празднества на веселие, праздники и праздничные времена на ликования*, и сей день праздника опресноков, время нашего освобождения, *священное собрание*, в память исхода из Египта. Ибо нас Ты избрал, и нас освятил из всех народов, и святые празднества Твои Ты дал нам *с любовью и благоволием на радость и ликование. Благословен Ты, Господи, освящающий Израиля и праздничные времена!*» (отдел «Моэд», трактат «Песахим»).

Не правда ли, какой прекрасный, тихий и благородный тон. Просто это есть радование о себе и в себе, без всяких угроз кому-нибудь. Превознесение себя есть любование на себя; и идея, что они ближе всех к Богу, — есть то же, что позволительная мысль христиан, что они ближе всех к Христу.

Вот еще два афоризма: «Глупый благочестивец, хитрый нечестивец и удары (или мучения) фарисеев губят мир» (трактат «Сота»). Фарисеи, т. е. постники и законники, которые все преувеличивали, вообще порицаются в Талмуде. Вот интересный диалог касательно их, ведшийся после разрушения Иерусалима и записанный в одном объяснении к Мишне: «Когда был разрушен второй храм, размножились фарисеи («подвижники»), которые не ели мяса и не пили вина. С ними вступил в беседу равви Иисус (конечно — не Иисус Христос). Он сказал им: «Дети мои, почему вы не едите мяса и не пьете вина?» Они отвечали: «Как нам есть мясо, когда теперь прекратилась утренняя жертва, приносившаяся ежедневно? Как нам пить вино, когда оно шло на возлияние на жертвенник, а теперь возлияния прекратились?» Он ответил: «В таком случае, мы не должны есть ни фиг, ни винограда, так как от них приносились первинки в Пятидесятницу; мы не должны есть и хлеба, потому что от него приносилось два хлеба и хлебы предложения! мы не должны пить воду, потому что она шла на возлияние в праздник Кушей!» Они молчали.

Он сказал им: «Дети мои, придите и я скажу вам: совсем не печалиться нельзя, но и слишком скорбить нельзя: человек пусть белит дом свой известью, но пусть оставляет небольшое место небеленым в воспоминание об Иерусалиме; пусть он готовится все, что требуется для пиршества, но пусть сделает малое опущение в воспоминание об Иерусалиме; пусть женщина украшает себя, но пусть сделает небольшой в этом изъяз в воспоминание об Иерусалиме, ибо сказано в псалме: *«если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя; прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего»*; а всякий, кто скорбит о Иерусалиме, удостоится увидеть радость его, как сказано у Исаии: *«возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его! возрадуйтесь с ним все, сетовавшие о нем»* (трактат «Сота»).

Как это деликатно и умеренно! В тоне древних евреев вообще есть что-то, напоминающее (мне, по крайней мере) Монтечки и Капулетти. Капельный народец маленькой Сирии, со своими праздниками, всемирной миссией, надеждами, разочарованиями, пророками, храмом и скрижалями завета, что все развеял без труда Римский ветер,— представляются чем-то маленьким, субъективным, в высшей степени частным на громадном фоне всемирно-исторических движений. Это именно то же, что княжеские роды Вероны перед папством и Священной Римской империей. Но подобно тому, как всего только краткий эпизод из биографии Монтечки и Капулетти, рассказанный Шекспиром, волнует нас более, нежели чтение увесистых томов, куда записаны войны и интриги Гогенштауфенов и честолюбивых пап,— так история уголка Сирии около Ливана заключает больше теплоты и поэзии, чем история огромных Рима или Македонии.

Позволим себе предложить читателю одну коротенькую легенду, ютящуюся на почве Талмуда о великом Гиллеле. Он, вместе с Шамаем, был одним из знаменитейших толкователей Писания. «Школа Гиллеля» и «школа Шама» суть выражения раввинской науки, которым подобные мы найдем только у европейцев в выражениях: «школа Бэкона Веруламского», «школа Декарта». Вот этот рассказ, без всякого переименования с нашей стороны:

«Во время существования второго храма в Иерусалиме жил великий учитель, по имени Гиллель. Этот Гиллель до того был беззлобен и смиренен, что никто и ничто в мире не могло рассердить его. Его смирение даже вошло в поговорку: «смиренен, как Гиллель» — бывало, говорят про человека смиренного характера.

Раз как-то сошлись двое пустых и ветреных молодых людей, оба обладавшие лишними деньгами, и начали спорить между собой о смиренном Гиллеле. Один сказал: «его, Гиллеля, ничем не рассердишь», а другой спорил, уверяя, что, если захочет — рассердит его. Долго проспорилив об этом, один из них предложил другому держать заклад на четыреста динариев.

— Хорошо,— согласился другой. И ставка была поставлена.

И вот споривший за то, что он рассердит Гиллеля, начал подыскивать случай, который помог бы ему выполнить задуманное. Такой случай скоро отыскался.

Раз, в зимний холодный день, когда смиренный Гиллель мылся в бане, к окну ее подходит этот недобрый юноша. Гиллель слышит: «стук, стук».

— Кто там? — послышался из бани тихий голос.

— Я... — И юноша назвал себя.— У меня до тебя, Гиллель, есть дело,— прибавил он.

— Сию минуту, друг мой,— послышался из бани снова голос,— вот только накину на себя простыню.

— Что, мой друг, желаешь ты от меня? — ласково спросил, вышедши на крыльцо бани, Гиллель пришедшего.

— Скажи мне, пожалуйста, Гиллель,— отчего это у арабов кожа черна?

— Это оттого, мой друг, что в ихней стране солнце печет и тело обгорает,— быстро ответил Гиллель и побежал назад в баню.

Через несколько минут опять: «стук, стук... Гиллель еще здесь?»...

— Здесь, мой друг,— вторично послышался голос Гиллеля,— сейчас выйду.

— Скажи мне, пожалуйста, Гиллель, отчего в Африке много слепых? — вновь задал вопрос вернувшийся вторично юноша.

— А-а, это оттого, что страна эта изобилует песками,— ответил Гиллель, не показывая при этом ни малейшего вида неудовольствия.— Песок попадает людям в глаза, и они слепнут,— добавил он.

Еще через несколько минут — опять «стук, стук... Гиллель здесь?»... и т. д.— Словом, раз до десяти этот бесстыдный юноша надоедал бедному Гиллелю, заставляя его то и дело выбегать из горячей бани на холод и давать ответы на вопросы то пустые, то сумасбродные.

«Однако же дело скверно,— затужил нерассудительный спорщик,— деньги мои пропали».

И, как уступающий за соломинку, он ухватился за последнюю мысль. «Попробую,— подумал озорник,— задам ему такой щекотливый вопрос, от которого он поневоле придет в раздражение и, конечно, рассердится».

Опять: «стук, стук, Гиллель здесь?»

— Здесь. Сейчас выйду.

И наставник показался на пороге.— Что, мой друг, желаешь спросить?

— Вот что, Гиллель,— сказал ему озорник,— выучи меня Торе *, пока я простою на одной ноге.

К удивлению его, Гиллель нисколько не смутился, но так же кротко, как делал все до сих пор, сказал ему: «Хорошо, голубчик. Стань на одну

* «Тора» — законодательные книги Моисея, «пятикнижие», в обобщении — закон Моисея, закон Израиля.

ногу и читай за мною: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Когда юноша повторил за ним эти слова, он ему сказал: «вот и довольно, теперь стань на другую ногу, потому что ты произнес всю Тору».

Тут спорщик не вытерпел и в сильнейшем гневе закричал на учителя: «Так это-то ты, хваленый Гиллель?! Не дай Бог еще таких во Израиле!»

— Да за что, мой друг, ты на меня сердиться? — спросил его в недоумении простодушный Гиллель.

— Да как мне не сердиться на тебя, когда я, по твоей милости, потерял четыреста динариев, — закричал тот злобно.

— А, так ты через меня потерял четыреста динариев, — простодушно улыбнувшись, сказал Гиллель: «Ну, уж извини, хотя бы ты потерял еще столько и еще столько, тебе все же не удалось бы рассердить меня».

Не правда ли, как это просто? Или вот еще легенда о другом великом учителе, равви Акибе, записанная в тех же легендах:

«Равви Акиба, до сорока лет своей жизни, ничего из учения Торы не знал; даже молитвы читывал с ошибками, как совершенно неученый. Занимался же он пастушеством.

Раз, вдохновенный свыше, он, с согласия жены своей, отправился в дальнюю сторону и поступил там в ученики к одному великому учителю. Прошло сорок лет, и пастух, ставший уже сам равви, возвратился на родину в свой город в сопровождении сорока тысяч учеников. Дойдя уже до своей избы и намереваясь повидаться с женою после сорокалетней разлуки, он был поражен следующей сценой: две женщины, в одной из которых он узнал свою бедную старушку жену, а другая, по-видимому, была ее соседка, из-за чего-то перебранивались, причем эта вторая, соседка, укоряла его жену «агиной» *.

— Вот, — с ехидством сказала та, — сорок лет уже, как муж бросил тебя, и ты ни замужняя, ни вдова». На это бедная старушка, жена равви Акибы, смиренно возразила: «Муж мой меня не бросил, а с моего же согласия отправился далеко-далеко изучать святую Тору, и если б он, муж мой, еще сорок лет продолжал свое учение, — я ничего против этого не имела бы». Воспользовавшись этим, равви Акиба, не говоря никому ни слова, не показавшись жене, поворотил со своими учениками назад, и вновь на целых сорок лет. Сорок лет спустя равви Акиба возвратился с триумфом с удвоенным уже числом учеников, именно восьмьюдесятью тысячами; и когда он приблизился к своему дому и когда жена вышла к нему навстречу, он, на глазах всех своих учеников, обнял ее и, обратясь к ученикам, указав на жену, торжественно произнес: «Вот, друзья мои! Все то, что я и вы знаем, — мы всем единственно обязаны этой святой женщине».

Этот-то равви Акиба отличался большим человеколюбием, что выразилось в следующем:

* «Агина» называется женщина, у которой муж пропал без вести

«Однажды он сказал перед другими учителями народа, что если бы он был в числе членов Синедриона, то никто, ни мужчина, ни женщина, не был бы никогда наказываем смертью за прелюбодеяние.

— Как же ты умудрился бы это сделать,— удивляясь, спросили его другие учителя: — Трое свидетелей, например, говорят: мы своими глазами видели, как этот мужчина и эта женщина совершили блуд.— Как ты тут смог бы оправдать их?..

— Очень просто,— сказал на это в ответ равви Акиба,— я бы спросил у свидетельствующих: рассмотрели ли они то, чего никто видеть не может? И, при отрицании, отпустил бы виновных».

В заключение упомянем о глубоком различии еврейского покаяния от нашего. Покаяние у них совершается раз в году, в *День Очищения*. У нас, по общей вере, грехи отпускаются как-то механически. И притом грешащий заранее знает, что они будут отпущены, и несколько рассчитывает на этот отпуск. Наконец, у нас грех совершается против *одного*, напр., богачом против бедняка, а отпускается *другим*, именно священником. Всякий грубый или жестокий помещик старых времен не чувствовал себя связанным в совести против крепостных; он чувствовал себя виновным только против Бога, и, отговев на Страстной неделе, чувствовал себя по закону «очищенным», «свободным от греха». У евреев вовсе не так. Вот правила: «Жертва за грех, жертва повинности, смерть и День Очищения — все они очищают только будучи сопряжены с раскаянием» (трактат «Иома», гл. 8, тосефта 5,9).

«Если кто говорит: «согрешу и раскаюсь, согрешу и раскаюсь»,— то ему *не дают возможности совершить раскаяние*. И если кто говорит: «я теперь согрешу, а День Очищения меня очистит»,— то День Очищения *такого не очищает*».

«Грехи, совершенные человеком по отношению к Богу, очищаются Днем Очищения, а грехи, совершенные человеком по отношению к ближнему, очищаются Днем Очищения *лишь после того, как он помирился с ближним своим*» (Иома, гл. VIII, тосефта 9).

Таким образом, у них устранена механичность из покаяния, и этот акт души, необходимый, но скользкий и развращающий при легкости «отпуска», остается высокочеловечным и индивидуально трудным.

1899—1905

Ф. В. Благовидов. *Обер-прокуроры Святейшего Синода в XVIII и в первой половине XIX столетия. Развитие обер-прокурорской власти в синодальном ведомстве. Опыт исторического исследования*. Казань, 1899.

Предмет этой книги гораздо обширнее возможной на нее рецензии. Трудно исчислить все прямые и косвенные, явные и затаенные нападения на обер-прокурорскую власть при Синоде, и эти нападения, сильные в печати, еще сильнее в изустных разговорах общества. В то же время

едва ли возможно найти хотя бы одну беспристрастную и независимую статью, посвященную ее защите. В этой рецензии нам хочется дать такую защиту,— надеемся, довольно беспристрастную. Прежде всего, религия и церковь, выражаясь в земных делах, *не ограничиваются духовной иерархией*, как единственным возможным и действительным органом своего бытия и проявления. Мы хотим сказать, что черное и белое духовенство, несущее в себе «дары священства», идущее иерархически от апостолов, *не исчерпывают* церкви и не покрывают всего пространства возможной и действительной религиозно-церковной *святости*. Церковь — колоссальный факт, ядро национальной и исторической жизни. Претендовать, чтобы нация, государство, историческое бытие не воздействовали никак на это ядро и *пассивно подчинялись его своеобразному и автономному в веках движению*,— невозможно. Далее, из множества фактов, каждому непосредственно известных, открывается, что не может быть и речи о *слитном единстве* самой иерархии церковной, которая расслоится на верхний слой черного духовенства и на нижний слой белого духовенства, отнюдь между собою не гармоничные. Обер-прокурорская власть, стоящая *вне* этих слоев, хотя до некоторой степени уравнивает неравное, сглаживает глухое и подавленное заострение их друг против друга. В книге г. Благовидова, в общем подозрительной и недоверчивой в отношении к обер-прокуратуре, есть, например, следующий поразительный рассказ, который лучше всего и конкретнее всего объяснит нашу мысль:

«Ценные сведения об отношениях обер-прокуратуры к Св. Синоду находятся в многотомном деле синодального архива о поступках севского епископа Кирилла. Дело началось по жалобе дьячка Крестовоздвиженской церкви города Севска, Захара Афанасьева, 30 ноября 1771 г., представившего в Св. Синод доношение на своего епархиального архиерея Кирилла; дьячок жаловался, что местный епископ Кирилл своим лихоимством и взяточничеством превосходил всех светских чиновников и, презирая указы, присягу и совесть, брал громадные взятки со ставленников, несмотря на их крайнюю бедность; обирая бедных кандидатов священства, Кирилл в то же время, по словам Афанасьева, позволял проделывать то же самое и своим подчиненным, чем совершенно разорял священников. В особой ставленнической конторе, специально учрежденной для собирания своеобразных налогов с духовенства, епископ Кирилл даже вывесил собственноручное расписание таких незаконных поборов. Сняв копию с архиерейского расписания и приложив ее к своему доносу, смелый дьячок просил Св. Синод произвести следствие над преступным архиереем, утверждая, что формальное, беспристрастное следствие легко может открыть и другие противозаконные проступки Преосвященного. Высший орган церковного управления не мог оставить без всякого внимания доноса Афанасьева и потребовал от Кирилла соответствующих объяснений. Ответ епископа подтвердил справедливость почти всех показаний дьячка, так как Кирилл сознался в своих

незаконных поступках. Между тем Св. Синод, хотя и должен был признать действия севского архиерея противозаконными, но, уважая его собственное добровольное признание, соединенное с различными извинениями, 19 мая 1772 г. подписал определение, в котором все нелегальные поступки Кирилла извинил его чистосердечным признанием и тем, что будто бы в действиях епископа, бравшего со ставленников различные взятки, невозможно заподозрить никакого лихоимства, так как недозволенные поборы производились не в пользу самого Преосвященного». — Обер-прокурор Чебышев нашел определение и доклад Синода незаконными и в своем письменном предложении от 22 июня заявил синодальным членам, что он не может допустить до исполнения их неправильное постановление, так как если в синодальном определении написано, что епископ поступал «в противность законам», то и решение должно быть строго согласовано с теми же законами; извинять же виновного архиерея разными оговорками «нимало не прилично». Затянулось дело. Из перипетий его интересно, что епископ Кирилл ссылался и оправдывался, что он «следовал прежним примерам», на что Чебышев написал замечание, что «то были примеры худые». Только докладом на Высочайшее имя обер-прокурор добился посылки следственной комиссии в Севск; но и здесь «Синод принял такие особые меры, что результаты исследования в сыром виде и без всякого заключения от самой комиссии были представлены на рассмотрение в Синоде же». Замечательно, что из синодальных членов высказал полную солидарность с обер-прокурором только протоиерей гвардии Андрей Преображенский.

Дело это умерло, но не умрет мысль, что если *были*, то и *возможны* в будущем такие же факты. Поэтому все рассуждения «вообще» против обер-прокуратуры разбиваются о жестокий эмпиризм, о практическую нужду, о практические соображения, которые, конечно, светская власть держит в уме всякий раз, когда поднимается мысль об упразднении этой важной должности. «Не было бы хуже»; мы же сторонним и бесстрастным голосом скажем: *вероятно* — будет хуже». Еще заметим: все бесчисленные улучшения положения низшего духовенства, обеспечение его участи, маленькие пенсии, назначение жалованья, воспитание его дочерей, улучшения преподавания в семинариях и проч. — все движется, все идет, все задумано обер-прокуратурою. Все это так важно и все это вовсе не принято во внимание критикою обер-прокуратуры, которая носится в облаках и не ставит ноги на землю.

Талантливость и бесталанность в духовенстве

Иногда вопрос трудный, вопрос тонкий, вопрос нерешенный и, может быть, даже не решимый — вдруг, так сказать, разрешается почти в серию анекдотов. Не весело эти дни лежалось в могиле косточкам

от. Матвея Константиновского (Ржевского), интимного друга Гоголя. Сколько раз повернулись они там, когда имя его так и этак повертывалось здесь. Но в конце концов что же мы получили?? Отец Матвей — «случай». Около этого о. Матвея — «случай» Надеждина, Чернышевского, Добролюбова, Благосветлова и общее заключение: «вся *антиэстетичность* в нашей литературе шла *от семинарии*».

Так решал, эти дни, в одной распространенной газете г. Н. Энгельгардт. Ему вторили другие.

Что такое за сословные вкусы?! Духовенство живет ближе к природе, чем мы, а природа развивает поэтические вкусы. Но в духовенстве они не развились. Зато в духовенстве развились и привились государственные, административные, чиновнические способности. Нет более стойких, выносливых, последовательных, сообразительных и тонко-сообразительных людей в службе, как из семинаристов. Филарет был высокого государственного ума. Сперанский был из духовенства. Хотя нельзя не заметить, что государственные люди семинарского закала более *систематики*, чем *творцы*. Они упорядочивают строй государства, но не ведут государство к новому. Они осторожны, но не смелы. Министр из семинаристов всегда пахнет более чиновником. Петр Великий есть совершенное отрицание семинаризма; Сперанский своими учреждениями подсек порыв Петра и вообще угасил наше политическое творчество.

Что же это за явление? Мы имеем целую группу почти сословных талантов и целую группу почти сословных неспособностей, дефектов. Класть все это «случай» к «случаю» и в заключение объявлять: «таково сословие» — неосновательно. Это не значит объяснять, это значит только суммировать.

Духовенство не только не любило теоретически поэзию, оно и не дало поэтов. Оно не сложило у себя и поэтического быта, обычаев. Из жизни духовной семьи трудно написать картину привычек и нравов, какую Гончаров и Толстой нарисовали из помещичьего быта в «Обрыве», «Обломове», «Детстве и отрочестве» и «Воине и мире». Зато Обломы, Ростовы, Облонские имущественно разваливаются, а духовенство — без жалованья и определенных доходов, живя в сущности «на милостыне» — экономически крепнет. Описи за долг, продажи имущества с аукциона, вообще случаев разорения здесь совсем не бывает. Это тоже характерная черта системы и последовательности. Духовное лицо переходит с копейки на гривенник, с гривенника на рубль; но никогда с рубля на гривенник оно не перейдет. Лучший у нас государственный счетчик, Вышнеградский был из семинаристов. Но и здесь, в экономической области, они, кажется, тоже не гениальны, не творцы, а скорее — накапливатели.

Мне кажется, здесь не столько традиции сословия, сколько система образования действует. Семинарское образование замечательно последовательно, систематично, философично. Ничего подобного никогда не было в сложении гимназического образования. Оттого питомцы

духовной школы на Западе и Востоке имеют, в сущности, одинаковую структуру ума. Далее, семинарское же образование глубоко проникнуто духом покорности, безропотности и дисциплины. Оно убивает творчество; и, в конце концов, духовное сословие, столь способное в общем — есть самое у нас нетворческое и недвижимое сословие. Недвижимость и бессилие к творчеству наконец задавило его самого. Это есть одна из главных причин, что чиновники, люди без рясы, взяли в руки свои все дела духовного ведомства. Они сообщили импульс параличному. Они не отняли, а просто — пришли и начали делать. Духовный все ждет приказа; приказать сам — он родеет. Лучше уж он будет как-нибудь копаться, подкапываться, но не распорядится. Свойства крота, а не орла — присущи всему духовному сословию.

В конце концов тут действует образование. Будучи вековым, почти тысячелетним, все приблизительно в одном духе — оно наложило отпечаток и на физиономию целого сословия. Отпечаток этот имеет и свои достоинства, хотя нельзя не сознавать, что он несколько тяжел. Но откуда само это образование? Это римско-византийская система мышления, не столько разрешившая, сколько *осторожно обошедшая множество самых тягостных религиозных проблем*, волновавших за две тысячи лет человечество; примирившая, казалось бы, непримиримые, сгладившая всякие резкие углы и замазавшая самые опасные щели вкрадчивыми ласковыми словами. Все тут так мудро построено и так хрупко в действительности, что кто поработал над этою системою — станет чрезвычайно методичен в уме и осторожен в мышлении, в решениях. Тут невозможно ничего «от себя» и от ума своего решить, и в то же время этого нельзя и усвоить без очень тонкого ума. Вдохновение здесь все неминуемо перепутало бы, испортило. Вдохновение здесь не приложимо, даже не допустимо. Мне передавали рассказ из жизни знаменитого, недавно умершего профессора церковной истории в Петербургской Духовной академии: готовясь держать экзамен на степень доктора, он жил в одной квартире с бакалавром академии, из приявших монашеский чин и готового вскоре стать архиереем (теперь архиерей). Шутя он спрашивал товарища, как надо «исповедовать» ту-то и ту-то истину; тот отвечал осторожно, путаясь. «Ересь! — на десятом слове с торжеством перебивал его знаток, — это мнение было осуждено таким-то правилом такого-то собора». И о чем еще он ни спрашивал теперешнего архиерея, тот не мог ни о чем без еретичества сказать. Когда воссоединяли с православием сиро-халдеев, то чин их приятия, т. е. чин отречения от несторианской ереси и исповедания Православия, мог составить только единственно этот ученый. Все прочие спутались бы, сбились; и сами впали бы, и сиро-халдеев ввели бы в какую-нибудь из бывших или в новую ересь.

Так мудро все это построено. Между тем эта постройка падает от одного восклицания: — «Как, однако, это все не похоже на Евангелие!» Ни блудный сын, ни мытарь, ни разбойник на кресте не спаслись бы

через это «исповедание», и, следовательно, *vice versa* *, эти исповедники не пойдут вслед мытарю, грешнице, разбойнику, блудному сыну: т. е. не пойдут по испытанному пути спасения и не получают удостоверенного спасения. Схоласты это несходство своего дела с Евангелием и знают, и «спасением» не тревожатся. На самом деле «пути спасения» у нас существуют в монастырях, и среди мирян — около храмов: но нет людей менее религиозных, чем ученые «консерваторы» (консерваторами называются хранители музеев) римско-греческого вероисповедного вервия.

Между тем строй церкви не есть эти монастырские и околохрамовые мирские порывы, а все-таки академическая наука. Сиро-халдеев воссоединяет с православием в сущности профессор; даже духовные «власти» только присутствуют. Если что-нибудь надо ответить лютеранам, католикам, англиканам, то опять об этом спросят не схимника, не затворника, не монастырского старца, но, может быть, молодого, а во всяком случае очень ученого профессора. Фронт церковной мысли выражается академией. А благочестие и правда, и искренность — схимниками. Схимники — смелы, порывисты; но они говорят лицо к лицу с мирянами, в беседах, шепотами, на исповеди. Академики по свойству своей тонкой и хрупкой науки и не могут горячиться; они переступают с ноги на ногу, как лошадь с занозой. Этим объясняется совершенная неподвижность всех вообще церковных вопросов. Ну, например, возьмем старообрядчество. Кто *лично и за себя* не скажет, что в основе его лежит грустное дело исправления книг церковных,— дело, терпевшее время, и которое безвременно, бестактно и в отношении к людям верующим бесчеловечно провел Никон. За бестактность, грубость и бесчеловечие в отношении к Царю он был осужден собором; следовало его судить и осудить и за отношение к народу. Но приехавшие в Москву греки имели дипломатические соображения и поползновения около Царя, а до народа русского им дела не было. «Никона запереть в монастырь, а народ начать пороть за неповиновение Никону», вот *resumé*, которое они вынесли в 1666 году. Дело было и теперь остается испорчено. Христианское сердце говорит, что все испорченное надо поправить. Это — акт совести, которая за нераскаянность съест нас. Но академическая наука говорит, что если поправить решение одного собора, то нужно начать поправлять или можно допустить поправления и вообще постановлений всех соборов,— что невозможно. И как бы сердце ни рвалось к примирению, сколько бы совесть, сей «судья души»,— о котором столь хорошо разглагольствовал недавно один архиерей в «Моск. Ведом.» — им ни кричала: «примиришь с братом твоим», «не истязуй раба твоего», «прости им грехи их: не ведают-бо, что творят, по малости и неразумию»,— этот окрик совести заглушается, в сущности, какою-то религиозною дипломатикою.

* наоборот (*лат.*).

Самарин в одном месте замечает, что Флорентийский собор (решивший унию Востока и Запада), «с формальной стороны был одним из самых безупречных, даже что он был выше и полнее по числу представителей Церкви, на нем собравшихся, некоторых Вселенских соборов». Но тогда еще крики совести не проходили в ночных слезах, а выносились на улицу. И решение собора русскою совестью было брошено под ноги. Ибо Русь была без академий, была — народ и царь, была — схимники и правдолюбцы. В XVII, XVIII и XIX веках, когда началось ученое сохранение веры, Россия никаких бы сил и никакой возможности не имела пойти против формально-правильных флорентийских постановлений.

Так образовалось духовенство — без вдохновения, недвижимое. От Матвей Ржевский кричит Гоголю (при первой встрече): «Зачем не подходите под благословение мое? Значит, бегаєте благодати!» Он сам себе представляется каким-то мешком с благодатью, из которого она сыплется как мука. Это, можно сказать, зверски-невежественное понятие о благодати и смешение себя с Богом — очень распространено как на Западе, так и у нас. «Значит, вы Богу не хотите повиноваться», — говорят вам, если вы выказываете поползновение не повиноваться духовному лицу: — «значит, вы Бога не признаете», — отвечают вам на попытку полемизировать с явно невежественной статьей духовного журнала. Развился фетишизм лица, фетишизм фигур, фетишизм целого сословия: они все — маленькие боги, ходящие среди человекoв, — движущиеся мощи, каждая ждущая своей канонизации. Но за что? но почему? По праву тысячелетнего консерватизма. От Матвей — самый нераскаянный человек. Во всех его поступках — ни одной мысли, что может быть и он грешен. Он — Зевс, сошедший с Олимпа, «сверхчеловек», сущий нищеланец, стоящий «по ту сторону добра и зла». Но почему? Да в меру того, как он уморил свое «я», заглушил совесть, «судию своего». И как Плюшкин ходил вечно с ключами на поясе, и от Матвей носит ключи от драгоценного музея и всю цену музея переносит на себя. «Я — бог, из меня благодать сыплется», — это он и прямо говорит, а главное — косвенно. Гоголь пусть отречется от Пушкина, и похлопочет купить учебнички сыну от Матвея, чтобы тот к празднику не огорчил папашу дурными отметками: «папаша» не должен ни огорчаться, ни отречься. От Матвей всю жизнь собою доволен, это — самый самодовольный человек. «Боги — блаженны», определяли греки олимпийцев. Вот таков же и от Матвей и все бесчисленные отцы Матвеи, «блаженные» при жизни, «праведные» — по скончании.

Миру от них и тяжело. Тяжко от этой несломимой гордыни. Гордыни, источник которой — смерть сердца и память прошлого, *неуправляемого*, принцип которого — *неисправимость*. Вот уж... только не в книгах, а в лицах — староверческое «неуправление книг церковных», ставших «неисправными за ошибками переписчиков». И в духовенстве совершилось это же, но только — с сердцем. *Тип* сердца человеческого, от времен и от лица апостолов, от времен и от лица святых — все

менялся, и наконец вырос совершенно *иной*. Но *самоощущение* святости, естественно присущее апостолам и святым, «формально» катилось в веках, докатилось до наших дней и вкатилось в «не поправленное» сердце от. Матвея. Нужно бы «согласовать с подлинным», «исправить сердце», удариться о землю и заплакать об эгоизме своем, о грубости своей, о нераскаянности, о совершенном своем невежестве. Куда! Он чувствует себя, как ап. Павел, и гремит в Ржеве и Москве, как тот в Риме. Ему «поправиться» — значит все начать исправлять; значит заговорить о дипломатике в 1666 году, начать мириться с раскольниками, плакать, сесть на землю, рвать на себе волосы, посыпать голову землею и, словом, поступать как в Евангелии мытари и блудницы, как Иов на гноище, значит — идти на «путь спасения» крестного, и блудного, и покаянного. Но куда же тогда шитые мишурным шелком одежды денутся, позументы и вся краска товарная и торговая? Нет уж, пусть это мир спасается, и плачет, и кается перед «нами». Дабы исполнилось слово Евангелия: «последние — будут первыми, а первые — последними».

1901

Писатели-целители

Г. Петров, священник. *К свету*. Сборник статей. Москва, 1901.

Года три тому назад священник Г. Петров издал небольшую книжку: «Евангелие, как основа жизни». Теперь уже она вышла пятым изданием. Факт стоит чего-нибудь, и мы можем без преувеличения сказать, что священник Г. Петров замечен читателем. Это великое дело в минуты нашего многописания и засорения книжного рынка. Поле готово для автора, и теперь только одна забота должна быть у него: извлечь из сердца и ума своего возможно ценные семена. Кроме книжки, о которой мы сейчас скажем, он издал брошюрки: «Зерна добра», «Долой пьянство», «Божьи работники», «Христос Воскресе». Он идет во всех своих сочинениях прямо к больному нашему народу, запущенному, брошенному, чтобы лечить его душевные раны.

Вот в настоящей книжке слова о темном русском народе:

«Крестьяне крестят своих детей, венчают, ходят на исповедь или «на дух», как они говорят, ходят в церковь, соблюдают посты и праздники, служат панихиды, молебны просто потому, что не делать этого — «грех». А в чем этот «грех» заключается — они не знают. Стоя в церкви, они вслух между собою разговаривают. После службы заходят по пути в кабачок. Во время крестных ходов они также ведут беседы, полагая, что главное дело заключается именно в обнесении икон около деревни, а не в молитве. А если бы священник отказался ходить около деревни в праздник, то они, наверное, устроили бы бунт. Иконы они называют богами, безразлично, будут ли на них изображены Спаситель или святые. «Вишь, Боженьку принесли!» — говорит мать ребенку при входе священника с иконами. Если ребенок, играя на руках матери, ударил ее ладонью по лицу, мать, показывая ему на икону, говорит: «Не смей драться, а то Боженька-те палкой — у! у!»

В одной из записанных мною былиц рассказывается, как деревенский сход хотел продать икону Николая Чудотворца за неисполнение им данного обещания. «Продадим его», т. е. образ, «а то какой же это бог, коли он смотал» (обманул), советуются между собою крестьяне» (стр. 23—24).

И далее:

«Ужасно видеть это в народе, который справлял уже девятисотлетний юбилей своего крещения. Запущена, огрубела, одичала жизнь сотен и тысяч деревень. И пусть бы народ был глух к Божьему слову, не отзывался на добрый призыв. А то ведь религиозности в народе непечатый край. Темная деревня! Бедный народ!» (стр. 25).

Да, народ наш — Лазарь, и кто-то его подымет! Очевидно, сюда и падает задача священника. Его миссия около народа — не столько настойчиво-учительская, сурово-повелительная, сколько мягко-просветительная. Священник есть самое образованное лицо в деревне. Он выполнит свое назначение только тогда, когда с любовью войдет во весь округ деревенской жизни, в быт, обычаи, привычки, предрассудки, суеверия, в бедноту народную, в настроения семейные; и во все это понесет любовь и совет, поддержку и просвещение. Г. Петров литературно и подходит к нашей жизни с этими задачами.

Он с пастырством несет и просвещение, с любовью к Церкви, к Богу — он соединяет любовь к цивилизации, народам, миру. Ведь есть же на мировом станке челнок, который сплетает небесные нити с земными в одну ткань: это — задача религии. И служить ей можно, только не отрываясь от земного, не порывая ни одной земной нити, а только связывая ее в узел с небесною, забываемою нитью.

1901

Независимый. *Как нам жить? Этика обыденной жизни.* Второе издание. СПб., 1898.

Псевдоним едва ли удобен в книге, столь определенного содержания и столь нуждающейся в нравственном авторитете автора. Он принадлежит, однако, писателю со старой и заслуженною репутациею.

«Бывают времена,— говорит он о своей книге в заключительном слове,— когда самые простые, ясные, доступные слова и понятия приходится произносить с опаскою — и уже не перед предержавшими властями, а перед накопившимися в обществе предрассудками, и это опасение порождает малодушие и безмолвие. Никому я не льстил в этой книге, писал прямо и откровенно, не обращая внимания ни на консерваторов, ни на либералов, и теперь, расставаясь с ней и выпуская ее в свет, я, несмотря на все ее несовершенства, в первый раз, может быть, в жизни своей, пересматривая свою книгу, назначенную для обращения в публике, дерзая со вздохом облегчения повторить вслед за святым писателем: «подвигом добрым я подвизался». — Действительно, чувство добра,

порыв благожелательности проникает эту замечательно простую и замечательно нужную книгу. Есть или можно себе представить «искупительные» книги (или сочинения): автор грешил, грешил пером, и вдруг ему хочется покрыть все наделанное зло литературным подвигом; он отрывается от льстецов-критиков, от «своей» партии, и, собрав силы, среди зубовного скрежета, пишет книгу, которая нужна не ему, автору, не «его партии», а нужна человеку, ближнему, читателю. Разумеется, подобного мотива мы не можем предположить, и его не было у автора настоящей книги: но порыв, с каким подобная книга была бы написана, ее слог, ее темы — все это в высшей степени имеется в лежащей перед нами книге.

Как проводить каждый день и как сумму этих дней, что тысячи кирпичиков, сложить в некоторый храм домашнего очага — вот ее тема. Если это — храм, то тут должен жить Бог; и вот автор обращается к душе и, так сказать, религии семьи и дома; следует ряд рассуждений на высокоотвлеченные темы, выраженных удивительно понятным языком (главы — «Эгоизм и альтруизм», «Философия смирения», «Не соблазняйте детей», «Жизнь не есть страдание», «Любовь и похоть»). Далее, если семья ваша и дом есть храм определенного поклонения, то он должен непременно иметь и соответствующее убранство и устройство: и вот автор переходит к внешности, к облику нашего домашнего жития (главы — «Одежда», «Философия обстановки», «Нужна ли собственность», «Кто наши ближние», «Смысл разделения труда»). Таким образом, в книге дан как бы маленький «Домострой», как он может вырисоваться в воображении конца нашего XIX века. Везде автор стоит вне сословий и партий, ибо бесстрастно выбирает в каждом положении и состоянии все теплое и поэтичное. Прекрасна глава: «Нужна ли собственность». Да ведь «собственность» — это «труд», и вопрос о нужности ее есть вопрос о нужности труда: т. е. это есть совершенное и именно безнравственное празднословие, прикрывающееся высшею моралью или отдаленной и проблематичной политикой. Чувство собственности будет не только живо, но и горячо во всяком, в ком живо и горячо чувство семьи, чувство дома: можно быть бедняком — и понимать это, бескорыстным — и проповедовать это; это азартная, т. е. подлая, собственность; но есть собственность, как тихо льющийся и неустанный труд для ближних, т. е. святая собственность; есть собственность волка и есть собственность пчелы. Вообще отрицание ненужного (и обыкновенно фальшивого) аскетизма составляет прекрасную черту книги. Сколько умного рассеяно и в гл. XII — «Библиотека», где описано, как ее устроить и что для нее выбирать, что такое книга и какие бывают категории писателей. Мы не можем лучше определить характер и смысл всей книги, как сказав, что она посвящена какому-то радостному благочестию: она разбивает клумбы и проводит дорожки в бурьяне нашей жизни, который так дико разросся, что иногда и у иных возникает вопрос: не вырвать ли его с корнем.

I

Между дубом и клюквой есть разница в величине, но не в законах роста и не в таинственном характере роста. Кажется дуб ближе в огромной скале, около которой стоит: между тем расстояние между ними безмерно. Кажется, нет ничего общего между ним и травкой: между тем оба они одно.

Мы равнодушно следили этот год за борьбою в Париже против католических конгрегаций. Конгрегации ссылались на многие свои благодеяния, просветительные и филантропические; но Париж и парижане упорно, глухо, по-видимому, тупо продолжали требовать и добились удаления большинства их. «Что же, Франция остается без религии, без Бога?» Франция на роковой вопрос молчит и удаляет конгрегации.

„Pro illyrica lingua“, „pro germanica lingua“, „pro hungarica lingua“, „pro polonica lingua“, „pro lusitana lingua“, „pro hispanica lingua“, „pro anglica lingua“, „pro gallica lingua“ *,— помню, прочел я надписи на маленьких, обычного типа, исповедальных будочках в храме св. Петра в Риме. Признаюсь, эти надписи гораздо более поразили меня, чем все архитектурные и скульптурные работы вокруг. Что скульптура! Это — праздник, отдых, вдохновение художника, а не *работа папы*. Работа папы — вот эти «lingua illyrica», «lingua hispanica»... эти будочки. Они каждый год действуют... они действовали века.— «К нам все идут: ирландцы, испанцы, немцы, некоторые ваши русские, англичане, поляки, венгры, кроаты. Они друг друга не понимают, но *обо мне* они все знают, даже самые безграмотные, которые, кроме родного края, ничего, никаких других стран и других языков не знают. Я — как отец между ними, пастырь овец, и, поворачиваясь к каждому — говорю с ним на его языке. Они приносят мне грехи свои. Я их утешаю, наставляю, указываю путь... Блажен, кто меня слушается. Прощаю. Мое прощение и сила прощения и дальность его — бесконечны»...

В самом деле, приехав позднее в Неаполь, я там встретил польскую даму из нашей Черниговской губернии. Она приговорена к смерти, конечно, не зная этого. Почти все родные ее умерли от чахотки в воз-

* «Для иллирийского языка», «для германского языка», «для венгерского языка», «для польского языка», «для луситанского (португальского) языка», «для испанского языка», «для английского языка», «для галльского (французского) языка» (*лат.*).

расте около 35 лет, к которому она приближалась; и заботливый брат отправил ее в Италию и второй год держит здесь, высылая деньги и советуя не возвращаться на холодную родину. Мы плыли в лодочке по Байскому заливу (Байи) втроем. Она и рассказывает:

— Я недавно в Неаполе, Пост и Пасху я провела в Риме и на Фоминой неделе исповедовалась у св. Петра, и очень рада. Это главная наша годовая исповедь.

— Хороши ваши исповедники?

— Не все. Но этот был очень заботлив. Он дал такие хорошие правила, и так много разъяснил. Так утешил. Я рада. Знаете, за год все тяжелее и тяжелее делается на душе, ум запутывается. И вдруг этот свет. Вот отчего, может быть, вы и находите меня веселой: мне в самом деле весело, т. е. светло. И именно после Фоминой недели.

Может быть, она совершала теперь какой-нибудь внутренний молчаливый подвиг и, восходя по ступенькам улучшения — внутренне радовалась. Она, видимо, радовалась. Я вспомнил, тогда же в Неаполе, наше русское начинающееся «старчество». Исповедь у нас, как известно, стала совершенно формальна, и коррективом ее явилось «старчество». «Старец» — это религиозный мудрец. Он выбран с величайшим старанием и предусмотрительностью монастырскою братиею, и к нему идут все чуткие люди в уезде, в губернии, иногда в нескольких губерниях. Таков был знаменитый «старец» Амвросий в Оптиной пустыни (Калужской губ.), к которому шли из 3-х—4-х ближних губерний люди. Около него жил и питался его духовными советами известный публицист К. Н. Леонтьев, и к нему же для бесед ездили В. С. Соловьев, Ф. М. Достоевский и, если я правильно помню рассказы, Л. Н. Толстой. И теперь преемником его сидит другой старец. В Троице-Сергиевской лавре есть знаменитый старец Варнава. Сам я никогда не видал «старцев», но слышал много внушающего удивление об их советах, иногда практических, иногда даже хозяйственных, но, конечно, больше душевных. Авторитет их безмерен. К ним идут со всяческой душевной и житейской нуждой, в колебаниях — идут за советом. Сейчас — их влияние благотельно... Но это — сейчас только...

Авторитет, таинственный духовный авторитет, невидимый, неисследимый, которому нельзя помешать, нельзя его разрушить, предупредить. «Но разве,— возразят,— не этот же духовный авторитет и это же очарование у поэзии? у философии? Байрон более владел душами людей 20-х годов, чем всякий Амвросий, хотя печатал свои произведения и жил не келейно, а открыто, шумно. Он жил шумно, а действовал келейно, как духовник. Его стихи и проза проползали в дома, в кабинеты, в спальни и говорили убедительным голосом воображению и совести. Никакой знаменитый исповедник не дал столько правил и столь действительных, как Шопенгауэр. Исповедь — религиозная поэзия и философия. Она действует вне правил и притом неуловимо и на неуловимое в человеке. Она, правда, могущественна. Но она священнее и чище и обдуманнее

случайно возникающей поэзии и случайно направленной философии, и необходима для народа. Хотя не скрываем, что полезна и нам».

В Риме мне рассказывал один священник, католик, но русский: «Через *исповедь* папа знает о всяком... чуде, о каждом проявлении благодати Божией в католическом мире, от Америки до Азии. О какой-нибудь святой, юродивой, целительнице, восторженной молитвеннице, священник — не говоря о ее имени, а только о местности — сообщает своему епископу. А епископ пишет в Ватикан. Ватикан все знает и никогда не теряет надежды на небесное».

Этот шепот на ухо, эта вольная поэзия и вместе так организованная, слишком действует на души. Париж и парижане, как только смогли, потребовали удаления «конгрегаций», католических «общин». Они, мне кажется, могли бы, но не сумели сказать, что по крайней мере всемирно слышно и вразумительно:

«Нет, мы не против Бога, не против религии... Но мы чувствуем, что если дать этой глухой, безмолвной, таинственной власти поползти по земле, то через сто лет и даже скорее она начнет отнимать у родителей — детей, у мужа — жену, у друга — друга, у государства — граждан, унося лучших овец в свои таинственные выси и опустошая семью, отечество, науку, жизнь. Блажен, кто не соблазнится о ней! Мы не понимаем. Мы ремесленники и торгаши. Но и торгош имеет права на свое особое и самостоятельное существование. Жизнь наша — час наш. Дайте нам этот час провести по-своему и не томите нас вечностью и ее угрозами. Мы — не враги религии, но *эта* религия — страшна...»

Удивительная запутанность. Встреча — страшных идеализмов! Гизо, Маколей, первые умы Запада, что в сущности сказали об этом черном семени и красном семени, о революции и «клерикализме», которые отнимают друг у друга поле истории, усиливаясь засеять, засеять собою единственно сердца людские?

II

В одном из диалогов Платона Сократ отвечает на недоумения юного своего ученика:

— Что же, Сократ, неужели и для ничтожного, малого и смешного есть своя идея?

— Непременно.

— Так что, например, есть идея волоса?

— Есть.

— И есть также идеи для отрицательного? для блага, ложного?

— Непременно есть.

«Идеей» у Платона называется бескачественный и безвидный прототип вещи, по которому реальная вещь образуется. Напр., я имею в виду идею: «прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками». Тогда, раз *есть* эта идея, я могу взять мел, уголь или карандаш —

и на бумаге или на доске провести прямую линию. Но если идеи нет, то и реальной вещи, ей соответствующей, быть не может. Платон и учил, что сколько есть вещей, столько есть и идей. Что около видимого мира есть невидимый, идейный или идеальный. И в нем лежат корни не только хороших вещей, но и худых, не только больших, но и малых. Когда я читаю или вспоминаю начальное изречение нашей религии: «И сотворил Бог небо и землю», то понимаю это не только в планетном смысле, но и вижу здесь другую мысль, быть может, еще глубочайшую и чрезвычайно для человека дорогую, милую: что не только небесное сотворил Бог, ангелоподобное, чистое, святое, нет: но что Он и малое все сотворил, мелкое, ничтожное, мизерное. Согласно этому воззрению, Бог обнимает не только величавей сцены Библии, а например, и жанровая сценка, изображенная Теньером, какая-нибудь пирушка в таверне, имеет тоже свою «идею», как говорил Платон, или входит в ту «землю», которую сотворил Бог. С такой надеждой, с таким истолкованием слова Божия, будь оно в умах людей и будь оно там привычно и властительно, никогда бы не могло произойти таких фактов, как истребление испанцами перувианцев и мексиканцев, сожжение еретиков или притеснение сектантов: пусть это «волос», но и он имеет свою идею; пусть это «земля», но и она имеет над собою Творца, Покровителя и Промыслителя. Язычники и еретики, уж конечно не меньшие и не худшие, чем комары и мухи, летающие в воздухе, суть части идейных и материальных богатств Божиих, под замком у Бога: и тронуть этот замок, покуситься на что-либо из этих владений Божиих, грешно и страшно. Образуется идея полноты мира и притом равно прекрасности его в большом и малом.

Счастливая идея, если бы она была верна. Но верна ли она? Все благоприятствует ей в учении о Боге-Промыслителе систематического богословия. Но это богословие имеет несколько томов, и в третьем или пятом, где излагается учение о *грехе* и *искуплении*,— отрицается это учение о Творце и Промыслителе, излагаемое обыкновенно в первом томе. Дело в том, что части этой системы сложились на расстоянии тысячелетий. На заре истории Израиль услышал откровение: «и землю и небо создал Бог». Но в средних веках, гораздо ближе к нам и поэтому гораздо ярче для нашего ума, развилась и укрепилась идея искупительной жертвы, идея *зараженности* мира грехом. Эта идея стала чрезвычайно народной. Всякий замечал, что, зевнув — христианин часто торопится перекрестить в эту минуту раскрытый рот. Я не знал причины этого, пока не прочитал у Лекки, что это обыкновение возникло в средние века на почве того убеждения, что воздух, как и весь мир вообще, наполнен дьяволами, вечно штурмующими человека,— и что перекрестить рот во время зевка для того нужно, чтобы заградить его от беса, могущего воспользоваться минутой, влететь в человека и затем начать губить его. Рассуждения Платона о «волосе», о малом и дурном — пали; о Промысле — тоже пали. Поднялась жгучая и острая идея *вины, греха, страдания*.

Мир разделился и противоположился. «Небо» по-прежнему создано Богом; но «земля», земное, неизменное, обыкновенное, если и не прямо, то косвенно, стало признаваться тварью диавола. Люди разделились на святых и грешных, очищаемых и очищающих, прощаемых и прощающих. Скорбь и мука поползли по низам человечества. И чем они ниже пали, чем глубже их отчаяние, тем выше поднялись «прощающие», «разрешающие», «очищающие». Бедный Нитцше называет христианскую нравственность «моралью рабов» и новизну христианства находит в том, что это рабы взбунтовались против господ и основали царство «нищих духом», «кротких», «послушных». Но разве когда-нибудь в истории императорского Рима и восточных деспотий поднималась такая властная аристократия, какая выработалась у «кротких» и начала вырабатываться с самого их появления?! История и психология и механизм выработки *авторитета* и вообще *властительных* элементов в христианстве есть одна из самых великих тем, пройденных историками мимо. Как это медленно зрело, как тонко зрело! Кто не помнит, как на заре нашей истории Феодосий Печерский пришел раз на великокняжеский (в Киеве) пир. Все веселились. Вы помните начало первого действия в «Руслане и Людмиле». Глинка нам дал увидеть и услышать уголок того веселья, из которого выковалось поэтичнейшее «Слово о полку Игореве»: «А струны сами князю славу рокотаху»... И вот на такой пир ходит угодник. Он не упрекает никого. Он сел и заплакал.— «Что ты, отче?» — молвил «сварожич князь» (Сварог — языческий бог), какой-нибудь внук Красного Солнышка.

— Думаю я, братие мои, будет ли на том свете так же весело, как теперь сейчас у вас?

И пир умолк. Струны порвались. Дружина понурила головы. «Отче», в сущности, задал шекспировский вопрос:

Умереть — уснуть.

Но если сон виденья посетят?

Что за мечты на смертный сон слетят,

Когда стряхнем мы суету земную?..

И младенцы истории замолчали перед седовласым, перед древним, старым-старым вопросом. О, не диво, что было написано «Слово о полку Игореве». Но не диво ли истинное, что до конца XVIII века это чудо певческого искусства было забыто, да так полно, что сохранилось в единственном экземпляре, в каком-то харатейном списке какой-то летописи. Вот это забвение! Вот это искоренение! Вот это *censura*, своеохотная, с порывом к ней самих цензурируемых, подлинная, настоящая цензура, душевная цензура. «Исповедь», «исповедальня» у католиков и наших «старцев» есть религиозная поэзия и философия, поэзия томлений и просяний совести: но ведь в то же время она слагается в ужасную душевную цензуру, в исправление директором неудачного душевного диктата, с приказанием написать все заново. Если бы эти вечные помарки

духовника полно действовали, то, конечно, не родиться бы в Европе поэзии Байрона, философии Шопенгауэра. Они *не нужны* оказались бы, невозможны; а родившись случайно — забылись бы, как великокняжеское «Слово» было забыто от XI до XVIII века. «Ancilla theologiae», «служанка богословия», что-нибудь вроде «умозрений» Фомы Аквинского или мрачных терцинов Данта — только и возможны были бы.

Авторитет в христианстве и имеет в себе ту острую и страшную, страшную и сладкую особенность, что в нем «склоненные выи» любят склонившее их ярмо. «Рабы» обливают слезами десницу «господ» своих. Сперва — любя, а потом — уже и *невольн*о любя. Княжеский пир добровольно склонил свою голову перед старцем: но за ним частью вольно, а частью и невольнo склонила ее вся Русь. Идея «греха», «грешного мира», созданного и владеемого диаволом, ниже и ниже погружала мир в темницу, в узы самой мрачной духовной зависимости.

Петр очнулся первым:

— Не давать чернцам держать чернила по кельям. Бумагу и перья отбирать. А если кто будет что писать без спроса — нещадно бить батоги (батогами),— распорядился он.— В сущности, Петр сделал первый то, что теперь делают Франция, Италия и Испания, избавляясь от духовных конгрегаций. Общее же явление это можно формулировать, как образование царства *от мира сего* рядом с царством «не от мира сего». В последнем господствующая идея есть идея греха; греха и искупления; греха и повиновения грешных «святым». Второе царство есть просто комбинация способностей и нужд. Петр Великий как бы говорил «чернцам»:

— Хорошо это и сладко помечтать о том свете, поалкать небесного; потомиться о какой-то неведомой и верно в самом деле существующей стране. Сладко... Но слишком дорого это стоит. Напирают шведы, нужны пушки: снять колокола и перелить в пушки. На том свете разберут, а пока на *сем* свете — я судия и автократ. Папа взял два меча: его удача; но на Востоке удалось другое: я взял два меча. Там разберут. А пока — слушайте. Рога трубят, барабаны бьют: это — воинства, воинствующая Россия; она откопала и «Слово о полку Игореве»; посмотрите, как она раскинулась между океанами, не хуже папства, и не короче, не меньше. К Ватиканскому старцу идут скорбные души, но ко мне тоже идут молодые силы, энергия, таланты, золото. Даже Бонапарт унтер-офицером чуть не попал в русскую службу. Сильное — сильного тянет. А я силен. Есть царство «не от мира сего». Но я основываю именно царство «от мира сего».

III

Ультрамонтантство... А мне кажется, например, что наше «старчество» — явление не официальное, а бытовым образом возникшее и развивающееся — точно так же, как и плач Феодосия Печерского на пире

княжеском и «тетрадки чернцов» эпохи Петра Великого — есть то же самое «ультрамонтантство», или, по крайней мере, относящееся к нему так же, как душа относится к телу. У нас только «тела» ультрамонтантства не выходило, *событий* не произошло или произошли *маленькие*. У нас... Но ведь уж Некрасов сказал, что «у нас» все не удается:

...даны нам благие порывы,
А свершить ничего не дано.

Я критикую и потому слово «благие» повторяю лишь в силу того, что из песни слова не выкинешь, но своих качественных определений к изучаемому явлению не прилагаю. У нас *душа* в истории зародится, а *тела* не выйдет. Эпизоды начнутся, но в фундаментальную историю не сложатся. Всмотримся, в чем дело. Весь человек и все существо человеческое *ультрамонтанно*, — что ничего другого не значит, кроме того, что оно в корне «по ту сторону земли». Для Европы есть Рим, «по ту сторону Альп», «*ultra montes*» *; но он потому и существует и взял власть, что для целой земли есть небо, «*ultra terram*» **; и до сих пор всегда человек радовался, что он сверхземен, а почему-то теперь протестует против ультрамонтантства. Между тем это два разных имени одного явления. Всякий идеализм до известной степени «ультрамонтанен», не знает земли и границ: — идеализм, и религия, и Бог. Разве в Евангелии есть *отечество*? Евангелие началось с *разрушения Иерусалима* и призыва язычников. То же было «*ultra montes*», заоблачная даль... Языческие религии все были *местные*, племенные; жреческие и государственные должности проходились одними людьми, совмещались на одном плече, а христианство — универсально. Оно покоряет народы, но *к народам не прилепляется*. И два меча в разных руках — его закон: Меч духовный, меч светский, и последний в покорности первому.

Когда я собирался, прошлый год, в Рим, то наскоро выстриг в одном из несколькох у меня имеющихся изданий Библии последнюю страничку из евангелиста Иоанна и заложил в бумажник. «Ведь вот что я еду смотреть, и проверить и обдумать». На этой последней странице рассказывается о последнем явлении Иисуса ученикам своим при Тиверидском озере. В наших учебниках в тенденциозных целях эта страница — *последняя, заветная* — комкается. Удивительное неуважение к факту, к букве Евангелия. Наши «Иловайские» решительно и мужественно урезают, вырезают, распространяют таинственную книгу, с непременным требованием, чтобы и все «резали по-нашему, а не по-своему, а то выйдет сектантство», не замечая, что их собственный метод *частичного*, а не *целостного* истолкования Евангелия и есть именно давно

* по ту сторону гор (*лат.*).

** по ту сторону земли (*лат.*).

и везде сектантство. Но возвращусь к странице. На ней с подробностями, не оставляющими сомнения в факте и событии, рассказывается, как ученики Симон, Петр, Фома, Нафанаил, два брата Заведеевы и еще два не названных, вернулись по смерти Учителя к старому ремеслу — рыбной ловле, и вот в эту ночь ловили и ничего не поймали. Им кто-то крикнул с берега, чтобы они кинули сеть с правой стороны лодки, — и они захватили множество рыбы. Подъезжают к берегу — и видят, что кто-то стоит на нем. Петр первый узнал Учителя и, выпрыгнув из лодки, побежал к нему, а другие «тащили за собой сеть, в которой потом оказалось 153 рыбы, и сеть не прорвалась». Но вот они на берегу и собрались около Учителя, дивясь, не веря, что видят воскресшего. Повторяю — последнее свидание. Иисус говорит им: придите, пообедайте; «из учеников же никто не смел спросить Его, кто Ты, зная, что это Господь». Иисус подходит, «берет хлеб и дает им, также и рыбу». Это уже в третий раз явился Он ученикам Своим, по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: — «Симон Ионин, любишь ли ты Меня *более, чем они?*» Петр говорит Ему: — «Так Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: — «Паси агнцев Моих». Еще говорит ему другой раз: — «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: — «Паси овец Моих». Говорит ему в третий раз: — «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «любишь ли Меня?» И сказал Ему: — «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: — «Паси овец Моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь». — «Сказал же Он это», — прибавлено и «изъяснено» в Евангелии, — «давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». — «И, сказав сие, говорит ему Иисус: *иди за Мною*».

И все так совершилось, как предрек Иисус. Возвратившийся было уже к рыбной ловле после смерти Спасителя, едва ли что знавший о Риме, ничего не подозревавший о его географическом и политическом значении, — Петр теперь *спешит в Рим и здесь умирает подобно Спасителю — на кресте*. И вот на втором кресте, уже Петра, воздвигается Латеран, Ватикан, храм св. Петра. Все папство, как следствия в теореме, уже дано в этом троекратном: «паси овец Моих, паси агнцев Моих, паси овец Моих». Милоть — брошенная Елисею Илиею.

Никогда и ничего наши богословы не умели разъяснить об этих словах, твердя с упорством попугая пустые и, в сущности, нигилистические слова: «все апостолы были равны», «между ними различия во власти и достоинстве не было», «никто не выделялся, все были вместе двенадцать, и посему все епископы равны, и римский — равен калужскому». Да, в самом деле, зачем бы уж говорить, что по принципу апостольского

равенства папа не выше цареградского и московского «епископов», когда можно и следует прямо сказать, что он есть то же, что калужский или костромской архиерей. Как эти рассуждения претят русской чести! Ну, скажи (о приведенном евангельском тексте): «не понимаю». Скажи: «вижу, но не хочу согласиться». И ведь пишущие диссертацийки на эту тему хорошо, например, знают, что цареградский патриарх именовался (и, кажется, именуется) «общий учитель и отец, свыше от Бога поставленный для всех повсюду находящихся христиан, судия вселенной, имеющий права Бога» («Богословск. Вестн.», июль, 1901 г., стр. 380). А еще мы подсмеиваемся над «непогрешимостью пап». Христианство все и всегда было пирамидально, иерархично, вилось к одной главе, а не ко многим; внизу стоящим овцам казалось временами, что как они «в кучке», так «кучкообразно» и христианство. Но над ними или вдали от них, иногда в узах, но постоянно с надеждою освободиться, всегда стоял «Пастырь», который помнил брошенную милоть... Он есть в Калуге над малою братиею, в Москве над большою, и в Цареграде еще над большою. Но *удался* он только в Риме, куда был «поведен в духе» Петр и умер там, и победил Колизей, ниспроверг императоров и основал царство «не от мира сего». Его и возненавидели-то особенно сильно другие неудавшиеся «пастыри» за то собственно, что им достались только маленькие колоколенки, а не главный собор, и они, тем же духом «я» и «Я» руководимые, кричат: «маленькие», «мы — в малости», «маленьких возлюбил Христос», «не в Риме папа», а мы все «папы»... над этими заробевшими и темными сельскими попами, которых дерем за их смешные косички... Повторяю: мы, толпа, имеем на христианство воззрение толпы, стада: но оно нисколько не обязательно для пастухов и подпасков. Внизу — равенство, и должно быть равенство одинакового безгласия. Но наверху — власть. Разве же решения вселенных соборов подхватили в себе какие-нибудь вздохи народные? Нет, на них были позваны и собрались одни пасущие, которые вынесли к народу одни истины «неоспоримые и вечные».

Но где же истина? кто знает ее, мы ли, равные в безгласии, они ли, пирамидальные? Начало авторитета... «За кого Меня *принимают* люди?» — спросил однажды Иисус учеников. Они сказали, что «одни — за Илию, другие — за Иоанна». — «А вы за Кого принимаете?» — «Ты — сын Божий», — воскликнул опять ревнивый Петр. Иисус ответил: «Блажен ты, Симон, сын Ионин. И Я говорю тебе: ты Петр и на сем камне созижду церковь Мою и врата ада не одолечат ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах». Евангелие и христианство не в добродетелях состоят, которые все «приложатся»: но единственно на *фундаменте этого восклицания Петра и веры Петра*. Христианство и Христос не разъединимы. Христианство есть Христос. Разбойник спасся на кресте. Какие же добрые дела он совершил? В чем помог человечеству? Работа его *перед человечеством* — ниже нуля. Но он сказал: «Помняи меня, егда приидеши

в царствие Твое». И все. И забыть вред человечеству. Как же папе не отпускать всякий грех и всякому, кто придет и склонится и облобызает старческую его руку?! Это не для себя, не для личного самолюбия делается. Что личному самолюбию, имеющего завтра умереть старика, говорит поцелуй руки какого-нибудь мещанина из Литвы? Он его даже и не видит, поцелуя его не чувствует, ибо таких мириады. Но это нужно, как выполнение, как повторение: «Помяни меня, егда приидеши во царствие Твое»...

— Это слишком страшно,— говорит Франция, борется с ультрамонтантами, изгоняет конгрегации.

IV

Год назад я имел случай говорить с высокопоставленным духовным лицом. Я заговорил о том, как многих молитв на многие случаи жизни недостает... С живостью, какая присуща писателю, «вольной птице», я вынул одно мною полученное и очень меня растрогавшее письмо, относившееся к этой теме:

«Прочитав статью вашу, мы, женщины, сердечно благодарим вас за то, что вы очень сочувственно относитесь к трудам и страданиям нашей половины рода человеческого, которое мы переносим при рождении детей, и хлопчете, чтобы св. Церковь установила при своем богослужении особое о нас «рождающих» прошение. Но мы, слушая на сугубой актении прошение *о плодоносящих* (подчеркнуто в письме), относим это прошение,— хотя знаем, что и неправильно,— к себе, т. е. к нам, женщинам, которые беременны, которые в чреве своем носят плод, которые в это молитвенное время, быть может, мучатся родами, мучатся и очень часто умирают. Еще раз благодарим вас.

Женщины NN».

Как трогательно! Но для чего публицисту принимать эту благодарность? Не гораздо ли бы лучше ее принять Церкви? Ведь это говорит самый нравственный голос в человеке, голос больных, и, может быть, испуганных очами смерти? И как хорошо, скромно, лишь косвенно они просят молитвы о себе: «мы принимаем за молитву о себе то, что не к нам относится». «Мы очень часто умираем в это время». Есть же у них сознание этого! И какую особенную любовь себе стяжала бы Церковь, если бы, так сказать, принимала на острие молитвы последний вздох этих смиренномудрых чувств. «Мы стоим в углу и слушаем. И хотя не о нас молятся, а о пшенице, ржи и яблонях: но мы думаем, что это и о нас». И никогда-то, никогда об этом своем желании не сказали скромницы.

Иерарх, прочтя письмо, сказал: «Молитвы новые слагаются; Феодосию Углицкому не так давно, и вообще многим угодникам». Он не заметил,— так велико действие истории на индивидуальный дух — что

это есть своеобразное ультрамонтанство, в своем роде тоже «ultra Alpess» *. Молитвы есть и новые, но они все в их замкнутом круге: о себе молитвы, своим предшественникам, в пирамиде священных властей, восходящих к ап. Петру. Я же говорил о противоположном течении, о молитвах для мира, для мирских трудов, забот. Но он даже не схватил моего движения. Я продолжал:

— Из этого молитвенного охвата всей жизни какой вытек бы авторитет, если уж он нужен. Что Феофан Прокопович и его «Регламент»? Щепка, которая цела только потому, что лежит на берегу. Буря веры разнесла бы ее.

— Все у вас недвижно,— говорил потом я.— Нужда ли народная, недород, глубокая народная темь, невежество, дикие нравы и, наконец, упадок свободы, да — нам милой свободы. Где вы? Безмолвствуете. Отсутствуете. И вот — упадок авторитета, на что столько жалоб.

И в мои слова вплелись ответные тихие слова; я даже не слышал их начала, так они были тихи, я уловил только середину:

«...Связь истории, событий и обстоятельств. Не страшно, что духовенство не хочет двигаться: это можно бы возбудить. Страшнее, что оно не умеет двигаться: так давно оно уже недвижно. Вы сидели на стуле, к стулу привязанные: тогда было невозможно двигаться. И это длилось долго. Вас отвязали: казалось бы — побежал, но уже ноги отекли, застыла в них кровь, и усилия сердца не вызывают движения членов».

Он говорил тише и тише:

«Мы узники в почете. Подадут карету. Дело великое делается, основана миллионная больница, новое учреждение создано новой государственной мыслью. Не нами это начато, мы тут не думали, не трудились. Мы позваны, когда все уже готово. Проедешь по улицам города. Отслужишь службу. Скажешь слово, соответственное случаю. И опять в карету. И опять домой в этот дворец. И дворец, и мантии, и бриллианты — почетные узы. Мы вне жизни — и не более ей нужны, чем всякая обстановка».

Это меня поразило. Потому что это была истина. И видно было, что это не сейчас у него сказалось, а годами надумывалось. И по человечеству, «совоздыхающему со всякой тварью», мне стало невыразимо его жаль. Мне — малому, его — великого. Но интересность явления превозмогла волнение сердца, и я насторожил ум.

«Таинственный узник» — шептал я себе: откуда это? Что совершилось в истории? Как мало понимаем ее! Как мало размышляли о ней! Все власть эту оберегают, и нельзя затронуть ее в печати, в жизни, чтобы сейчас же вас резко не остановили. Ее возят в карете, и если не святостью, то недвижимостью и пассивностью она напоминает чудотворную икону, какую тоже возят в карете по городу. Но едва этот оберегаемый

* по ту сторону Альп (лат.).

авторитет вздумал бы сойти на улицу, пойти по улице, подойти к народу, как чрезвычайный выразился бы испуг в глазах возницы, он захлопнул бы дверцу и повез далее. «На тебя должно молиться, но тебе нельзя двигаться. Если ты двинешься — мы все остановимся».

V

Я долго не мог забыть этого иерарха. «Неудавшееся ультрамонтантство», «удавшееся ультрамонтантство»: но в основе обоих действительное *ultra terram*, «по ту сторону земли», «не от мира сего» владычество — или как *поползновение*, или как *исполнение*. «Я — победил мир». Но из-под этой «победы» мир — вырвался, и поѣс, как безрассудная и отчаявшаяся лошадь, и где ударит копытом, выскочит искра-Вольтер, искра-Байрон, искра-Гейне, или тухлая головешка-Штраус, Ренан. Этих кропотливых исследователей я называю тупыми, потому что Евангелие, конечно, есть чудная книга, книга чудес: и это видно с первого взгляда. Но что это за книга, какого рода, смысла — от разгадки этого человечество далеко. Внизу стоящие говорят: «Это нам дана книга *любви*»; сверху стоящие говорят: «Эта книга есть *основание нашей власти*», — и какой! Страдающие указывают на притчу о милостивом самарянине; но приходят судьи и говорят: «Отделю солому от зерна и сожгу солому в огне неугасимом, вечном; я — зерно, а вы — солома».

Мы сидели раз небольшим кружком и разговаривали на разные темы, частью философского, частью религиозного значения. Один из собеседников, занимающихся в настоящее время детальным изучением биографии Гоголя, рассказал о следующем факте из его жизни, от которого я тоже не мог заснуть. Гоголь в предсмертные месяцы находился в религиозном экстазе. Его окружали различные аристократические особы, кажется, ничтожного значения. Вдруг приезжает к нему человек действительно достопримечательный, отец Матвей, из Ржева, его интимный близкий друг, человек суровый, печальный, сильного душевного настроения и последовательно сухого взгляда. В том-то все и дело, что этот от. Матвей был для своего времени, может быть, столь же замечательное и сильное и яркое явление, как умиравший писатель, и только жизнь его проходила в безвестности. Но ведь есть праведники и без биографии? не попавшие в святцы? Гоголь весь вострепнулся, когда приехал нужный и любимый и почитаемый друг. Он его напутствовал. Гоголь уже от всего отрекся, от суеты, славы, литературы и, казалось, примирился с Богом. — «Нет еще примирения, — сказал ему от. Матвей, — отрекись от Пушкина и любви к нему: Пушкин был язычник и грешник».

Гоголь затрепетал. Вот когда нож вошел под ребро и дошел до сердца и остановился с вопросом. А вопрос был предсмертный, и мы не должны судить Гоголя с наших точек зрения, сытых и беззаботных,

а с точки зрения и в положении Гоголя. Признаюсь, я тоже затрепетал, узнав об этом вопросе, и вдруг вспомнил, что ведь точно такой же был в сущности предложен вопрос ап. Павлом и эллино-римскому миру: «Отрекись от Гомера, отрекись от Вергилия. Отрекайтесь от маленьких и горделивых своих республик, и склоните выю под смиренным зовом: рабы — *повинуйтесь господам своим!* И вы — не умрете, исторически и всячески, но воскреснете в новую жизнь — духовных восторгов и возбуждения».

Минута жизни Гоголя вдруг осветила для меня громадные перспективы истории, вплоть до нашего мелкого теперешнего спора о классическом образовании; а эти перспективы истории вдруг как-то сделали понятною и почти интимною загадочную, стенающую кончину Гоголя. В самом деле, ну, представим себе, что он, любитель Рима, — да какой любитель, певец Анунциаты! — буквально вместил в себя всю эллино-христианскую распрю и так конкретно, лично, поименно; и вдруг: — «Отрекись от Пушкина». Конечно, грудь его разорвалась от отчаяния.

— Да что́ от Пушкина! — подумал я про себя. Писателю писатель нужен, а есть вещи и поважнее. — «Я пришел разделить человека с *отцом его*, дочь с *матерью ее* и невестку со свекровью ее. И враги человеку *домашние его*» (Матф., 10). «Если кто приходит ко Мне, и не *возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер*, а притом и самой жизни своей — тот не может быть Моим учеником» (Лука, 14). Разве же это меньше Пушкина для множества «малых сих», которые живут невыразимою любовью и горят нежностью к этим бессильным и безмолвным крошкам-детям, к помощницам-женам, к взлелеявшим их родителям? Для чего такие ужасные жертвы? И кто же, не Бог ли Промыслитель унежил наше существование и детьми, и семьею, и, наконец, Пушкиным, и даже звонкими песнями Эллады? Где Промысел? Кто Бог?

Идея Отца и Промыслителя, всеобщего Опекуна мира, разрезалась идеей греха и искупления. Если грех — то нужна жертва. Не только Пушкин, Эллада, но и эти детишки и жены — жертва.

И мысленно я стонал, как Гоголь. Это мировой вопрос. Скажут: «отец Матвей был безумный». Но уж позвольте мне отца Матвея раздвинуть тоже во всемирную панораму: семья, дети, родительство будто бы благословлены, и не *обходно и словесно только*, а *в самом деле и чистосердечно и вдохновенно*? Но тогда отчего же никогда ни в одном духовном журнале я не прочитал не только что с любовью написанной, но хотя бы и как-нибудь написанной статьи о детях? Ни одной. Купцы и «писаки» издают детские журналы: но почему нет и не было ни одного журнала духовного, посвященного воспитанию детей? Ни одного. Вот — *дело*. И можно ли его затемнить, поправить, затушевать словесными и, я думаю, лжесловесными благословениями семье?

Я гулял полгода назад в Ватиканской библиотеке. В одной витрине под стеклом мне показали письмо Генриха VIII к Анне Болейн, и что-то насмешливое говорил библиотекарь. Но я не слушал его и думал одну думу, связанную с только что прочитанным известием, что Лев XIII очень любит посвящать свои досуги домашней фотографии, и так любит эту маленькую забаву, что в похвалу ей написал латинское стихотворение. Я думал:

«Pontifex Maximus, Первосвященник нового завета! Все радости мира вкусил ты. Но не вкусил одной и чистойшей — радости семьянина. Почему бы не войти тебе в мир, тобою управляемый, через эту особенную и особенно крепкую и глубокую радость? Исполни заповедь, данную человекам еще в раю, до грехопадения: Закон Божий, данный *всей* твари и составляющий в собственной твоей Церкви священное, признанное, вслух объявленное таинство».

— Этого я не могу.

— Но отчего? Что благословлено и притом *от тебя самого* — тем и благословись и притом *сам*. Ты даешь миру чашу и указываешь из нее пить (брак, семья), но *сам удерживаешься пить*. Ты говоришь, что это — не по существу вражды к семье, а по недосугу и занятости, которой помешала бы семья. Но ты занимаешься домашнею фотографией. Дело такое безразличное. Перемени ее на семью, тобою благословляемую, чему я перестаю верить. В чаше должно быть дурное содержание, если ты сам *никак не можешь из нее выпить?!*

— Нет, не дурное.

— Тогда выпей.

— Не могу! Не могу!

— Тогда, по крайней мере, одно из твоих *благословений есть фальшивое, и эта разгадка есть начало длинных других разгадок*. Так длинных, что надо начать новую литературу и наполнять новые библиотеки, обширнее Ватиканской...

Голова моя горела вопросами. Это все «*ultra montes*», «*ultra terram*». И Пушкин, и Гоголь, и от. Матвей, и иерарх, выхода которого из кареты и вступления в мир боится мир, и борьба с конгрегациями в Париже, и этот мысленный разговор с папою — суть разнообразные постановки одной темы. Собственно нельзя никакого второстепенного вопроса решить, включительно до назревшего сейчас вопроса о разъединении интеллигенции и духовенства, разделении науки и религии, общества и церкви, не разрешив этого вопроса о Боге и мире, в упор поставленного. Ну вот, например, Пушкин. Как нет ничего о детях написанного, и их вскармлении и их воспитании, так ведь нет ни одной статьи в духовных журналах и о поэзии Пушкина, да и вообще ни о какой поэзии, например: «Эстетические достоинства *Полтавы*, *Медного Всадника*». Да такую статью и не приняли бы в духовный журнал, сказали

бы, что «это — не духовное». Это не духовное! Так что мы-то, мир, и Бога любим и о Нем размышляем,— и, как мои корреспондентки, письмо которых я привел — усердно Богу молимся, стоя в уголке; но «они» и не понимают мира, и не любят его: ибо об этом нет свидетельств. И вот откуда дикий конь несет вперед, и «узники» таинственные, и въздыхания. И вечное «поражение» «победителей мира сего».

Небо и Земля разорвались. Земле холодно, но Небо гордо высится и думает не о примирении с Землей, а о покорении Земли.

Но я вспоминаю древнее: «Небо и Землю сотворил Господь». И земное Он сотворил; и все маленькое; и Пушкина, и детишек, и Элладу...

1901

НЕДОУМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ И ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ «ПРАВОСЛАВНО-РУССКОГО СЛОВА»

1) Насколько состоятельна мысль в фельетоне «Нов. Времени» (№ 9258), будто «идея искупительной жертвы и зараженности мира грехом» или «идея греха, грешного мира, созданного и владеемого диаволом, развилась и укрепилась только в средние века», когда и «люди разделились на святых и грешных, очищаемых и очищающих, прощаемых и прощающих» и т. д.?

2) Насколько правильно и резонно заявление, что Церковь, не имея за богослужением особой молитвы о женах, рождающих в болезнях, должна бы ввести подобное прошение за богослужением?

3) Как вообще относиться к подобному фельетонному затрагиванию и вышучиванию предметов священных и церковных?

(От «Светской женщины»)

Отв. Редакции. 1. Первая мысль есть решительная ложь. Всякий, хотя немного смотревший в Библию * и учившийся катехизису, должен знать, что весьма существенную сторону в обширной системе христианского ** Откровения составляет учение о падших ангелах, во главе с сатанюю, или диаволом. (Лук. X, 18; Иуд. 6; Апок. XII, 9), который явился таким образом противником Самого Бога и вредителем всего дела Божия, был, по выражению Спасителя, *человекоубийцею*

* В Библии уже, конечно,— говорится о *грехопадении*; и там были *очистительные, искупительные* жертвы. Но принес ягненок в храм, принес двух горлинок — и все конечно, нет язвы в сердце, долголетней муки, до паломничества в Рим и пр. День Очищения как и Юбилейный год — кончали все и всякие счеты. На Западе исповедь только *мнимо* «все прощает», а на самом деле все остается: иначе зачем бы и паломничества в Рим?! Это как в венчании: *очищает* (оно) скверну плотского единения); но ребенок зачат, родился: и после венчания читается *все та же и ровно та же* «очистительная» над роженицею и ребенком молитва, какая читается над родившею без венчания. В Библии даже факт с дочерью Лота передается бескорбно, без муки, без наказания и упрека; а в последних словах рассказа даже появляется тон радости, победы: «целые народы вышли, Моав и Амалик». Представляю себе, как бы этот факт был разрисован Фомою Аквинским и «братиею его»: чернил бы не хватило для черных строк угрозы, страха, проклятия! Возражающие мне и не поняли, что ведь не одно и то же *упомянуть* о грехе, признать *факт* греха (Библия), и — точно с ума сойти от ужаса перед грехом, трястись, *каинствовать* (средние века). *Нажима* не было до Р. X. и до Голгофы.— В. Розанов.

** Да я говорил о до-христианском Откровении.— В. Р.-в.

искони (Иоан. VIII, 44). Самое явление Мессии Сына Божия обуславливалось бытием и постоянными злыми действиями в мире дьявола *, разрушить которые Христос и пришел на землю и Своею смертью искупить и спасти зараженное грехом от дьявола человечество (Мф. I, 21, XXVI, 28; 1 Иоан. III, 8; 1 Петр. III, 18; V, 8. Рим. V, 12; Евр. II, 14, 15). В той же книге Бытия (гл. III), на которую ссылается фельетонист, сказано от лица Бога человеку: *проклята земля в делах твоих, но семя жены сотрет главу змия, и предрены печали и болезни людям, а земле — терния и волчцы*. Равно и о разделении людей на святых и грешных, прощаемых и прощающих, очень много говорится в Св. Писании, см., напр., Мф. XVIII, 18; Иоан. IX, 31; XVII, 9, 19; Деян. XXVI, 18; 2 Кор. V, 19—21; 1 Петр. V, 1, 2 **. В средние века *** это библейское учение могло быть так или иначе искажаемо, но развито оно и укреплено в Св. Писании. В догматических же системах богословия оно излагается не в конце, в 5-м т., как фантазирует фельетонист, а во всех томах, и в трактате о свойствах Божиих, и о творении мира, и о Промысле Божиим, и об искуплении.

2. Церковь молится о рождающихся в болезнях в прощении на великой эктении «о недугующих и страждущих», и нет никакой надобности в отдельном еще прощении о болящих родами, потому что тогда и другие больные, напр., чахоткою, ревматизмом и проч., пожелают отдельных о себе прощений, и из церковной эктении выйдет тогда что-то вовсе не серьезное.

3. Относиться к подобным газетным *словоизвержениям и вышучиваниям* следует так, как они того заслуживают по самому своему назначению, именно как к фельетонным фарсам. Очевидно, фельетонисту приходится измышлять разные курьезы, оригинальности и небылицы, чтобы развлечь читателя газеты и поддержать ее ложную популярность. Ведь рассматриваемый фельетон переполнен такими небылицами, кривотолками и извращениями по части Библии, истории, церковной практики и иерархии, духовной литературы и пр. Но приходится весьма глубоко сожалеть, что предметы священные и религиозные стали у нас ныне легким достоянием *фельетонного красноречия и пустомельства*, доходящего иногда до кощунства и *низкопробной публицистики* и что редакции и цензура допускают это, духовная же цензура, подчас излишне взыскательная в области духовной литературы, не имеет никакого касательства до светской печати, когда она вдается даже в явные ереси, а опровержения их эта печать не любит и преднамеренно от себя отклоняет («Православно-Русское Слово», № 1.)

Желчные мысли в желтом журнале

Я высказал простую мысль о том, как желательнее было бы, чтобы *семейство, супружество и дети* были обласканы и нежно согреты у своей груди Церковью. Насколько это обогатило бы веру новыми

* Замечательно, что *все* нижеприведенные ссылки заимствованы из *одного* Нового Завета, и ни одной не взято из Ветхого (хотя и там есть об этом, но мало и без нажима): не явно ли, что я был прав? прав *психологически*? Тогда как возражающие мне богословы, у которых есть уменность около цитат, но ни малейшей в душе не держится *религиозной мысли* — правы только нумерационно и буквоедски.— В. Р-в.

** Да все опять Новый Завет!! Тогда как я говорил о разности ощущений греха *до Христа и после Христа*.— В. Р-в.

*** Я говорил «в средние века» в смысле: «в христианстве», «у христиан».

молитвенниками и просветило бы, научило бы семью! В пример того, о чем мне мечталось, я указал, что недостает двух молитв: 1) в словах которой рождающая *мать*, испуганная болезнью и страхом возможной смерти, *лично и внутренно, у себя дома, в постели*, обращалась бы к Богу за помощью, и 2) лишнего прошения во время *литургии на эктении*, через которое отцы, братья, мужья и дети женщин молились бы, в разных возрастах и разными голосами, за свою дочь или сестру, или супругу, или мать в такой великий и исключительный момент их существования. Ведь тут проходит центр семейной жизни, «пуповина» семьи. Капните сюда молитву,— и сколько лишних сердец вы привлечете в храм!

Много частных писем получил я по поводу этой мысли, из которых одно коллективное, очень трогательное письмо, говорило, что «мы, женщины, *относим* к себе молитву о плодоносящих, хотя и знаем, что она *не к нам относится*». Одно письмо, из Финляндии, говорило, что «рождающие» входят в общий состав тех, о ком на эктении говорится как о «страждущих и недугующих». Но моя мысль была не о медицинской стороне дела, не о механической боли: ибо рождение есть такой миг, который невозможно же смешать с другими болезнями. И даже грубая, нерелигиозная наука отнюдь не рассматривает этот процесс как болезнь, как отступление от нормы и нарушение здоровья, а как вполне нормальный и здоровый момент, но (тут — дело религии) какой-то мистический и странный, подходящий к краю бездн между жизнью и смертью. Для такой минуты нужна молитва — сказал я. Что я не был неосторожен и неправ, показала статья архимандрита Никодима в «Церковном Вестнике» (академический журнал), где почтенный автор серьезно взвешивает и оценивает мою мысль. Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность за внимание к предмету, т. е. за уважение к женщинам, почтенного монаха-автора. В статье его есть трогательные по заботливости места, напр., где он говорит о состоянии «плодоношения», как о *праведном и должном подвиге* супруги. Да и конечно: *в чем же назначение женщины? для этого* была сотворена Богом! — Совершенно иначе отнеслась к моей мысли желчная редакция «Православно-Русского Слова» (год 1-й, № 1, стр. 84—85), органа богатого «Петербург. Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви». Он не только отверг мой вопрос, но и зовет на меня кару за самое предложение вопроса.

Между тем, что за «ересь» попросить молитвы для рождающих? Ведь молимся же мы *раздельно, подробно и поименно*: 1) «о всем воинстве», 2) «о всей палате» и 3) «о еже пособити и покорити под ноzi нам всякого врага и супостата» — последнее даже когда войны не бывает? А рождение — вечный момент, через него произошел весь русский народ. И можно ли сравнить его с ревматизмом?! Какая механика взгляда, какое отсутствие поэзии, мысли и мягкости и нежности в воззрении на супруг и матерей! Но напомним гордым редактором, подписа-

вшим книжку: «Редакторы: протоиерей Александр Дернов, священник Павел Лахотский, Александр Надеждин»,— что о рождении и о трудах бедных матерей в Св. Писании более сказано глубоких и любящих слов, чем о всех редакторах в мире, в том числе и о редакторах, выставленных «Обществом распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви» (без передышки не произнесешь пышного титула). Таким образом, не могут не почувствовать из этого жесткого ответа семьянины всей России, что в то время, когда они Богом так возлюблены, вот «Обществом распространения религ.-нрав. просвещения в духе православной церкви» они не весьма возлюблены.

Редакция сетует, что «светские издания преднамеренно отклоняют» статьи духовных лиц, приносимые в них как «опровержения». Но это вовсе не по значительности «опровержений», а по их бессодержательности, какая сказала, напр., в произведенном ответе редакции «Православно-Русского Слова»,— ответе, который я не могу, как автор проектируемой мысли о молитве, не назвать бурятско-языческим ответом; и, имея в руках журнал, ни за что я не поместил бы в нем таких бесчеловечно грубых в отношении жен и матерей слов. Редакторы спрашивают: зачем я затрагиваю, с вопросом о роженицах, «предметы священные и церковные». Но ведь моя мысль заключается в соединении *благословенного* Богом, след. «священного» рождения, с «церковью»: а редакция, расторгая их, уравнивая рождение с ревматизмом, именно разделяет «священное» и «церковь». Но я, мирянин — тоже *член Церкви*, и имею *право вопроса и просьбы*. Мы, миряне — не рабы Церкви, а члены ее; а между тем даже и рабам не отказан и не заказан вопрос, опрос и просьбы. Пора покончить с этими претензиями на отождествление духовенства с Церковью, а то так и прямо с Богом, и прекратить окрики на всякое замечание относительно духовенства (ибо ведь от его воли зависит вставление лишней молитвы в прошения, примеры чего есть и мною были в печати указаны): «а, вы отпадаете от Бога!» Господь с вами: я молюсь Богу, но на ваши недостатки молиться не хочу.

Но оставим споры. Для русских семьянинок я приведу утешительное слово из вечной Библии: «И сказал Агари Ангел Господень: вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь имя ему Измаил; ибо услышал Господь страдание твое». Это было в пустыне. Агарь обернулась, удивленная голосом: «И нарекла Агарь Господа, который говорил с ней, сим именем: Ты *Бог — видящий меня*». «Ибо,— сказала она,— точно я видела здесь *вслед Видящего меня*».

Какие таинственные оглядывания друг на друга Бога и беременной женщины! Нет,— это не великий час, а великие девять месяцев. И собственно тревожит меня не одна молитва на разрешение от бремени, а целый цикл молитв, и особенные, с глубиной и нежностью придуманные, «чины служб» церковных, которые ответили бы и частью выразили всю необозримую линию вздохов, надежд, безотчетной материнской радости в течение этих девяти месяцев. Часто я посещаю храмы; почти

одни женщины в них и молятся; по крайней мере три четверти. Жизнь женщины на три четверти протекает именно в материнстве; да ведь мы так все и формулируем: «*быть матерью — призвание женщины*». Можно ли же сказать о них: «материнство — это все равно как чахотка или ревматизм; о каждом не намолитесь, мы — сразу о всех». Нет, это отдельное; нет, это особое; нет, это великое. Со мной согласен и от. архимандрит Никодим («Церк. Вестн.»), становлюсь под его защиту. Лахотский, Дернов и Надеждин явно не правы. Но я разовью мечту свою: что же эти $\frac{3}{4}$ из всего состава молящихся, женщины, находят о $\frac{3}{4}$ своей жизни и о главном своем жизненным и мировом назначении в круге существующих церковных молитв? Ничего. Ни слова! А между тем приведенные слова из Библии указывали бы и в богослужениях повторить эти ангельские им приветы: ибо Ангела Бог послал к Агари; а Бог Ангела посылает туда, куда нужно, с словом, с каким нужно. И вот приведенную речь Ангела к Агари и Агари о Боге можно было бы развить, раздвинуть, как веточку в полный дуб — в целый чин богослужения, внимая которому постоянная посетительница храма как почувствовала бы себя в нем согретою! и под влиянием, таинственным и неисследимым, слышимых в храме слов, до нее специально относящихся, я думаю, русская *мать вынашивала бы детей лучшими нравственно и физически!* Ибо рано, еще с чрева матери, начинаются наши пороки; а начинаются здесь пороки — могли бы начаться и добродетели. Недаром Библию и дал нам народ, матери которого уже в беременности своей читали и слушали подобные религиозные ласки себе, и утешения, и приветы, и глубокую о себе религиозную фило-софию *.

* Применительно к высказываемой в этой статье мысли должно заметить следующее. В христианском браке, цель которого заключается преимущественно в реализации земного поприща, в благословенном рождении и по закону Господню воспитании детей, одну из важных сторон занимает материнство. Мать детей — это великое слово: «ее святое назначение наше гений из пелен принять, направить душу поколения...», «сколько горьких слез украдкой» матери приходится проливать над колыбелью любимого малютки. «Одни я в мире подсмотрел святые, искренние слезы: то слезы бедных матерей». «Родная матушка плачет, что река течет» (народная п.). Мать, истинная мать, есть первая на земле заступница детей своих после Бога Вышнего и Святых его: «*Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя*» (Исаия 49, 15), говорит Господь Бог. «Стара», мать Остапа и Андрея, всю ночь целиком, последнюю ночь, одна сидит у изголовья детей своих, заливаясь горячими слезами, и думает думушку, что больше уже не увидит милых сердцу ее детей. Какою великою радостью радуется «родившая» (сравни. Еванг. Иоанн. 16, 21) и как невыразимо радостно «плодоносящая» передает своей подруге весть: (младенец «вызграл» (сравни. Еванг. Лук. 1, 41), «поворошился». В Священном Писании живыми, пластичными чертами изображается пребывание младенца в материнском лоне: «*И я в утробе матерней образовался в плоть в девятимесячное время, сущившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном*» (Премудр. Солом. 7, 2); «*Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей... Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зароюсь мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было*» (Псал. 138, 13, 15—16). Вот какое значение имеет материнство и вообще «плодоношение» матерей в особенности. Мысль о молитве за «плодоносящих» и «рождающих» матерей поэтому согласна с богооткровенным учением.

Примечание цензора архимандрита Мефодия.

Вот чего не понимают редакторы «Православно-Русского Слова». И я пользуюсь правом мирянина сказать им некоторое наставление. Легко сказать: «не надобно». Нет, нам — мирянам — «надобно», а вы со своей стороны подумайте, как исполнить то, что нам «надобно». Так и жила и созидалась Церковь взаимодействием мира и клира. Вы печете, а подаете — нам. И уж нам судить, *как* и *что́* вы испекли. У нас тоже в теле — душа, а не солома, как это вам, по-видимому, представляется.

1901—1903

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «НОВОГО ПУТИ»

Милостивый Государь!
Господин Редактор!

В полемике с журналом «Православно-Русское Слово», издаваемым «Обществом распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной церкви», на стр. 212—218 октябрьской книжки журнала «Новый путь», г. В. Розанов затронул в нескольких выражениях самое Общество. Эти выражения, безотносительно к предмету спора, которого я не буду касаться, побуждают меня просить вас напечатать в ближайшей книжке вашего издания несколько слов об Обществе.

В. Розанов называет журнал «Православно-Русское Слово» органом «богато-го» Общества. Богат Бог милостью: ею Господь обогатил и Общество религиозно-нравственного просвещения. Оно возникло 22 года тому назад по инициативе нескольких столичных священников и ими на своих плечах выношено; приняло же грандиозные размеры силою того взаимодействия, которое установилось в нем между духовными и светскими лицами, входящими в состав его. За 22 года существования Общества не было в Петербурге сколько-нибудь выдающегося священника, который бы не участвовал в той или другой отрасли его деятельности. По его примеру учреждены такие же общества в Киеве и на днях в Варшаве, готовятся к открытию и в других городах России. Оно богато любовью к религиозно-нравственному просвещению народа, бескорыстною работой и одушевлением в осуществлении намеченных ему целей. Вещественное же богатство Общества ежегодно все, без остатка, идет на расширение религиозно-просветительной деятельности, так что в этом отношении его справедливо можно назвать нищим, многих богатящим.

О названии Общества г. Розанов пишет: «без передышки не произнесешь пышного титула». Однако и г. Розанов не будет спорить, что титул, пусть и длинный, точно выражает цель и характер деятельности Общества, а это и имелось в виду, когда учреждалось Общество в отличие и отчасти противовес сектантскому обществу, существовавшему в Петербурге в 70-х годах и потом закрытому. Смеяться над титулом выросшего в значительную величину Общества не то же ли, что смеяться над неблагозвучным (на иной взгляд) именем хорошего человека?

Наконец, в увлечении полемикой, г. Розанов выражение своего противника из журнала «Православно-Русское Слово» относит ко всему Обществу и пишет, что «семьяники всей России не могут не почувствовать, что в то время, как они Богом так возлюблены, вот Обществом распространения религиозно-нравственного просвещения они не весьма возлюблены». Зачем было г. Роза-

нову взводить такое обвинение на целое Общество? И допускать такие ошибки поспешного обобщения не значит ли рыть пропасть между собою и значительным кругом лиц духовных и светских, входящих в состав Общества, разнообразно заявившего себя работой для укрепления русской семьи в течение немалого числа лет?

Примите и пр.

Председатель Совета Общества
Протоиерей *Ф. Орнатский*.

**Ответ
председателю совета
«Общества распространения
религиозно-нравственного
просвещения
в духе православной церкви»
о. Ф. Орнатскому**

Я удивлен, что одно только слово: «богатое общество», употребленное в статье моей об означенном Обществе,— вызвало целое письмо его Председателя, почти жалующееся «на бедность». Такая впечатлительность именно к данному пункту не может не показаться подозрительною; и я, из жизненного своего опыта, могу привести на память себе и в объяснение письма о. Ф. Орнатского только случаи, когда какая-нибудь фирма вдруг начинает усиленно жаловаться «на плохие нынче доходы», и это всегда есть признак, что торговля ее идет превосходно. Припоминаю также, с каким трудом Плюшкин отыскал «лоскуточек бумажки», чтобы написать записочку: между тем амбары и дом его были полны богатства.

Перейду к делу и скажу действительно некоторые упреки Обществу и руководящему им Председателю, насколько от последнего зависит направление Общества.

О «богатстве» его я не имел бы причин упомянуть, если бы вот уже не первый год до меня не доносились с разных сторон слухи, что Общество это совершенно материализировалось и не имеет в себе ничего «духовного». Известно, что на кладбище хоронят мертвецов; туда приходят горожане со слезами и скорбью. Но из чрезмерного соперничества, с каким «батюшки» стараются получить «штатное место» при кладбищенской церкви, нельзя не заключить, что для них кладбище открыто третьею своею стороною — доходною: «Людям — слезы, покойникам — вечная жизнь, а нам — доходы». Я был поражен, несколько лет назад, хороня дочку на Смоленском кладбище, когда, раньше чем впустить гробик в ворота «богатого» кладбища, мне сказал

сторож: «пожалуйста в контору» (кажется, чтобы взять пропуск). И на вопрос мой:

— А где контора?

Отвечал:

— В церкви.

Шла литургия, церковь была отворена. Я вошел и не могу передать изумления, с каким (в самом храме) прочел вывеску-надпись (огромными буквами) на дверях (помнится, на западной стене):

«КОНТОРА».

Это так же меня поразило, как лет тридцать назад, когда, еще будучи гимназистом, я раз оперся (стоя на улице) на решетку кладбища же и, рассеянно смотря на памятники могил, вдруг увидел доску-вывеску, прислоненную к стене церковной, где были двухвершковыми буквами обозначены *rigix-fixes* *:

«За место для покойника в первом разряде столько-то.

Во втором — столько-то.

В третьем — столько-то». И пр.

Известно, что гимназисты бывают идеалисты. Не могу передать, до чего изумлен и испуган я был этой доской. А я-то думал, что «батюшки» с нами плачут около гроба. «Надгробные рыдания», «Небесного круга»... А на деле —

«КОНТОРА».

И такой смешок меня теперь разбирает, когда какой-нибудь этак «конторский человек» проводит в «духовном журнальце» идею, что вот: 1) философы нынче все материалисты; 2) появилась даже теория экономического материализма, вроде марксизма, которая все явления истории пытается объяснить экономической подпочвой; или что вот 3) «Новый Путь» проповедует не забывать земное, между тем как Христос нам указал, и религия извечно проповедует, что следует помышлять только о духовном, о небесном, о горнем... «Экономический материализм»: да неужели *серьезно* выражают его полунисице студенты, толкующие, по Марксу, о немецких богатствах, а не г. «духовные», которые ухитрились даже в центре гробов, даже перед рыдающими о покойниках родителями, поставить

«КОНТОРУ».

С такими-то житейскими впечатлениями и надуманными думами не мог я не относиться скептически и к длиннотитульному Обществу, особенно когда отовсюду начал слышать о миллионных его капиталах. Конечно, дай, Господи, каждому «капитальца». И не сомневаюсь, что

* постоянная цена (*фр.*).

«падают крохи» от миллионов и на «сирот». Не сомневаюсь, вообще, что все тут ведется чисто, отчетно (на то ведь и «контора», на то есть и наука бухгалтерия): но только не понимаю, где тут «духовное», «небесное», «горнее»? Были у нас «недороды»; пух народ от голодного тифа; так ведь не то, что пошли, а побежали во множестве русские люди на помощь голодным. Весьма буду обязан г. Председателю «Общества», если он расскажет, как в голодный год он командировал, положим, в Орловскую губернию, или в другую какую «пухнущую», таких-то и таких-то протоиереев, вручив им тысячи из капиталов и сказав: «не мы собрали, а нам собрали, идите и раздавайте народу, что принадлежит народу». Помню, в два разные голодные года, товарищи мои и я откладывали на голодающих то часть учительского, то часть контрольного (на службе, в контроле) жалованья; не могу забыть доброй немки и лютеранки, у нас служившей бонною, которая, услышав от пастора в кирке, что в России голод и добрые люди пусть пожертвуют, стала из десятирублевого своего жалованья, коего значительную часть высылала старухе матери, отчислять некоторую дольку русским мужикам. Случай так меня поразил и удивил, что с того времени, помню, во мне и совершилось сердечное «примирение церквей» и признание Лютера как бы своим, русским, родным проповедником. Ибо он (косвенно и посредственно) дал русскому хлеба.

Но я все уклоняюсь. Вернусь к «Обществу». Что же оно сделало «духовного», милосердного, нужного, исключительного, что соответствовало бы исключительным его силам (все видное петербургское духовенство), авторитету и богатствам? Если оно устраивало приюты и богадельни — то это доступно средствам, разуму и сердоболию каждого купца. Да и не дико ли было бы даже этого не сделать: ведь явно жертвующие жертвовали Обществу не «для его прекрасных глаз», а именно *на* благотворение. Тут «Общество» было только казначеем чужих денег. Но что виднейшее и довольно могущественное петербургское духовенство сделало не в пределах этого графарета, повторяю — доступного каждому купцу, а оригинального, нового, в чем сказалось бы, поэтично и мечтательно, его благое и мудрое сердце? Имея капиталы, «ворочая капиталами», хоть приложило ли оно старание о придании благочестивого, тихого и скромного вида кладбищам нашим? Дабы это был не «дом торговли», а обитель дорогих наших покойников под сенью Вечного Отца? Да, вот если бы я увидел не только протоиереев, посланных в голодный год устраивать столовые голодным, а и других еще протоиереев, в летний вечер сажающих цветы на свежих могилках ими возлюбленных покойников (ибо ведь оттого всенародно мы и зовем священников «батюшками», что имеем иллюзию, что каждый-то священник есть «отец родной» всем людям) ...— было бы другое дело! «Как,— скажет о. Ф. Орнатский,— чтобы протоиерей, в камиллавке, с наперстным крестом, начал сам и своеручно сажать цветы на могиле: не соответствует сану». И вспоминается мне из гр. А. Толстого, как он,

«суетный поэт» (думал тоже все о «земном»), обрисовал вообще человеческую гордость:

Ходит, Спесь, надуваючись,
С боку на бок переваливаясь,
Ростом-то Спесь аршин с четвертью,
Шапка-то на нем во целу сажень,
Пузо-то его все в жемчуге
Сзади-то у него раззолочено.

Идет, Спесь, видит: на небе радуга;
Повернул Спесь во другую сторону:
«Не пригоже-де мне нагибаться».

Невозможно не подумать с глубокой грустью, что все «устройство покойника» у нас взяли в свои руки «Бюро похоронных процессий», учреждения чисто торговые и даже иноверные (сужу по одному уездному, в Орловской губернии, городу, где разные принадлежности похоронной процессии, между прочим, и кресты, выделяются евреями ремесленниками). Между тем не дело ли это духовенства, именно как корпорации, как сословия, войти в каждый дом, где есть покойник, и с момента, как закрылись его очи, и до момента, как закроется он землею, взять его в свои любящие, «отцовско-материнские» руки. Пусть бы монашенки обмывали его и читали — добровольно! у всякого! *безмездно* даже у богачей! — псалтирь над ним. Поверьте, не возьмите вы тут (в трагическую минуту) денег — вдесятеро дадут вам в другой раз: ибо увидят в вас отцов родных, а не «контору» и «спесь», как теперь слишком часто. Итак, обмыв и прочитав псалтирь, пусть церковь и одевала бы покойника в церковную рубашечку; пусть ткут таковые опять же монашенки, и опять же бесплатно (после все вознаградится!); и своим способом, своими средствами пусть отвезет к могилке, опять даровой, и зарыет своими руками, да еще и насадит белых роз на могилке, а в год хотя бы раз, в день ангела, отслужит по каждому, по нищем, по безродном, по забытом, панихидку на могиле — и все бесплатно, о каждом; а уж мы, миряне, хором подняли бы на руки такое *родное себе* духовенство!

Но Общество-Длинный-Титул умеет только повторять (очевидно, механически, т. е. без сердечного участия) завещанное от веков, т. е. повертывать стереоскоп затвердевших форм. Будь у него другой председатель, *с живою личностью в себе*, и он указал бы ему все то, на что здесь указываю я, третий человек. Не в словах наше оправдание, а в делах. В «слове ходит» (хлыстовский термин) о. Ф. Орнатский хорошо; а вот дела... переходят в многоточие. Казенно, конторски, трафаретно; «дух Божий» еще не пронеслся над «бездной», т. е. над множеством «дел» Длинно-Заглавного-Общества. Без иронии изменяю его титул: просто рука устает прописывать «имя рек» его.

В. Розанов

В уютной небольшой гостиной нас собралось несколько человек, и все мы живо заговорили на тему, о которой только что выслушали блестящую лекцию. Ее читал молодой богослов, который, пройдя университет, поступил потом вольным слушателем в духовную академию и ведет теперь образ жизни, который всего лучше можно охарактеризовать, назвав «светскою миссией». Странное, казалось бы, явление, а между тем — давно необходимое. Около Церкви, при сколько-нибудь сносном развитии общества, не могут не группироваться люди совершенно частные, которые и помогают, и критикуют то вслух, то интимно, и в конце концов не могут не действовать на ход и направление церковных дел и особенно мыслей. Почему уже Хомякова не назвать деятелем такой «светской миссии»? почему Рачинский, с его преданностью Церкви, с многолетним трудом на ее пользу, не есть уже такой «светской и неофициальный миссионер»? Но что принадлежит, как право, Хомякову и Рачинскому, принадлежит мне и решительно каждому моему читателю.

Лекция была трогательна по одушевлению. Я знал этого молодого богослова, «до слез» (если позволительно выразиться) преданного Церкви: но вот что ударило меня в его лекции. Как и многие славянофилы (хотя совершенно самостоятельно), он повторил — *«ex Oriente lux»* *. Германские и романские страны он представил нам религиозно умершими. У него точно зеленые огоньки бегали в глазах, когда он говорил о протестантстве и папстве. «Все от Руси! Все от нас». Я улыбался. Но я был и сам тронут чуть не до слез, когда вдруг, встав и что-то процитировав, чуть не целую страницу из одного беллетриста-народника, еще живого, но уже много лет замолчавшего в тягостном и неисцелимом недуге, он сказал:

— Но вот в чем дело. Русская интеллигенция имеет за собою бесспорный подвиг. Кто бежал к голодающему народу, кто бежал к страждущему народу? Кто его лечил? и в годы трудные и тяжелые, в годы иногда страшные, кто предстательствовал за него? Все это есть не хвастливый подвиг, а вековое дело той бесформенной и казалось бы «не-путевой» интеллигенции, которую многие склонны упрекать,

* с Востока свет (лат.).

как не имеющую в себе Бога, религии. Я говорю менее о людях литературных и более о людях трудовых, но не обогаю и первых. В наших беллетристах-народниках прошло столько любви к народу, у них есть страницы с таким светом совести в себе, что я, богослов, не знаю высших и чистейших страниц в своей специальной литературе, которою занимался в Академии. В этом и пункт, что интеллигенция бесспорно имеет в себе Бога, хотя и не говорит о Нем, стыдливо Его таит: и что, без имени Божия на устах, она сделала дела, которых далеко не сделали в том количестве и с тем же рвением люди с именем Божиим на устах. И (он как-то вспылил и запутался) дело в том, что эту интеллигенцию уже невозможно покорить, ее поздно покорять, ее никто не вправе издали и высокомерно поманить перстом к вере; а можно только примириться с нею, и притом признав весь ее подвиг и всю ее идеалистическую, трудовую и мыслительную, правду».

И он сел. И, как я постоянно его наблюдал не во время речи, вдруг потускнел в выражении глаз и лица. Теперь что бы ни говорили вокруг него, даже по поводу его чтения, он все бы только полуслышал до новой своей речи, всегда пылкой и иногда неизъяснимо-прекрасной. «*Non, signore, io provo improvvisatore*»... вспоминал я не раз из «Египетских ночей» Пушкина, стараясь объяснить себе его натуру и талант, столь глубоко не диалектический, иногда прямо не умный, и столь всегда вдохновенный.

Мы были возбуждены его чтением. И несколько юристов, писателей, духовных лиц и чиновников собрались еще раз обсудить и перерешить ту же тему. Послышались разные голоса:

— Действительно, момент победы ни для одной, ни для другой стороны невозможен. Действительно — это мировой вопрос, ибо не у нас только, но и на Западе, до известной степени в целой нашей цивилизации глубокая, органическая трещина разделила культурное общество и Церковь. И этим тревожится не столько общество, сколько Церковь. Протестантские, католические страны и, наконец, наше Православие равно объемлются тревогою, что приходящие к службе в храме Божиим все редуют и редуют, и что они не только количественно, но, главное, качественно понижаются. Вспомним вешнее слово К. Н. Леонтьева, смертельного врага интеллигенции и самого принципа интеллигентности: «везде было и всегда будет, что народ раньше или позже идет за интеллигенциею: распинает ее — но потом все-таки за нею же идет». Отсюда-то и вытекала такая скорбь Леонтьева, который видел, что его дело и идеал, дело и идеал византийской Москвы, не имеет будущего, проиграно по всеобщему отвращению интеллигенции и культуры русской к этому идеалу. Перенесем это предвидение Леонтьева на дела духовные, религиозные — и мы почувствуем тоску и тревогу Леонтьева. Я много лет каждое воскресенье бывал в церкви. Бываю здесь в Петербурге. Бывал в Москве. Бывал в провинции. Нигде чиновник, судья, моряк, генерал, журналист, доктор, общественный деятель

не стоит среди народа и не молится усердно. Везде — одни простолюдины. Простолюдины и еще в самом небольшом числе образованные, полуобразованные женщины. Это гораздо более жутко, чем книги Штрауса и Ренана. И Ренана можно было опровергнуть, а рассказываемого мною факта ни опровергнуть, ни вообще как-нибудь победить нельзя, и при виде его по душе верующего проходит тоска... Я вспоминаю слова Леонтьева и душа моя наполняется самыми тяжелыми предчувствиями.

— Вся сила лекции, нами выслушанной, лежит в том, что она показала *raison d'être* * этого факта. До сих пор над ним ругались, его порицали, впрочем одни богословы, при полном и несколько пренебрежительном молчании интеллигенции. Лектор нам показал, что за стенами церковными, в этой интеллигенции, есть одушевление, идеал, что это вовсе не проходимцы идейные, не ничто. Идеализм встретился с идеализмом же, бросились грудь с грудью. Общество наше глубоко реформировалось за эти двадцать лет. В нем нет и помину о Дарвине и Спенсере. Я называю имена для краткости, хотя не в именах дело. О прежнем бездушном взгляде на природу нет и помина. Общество вполне религиозно, в нем выросла религия; в то же время оно, однако, и внецерковно, даже хуже. В этом и мука. Поэтому когда церковные писатели в старом полемическом задоре гремят против материализма и позитивизма общества, науки, литературы, — они не попадают в цель.

— Последние допеваются песни, — я говорю о религиозной против интеллигенции полемике. В духовенстве более и более пробуждается сознание, подымаются светлые умы, которые не подчиняются положению дела, а хотят господствовать над положением дела. Еще вчерашние дни собственной необдуманной полемике ими считаются как положительный проигрыш дела. Они теперь хотят говорить, думать, слушать. Они говорят интеллигенции: «Что такое, мы ничего не разберем? Вы от нас уходите, мы вас ругали; но тут есть что-то худшее, чем лень и безверие: в вас есть негодование; а когда слушатель негодует, в этом не всегда бывает он виноват, а бывает часто виноват и проповедник. Столп нашего утверждения — связанность человека с Богом. Это — религия. Мы ее служители. Камень под нами вечен и не разрушим, но мы — относительны, несовершенны, слабы. Не трогайте Бога и говорите о нас». Это изменяет положение дела. Это сразу опускает копьё между лагерями и открывает почву для мысли и суждения.

Встал юрист, белокурый и с сердитым лицом, прошедший длинный путь гимназии, гвардейской службы, вольного слушательничества в университете, жизни в Толстовской колонии, переведший «Толкования на Апокалипсис» Ньютона, неизданные «по независящим обстоятельствам», и заговорил отрывисто:

* смысл (фр.).

— Много говорилось на лекции блестящего, но как-то не дельного. Нам показывали небесные видения, рисовали воздушные перспективы. Но все это как *fata-morgana* в степи. Дело проще. Я верующий, но с кое-какими недоумениями. Я много блуждал в вере туда и сюда, но отчего? Да куда мне было пойти?! Очень красиво было понятие, развитое на заседании, что «Церковь есть тело Христово, которое безгрешно и неосяземо, что она поэтому везде и ни в каком определенном месте», что это есть «вечно осуществляемое и никогда не завершенное». Прекрасно. Восторгался, упоялся, слушаю. Но позвольте, куда же мне, однако, конкретно пойти с моим конкретным сомнением? Позвольте мне спуститься на землю и стать на обыкновенные, а не на мечтательные ноги. Задавая себе вопрос о Церкви — я нахожу догматы ее, нахожу ее службы и обряды; но я раскрываю катехизис Филарета и, прочитав в нем: «церковь есть *общество верующих*, соединенных единством догматов и таинств», оглядываюсь кругом и спрашиваю: — Ну, а где же, однако, самое это «общество»? Закваска для теста есть: это — учение Христово, догматы, таинства; есть хлебопекарь — духовная иерархия; но нет муки — и нельзя замесить теста и испечь хлеб. Мука — это верующие, как общество организованное около храма. Нам, интеллигенции, предлагается «мириться с Церковью», «пойти в Церковь». Ну, вот, я интеллигент. Но я не знаю, с кем мне мириться и куда мне пойти, потому что — по Филаретову же определению — Церкви... ее вовсе *нет налицо!*.. *Общины* христианской нет. *Прихода* нет.

Мы были поражены. Духовные лица смущены. Оратор продолжал:

— Мы странствуем от храма к храму и заходим в храм, а, пожалуй, и не заходим в него, как... на почту отдать письмо или в булочную взять булку. Так странствуют бедуины по пустыне и подходят к колодезю, когда хочется пить, а не хочется — проходят мимо. У меня нет *своей* почты, *да мне это и не нужно*. Но храм есть *душевное*, и я также не могу иметь «вообще там где-то» храм, как не могу иметь «вообще там где-то» постель, обед, жену и комнату. Это странствование христиан без прикрепления к храму или без прикрепления к ним храма и вызвало то, что в конце концов храмы очутились на одном берегу мировой реки и довольно пусты, а народ очутился на другом берегу той же реки, и уж не взыщите, если не идет в храм, в который его не позвали, или, пожалуй, и зовут, даже очень зовут, но в качестве гостя-*посетителя*. «Нет *религиозной* жизни», жалуются... Да нет *приходской* жизни!» И взгляните: «религиозная»-то жизнь есть в обществе, и даже горяча, но она стала душевною, внутреннею, *комнатною*, а не *храмовою*, потому что в храме, как и всяком *не моем* месте, я чувствую себя чуждым и ненужным. «Гостю» и положение гостя и психология гостя: шапку взял и вышел. Вся Европа оплакивает разъединение «культурных классов» с Церковью. Но и самые эти «культурные классы» выросли, пожалуй, в своих антипатичных и легкомысленных чертах, потому что выросли улично и театрално, и выросли они так потому, что отторгнуты от Церкви,

пожалуй,— вытолкнуты из Церкви. О, конечно, это совершилось незаметно, непреднамеренно, бессознательно, мало-помалу, в веках! Церковь теперь, в смысле организованного общества верующих, ограничивается и исчерпывается старостою, клиром, и консисториею. Ну, *они* и церковны. Но не взыщите, пожалуйста, что я, мирянин, не чувствую себя и не веду себя как староста или клирик, или член консистории, а как любитель литературы, лекций, театра, где я не гость, а *делатель, творец, критик*, немножко и косвенно даже *власть*. Свое дело любишь. Свое творение любишь. В Церкви я и не творю — и... холоден к ней. В журнале, где пишу, в аудитории, где одобряю лектора или порицаю его, я творю — и люблю их не менее, нежели как церковные старосты, творящие в храме, любят неволью этот храм. Возьмите кн. Голицына, обер-прокурора Синода при Александре Первом. Он отказывался от должности, засмеявшись на предложение: «я не верую, я — вольтеринанец». А через пять-шесть лет труда около Церкви стал почти святошей и ханжой до преувеличения. И теперь совершенно в руках администраторов духовных дел переделать всю Россию, извините за сравнение, из России-вольтеринанца в Россию-святошу: для этого нужно только каждого Ивана и Петра, Марью и Елизавету превратить в стомиллионную долю такого же «обер-прокурора» около своей местной, маленькой и скромной церкви. Пусть храм будет *родным у каждого*. Распишите храмы по околоткам, кварталам, деревням, селам. Словом, *отдайте храм миру*, как Бог дал Скинию в руки Израиля: и вы получите церковный народ, не мечтательно-религиозный, который теперь бежит чуть ли не в буддизм и язычество, а народ практично-религиозный. Своя забота создает свою любовь. Можно сказать, мир с возможной высокой религиозностью — в возможной власти Церкви; но для этого Церкви надо сделать временный перелом в себе, в своем отчуждении, в своей замкнутости: именно как бы *войти в руки мира*, отдать над собою власть мирянам, миру. Послушайте: знавали ли вы помещика, который, выстроив у себя в имении церковь — не ходил бы в нее и не любил бы ее, и не готов был бы защищать ее, даже до мучения? Не на казенные же средства воздвигнуты десятки тысяч храмов на Руси! Они воздвигнуты усердием мира «по копейке». Помните Власа? Но дело было не во Власе, а в тех, что ему давали копейку. Возможно ли же представить себе, чтобы Влас, воздвигнув на сборы храм, затворил его для себя, как свою собственность, и сказал: «вот Я построил храм и он теперь *Мой*». Очевидно, Влас есть только казначей мира, и храм этот есть мирской, а Влас просто-напросто «управляющий у мира-господина», который дал ему все и без чего Влас был бы только мужиком-Власом, а не храмосождителем-Власом. *Зиждатель храмов на Руси есть русский народ; и храмы все материально ему и принадлежат*. Отсюда в древней Церкви, в первые века ее, вовсе не по парламентскому чувству, а по чувству истинного значения давальцев «копейки», и было строжайше и абсолютно установлено, канонически, что храм есть собственность прихода и что хозяин-

собственник призывает в него на службу священника, и если священник ленив к службе, не трезв, жесток к людям, не нравоучителен, то собственник-приход зовет на его место другого священника. Контроль-то какой над духовенством! не то что архиерейский глаз, который за тридевять земель от села, и — не консисторский, столь же отдаленный и еще своекорыстный. Оживление Церкви, прямо воскресение Церкви, т. е. в смысле жизни церковной, в руках ее же. Надо только выпустить из рук часть столь аккуратно и заботливо подобранной власти, и дробы этой власти, пыль этой власти, а с нею и заботы и участия, рассеять в мире, среди мирян... Хомяков тогда был бы не теоретиком церкви, а участником церковной жизни. Судьба Пальмера, хотевшего перейти в православие и перешедшего в католицизм, была бы другая: ибо Хомяков, как крошечная власть церковная, принял бы это «чадо» своей литературной проповеди в свое руководство, и, держась немножечко за скипетр церковный, не допустил бы в отношениях к Пальмеру той холодности и бездушия официального, какие оттолкнули бедного англичанина. В какие-нибудь десять лет, как только началась бы жизнь народно-церковная, а не чиновно-церковная,— богословская литература в России удесятерилась бы, а светские журналы наполнились бы религиозными статьями. А? Вы не хотите этого? Духовенство говорит: «пусть мы одни пишем богословские статьи». Отлично. Но и будьте же единственными их читателями. «Мир вышел из Церкви»... Какая клевета; мир отчужден, оттолкнут от Церкви — а потом и разбрелся по разным местам, где он чувствует себя «дома».

Бывшие из духовных лиц заговорили:

— Но ведь храм всем открыт, всех зовет? Все в нем участвуют, т. е. присутствуют!.. Придите и молитесь.

— Вы, батюшка, не так участливы к делам консистории, куда тоже можете свободно войти и там сделают всякое требующееся для вас дело, как участливы к своему приходу, где вы *делатель* и *творец*. Великая вещь делание и творчество. Византия *вся* и *целиком* жила Церковью и потому сотворила в Церкви великое: и службы, и законы, и молитвы, и напевы. У историков записано: «на торгу, на базаре покупатели и торговцы, кончив сделку, спорят об единосущии или единокачественности Сына и Отца». Вот это жизнь. Жизнь тогда мощна, когда она народна и волнует улицу. Но с тех пор с улицы дела взяты в «судные церковные палаты», и, кажется, судьи задремали над ними, а толпа, у которой изыали такую тему и такой образовательный предмет — разбрелась по кабакам. Русь механически скопировала Византию, не заметив, что главное-то в Византии было творчество, свободное, уличное, громадное, волнуемое, шумное, крикливое... Она только результат сотворения взяла и поклонилась ему как богу, а процесса творчества не взяла и даже не поняла, что это-то и было в Греции до некоторой степени живым в сердцах богом. И вышла из наших рук мумия веры, а не живое дитя веры, разумное и растущее. «Храмы открыты, войдите,

молитесь». Ну, и войду. Тó вошел, тó не вошел. Прохожу мимо, есть время — зайду, а нет — тó, конечно, не зайду. И это не я, может быть, скептик, а даже самый верующий человек, купец, мужик. Для всех храм Божий и служба в нем — последнее, остаточное дело, которому дают час, когда есть остаток времени от других дел. Не Ренан же на купцов действует, и не «развращенная русская журналистика». Просто храм — чужое место и чужое дело, дело клириков и какой-то там запутанной администрации, где я... помолился, как опустил на почте письмо или взял в булочной булку. Но не буду же я засиживаться в булочной или на почте, и если храм обернуть ко мне так официально, то пусть уже и не взыщут господа апологеты, что и я его не держу у себя около сердца, у себя за пазушкой. Я ему не тепел и он мне не тепел. Но, слава Богу, мы уже говорим об этом и, кажется, говорим оттого, что не только миру холодно, чтó всегда и уже века было, но что и сам храм почувствовал, что ему тоже холодно, что он сам выстужен... заледенел. Великие признаки. Великое сознание.

Одушевление оратора заразило и других. Многие заговорили разом:

— Пророк Давид унывал после Вирсавии и Урии. Соломон знал горести; весь Израиль — несмотря на возлюбленность свою, действительную возлюбленность Богом — отчаивался и рвал на себе волосы после грехов и заблуждения. «Жертва Богу — дух сокрушен, сердца униженного Бог не уничтожит». Вот — путь религии и религиозной жизни; но думать, что это только путь овец и что нет момента покаяния для пасущих, что он не нужен и не отвечает их сану и величию — значит впадать в худший вид фарисейства, которое ведь так же точно соблюдало законы и между тем какой получило от Спасителя суд себе! Вся Византия в творческих трудах страдала, мучилась, писала и зачеркивала написанное. И она не клала кирпичик на кирпичик, с мыслью о «непогрешимости» каждого кирпичика, а с воплем разрушала иногда целые стены. Читайте-ка ее историю об отлученных от церкви патриархах, об одном соборе, который сперва был назван «вселенским», а потом переименован «разбойническим». Так мучилась Византия. Только Русь, видите ли, безгрешна и рождает истину, как Юпитер Палладу из головы. Путь Давида после Вирсавии есть путь и Руси, а текст «гордым Бог противится» пусть она навяжет себе на лоб, как евреи навязывают на лоб во время молитвы ящичек со словами: «помни, что ты был рабом в Египте». Нам нужна тоже «памятка» и пусть этой «памяткой» будут слова: «гордым Бог противится».

— Чего же вы хотите?

— Правдивости на месте святом — самая простая вещь. Давид был пророк — и согрешил; но раскаялся и вошел в высшую, чем до греха, святость. Странно: будто покаяние существует только для коллежских секретарей, и Евангелие обязательно для паствы, а для клира не обязательно иначе, как в смысле уменья прочитать его перед народом «с полным соблюдением титл» и умением сказать: «архереови» вместо

«архиереям». «Покайтесь — приблизилось Царство Небесное» — звучало и для первосвященника Анны, и для Каиафы, а не только для Закхея, влезшего в простосердечии на смоковницу, чтобы видеть Иисуса, идущего в Иерусалим. Будто для нас и у нас нет «отцеживанья комара и поглощения верблюда». Сколько угодно. Да мы буквенники из буквенников, и «книжник», которому при Иисусе было росту вершок, к нашему времени вырос в версту и съел нашу душу, совесть и сердце. От Ватикана до Берлина и Петербурга не осталось от христианства ничего, кроме уменья «навести справку по книгам», и это библиотечно-административное христианство куда превзошло саддукейство и фарисейство. Увы, нигде нет этой галилейской свободы и простоты, этой религии на улицах и в поле, с захождением в дома для простых бесед, с проповедью на озере, на горе, днем или ночью, — религии среди знакомых и друзей. Боже, до чего тогда было не похоже на наше. Плакать хочется при сравнении. Мы расселись по канцеляриям и говорим: «вот, взгляните на нас, мы — христиане». Нигде теперь в целом христианстве нет этих бытовых евангельских сцен, этих первых «лилий» и «птиц» преобразившей все новой религии. До чего грустно. Как все началось. И как все кончается... Ибо не я один полон предчувствия, что уже здесь «все кончается»... Утрата чистосердечия и искренности — вот это более всего поразительно *in officio* христианства. Интеллигенция разбрелась по сторонам не только оттого, что ей холодно и неудобно, а и оттого еще, что без всяких высоких претензий, однако, она привыкла к искренности, считает ее почвою, вне которой нельзя ничего добиться и, наконец, простым приемом умственной порядочности: и вот, этого обыкновенного и невысокого качества не видит в сфере столь высоких претензий.

— Например? Например?

— Стыдно и спрашивать о примерах. Возьмем из сферы, недавно еще горячо обсуждавшейся и, кажется, теперь официально тронувшейся с застарелого места под действием жестокой критики. Неужели богословы в целой Европе, по крайней мере тысячи раз цитировавшие слова: «нельзя мужу с женой разводиться иначе как по вине прелюбодеяния», и построившие на почве этих слов разводный процесс, которого, кажется, никто не считает иначе, как чудовищным по жестокости и грязи, и отвечавшие на все попытки реформы аргументом: «нельзя же нарушать столь прямых слов Спасителя», не помнят о других Его словах: «не собирайте сокровища вашего на земле, а собирайте его на небесах, ибо где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше», — каковы слова, однако, не помешали монастырям века иметь вотчины и крепостных крестьян, да и теперь быть далекими от бедности и даже от умеренности в богатстве. Я не завидую. Но я позволю себе критиковать. Богатств от них я не хотел бы отнять: но какую же надо было века иметь неискренность, чтобы так фанатично цитировать слова о разводе, и ими конкретно вот этих плачущих Ивана и Марью, эту Лизу Калитину и Лаврецкого,

этих Карениных гнести тяжело: и в то же самое время столь же ясно помнить еще более яркие и определенные слова о «сокровище не на земле», помнить также ответ, данный богатому юноше, и все-таки оставаться богатыми... Боже, неужели и об этом спорить, о богатстве монастырей? Было же что экспроприировать Екатерине и о чем плакать Арсению Мациевичу? Было о чем спорить Иосифу Волоколамскому и Нилу Сорскому!

— Повторяю, ни малейшего пожелания взять хотя бы одну копейку «духовную» я не имею, и взял эту сторону, как очень очевидную, не в целях упрека, а взял в методических целях, и прикинул к разводу, которым удушается ежегодно множество жизней. Все духовные читали «Дворянское гнездо»,— ведь они не невежды: но никто не ахнул. Как бедно белое духовенство. Но черное об этом не вздыхает! Возьмите же интеллигенцию: она думает вовсе не об одних привилегиях печати, а о здоровье народа, о правосудии для народа, о гибели общественной нравственности через пороки пьянства и проституции, да и решительно обо всем она думает, о всех заботится, когда со стороны клириков на нее несется аттестация: «безбожники». Нет, Бог есть в интеллигенции, и крепко есть. Время атеистической интеллигенции минуло. Но вернемся к искренности, которая меня особенно занимает: ибо уж путем ли к Богу быть неискренними?! У меня в библиотеке есть старопечатное рассуждение: «О вдовых попах» с рукописи XV века. И сколько раз я его с изумлением рассматривал и перечитывал. Сколько под этим слез! Сколько муки! Сколько невольного беспутства и, наконец, невоспитанных детей, без призора и попечений рано умершей матери: только потому, что — не в Евангелии и не в апостольских посланиях, а в каком-то византийском веке — было построено хитросплетенное и косвенное доказательство, что «если Бог отнял у священника жену, то на то была Его Божья воля, и допустить второй брак священнику, значит, противиться воле Божией». И человек плачет,— а ему отвечают таким аргументом! Таким образом, сонм духовенства не только к миру безжалостен, но и в собственной-то своей сфере, разделенный на клетки, он никогда в одной клетке не чувствует боли в другой клетке. Бедность сельского духовенства не смущает богатого городского духовенства. Вдовство белого — не тревожит черного. Для мирян и белого духовенства тексты применяются с жестокой буквальностью, а для себя эти тексты, как, например, о богатстве, перетолковываются в смысле «евангельского совета», буквально вовсе не обязательного. Это все замечают. И вот последствия. Посмотрите: интеллигенция растет; ее все любят, любят этих докторов, учителей, даже писателей любят, поверьте. И при зрелище, как падает один авторитет, древний, и возвышается новый, горестно вспоминаешь слова Иисуса: «вы называете себя детьми Авраамовыми: но знаете ли, что Бог из камней сих властен сделать новых детей Аврааму». Он сказал. И сердце мое тоскует, что это готово повториться.

— Ужасно.

— Ничего не было ужасного для Давида, который умел плакать, и вообще религия потому есть великая и небесная вещь, что в ней уже нет ничего ужасного. «Восплачьте — и я убелю вас паче волны» (шерсти), говорил Бог Израилю. Я упомянул в методических целях о богатствах. Ни нитки из богатств их не надо, не следует брать, и будет хуже Каина тот, кто посягнет на это. Достаточно вспомнить. Достаточно понять, что основание для слез есть и, следовательно, есть возможность пути Давида после Вирсавии. Как только клир разорвет с гордостью, он станет не для одних «простолюдинов», а и для интеллигенции «нашим» клиром, близким и родным нашим духовенством. И мы не только не отнимем, а еще прибавим ему и богатства и власти: ибо почувствуем, что власть эта уже не против нас, а наша же и с нами, и богатство это тоже не от нас взято, а как бы нам еще прибавилось. Примирение интеллигенции и духовенства слишком возможно, но только после некоторого мирового, векового «Помилуй мя, Боже».

Мы волновались. Но той неопределенной тоски, как при начале беседы, не было. Что-то появилось, что-то замелькало вдали. Во всяком случае, путь есть, путь религиозный, путь главным образом не нигилистический. И путь этот только до вступления на него тяжел, пока не сломлена внутренняя гордость, а как вступишь на него — он из радостей радость.

1902—1903

Напечатание статьи этой в «Новом Пути» вызвало несколько писем ко мне. И чтобы ознакомить духовный мир, по крайней мере, с *матерьялом* чувств к нему, я позволю здесь привести два из них:

«28 ноября 1903 г. Москва. Только что прочел вашу статью о разделении духовенства и интеллигенции. Ко всему вами сказанному добавлю: общение *духовных лиц* (в письме более жесткий термин) с *интеллигенцией* станет возможным только тогда, когда их «образование» будет твориться не в *лесу* Троицкой Лавры, а в самой *Москве*, на Моховой в *Университете*. Каждое духовное лицо (в письме резче) — только «*Матвей Ржевский*».

Письмо резко и чуждо рассуждений. Его не надо принимать в значении состава мыслей; но в значении состава чувств игнорировать нельзя. Следующее письмо содержит и тезисы:

М. Г.

Во всех ваших статьях видна какая-то нерешительность по делу о вопросе свободы совести и, кроме того, вы, видимо, еще не можете совершенно уверенно заявить, что византийские наслоения веры (в письме поставлено конкретно одно слово, имя веры) не нужны России. Поставим же следующие вопросы:

- a) принесло ли пользу тысячелетие византизма в России?
- b) необходимо ли оно для нашей государственности?
- c) почему мы, русские, обязаны слушать богослужение на чуждом нам каком-то староболгарском наречии?
- d) истинны ли догмы православия и как должны влиять они на народную нравственность?

По первому пункту можно, совершенно положив руку на сердце, ответить: «нет, не принесло»: общеизвестен факт, что населяющие Россию протестанты, молокане, католики и, особенно, старообрядцы отличаются трудолюбием и сравнительно высоким уровнем нравственности; православные же почти повсеместно лентяи, развратники, лгуны и пьяницы; по второму пункту также можно утвердительно ответить: «нет, не нужно»; так как опыт показывает, что старообрядцы и протестанты являются самыми преданными своему монарху людьми; вспомните только, какой оплот представляли из себя старообрядцы во время польского мятежа и балтийские протестанты в 1812 году! По третьему пункту — для чего нам славянский язык на богослужении. Ведь я вполне уверен, что 90% молящихся не понимают начальные слова той херувимской, которой вы так восхищались в одной из ваших прежних статей. Относительно истинности византизма не стоит и говорить: разве не наглый обман и надувательство самых лучших чувств человека — спекуляция над разными вещественными фетишами в лаврах.

Будьте прямы — содействуйте освобождению России от ига византизма.

Где было хорошо на Новый год?

I

На Новый год мне хотелось пометать о будущем,— пометать с пером в руках, как это присуще, к несчастью, писателю.

Но пометать на Новый год мне не пришлось. Зато в самый час его встречи мне выпала такая картинка, которая разбудила во мне самые далекие и дорогие мечты.

Расскажу, впрочем, по порядку, где я был и что видел. Незадолго до полночи я отправился по страшному морозу на Выборгскую сторону.

Здесь, я слышал ранее, есть какой-то сарай-церковь. Не так давно сгорела там деревянная церковь Иоанна Предтечи, вся дотла, и в то же время неподалеку строился деревянный барак для больных. Местность эта — фабричная, простонародная. Тогда решили временно, пока будет выстроена на погорелом месте новая церковь, служить все церковные службы в этом недостроенном бараке, каковой некоторые простолюдины и называют вместо «церковь» — просто «барак». И раньше до меня доходили слухи, что в бараке этом делается нечто необыкновенное: а именно, что, кроме церкви, в том же «бараке» устроена народная библиотечка для выдачи книг фабричным, а как здание-то готовилось стать «бараком», то в то же время сюда приходят больные, а студенты-медики (так как все в двух шагах от их Академии и клиник Виллие) добровольно приходят осматривать и подлечивать больных, а в вечерние часы каждый день ведет собеседования с народом молодой священник, «матушка» коего заведует библиотекой.

— Вот где делается,— говорил мне очевидец,— истинно христианское дело; никогда такого не видел. Вместе со священником работают студенты, да с каким усердием! Одни — подлечивают, а другие читают от божественного, студенты в мундирах читают — просто удивительно! То споют молитву, а то подымется из народа кто и расскажет случай из своей жизни или поразивший его случай из газет, и попросит священника рассудить, как это надо понимать христианину и как нужно христианину в подобном случае поступить. И священник толкует, как может и умеет. А после всего приводят к торжественному обещанию не пить трезвенников, потому что при бараке и «Общество трезвости» состоит, и много в него записывается фабричного люда.

В этом-то «бараке» я и решил встретить Новый год.

«Барак» — среди громадного двора или пустыря, обнесенного забором, и до него добираться по деревянным мосткам. И весь он, деревянный и низкий, точно распластался по земле. Вошел я внутрь и за страшной давкой народа остановился у входа. Действительно, барак-церковь. Бревенчатые стены. Потолка не настлано, прямо над головой скаты дощатой крыши, а в толстых стропилах ввинчены железные крюки, на каких в мясных лавках вешают туши, и на этих крюках висят три бедные маленькие паникадила. Однако «барак» — обширный, длинный и широкий, только очень низкий, «недостроенный», как мне и сказали. Паникадила не были зажжены, но алтарная стена вся была усеяна множеством народных свечек. То, что мы зовем «иконостасом» и что являло обычный богатый и художественный вид, здесь являло простой ряд тесаных бревен, какой можно увидеть только в деревенской избе. Реденько, на большом расстоянии, здесь были нарисованы картины-образа: напр. васнецовская «Богоматерь» и другие; но скорей это казалось олеографией, наскоро сделанной на рынке, чем образом. Во всяком случае это было плохо, ново, неудачно, «наскоро». Но, по-видимому, из старой сгоревшей церкви успели вынести два больших и прекрасных образа Божией Матери, и помещены они: один — высоко над царскими вратами, а другой — в левой стене, и вот перед ними прекрасно мерцали две большие красные лампы. Образа были богатые, квадратные, в богатых золоченых ризах, — «полное православие». Смотря на ризы их и сравнивая эти ризы с неудачным письмом масляными красками новых картин-икон, я почувствовал: до чего или привык русский глаз, или в самом деле тут проходит «существо вещей», а только картина так и остается картиной, а большой квадрат иконы в золотом венчике, в золотом же облачении Божией Матери и Младенца-Иисуса имеет в себе что-то царственно-религиозное; перед картиною молитва выходит искусственна, а перед образом — естественна. «Образ» совсем не то, что «картина». Образ — «святая вещь», и это не то, и это выше, чем Рафаэль. «Как святая вещь? — допытывался я в себе, — все иконы освящены здесь, и картины освящены; что же другое святое есть в иконе, кроме священного лика?» Но лампада мерцала, мигала, золотистый квадрат был так чуден, и я подумал: «Святое место... Вот этот куб воздуха, не более сажени, где образ, лампада и красный свет — точно тут в середине кто-то живой и духовный есть, тут нельзя ничего скверного сделать и ничего скверного подумать. И не захочется и страшно. Святое место! А живопись религиозная не есть святое место, а только напоминание о святом событии. Но событие было, его сейчас нет, а в иконе есть сейчас святость».

Вышел в облачении из Царских врат священник, с молодым, прекрасным и нервным лицом, и поздравил народ «с Новым годом»; на что и народ ответил: «с Новым годом, батюшка», и сказал слово о перемене

времен и вечности христианского подвига, христианских усилий. «А вы навстречу Богу делайте добрые дела! Встречайте Христа с добрым делом и с утра об этом думайте», так, мне кажется, можно формулировать тему батюшкина слова. Оно было, я думаю, несколько длинно и запутаннее, чем следовало бы: видно, что батюшка говорил не заученное; что он *сам* подумал о теме, но слов для нее заранее не подбирал. Видно, однако, было, что батюшка радовался на народ и что народ радуется на своего молодого батюшку. И в самом священнике и речи его лилась какая-то непридуманная, не старая и от застаревших книг взятая, но своя личная и собственная любовь «к Христу и Спасу нашему», и любовь же к «спасенному» народу. И обе эти любви не разделялись, сплетались, точно радостно обнимались. Церковь страшно не акустична, и священник очень напрягал голос, и видно, что это ему трудно, потому что здоровья он слабого. Но вот кончилось «слово», начался молебен Василию Великому — и вся церковь, все сотни, может быть и тысяча человек, запели наше прекраснейшее: «Царю небесный». Первый раз услышал я «общее пение», и насколько оно лучше клиросного! Толпа — всегда могуча. И пение — могучее какое-то, народное. И я запел. Захотелось петь. С народом — хорошо вместе, и я подумал: «как силен был бы народ, если бы он всегда и все делал вместе».

Общее пение, однако, и ограничилось одною общеизвестною молитвой «Царю небесный». Все остальное пел хор. Он стоял, однако, не на обычном месте, ибо соли в церкви не было, — алтарь был в уровень с остальным храмом, — а стоял посередине церкви, только не против царских врат, а влево. Пело очень стройно человек сорок или пятьдесят под руководством дьякона-регента, как мне показалось — простолудинов, господ, учительниц и просто баб. Но когда я потом расспросил, оказалось, что все это были принаряженные к Новому году фабричные работники и работницы. Не могу передать всего одушевления, с каким они пели. И тут что-то дружное, «вместе», лица горящие и частью смеющиеся — конечно, кротким и приятным, приличным смехом. Я думаю, я угадал причину их тихого и веселого смеха: «Мы были свиньи; мы всегда были свиньи и Новый год встречали за штофом водки, в сплетнях, пересудах, перекорах и иногда потасовке. Но пришел добрый пастырь к нам, собрал нас в храм Божий — и мы теперь люди, и нам по-людски весело и хорошо».

В конце службы, часть которой была с коленопреклонением, я стал обхаживать осторожно церковь; и у западной стены ее, в уголку, увидел и библиотеку. Нужно заметить, среди молящегося народа я заметил несколько студентов из Медицинской академии и университета с синими петличками. Верно, это пришли сюда помогающие «батюшке». Библиотека точь-в-точь как, помню, наши ученические библиотечки в гимназиях. Те же два шкафика, тот же набор книжек, та же их затасканность и растрепанность. Книжки, как я расспросил, жертвованные и представляющие обычный «жертвенный» набор. Читает народ

ужасно жадно, и отбою нет от расспросов о прочитанном.— «А бывают пропажи книжек? Ведь даете всякому?» — «Раза четыре случалось. Всякий народ приходит — мы даем на веру, без записи. Но мы за пропажами не гонимся, так как и получаем даровое, и все вновь даем,— и выходит отлично». Так мне говорила угрюмая, серьезная «матушка», небольшого роста и с болезненным лицом.— «Что же, вы в епархиальном кончили, что понимаете в книжках?» — спросил я не совсем вежливо. Она улыбнулась образованной улыбкой: «Я не из духовного сословия, и только вышла за священника. Раньше я была учительницей, потом работала в столовой на голодающих в Тульской губернии и там встретилась с мужем. Потом он поступил в священники, а я стала... матушкой». Она опять улыбнулась. И вся-то она была маленькая, точно ребенок, точно еще гимназистка. Лицо, однако, умное, настойчивое, с лаской кому нужно и когда следует. Я вспомнил Некрасовское «мужичка с ноготок». «Только и работаем мы двое: батька и я»...

Было очень тесно и жарко под низенькими сводами. И еще раз посмотрел я на множество горящих свеч и две-три мерцающие красные лампы. Все было ужасно первобытно, элементарно; и, наверное, эта скороспелость и недоделанность всего и напомнили мне первоначальную недоделанность христианства в катакомбах, которые я осматривал около Рима. Но насколько там было темно и мрачно,— настолько здесь все было светло и весело. Дерзкая мысль, что я вижу перед собою «петербургские катакомбы», мелькнула у меня. «Какое сравнение, как я смею! Там — святыня, история, а здесь — ничто». Но упорно эта мысль долбила мне в голову. Главное,— веселье народное и что народ «прибран», «у места», подымало во мне дерзость. «Мы уже в богатых храмах разучились молиться»; «мы завели там электричество не столько для образов, сколько для себя и нарядов своих, которые ездим показывать и в церкви»; «электрический свет — мертвый, машинный, и сердца у нас тоже машинные, и ничего нет между нашими сердцами и между теми образами там, в мраморных общественных храмах или в богатых домовых церквях. Внешность храма осталась, а сердце храма угаšlo, потому что сердце храма есть человек, молитвенник,— тот, кто молится. А здесь внешности у храма почти нет, зато загорелось его сердце».

Все было индивидуально в церкви.

Так как весь свет был или вспыхивающий — в свечах, или мерцающий — в лампадах, то части церкви минутами как бы погружались в темноту, минутами выходили в свет. Вот я смотрю на Божию Матерь, залитую золотом, «в славе». При электрическом свете — Она была бы недвижна. И мое сердце не шевелилось бы. Но тут перед лампадою Она нет-нет и вдруг начинает темнеть, и это странно преобразовывается в моей душе: «Это я грешу, и Она уходит от меня, не хочет меня видеть». Мне грустно. Но вот что-то в светильне делается, чего я не вижу и до чего мне нет дела; там, верно, уголек нагара упал. И вдруг золото засияло, я вижу черты Лица, его подробности и подробности Младенца.

«Матушка, Ты все прощаешь, и меня простила, на меня смотришь». Маленькие горести и маленькие надежды вспыхивают в сердце, следуя за вспыхивающим и погасающим светом на образе. Икона живет таинственной жизнью; и мое сердце живет. Мне кажется, это — все, что нужно в храме...

«Маленькие катакомбы»... Я помню и в Риме, в катакомбах Калликста, крошечные ниши в стене с жалкими остатками живописи, то «Доброго Пастыря», то «Ионы, извергаемого китом». Особенно мне нравился Иона. И мне чудилось в Петербурге, что все мы похожи, через XIX веков после Христа, на Иону в трехдневном, как бы гробовом пребывании во чреве китове. Так же ужасно темно и страшно. Но так же не оставляет нас вера.

1902

Священнический совет при Епископе

Обширный ряд статей о нашем «Духовном управлении» проф. канонического права в Московской дух. академии г. Заозерского закончился печальной характеристикой духовных консисторий, как учреждения совершенно архаического и не стяжавшего себе уважения ни в светском обществе, ни еще менее в самом духовенстве. Помещение этих статей в нашем лучшем и наиболее читаемом духовном журнале позволяет думать, что истина, о которой столь долго молчали, получает явное и распространенное признание. В последние двадцать лет Духовное Ведомство наше дышит или пытается дышать обновлением, и особенно оно старается в учебном деле. Рядом с церковно-приходскими школами и школами грамотности, духовные консистории высятся мрачною старою постройкою, возведенною во времена, очень мало знакомые с искусством строительной техники. Профессор Заозерский основательно говорит, что все привычки и приемы их суждения и деятельности до того закаменели, что невозможно думать об их обновлении. И весь ход его мысли и аргументации приводит к вопросу: может ли быть признано полезным сохранение учреждения, которое, не говоря о народе, даже собственному Ведомству приносит не столько пользы, сколько вреда?

Главный недостаток их, как выясняет и проф. Заозерский, это приемы *старого формального суда*, давно и везде получившего название «крючкотворства». Римский формальный суд, произведение еще языческой цивилизации, исчезнув во всех других областях управления и суда, каким-то непонятным образом в одном Духовном Ведомстве сохранился в нетронутых чертах. Нет сомнения, что он до чрезмерности отягощает само духовенство; что на каждом шагу он не помогает, а мешает епископам, превращая их служение из священнического, проповедного и человеколюбиво-заботливого тоже в какое-то почти юридическое,

во что-то подобное римскому претору с духовным оттенком и христианской номенклатурой. Нет сомнения, что консистория камнем тянет книзу наше епископство. И это есть вторая худая сторона их, после жестокостей в отношении к епархиальному духовенству и после вообще худой о них молвы. Со всех сторон, с каких бы ни рассматривать, их положительная работа мала, а отрицательное действие велико. Что существование их вызвано было практическими нуждами нашей жизни и не связано нисколько с канонами, это не предстоит доказывать: консистории суть новое русское учреждение после петровской эпохи. Главными деятелями в них являются секретари — люди светские, чиновники; священники там есть, но на вторых местах. И уже это одно показывает, что какой-либо ненарушимо священной санкции ни в строе их, ни в существовании не лежит. Это есть утилитарная вещь, связанная в бытии своем только с пользой или отсутствием пользы в ее существовании для Духовного Ведомства, для духовного сословия и для населения. Кажется, по всем этим трем рубрикам можно только отрицательно покачать головой.

Само священство наше в настоящее время обновляется, и обновляется духом жизни. Сколько собеседований с народом и всяческого подвига делом и словом оно несет на пользу населения. Оно и около школы и около больницы; оно руководит или значительно участвует во множестве маленьких филантропических учреждений, всячески богаделен и приютов. Духовенство белое совершенно доросло до того, чтобы быть епископу добрым помощником и советчиком, без посредствующего звена, да еще в виде чиновника-секретаря. Думается, что духовная консистория совершенно может быть заменена *Советом священников* при епископе; частью по его выбору, частью по выбору от белого духовенства и также непременно от мирян, частью на сроки, частью пожизненно: — приблизительно с тем значением и в таком устройстве, как, например, педагогический совет в гимназиях при директоре гимназии, или члены суда — при председателе суда. Мы берем параллели наудачу, — параллели, снискавшие почтенное себе имя; но, конечно, могут быть избраны и другие. Важно, чтобы между епископом и духовенством епархии было отношение любящего сотрудничества, любящей помощи; важно, чтобы между ними завязалось отношение простое и непосредственное, а не через это звено — секретаря и чиновничество, которое разъединило у нас, к величайшему ущербу для дела, епископа и епархию.

О поместных соборах в России

Национальная жизнь, и в особенности духовно-национальная, имеет в себе известную соотносительность. Лежачее положение которой-нибудь части возбуждает тенденцию «полежать еще» и во всех прочих

частях; напротив, обновление и движение, если оно разом началось во многих частях, гонит сон и неподвижность и в остальных. Духовная и общественная жизнь вообще чрезвычайно связаны. И невозможно отрицать, что, во-первых, солидность и глубина, а, во-вторых, энергия и живость давно сообщились бы и жизни нашего общества, даже нашей страны, если бы в основе ее больше лежало религиозных интересов и большая заинтересованность нашего общества религиозными, в частности, церковными вопросами. Не нужно теоретически доказывать этого. Достаточно указать на параллели в мире нашего старообрядчества и сектантства, с одной стороны, а с другой — на Московскую Русь, где живое соборное начало в Церкви не осталось без воздействия, как пример и руководитель, и на соборное или собирательное начало в Земстве. Привычка совещаться о духовных и церковных делах отозвалась легким переходом этой привычки и на дела чисто мирские и земские. То же подтверждается и делами наших дней. Например, община, везде у нас развалившаяся, крепко держалась и держится в северорусских областях, где старообрядчество с его живым внутренним общением по делам церковным свило себе коренное гнездо.

В «Моск. Вед.» г. Л. Тихомиров и в «Богословском Вестнике» проф. А. Н. Заозерский с большою всесторонностью разработали в последнее время вопрос о поместных соборах, как единственном надежном средстве оживления и даже упорядочения церковных дел в России. Вопрос этот «келейно» вся православная, сознательно мыслящая Россия считает основным в современном положении Русской церкви. Все понимают, что от этого вопроса зависят судьбы ее воздействия на православный народ в моральном и, наконец, даже в училищном значении, в значении учащего *авторитета*.

В высшей степени интересна и многозначительна самая схема поместных русских соборов, набрасываемая профессором канонического права, в строжайшей, конечно, согласованности с церковными канонами, историю и букву которых он преподает. Соборы, говорит он, должны собираться периодически, не менее чем раз в три года. Что касается состава их, то он определяется: 1) из членов с решающим голосом и 2) из членов с *совещательным только* голосом. «Принимая во внимание известный канонический принцип: *да при устах двух или трех свидетелей станет всякий глагол*», — проф. Заозерский определяет число совещательных голосов в три четверти всего числа членов собора. «Так, если епископов соберется 50 человек, то священников может быть тоже 50, монахов и мирян 100. На соборе необходимо также присутствие представителей государственной власти».

Все лица епископского сана данного района России, даже если по обстоятельствам они и не могли лично прибыть на собор, суть непременно и естественные его члены, сохраняющие решающий голос. Что касается лиц, имеющих не решающий, а *совещательный голос*, то проф. Заозерский следующим образом говорит об их составе: «Богословы,

ученые, литераторы, публицисты, художники, люди житейской и юридической опытности, лица из белого духовенства и выразители монашеского старчества — все они должны получить почетное место на соборе, как желательные советники». Мнение этих совещательных членов по каждому церковному или церковно-государственному, церковно-общественному вопросу «должно быть внимательно выслушано и обсуждено, как бы ни казалось это необычно с принятой ортодоксальной точки зрения, как бы ни резала слух его непривычная, нецерковная формулировка. Только при этом условии достижима одна из целей собора — достаточная осведомленность о запросах современной духовной жизни».

В состав поместного собора, как вспомогательная сила для надлежащего ответа на являющиеся вопросы и сомнения в населении поместной церкви, могут быть приглашаемы представители богословской науки. Архипастыри, конечно, и сами могут входить в объяснения, в прения с верующими, недоумевающими и спрашивающими из мирян. Но это не непременно, и по существу, положение их на соборе другое. Они главным образом, *наблюдатели и судьи соборных совещаний и рассуждений*. Их призвание — выразить в своем *решении* авторитетно голос поместной церкви».

«Приглашение на собор лиц совещательного слоя должно принадлежать центральному органу церковного управления, т. е. применительно к существующему сейчас порядку — Св. Синоду». Что касается представителей государственной власти, то их участие на соборе необходимо потому, что собор есть орган не одного разрешения теоретических вопросов веры и христианской жизни, но также «полновластный официальный орган церковного законодательства». Назначение представителей от государства должно всецело определяться Верховною Властью.

Такова схема, накидываемая проф. А. Заозерским, с которою вполне соглашается и г. Л. Тихомиров. Начало созыва поместных соборов им обоим представляется гораздо более существенным делом, гораздо более жизненным и практическим, чем обычная формула славянофилов: восстановление патриаршества. «При существовании поместных соборов управление Церкви может остаться таково же, как ныне. Жизненный дух обновления проникнет неудержимо в эти учреждения и совершит их обновление постепенно, без чувствительных потрясений». Центральное управление, сохраняя синодальный характер, может допустить в себе следующие изменения: 1) возможно и полезно было бы усилить значение *примаса* путем восстановления по праву принадлежащего ему патриаршего достоинства. «Патриарх всея России, архиепископ С.-Петербургский и Ладожский, вот титул его, соответствующий современному величию русской Церкви. Далее, решительно за каждым из присутствующих в Синоде епископов должен быть сохранен голос не совещательный только, но решающий. Далее, в состав совещательных членов

Синода могли бы быть введены не только клирики, но и *миряне*. Вообще патриарший собор должен быть организован по типу малого собора».

Дело все в том, что религия есть жизнь совести, жизнь души: и всяческой по могуществу власти недостаточно для воздействия на душу, если в то же время эта власть не будет *правой*. Для души нужно *правое* решение, и притом правое с ее собственной точки зрения, а не *сильное* решение. «Бог не в силе, а в правде»,— как воскликнул еще Александр Невский. Вот для сознательных частей русского общества, которые знают строй и историю церковной древней жизни, и для моря нашего старообрядчества и сектантства, которое продолжает и до сих пор, хотя бы уродливо, сохранять церковно-общественный (или духовно-общественный) строй, и невозможно в настоящее время, при настоящем строе духовных дел и духовного управления, найти и составить *достаточно авторитетное решение* по какому-то ни было вопросу веры или христианской жизни. Жизнь страны в религиозном отношении начинает становиться решительно не упорядоченною и какою-то личною, а не общею: потому что нет и неоткуда взять *нравственно-убедительного*, а не только *административно-властительного* решения. Л. Тихомиров в особенности подчеркивает эту сторону, указывая множество самых настоятельных вопросов, самых жгучих и быстро распространяющихся мнений, по которым Церковь текущего момента имеет только «разночтения» (разные противоречивые мнения), а не единогласный взгляд. Мнения эти возникли после завершения восточнореческого канона, возникли в русском народе, за два эти века сектантства, и на них может ответить сперва теоретически-*справедливо*, а затем и законодательно-*властительно*, только *текущая* русская церковная жизнь, а не жизнь *древняя*. А «текущей»-то жизни у нас и нет вовсе; есть только «стоячая». Миссионеры (епархиальные) могут и умеют только порицать, браниться, приказывать; но это не убеждение и никакой убеждающей силы не имеет. Преподаватели семинарии, или из бывших семинарских преподавателей, эти «епархиальные миссионеры» только обременяют бюджет Духовного Ведомства без всякой для дела пользы. Ибо ни надлежащего духовного образования они не имеют, и никакого духовного авторитета. Остается суд и наказание, как единственная мера борьбы с сектантством. Но опять: что же можно сделать наказанием с людьми, которые сами себя «приговаривают» к самосожжению или к самому болезненному и вечному искалечению (последователи Селиванова)?!! Очевидно, и суд здесь неприменим. Что же касается? как поступать? Да и остается только созидать *праведный авторитет, правое, убедительное мнение*: а таковым может быть лишь мнение, которое рассматривается и получает возражения себе (а затем и поправки в себя) во время *процесса своего составления*. Даже до Петра Великого были открытые «прения» о делах веры с раскольниками, сперва на Красной площади

(в Москве), а потом в Грановитой палате. Вытекала эта открытость прений из уверенности иерархов победить. Но тогда не было еще богословской науки. Теперь, когда она есть, уверенности победить может быть гораздо больше. Но она может осуществиться только в том случае, если побеждать будут «на воздухе», перед лицом самих побеждаемых, а не за стеною, в канцелярии, не в тайном делопроизводстве консисторий или центрального духовного управления.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МИССИОНЕРА ПИСАТЕЛЮ г. В. РОЗАНОВУ

Всему бывает предел; только злобным экскурсиям вашего ядовитого пера, кажется, нет и не будет предела.

В 9962 № «Нового Времени» вы заявляете, что «миссионеры (епархиальные) могут и умеют только порицать, браниться, приказывать» et cetera... На каком основании вы позволяете себе так «лягать» людей, с деятельностью которых вы совершенно незнакомы и имеете о ней самое неправильное и превратное представление? В доказательство своих слов вы не представляете и не можете представить никаких фактических данных, и потому ваша тирада о миссионерах, извините, представляется мне просто-напросто *ложью и клеветой*. Да, г. Розанов, вы любите находить «сучки» у своих ближних, а у себя не замечаете целых «бревен». Ваши газетные писания, именно, и служат блестящим образцом грубого неуважения к личности ближнего, которого вам угодно бывает почему-либо не возлюбить. Простите за откровенность, но вы вообще отличаетесь способностью делать скороспелые обобщения и, не стесняясь в выражениях, сыпать «брань и порицания», не разобрав дела и не вдумавшись хорошенько в то, о чем вы пишете.

Примеров не привожу, так как не имею для того времени. Но о весенней вашей выходке против г. Грингмута я вам напому: слишком уж она характерна! В. М. Скворцов гораздо раньше Великого поста заявил в распорядительном заседании членов-учредителей Религиозно-философских Собраний о том, чтобы в эти собрания был допущен г. Грингмут. На предложение В. М. Скворцова послышались голоса сочленов (которые не составляют всего собрания) без всякой мотивировки: «нет, нет, не надо»... Между тем в «Московских Ведомостях» появляется статья г. Spectator'a, содержащая горькую правду по адресу гг. новопутейцев. Не отвечая на нее по существу, вы делаете нелепо шутовскую вылазку против собственной личности г. Грингмута и пред читателями «Нового Времени» грязните его с совершенно спокойной совестью, надеясь на то, что вам не сочтут нужным отвечать. Привожу буквально ваши слова: «*г. Грингмут в этом Великом посту просился (подал заявление с просьбою), чтобы его допустили присутствовать в Религиозно-философских Собраниях... Религиозно-философские в Петербурге Собрания отказали ему в допущении (курсив мой)*. Теперь он сплетничает втемную вместо того, чтобы перевернуть (переиначивать, исказить) в открытую. Но зато как он раздражен, как убийственны его обвинения. Читатель, однако, может догадаться, что *выражение Религиозно-философскими Собраниями нравственного к нему недоверия есть настоящий корень его слов (курсив мой)*... Г. Грингмут просто *неразвит (курсив ваш)*; и его не только по склонности к сплетням не следовало допускать на собрания, но еще и по той

причине, что в вопросах религии — как гимназист второго класса, не подготовленный к слушанию наук из курса пятого или шестого класса — он хлопал бы ушами на собраниях; ни слова бы не сумел там вставить; и позднее все бы переврал». Довольно, довольно, г. Розанов! Вам своевременно было разъяснено, что г. Грингмут не имел ни малейшего желания попасть в Религиозно-философские собрания и что вы не имели никакого права *свое личное мнение* о редакторе «Московских Ведомостей» выдавать за мнение *всего* религиозно-философского собрания. Вы же, вместо того, чтобы покаяться пред г. Грингмутом и пред читающей «Новое Время» публикой в своем клеветническом вымысле, называете последний *неточностью и невольною ошибкой* *. Какая детская наивность!! Нет, г. Розанов, поймите, что вы учинили гадость, и эта гадость становится гораздо гаже от того, что вы не хотели в ней сознаться. Да и вообще кто вы такой и какое имеете право так беззастенчиво порицать своего ближнего и лгать на него? Я, г. Розанов, знаю вас давно, с того самого времени, когда вы состояли еще учителем в прогимназии г. Брянска. И, по долгу миссионера, позволю себе советовать вам поглубже всматриваться в собственную душу и почаще размышлять, не на опасном ли вы пути (Псал. 138, 24). Ведь вы уже не молодой человек.

«Миссионеры (епархиальные) могут и умеют только приказывать»... Факты, факты, г. Розанов! Где ** они? Не лжесвидетельствуйте так голословно. Ведь это же грешно. Если бы вы потрудились прочитать синодальные «Правила об устройстве миссий» ***... и ознакомиться с миссионерскими дневниками и записками в наших духовных журналах,— то увидели бы, что епархиальные миссионеры не представляют из себя никакой начальствующей единицы. Миссионер — *de jure* и *de facto* помощник **** священника и его опытный советник ***** в деле вразумления иномыслящих. Мы никому не можем приказывать. Наоборот, мы стеснены всякими предписаниями, приказами, инструкциями. Пропагандисты расколо-сектантства в этом отношении занимают более выгодное положение: они без всяких инструкций свободно разъезжают по России для проповеди, устраивают противозаконные сборища ***** , причем плодом одного из таких сборищ

* Конечно! Г-н Грингмут *устно* просился в Религиозно-философские собрания через В. М. Скворцова, а не «подал записку с просьбою». Но нам, выслушавшим это предложение В. М. Скворцова, и не известно было, и не интересно было, *как именно* г. Грингмут обратился к г. Скворцову.— *В. Розанов.*

** В Тобольской губернии, г. Булгаков. Ведь в этом 1905 г., после дарования *светскою властью* благословенной веротерпимости, расковались *духовные оковы* и возрашены были из Тобольской губернии на родину, в Малороссию, кроткие штундисты. Не священники же и не полиция, не умеющая *различать* вероучений, во всяком случае не берущаяся за это, выпроводила их: для этого нужны были «специалисты-эксперты», каковыми на суде и являются г. епархиальные миссионеры. Эти всякое с собою разномыслие объявляют «особо вредною сектою, не токмо опасною для Церкви, но и для Государства» (почти все наши секты объявлены «особо опасными для государства»). Последняя формула есть только вариант древнего инквизиционного приговора: «передаем вам (светским исполнителям, светской административной власти) сего грешника — для наказания наиболее легким видом наказания, *без пролития крови*». Тогда их сжигали, на глазах духовный судей — причем кровь, *запекаясь*, не «проливалась». Милые сердца. У нас, конечно, «тех же шей да пожиже влей».— *В. Р-в.*

*** Ну, конечно — «без пролития крови».— *В. Р-в.*

**** Как тонко, Боже, как тонко и деликатно. Сама гоголевская «дама, приятная во всех отношениях», могла бы позавидовать «хорошему тону» всего дела.— *В. Р-в.*

***** Просто — шик. Нет, я думаю, уже не берутся ли миссионеры из воспитанников пажеского корпуса? Откуда же эта деликатность!!! — *В. Р-в.*

***** Уже не поменяется ли миссионерам с ними положением и должностью? «Все прерогативы» у еретиков; а миссионеры — «страстотерпцы».— *В. Р-в.*

было, как известно, страшное Павловское дело. Мы же, проповедники веры Христовой, поистине находимся, как овцы * среди волков. И заметьте, г. Розанов, что в настоящее время враги Церкви Христовой в отношении нас изменили свою тактику: прежде они тащили «благовестников галилейского учения» к зверям и на костры,— а теперь, наоборот, они приближаются к нам с медоточивыми устами (Исаии 29, 13), прося допустить их в церковную ограду, дают нам иудино лобзание, делят с нами хлеб-соль (Псал. 40, 10),— а затем привязывают к позорному столбу газетного глумления и своими грязными перстами указывают на нас проходящим. Думаю, г. Розанов, что такое поведение «ищущих Церкви» несравненно отвратительнее, чем «сплетни всего мира в темную» и гораздо бесчестнее открытой борьбы древнего язычества с христианством.

«Епархиальные миссионеры только обременяют бюджет Духовного Ведомства без всякой для дела пользы». Так, так, г. Розанов! Некто, гораздо раньше вас, высказывал подобное же сетование о чужих деньгах (Иоан. 12, 4—6). Будьте откровенны, г. Розанов, скажите лучше прямо так: зачем Духовное Ведомство тратит деньги на содержание миссионеров? Отчего бы миссионерские суммы не употребить, ну хотя, например, на поддержку какого-либо, любезного вашему сердцу издания. Позволяю себе так комментировать ваши слова потому, что вы и в «Новом Пути» тоже кивали головой на *богатое* «Общество религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви» («Новый Путь». Октябрь). Оставьте лучше свою сомнительного свойства скорбь о чужих деньгах, которые совсем не так огромны, как вам кажутся: духовная власть, осведомленная гораздо больше вас о нашей деятельности, знает наши труды и ценит пользу, приносимую нами Церкви Христовой. Мы по мере сил своих насаждаем и поливаем ниву Божью (1 Коринф. 3, 6); и вы не судите о нас никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога (1 Коринф. 4, 5).

«Ни надлежащего духовного образования они (епархиальные миссионеры) не имеют и никакого духовного авторитета». Не вам, г. Розанов, судить о том, имеем ли мы надлежащее духовное образование: вы сами еще недостаточно тверды даже в знании Священной Истории Ветхого и Нового Завета и Православного Катехизиса. Вот вы издевались над г. Spectator'ом «Московских Ведомостей», «что он в вопросах религии как гимназист второго класса» (см. свой фельетон). Между тем если бы у вас была хотя самая малая часть богословских познаний г. Spectator'a, то вы, наверное, избежали бы тех колоссальных нелепостей, какие рассыпаны в ваших quasi-богословских статьях. Не спешите умозаключать, что мы не имеем никакого духовного авторитета. Если для вас и вам подобных интеллигентов наш голос не авторитетен, то ведь кроме вас есть еще сонм культурного верующего русского общества народа **. К мнению этого голоса мы советуем вам и прислушаться и спросить его, что он вам скажет о нас. Да и вообще не мешало бы гг. непрошеным защитникам духовных интересов нашего народа почаще спрашиваться у самого народа о его духовных запросах. Учредители «Религиозно-философских собраний» сделали крупную ошибку, что во время прений о свободе совести не пригласили в зал своих заседаний представителей настоящего русского народа, любящего свою веру, своего

* Скорее, я думаю, как ангелы среди чертей? — В. Р.-е.

** Непонятно. Запыхался человек.— В. Р.-е.

Царя-Батюшку и свое отечество. Эти представители весьма охладили бы истерический вопль г. Минского, г-жи Бородаевской * и К°. Христос Спаситель, пророки и апостолы не были авторитетны для еврейского народа (Матф. 23, 34—37 и др.); до сих пор эта «блудодейная и похотливая нация» (см. книги пророческие), которую, однако, вы так органически любите ставить в пример христианской семье, коснеет в своем противлении Вечной Истине. Неужели же разумно отсюда утверждать, что Спаситель и Его посланники вообще «не имеют никакого духовного авторитета» (выражусь вашими словами). Нет, г. Розанов, слово проповедников евангельской истины неубедительно только для тех, «кто», по словам пророка, «упрям, у кого шея железная и лоб медный» (Исаия 48, 4). Такие люди всегда будут ставить прихоти своего сластолюбивого сердца выше всего и под углом их оценивать того или другого учителя (2 Тимоф. 4, 3—4); понятное дело, что для них, как для «глухих аспидов» (Псал. 57, 5—6), не будет авторитетна даже сама Церковь со всеми ее отцами и учителями.

По недосугу ограничиваюсь пока настоящими словами. В заключение, опять-таки по долгу православно-миссионера, ради спасения вашей души, молю вас, г. Розанов, подумать о грозных и непреложных словах Спасителя: «создам Церковь Мою и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18). Бросьте свои сладострастные умствования о тайне пола, перестаньте плескаться мыслью в еврейской микве, прекратите апологию внецерковного брака под видом якобы защиты семьи и не хромайте на «оба плесна» в отношении Церкви и ее служителей, сказав прямо и откровенно: кто вы — друг или наветник, христианин или иудействующий? И не ожесточайте своего сердца, ибо человек, который,— будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления (Притч. 29, 1).

СПб. миссионер Н. Булгаков

Не правда ли, какой добрый тон? Евангельская любовь. И волкам-сектантам как, должно быть, уютно-тепло около «увещаний» этих кротких овечек. В.Р-в.

О пенсиях духовенству

Назначение пенсий и единовременных пособий заштатным священникам и диаконам и их осиротевшим семьям, вызвавшее благодарственный адрес Св. Синода, отвечает самой настоятельной и уже давнишней нужде. Никто у нас не стоит так близко к народу, как священник, и не знает его жизни до такой глубокой подробности. Сельский священник и диакон уже почти стоят в рядах крестьянства, лишь немного из него

* Г-жа Бородаевская, автор многолетних исследований о сектантстве, спросила вслух В. М. Скворцова: «каких вы нашли в России *штундо*-баптистов, когда есть только *баптисты*». Смысл вопроса в том, что баптисты — не наказуемая по законам протестантская секта, а *штундизм* — «особо опасная и строго наказуемая». Таким образом, вопреки свидетельству о себе самих сектантов, да и просто вопреки науке этнографии, гг. миссионеры *вешают на человека* бляху с подписью «волк» и уже затем требуют застрелить его — как бы он ни кричал: «я называюсь *человеком!* меня крестили Иваном». — В. М. Скворцов, как и его «подручные мастера», в том числе г. Булгаков, были смущены и ничего не нашлись сказать. — В. Р-в.

выделяясь более образованием, чем бытом. Они также имеют землю и обрабатывают ее; их жизнь и средства этой жизни неотделимо слиты со всеми перипетиями крестьянской жизни, с ее материальными невзгодами и благополучием. Быт народный и душа народная в глубине и красоте, а также в ее слабостях и изъянах, никому так не ведомы, как священнику.

Начиная с царствования императора Александра III идут заботы об улучшении его быта. Никто об этом быте так хорошо не писал, как известный священник Беллюстин, еще в 60-х годах; он пламенно указывал на безотлагательную необходимость обеспечения сельского духовенства хоть небольшим жалованьем. Ныне все это благополучно движется вперед и, Бог даст, дойдет до благополучного конца. Теснимое до крайности нуждою и в понятном страхе за необеспеченность семей своих в случае смерти главы, духовенство вынуждалось к нервному пересчитыванию тех пятаков и гривенников, какие получало за исполнение религиозных обязанностей. Тут нельзя его не пожалеть. Существовать нужно, а за требу брать больно: и вся жизнь священника, диакона и причетника проходит между этими Сциллою и Харибдою и, можно сказать, была отравлена и испорчена этой связью противоположных вещей. Вполне нужно удивляться вековой выносливости нашего духовенства и огромному его самообладанию, что при таком положении оно сохранило в лучших представителях и любовь к народу, и теплую веру, и вообще прошло через испытание, не деморализовавшись. Никогда не слышно было публичных жалоб священника к прихожанам своего прихода на скудость приношений. Этого не было во всей России и никогда. Крест бедности священник нес безмолвно. Между тем не неизвестны хотя редчайшие случаи, что и ксендз, и пастор *с церковной кафедры* говорили приходу о скудости приносимой лепты.

Слова, написанные Государем на благодарственном адресе Св. Синода «о служении в *истинно христианском духе*», к усилению коего призывается епархиальное духовенство, содержат указание на *нравственный, моральный* смысл христианства и таковую же миссию в народе нашего священства. Нельзя не заметить, что долгие века усердною работою духовенство *вышколило народ в обрядовой стороне отношения к Богу*. Но *сердечная, совестливая и тревожная* сторона не получила такой же обработки. Русский народ был бы первым в мире по нравственности, страшись он так же обмана, как вкушения скоромной пищи в пост. Прекрасно, что он соблюдает посты, но бедственно, что в той же мере и заботливости и *непременности* он не воздерживается от насилия, грубости и лукавства. Быт народа в нравственном отношении, в смысле «нравов и обычаев», оставляет чрезвычайно многого желать. И нам кажется, что указание «на служение в *истинно христианском духе*» может и должно двинуть духовенство в этом направлении. Христианство у нас было выражено как *уставность жизни*; между тем оно еще более есть *жизнь духа и в духе*.

Едва ли мы не угадаем истину, если скажем, что в самом нашем духовенстве есть уже встречное сюда движение,— особенно в молодом священстве. Многие пламенно идут на просвещение народа, читают с ним, учат его, рассказывают, раздают книги: и все с зовом на подвиг сострадания к ближнему и очищения сердца от всякой скверны и лукавства. Слова Государя на адресе живейшим одобрением пронесутся в сердцах этих частиц нашего духовенства и еще более окрылят его на подвиг для народа. Нет сомнения, что ближайшее будущее нашей Церкви выразится в этом движении на моральную ниву и в распространении сознания среди духовенства, что после того, как *девятнадцать веков народ «служил Церкви»*,— как говорится в молитве перед учением,— настал десятый век, когда и *Церковь послужит народу* не одним насыщением его церковными истинами, но и возжжением в нем *общечеловеческого света, общечеловеческой совести, общечеловеческой ответственности*. Здесь духовенство может не только научать, но и укорять. Деревенское пьянство, нелепые и вредные приговоры сельского схода под давлением кулака, самое это кулачество в его беззастенчивых проявлениях — менее бы развились, если бы встречали в твердом священнике мужественный моральный себе укор, моральное противодействие. Но страшная необеспеченность духовенства и зависимость от всякого пятака и гривенника сламывали твердость. В одном был тверд священник — в терпении за себя и у себя; но в отношении к прихожу и к прихожанам он не имел ни силы, ни возможности быть твердым.

«Истинно христианский дух», может быть, подскажет духовенству о необходимости ослабления еще одной неосторожности в его отношении к миру, к людям. Мы говорим о сектантстве русском. Воздействие на него духовенства будет тем успешнее, чем станет мягче, сердечнее; если будет ограничиваться всецело одним словом, беседою,— ни прямо, ни косвенно не ища других пособий.

О неудобстве частых перемещений в Духовном Ведомстве

В № 25 «Церковного Вестника», в статье «Духовные воспитатели», высказывается одна очень важная в практическом отношении мысль:

«Говоря о лучшей постановке в семинариях дисциплинарного дела, мы не можем умолчать об одном ненормальном явлении в жизни этих заведений: о частой смене ректоров. Мы знаем, напр., одну семинарию, где в течение 6 лет сменилось до 4-х ректоров. Нет необходимости доказывать весь крайний педагогический вред такого явления, не созидającego, а скорее разрушающего моральную сторону жизни воспитанников».

Действительно, если бездушным вещам, конечно, безразлично, какой человек около них работает и долго ли он работает, то совершенно

иначе это чувствуют люди, у которых существует *приноровление*. Нет *машины*-человека, и это — как в действии, так и в восприятии действия. Действующий, положим, ректор семинарии, ошибается вначале: но он думает, усиливается, изучает сферу — и этим он становится неизмеримо выше машины. Ибо поняв обстоятельства, оценив людей окружающих, он *приноравливается* к их личным недостаткам, слабостям, а также и к их талантам; *приноравливается* и, в свою очередь, их *приноровляет* к себе. Но для всего этого надобно время: вначале же всякий человек действует даже *хуже машины*. Теперь если в течение 6 лет в семинарии сменилось 4 ректора, то очевидно, что каждый из них действовал как новенький, т. е. совершенно неумело, *хуже даже бездушной машины*. К прискорбию, замечание «Церковн. Вестн.» (орган здешней Духовной академии) можно было бы и распространить. Не в одних семинариях, но и на епископских кафедрах частая перемещаемость лиц также вошла почему-то в обыкновение у нас, в значительной степени обеспложивая деятельность этих лиц. Вот два полученных нами письма, которые как раз продолжают сетование, высказанное на страницах духовного органа:

«Не знаем, к добру или к худу для нашей епархии частая перемена архипастырей: в 15 лет пожило у нас 8 владык, а консистория — все одна, е так и не меняют. А ведь это главный орган управления епархии; может быть, и он обветшал, не пора ли и его обновить?»

«Владыки обыкновенно бывают руководителями консисторий, а у нас, в силу необходимости, консистория руководит владыками. Через два года и через год приезжает новый владыка: не знает ни жителей, ни условий жизни, надо познакомиться. А как? Разумеется — через консисторию. Ну, она знакомит его по-своему: себя похваливает, а других не рекомендует. Владыка видит, что ближайшие его слуги и самовидцы — люди не прыткие, думает и о прочих то же и говорит: «людей нет, не с кем служить». И рад новому месту, торопится переехать на него: а епархия, бедная, оставайся опять со своей старой консисторией, как знаешь».

Письмо далее рисует мелкие некрасивые подробности, но ведь мы совершенно не знаем, где они есть и где их нет. Мы их можем предположить везде. И происходят они оттого, что захолустное место какой-нибудь далекой губернии видит у себя только почти проезжающих мимо архипастырей, которые не имеют времени ни познакомиться с делами, ни узнать людей, ни *разведать злоупотребления*. Скорее, их короткое посещение служит только моментом, когда все сгруппированное в самом губернском городе, т. е. в консистории и близ нее, торопливо спешит *извлечь всевозможные выгоды из неопытности епархиального начальника*. Так развиваются злоупотребления. А нужного благого дела, именно: нравственного влияния епископа на епархию, нравственной связи: пастыря с пасомыми, установиться не может. Вот еще письмо с жалобой на ту же очевидно слишком чувствуемую язву от частых перемещений владык:

«В наш пересыльный замок (так называют владыки нашу кафедру, на которую через год и два посылаются все новые владыки) приехал новый владыка, по природе артист, любитель церковного пения, живописи и садоводства, в грандиозных все размерах. Ему бы все это устроить в богатой епархии, например, в Воронежской, а не в нашей бедной. Владыке новому не понравилась старая консистория, а старой консистории новый владыка. Владыка предполагал членов переменить, а члены собираются владыку сменить. Теперь они ловят его на неудачных распоряжениях и при помощи их надеются достигнуть цели. И вот опять будет новый владыка и старая консистория. И так до скончания мира».

Нам кажется, здесь нравственные интересы паствы слишком приносятся в жертву собственно «служебному движению», служебной награде или служебному повышению духовных лиц. Да и соответствует ли вообще высоте и чистоте архиерейского служения это «передвигание» владык, как чиновников всякого другого ведомства? Русский народ привык совершенно иначе глядеть на архиереев, и нельзя не сознаться, что этот народный взгляд — и благочестивее, и нравственнее. Да едва ли это странное передвигание архиереев не имеет за собою молчаливую тенденцию: свести совершенно на «нет» их авторитет, их деловое значение, и передать его всецело в руки консистории, т. е. конкретно — секретаря ее; который, по регламенту, назначается на свое место и смещается с него *личным приказом* обер-прокурора Синода, и *ему одному* во всем подчинен и обо всем доносит; тогда как архиереи связаны и ответственны перед Синодом. Два отделения, *светское и духовное*, в Синоде и в епархиях: и светское, как, впрочем, и всюду, побеждает духовное.

Из оценок русского народа

Великие идеи (силы, вещи) велики своею приспособляемостью. Нет и никогда не было в истории совершенно косных вещей, неподвижных мыслей, которые получили бы значительность. Только то, что умеет *во всякое время* быть *своевременным*, что, живя, как бы вбирает в себя века и в новых веках получает новые краски,—то одно и существует исторически, а не бытовым одним существованием. Быть может, наиболее знаменитую иллюстрацию этого дает папство. Несмотря на его: «*sum ut sum aut non sim*», т. е. «да пребуду таковым, каково есмь, или не буду вовсе»,— оно на самом деле было крайне приспособляющеюся силою, всегда не только выражая свой век, но иногда становясь и во главе века. Папы эпохи Возрождения становились друзьями художников, каковы Рафаэль, Буаноротти, да-Винчи, и друзьями ученых, отыскивавших, разбиравших и комментировавших греческие и римские пергаменты. Ватиканские ложи вмещают в себе

вдохновения Рафаэля, а ватиканская библиотека есть богатейшая по отношению к словесным останкам классического мира. Да и можно представить себе, чем были бы римские понтифексы, если бы они в XV—XVI вв. захотели повторять Гильденбрандта и Иннокентия III, или в XIX веке — повторять полухудожников, полуартистов-пап XV в. Каждому веку свое. И залогом мудрости и силы несет явление, которое в каждом веке умеет быть своим, и не чуждым и не инородным явлением, еще менее — явлением враждебным. Русская царская идея едва ли менее гибка и приспособляема. Алексей Михайлович и его сын Петр — какие две различные задачи, какие два различных образа; и до чего мы живо чувствуем, что России одинаково были нужны и классический выразитель московской тишины и благочестия, и классический выразитель труда и бранных тревог совершенно особого цикла нашей истории. Не только в веках, но в четверть-веках русские Государи вели за собою иногда новые события, отвечая на нужду дня, на задачу дня. Здесь приспособляемость простиралась до перемены столицы, избрания новой столицы, и с нею обыкновенно нового принципа существования. Киев, Москва, Петербург — вот этапы движения русского самодержавия, места облачения его в совершенно новые одежды, всегда соответственные духу времени. И кому же не понятно, что без этой приспособляемости рассматриваемая сила была бы более хрупка, да и для России была бы более обременительна...

До чего это так, можно видеть из особенного характера просветительных забот императора Александра III. Судя по некоторым особенностям, можно было думать, что время этого царствования окончательно погрузится в разграничение «своего» и «не своего», «нашего» и «иностранного» у России и Европы; между тем государь этот, и именно лично он сам, двинул Россию к совершенно неожиданной задаче: к техническому усовершенствованию, к техническому развитию, к техническим делам и предприятиям. Великий Сибирский путь только самое крупное, но не единственное дело в сфере этих забот. Классическое образование пошатнулось в своем авторитете в это же время; и теперь мы на всех путях стоим накануне преобразования тихой обломовщины существования в бодрый, укрепляющий силы труд, — в бодрое, дающее хлеб насущный, практическое просвещение. Вот прекрасное движение, личная инициатива которого принадлежит императору Александру III, который для Европы был «Миротворцем», а для России, если возможен подбор новых титулов, «реалистом» в высоком, историческом смысле. «Довольно летать под небом, пора пообчистить грязь под ногами». Вот лозунг, вот время, вот дух истории, о перемене которого ничего ранее не было слышно.

Какою же археологическою ветхостью, а скорее — газетным приговорством и газетною неумелостью повеяло на нас из статьи «Моск. Вед.», озаглавленной «Русский народ». Русский народ, видите ли, не техник.

«Он не техник и не практик, хотя, в силу отличающей его общей даровитости, способен блестяще преуспевать и в этих областях, разработанных до него и для него другими народами, менее крупными, нежели он, в смысле этическом».

Курсивы везде московской газеты. Не правда ли, точно фон-визинский Вральман складывает комплименты ученику своему Митрофану?

«Ни технические успехи и меркантильный характер новой западной культуры, ни культ художественной красоты древней языческой Эллады, ни идея права, завещанная человечеству древним Римом,— не могли удовлетворить духовных запросов русского народа...»

Ну, что уж, слышали: «Не учишь, Митрофан, ты и без наук мудрее всякого умного». Нет, наши государи не так учили Русь: нужно тебе и право, не чужда и красота тебе, своевременно будут тебе даны и технические успехи, и понимание меркантильных дел. Далее, чтобы оправдать свои пока только отрицательные похвалы, газета кладет, в противовес этим мелким гирькам западных идеалов, сразу целый пуд одного идеала:

«по существу своему религиозный идеалист, русский народ избрал целью своего национального бытия деятельное и доброе хождение в воле Божией и путях семейных, общественных и государственных, стремясь к Царствию Небесному путями царства земного».

Конечно, русский народ сложил поговорку: «Без Бога ни до порога», но он никогда еще не понимал этого так, что «с Богом — ни за порог». Русский народ крестится, принимаясь за труд: и крест его только введение, предисловие, но не книга жизни, не страницы жизни. «Перекрестясь» и «с Богом» — русский выплывал на корабле в море, Андрей Боголюбский бежал из Киева в Суздальскую землю, и Петр бежал из Москвы в Петербург, встречать голландские корабли и рубить от себя окно к Западу и свету. Бога Россия не забывала и не забудет; но и света, просвещения не забудет же. И не забудет, до чего ей своевременно теперь, своим ли умом или по чужим образцам, пообчиститься и пообчиститься от исторического сора, лежалости, затхлости.

* * *

Не так давно еще «Моск. Вед.» высказывали, что русский народ куда выше стоит западных народов, что он — народ-«идеалист», тогда как западные народы суть народы-«техники». Так как идея вообще владеет материей, то это определение можно было перевести так, что русские есть племя высших способностей, призванное в будущем к руководительству, а разные там немцы, французы и англичане, у которых до сих пор мы заимствуем даже учебники для ребят, не умея сами составить их,— тем не менее суть народы низших, именно только практических

способностей. Мысль эта развивалась и, так сказать, художественно украшалась параллельно в ряде редакционных статей и в статьях проф. Московской духовной академии Алексея Введенского. Статьи эти — риторичные, потому пришлось практически, как говорится, «ко дню»: Но вот после духовно-праздничного дня наступил обыкновенный понедельник, а газета быстро снимает трехцветные флаги патриотизма и о том же народе русском говорит так, как паны польские о «быдле». Ей нужно доказать, что «народ-идеалист» должен быть выведен вон из земства и что его вовсе не следовало впускать туда при самом введении земского положения; хотя, как писали многократно в наших дворянско-охранительных органах, этот народ вышел из-под развращающего гнета крепостного права, сохранившись замечательно целым, не испорченным, трезвым, трудолюбивым.

«Преобразованию надлежало наметить — кому, каким элементам местного населения и местных людей могли бы быть вверены функции местных забот, интересов и управления. Способный к управлению элемент населения представляет собою только одно поместное дворянство, и только ему и могли быть вверены эти функции. Никаких других элементов, способных принять от Государства местную часть его общих забот, часть хотя бы мелочную в проявлениях, на местах — не было и нет до сих пор. Невозможно же с пользой участвовать в какой-нибудь организации, совсем ее *не понимая* (курс. «Моск. Вед.»). Как мог крестьянин быть полезным членом земских учреждений, не понимая ни что такое «гласный», ни что такое «собрание» и «управа», смешивающий «земские сборы» с «казенными повинностями» и «члена» управы с «полицейским заседателем»; не могущий уяснить себе разницы между «страховым агентом» и «судебным приставом».

Так перемалевывает газета праздничного «херувима» в будничного «черта». Крылья обломаны, рожа зачернена; подпись: «черт и быдло». Нужно, наконец, вывести на чистую воду газетку, которая на воскресенье надевает на себя доспехи рыцарского славянофильства, цитирует и излагает мысли Аксаковых и Хомякова, крестится на кремлевские соборы и вообще действует по всем привычкам купца, который наиболее божится, когда наиболее собирается вас надуть; а приступая к обсуждению какого-нибудь практического мероприятия, принимает тон остзейского дворянина или галицкого пана. «Моск. Вед.» начали Цицероном и кончают Чичиковым. Чем черней русский народ, чем больше теми, пороков, «быдла» на Руси, тем блистательнее роль «Московских Ведомостей». Тут все начато и кончено эгоизмом. Прасол, скупавший «по мелочам» мертвых душ, ходит теперь с просьбой о новеньких законах.

«Мы сказали и говорим, что если уж Правительство решило передать местным людям заведывание некоторыми хозяйственными функциями областного управления, то искать людей для этого можно было и следует только исключительно среди поместного дворянства»...

Воронья песня и ястребиные когти.

«Моск. Вед.» не в первый уже раз ставят на столбцах своих вопрос: «Что выше в житейских отношениях — *любовь* или *закон*? Нам кажется, что закон, в котором нет любви, и есть ненависть,— нелеп и едва ли возможен. Закон требует от нас минимума любви, а когда есть больше любви, чем сколько требуется в законе, то, конечно, закон только может одобрить ее. Закон и любовь не в разных линиях, а в одной линии. Но так мы думаем, *веря в закон и полагаясь на закон*. Однако автор статьи, г. Sempere idem *, видит опасность для закона в любви. Да не подумает читатель, что вопрос идет о браке, где, как известно, любовь — опаснейшее чувство, и все наши консерваторы хором утвердили, что основание семейного согласия лежит в равнодушии друг к другу. Дело идет не об этой *quaestio vexata* **, а о самых обыкновенных, так сказать, соседских отношениях.

«Корень и источник зла заключаются в том, что любовь, о которой столь часто говорит современное общество, оторвана (почему же оторвана?) от своей истинной основы, т. е. от христианской веры. Христианство считает высшим благом человека вечное спасение души, и всякая истинная любовь должна поэтому проявляться в содействии достижению именно этого блага. Современная же любовь высшим благом считает благополучие земное (какое горе!) и к нему направляет все стремления. Христианство говорит: «*пусть тлеет внешний человек, лишь бы обновлялся внутренний*». А современный альтруизм возражает и переставляет отношения: «*пусть благоденствует и благодушествует внешний человек, а там будь что будет; до внутреннего человека нам дела нет*».

Ах, уж эти левиты!.. Совсем забывают притчу о том израильском левите, который, увидя израненного на дороге разбойниками, сказал в себе: «ну, что: — это изранен внешний человек! поспешу в храм и устрою в себе внутреннего человека». Так и нынешние левиты; не нравятся им, когда мы помогаем друг другу: «Это — что-то опасное! Тысячу лет этого не было: мы в старинку — жили желчью и кипели в гнев, а были во спасении. Теперь — любят друг друга, и без всяких причитаний. Новые веяния! новые веяния!» Но, друзья, мы верим евангелисту, изрекшему: «Бог — любви есть». И помним слово апостола: «А если *законом* оправдание, то Христос *напрасно умер*». Апостол сказал это в объяснение ученикам своим, почему Иисус нарушил субботу, и развивая далее ту мысль, что с Христом упразднился весь древний, суровый к человеку, закон. «Московские Вед.» могут быть уверены, что никогда русское общество не повернет от Христа к иудейству. Да и откуда на Страстном бульваре юдаизм? Ведь, помнится, синагога там на Солянке?..

Ах, схимники, схимники: а почем берете от казны со строчки объявлений?

* Всегда тот же самый (*лат.*).

** животрепещущий вопрос (*лат.*).

О МИЛОСТИ К ЖИВОТНЫМ

Не однажды в статьях, печатавшихся в «Мире Искусства», я обращал внимание на то, что исключение *крови* из средств *общения человека с Богом* (древние жертвы) погасило в людях вообще чувство *трансцендентности* крови и жизни, сперва у животных, а потом даже и у человека. Жизнь (чужая) стала дешева; кровь — как бы сукровица из нарыва — не вызывает видом своим страха. «Льется ли или не льется она — что нам, людям духа и духовности, до нее?» Отсюда учащность убийств, самоубийств; отсюда войны, и их последствия — постоянные армии. Я, между прочим, ссылаясь в тех статьях на Турцию и известный константинопольский обычай — не убирать (не убивать) с улиц собак. Это сделало улицы несносными, но стяжало славу доброты османлисам.

В одном и том же № 9773 «Нового Времени» я прочел два известия, которые поразили меня контрастом; и они, *местом* происхождения своего, подтверждают догадку мою, *откуда* идет вообще «зверобойство» нашего времени, так нередко переходящее в «человекобойство». Вот эти известия:

ВОПИЮЩЕЕ ВАРВАРСТВО

(Письмо в редакцию)

«М. г. Вероятно, мало кому известно, что кожа животного лучше отвечает предъявляемым к ней требованиям, если она снята с живого животного, и вот такие кожи действительно получают повсеместно на Руси.

В Конотопе, напр., существует заведение, где приспособлена клетка, в которую, насажавши собак, понудительным способом выгоняют их в узкий проход из нее; в проходе устроено приспособление, снимающее кожу, благодаря которому собака выскакивает из клетки и бежит ободранная. С живых лошадей сдирают кожу следующим способом: надрезывают кожу в нужных местах и заворачивают ее внаружу, пристегивая к ворчику, в который впряжена другая лошадь. Нахлестав последнюю, усилиями ее стаскивают кожу с первой и так ее и бросают привычные к этому мастера, не добив даже лошади. Надеюсь, что мое сообщение обратит внимание и послужит хоть немного к облегчению участи животных. Очевидцы не откажутся подтвердить мои слова».

В. Тиморев

Село Тулиголовы, Черниговской губ., Глуховского уезда.

Вы не испытываете ужаса? решительного ужаса при этих дьявольских муках ради грошового интереса? Да что же, есть на месте этом священник? Ведь тут — религия; ведь он мог бы объяснить, что Бог животных сотворил *наряду* с человеком? Бросим, безнадежно. Вот другая статья:

ОТДЫХ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

«Жители окрестностей Старого Крыма (Таврической губернии), по словам «Южн. Края», решили предоставить отдых... животным! своим лошадям, волам и другой рабочей твари. Они постановили воскресные дни не выезжать из села ни на базар, ни в город для продажи продуктов своего труда, с целью дать животным отдых хоть один день в неделю».

Невозможно не подумать, что добрый крымский обычай возник под действием караимов и татар, которые помнят заповедание о субботе: «Пусть отдохнет в нее и сын твой, и дочь твоя, и *раб твой, и вол твой*». Потому что, отчего же этот обычай не возник нигде в другом месте, а только в одном-единственном, где «бескровная жертва» — колониальна, а не туземна? Обычай этот рядом лежит с константинопольским «не убивать собак». А наше *всероссийское* (пишет корреспондент) сдирание кожи с живого животного лежит рядом же с повсеместным и всяческим возвеличением человека над всякою иною, чем он сам, «тварью», — с пренебрежением к животным, с презрением и в себе самом «животной, низшей стороны». — «Мы не Адонисы», как говорит и о. Михаил: и, оставив собаку в клетку, — пугаем ее так, что она выскакивает голенькая, а шкурку оставляет нам, христианам. Ведь вот к чему ведет «умерщвление оргийного в человеке начала», которое о. Михаил, так мало его понимая, оспаривает у людей новой мысли. Едва ли надо объяснять, как и почему и караимы и османлисы более «оргийны», чем этот почтенный лектор в Соляном городке и большинство его слушателей, читателей и почитателей. Мы же, подняв в печати вопрос об «Адонисе», между прочим говорим и о том, чтобы мы жили и радовались духовно и *животно*, сами — и *с животными*; и заводили обычаи и праздники для себя и для них. Это и есть «великий Пан» и «древний Эрос» в эллинской транскрипции; или: «субботу празднуй ты и *вол твой*» — в иудейской транскрипции.

Я надписал статейку: «О милости к животным». Правда, мне хочется вымолить ее у читателя. Но это — европейская транскрипция моей мысли, которая едва ли приведет к чему. Не научимся мы *миловать* животных, пока не почувствуем их *милыми* себе: а это уже семитическая или эллинская точка зрения, по коей нужно животных или художественно созерцать, или чувствовать их родными себе, немножко — «единокровными».

Все бледно в рассуждениях — без иллюстрации; все остается без них *недоказательно*. Вот отчего великая поднывающаяся тяжба между интеллигенцией и духовенством, как уже ранее поднялась тяжба между *семьей и аскетизмом*, требует страниц и страниц. В качестве таких иллюстраций ли, или, пожалуй, «приложений», я приведу частное письмо, напечатанное в «Новом Пути», екатеринославской помещицы, женщины, вероятно, или институтского, или гимназического образования, во всяком случае без ученого диплома, хозяйки и матери семейства. И, вслед за сим, перепечатаю первые страницы «Публичного богословского чтения, предложенного 21 марта 1904 г. в зале Московского епархиального дома» под заглавием: «Что нам нужнее всего» известного архимандрита *Никона*, редактора «Троицких листков», литератора и ученого или полулитератора и полуученого. Сравнение: *чем занята мысль, воображение и сердце одной и другого; и что вынесут читатели этого письма и той лекции — даст обильную пищу для размышления читателя этой книги, для критики поставленных здесь тем и вопросов...*

В. Р-в.

ХУЖЕ, ЧЕМ ИРодОВЫ ЖЕРТВЫ

«Со времени Достоевского в русской литературе не было таких страдальцев за детей... Нет проповедника, который бы воздвигся на защиту ближайшего и... еще неоскверненного подобия Божия, нет миссионеров, которые шли бы в народ восстанавливать попорченную заповедь Христа о детях».

(М. Н. М. «Иродовы жертвы». Статья в «Новом Времени»).

Иродовыми жертвами были названы в одной статье в *Новом Времени* дети, бросаемые у нас на произвол судьбы; а мне кажется, что младенцам, умерщвленному сразу Иродом, было лучше, чем нашим, медленной смертью гибнущим, беспомощным детям.

Что-то безнадежное, непримиримое поднимается в душе, когда видишь, что ко всем неизбежным стихийным бедствиям людей — мы сами своим тупым, жестоким равнодушием создаем условия, от которых только после тяжких страданий гибнут физически и духовно несчастные дети, которым даже нет счета у нас в России...

Сколько раз бессильно, с тупым отчаянием опускались у меня руки, когда мною овладевало желание найти отклик у общества и хотелось обратиться к печати, чтобы вызвать участие к этим беспомощным, безгласным жертвам общественного равнодушия. Зачем писать и говорить, когда читатели не только с полнейшим равнодушием, но даже с досадным брезгливым чувством пропускают разные статьи, обращающие внимание на положение несчастных.

У нас еще можно расшевелить сердца описанием какого-нибудь трагического происшествия, кровавой драмы, бедствий войны: но напоминание об обыденных, близких житейских страданиях вызывает только желание поскорее перевернуть страницу. Даже лучшие люди у нас выказывают какое-то пренебрежительное отношение к вопросам благотворительности, которая большею частью выражается у нас лицемерным отбыванием повинностей, вроде разных дамских заседаний, в которых участвуют расфранченные фешенебельные дамы, являющиеся в бриллиантах и кружевах торговать грошевыми безделушками на базарах «*pour les pauvres*» *, когда было бы гораздо проще и выгоднее для бедных, если бы им просто отдавались те 10, 20 рублей, которые такая благотворительница выбрасывает на покупку модного газового бантика...

Но у нас не любят этих вопросов, и еще недавно посланное мною в редакцию одной большой газеты письмо, обращающее внимание на некоторые вопиющие стороны в положении беспомощных сирот по деревням, было отвергнуто, хотя газета охотно печатает всякие пустяки об итальянских тенорах, балеринах и т. п.

Между тем, кто же услышит нас, сельских жителей, если столичная пресса будет глуха к нашим голосам? В городах, где сосредоточены кадры интеллигенции и сильных мира, — кое-что все-таки делается для попечения о бедных и беспомощных детях, но никому нет дела до крестьянских сирот, никто не хочет о них думать, ничего для них делать! В каждой деревне всегда есть круглые сироты или полусироты, остающиеся на руках неимущей вдовы, положение которой поистине безвыходное, потому что в услужение такую бабу с ребятами не берут, а земли или совсем нет, или так мало, что сдача ее в аренду еле покрывает мирские сборы и налоги, от которых не освобождаются такие беспомощные голодающие наследники. Жителям деревни хорошо известно тупое и бессердечное отношение мирских заправил к бедным и сиротам. По закону, например, крестьянские общества обязаны заботиться о сиротах и выдавать нуждающимся по 20 ф. хлеба в месяц на каждого сироту или полусироту.

На деле же они не только ничего не выдают им, но выталкивают в шею тех вдов, которые решаются просить о помощи.

Что же остается делать таким вдовам? — Детей, мало-мальски способных к хождению, матери пускают нищенствовать, отдают слепым и калекам в поводыри, а с малыми перебиваются до тех пор, пока те не умрут от истощения. Всем, кто приходил в соприкосновение с такими вдовами, известно, как искренно молят они Бога, о смерти таких детей, и, я думаю, ни один фарисей не осудит такую мать, не упрекнет в жестокости, — ведь нельзя же выносить день и ночь жалобного плача голодных умирающих детей...

А между тем односельчанам, даже бедных деревень, было бы нетрудно, в течение двух, трех лет поддержать такую семью сирот, пока старшие дети подрастут настолько, что их можно отдать в наймы, потому что деревенские дети уже с 8, 9 лет могут зарабатывать себе пропитание, нанимаясь в няньки и пастухи.

* для бедных (*фр.*).

Таким образом, тут дело не в недостатке средств, а в недостатке участия, желания помочь и в отсутствии у нас правильной организации призрения бедных, которая уж давно существует везде в Европе. Большим злом в этом отношении является традиционная обособленность крестьянского сословия и вследствие этого некультурность крестьянских порядков самоуправления. По существующим законам только один земский начальник может вмешиваться в крестьянские дела, но можно ли ожидать, что, заведая судебными и административными делами нескольких волостей, земский начальник может принимать ближайшее участие в темном царстве нашей деревни? Мне известны случаи, когда земские начальники отдавали строгие приказания сельским властям оказывать поддержку беспомощным детям, — и все это не оказывало действия, потому что земский начальник не имеет времени проверять на местах исполнение разных своих требований.

А теперь при новом переустройстве продовольственного дела положение сирот стало еще хуже. Прежде выдачей хлеба из запасных магазинов заведывали члены земских управ и земские начальники, и тогда все-таки хоть часть вдов могла обращаться к ним с просьбами; но теперь каждое разрешение о выдаче хлеба из общественного магазина должно идти на рассмотрение Губернского присутствия, на что уходит год и более, т. е. срок вполне достаточный, чтобы уморить голодом несчастных детей.

И мы видим, что, с одной стороны, закон требует призывать сирот, а с другой — сам лишает возможности это делать. Все это происходит от нашей бюрократической централизации и столь губительной для народа обособленности крестьянского сословия. Крайне необходимо поэтому, чтобы намеченные правительством преобразования возможно глубже и шире захватили порядки крестьянского управления и обратили бы внимание на долг общественного призрения. Но пока желанные реформы получают свое осуществление, общество с своей стороны должно сделать все от него зависящее, чтобы своим опытом указать наиболее целесообразные способы попечения о сиротах и вообще всех гибнущих в нищете и потьмах. С такою целью образовалось в нашем уезде «Общество попечения о сиротах и беспомощных детях». Члены общества озабочены теперь устройством сельских участковых попечительств, которые могли бы привлекать к сотрудничеству лучших местных жителей всех сословий: помещиков, духовенства, учителей, врачей, фельдшеров, сельских властей и крестьян. Успешное развитие таких сельских попечительств может создать действительно организованную помощь нуждающимся и оказать большое культурное влияние на нравы деревни.

Являясь связующим звеном между интеллигенцией и народом, участковые попечительства развивали бы в крестьянах чувство нравственной ответственности, которая лежит на тех, кто отказывает в своей помощи, бросает без призора беспомощных детей. Если их гибнет столько по деревням или пополняются ими миллионные ряды нашей армии нищих и преступников, то не потому, что население не имеет материальных средств для их поддержания, а потому, что оно не имеет желания и охоты, не сознает своей нравственной обязанности в этом. Удобнее всего было бы приурочивать такие сельские попечительства к церковным приходам, которые по числу жителей и протяжению представляют собою наиболее подходящие участки.

В Европе, где духовенство всегда было деятельно и предприимчиво, — такие благотворительные попечительства с издавна приурочивались к церковным приходам. Но, к сожалению, наше духовенство не обнаруживает желания брать

на себя это, казалось, самим Богом указанное ему дело. Так, на обращение, разосланное нашим Обществом 98 священникам нашего уезда, с просьбой вступить в члены-сотрудники и доставлять сведения о нуждающихся заброшенных детях,— откликнулось лишь трое. На мой запрос одному молодому священнику — не желал ли бы он вступить в члены Общества и сообщать сведения, он ответил, что «в его приходе нет таких нуждающихся, а между тем вскоре было сообщено другими лицами о бедственном положении нескольких сирот. Как грустно и безотрадно видеть такое равнодушие к христианским обязанностям среди нашего духовенства. Если думать, что это происходит вследствие общей бедности и малокультурности нашего сельского духовенства, то почему же среди, например, земских учителей, которые по своему материальному и образовательному цензу стоят в общем ниже священников, нашлось больше лиц, откликнувшихся на призыв Общества? Почему даже в Москве с ее богатым и образованным духовенством, при учреждении там городских попечительств в 1894 г. * из 230 приходов существовало только 32 «церковно-приходских попечительства», деятельность которых нельзя и сравнивать с «Городскими участковыми попечительствами».

В Петербурге образовалось «Религиозно-философское общество», имеющее целью сближение интеллигенции с духовенством. Мне кажется, что самые искренние усилия этого Общества останутся бесплодными до тех пор, пока наше духовенство не выступит в ряды деятельных и идейных сотрудников во всех общественных начинаниях, направленных на помощь ближним, на предупреждение духовной гибели обездоленных.

Ничем нельзя так завоевать себе уважение и симпатии интеллигенции, как деятельным служением людям; и везде, где явится пастырь, который искренно, бескорыстно посвятит себя добрым делам, внося примирение и дружелюбие в наше разрозненное общество,— везде к нему прильнут лучшие члены общества, каковы бы ни были их религиозные мнения.

Позволю себе по этому поводу привести слова глубокоуважаемого деятеля из среды духовенства, протоиерея Григ. Петровича Смирнова-Платонова из его статьи «Попечение о неимущих и защита детей с христианской точки зрения» **.

«Нужно ли говорить, кто должен быть учителем и руководителем благотворения в христианском обществе? Очевидно, представители христианской Церкви, духовенство: это высший и главный долг пастырства. Говорить об этом много нет нужды: существо дела и пример древней Церкви не оставляют в том сомнения. Попечителем бедных и распорядителем приношений общины на пользу бедных был епископ, самое наименование которого знаменует руководство и надзор за правильным течением нравственно-общественной жизни, верной христианскому назначению. В древней Церкви существовал потом особый институт дьяконисс-женщин, посвящавших себя на служение делам милосердия».

Приходится ставить вопрос: призвано ли духовенство, при нынешнем порядке вещей, принимать непосредственное участие в делах общественной благотворительности? По существу дела, этому вопросу не должно бы быть и места; но данное положение вещей так ненормально, что приходится ставить такой странный вопрос, чтобы утвердить категорический ответ на него и предьявить этот категорический смысл желательных отношений между духовенством и обществом, как общественному сознанию, так и вниманию духовенства. Жизненная связь между духовенством и обществом в новые времена русской истории

* См.: *Вестн. Евр.*, янв. 1895 г., стр. 442.

** См.: «Охрана детства». Сорокина, 1893 г.

слабела более и более, и, несмотря на частные официальные сношения между обществом и духовенством, во взаимных нравственных отношениях того и другого произошло, наконец, нравственное одичание. Духовенство ценит в светских людях *только набожность и так называемое усердие к церкви*, оставляя в стороне жизнь; общество смотрит на духовных только как на отправителей церковных треб.

Представители Церкви по долгу пастырства обязаны принимать ближайшее непосредственное участие в движении жизни общественной во всех тех случаях, когда так или иначе раскрываются в ней нравственные интересы. Область общественной благотворительности всецело имеет нравственный характер; и чем более практических недоразумений между духовенством и обществом, тем настоятельнее потребность для духовенства выйти из своей замкнутости и вспомнить свой пастырский долг.

Для самого духовенства вернейший способ выйти на путь живой пастырской деятельности — принять участие в делах общественного благотворения, начиная с самого близкого для него дела — приходского попечительства: только тогда убедится общество, что духовенство готово заботиться о нем в лице нуждающихся классов и возратить ему полное доверие, открывающее доступ пастырскому влиянию.

Вера Гриневиц

Красный Рог, Екатерин. губ.

Теперь послушаем человека, который не присел на минуту к письменному столу, чтобы написать безыскусственное «письмо в редакцию» о том, что видит кругом себя и о чем страдает его сердце, а приготовился торжественно к речи в торжественном собрании, где он не скажет *лишнего* слова и не забудет ничего *нужного*.

Это — не суетный хозяин, и семьянин, погруженный в счет хлебов, в болезни детей, заботы о здоровье мужа: нет, от юности он удалился от мира и провел всю молодость в местах, где сердце его напоялось бы любовью, милосердием, состраданием, а ум — мудростью. Вот его слово:

ЧТО НАМ НУЖНЕЕ ВСЕГО?

*Беседа Троицкого инока
по поводу современных начальных явлений
в духовной русской жизни **

Властное слово пастырское, или авторитетное слово богословской науки — вот что обычно слышится здесь с этой кафедры. Но теперь пред вами инок; правда, этот инок, судьбами Божиими, семь дней назад стал архиереем; но он не перестает считать себя иноком от дому Живоначальной Троицы и Преподобного Сергия и просит позволения поведать свои монашеские думы по поводу печальных явлений в современной нам духовной русской жизни. На это дает ему дерзновение столь дорогое для русского сердца имя *Сергиево*. В самом деле:

* Публичное богословское чтение, предложенное 21 марта 1904 года в зале Московского Епархиального Дома.

кому из православных русских людей с раннего детства не знакомо это святое имя? У кого из нас, коренных москвичей, сладостно и радостно не трепетало сердце, когда наши благочестивые родители говорили нам, детям, о преподобном Сергии и его знаменитой Лавре? О, с каким благоговением вступали мы тогда в святые врата заветной обители Сергиевой, с каким восторгом, благоговейным умилением повергались пред священной ракою его нетленных мощей!..

Говорят: Москва есть сердце России. Если так, то Лавра Сергиева есть один из самых жизненных нервов этого сердца. Именно *здесь* скорее, чем где-либо, можно подслушать биение русского народного сердца, приобщиться народной жизни, проникнуться сознанием истинно русских основ и идеалов этой жизни.

Мы переживаем период нравственного пробуждения. О, как хотелось бы сказать: обновления, возрождения! Грянул гром небесный, и мы проснулись. Заговорило патриотическое чувство, а оно в русской душе нераздельно с чувством религиозным, православным. И вот совершилось поистине чудо: те, кто вчера еще готов был кощунствовать над всем, пред чем благоговевает православный русский человек,— сегодня поют уже на улицах: «Спаси, Господи, люди Твоя»...

Всем сердцем хотелось бы верить, что совершается таинство духовного возрождения в этих певцах, но — увы — мы знаем слабость и непостоянство людей, знаем их склонность ко всему недоброму и опасаемся: не есть ли это лишь минутное пробуждение, после которого и мы, и они — снова заснем беспечным сном?.. Не год, не два, а целое столетие, больше столетия расшатывались коренные устои русского православного мирозерцания; дошло до того, что и в печати, и с церковной кафедры то и дело приходится слышать, что мы переживаем смутное время, тяжелое время. История знает смутное время триста лет назад: народ называл это время «лихолетием», историки — «междоусобицей». Но какая разница между смутой того времени и — нашего! Тогда причина была ясна, как Божий день. Царя не было на Руси: без Царя Русская земля — сирота. А в глубинах народной души глубоко таилось великое сокровище веры в святость Царской власти, непоколебимость убеждения в правоте своего родного Православия. И вот, когда Русь была готова погибнуть под ударами чужеземных врагов — ее спасли эти бесценные сокровища ее души. И смуты как не бывало...

То ли теперь?

Как солнце красное на небе ясном всем нам светит и всех греет наш воистину благочестивейший Божий Помазанник; не дает Он вора́м и изменникам творить смуты на Святой Руси; высоко держит Он знамя Православного Самодержавия на страх всем нашим врагам... А между тем — как всем нам тяжело жилось в последние годы! Сколько смуты вносилось откуда-то в умы и сердца нашей молодежи, нашей так называемой интеллигенции, и даже — рабочих и простого народа! Не диво, что врагам России выгодно сеять смуту; не диво, что заграничные Комитеты разрушения всех устоев нашей народной жизни усердно рассылают свои безграмотные (а стало быть, и *не русскими* людьми сочиняемые) прокламации,— вот что удивительно: почему эти плевелы находят себе благоприятную почву именно в *наше* время? Отчего так сладок кажется всякий запрещенный плод отрицания нашим полуобразованным классам и — нередко — даже представителям нашего научного знания.

Зло идет глубже. Оно проникает в такие семьи, которые, казалось бы, должны быть застрахованы от его вторжения безусловно. Им заражаются дети,—

не те дети, что учатся в средних и высших школах: там эта болезнь давно известна,— а те дети, что живут под кровом родительским. Недавно у меня в келье плакал — буквально навзрыд плакал один священник: его тринадцатилетний мальчик стал невером, нигилистом, фанатиком-отрицателем под влиянием своего репетитора-студента. Несчастный отец спрашивал: что ему делать?.. Я знаю семью другого — сельского священника, теперь уже почившего, дочери которого, заметьте — *ни в каких школах* не учившиеся, заразились толстовщиной и на место святых икон поставили портрет этого современного кумира...

Нужно ли напоминать те глубоко печальные, прямо — ужасающие явления, которые заставляли так много говорить о себе и печатать, и общество, хотя бы только за истекший год? Я разумею те возмутительные убийства и самоубийства, которые совершались или разными юношами, почти детьми, или же людьми, получившими дипломы высшего образования; я разумею ту открытую противощерковную, противоправительственную пропаганду, которая недавно обнаружена даже в народных школах; я смело ставлю рядом все эти явления потому, что по внутреннему, нравственному их смыслу, по их отношению к христианской совести, они имеют одну и ту же ценность, истекают из одного общего источника — полного презрения к требованиям внутреннего закона и попрания совести...

В самом деле: вдумайтесь в психологию современного грешника, нарушителя Божеских и человеческих законов. И в старину русские люди грешили, может быть грешили и более грубыми грехами, чем теперь; но тогда грех — грехом и называли, пред совестью не лукавили, и в этом признании уже было начало смирения пред Божьей правдой, возможность и семя покаяния. Теперь не то. Теперь грешник хочет доказать свое *право* на грех, хочет ввести грех в норму жизни,— не только оправдать его, но и поставить на пьедестал, поклониться ему, яко богу... Давно чувствовалась наклонность к этому идолопоклонству, но люди все еще сдерживались — сначала остатком страха Божия и совести, потом — стыдом человеческим, потом — приличием, наконец — страхом человеческим. А в наше время уже перестают стесняться: чем смелее выступает наружу всякое хулиганство, начиная с уличного, босяческого, и кончая литературным, тем больше оказывают чести героям такого хулиганства. Появилась якобы художественная литература, посвященная психологии всех нравственных отбросов общества и, как бы в параллель с этой литературой, и в области религиозной мысли появились своего рода хулиганы, для которых нет ничего святого в понятиях Церкви и авторитета Божественного Откровения. Чувствуется, что исконный человекоубийца становится все смелее и смелее в своих нападениях на Святую Христову истину, приобретает все больше и больше себе сторонников среди именующих себя христианами, вносит все больше и больше смуты в умы и сердца слабоверующих, всячески затемняя светлые и чистые понятия в области нравственной, подвергая их какому-то пересмотру, переоценке, постепенно устрняя из сознания верующих самую *потребность* в высшем, вечном авторитете. В старину это ему не удавалось: с молоком матери русские люди всасывали заветные истины веры, непоколебимую преданность авторитету святой матери-Церкви, любовь к ее преданиям и заветам. Русский человек сердцем умел ценить эти сокровища и отрешивался от всякого вольнодумства. Умудренный тысячелетним опытом Сатана хорошо понимал это: он и не настаивал со своим вольнодумством в русских умах. Он делал свое дело другим путем: все расшатывал и расшатывал самую

жизнь нашу — сначала послаблениями себе, а потом и пороками, внося в нее, в эту жизнь, тлетворную атмосферу греха во всех его видах: похоти плоти, похоти очес и гордости житейской. Незаметно для нас он отводил нас от Христа, от жизни во Христе, от Его заповедей, от Его Церкви, и приводил к практическому язычеству... Бога мы не отрицали, Церкви формально держались, обряды кое-как соблюдаем, но понятия о духовной жизни, о необходимости бороться с страстями, очищать от них свое сердце для Божией благодати, воспитывать в себе способность и приемлемость к будущему вечному блаженству — все это как-то постепенно гасло в нашем сознании, вытравлялось из души, исчезало почти без следа. Наши школы, даже духовные школы, не давали и теоретических понятий из христианской аскетике, и из них выходили юноши, получившие полное — даже в богословском смысле — образование, но в отношении духовной жизни — столь же полные невежды. Мало того: самое образование ума часто велось за счет развития христианской совести: в юношах намеренно возбуждалось честолюбие, тщеславие, чтобы побудить их лучше усваивать научные знания. О воспитании сердца в духе хриstopодражательного смирения никому не было и дела: все было предоставлено неопытной собственной совести учащихся, лишь бы они не нарушали самой необходимой дисциплины. Даже в будущих пастырях не воспитывалось убеждение, что нельзя учить других тому, чему сам не научился; нельзя других вести в Царство Небесное, если сам не знаешь туда дороги... Забыто мудрое слово Святых Отцев: «аще кои, не дознавше самым делом, разглагольствуют о учении духовном, подобии видятся человеку, меда ниже мало вкусившему, а другим, коль есть сладчайший, доказати сялящемуся» (Пр. Макарий Егип.)... Так, незаметно для самих себя, мы уходили от Церкви, от Бога и, не отрекаясь формально от христианства, погружались в духовное невежество, становились по жизни язычниками...

Сатана видел все это и — радовался. Отуманивая нас суетою житейскою, он все больше и больше удалял нас от матери-Церкви; отнимая из-под наших ног почву церковности в воспитании и жизни, он оболщал нас разными веяниями, гипотезами, новинками — с Запада. Появились, наконец, и свои доморощенные философы, мыслители, которые радикальнее своих западных товарищей стали переоценивать ценности и сплеча решать вопросы веры и жизни. Сначала неясными намеками, а потом все смелее и смелее, наши реформаторы стали расшатывать, дискредитировать в глазах малосведущих основные устои церковной жизни и веры, искать каких-то «новых путей» к богопознанию, проповедовать даже новый культ — поклонение полу... Это уже была проповедь настоящего язычества. И мы, т. е. наши так называемые интеллигенты, увлекались ею: начиналось шатание, колебание в нашем собственном мирозерцании; нам ведь некогда было опытом сердца познакомиться со своей святою верою; а когда, по временам, просыпалась совесть русского интеллигента, то он оказывался беспомощным... Ему уже внушено было предубеждение против родной Церкви — этой сокровищехранилельницы истины Божией, а как это случилось — он сам не дал бы себе отчета. Куда же бежать? Где искать утоления пробудившейся духовной жажды? И он бежал к пашковцам, к штундистам, к разным новым непризванным пророкам, не исключая и «великого» Толстого. Только бы не в Церковь: это так старо, так пахнет ладаном и постным маслом...

Враг торжествовал. Верхние слои Руси Православной были достаточно отравлены, достаточно подготовлены к язычеству. И он поднял знамя этого язычества в лице Толстого, — язычества в самой подходящей, самой тонкой форме,

хотя и далеко не новой, в форме подновленного, на русский лад переделанного пантеизма. Литературная слава писателя достаточно ручалась за успех сатанинского дела. Раздалась проповедь отрицания личного Бога, злостной хулы на Церковь и на ее Божественного Основателя. Появилось богохульное искажение Евангелия. Нужно ли говорить, с каким восторгом, с каким обожанием пошла известная часть нашей интеллигенции за этим новым лжепророком? Его возвеличили именем «великого писателя Русской земли», — заметьте, этот титул дан ему не тогда, когда он писал действительно художественные произведения, а именно тогда, когда он стал проповедовать свои антихристианские бредни, и за это-то бредни, как бы кощунствуя над всем, что свято и дорого истинному русскому православному человеку, который благоговеет перед иноками-старцами, — Толстого стали величать «великим старцем»... Что ж? У Святых Отцев это наименование придется, в смысле иронии, и исконному врагу Божию, дьяволу, да еще с придачей «семитысячелетний»...

Но нашим интеллигентам толстовцам этого было мало. Известен закон совести: она требует оправдания или осуждения всякого нашего слова, поступка, даже мысли... Материалист считает себя потомком обезьяны; ну и пусть бы его считал себя таким, лишь бы помнил, что обезьяна не считает нужным доказывать своего права быть обезьяною. А он, материалист, хочет нам доказать, что он имеет такое право. Это случилось и с толстовцами, тоже и со всеми новыми ересиархами. Они не довольствуются сознанием собственного — надо сказать правду: очень невысокой пробы — достоинства; они хотят доказать, что имеют право на то, — хотят увлечь за собою и других, хотят и народ отравить своим ядом: ведь эти миллионы верующих в простоте сердца душ — живой упрек их бредням, их заблуждениям... И вот явились попытки привить народным массам гибельные идеи путем издания разных мелких брошюр, а если задремлет правительственное око, то и прямо чрез школьных учителей. И дожили мы до того, что эти учителя на Всероссийском школьном съезде 1902 года в Москве закричали: «Долой попов, прочь их от народной школы!» И надобно было иметь немало мужества, чтобы противостоять открыто этому вторжению язычества, а с ним и нравственного одичания в среду народа, — всякий протест против него покрывался криками так называемых «либералов», и представителей беспринципной печати во имя якобы свободы совести: «Это-де насилие, ретроградство, мракобесие!»... Тех, немногих сторонников Церкви, которые имели мужество защищать Христову истину, травили всячески, издеваясь над ними, обращая их почтенные имена в ругательные клички...

Да, мы живем в такое время, когда возможно настоящее исповедничество, если не мученичество за Христа и Его Церковь. Вдумайтесь глубже, например, в такое явление: откуда это озлобление против так называемых церковно-приходских школ? Откуда это издевательство над ними, систематическое их преследование разными либеральными деятелями? И сколько поношений, нередко — публичных — приходится переносить деятелям этих, кому-то ненавистных, школ? Да пусть они, эти школы, плохи (хотя это неправда!): все же они дают грамотность лишнему миллиону детей, все же они лучше, чем ничего: ведь теперь грамотность считается таким всеисцеляющим средством, что о ней, о всеобщей грамотности, только и толкуют наши либералы: за что ж такая напасть на церковные школы?! Ведь вражда, злоба против них доходит до нелепости, до безумия...

Так и во всем, что хотя бы только напоминало Церковь.

Таковы печальные явления нашего времени.

В чем же корень зла? Как назвать ту духовную болезнь, которая разъедает наше общество, губительно отражается на народной жизни? И если в нашей жизни проявляется дух язычества, то как имя тому идолу, которому мы поклоняемся?

Этот недуг — старый недуг: им отравил исконный человекоубийца наших прародителей еще в раю, когда пообещал им: *будете яко божи*, когда, клеветая на Бога, обещал им путь к совершенству *помимо* Бога. Имя современному идолу-Зевсу — *гордыня*, самоцен, самообожание. Это не есть особый порок; это — коренное свойство всех пороков, это — их атмосфера, основа их бытия. Этому идолу в наше время приносится в жертву все: и здоровье, и таланты, и душевные способности, и — как это ни странно — самые заповеди Божии... И т. д.

Москва, 17 марта 1904 г. Епископ *Никон*, редактор «Троицких листков».

Поучительно? — *В. Р.*

Несколько месяцев назад я не без удивления должен был принять у себя одного католика-священника (француза, не приходского), который захотел со мной беседовать о видах и возможностях в сфере русско-католических отношений, каковые тянутся все к теме соединения церквей. Так как это никогда не было предметом моего специального размышления, то я едва знал, что сказать, и высказал скорей горькие сетования на то, как небрежно католическая церковь относится к семейным интересам подвластных ей народов, и о позднем уже теперь обращении ею внимания на положение трудящихся масс, где были сделаны такие недосмотры, которые едва ли исправимы в будущем. Между подробностями беседы следующая была поразительна. Когда я сказал, что наибольшую славу среди народов папа приобрел бы торжественно и *ex cathedra*, осудив инквизицию и отрешась этим способом от всякого преемства и связей и возможного воскрешения ее, то он ответил: «Это невозможно. И посудите сами: такое бедствие, как реформация, такое ужасное и непоправимое бедствие (тон его был очень грустный и страшно серьезный)... неужели следовало останавливаться перед инквизицией, чтобы предупредить его?» Я понял, что идея духовной империи действует в католичестве наподобие или «навязчивых мыслей» у маниака или «врожденной склонности» у гения.— За эту зиму мной было получено (откуда?) очень много вырезок из французских и итальянских католических газет, все с переводом мест из статьи «Небесное и земное» (в «Нов. Вр.»), где я коснулся иерархического момента в христианстве. Наконец, недели три назад из одного турецкого города мной было получено, также на французском языке, письмо с целым рядом запросов религиозно-бытового характера, опять клонившихся к идее соединения церквей, и с пачкой фотографий, представлявших католическую службу для славян,— при полном сохранении православного обряда и всей *видимости* наших храмов (устроение алтаря, клиросов, облачений и пр.). Так как письмо это не представляет собой ничего личного и интимного, то я, может быть, не нарушу скромности, если позволю себе предложить его вниманию массы русских людей, к которым оно более даже относится, нежели лично ко мне. И в то же время позволю себе сообщить и тот ответ, который я дал корреспонденту. Мысли все — общерусские; и даже это интереснее другим, чем собственно мне.

ВОТ ЭТО ПИСЬМО:

Caragatsch-Andrinople, 28/11 Septembre 1902.

Monsieur

Cette lettre vous vient d'un français, religieux assumptioniste, missionnaire en Thrace de Turquie d'Europe, professeur et surveillant dans un séminaire bulgare-slave. Cette lettre, que je remettais à vous écrire depuis deux ans, je veux enfin vous l'adresser, surtout que notre oeuvre slave a été particulièrement favorisée du Souverain Pontife cette année-ci et que je retrouve dans mes papiers deux articles de journaux touchant votre séjour à Rome en 1901 et le second à propos de vos lignes dans le *Novoié Vrémia* 11/24 décembre 1902 «le Céleste et le Terrestre».

Et le but de ma lettre? Oh! Pas autre, que parler avec un Russe, et un Russe, qui pense si bien, comme vous pensez, monsieur, et d'une manière si large, si élevée! Et vous prier de me résumer en quelques mots la valeur *vraie* du peuple Russe au joint de vue chrétien: s'il a un *fond* solide de vertu qui lui permettra demain de faire de grandes choses: celles de la *rechrissianisation* du monde avec son alliée la France; — ce que vous pensez de l'Union des Eglises et des moyens pratiques à employer de suite pour accélérer cette union — et vous prier, ensuite, de vouloir bien me faire cadeau de vos écrits sur Rome et l'Union.

Voilà vingt ans et plus, que je rêve la Russie: voilà, plus de 50 ans, que le fondateur de notre famille le T. R. P. d' — on nous indignait qu'un de nos principaux travaux devait être de travailler au bien de la Russie. Nous nous acheminons à réaliser ce désir: pour ce, deux séminaires complets, c. a. d. Préparatoire, Petit Séminaires et Grand Séminaires, ont été fondés: un, grec à Constantinople, et l'autre slave, ici, à Andrinople. Ce dernier a déjà fourni des prêtres du rite slave, celui de Constantinople envoie, cette année, ses premiers enfants au Grand Séminaire et en notre noviciat de Planaraki, près de Constantinople, côte d'Asie.— Nous, religieux, nous laissons le rite latin pour embrasser *absolument* le rite Slave ou Grec, et, en ce moment, une pléiade de vingt jeunes gens se prépare à nous suivre en notre maison d'études le Kadikam (Constantinople) où résident les collaborateurs de la Revue bien comme en Russie du monde sayant: «les Echos d'Orient».

J'ai pensé, monsieur, qu'il vous serait agréable de posséder les photographies que je joins à ma lettre: qu'elles vous soient un hommage et retour de ce que je me permets de vous demander.

L'une reproduit les paroles bien touchants du souverain Pontife à nos enfants, aux slave et signes de sa main vénérables quel document!

Les autres représentent notre petite Eglise Slave St-Pierre et St-Paul — une bonniers et une image de la T. S. Vierge dont de la sainteté le Pape Lion XIII à notre Séminaire.

Vous prie d'excuser la liberté que je prends de vous écrire.

Veillez agréer, monsieur, mon respectueux et religieux hommage.

P-ier.

Ecole Française St. Basile *.

* *Карагач — Андрианополь, 28/11 сентября 1902.*

Милостивый государь

Это письмо посылает Вам француз, монах — assumptionист, миссионер во Фракии (Европейская Турция), профессор и воспитатель в болгаро-славянской семинарии. Это письмо, написание которого откладывал в течение двух лет, я наконец посылаю Вам, потому что

Я отвечал так:

«Милостивый государь!

Постараюсь ответить на ваши вопросы сколько возможно яснее.

Русский народ действительно чрезвычайно религиозен, но он религиозен более в смысле жажды быть ближе к Богу и по воле Божией жить, нежели *in re, in statu* *.— *In statu* это народ очень бедный и очень внутренне распушенный, семейно-распушенный, всячески распушенный. Все наблюдатели согласно уверяют, что тверже в нравственном отношении живут люди старого до-никоновского обряда и разные сектанты. Вместе с тем это суть люди самые пламенно верующие. Но они все похожи по враждебному отношению к Церкви на католических Вальденцов (последователи Петра Вальдо, во Франции, уничтоженные папой Иннокентием III). Во всяком случае, раз вы интересуетесь миром Православия и религиозным состоянием русского народа, вы неизбежно должны ознакомиться и с русским сектантством, очень пламенным и очень разнообразным.

в этом году Папа римский обратил особое внимание на наши славянские дела, а также потому, что в своих бумагах я обнаружил две газетные статьи, касающиеся Вашего пребывания в Риме в 1901 году и Вашей поэзии, выраженной в статье «Небесное и земное» в газете «Новое время» от 11/24 декабря 1902 г.

Какова же цель моего письма? О! Ничего иного, как поговорить с русским, с русским, который мыслит так хорошо, как Вы, милостивый государь, и так широко, так возвышенно! И просит Вас изложить в нескольких словах *истинную* ценность христианства для русского народа: существует ли прочная *основа* его добродетели, которая позволит ему завтра осуществить великие дела: *христианизацию* мира вместе с Францией в качестве его союзницы; изложить то, что Вы думаете о соединении Церкви и о незамедлительных практических мерах для ускорения этого соединения, — а также просить Вас сделать мне подарок — Ваши сочинения о Риме и соединении Церкви.

Вот уже более двадцати лет я мечтаю о России: вот уже более 50 лет как основатель нашей семьи Т. Р. Р. d' — указал нам, что одно из основных направлений нашей работы должна быть работа во благо России. Мы стремимся выполнить его пожелание: с этой целью основаны две полные семинарии, Подготовительная, Малые семинарии и Большие семинарии; одна, греческая, здесь в Константинополе, и другая, славянская, здесь в Андрианополе. Эта последняя уже подготовила священнослужителей славянских обрядов; семинария в Константинополе посылает в этом году своих первых сынов в Большую семинарию и в наше послушничество в Планараки, близ Константинополя, на азиатской стороне.— Мы, истинно верующие, покинули латинский обряд, дабы *окончательно* избрать обряд славянский или греческий и в настоящее время группы из двадцати молодых людей готовятся стать нашими последователями в нашем учебном заведении Кадикам (Константинополь), где размещаются сотрудники журнала, подобного русскому научному журналу «Echos d'Orient».

Надеюсь, милостивый государь, что Вам доставит удовольствие иметь фотографии, которые я присоединяю к моему письму: пусть будут они моим ответным даром Вам за то, что я осмелился просить у Вас.

Одна из этих фотографий воспроизводит трогательное обращение Папы римского к нашим чадам, к славянам и его собственноручную подпись на достойном документе.

На других запечатлена наша маленькая славянская церковь Святого Петра и Павла — хоругви и изображения Пресвятой Богородицы, которыми наша семинария обязана его святшеству папе Льву XII.

Прошу простить меня за ту вольность, с которой я осмелился написать Вам это письмо.

Примите благосклонно, милостивый государь, мои уверения в глубочайшем к Вам почтении.

Французская школа Св. Базиля

П-ер.

(Пер. с фр. *И. Усовой.*— *Ред.*)

* в действительности, по существу (*лат.*).

Что касается соединения церквей, которое вас так занимает, то столь важное событие едва ли может произойти через руки человеческие и требует вмешательства Промысла. Оно очень трудно потому, что, отнимая у русской иерархии как бы национальную автономность, наподобие галликанизма, естественно, встречает в этой иерархии вражду. С другой стороны, наше светское правительство, имея теперь в русском духовенстве лишь слабую степень сопротивления всем своим предначертаниям, конечно, не захочет встретиться с сильной и иноземной папской властью, которая начала бы, в случае соединения церквей, вмешиваться в церковные дела в России. Таким образом, высшее духовенство в России и русское государство враждебны и не могут не быть враждебны плану соединения церквей. Что касается народа, то он в высшей степени ищет соединения с Богом, покоя душевного, умиротворения совести: но он и около себя не с такой безусловностью считает это связанным с духовною иерархией. Таким образом, в нем нет и не может быть большой жажды собственно к внешнему авторитету, к иерархической огромной санкции, к папству. Вы видите, таким образом, как слабы в России возбудители к соединению церквей. Имея столько прямых и страстных врагов, и притом могущественных, эта идея почти не имеет горячо заинтересованных друзей. Мир вне-русский вообще далек от созерцания русских, исключая немногих людей невлиятельного положения и исключительного характера. Мне лично думается, что как мало надежд на «соединение церквей» в смысле *слияния их организации*, так много вероятностей за возможность *примирения* церквей, в смысле устранения всякого *текущего* их *антагонизма*. К этому русское сердце, вообще чуждающееся всех видов борьбы, склонно. Но я не знаю, насколько такое примирение удовлетворило бы папство, которое ищет господства. Навстречу этому господству, т. е. чувствами подчинения, едва ли кто пойдет из России.

«Известные слова Спасителя: «Паси овцы Мои» (апостолу Петру) вообще исторически не привились у нас, не вошли в сердце; как и в католической церкви не все слова Спасителя получили одинаковое *приложение и культуру* (внимание к себе, развитие). Напр., слова Его о скопчестве, весьма короткие и попутно сказанные, развиты были в celibат всего католического духовенства, а Нагорная проповедь, составляющая нравственный центр Евангелия, была предоставлена для частного пользования отдельным мирянам, без того, чтобы стать руководительным принципом в отношениях самой католической иерархии к мирянам. Ведь нет специальных конгрегаций или орденов для реализации заповеди «Блаженни *миротворцы*»; новые бенедиктинцы не взяли в культуру, в разработку, в практическое приложение исполнение заповеди: «*Будьте изгнаны правды ради*» (отовсюду, за все). Аналогичным образом Восточный мир, Православный *специально* не принял к сердцу слов: «паси (Петр) овцы Мои». Подобно тому, вообще, как Талмуд истолковывает не все пространство Ветхого завета, а только отдельные главы и стихи

его, так средневековое здание Церкви — оно же есть и современное — есть применение и распространение отдельных стихов и глав Нового завета, а не его в целом.

«Вот что я могу и имею вам сказать, как частный человек и писатель, имеющий по сему неполный круг наблюдений и, вероятно, неполноту мыслей. Прибавлю к этому из личных своих впечатлений в Италии, что русского более могли бы привлечь мощи апостолов Петра, Павла и Иакова, лежащие в итальянских городах, нежели собственно администрация католическая и ее глава. Вообще роднится с русскими можно на почве уже имеющихся и старых русских чувств, а новые чувства возродить труднее; умные черты в устройении администрации ли, литургии ли могут быть заимствованы русскими. Например, ваши молчаливые мессы меня трогали. Вот такими подробностями, частным образом трогающими частных русских людей, можно более завязать с русскими связи, нежели давлением или обаянием всемирного папского авторитета, к которому, мне кажется, русские равнодушны. Наконец, если бы вы сказали, что слова Иисуса об «едином стаде» должны исполниться, так как Он Бог, а Божие слово мимо не идет, и что перед этим небесным движением бессильны земные преграды, мною выше указанные, то я и ответил бы: образ, каким произойдет это «соединение церквей», выразится не в тех мелочных и бессильных путях, какими велось до сих пор это дело, не в тихих переговорах, не в оставлениях нашего обряда древнего с признанием новой власти (ваши усилия в Турции) и особенно не через переговоры Римской курии с русскою духовною и светскою администрациею, а через возжение Иисусом нового огня в православных сердцах и также, наверное, в ваших, отчего народы поднялись бы и потекли навстречу друг другу со святынями, образами, хоругвями, по образу «крестного хода», от Тибра и Москвы-реки, с Волги и с Пиренеев. Образцы для него, примеры, аналогии — вхождение Иисуса в Иерусалим, встреча Исаака и Иакова, встреча Иосифа и Иакова с 11-ю сынами на берегах Нила: что-то *громкое, яркое, ликующее, всенародное*, но ни в каком случае не переписка в запечатанных конвертах. Но такое великое движение не может быть сделано руками человеческими, и мы можем ждать его (и не дожидаться), но принимать в нем участие не можем. Тысячелетие разделения, великие пропасти не заваливаются мелкими камешками. Так я думаю касательно интересующих вас вопросов...

СПб. 1902 г.:

В. Розанов

Позднейшее примечание. Впрочем, всякое дело мира — дело благое. И не ожидая больших событий и уже явных манифестаций Провидения, каждый про себя и за себя должен работать в направлении общецерковного, всемирно-церковного мира. Только нужно предупредить католиков: если они думают приобрести русские души (т. е. единение с ними) *только как*

материал, то они глубоко ошибаются. В русских есть сильная религиозная закваска: но именно теперь более чем когда-либо *самостоятельная*. Я хочу сказать, что если русские теперь или когда-нибудь войдут в стан католиков: то не для того одного, чтобы повиноваться, слушать и всем восхищаться, но чтобы и *творить* — непременно! *Суровость* католическую, *беспоощадность* католическую они во всяком случае отвергнут. Вспомним, с каким негодованием уже Вл. Соловьев, в самый разгар католических симпатий, писал об испанской инквизиции. Он называл ее *атавизмом* финикийского культа Молоха, т. е. чем-то сатанинским, дьявольским, языческим. Русские, даже и единолично соединяясь с католичеством, непременно внесли бы, и повелительно внесли бы, в него свою славянскую мягкость, терпимость, прощение, кротость. Но это — оговорка. Я приведу строки одного русского священника, равно благочестивого сердцем и высокого умом, который был лично на одном католическом празднике, и затем следующим образом передал свои думы о прискорбном разделении Востока и Запада:

«В четверг, 16 июня, в местной римско-католической церкви совершался крестный ход вокруг церкви, по случаю праздника Тела Христова, несуществующего у нас в Православии. Церковь была нарядно уставлена березками, как у нас в Троицын день. Виднелось много цветочных букетов.

Величественный храм был переполнен молящейся публикой. И я, православный, благоговейно и искренно преклонил колени перед престолом алтаря католической церкви, в ясном и твердом сознании, что я нахожусь в храме Троицкого Бога, общего Отца всех людей, — в храме Богочеловека, Христа Господа, истинных последователей Которого не может разъединить вековая, традиционная, вероисповедная рознь и вражда, — в храме Духа Святого, преизобильно дышущего дарами благодати Своей, как над православными, так и над католиками. Я призывал милость и благодать Божию на всех христиан, не зависимо от их исповеданий. Душа погрузилась в живое ощущение братства между существующими христианскими исповеданиями, без малейшей тени, или без малейшей соринки, в чувстве и сознании, какого-либо средостения между ними. Да, в эту минуту я сознавал и чувствовал одну только общность, одно только единение между христианскими исповеданиями, и совершенно забывал прискорбную рознь между последователями нашего Искупителя.

Давно пора всем нам, и католикам и православным, забывши старые счеты, братски обняться в единении духа и в союз мира любовно воспеть стройную и вдохновенную песнь общему нашему Богу. До какого срока мы будем враждовать между собой? Не дети ли мы одного Отца Небесного? Не во имя ли Христово мы крестились? Не одним ли Духом Святым все напоены? Что же нам враждовать и ссориться между собой? Или мы все еще будем продолжать отдаленные отзвуки личной вражды патриарха Фотия и папы Николая I, патриарха Михайла Керуллария и папы Льва IX? Не время ли покончить с этим пресловутым спором узкотщеславных людей? Подадим друг другу руки и заключим друг друга во взаимные объятия! Да падет, как тяжелый камень, да рассыплется разделяющая нас преграда. Утешимся общей верой, взаимным братским чувством и сознанием общего своего сыновства у единого Отца Небесного. Долго мы жили во взаимном отчуждении; познаем свое духовное родство и взаимную

близость друг к другу по вере. Долго мы подчинялись руководству богословов-теоретиков; послушаемся теперь непосредственного внутреннего чувства. Пусть голос сердечного сознания, исходящий от массы народной, от практиков жизни, залет собой сухость и мертвенность в воззрениях черствых схоластиков. Пусть восторжествует истинное и подлинное начало Христовых заветов роду человеческому — взаимная любовь. Ведь, стыдно сознаться, до сих пор мы жили во взаимных отношениях не по началам принципа взаимной любви, а по принципу взаимной вражды и ненависти. Свойственно ли такое отношение между христианами, обращающими свои взоры к одному и тому же Христу?

Сознаем доказанную веками бесполезность и бесплодность горького опыта к взаимному примирению и обобщению, когда католики желали и мечтали всех православных превратить в католиков, а православные всех католиков в православных. Напрасная и тщетная мечта! Никогда не превратится береза в сосну, а сосна в березу.

Напротив, береза так и останется навсегда березой и сосна сосной. Так и христианские вероисповедания. Промыслу Божию угодно было раскрыть христианство пред очами человечества в трех главных фазисах, или разветвлениях. Смиренно преклонимся пред вседействующею и премудрою десницею Провидения. И подобно тому, как мы исповедуем и признаем Троидного Бога, признаем и троединное христианство, ибо трудно противу рожна прати.

Да и как мы осмеливаемся взаимно укорять и осуждать друг друга? Ведь это значило бы совершенно забывать изречение Христово: «что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь» (Мф. 7, 3), взятое в коллективном смысле. Признаем взаимное братство при существующих разностях и, несмотря на них, предоставим каждому право быть самим собою.

Не будем отрицать взаимно индивидуального развития, а только почтим друг в друге тот общий дух Божий, который нас одушевляет.

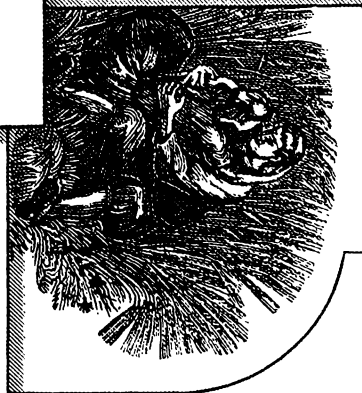
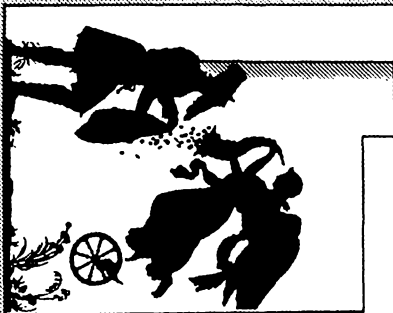
Устремляя свои взоры к одному общему Отцу, сознаем себя братьями. О, каким неизъяснимым восторгом, каким сладостным трепетом наполнятся унылые сердца наши от такого сознания! И зачем нам добровольно лишать себя этого счастья?»

1905 г., 18 июня,

Русский священник

Эти мысли и чувства я вполне разделяю. *Видоизменения* церквей, в целях соединения их,— не нужно. Пусть останутся они каждая на своем месте и в своем виде. И это несколько не должно препятствовать нам *соединиться в одной молитве, в одних таинствах*. Мы будем молиться в их храмах, и они будут молиться в наших храмах — вот что нужно! Мы станем почитать их священников за своих священников, и они будут почитать наших священников за своих священников: вот это — да будет!! И да будет для нас древнее разделение — как пережиток и суеверие.

В. Розанов



Том второй

ОКОЛО ЦЕРКОВНЫХ СТЕН

А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря: «Так говорит Господь Бог»,— тогда как не говорит Господь.

Иезекииль. XXII, 28

Во 2-й том я ввел, довольно обширно, несколько размышлений на те самые темы, каким посвящена книга,— *со стороны*, людей иного склада религиозной мысли, иного богоотношения, богоощущения, чем каким живет автор. Таким образом, богословский монолог местами разветвляется у меня в *диа*-лог и даже *поли*-олог (речи *многих*), как бы ведущийся возле церковных стен и об этих самых стенах. В разные годы я был счастлив получить несколько поразительных как бы «исповеданий сердца»: 1) о вопросах культа христианского (см. «Вера без Церкви или Церковь без веры?» — письмо на стр. 315—318), 2) об особенном, отрицательно-скорбном отношении духовенства к миру и мирским утехам (стр. 396—401) и, наконец, 3) о мотивах полного отвержения всякой вообще религии (стр. 456—469) и проч., и теперь делюсь этими «исповеданиями» с читателями, с верующими, с мудрецами. Каждому будет здесь довольно предметов для мысли. Кроме того, несколько католиков, мне вовсе почти не известных (с двумя из них виделся по разу, и лишь с одним разговаривал более или менее сложно), поведали мне в письмах о таких сторонах католицизма, которые вовсе не известны нам, русским, и которые являют совершенно неожиданные стороны богоощущения (стр. 371—377). Все это любопытно для мысли. Наконец из моих собственных статей здесь многие появляются впервые в печати («Об основном идеале Церкви», стр. 470 и след., «О древних и новых жертвах», стр. 472 и след.). В «Таблице вопросов религиозно-философских» (стр. 489 и след.), также впервые появляющейся, я формулирую томительные недоумения вообще о всем пространстве нашей веры, не могущие не представиться у каждого, кто долго и с размышлением бродил и бродит по пажитям этой веры. Я тут сказал *невольное*. Но глубоко ошибся бы тот, кто подумал бы, что это сказанное доставляет мне самому хоть какое-нибудь удовольствие. Нет и нет. И я люблю солнце, сухую погоду, покой. Но «после грехопадения» мы, по-видимому, обречены только странствовать и странствовать, под непогодою, под дождями, усталые и идя к цели, которой вовсе не видим. И будет ли отдых усталым костям? Обещания этого есть (Исаия, Апокалипсис), исполнения — никто не видел. И я сжимаю руку читателя, не как уверенный, но как очень усталый — усталым же спутникам.

6 марта 1906 г.

В. Р.

И в давние времена христианство кому было непонятно, кому ненавистно; но сделать его отвратительным и смертельно скучным — это лишь теперь удалось.

Влад. Соловьев. Сочинения, т. VIII, стр. 528.

Всякий, действительно верующий, и тем самым свободный от этих излишеств тупоумия, малодушия и бессердечности,— должен с искренним расположением смотреть на прямого, откровенного, словом — *честного* противника и отрицателя религиозных истин. Ведь это, по нынешним временам,— такая редкость, и мне трудно вам передать, с каким удовольствием я гляжу на явного врага христианства. Чуть не во всяком из них я готов видеть будущего апостола Павла, тогда как в иных ревнителях христианства поневоле мерещится Иуда предатель.

Ibid., стр. 554.

Не замечали ли вы, в своих жизненных странствиях, что как только понежнее человек, поглубже, поутонченнее, то на него не только сыплются разные неожиданные беды, но даже — и это особенно поразительно — валятся на него самые болезни, частые, трудные, страшные, неисцелимые. А толстокожие — они и сыты, и почтенны, и наконец даже почему-то редко и легко хворают!! Магия, что ли? Но только как это было до Р. Х., так осталось и после Р. Х.

Ignotus

ОГНИ СВЯЩЕННЫЕ

— У вас на Пасху стоят со свечами?

— Да.

— Со свечами идут потом вокруг церкви, по улице? И несут иконы?

— Да. Да.

— Пожалуйста, возьмите меня с собой. Это так красиво. Я слышала еще в детстве, в Митаве.

Так просилась у нас бонна взять ее к православному торжеству. И вспомнил я свое детство, в Костроме. Бывало, выбежишь на двор и обведешь вокруг глазами: нет, все черно в воздухе, еще ни один огонек не зажегся на колокольных окрестных церквей! Переждешь время — и опять выйдешь. — «Начинается»... Вот появились два — три — шесть — десять, больше, больше и больше огоньков на высокой колокольне Покровской церкви; оглянулся назад — горит Козьмы и Дамиана церковь; направо — зажигается церковь Алексея Божия человека. И так хорошо станет на душе. Войдешь в теплую комнату. А тут на чистой скатерти, под салфетками, благоухают кулич, пасха и красные яички. Поднесешь нос к куличу (ребенком был) — райский запах. «А, как все хорошо! И как хорошо, что есть вера, и как хорошо, что она — с куличами, пасхой, яйцами, с горящими на колокольных площадках, а в конце концов — и с нашей мамашей, которая теперь одевается к заутрене, и с братишками, и с сестренками, и с своим домиком». У нас был свой домик. И вот все это, бывало, представляешь вместе и нераздельно.

Что же, разве это иллюзия? Вот теперь я взрослый. Сколько с тех пор передумал! И также пойду к заутрене. И также зажгу от соседней свечи свою свечу. Как это хорошо, что в церкви все мы братья. И пойдем вместе, за хоругвями, придерживая ладонью огонь свечи от дуновений ветра. И будем слушать пение. Да, как хороша религия в звуках, в красках, в движениях, с иконами, с большими непременно иконами, в золотых ризах, а еще лучше — в жемчужных, как в Успенском соборе в Москве, и с огнями. И пусть огни будут в руках, перед образами, на улице, особенно на колокольных...

Если бы, я думаю, с облака посмотреть в эту ночь на землю — вдруг представилось бы, точно небо упало на землю, но упало и не разбилось, а продолжает пылать звездами. Может быть, бесы и смотрят на землю в Пасхальную ночь, смотрят и злятся, что люди не забыли своего Бога,

что они сумели свести на землю небо. Да, огни в религии, лампы и свечи, я думаю, имеют в основании эту идею, эту мечту или философскую догадку: «попробуем устроить на земле, как на небе», «яко же на небеси — и на земле». И ведь посмотрите, какая таинственная связь души с огнем: зажглись огоньки в храме — и храм, дотоле холодный и внешний, согрелся. Войдите в храм днем, не во время службы, без свеч и лампад — и вы увидите только архитектуру и живопись, вы не будете в нем молиться, вы не сумеете в нем молиться. Сколько раз это впечатление я испытывал, осматривая знаменитые церкви во внеслужебное время. Но я продолжу о связи души с огнем: Пасхальная ночь вся и чудна обилием огней уже не только внутри храма, но и снаружи его, по карнизам, по окнам, а наконец даже и по улицам (горящие площадки). И как хорошо это движение народа с горящими свечами в воздухе, под открытым небом: может быть, у себя вы не замечаете, но если неподалеку есть другая церковь, и вы, идя с крестным ходом вокруг своей церкви, увидите издали другую народную толпу, идущую со свечками же вокруг тамошней церкви, — вы умилитесь. «О, на этот день мы все братья и все одинаково поступаем»...

В эту минуту, как я пишу, у меня мир в сердце — и века и народы сдвигаются в него без разделения и вражды. Я думаю о благородном человеке, который никогда не хотел остаться без религии. Все он любил и не любил. Но религию он только любил, кроме минутных пароксизмов цивилизованной одичалости. Но Господь с ними, с этими пароксизмами, и им я не хочу говорить сейчас упрека. Прекрасна картина всемирная, как человек на разных концах земли, человек-дикий, человек-ребенок что-то думает, склонив голову, усиливается, гадает: а когда поднял голову — глаза его сияют и он уже *верит*. Нет народов без веры. Нет народов без Бога. Много ли, мало ли он о Боге знает, но что *есть* Бог, *существует* — это он знает. Прекраснейшее из всех знаний, глубочайшее из всех знаний. Но вот что до последней степени трогательно и удивительно: что как только он узнает, что *есть* Бог — он зажигает Ему лампаду или свечу, но вообще — *огонь*.

Я вспомнил на арке Тита, близ Колизея, в Риме, изображение римских воинов, несущих, в числе других трофеев, знаменитый светильник из разрушенного Соломонова храма. И тут, значит, — *свет, огонь*. Известно, что светильник имел семь лампад. Днем горела только одна, а ночью, *когда в Храме никого не было* — зажигались все семь. Ясно, что свет нужен был не человеку, но Богу. Вообще нужно различать священный свет от обыкновенного. Последний рассеивает тьму, освещает место, дает человеку видеть, что нужно. Он утилитарен. Священный свет вовсе не утилитарен. Он изображает что-то, он волнует человека; он есть какая-то связь человека с Богом. Какая? В чем? Что мы знаем об этом! Мы же только подражаем чужим светам, более древним. Но древние не рассказали нам, что именно чувствовали они перед тем, как зажечь лампы, какая мысль толкнула их зажечь огни. Но они сделали нечто

вернос, потому что и мы, зажигая свои лампы, волнуемся священным чувством, хотя определить и выразить его не умеем.

Я думаю — это в точности подражание звезде, звездам, звездному небу. Мы все говорим «Бог на небе». Боже, что мы понимаем в этом — никто не умеет выразить. Астрономы разложили небо в созвездия, вычислили с точностью до секунд все там движения; все исчислили, все смирили; все, казалось бы, рационализировали, но мы, не слушая их, твердо говорим: «Бог — в небе». Да, вот чего астрономы не поняли и не доказали: отчего же звезды не потухли?! Когда они созданы? «Биллионы веков назад» — по ихнему счету. Всем известно, что межзвездные пространства имеют чуть не тысячу градусов холода, ниже нуля. Стужа невероятная. И как ни велика каждая звезда, она все же пылинка, именно как видится нам, сравнительно с объемлющим ее небесным ледяным пространством. Позвольте, мы глазом своим видим звездочку-пылинку, а около нее тем же самым глазом и с того же расстояния видим версты неба. Итак — огненная, пусть в миллион градусов теплоты, пылинка, но положенная (употребим сравнение) между двух подушек со льдом тоже в миллион градусов холода. Вот отношение. Конечно — пылинка вся излучится, остынет от холода, и даже очень скоро. А если остынет — то умрет, погаснет. Но небо не умерло, не гаснет! А как при Геродоте и Аристотеле, так и сейчас горит, ни малейше не ослабевая в силе. Это оттого, что небо живо и звезды суть в точности живые существа: ибо мы только единственную знаем температуру, не стынущую, сохраняющуюся на одном градусе при всех переменах окружающей среды, — например, температуру своего тела в 37°, и вообще температуру живых, живущих, дышащих существ, которая остается та же, все равная, пока в теле есть жизнь. Таким образом, совершенно невозможно объяснить себе, именно с точки зрения новейшей термодинамики, и вообще принимая всю науку во внимание — *горения звезд иначе, как через жизнь звезд, биологичность звезд*. Нет костра, нет огня, какой угодно силы, величины, какого угодно состава веществ, который в биллион лет «от сотворения мира» (легко сказать!!) не погас бы. Кроме как если это... просто свет живого существа, свет и блеск и теплота. Мои глаза светят, блестя, имеют температуру 37 град. вот уже 46 лет; 46 лет не прогорит никакой костер; зажгите лес, и тот сгорит в год. В 46 лет сгорят все леса земного шара. А мой глаз еще не сгорел. Не очевидно ли, что звезды суть тоже какие-то «очи» неба, мерцающие, прекрасные, величественные, совершенно непостижимые, но *живые!* Астрономы смеряли их расстояния — верю; взвесили — верю же. Всему верю, всей науке, но и вся наука не ответила и не ответит на вопрос: «что же, однако, такое небо со звездами?». А если я скажу — «бесконечность с очами, теплая, светлая, живая, святая! для меня святая!!» — то они меня не смогут ничем опровергнуть.

Вот откуда может быть и инстинкт в религии — «зажечь огни», «зажечь лампы». И вот отчего огни свеч или лампад на улице, в воздухе сильнее волнуют, чем в здании. Море воздуха и среди его

точки огней, пожалуй, были первым изображением Бога, первую стату-
ю, первым «образом». Это «как небо». А «небо» или «в небе», это...
«бог», «Бог». Имени мы Его не знаем. Хотя если бог — Един, то Он
должен бы называться собственным, а не нарицательным существитель-
ным. Мы знаем только нарицательное, а не собственное, — имя призна-
ка, а не название Лица. Слово «бог», «боги» употреблялось везде, и если
мы напишем его с большой буквы, все же выйдет не собственное имя,
а древнее нарицательное. В Библии имя Божие никогда не произноси-
лось; читая Библию, древние обходили имя и, видя четыре буквы, Его
обозначавшие, выговаривали не их, а другое слово, именно который-
нибудь из эпитетов. Таким образом, самое звукопроизношение подлин-
ного и личного, собственного и единственного Имени Божия мало-
помалу утратилось, забылось, потерялось во мгле веков; хотя буквенные
знаки его и сохранились. Но как в древнееврейском языке писались
только согласные буквы, а гласных не писалось и они подразумевались,
но, разумеется, тем, кто «знал разуметь», — то теперь вот эти-то гласные
буквы в имени Божиим никто и не умеет вставить, а посему никто
назвать Бога по *собственному* Его имени и не может. Но это подроб-
ность. Я заговорил о небе, звездах, огнях; приведу самое древнее извест-
ствие о возжении священных горящих точек на земле. Оно находится
у Геродота и относится к Египту, древней стране, которая ранее всех
народов образовала важнейшие религиозные представления: о Боге как
Творце и Промыслителе мира, о бессмертии души и о загробном суде за
наши грехи:

«...Во время праздника в Бузирисе *, после жертвоприношения, все мужчины
и женщины, в числе многих десятков тысяч, сокрушаются в слезах; по ком они
сокрушаются — грешно было бы говорить» (как и у евреев, — имя не названо)...
«А на праздничном собрании в городе Саисе все участвующие зажигают в одну из
ночей множество лампад под открытым небом, вокруг дома, причем лампадами
служат чашки, наполненные солью и маслом; сверху плавают светильня. Лампады
горят целую ночь, и самый праздник называется Возжением Лампад. Те из
египтян, которые не попадают на торжество, все-таки соблюдают эту праздни-
чную ночь, и сами возжигают лампады; благодаря этому, огни горят не в одном
только Саисе, но по целому Египту. Ради чего эта ночь освещается и почитается,
объясняется в одном священном сказании» (кн. II, гл. 62).

Прекрасные дети земли, столь ранние и столь умные! В чем бы
«священное сказание», о котором умалчивает Геродот, ни заключа-
лось, — до чего верен был этот инстинкт: повторить на земле небо,
зажечь и от нее «умные очи», которые бы взглянули на небо так, как
небо смотрит на землю! Что такое «общение человека с Богом», как не
простираение к Богу рук, которым ответно Бог простирает Свои руки; не
смотрение очами... в очи Его? что такое иначе и молитва и Откровение?
И как, значит, хорошо, что огни на земле, как повторение звездного

* Городок в дельте Нила.

неба, были избраны в символ общения человека с Богом и пронесены в истории на таком неизмеримом пространстве времен, какие от Геродота протекли до сего дня! Лампадки не загасли, как не умеет гаснуть небо. Огонь, огонь, священный огонь... он вошел во все без какого-нибудь исключения храмы, соединил — пусть единственную ниточкою — все религии, связал людей, как братьев: и младенцев на Ниле, и нас поздних стариков на Неве. Но, будучи по́следышами, не забудем тех первых детей истории. Они неумелым языком лепетали тоже: «Бог... Промысл... Создатель мира... благой... Святой».

Все менялось в вере, все угасало; но не угас огонь, не переменялся; — и также дрожит сейчас перед лицом человека, но угнетенным, то сияющим радостью, в дни всенародных торжеств и в молчании ночи, как это было две тысячи и, может быть, пять тысяч лет назад.

1902

Из *подробностей* узнается истина. Чем мы убедим других, если и убеждены сами, что русской душе, может быть, близка еврейская душа, или еврейской — русская? Если бы мы и привели в пример материальное благодеяние, нам ответили бы насмешливо: «Это он благодетельствовал в *ожидании процента*, наивный вы, человек!» «Процент» этот задушил все, зажал всем рты... «Жид» — вечный процентщик, и не было у него ни пророков, ни идиллий; уже не бабки его Рахиль и Лия, Ревекка и Сара; и *за что* «такое проклятое племя» избрал Бог — непостижимо вовсе никому. Вот почему я сохранил через годы, а теперь и печатаю письмо неведомого мне жидка, который рассказал, как он «побежал к русскому мужику делиться чувствами»... надеюсь — вещь совершенно бескорыстная.

Рославль, См. губ., 22/4 1902 года.

Премногоуважаемый г-н Розанов!

Я не могу не выражать Вам своего глубокого уважения, к Вам — автору статей «Священные огоньки» и «Маленький фельетон». Ручьем потекли слезы из глаз моих — я умилился, в сердце моем водворились мир и спокойствие. Я с одушевлением читал эту статью пред некоторыми из знакомых — и — увы! меня осмеяли. Господи, Боже мой! Я — горячий приверженец сионизма — и готов во всякое время жертвовать жизнью ради этой идеи — которую я считаю общечеловеческой.

Стоя на краю пропасти, с которой вот-вот должен упасть вниз и разбиться вдребезги, я бы не ощущал такого горького чувства, как в то время, когда мне назвали «Священные огоньки» ерундой... Я пришел в такое иступление, что готов был побить хоть самого себя. Но счастливая мысль пришла мне в голову... Пойду-ка почитаю простому, но благородному крестьянину. Его чистой душе, пожалуй, более доступны святые словеса... Ну и что Вы думаете? Пимен — так зовут крестьянина — пришел в такой восторг от этой статьи, горячие слезы закапали из глаз его. Я не мог не обнять этого милого, чистосердечного старика и расцеловал его. С совершенным почтением *Хаим-Элья Абрамович Кляцкин*.

Еще чуточку, крошечку — в ответ на этот же больной вопрос о «жиде» и «христианине». От анонима, мне лично и всячески неизвестного, я получил раз толстую книгу, на немецком языке, его умершего друга. У автора письма только-только вот был сожжен стеклянный завод. Настроение особенное, потрясенное. И как поджигатель был наш русский мужик, то он и высказывает несколько слов о *разном* отношении к греху — преступлению евреев и христиан. Я уже приводил из «Талмуда» изречение: «если кто грешит с мыслью: *потом покаюсь*, — то нет тому покаяния, и грех его не отпускается в День Судный». Едва ли, зная эту подробность «Талмуда», автор письма тоже говорит о «легком покаянии» — как орудии постоянного и страшного развращения народа:

Многоуважаемый В. В.!

Псылаю вам книгу. Автор ее лишил себя жизни. Это, кажется мне, единственное его произведение напечатанное. Решает он вопросы (метафизики) половой любви и психологии женщины умом, а вы — сердцем. Кто из вас прав — судить не берусь, но с вами лучше — теплее. Писали мне в прошлом году: «жаль евреев (Кишинев)». Бросьте! Знаю многих антисемитов, переменявших свои взгляды после Кишинева. Правда в жизни если торжествует — то на кресте, только в мелодраме (она?) канкарирует. Вот вас так мне жаль! Слишком много пишете, теряете аромат свежести, часто трудно понять, чего хотите. Если бы в учении Христа было меньше неясностей, сколько горя и боли *... Учение Христа — Кишинев — о. Иоанн. У меня в имении (я из жидов хлебопашцев) стеклянный завод. Работает человек 300. Завод час тому назад сгорел. Люди без хлеба, мне убытка тысяч сорок. Как думаете, кто поджег, — жид? Всю-то жизнь грех на душе носить, кому мило? Жид к ксендзу не пойдет; греха ему (*ксендз*) не «отпустит»? Так и забыл: неграмотный. Подлогов нет, и то хорошо. Бог нужен! Вы Его понимаете, я знаю; пишете и нам о Нем яснее.

Ваш Г. Бернштейн

Имение Воля-Окжайская. 1902

Добавим к этой маленькой жалобе фундаментальную статистику, над которою задумается и христианин:

«По отчету официальных Jahresbericht, в Германии за 1886 г. на 10 000 человек каждого исповедания было преступников:

из лютеран — 62,7
,, католиков — 35,8
,, евреев — 1,2 (sic!!)».

1905

Мудрому — достаточно.

* Целая строка точек. Вероятно, мысль автора: «если бы было меньше неясностей, то от сколько горя и от какой боли мы были бы избавлены». — В. Р-в.

АСКОЧЕНСКИЙ И АРХИМ. ФЕОД. БУХАРЕВ

I

Всякий, вероятно, помнит прелестный эпизод из «Анны Карениной», где рассказывается, как отец-Каренин начинает давать уроки Закона Божия сыну-ребенку, как он объясняет ему необыкновенную важность предмета, и в то же время сын-ребенок замечает, что отец и наставник сам сбивается при рассказе истории Авраама и вообще «патриархов старших и младших». Здесь очень тонко подмечена всегдашняя почти приподнятость слов «о таком важном предмете» и вместе поверхностная ознакомленность «с таким важным предметом» особого типа людей, к которым принадлежит стареющий и несчастный Каренин. По вялости и деликатности темперамента, по добропорядочности всей прошлой жизни, он не сложился в законченный тип ханжи. Но красивые оттенки этого типа в нем есть. Наполните биографию этого человека всяческим гноем в ее первой половине, придайте ему горячий темперамент — и вы получите «кающуюся Магдалину» во фраке или мундире, иногда кающуюся Магдалину в рясе. Известные Фотий и Голицын в царствование Александра I, Магницкий и Рунич тогда же — суть фигуры ханжей, возросшие до исторического значения. Таким в начале царствования Александра II был Аскоченский, к которому даже и нельзя не применить эпитета «знаменитый». Дайте им трем власть Петра Великого, и вы получите тип западноевропейского инквизитора, который на расстоянии веков, в освещении погаснувших костров, покажется нам даже чем-то романтическим, грустным или величественным, тогда как на самом деле это злое явление, вероятно, представляло собою чудовищную смесь невероятной загрязненности души с беспросветною темнотою ума. Поставив в качестве освещающих ламп около этих фигур с одной стороны Каренина, путающегося в истории Авраама, мы поставим другою лампою около них знаменитых германских и французских историков церкви, которые не только знали хорошо историю Авраама, но, можно сказать, говорили на языке Авраама как на своем родном языке, и знали всех друзей и соседей Авраама с интимностью своих друзей. Эти светила науки, для которых не осталось ничего сокровенного в истории верований, не только не готовы были зажечь костра для кого-нибудь, но, сохраняя великую любовь и уважение к предмету многолетних своих дум и изысканий, можно сказать, всякое разномыслие с собою встречали так, как Авраам встретил Мельхиседека, «служителя Бога Вышнего»,

несмотря на то, что тот не получил от Бога завета и стоял один и в стороне от больших путей религиозного устройства человечества, от «церкви Божией на земле».

Всего на днях появилась в Казани брошюра заслуженного профессора Казанской духовной академии П. Знаменского: «Богословская полемика 1860-х годов об отношении Православия к современной жизни», посвященная рассказу о некоторых знаменитых эпизодах нашего исторического ханжества. Для неспециалистов сообщу, что автор этой брошюры в начале девяностых годов минувшего века издал «Историю Казанской духовной академии». Как известно, «истории» наших учебных заведений большею частью состоят из истории разных канцелярских дел при этих учебных заведениях или об этих учебных заведениях, и из хроники разных подпольных и надпольных интриг и борьбы честолюбий из-за получения в них такого-то места, оклада жалованья или казенной квартиры. Все это составляет «исторические деяния» университета, корпуса или академии,— в своем роде *acta sanctorum* * русской науки и просвещения. Профессор Знаменский с тою талантливостью, которою часто отличаются у нас люди духовного образования, взял темою не эту канцелярскую и бюрократическую сторону истории Казанской духовной академии, а личную и бытовую. И вместо пересказа содержания разных циркулирующих бумаг дал изумительные, по яркости и типичности, изображения ректоров, профессоров и, сколько он мог собрать и проследить по частной переписке и воспоминаниям, изображения чем-либо выдавшихся питомцев академии. Мертвецы встали из гробов. Не могу передать лучше своего впечатления от этой книги, как сказав, что раз во время заседания педагогического совета гимназии, взяв ее из рук одного товарища, который был сам питомцем этой академии, я до того увлекся ее чтением, что ничего не слышал из происходившего на совете и не принял никакого участия в его прениях. Труд этот, столь специальный по предмету, столь мало общерусский, являл собою столько выдающихся качеств, что Московский университет по собственной инициативе даровал автору степень почетного доктора истории. Отличие редкое, исключительное.

Новая книжка его (102 стр.) посвящена изложению чрезвычайно оживленного и знаменательного периода нашей религиозной мысли, обнимавшего конец 50-х и начало 60-х годов.

«Наша богословская наука и всеобщее церковное учительство,— говорит он,— держалось до сих пор очень изолированно от движения светской науки и от явлений действительной мирской жизни. Всячески соблюдая целостность Православия, богословская наука не допускала ни малейшего отступления от принятых догматических формул, определений и самых терминов, не только установленных православною Церковью, но даже выработанных после, например во время схоластики, и боязливо останавливалась перед всяким проявлением самостоятельной мысли и каким-нибудь новым выводом из тех же освященных давним

* Сборник рассказов о жизни святых (*лат.*).

церковным употреблением формул. Прикладная, практическая часть духовной науки, проявлявшаяся во всякого рода церковно-нравственном учительстве, упорно витала в одних высших сферах совершенно отвлекенной, ни к кому и ни к чему, в частности, не относящейся морали, и притом морали большею частью сурово-аскетического характера, опускавшей из виду обыденную жизнь, обыкновенных мирских людей. Спуститься с этих высот поближе к живым людям и современной действительности церковный учитель считал чем-то для себя неприличным и даже унижительным для самой Церкви; это запрещалось ему даже самой наукой церковного проповедничества — гомилетикой, «да не возглаголют уста его ни дел, ни пустых мнений человеческих».

Так характеризует автор положение нашей «духовности» к концу 50-х годов. Само собою понятно, что положение это не только не связано сколько-нибудь с христианством, с Евангелием; но даже не связано и с греческою церковью, которая в золотые дни от Константина до Юстиниана волновалась всеми вопросами текущей действительной жизни. В положении этом слежалось и застыло вовсе даже не Православие, а печальнейшая академическая и семинарская схоластика, перенесенная к нам, чрез юго-западных ученых XVII в., из иезуитских латинских школ. Помесь этой латинской схоластики с протестантствующими пороками Феофана Прокоповича позднее, в реакционную часть царствования Екатерины и Александра I и во все время царствования Николая I, подернулась какой-то испуганностью. Наверху, в высших областях управления, шла глухая борьба между чиновниками и монахами, документальные подробности которой вскрываются только в исторических изданиях наших дней. Но как одни, так и другие боролись орудием одного и того же ханжества и, обыкновенно, кто кого переханжит, тот того и победит. Вере ясной, пламенной, чистой тут уже не было никакого места. Копались авторитет под авторитет; оборонялись, придумывали орудия нападения. Чиновная власть была едино-главна, и силой этого единства, внутренней неразделенности, обычно побеждала всегда разделенных и в мелочах соперничающих духовных сановников. Взаимное последних соперничество сделало их робкими, неуверенными во всяком шаге. Под этими оробевшими вождями стан всего духовенства, в рядовой священнической части, был окончательно парализован. Священник превратился в самое запуганное, самое бесправное чиновное существо, но с тою убавкою против обыкновенного чиновника, что последний хоть в частной-то и в личной жизни принадлежит себе и распоряжается собою, да и на службе если и связан, то все же ограниченным светским законом. Бедный русский священник был похож на муху, на которую поставлен Монблан; на его личность, на его частную жизнь, которая вытянута была в струнку «уставности», давили такие непомерные тяжести, как «соборов», «святых отцов», «Церкви», в которой он не умел, да и не смел разобрать, что принадлежит в точности вселенскому собору, что — какому-нибудь киевскому схоласту XVII века, а то есть и просто заимствование от лютеран смелого Псковского архиепископа

(Феофана Прокоповича). Нужно не упрекать наше праведное священство, а еще дивиться, как оно под этою страшною тяжестью не потеряло окончательно «образ и подобие Божие», а временами даже и выдвигало из себя могучие умы и характеры, однако большею частью не поддерживаемые, а задавливаемые собственной же духовною средою. Можно только одно сказать, почти с отчаянием: что свет подлинной религиозности, «ношение Бога в груди», «хождение перед Богом» (выражение Библии об Энохе) почти вовсе иссякло в этих потемках. В «Письмах к духовному юношеству» покойный С. А. Рачинский борется, с печалью, против бытовой, ходячей фразы, почти присловья нашего духовного сословия: «ложь есть конь во спасение». Слово это взято из неточного перевода по-славянски которого-то псалма. Но неверный этот перевод как бы «ударил по сердцу» духовенства. Бедное, замученное, во всяких неблагоприятных обстоятельствах оно садится на этого исторического «коня» и поспешает в сторону от силы, но и вместе, конечно,— от истины. Что поблизости такого «коня» Богу и религии уже нет «скинии» — этого не нужно объяснять.

С порывами обновления, а в сущности с порывами только вернуться к Церкви, к христианству, к Евангелию из гнуснейших латино-немецких объятий схоластики, в начале 60-х годов выступил ряд духовных журналов, — перечисляемых проф. Знаменским: «Православное Обозрение», «Странник», «Душеполезное Чтение», «Руководство для сельских пастырей», «Дух христианина», «Духовный Вестник» и «Труды Киевской духовной академии». К великому сожалению, отсутствие единомыслия между главами высшей духовной иерархии не допустило дружного восхода прекрасного исторического посева. Например, митрополит московский Филарет должен был защищать в письмах к митрополиту Исидору «Православное Обозрение» (см. стр. 42 и след.) от нападений, высказываемых Аскоченским, но которым доверял Исидор. И по поводу того же журнала он отписывался и перед обер-прокурором св. Синода, гр. Толстым. Здесь мы должны припомнить Каренина, который путался в истории Авраама. Вперед всего и без всякого сердечного упрека, мы должны выдвинуть эту важнейшую для понимания дела истину, что силы человека — не всеобъемлющи, и что необозримая и очень ответственная, а следовательно, и очень нервная духовно-административная деятельность за редчайшими исключениями (к каковым принадлежал Филарет), вовсе отнимает досуг и возможность сосредоточиться на богословских вопросах: а поэтому даже такое лицо, как митрополит, вовсе не имеет богословской компетентности. И это надо принять как факт, не содержащий в себе никакого укора. Известно, что Ария победил Афанасий Великий, выступивший против него еще в чине диакона, когда уже епископы и патриархи были во множестве увлечены арианством. Всякое ведение требует специализации. Кутузов мог знать математику хуже множества ему подчиненных артиллерийских офицеров. И тонкости и правильность богословских мнений могут знать лучше священники

данной епархии, имеющие досужные у себя вечера, нежели епархиальный их архиерей, уже сорок лет ломающий голову над запутанностями одних только житейско-консисторских дел. Что относится к архиерею, относится и к высшим иерархам Церкви, специализация которых — управление, а не мышление. В переписке Филарета, приведенной у Знаменского, последний должен был защищать «Православное Обозрение» в его совершенно правильных, верующих и православных мыслях, которые были совершенно неосновательно и, так сказать, некомпетентно заподозрены митрополитом Исидором. А в подробнейшем разборе богословской системы архимандрита Феодора Бухарева, которого Аскоченский выставлял и затравил как потрясателя православия и Церкви, проф. Знаменский показывает, что ученая компетентность и правильность православных воззрений были на стороне Бухарева, Аскоченский был очень поверхностный богослов, просто — не очень сведущий. Но его «тронуло» благочестие Каренина; а сам он был вовсе не того тихого и деликатного характера, как изображенный Толстым государственный человек, но грубый и бесчеловечный: и он поднял скандал на всю Россию, смутил иерархов, заставил митрополита Филарета, не только ценившего, но и любившего Бухарева, отступить от него, и погубил в лице его одно из светозарнейших явлений нашей богословской мысли за XIX век, и вместе — тихое, прекрасное существо, истинное украшение своего сословия.

В книжке, несколько лет назад вышедшей, «Печальное 25-летие», проф. П. Знаменский рассказывает подробно биографическую сторону истории Бухарева, профессора преемственно в Казанской и в Московской духовных академиях, а в настоящей книжке «Богословская полемика», разбирает богословскую его систему и историю журнального против нее похода знаменитого Аскоченского:

«Это был Герцен с другой стороны, Герцен — наизнанку — характеризует он последнего. «Он заговорил в *Домашней Беседе* совсем новым, неслыханным в духовной литературе языком. Действительно сильные аргументы и явно недобросовестные софизмы, горькие истины и клеветы, перетолкования чужих слов и преувеличения, благочестивые сетования и ругательства, вульгарные остроты и тексты Священного Писания, грязные обличения тоном древних пророков и балаганские насмешки — все это сливалось в его речи в какую-то пеструю смесь, оригинальную, постоянно ядовитую, необыкновенно задорную и раздражавшую всех его читателей».

Он ругал Пирогова за отрешенность педагогических его идей «от начал православия», Буслаева, Костомарова, почему-то Шевченко, далее — Пушкина, Гончарова. В одной статье, за 1867 год, изображая очную ставку Православия с материализмом, после изложения православного учения — он пишет:

«Довольно. Теперь, вы, шуты, на сцену! Ты кто такой? Бюхнер? Знаем — отец наших полумумных нигилистов. Ну, говори!» Бюхнер оправдывается и, конечно, бессильно перед Аскоченским: «Хорошо! Ступай за решетку!» -- приговаривает

его судья и редактор. «Дальше. Ты кто? Фейербах? Знаем — воспреемник нигилистов от болота неверия. Ну, что ты скажешь?» Робко говорит Фейербах. «Глупо! За решетку». И т. д.

Такой, можно сказать, дикий осел топтался не год, а долгие годы в ограде Православия, и как он топтался успешно, с победой, как его имели неблагоразумие поддержать главы Церкви («он был хорошо принят в Петербурге и у митрополита Григория и у митрополита Исидора»... «ходили слухи, что *Беседа* получала значительные субсидии от некоторых высших духовных лиц» — говорит проф. Знаменский), — то у всего общества, созерцавшего этот скандальный союз явного литераторного негодяя с церковными иерархами, образовался трудно расцениваемый предрассудок, что вообще внутри этой ограды все место какое-то темное, ослиное и едущее на афоризме: «Ложь есть конь во спасение». И подите-ка, одолейте вот сейчас этот предрассудок толпы. Один митрополит дружил с Аскоченским. Нужно пяти митрополитам подружить с кем-нибудь вроде Пушкина, чтобы засыпать черную яму этих припоминок.

В этом отношении, можно сказать, оказывают золотую услугу Церкви такие ученые, как Знаменский, выясняющий вот уже во второй раз благородную личность Бухарева. «Верующая и младенчески чистая», — этот эпитет он непрестанно к нему прилагает. Вполне мы признаем (хотя Знаменский этого не говорит), что Бухарев слишком далеко зашел, когда гонимый несчастьями, получив запрещение печатать любимейшие свои труды, травимый Аскоченским, а главное — видя отступничество от себя даже любивших его, но запуганных Аскоченским * лиц, снял с себя сан архимандрита и монашество, — причем, уже мстительно, было отнято у него и звание магистра богословских наук, — и возвратился, как прописали ему в паспорте, «в сына дьякона, расстригу». Это было слишком. Надо было потерпеть, как и советовал ему Филарет. Но, однако, вспомним, что советовавшие ему терпение ничего не сделали для умаления его страдания, — ничего фактического, кроме ласковых и успокаивающих слов. Между тем что такое был Бухарев? Среди огромных, подкапывающихся друг под друга авторитетов, он вышел в сиянии, как священник из алтаря, с верой наивной и твердой, и заговорил о Боге, о Христе, о его искупительной за грехи мира жертве. «В Апокалипсисе ты мерцание света усматриваешь», — сказал ему многодумно и с одобрением Филарет. «Толкование на Апокалипсис», одобренное уже духовною цензурой к напечатанию, вследствие поднятого Аскоченским заранее скандала было запрещено к выпуску самим Синодом. Синод потребовал

* Аскоченский, травивший «Православное Обозрение», издававшееся под присмотром Филарета, в приезд свой в Москву долго не решался представиться митрополиту, ожидая сурового приема. Но митрополит принял его ласково, «благословил иконой» и дал сто рублей. Так как в то же время Филарет упрасивал митрополита Исидора как-нибудь унять Аскоченского, то явно, что он был напуган и ста рублями думал хоть помазать по губам этого господина. Между прочим Аскоченский раз из-за недоплаченных ему одною редакцией трех рублей поднял печатную брань.

труд к себе и положил в архив. Это был многолетний и самый любимый труд архимандрита Феодора. Наивно преданный монашеским обетам, он сказал, что не может не роптать, не может долее выдерживать монашеского обета «послушания»,— и, как потрясенный в этом обете, снял иночество. И тут вынесла на плечах своих потерпевшего кораблекрушение моряка русская самоотверженная женщина. «Расстрига» и «сын дьякона», без средств, кому он был нужен? Но к нему привязалась дочь местного (Владимирской губернии) помещика, образованная институтка, и соединила с ним свою судьбу. Старушка-вдова его, кажется, жива и до сих пор, и ее воспоминания о муже, в сущности о замечательном историческом деятеле, были бы любопытны. Сколько у нас есть историй о храбрых генералах; между тем этот кроткий и тихий монах вынес жизненную качку и видел победы (внутренние) и поражения, перед которыми зажмурились бы многие генералы. Погодин в одном месте своих «Простых речей о мудреных вещах» говорит, что знал в своей жизни только трех истинных христиан, и как одного из них — называет Бухарева; проф. Знаменский пишет, что, и оставив иночество, он во всем обиходе жизненном остался по-прежнему чистым и наивным иноком.

II

Вернемся к полемике Аскоченского и арх. Феодора Бухарева.

Насколько Аскоченский был человек мира сего, человек «плотяной» (= «плотский», специальный духовный термин), до известной степени даже пропитанный Бюхнером и Фейербахом и разошедшийся с ними не в методе и мирозерцании, а лишь в заключительном выводе, в последнем аккорде «исповедания», настолько архимандрит Феодор был как-им-то чудом занесенный в наш век аскет-созерцатель века VI или IX христианства. Сопоставим их в следующей выдержке об их полемике проф. П. Знаменского:

«Бухарев в одном месте пишет, что на каждого человека, как созданного *по образу Божию*, можно смотреть как на досточтимую *икону Божию*». Аскоченский восклицает: «Как? стало быть, и цыганки, и проститутки, и жиды, и канканьерши — все это досточтимые иконы самого Бога? Господи помилуй! Ведь это открытое иконоборство, договорившееся до последнего слова».

По такой мысли арх. Феодора видно, что он вынес свое чувство как бы из пустынь Феваиды, из лесов Сергия Радонежского; что его воображение чисто и ему в голову не приходили рубрики Аскоченского; между тем из самого подлого слога Аскоченского так и чувствуется, что девочки замучили его во сне и что «канканьерши» для него не один миф. Думается, порыться бы в его схоластической библиотеке, можно бы отыскать в ней соблазнительные неожиданности. Аскоченский — весь «современность»! Это Бюхнер из Бюхнеров, только окончивший случайно учение не в Германии и не на естественном факультете, а в Киеве

и в Духовной академии, но к духовным предметам совершенно применивший ухватки, нечистоплотность и «изгарь» (его термин) самого грубого материализма и совершенно безбожия. Бухарев из созерцаний своих, из вечного богоустремления души вынес целую систему (проф. Знаменский накидывает ее большой очерк), которую невозможно было образовать умом, а можно было только выткать из любви к Богу. Из того, что о ней пишет проф. Знаменский, можно заключить, что едва ли среди русских, по крайней мере просвещенных, рождалась еще в ком такая нежность почти видящей и осязающей любви к Богу. Например, Христа он всегда называл: «Единородный», и в Академии, когда случалось увещать студентов, мирить, приводить к раскаянию, всегда он заговаривал и побеждал упорную волю «Единородным». Тут в самом переименовании столь всем привычного имени сказывается огромность сердечной работы, неустанной мысли, непрестанного любования.

«Свою основную идею «о сообразовании с Единородным» арх. Феодор старался практически проводить даже в своей инспекторской деятельности в Казанской духовной академии. Смотри на свое инспекторское служение как на богослужение, и «сообразуясь» по своей религиозной системе «Единородному», он сам, так сказать, принимал на себя зрак студента, старался жить одною со студентами жизнью, как член одного с ними тела, одной маленькой церкви, смотрел на все студенческое, как на свое и Христово, самые вины студента считал своими собственными, как проявления своей собственной мертвенности вследствие «удаления от Единородного», страдал за них, как за свои вины, плакал, «распинался за них Христу», «во гроб полагался» до тех пор, пока не находил исхода своим скорбям или в исправлении студента, или даже в собственной уступке виновному из любвеобильного страха: не ломает ли он эту молодую ветвь своею строгостью в чем-нибудь под свою произвольную мерку, не подавляет ли чего-нибудь в молодом человеке доброго «Христова». Студенты со своей стороны любовно берегли этого любящего их инспектора, щадили его нервную и хрупкую натуру и старались по возможности реже его огорчать» («Истор. Казанск. дух. акад.», т. I, стр. 178).

Но это все вытекало не из прелести характера; арх. Феодор представляет поразительный пример *переработки самой природы человека под действием известной религиозной мысли*; и вообще биография его полна самого поучительного материала именно в смысле воздействия духовности человека, дум и дум его, на весь его «плотной состав».

Здесь невозможно излагать его систему. Проф. П. Знаменский передает ее, руководясь отчасти разбором, сделанным известным ученым Лебедевым, бывшим впоследствии протоиереем петербургского Казанского собора. В центре системы лежала идея о полном преодолении греха и всего смертного могуществом Божиим; о задаче человека провести свет религиозный через все фибры своего земного существования, ввести его во все житейское; об искупительном значении жертвы Христовой, «жертвы Агнчей», искупившей все грехи мира. «Как, неужели и философские грехи, и заблуждения Гегеля и Фейербаха?!» — воскликнул в полемике Аскоченский. Когда арх. Феодор ответил, что «и разум

человеческий и его великие приобретения, как, впрочем, и заблуждения, понесены на раменах своих Спасителем», то это вывело из себя редактора «Домашней Беседы». В самом деле, когда мы говорим о «прощении грехов», то мы всегда при этом разумеем какую-то отвлеченную «блудницу», вариант Марии Египетской,— разумеем специальный грех против седьмой заповеди, в искуплении какого состоит и им ограничивается «искупление от греха, проклятия и смерти мира»; так что, по мнению нравственных пуристов à la Аскоченский, чуть ли Спаситель и приходил на землю не специально для того, чтобы облегчить страдания души засиживающихся в кафе-шантанах господ. Ничего серьезного, мирового они при этом не разумеют.

Идеи арх. Феодора своевременно было бы пересмотреть в наше время. Он дал церковную форму, церковное выражение тем идеям и движениям души, которые гораздо позднее нашли светское и притом гениальное выражение в Достоевском. Родство их так и мелькает там и здесь. Множество идей у них — совершенно общих, и идей центральных, а не краевых. И, должно быть, лежало нечто провиденциальное в том, что в своей собственной среде архимандрит Феодор был затоптан, не пощажён; а миссия его, на несколько лет как бы скрывавшаяся под землю,— как есть подобные источники в горах,— вышла наружу и потекла уже неодолимою рекою в месте совершенно ином, в стане других людей — в литературе и светском обществе. Можно сказать: соединись русская высшая иерархия с арх. Феодором, а не с Аскоченским, поддержи его митрополиты Исидор и Филарет, привейся его идеи в нашей церковной литературе и привейся они вдохновенно и свободно,— и Церковь русская миновала бы благополучно несколько опасных подводных камней, она победно прошла бы множество затруднительных моментов, затруднительных положений, которые теперь, можно сказать, «раздирают ризы церковные», как камни или льды северные обдирают обшивку корабля (сектантство, раскол, равнодушие к состоянию Церкви образованных классов, «вольномыслие» многих отдельных светских людей, которые *религиозны*, но уже не *церковно-религиозны*).

Сделаем один философский комментарий к полемике арх. Феодора и Аскоченского. По поводу проповеди профессора богословия Н. А. Сергиевского 12 января 1861 г. в московской университетской церкви: «О значении веры в человечестве», Аскоченский обвинил последнего за то, что он говорил в ней перед профессорами и студентами, о «вере христианской», даже вообще о «религиозной вере», а не в частности о «православии». Аскоченский отрывал православие от христианства; незаметно для себя, он впадал в чудовищное еретичество мысли, что слово хвалебное *христианству* уже *не нужно православия*, что оно даже *разрушительно для православия*.

«Болят душа невыносимою скорбью при чтении беседы о. Сергиевского,— писал ханжа.— Ищет сладкого и отрадного сердцу слова: *православие*, а вместо того натывается на слова о какой-то *религиозной вере*».

Что́ это за факт отделения и противопоставления? Аскоченский был религиозным эстетом, в том дурном смысле, как это слово «эстет» употребляется иногда для людей, стоящих в (насмешливом значении) «по ту сторону добра и зла». Человек может и в Бога слабо верить, или вовсе не верить, а какая-нибудь черточка религиозного культа его невообразимо волнует эстетически, со всем фанатизмом художественной особой школы. «В будущую жизнь я не верю, а как услышу: *Со святыми упокой* — плачу». Тут музыка — независимо от веры сердечной. Для Аскоченского и для множества ему подобных людей суть христианства смешалась, так сказать, «с домашним бытом русского духовенства»; их отношение к христианству и чувство христианства выразилось и ограничилось строжайшим соблюдением множества частностей, подробностей, которые выткало около креста и Евангелия из недр своих наше духовное сословие. Ну что́ догматического в том, чтобы у диакона был бас, и громкий, грубый, во всяком случае сильный, а чтобы у священника был тенор, и притом слабый, замирающий, увещательный? А подите, сколько есть людей, которые откажутся ходить к обедне в ту церковь, или неохотно пойдут и без восхищения выслушают службу, где голоса диакона и священника поставлены наоборот сказанного. И вот является ревность эстета. Аскоченский ничего не помнит ни о Христе, ни о Евангелии. По всем идеям его, это есть истинный Иуда, продавший все Христово за... эстетическое наслаждение умильным тенорком такого-то отца Петра в такой-то Крестовоздвиженской церкви. «Нет загробной жизни, а рыдательные возгласы певчих на отпевании кладут меня плашмя на пол»; «нет, может быть, и Бога, но золотой крест над церковью, и эти пять маленьких главков вокруг большой, но звон к вечерне... падаю! лежу!.. истекаю в слезах!» Таких ныне множество: да и всегда они были; в отличие от строгого древнего поклонения «Богу вышнему» незнаемо откуда вышедшего Мельхиседека, от «хождения перед Богом» Эноха,— этих седых теней древности, впервые заговоривших о Боге без напоминания со стороны о Нем, еще без крестов, панихид, без вещественности, без всяких символов. Я не защитник этой бедности веры. Но та была вера настоящая, и я только об этом-то «настоящем» и говорю, отмечая Аскоченского, как «культуртрегера» *подробностей религиозных*, без всего «настоящего» в себе, без религиозно-настоящего.

Второй философский вопрос: отчего же, в конце концов, арх. Феодор, с «настоящим» в душе своей, был побежден этим легкомысленным культуртрегером религиозных подробностей? Где ключ всего положения вещей? Замечательно в полемике следующее: Аскоченский бил арх. Феодора не только нагло, но ходко, удачно, легко, без трудности. Слова так сами и сыпались ему в полемику, а арх. Феодор в запутанной тяжеловесной полемике все искал слов, натуживался, думал и придумывал: под руками у него ничего не было, и всю полемику он творил от себя, и полемика эта показала высшим иерархам и множеству

читателей чем-то новым и лично арх. Феодору принадлежащим. Читая интересную брошюру Знаменского, в одном месте я нашел выражение, поразившее меня смыслом. Нужно заметить, яд полемики весь вытек из сборника статей арх. Феодора под заглавием: «О православии в отношении к современности». Как борец против «современности», Аскоченский и объявил арх. Феодора «рenegатом православия». «Человек, одновременно ратующий и за православие и протягивающий руку нашей цивилизации,— есть трус, ренегат и изменник веры»,— писал он. Это — вообще. А вот частное место, меня поразившее:

«Аскоченский (в таком-то своем писании),— пишет профессор Знаменский,— выражает полное недоумение и даже непонимание того: что значит это возвращение плодов цивилизации Христу, что выйдет, например, из того, если мы объявим собственностью Христа барометры, пароходы и пр., и на что они Ему, для которого жертва — дух сокрушен и смирен».

При всей любви к арх. Феодору и отвращении к Аскоченскому, невозможно не рассмеяться, потом — не удивиться, а, наконец, и не задуматься, что ведь Аскоченский действительно был прав самой очевидной правотою; — и от этого-то он и находил все слова полемики под рукою, а арх. Феодор действительно говорил что-то странное, новое на взгляд митрополита Исидора: и пал по совершенной неосновательности своей защиты. Дело в том, что победа арх. Феодора и поражение Аскоченского лежат *вне* поля ведшейся между ними полемики, а в следующем верхнем этаже, куда, однако, не только Аскоченский, но и арх. Феодор не входил; а в том поле сражения, где они бились, кроме его доброго сердца, у арх. Феодора не было других аргументов, не было умственных и, наконец, даже просто умных аргументов. Вот-вот, уже на днях, исполнится 200-летие основания Петербурга. К Петру Великому мы относим из религиозных идей только одну, обычно порицаемую, это — церковно-административные преобразования Феофана Прокоповича. Между тем на Петербургской стороне находится смиренный и прекрасный, лично преобразователем основанный и первый в Петербурге *Троицкий* собор. Россия в любимых своих храмах прошла целую историю: в княжеский период свой, в Киеве и в Новгороде, она воздвигала храмы излюбленно «Софии — премудрости Божией»; в царский период, в Москве, является новый объект излюбленной мысли, преимущественного религиозного внимания — «Успение Пресвятой Богородицы», и храм, как памятник этой материнской скорби. Поразительно, что Петр Великий не повторил которой-нибудь из этих идей, а начал третью, воздвигнув храм во имя «Пресвятой *Троицы*». Вот если бы из петербургского своего уныния гонимый арх. Феодор взглянул на этот храм, если бы в летнюю задумчивую ночь он подошел к его стене и спросил себя о какой-то providенциальной неясности, понудившей Петра *перво-*му храму в новой столице дать *новое имя*, он нашел бы ключ позиции в спорах своих с Аскоченским, слова стали бы трудны для последнего,

а у арх. Феодора они посыпались бы, как из рога изобилия. Ну, действительно, на что Христу барометры и пароходы? При всех усилиях ума согласиться с Бухаревым, мы соглашаемся с Аскоченским. Но неужели же Аскоченский победил, и вся темь «Домашней Беседы» — без рассвета, без надежд впереди — есть настоящее и разумное религиозное состояние Европы?! Ибо вопрос о «барометрах» принципиален, так как вместо барометра мы можем подставить «Гегеля», «искусство», что угодно: и ответ, полученный о барометре, в сущности повторится о всех частях цивилизации, а затем и о ней-всей в целом. Если «Христу не нужны барометры», не более их нужна и философия. Но поведший к морю Россию Петр произнес: «Троица»... Этим именем переменяется все, открывается верхний этаж религиозного созерцания, где Аскоченский и «иже с ним» умалются до нуля, падают в бессилии, а арх. Феодор, примирявший религию «с современностью», получает скалу под ноги. Да, «Христу не нужны пароходы, ни барометры», но *Духу Святому* и *Богу Отцу* не нужен ли и океан, и надежды мореплавания, и вся жизнь, играющая и многоцветная? Не нужно ли это «бытие», — возьмем объединяющий термин, — Ему, Который Сам есть Первоисточник всякого бытия, Законодатель его всего, без исключения и барометров и пароходов. Ибо и ртуть и пар являют в себе дивные законы. Архимандрит Феодор хватал в подтверждение некоторые евангельские выражения, как «Дух дышит, идеже хошет», но вообще, Аскоченский более там находил выражений в подтверждение, что «жертва Богу — дух сокрушен». В самом Евангелии содержится, конечно, свет всех трех Ипостасей, но мы совершенно запутаемся в понимании его, как запутались чрезвычайно многие, если не станем различать в нем выражений, где светит свет *одной второй* Ипостаси, и где светит то либо одна третья («Дух дышит, идеже хошет»), то *одна первая* («в доме Отца Моего обителей много») и, наконец, *все три* «нераздельно». Не держась этого метода, погрешили в разъяснениях отношения религии к цивилизации, частнее — христианства к цивилизации и, наконец, уже совершенно конкретно — Церкви к цивилизации, даже самые великие ученые. Невозможно, например, не заметить, что в трактатах об искусстве и науке стал повторять Аскоченского... и Толстой!! Да, да, ибо логика непобедима и его «барометры вовсе не нужны Христу» — это очевидно не для одного Аскоченского. Петр дал имя *Троицкому* собору, но философии около него не создал. Между тем философия эта — есть; и все чаще и чаще поднимающиеся вопросы: как же сочетать нашу *жизнь* с *верой* и остаться богоугодным, а с тем вместе быть неустрашимым моряком, нудят к положению первых камней этой новой философии. Обыкновенно с христианством, например, мореплавание «мирилось» через то, что сзади моряку как бы привешивался мешок с добрыми христианскими делами: «моряк этот был милостив к матросам, обходителен с товарищами, а посему он был христианин». Мешок этот за спиною слабо привязан и более затушевывает вопрос, чем его разрешает. Ибо ведь вопрос-то состоит в том, что

же есть собственного и специального в моряке, а также в художнике, в поэте, в ученом и мыслителе, что связывалось бы... с религией?! Да *самое бытие* их, сочное и полное, без отрицания мотивов, страстей, капризов или гения, входит всюю полнотою полнот в волю Отца небесного, о Котором и Сын сказал, что «без нея волоса не падает с головы человека». Поэт и моряк, может быть, не были «благочестивы» привычным благочестием («домашний быт духовенства» вместо «христианства»), может быть, они даже были не очень смиренны (категория второй Ипостаси, «жертвы Агнчей»), и все же вполне они могут остаться возлюбленными Божиими детьми, Отчею тварью — по «образу и подобию» или орла летящего или льва «Перед Престолом Божиим» (видения пророка Иезекииля, видения апостола Иоанна в Апокалипсисе).

Возводя же все только к «жертве Агнчей», арх. Феодор не имел почвы под ногами; он как бы не касался пола своего этажа, в котором так свободно расхаживал Аскоченский, и не доходил, однако, до второго этажа, где сокрыты религиозные *законы мира*, как нечто совсем разнородное, нежели его моральные заповеди. Тут уже начинается храм, куда входит и зодиак, и созвездия, и вся история, и все надежды человеческие; где сближаются, как летние зори, и «иудей и эллин», мерцает свет и Вавилона и Египта; и где совершенно перестает быть слышен «слабенький тенор нашего приходского священника», как главная суть отношений наших к Богу, и вообще оканчивается «домашний быт русского духовенства», как единое пристанище верующего сердца. Не отрицается и он, ибо «в дому Отца Небесного обителей много»; но получает он границы, определения, — небольшие, тесные, хоть и прекрасные.

1902

Четыре письма Анн. С. Бухаревой

В духовной — религиозной и умственной — истории России не только *богословская система* архимандрита Феодора Бухарева, но и его *личность* и *биография* имеют большое значение. Как выразился о нем священник А. П. Устьянский (см. письмо его, напечатанное в моей книге: «В мире неясного и нерешенного», статья «Брак и христианство»), он «выходом из монашества и вступлением в брак снял монополию спасения у монашества». Навсегда поэтому останется интересным вопрос именно об этом центральном и принципиальном поступке его жизни, и вместе страдальческого, гонимого жития. Ибо именно за семью он был гоним, разом лишившись положения, содержания, должности и даже ученой степени доктора богословия!! Был ли это в жизни его случай, увлечение, минута? или было тут сознание, а, наконец, и убеждение? Было ли Божие благословение над ним с семьею его? Вот отчего личность его супруги, Анны Сергеевны Бухаревой, имеет значение; и сохраняют ценность звуки ее голоса, в котором, как у писателей в их

стиле, всегда слышится душа. В 1902 и 1904 гг. она обменялась со мною несколькими письмами, и я позволю себе привести отрывки из них. Замечу, что о. архимандрит Феодор после снятия монашества принял имя «Александра», и в письмах везде именуется супругою «А. М.» или «Александр Матвейч».

I

Многоуважаемый В. В.

Тысячам читателей поведали вы о трагической судьбе моего покойного мужа, и его образ окружили таким сиянием, как образ человека с чистой и пламенной верой, — но за такую веру и пострадавшего. Глубоко признательна и за оценку профессора Знаменского, который так много положил бескорыстного труда на то, чтобы восстановить правду по отношению к человеку, умершему с лишком 30 лет назад; ведь изучал он его систему, собирал материалы и так много потрудился над этим. Один почтенный старец писал мне по поводу профессора Знаменского: «Слава Богу, правда не иссякла еще на Руси».

Анна Бухарева. 16 декабря 1902 года.

Переславль-Залесский.

II

Многоуважаемый В. В.

Пришло ваше письмо, такое любезное и такое сочувственное.

Постараюсь ответить на сделанные вами мне вопросы. Боюсь, мое письмо не было бы слишком длинным, но хочется мне ответить вам на все подробно и обстоятельно.

Вы спрашиваете, есть ли у меня какие-нибудь записки о моем муже, Александре Матвеевиче? — Форменных, так сказать, воспоминаний нет у меня. Но в моих письмах к одному очень близкому человеку, священнику Лаврскому, есть, кажется, все материалы для воспоминаний, какие только могла я дать от себя. О. Валерьян Викторович Лаврский — соборный протоиерей в Самаре в настоящее время — был любимейшим учеником Александра Матвеевича, по Казанской академии, и дружба с ним продолжалась у мужа до самой смерти. А после его смерти отец Лаврский, кажется, каждые две недели писал мне из Варшавы, где был законоучителем при гимназии. Письма его, большие и очень содержательные, были тогда моим единственным утешением, — так что и я писала ему много, и, конечно, мои письма были полны воспоминаниями. После того я уже не думала писать воспоминаний — знала, что рассказала все, что только могла рассказать, и знала, что о. Лаврский сохранит это, как материал для воспоминаний или биографии моего мужа. Но несколько лет назад о. Лаврский, под влиянием особенно удрученного состояния духа, с предчувствиями близкой смерти — переписал профессору Знаменскому мои письма, вместе с имеющимися у него рукописями Ал. М-ча, тоже им полученными от меня. Это было после того, как Знаменский написал «Печальное 25-летие». — Кажется, и теперь это все находится у Зн-го. Три года назад были у меня еще записки, которые знает и о. Александр Устьянский *. Они написаны были по поводу письма Знаменского к г-же Лебеде-

* Соборный протоиерей в Старой Руссе, теперь настоятель церкви в Новгородском Десятинном женском монастыре. — В. Р-в.

вой, дочери протоиерея Лебедева. Он ей писал, что по отношению к Александру Матвеевичу занимают его следующие вопросы: 1) кто обманул его монашеством; 2) процесс его психического развития; 3) когда слагалось его мирозозерцание и, наконец, 4) обстоятельность его детства. Предположив, что он хочет опять писать об Ал. М-че, я взялась, как могла, ответить на эти вопросы, и при этом еще постаралась изложить одну из основных идей Ал. М-ча — с помощью цитат, взятых буквально из его книги «О Православии в отношении современности». Последнее сделала я, имея в виду г. Лебедеву, которая, казалось мне, тогда еще недостаточно понимала его.— Посылала я эти записки о. Александру Устьинскому. Он был рад и по своему горячему сочувствию к о. Александру Матвеевичу и ко мне расхвалил и даже настоятельно советовал отпечатать их где-нибудь.

Но вот я недавно их перечитывала, и мне очень не понравилось, а для печати и совсем не годится; может только разве служить некоторым материалом, но никак не в том виде, как это написано. Целые длинные годы ни с кем, кроме книг, не приходилось мне беседовать по душе, а потому и стиль у меня получился словно деланный, совсем не живая речь,— писала я спешно, лихорадочно, в приподнятом настроении,— и от давно скопившихся чувств — невысказанных — самый тон какой-то постоянно приподнятый. А при отсутствии таланта или даже простого умения всякий пафос, хотя бы самый искренний, отзывает риторикой,— что, конечно, расхолаживает впечатление *. Я это чувствовала и тогда, как писала, но ничего не могла с собой сделать: когда хотела писать проще, выходило у меня что-то до крайности бессвязное и тупое... Потому совсем это не годится для печати (не говоря уже о том, что нет никакого плана), если б даже и представилась возможность напечатать. Так как вы интересуетесь моим мужем, то я попрошу о. Устьинского переслать вам мои записки для прочтения,— они у него есть. Надо, впрочем, сказать, что таким запискам дается ведь мало и веры; обыкновенно в таких случаях говорится: «жена ведь писала»... Другое совсем дело воспоминания человека постороннего. А есть такие воспоминания, и хотела бы я, чтобы вы и о. Устьинский их прочитали. Это — воспоминания все того же о. Лаврского. Он их писал в год смерти моего мужа, но они у него остались на руках, так как некуда их было поместить. Тут же приводятся письма одного студента академии к своим родным, то есть выдержки из его писем, посвященные о. Феодору. Студент этот был сам В. В. Лаврский, и его письма полны о. Феодором. Особенно дорого это тем, что писалось под непосредственным впечатлением.

О. Лаврский человек очень даровитый. Вам, может быть, что-нибудь известно об А. В. Потаниной, жене известного путешественника. После ее смерти (в 90-х годах) о ней много писали в газетах и журналах. Так вот это ее брат. Он был другом и товарищем по семинарии Добролюбова. Когда-то я читала в «Современнике» дневник последнего, где упоминает он о В. В. Лаврском как о человеке с умом блестящим, но крайне скептическим, так что он, Добролюбов, по временам принужден бывал от него отдаляться, чтобы сохранить цельными свои верования. Но вот такого скептицизма и признака нет в его письмах к родным,— так восторженны его отзывы об о. Феодоре.— В 1871 году он прислал мне свои воспоминания, а два года назад я их видела в руках у Е. А. Лебедевой,—

* Какая тонкая и верная оценка,— в пору самому зрелому писателю. С тем вместе «приподнятый патетический тон» вдовы слишком говорит о том, что она нашла в муже своем духовного героя, которому служила с чисто женской самоотверженностью.— В. Р-я.

побывавшей в Самаре, и вновь их перечитывала. Чрезвычайно хорошо. К несчастью, судя по его редким письмам, опять он в удрученном состоянии духа, к тому же болен; но спрошу его, что он хочет делать со своими воспоминаниями. Да, впрочем, я уже написала ему.

Вы еще спрашиваете меня,— трудно ли мне было *. Но мне кажется, что ко всякому подвигу любви,— любви настоящей, вполне приложимы слова Спасителя: «Иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть». Я могу с полной искренностью сказать, что все трудности проходили как бы мимо меня. С родными, конечно, была борьба жестокая, особенно с отцом — матери не было в живых.

У меня было небольшое имяньице, лично мне принадлежавшее, но, по желанию Ал. М-ча, я отказалась от него, выходя за него замуж. И за все время моей жизни с Ал. М-чем я не получила ни гроша от отца.

Своих родных у меня нет теперь; есть, правда, двоюродные, но я с ними не вижу. Но с родными мужа у меня отношения самые лучшие. В прошлом году летом я гостила в селе у одного священника, женатого на родной племяннице Ал. М-ча, и отлично чувствовала себя в этой родственной семье.— Материальные мои обстоятельства не блестящие, но нужды нет у меня никакой.

Что касается портрета моего мужа, то были у него карточки, когда был еще монахом. Есть одна такая и у меня, но, на мой взгляд, не особенно похожа. У него было одно из тех нервных лиц, которые мало удавались в фотографии, особенно в прежнее время, когда так долго надо было позировать. Но есть у меня карточка более похожая, хотя снята была она уже с мертвого. Я закажу по ней другие, а когда будут готовы, непременно перешлю одну вам, а другую о. Устьинскому. А что вы говорите о нем, об о. Александре Устьинском,— это совершенно верно. Одно воспоминание о нем наполняет мне душу умилением и горячей к нему признательностью.

В заключение хочется мне вам передать одно воспоминание, так сказать, характерное, которое пробудили у меня ваши слова о детях.

Был у нас ребенок, девочка: умерла она 11 месяцев. Александр Матвеевич, предчувствуя, что сам недолго наживет, говорил нередко со мной о том, как я должна ее воспитывать. Он говорил мне: «Вот ты любишь книги, склад характера у тебя мечтательный, а она, возможно, будет не такая, со складом более практическим, или будет любить веселье, удовольствия, танцы. Так ты смотри: не ломай ее. Научи ее любить Бога, людей, *но не ломай, ради Бога не ломай.* (Подчеркнутые слова я буквально запомнила.) Давай свободно развиваться тому, что заложено в ее природе». Но вот не суждено мне было воспитывать свою дочку. *А. Бухарева.* 29 декабря 1902 г.

III

Многоуважаемый В. В.

Буду с вами говорить с полной искренностью, чем могу только доказать свое к вам доверие и уважение. Я вас искренне благодарила, когда появилась первая половина вашей статьи от 12 декабря,— благодарила искренно и за продолжение ее... Но, конечно, вы сами знаете, многоуважаемый В. В., что концом ее я не

* Т. е. я спрашивал: трудно ли ей было, дворянке, помещице, институтке,— соединить судьбу свою с человеком великой души, но который разом и злобно был извергнут из своего сословия, сана и даже лишен ученой степени?! Ведь это было похоже на «изуродованного» Абельяра, похоже и на обесчещенного Дрейфуса! А женщины — все злословят их — тщеславны и не выносят «петуха без оперенья». — *В. Р-а.*

могла быть довольной. Однако удовольствие от первой половны пересилило неудовольствие от второй, и я все-таки поблагодарила вас от чистого сердца. Хотела я вам возразить в своем письме к вам, но не была в силах этого сделать, больше... чувствовала, как надо бы возразить, а мыслей своих не могла привести в ясность. Теперь слышу, что некоторые почитатели моего мужа хотят возражать вам; думаю, что возражение будет дельное, судя по одному человеку, который хочет писать,— и думаю, что вы ничего против этого не будете иметь, так как это может только послужить к выяснению дела и поддержанию интереса к личности Александра Матвеевича и к делу его мысли.

Знаете ли? В тех записках, что посылала я о. Устьинскому, видели по местам православный образ мыслей,— тогда как почти буквально составлены они из цитат, выписанных из сочинений Ал. М-ча. Но это меня не трогает, так как дело тут в единичных случаях, а я твердо знаю, что ни на йоту не искажила учение моего мужа.

С истинным уважением *А. Бухарева*. 20 января 1903 г.

IV

Многоуважаемый В. В.

С большим удовольствием я прочитала в июньской книжке «Нового пути» добрый ваш отзыв о статьях О. Светлова — в связи с признанием заслуг В. Соловьева перед богословской наукой. Нельзя не согласиться с тем, что *Богословский Вестник* — лучший из наших духовных журналов. Мне говорили, что если б не *Богословский Вестник*, то статьи О. Светлова так и не увидели бы света: в других духовных журналах их не хотели принимать. Правда, есть здесь статьи, не отвечающие общему свежему направлению,— которое, говорят, зависит много от людей, стоящих во главе редакции,— но это, пожалуй, и неизбежно в журнале академическом, где каждый профессор имеет право на помещение своей статьи. Вот, кстати, я хочу рассказать вам, как я была возмущена статьей проф. Тареева «О нравственном значении Христова воскресения» (*Богословский Вестник* за прошлый год), где он с решительностью восстает против верования в Воскресение Христа во плоти. Статья написана в тоне, не допускающем возражений. Главным образом, меня возмутил его спиритуализм, которым хочет он затемнить широкие горизонты, имеющие открываться с развитием учения о Боговоплощении. Против него выступил было в Мис. Обоз. прот. Лаврский, но Тареев ответил ему сердитой отповедью, где говорит о невозможности для ученого богослова сказать свое новое слово, без того, чтобы ретроградная критика не накинулась на него. Но спиритуализм в богословской литературе у нас несколько не новость, и недаром же сам он ссылается на богословие Макария. Хотя олимпийство Тареева и производит несколько комичное впечатление, но все-таки я не могу относиться равнодушно к его статьям по важности вопросов, которых он в них касается. А как потускнел бы Светлый наш Праздник, если бы православное наше представление о воскресении Христа отвечало спиритуалистическому представлению Тареева,— не чувствовал бы народ этого праздника так, как чувствует его теперь, не чувствовал бы так и пасхальной утрени, когда на возглас священника: «Христос воскрес», как из одной груди — вырывается радостное: «воистину воскрес». Я только на днях прочитала отповедь Тареева о. Лаврскому, и мне живо теперь вспоминается та первая его статья, послужившая поводом к полемике,— так что, начав писать вам и зная, с каким вниманием вы

относиться к вопросам веры, я не могла утерпеть, чтобы не говорить о том, что меня в эту минуту занимает и возмущает *...

Душевно вам преданная А. Бухарева. 16 мая 1904 г.

Темы о сочетании *реальной действительности* с идеалом *религиозной святости*, поднятые о. архимандритом Феодором Бухаревым, прекрасно разработаны в одной не напечатанной, хотя предназначавшейся к печати, статье священника А. П. Устьинского. Я позволю себе предложить ее вниманию моих читателей: так как о. Ал. У-ский пишет тверже и яснее, нежели я, на многие общие у нас обоих темы. К тому же по статье «Брак и христианство» и вообще по книге «В мире неясного и нерешенного» мы уже сплелись, духовно и литературно, с ним в одно. Вот оно:

РАЗДВОЕННОСТЬ ЖИЗНИ

Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Иак. I, 8.

Жизнь человеческая тогда только идет вперед бодро и уверенным шагом, когда человек успел и сумел подвести ее под один какой-либо определенный принцип, осветить ее лучом какого-либо одного нравственного идеала. Чем определеннее поставлен идеал жизни и чем увереннее человек в истинности своего идеала, тем он тверже и решительнее во всех своих поступках и действиях. Без объединяющего действия принципа, без светящегося впереди идеала жизнь превращается в постоянное, повседневное крушение духа. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (1 Кор. 10, 21).

* Проф. Тареев — одно из светил нашей богословской или, точнее, религиозно-философской литературы. Он не «спиритуалист» по трафарету, и если сделал ссылки на Макария, то лишь чтобы защитить себя от обвинения в «худоумии» (монашеский термин): на самом деле он в себе самом всегда имеет фундаменты большие, чем какие мог бы почерпнуть из всевозможных ссылок и цитат. Но в данном пункте старушка-вдова покойного Бухарева, мне думается, права: а что она так поняла житейскую важность философского тезиса проф. Тареева — показывает, до чего она вдумалась, а не вчиталась только в систему своего мужа, и как система эта, и мужа ее, архимандрита Феодора, и ее самой (по усвоению) сплелась с личностью и жизнью их обоих. *Спиритуалист* Тареев говорит, что в *воскресении* Христа было только воскресение его души, а *телесного* воскресения не было вовсе. Между тем ведь душа, даже наша, и при смерти, при убийстве нашего тела, не умирает. Душа *не воскресает*, потому что она *не умирает*. *Воскресение* есть именно факт тела; всегда было предметом сомнения или спора возможность *для него* воскреснуть. Христос «победил смерть» — именно телесную, по законам природы, физики и химии; и через то дал надежду и нам всем воскреснуть *физически*. Это со стороны факта. Но Анна Сергеевна возмущается самою его тенденцией: зачем профессору это учение? Он *возвышает дух на счет тела*, т. е. путем его уничтожения (монашеская тенденция); и она, сливая личный свой подвиг и правду своего мужа (разрыв с монашеством), восстает за *права* тела жить вечно с духом, за возможность *для него* воскреснуть просветленным, за озарение *тела* новым светом, павшим на него из воскресения Христа. Тут — точка поворота мирозерцания, точка *отворота* его от неистовств аскетизма и гордыни его, откуда уже начинается великое признание мира, природы, радостей земных, и усиленно — признание рождения, семьи, брака. «Все это — правда, великая, святая, не меньшая, чем содержащаяся в лукавом, гордом, самонадеянном спиритуализме». От себя добавлю, что женщина и мать и *не может* говорить иначе, «яко та есть мать жизни» (в Бытии — о Еве).— В. Р-в.

Но владеет ли русское православное общество таким объединительным принципом жизни? Сведены ли все явления личной, семейной, общественной и церковной жизни православного христианина к одному общему началу? Освещены ли они светом одного, и притом самого возвышенного и дорогого, самого благородного и светлого идеала,— идеала святости? Увы, можно смело сказать, что у подавляющего большинства русского общества такого объединительного принципа нет, таким лучезарным идеалом оно не обладает. Как на подтверждение этого своего утверждения, я укажу на два факта,— один из области литературы, другой из обыденной жизни.

Что передает Александр Матвеевич Бухарев в своей книге «О современных духовных потребностях мысли и жизни»: «Мне рассказывала одна светская девица, как она мучила себя и терзала, убивала свою духовную жизнь в своем нравственном раздвоении: то примется за книги духовные, начнет ходить как можно чаще в церковь, усердно молиться, всего опасаться как нечистого, соблазнительного; то, увлекшись какою-либо светскою книгою, бросит все духовное, схватится за романы, за светские развлечения, и все это с таким расположением и мыслями, что уже все равно погибать. Эта барышня была не только не испорченная, но и неспособная обманывать и усыплять свою совесть фальшивым миром между тем, что она считала добром, и тем, что признавала худом. Несмотря на это, в своем мучительном для ее совести раздвоении то на светскую жизнь, то на благочестие, она естественно доходила до такой ужасной мысли во глубине своей души, что «хорошо было бы жить на свете, если бы не было Бога» (ст. 112, курсив мой).— Что может быть правдивее и нагляднее рассказанной в этих словах истории! Но то, что пережила и переиспытала в своей совести указанная Бухаревым светская девушка, не есть ли, в сущности, внутренняя душевная драма каждой русской девушки и каждого русского юноши, серьезно подумывающих о спасении и вместе с тем не решившихся однажды навсегда порвать свои связи с миром и заключиться в какой-нибудь пустынной обители?

А вот случай из обыденной жизни. Иду я раз по городской улице. Мне навстречу попадают незнакомые мне *молодой кавалер* и *молодая барышня*. Они оживленно между собой разговаривали. До моего слуха в момент встречи из их разговора ясно и отчетливо донесли следующие фразы:

— Ах, верно, спастись хотите,— говорил кавалер.

— Нет уж, куда мне,— отвечала девушка.

Я не только хорошо расслышал тон голоса, когда произносились эти вопрос и ответ, но успел отчетливо уловить и выражение физиономии у молодых людей во время их разговора. *Кавалер* предлагал свой вопрос в скептическом тоне. На лице его играла легкая ироническая насмешка. Девушка произнесла свой ответ в каком-то заунывно-грустном тоне. Заведомо слышалось в тоне ее голоса сомнение о чем-то дорогом и желанном, но не достижимом. Ее настроение, отобразившееся в тоне ее голоса, отпечатлелось и на ее физиономии. «Все это хорошо, все это прекрасно и желательно, но увы, все это не для нас, не по нашим силам»,— было написано на лице ее.

Но ведь это явление не единичное. Напротив, это всеобщий тип нашей русской жизни. Не все ли русские девушки и юноши таковы? Не все ли русские отцы и матери таковы? Исключения ничтожны.

Откуда же такое настроение в русском обществе? Оно создано веками, вследствие преобладания в обращении аскетической литературы, в которой всегда и постоянно господствовал идеал девственности, монашества и отшельничества,

и в которой ни разу, в качестве идеала христианского совершенства, не была выставлена христианская семья. Всюду развеялся монашеский флаг, и нигде и никогда флаг христианской семьи.

Беру в руки «Лествицу» преподобного Иоанна Лествичника, открываю первую страницу и нахожу: «Слово первое, об отречении от мира». Меня несколько инстинктивно передегеривает. Беру творения преподобного Исаака Сириянина, открываю первую страницу и встречаю: «Слово первое, об отречении от мира и о житии монашеском». — Боже! восклицаю я в отчаянии: да кто же скажет нам о святости семейного жития? Беру беседы преподобного Макария Египетского, перелистываю, и глаза мои падают на следующее изречение: «Кто хочет прийти к Господу, сподобиться вечной жизни, стать жилищем Божиим и удостоиться Святого Духа, — тот, чтобы ему быть в состоянии неукоризненно и чисто творить плоды по заповедям Господним, должен положить такое начало. Во-первых, *должно ему твердо уверовать в Господа, всецело посвятить себя словесам заповедей Его, во всем отречься от мира, чтобы ум совершенно не был занят ничем видимым*» (Слово 1, о хранении сердца, гл. 13). Выходит, — завяжи глаза и беги в пустыню. Да, права, при таких условиях, в своих воззрениях встретившаяся со мною на Волховском мосту молодая девушка.

Что же, однако, в конце концов? Следовательно, все это правда? — Да, совершенная правда, но только с одной стороны. Мы должны твердо помнить, что Новозаветный идеал жизни не единичен, а двойственен. Быть может, гораздо правильнее и истиннее было бы мыслить и утверждать, что Новозаветный идеал жизни тройственен, по образу трех Лиц Пресвятой Троицы; но я пока указываю лишь на двойственность этого идеала, руководствуясь при этом категорическим и раз навсегда данным изречением Христа Спасителя: «*Не все вмещают словесе сего (о девственной жизни), но им же дано есть*» (Мф. 19, 11). Для всякого совершенно ясно и очевидно, что ученики и последователи Христа, этим словом Его, разделяются на два класса, или на две категории. К первому классу относятся те, о которых сказано: «не все вмещают словесе сего». Ко второму те, о которых сказано: «но им же дано есть». Последние — это девственники, монахи, пустынники. Первые — это люди семейные, живущие в мире. Историческое христианство (православие и католичество) в продолжение двух тысяч лет было преимущественным, почти исключительным развитием лишь одной половины христианского идеала жизни, именно идеала девственности. Все те, которые оставались в остатке за вычетом «могущих вместить», т. е. семейные последователи Христа, стояли в истории христианства в тени и нимало не заботились о выработке и осуществлении идеала семейной христианской жизни. По крайней мере, я всю жизнь свою искал и ни разу и нигде не нашел ни одного слова под таким приблизительно заглавием: «Слово о святости семейной жизни», или «Слово о христианской семье, как идеале христианского нравственного совершенства» и т. под. Отсюда и составилось убеждение русских людей: что если хочешь спастись, то иди в монастырь; а если остался в мире, то позабудь думать о святости*.

Но это есть лишь недосмотр, или односторонность. Девственность есть лишь особенность Нового Завета, но не *исключительный* идеал христианства. Христиан-

* Это ходячее воззрение русских людей нигде с такою силою, типичностью, краткостью и истинностью не высказано, как в неподражаемо точном и неопровержимо правильном изречении Д. С. Мережковского: «Один говорит: нельзя быть *живым*, не отрехшись от Христа. Другие: нельзя быть *христианином*, не отрехшись от жизни. Или жизнь без Христа, или христианство без жизни» (Нов. Путь, март, стр. 161).

ство приняло, вобрало в себя и весь Ветхий Завет, с укладом его исключительно семейной жизни. Да еще и как решительно, как неотразимо! Так что сынам Нового Завета, а в том числе, конечно, и девственникам, вменяется лишь в особенное счастье, что они в Царствии Божием возягут вместе и наравне с сынами Ветхого Завета, ведшими семейную жизнь. «Говорю вам, что многие придут с востока и запада, и возягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном» (Мф. 8, 11).

Поскольку сыны Нового Завета остаются в условиях семейной и общественной жизни, они напоминают и повторяют собою сынов Ветхого Завета. А пред этими последними, хотя все они поголовно вели семейную жизнь, поставлен был во всей его силе и неотразимости идеал святости. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш» (Лев. 19, 1, 2). Эту же заповедь о святости повторил св. ап. Петр и сынам Нового Завета (Пет. 1, 15, 16).

Поэтому чрезвычайно странным и непонятным кажется, что семейные сыны Нового Завета совершенно утеряли и утратили всякое понятие об идеале святости. Страшно слышать из уст молодой христианской девушки, что спасение существует не для нее. Ведь она дочь христианских родителей. Ведь она воспитанница христианских учебных заведений. Родители! где же плоды вашего христианского воспитания?! Учители и воспитатели! где же плоды вашего христианского обучения?!

Все истинные и неподдельные сыны Нового Завета, из группы семейных, должны повторить вместе с Д. С. Мережковским: «Мы хотим, чтобы жизнь была в Христе и Христос в жизни» (ibidem). Все, во множестве рассеянные по страницам нашей аскетической литературы, слова об отречении от мира, суть действительный призыв к иноческой жизни. И те из христиан, на которых слова эти произвели решающее действие, пусть вдохновенно идут в пустыни и обители. Благословен путь их! И да поддержит и да подкрепит их Благое Провидение в их святом подвиге! Но мы, оставшиеся в мире, что же мы такое? Разве мы уже и не сыны Нового Завета? И разве все новозаветные обетования уже не для нас существуют? Или нам остается безнадежно опустить руки, в той мысли, что спасение существует не для нас? Тысячу раз нет и нет. Возведите очи ваши и посмотрите на необозримые сонмы ветхозаветных праведников, которые даже и понятия не имели об отречении от мира, а между тем точно так же входят в состав Небесной Церкви, как и сыны Нового Завета, воспитавшиеся и взрослые в отречении от мира. Посмотрите, перед нами первосвященник Аарон с лучезарно сияющей на челе его надписью: «Святыня Господня». Эта надпись да будет истинным и бессменным флагом и для тебя, семейный христианин. Да будет она твоим всегдашним знаменем, под которым бы ты неизменно стоял. Когда ты, семейный христианин, верно и твердо будешь стоять под знаменем ветхозаветного первосвященника, тогда и Новозаветный вечный Первосвященник — Христос откроет для тебя двери Царствия Своего, и уже никто не сможет затворить их пред тобою (Апок. 3, 8).

«По примеру призвавшего вас Святого, и сами *будьте святы во всех поступках*» (1 Пет. 1, 15). Это писал св. ап. Петр семейным христианам. «Читающий да разумет» (Мф. 24, 15). Итак, семейный христианин, да не будет в твоих семейных и общественных поступках ничего «нечистого» (Апок. 21, 27). Озари, освети, окружи ореолом святости все твои *семейные* и общественные поступки, без всякого исключения. И ты будешь воистину сыном Царствия Божия.

Русская девушка, конечно, с щемящей болью в сердце говорит: «*хорошо* было бы жить на свете, если бы *не было Бога*». Таким образом, для ее сознания *счастье* жизни стоит *вне Бога, в стороне* от Бога, как бы *за границей* Его *присутствия*. Какое продолжительное и глубокое падение истинных понятий должно совершиться в душе, чтобы могла образоваться в ней подобная фраза! А между тем это общее и повсюдное настроение русской молодежи. Но перенесемся на минуту за Атлантический океан и посмотрим, как отразилось Евангелие Христово на сознании американской молодежи. Вот восемнадцатилетний американский юноша говорит: «*Религия* для меня есть только другое название *счастья*» (книга: «Вильям Чаннинг, биографический очерк», стр. 16). Какая неизмеримая разница в настроении и в воззрениях! Да, поистине нам приходится учиться у американцев не только техническим изобретениям, но и религиозному благочестию.

Семья есть святыня не только в Ветхом Завете, но точно так же и в Новом. «Я и дом мой будет служить Господу» (Иис. Нав. 24, 15), говорил некогда Иисус Навин. Но это есть вечный и неизменный закон и для всякого новозаветного семьянина. В самом семействе своем и самым семейством своим христианин призывается служить Единому Господу, а не каким-либо иным божкам и кумирам.

«Что значит служить Богу в семье? Служить Ему в семье — значит стремиться прославить Его во всех этих сладких, дорогих отношениях прежде, чем думать о своем личном счастье,— дать семье благородную, возвышенную цель, находящуюся вне нас,— научить ее, что она, как и отдельная личность, не должна жить для себя, что конец ее и назначение ее в Боге» (Христианская семья Прессансэ, стр. 13).

Пастор Дю-Туа, изложив средства и способы к постепенному достижению блаженного соединения с Богом, прибавляет: «Заметьте притом, что средства сии немало не мешают внешним должностям, и все они совместны с обыкновенными упражнениями и даже с позволенными удовольствиями, необходимыми по слабости нашей природы» («Божественная философия», кн. 5, стр. 14, примечание). Поверим в данном вопросе свидетельству человека, сердце которого с четырнадцатилетнего возраста воспламенилось любовью к Богу и который последние семь лет своей жизни провел в совершенном уединении, подобно нашему недавнему затворнику — епископу Феофану.

Русские семейные христиане! Доколе вы будете хромать на оба колена? (3 Цар. 18, 21) Доколе вы будете делить, раскалывать и раздвоять свою семейную жизнь на служение Христу и на служение Велиару? Не должна ли ваша семейная жизнь быть единым нераздельным лучом света Христова, единою безраздельною песнию Бессмертной Троице?!

Протоиерей А. Устьинский

ПАПСКАЯ «НЕПОГРЕШИМОСТЬ» КАК ОРУДИЕ РЕФОРМАЦИИ БЕЗ РЕВОЛЮЦИИ

В интересной статье г. А. Киреева «Новая энциклика папы» высказано несколько таких слов о положении Церкви, не только одной католической, хотя преимущественно ее, которые заслуживают внимания и некоторого истолкования. И в этой же статье впервые в нашей литературе сделан намек или вырвалась догадка об истинном смысле знаменитого догмата о «папской непогрешимости», никогда и ничего у нас не вызывавшего, в том числе и у г. А. Киреева в его прежних трудах и даже частью в данной статье, кроме глумления. Он говорит, упомянув об этом догмате:

«Несомненно, что современная богословская мысль и у нас начинает тяготиться схоластическими оковами, в которых ее держали немало времени, что она начинает протестовать против такого ярма. Это не только ее законное право, но и существенное условие ее преуспевания. Современный человек не может довольствоваться одними ссылками на тексты, на «правило» такое-то; его не убеждает факт, что так, мол, *magister dixit* *. Он требует еще и другого, большего: он ищет еще и иных доказательств. Может быть, он иногда идет и далее должного, но все же он во многом прав. Между нашими наставниками есть многие, которые сознают, что старые приемы отжили свой век, что им нельзя держаться за их излюбленное «*magister dixit*»; которые видят, что их аргументы не выдерживают современной многосторонней критики». И т. д.

Заметим, что в терминологии автора слово «правила» может быть отнесено только к «апостольским правилам», что едва ли входило в мысль автора; или к «правилам вселенских и поместных соборов» или, наконец, к «правилам святых (некоторых, например Василия Великого) отцов». А «*magister dixit*» может относиться только к «мнениям древних Отцов и учителей Церкви», за праведную жизнь канонизованных. Чтобы понять это в устах такого осторожного и охранительного писателя, как г. А. Киреев, следует, конечно, приучиться различать, что «святые» суть святые «по жизни», а не по *infallibilitate* суждения. Они были разумом и в сочинениях своих, как и все смертные, — погрешимы. Иначе они не умерли бы, засветились бы, как боги, вышли бы из первородного греха, что недопустимо и прежде всего этого не допустит Церковь. К ним всем приложимо то, что Златоуст сказал об ап. Павле: «хотя и Павел, однако же человек», и невозможно им приписывать всеведения или безгрешности суждения и знания — свойств Божиих. Они в трудах своих *доказы-*

* учитель сказал (*лат.*).

вают, строят аргументы, делают исторические справки, проводят параллели и аналогии, и, словом, употребляют все приемы логического и исторического рассуждения, наконец приемы в их время распространенного красноречия, вовсе не употребительные, например у боговдохновенных пророков, речь которых местами восходит до непостижимости, неразумности, или в боговдохновенных псалмах Давида, местами превышающих всякое истолкование. Отцы и учителя древности суть более могучие и менее могучие: а Дух Св. один и следовательно боговдохновенность одна (везде одинакова). Мы ясно предпочитаем Златоуста другим, потому что эти другие и Златоуст имели разные меры человеческой устной красоты и силы. Василий Блаженный — праведник, а не догматик. Святые суть светочи жизни, бытия, а не творцы непременно руководственных книг, не «папы мнений», позволю себе выразиться так. Между тем в истории произошла не столько ошибка, сколько малопомалу развилась привычка, очень сходная с заблуждением простого нашего народа в отношении к Николаю Чудотворцу. Храмов и икон последнего едва ли на Руси не больше, чем самого Спасителя. А в истории европейских народов Евангелие и Библия совершенно заволоклись рассуждениями, мнениями, доказательствами, в сущности наукою и письменностью, философией и красноречием «светочей жизни», «святых в подвиге» людей, к которым наивность, более народная и застарелая, чем догматическая, прикрепила определения «непогрешимости», infallibilitatis. Совершенно нет догмата о «непогрешимости и непоправимости opera omnia Patrum Ecclesiae» *. Но век за веком и компилятор за компилятором все ссылаются, все цитуют их; и вот мгла множества цитат выросла в гору убеждения: «святые мнения», «непогрешимые взгляды». Мы увидим ниже, что приблизительно такого взгляда держался митрополит московский Платон, к мнению которого совершенно позволительно пристать нам.

«Папская непогрешимость» созрела в умах иезуитов, и ими же была проведена на Ватиканском соборе. Это люди весьма практические и далеко не мистики и не «святоши». Подумать, что они предложили папе «непогрешимость», в виде комплимента или в целях подслуживания — просто пошлость: они сами до известной степени держат в руках папу, и скорее навязали ему догмат, облекли его насильно «непогрешимостью», нежели подслужились через нее к Престолу. Что же это за явление? Уже Паскаль в «Provinciales» громил иезуитов за их странную и чрезмерную светскость, за отсутствие в них ожидаемого и обычного добрым христианам вида тихой святости и скромной богоугодности. Это — революционеры католицизма, беспощадные к средневековым католическим орденам францисканцев, бенедиктинцев, доминиканцев, миноритов и разных белых, красных и желтых «братьев». Ничто сантиментальное или пиэтическое не присуще иезуитам. Из них был патер

* всех сочинений Отцов Церкви (лат.).

Секки, светило астрономии и физики XIX века, едва ли особенно преданный Фоме Аквинскому или Пию IX, но, как и прочие иезуиты, требовавший, однако, «непогрешимости Пия IX». Заметим, что иезуиты вовсе не составляют ни ордена, ни монастыря, ни священства; это просто «Societas Jesu», «общество», «кружок», как бы «Армия спасения» Бутса или наше старое «казачество», — растянувшееся у подножия старого, седого и чуть-чуть местами заплесневевшего (к XVI веку) Апостолического Римского Престола. За 3¹/₂ века жизни и фантастической по упорству деятельности иезуиты съели папство и совершенно (внутренно) преобразили католицизм; все они подсказывали, все вели за собою; всему придали новый смысл, а главное, — как фагоциты, пожирали всякие застарелые и отработавшие свое дело останки средневекового строя. Католики не-иезуиты ненавидят еще более иезуитов, чем протестанты или наши славянофилы. Ибо они чуют удары их на спине своей, тогда как мы только желчно разговариваем с ними.

Что это — люди, не брезгающие никакими средствами, разумеется само собою и так же объяснимо в них, как и в «партии Горы» (монтаньяры) во французском конvente 1793 года. «Святым» в своей среде они предоставили быть святыми; и вне всякого спора тихие, кроткие, мученики за веру, чистейшие евангелики были и есть и навсегда между ними останутся — в раздробь. «Но не в этом дело», — решили они. Ведь и везде главою администрации церковной становится не первый святой своего времени, но первый умница своего времени. Вот и они, предоставляя «святым» «спасаться», в центре дела решили стать «первыми умницами» католицизма. Но переходим к «непогрешимости пап».

Мы, русские, ужасно смешно понимаем этот догмат, воображая, что в нем содержится мысль о каком-то чуть ли не «непорочном зачатии» пап; что они — без греха, вне первородного греха, без возможности дурных поползновений и проч. Ничего подобного! Лев XIII снимает фотографии и, вероятно, негативы у него выходят не всегда хорошо, «погрешительно». Папа может быть влюблен, гневаться, хитрить, дипломатничать. А «непогрешимость» остается. Дело в том, что самый термин «непогрешимость» принадлежит только русским и есть прием полемики. Догмат читается: «Первоверховный Пастырь, когда он говорит *ex cathedra*, т. е. всякий раз, когда он во исполнение своей должности утверждает касающиеся веры и нравственности учения, как подлежащие принятию всю Церковь, то с божественною помощью, обещанною ему в лице св. Петра, он обладает тою безошибочностью (*infallibilitate*), какою Спаситель наделил Церковь на все случаи при утверждении учения о вере и нравственности, и потому такие определения его сами по себе, а не через согласие Церкви, суть непреложны». Это есть просто завершение монархизма в мнении, в учении, — подобно тому, как государь московский, лишив независимости удельных князей, основал — уж как хотите, благодетельный или неблагоприятный — факт «Москва». Но в догме и учении Церкви характер «повелительности к принятию»,

обязательности решения для сонмов верующих и, вообще, империализм учения всегда с самых первых веков, развивался с такою непобедимостью, как никогда и никакая в земных делах политическая власть. Собственно, для меня, напр., мирянина, которого все равно не спрашивают, одинаково безразлично, повиноваться ли повелению одного «папы», или «собору» трехсот епископов, которые суть дробь папы и ни малейшей в себе не несут дробь мирянина, мирского человека, меня или моего читателя. Олигархия тоже не очень хороша, а больше, чем олигархия, никогда ничего и не давалось в сторону мира и сонмов верующих.

Но для чего иезуитам понадобилась эта вещь? Церковь сосредоточила абсолют свой в одном и *притом живом лице*, на которое можно действовать, с которым можно уговориться, которому можно в тайне посоветовать, и притом внимательно подумав посоветовать,— тогда как до сего момента этот абсолют покоился в гробах сотни уже усопших лиц, *qui dixerunt* («изрекли») и которым больше невозможно ничего сказать, никакого аргумента в гроб закричать, ни заплакать над их могилами, чтобы они услышали и сказали в самонужнейшем случае и в роковой истории час «да» на место «нет», и «нет» на место «да». Вот об этом г. А. Киреев и говорит, только как-то недоговаривая. Обладая «*infallibilitate ex cathedra*» *, папа вдруг покачнул или *in potentia* сделал возможным качание,— конечно, не без причины, и притом кроваво-нужной,— всего тысячелетнего здания *Eccelesiae Romanae* **. Теперь Лютер не будет нужен, и даже возможен, ибо он сам теперь *loquitur ex cathedra* ***, Лютер есть дробь папы, сидит в нем *in potentia*. Лютер захотел жениться; но если бы роковым образом в христианстве споры о браке пошли таким образом, что идеал девства *universaliter* пришлось бы признать случаем и ненужностью, то папа и может это сделать без всякого потрясения Церкви. Современное, *praesens*, заговорило громами из Ватикана, а на прошедшее и давнопрошедшее, *perfectum* и *plusquamperfectum*, своей собственной истории папа наступил пятою, приказав замолчать. «Папская непогрешимость» есть полная отмена «предания» в Церкви, утешительного и возвышенного,— в интересах новых дней. Это — слом усадьбы Татьяны Лариной в интересах построения ситценабивной фабрики, при положении, что все крестьяне умершей «Танюши» обнищали и ходят с голыми пузами, босые и голодные, нищие.

Вот что такое в истинном мотиве своем «непогрешимость пап». А что таково и было намерение, видно из того, что преемник же Пия IX повернул «ничто же сумняся» на радикально новый путь, порвал со сгнившими королевствами разных Людовиков и Наполеонов и даже протянул руку социализму. «*Infallibilitas ex cathedra*» действует. Теперь никакие вздохи доминиканцев и францисканцев, ничто «милое и прекрас-

* официальная непогрешимость (*лат.*).

** римская церковь (*лат.*).

*** говорить с кафедры (*лат.*).

ное» в прошлом папства и даже вообще Церкви или даже, общее — христианства — не удержит ватиканского льва; и он преспокойно может вырыть из могилы и проклясть кости Борджиа-развратника, который, как «умерший папа», был непоправим и не судим ни для какого своего преемника вплоть до Ватиканского собора, может признать систему Коперника, осудить инквизицию (чего до сих пор не сделано и невозможно было сделать, ибо жгли «святые»), признать в полном объеме истину науки, и вообще выйти и вывести христианство на совершенно новые пути, решительно недостижимые там, где владычествует 300 или 3 000 усопших «монархов мнения». Повторяем: из *perfectum*'а абсолют перенесен в *praesens* — вот и все; а как абсолют этот именовался «святостью», «непогрешимостью» и «непреложностью»: то принудительно необходимо было и для папы принять именно титул «еще более непогрешимого и святого, чем все прежние святые». Иначе и невозможно было повернуть дело. И сколько нужно было наивности, чтобы увидеть в этом или лезть иезуитов, или что папа «зазнался», или что это какое-то воскрешение археологии, возврат к средним векам и ореолу Гильдебрандта и Иннокентия III! Напротив — это совершенно новая вещь, крупновская пушка, имеющая заменить «орудия каменного века»; бронированный сталью монитор, входящий во флот деревянных парусных судов,— конечно, не для того, чтобы с ними плыть, а чтобы их сделать... ненужными или безвредными.

Мне хочется привести один вздох на Востоке, вздох именно о недостатке у себя такой *infallibilitatis*, которая невозбранно позволила бы искренно сказать вслух истину, о которой теперь по бессилию приходится молчать. Это — знаменитое мнение митрополита Платона, изложенное им на обложке одной ему поданной раскольниковой тетрадки. В свое время резолюция эта была напечатана Владимиром Соловьевым в одной статье его (не припомню названия, но любители и знатоки Соловьева могут вспомнить) в «Вестнике Европы», но, вообще, она мало известна или нераспространенно известна, а с полнотой обстановки своей и исторического происхождения помещена во 2-м томе «Собрания сочинений» Н. П. Гилярова-Платонова, изд. К. П. Победоносцева, Москва, 1900 год, т. 2-й, стр. 282—283. Мстительный иерарх русской Церкви под своим руководством повелел составить, в целях единения, «Увещание Вселенской Церкви ко всем отлучившимся ее», которое своим мягким тоном тронуло наших старообрядцев; но, пуще всего преданные старине, они в том же мягком тоне написали подробный и прямо гениальный по обстоятельности разбор «Увещания», под заглавием: «О преданиях церковных», и подали митрополиту Платону. Дальше мы цитируем слова Гилярова-Платонова:

«Прочел митрополит Платон книгу («О преданиях церковных»), почувствовал ее жало, и на первом ее листе, перед заглавием, начертал:

«Церкви Христовой пастырю, и самому просвещенному невозможно иметь с раскольниками прение и их в заблуждении убедить. Ибо в прениях с обеих

сторон должно быть едино начало или основание, на котором бы утверждались все доказательства. Но ежели у одной стороны начало будет иное, а у другой другое, то согласиться никогда не будет возможно. Богословенный христианский богослов для утверждения всех истин веры Христовой не иное признает начало, как едино Слово Божие или Писание Ветхого Завета и Нового Завета; а раскольник, кроме сего начала, которое и мало уважает, ибо мало понимает, признает еще за равносильные Слово Божию начала и всякие правила Соборов, и всякие писания Церковных Учителей, и всякие повести в книгах церковных обретаемые, да еще их и более уважает, нежели Слово Божие, ибо они для него понятнее. Но как и правила Соборов или относились к тем временам, или писаны по пристрастию и непросвещенному невежеству, и в писаниях Церковных Учителей много погрешительного, и с самими собою и с Словом Божиим несогласного, а в повестях и зело много басней, небылиц и безместностей,— то и следовало бы «Правила» Отцев и повести не иначе принять, как когда они согласны с Словом Божиим и служат тому объяснением. Но раскольник сего не приемлет и почитает хулою, когда б ему открыть, что Соборы или Отцы в иных мнениях погрешили, а повести многие невероятны. «Как,— воскликнет он,— Отцы Святые погрешили? Да мы их святыми почитаем, они чудеса творили, их писания суть богодухновенны». Что на сие богослов? Легко может возразить, но не посмеет: дабы не только раскольников, но и своих малосмысленных не соблазнить и не сделать зла горшего. «Вот,— провозгласят,— Отцев Святых не почитает, Соборы отвергает, повестям церковным смеется!» И так богослов богословенный молчи, а раскольник ври и других глупых удобно к себе склоняй» (Н. П. Гиляров-Платонов: «Сочинения», изд. К. П. Победоносцева, т. 2, стр. 282—283).

Вот и на Востоке вздох по *infallibilitate*, живой и личной, принадлежащей *praesenti*, которую можно было бы поправить в своем роде папство прошлого, авторитет могил, «непререкаемость» христианских *perfectum*'ов. Иногда подымается голос о созыве Вселенского Собора. Для чего? Не для нового творчества, или не для него впереди остального, а именно для того, чтобы создать новую и живую, теперь думающую *infallibilitas*, авторитет мощнейший, нежели, например, авторитет Московского собора 1666—67 гг., породивший наш печальнейший раскол. В своем настоящем мы не имеем достаточной авторитета,— и похожи на переписчиков XVI—XVII века, переписывающих ошибку из тетрадки в тетрадку. Но в XVI—XVII веках это делалось с наивною верою, которой у нас, например у митрополита Платона, нет. Между тем религия, горение души к Богу, конечно, должна быть прежде всего *искренняя*; вера есть *уверенность*; и когда нет у нас не только уверенности, но и полного «просвещенного знания» об ошибках *perfectum*'ов, то, вводя неискренность, принужденную молчать о предметах веры, мы, так сказать, подсекаем самое существо в себе веры. И, охраняя ее увядшие листья, губим и корень ее и ствол.

Митрополит московский Филарет, узнав о существовании приведенной резолюции митрополита Платона, потребовал к себе тетрадь и вырезал лист, на котором была надпись,— «и притом очень аккуратно, так что верхняя полоска бумаги, где не было Платоновой руки, осталась»

(Гил.-Плат., стр. 284). Какой странный поступок! Не хотел ли им сказать Филарет: «и я так думаю, но это надо скрыть?» — Да. Иначе бы он поднял шум, обвинил бы Платона, которого не весьма любил, поднял бы вопрос об аресте его «Сочинений», отмене всех его распоряжений и предании его суду церковному за мнение столь опасное. Так и поступали с ошибающимися людьми и ошибочными мнениями в древние века, когда судили и живых и мертвых, например осудили умершего уже Ария. Но Филарет скрыл. Однако исполнился глагол, что Бог знает тайные помышления наши и раньше или позже, тем или иным путем выводит их в явь. Именно самому Филарету пришлось повторить вздох Платона, вздох, в сущности, о той же немощи поправить прошлое. В начале царствования Александра II, в пору ожидаемых во всех отраслях отечественной жизни реформ, ожидалась она и в духовном ведомстве. Известный А. Н. Муравьев составил обширную записку о желаемых и должных здесь переменах. Митрополит Филарет, по прочтении записки (мы цитируем историка), «отметил трудность и почти неосуществимость церковной реформы». «Несчастье нашего времени,— писал он Иннокентию,— в том, что количество погрешностей и неосторожностей, накопленное не одним уже веком, едва ли не превышает силы и средства исправления» («Богословский Вестник», 1901 год, июль, стр. 396).

Таким образом, даже и этот охранительнейший из охранительных умов тоже хотел бы и уже не может «исправить». Совершилось, но только не в области переписки, но в гораздо высшей области, умственной и сердечной, расхождение принудительно *должной* веры и приемлемо *возможной* веры. До какой степени здесь запутались дела, я испытал сейчас, наводя справки для настоящей статьи, и приведу факт, так сказать, в его трепетной живости. Приведя в начале статьи слова г. А. Киреева о необходимости поправить «Правила и Постановления» и зная, что таковые идут от Апостолов и Вселенских Соборов, я вписал: «конечно, не о Постановлениях Апостольских говорит А. Киреев». Мне показалось неудобным говорить о последних. Для справки я, однако, открыл статью «Православной богословской энциклопедии», изд. под ред. проф. А. П. Лопухина, СПб., 1900 г., под рубрикою «Апостольские постановления», и вот что прочел здесь:

«Выражаемое некоторыми желание видеть Сборник этот переведенным на русский язык с разумными комментариями и *пропусками* нельзя не признать весьма основательным: так как сборник этот является замечательным памятником как по своей маститой древности, так и по историческому значению в истории права Восточной Церкви».

Таким образом, не то, чтобы «нарушить» эти постановления нельзя: но перевести их *опасно* или возможно только с пропусками и комментариями: до того *они уже нарушены!* А между тем, в апостольский век и, вообще, первое время Церкви «он (сборник Апостольских Постановлений) ставился наряду с священными книгами Нового Завета» (см. там же)

и в нем местами прямо стоит: «я, Петр, вам говорю» — и далее следуют «постановления»; в него вставлены древнейшие молитвы, песнопения, повторяющиеся сейчас на литургии.

А мы иногда спорим, благочестиво ли пересмотреть «Устав духовных консисторий», критикуема ли «Кормчая» и проч. Увы, между III и XV веком так усердно «критиковали», что до нас дошли только обрезки первоначального. Фотий, патриарх константинопольский, в «Bibliotheca» пишет:

«Постановления Апостольские» подлежат порицанию по трем причинам: во 1-х — за худой вымысел, который, впрочем, не трудно отличить, во 2-х — за оскорбительные отзывы о Второзаконии, которые еще легче устранить, и, в 3-х — за арианство, которое может отбросить в них каждый» (там же).

Если принять, напр., во внимание «арианство», появившееся гораздо позднее Апостольских Постановлений, то ведь очевидно, что не апостолы заимствовали из III века арианство, но что арианство опиралось на эти «постановления»; и чтобы его низвергнуть, надо было низвергнуть Постановления, отчего и повернулось все дело так, что они «виновны в арианстве». Sapienti sat *... Так поднимать ли нам, как это делают иные святоши патриаршеского периода, речь о «Духовном регламенте» и многих новых и новейших постановлениях, что они в некоторых местах «не очень каноничны»: — ведь они поправляют поправки и даже исправляют поправки поправок, под которыми решительно и дна не различишь. А сегодняшний наш день в вере есть просто наш и только наш день. Вера есть чистосердечие. И не возродить ее «патриарху московскому», который принесет с собой пышность «и велепие», бессилие поправить, увелчение силы «охранить» именно нуждающееся в поправках; — и в шуршащем шлейфе одеяний которого мое бедное сомневающееся сердце все равно поволочется жалко, как сухой лист выкинутого в переднюю веника. Нет. Или Собор, или папа: но не пол-папы, ни неудачный папа, каковых мы видели от Годунова до Петра. Или оставьте мое «изтеллигентное» сердце, как сейчас — в покое и на свободе... Может быть, последнее всего удобнее, и потому оно так крепко исторически и держится.

Но кончим о Западе, в связи с восточными «разъяснениями». Приведенным вздохом Платонов, Филаретов, Фотиев и удовлетворила «infallibilitas» пап. «Теперь все будет ясно», «теперь вам будет чему верить» — сказал «ватиканский лев», указав на себя. Удельно-вечевой период мнения кончен, и поднялась бесспорная, а главное — удобная Москва.

Мне кажется, всего этого не видит г. А. Киреев и не увидели наивначающие старо-католики, эти сантименталисты средних веков.

* Мудрому достаточно (*лат.*).

Статья о «папской непогрешимости» вызвала несколько писем ко мне и печатную полемику, которая вся вращается около неправильности или недостоверности употребительных духовенством текстов, т. е. *апокрифов* с значением, силою и авторитетом *как бы достоверных и подлинных*. Poleмика эта, конечно, есть зерно большой книги и страстной полемики, которая обязана начаться и обязана быть написана. Ибо апокрифы эти суть те книги, по которым мы не только «поем и читаем», но по которым *нас судят и нами управляют*. Вот одно из этих писем:

Христос Воскресе! Милостивый государь, В. В.

В вашей статье (о папской непогрешимости) помещена резолюция митр. Платона, в которой он, между прочим, выразился так... «но раскольник сего не приемлет»... «когда бы ему разъяснить», и проч. Кто же будет ему разъяснять? Мирские люди за неимением времени не могут изучать Св. Пис. основательно. Большая их часть ограничивается в этом случае теми сведениями, которые выносятся ею из церковных служб. Некоторые знают, конечно, больше, но не за свое дело не возьмутся. Для такого дела у них имеются люди, посвятившие всю свою жизнь на изучение Слова Божия,— пастыри церкви. Они-то и разъясняют им все, что нужно, и внушают слепо верить в пастырское слово: «не испытуй, но верь»,— кто из христиан не слышал этих слов в храмах и училищах еще из детства? Не мирские же люди додумались до того, что церковные и прочие книги духовного содержания, наполняющие библиотеки десятков тысяч церквей нашего отечества,— те самые книги, на которые ссылаются раскольники,— «писаны по содействию Св. Духа». Все эти книги издаются «по благословию Св. Пр. Синода». По некоторым из них отправляются церковные службы в продолжение всего года, а другие предназначены христианам для их внебогослужебного чтения и назидания. Виноваты ли миряне, что верят своим пастырям? Кто же бы, кроме пастырей, стал разъяснять мирянам, что в большей части церковных книг находится много «несообразностей, безместностей, басен, небылиц и других нелепостей?» Но пастыри не будут говорить про себя, что до сего времени они питали пасомых камнями вместо хлеба и змеями вместо рыбы. Об этом также «богопросвещенный богослов» должен молчать и даже скрывать от мирян *, «дабы тоже не соблазнить хотя единого от малых сих». Пусть-де «несмысленные», ничтоже сумняшеся, продолжают вкушать во славу Божию ту же пищу, ею же преизобильно услаждались и насыщались их отцы, деды, прадеды и т. д. еще издревле. Как видно, отеческая забота пастырей о малом не оставляет им времени подумать о большем. Не известно еще, смутились или не смутились бы

* Как «тайну цареву» (Тов.). Примеч. *Е. Бых-ва*.

«малосмысленные» (если бы и смутились, то не надолго, а если надолго, то беды большой не будет): но что от самого молчания «богопросвещенных богословов» смущаются люди, обладающие достаточным смыслом, что церковь оскудела верующими, что христиане сделались «притчею во языцех», и что, наконец, остановилось на земле распространение дела Христова,— то все верно.

Каждый пастух, завидев волка еще вдальеке от стада, немедленно громко призывает своих помощников, указывает им на хищника, чтобы общими силами прогнать его подальше от стада или вовсе убить. А какой же это будет пастух, который, видя волка, проникшего уже в стадо, и зная, что от каждой минуты претравивания такого гостя в стаде гибнут десятки овец, не только сам не предпринимает против него никаких мер, но и другим запрещает предпринимать *— и тем покровительствует волку, как желанному и дорогому благодетелю? Для Церкви же ложь хуже, нежели волк для стада. Волк убивает бездушных существ, а ложь — тела и души людей.

Добрый пастырь издалека заметит (как пастух волка) ложь, как бы она ни маскировалась. Он тотчас же, никого и ничего не боясь, громко обличит ее, а не будет, во вред истине, стоять безгласным перед нею. Зачем пастыри плачутся о том, что нет средств выбросить ложь из их небольшого района, когда в их распоряжении имеется такое могучее средство, которым можно стереть ложь с лица всей земли, в каком бы виде она ни проявлялась. Но для той лжи, с которою, по словам митр. Филарета, трудно бороться, не нужно употреблять даже малой доли такого сильного средства (из пушки по мухе не стреляют); достаточно для того будет одного только добросовестного отношения пастырей к своему делу. Если они единодушно и публично указали бы только на ложь, «велегласно» назвав ее по имени, то от одного сотрясения воздуха она рассыпалась бы в прах и навсегда исчезла бы из Церкви, «яко исчезает дым». Оставалось бы только вымести дочиста сор,— накопившийся в Церкви в продолжение многих веков,— чтобы Церковь была «чиста и непорочна»: так как малейшее грязное пятно (ложь) под микроскопом (при свете Евангелия) кажется большою безобразною грудю (грехом). Выметать же сор — дело не трудное.

Ясно, что не Евангелие стало мало применимо в борьбе с ложью, но «соль земли потеряла свою силу» (Матф. 5, 13), светильники Церкви не светят миру, а только чадят, и «называющие себя мудрыми — обезумели» (Рим. 1, 22). Ложь же, покровительствуемая пастырями, возросла, усилилась, расширилась среди христиан до того, что они, одурманенные ядовитыми парами, изумили весь языческий мир своими злодеяниями. Теперь не христиане уже учат язычников милосердию к ближнему (любви ко всем), а язычники посылают христианам окружные послания, напоминающие им о забытых началах их веры (см. «Новое Время» 3 янв. 1901 г.). Но не теперь только наступила у христиан такая темная, духовная ночь; давно уже она продолжается и (судя по некоторым Евангельским признакам) чувствуется приближение полуночи, когда явится Христос и произведет суд, начиная со слугителей дома Божия (1 Петр. 4, 17).

Мы живем накануне великого, всеобщего мирового обновления, когда на земле не станет разноречья и разномыслящих, а все народы уверуют во Христа: «и будете одно стадо и Один Пастырь» (Иоан. 10, 16).

Гор. Ливны, Орловской губ.

Евг. Быханов

* К счастью, подлинных бессловесных, у них таких пастухов не бывает. Примеч. Е. Бых-ва.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОБ «АПОСТОЛЬСКИХ ПОСТАНОВЛЕНИЯХ»

М. г. Покорнейше прошу редакцию «Нов. Вр.» напечатать несколько строк по поводу рассуждения В. В. Розанова: «Папская непогрешимость, как орудие реформации без революции» («Нов. Вр.», № 9326).

Не касаясь других мест этой статьи, требующих подробного разбора, я ограничусь здесь только двумя. Почтенный автор: 1) говорит, что будто бы «в апостольский век... сборник Апостольских Постановлений *ставился наряду с Священными книгами Нового Завета*»... Этого быть не могло по той причине, что в апостольский век, т. е. в *первый* христианский, не существовало и названного «Сборника». Последний — не апостольское произведение. Это — «компиляция, происшедшая к началу V века, по всей вероятности, в Сирии или Палестине», и, в крайнем случае, не раньше «середины IV столетия». Так решается данный вопрос в новейшей патрологической литературе, напр. в трудах Bardenhewer'a и др. Отсюда 2) следует зачеркнуть и другие слова В. В. Розанова: «Если принять, напр., во внимание арианство, появившееся гораздо позднее *Апостольских постановлений*, то ведь очевидно, что не апостолы заимствовали из III века арианство, но что арианство опиралось на эти *Постановления*», и проч. Арий, как известно, был предан осуждению на I-м Вселенском Соборе (325 г.) за свою ересь, которой он, естественно, не мог оправдывать ссылками на несуществовавший еще в то время «сборник»... Следует различать между «источниками», легшими в основу данной компиляции и относящимися известною своею частью к предыдущей эпохе, и самим «сборником». Устарелые мнения о более раннем возникновении последнего, в его целом (что я имею в виду), в настоящее время не могут быть оправданы (таковы мнения Alzog'a, Nirschl'я, архиеп. черниг. Филарета и др.).

Профессор С.-Петербургской Духовной Академии
Александр Бронзов

28 февраля 1902 г.

Где же границы апокрифичности?

Заметка проф. А. А. Бронзова относительно времени происхождения и авторитетности «Апостольских Постановлений» влечет за собою некоторые вопросы, которые позволяю себе предложить почтенному ученому:

1) Проф. А. А. Бронзов признает этот памятник компиляциею пятого века.

2) Он признает его таковым на основании трудов Bardenhewer'a и еще некоторых новейших исследователей: тогда как Alzog, Nirschl, архиепископ черниговский Филарет и друг. относили его ко времени гораздо более раннему.

Но:

3) Патриарх Константинопольский Фотий, при коем только началось разделение Церкви на Восточную и Западную, высказав приведенное мною порицательное о данном памятнике суждение, как равно все

века и целое тысячелетие, относившиеся к «Постановлениям» столь же отрицательно, никак не могли знать «новейших исследований Vardenhewer'a» и порицали памятник, *имея о древности его и авторитетности по крайней мере то суждение*, как архиепископ Филарет или как ученые авторы и редакторы «Православно-богословской энциклопедии», изданной в 1901 г., проф. А. П. Лопухин и другие. И это есть единственное, что имеет значение для развиваемой в моей статье о папской непогрешимости мысли: что *авторитет прошлого*, столь связывающий в настоящее время духовную иерархию и нас, мирян, *не имел связующего и затрудняющего значения* для представителей духовной иерархии средних веков, распоряжавшихся с самыми авторитетными (в их глазах) памятниками весьма свободно.

4) Если, как говорит проф. А. А. Бронзов, «Апостольские Постановления» только *изложены от имени апостолов*, а их *в апостольский век вовсе и не существовало*, то как же отнестись нам к факту, излагаемому в «Энциклопедии» проф. А. П. Лопухина следующим образом:

«Литургия, изложенная в 8-й книге «Апостольских Постановлений», *послужила основанием литургиям Василия Великого и Иоанна Златоустого*; многие молитвы сборника *доньше употребляются в церковном богослужении*, а некоторые правила и постановления вошли в нашу славянскую *Кормчую*: таковы *Апостола Павла 17 правил, Обоих верховных апостолов Петра и Павла 17 правил, и Всех святых апостолов правила 2* (2-я, 3-я и 4-я гд. 1-й части *Кормчей*)».

Следовательно, все это надо признать *апокрифическим*?!.. Но это есть *живые части* нашей сейчас веры, молитвы и церковных законов!!

5) Как принять за время происхождения «Сборника» пятый век (утверждение проф. Бронзова), когда в «Энциклопедии» 1901 года эта древность утверждена на таких — не допускающих, казалось бы, возражения — основаниях:

«По времени (курс... «Энциклопедии») происхождения *все* (курсив наш) источники Апостольских Постановлений: относятся ко II и III векам и вообще ко времени до Константина Великого. Доказательство этого видят, во-первых, в том, что в них о гонениях на христиан *везде* (курс. наш) говорится, как о явлении современном: во-вторых, что из ересей упоминаются ими *только* (курс. наш) существовавшая во II и III веках; в-третьих, что в них упоминается требование перекрещивания еретиков, как это требовали в половине III века Фирмилиан Кесарийский и Киприан Карфагенский; в-четвертых, что есть упоминание об аскетах, появившихся еще во II веке, но нет упоминания о монашествующих; в-пятых, что иерархическое устройство Церкви представляется в них соответствующим устройству ее в половине III века; в-шестых, что *ни в одном* (курс. наш) из источников нет упоминания о христианских императорах» (стр. 974 «Энциклопедии»).

6) Я думаю, что вообще «новейшие критические изыскания» — плод науки, отнюдь не вошедшей и не вбираемой Церковью, теперь живущею, в свое вероучение — не должны быть выдвигаемы «contra» какого-либо церковно-требовательного тезиса, раз не допускается брать эти «новые изыскания» и «рго» (Тюбингенская школа). Духовно-религиозный уклад

Европы без науки жил и прожил тысячелетия: так для чего ее выдвигать и как именно можно было бы ее выдвинуть духовно-учеными руками против какого-нибудь мнения, напр. моего? Чтобы доказать, что «*Апостольским Постановлениям* основательно не придается теперь значения», проф. А. А. Бронзов ссылается на самые последние изыскания Барденхевера; но что, если, *на почве его же приема*, я пойду далее и обопрюсь на Баура? Позволительное ему, будет позволено и мне. И если он отрицает *Апостольские Постановления*, то не поколеблется ли от таких критических приемов еще важнейшее?

Прошу редакцию дать место моему настоящему разъяснению, ибо голое утверждение А. А. Бронзова, не обставленное подробностями, даст повод читателям думать, что я не отношусь достаточно серьезно к вопросам столь большой серьезности.

1902

ЕЩЕ ОБ «АПОСТОЛЬСКИХ ПОСТАНОВЛЕНИЯХ»

М. г. В. В. Розанов на страницах «Нов. Врем.» (№ 9338, 4 марта) поместил несколько строк по поводу моего письма в редакцию (№ 9334, 28 февраля), вызванного его статью о «Папской непогрешимости» (№ 9326, 19 февраля). Прежде всего мой собеседник несколько неточно передает мои слова. О происхождении «Апостольских Постановлений» я говорил, что «это компиляция, происшедшая к началу V века... и в крайнем случае не раньше середины IV столетия»; следовательно, я не утверждал лишь того, что этот сборник произошел «не ранее V века», как угодно было уважаемому В. В. Розанову передать мои слова в последнем его письме. А это, между тем, немаловажный пункт в настоящем деле. Затем в настоящее время в патристической литературе признаются более авторитетными труды по данному вопросу, изданные Функом («Die Apostolischen Constitutionen». Rottenb. 1891. «Das achte B. der Ap-n H-n»... Tubing. 1893 и др.). Его взгляды принимаются как наиболее обоснованные. Из новейших патрологов-авторов курсов по данной науке безусловно выделяются с научной стороны Vardenhewer (см. его «Patrologie», 2 Aufl. Freib. im Br. 1901). У них мы находим выводы, из числа которых, ради краткости своей речи, приведу здесь, напр., следующие. 1) Приблизительно четверть содержания главы 47-й последней книги «Сборника» «заимствована из постановлений Антхийского собора 341 года». Следовательно, имеем дело уже не с «доаррианскою эпохою». Затем, 2) «все сочинение» (т. е. данный сборник в его целом) «от начала до конца» говорит об одной и той же «руке» компилятора или как там ни называли бы его (не в этом дело), и «не заключает в себе различных сочинений из различного времени, как это» (ошибочно) «обыкновенно прежде полагали». В пользу этого второго вывода говорят: «и рукописный материал», ныне изучаемый, «и внутренняя связь отдельных частей» сборника, «и литературное родство всех» его «книг» и проч. Следовательно, если часть произошла позже 341 года, то это же надлежит сказать и об остальных отделах сборника. Далее: 3) «по внутренним признакам *Апостольских Постановлений* должно» считать этот Сборник «происшедшим к началу V или к концу IV века» (я в прошлом письме находил возможным сделать уступку даже до половины этого последнего столетия). Почему? Потому что «на это именно

время указывают упоминание о празднике Р. Х. 25 декабря (кн. V, 13, кн. VIII, 33) и сопоставление субботы с воскресеньем, как церковным праздничным днем (кн. V, 20; кн. VII, 23; кн. VIII, 33, 47, прав. 66)». А ведь утверждено в науке, что «праздник Р. Х. 25 декабря установлен на Востоке не ранее и не позднее последней четверти IV столетия или в восьмом десятилетии этого столетия (377—380)». Смотри об этом в докторской диссертации архиепископа Сергия: «Полный месяцеслов Востока» (т. II, изд. 2-е, Владимир, 1901 г., стр. 521—522). Опять, следовательно, дело идет не о «доарианской эпохе». Подобное же надлежит сказать и относительно «воскресенья» (см. у Барденхевера). Но, с «другой стороны», игнорирование сборником «несторианских споров» не позволяет идти дальше «начала V века» (Несторий, как известно, был «константинопольским патриархом 428—431 гг.», см. у арх. Сергия, *ibid.*, стр. 681). Дело выходит ясно, как Божий день. С новейшими выводами авторитетнейших специалистов считаться мы обязаны тем более, что эти выводы и сами по себе слишком красноречивы. Надеюсь, что от отжившего свой век мнения мой собеседник наконец откажется. «Столь общее утверждение», о котором говорит В. В. Розанов, оказывается не разделяемым строгою наукою.

Профессор А. Бронзов

Ответы не на тему

(Письмо проф. А. А. Бронзову)

«Самых последних исследований» (Функа и Барденхевера) о времени составления «Апостольских Постановлений» ни патриарх константинопольский Фотий, ни вообще все иерархи церковные от X до XX века — не читали. Они думали о древности и авторитетности «Постановлений» то самое, что я думал и сказал о ней в статье о папской непогрешимости на основании статьи «Православно-Богословской Энциклопедии», изданной в 1900 году профессором С.-Петербургской духовной академии. И для меня важно не подлинное время составления этого «Сборника», как думает проф. А. А. Бронзов, но исключительно то, что высокое (хотя и ложное по новым открытиям) представление о его древности и авторитетности не помешало сделать от него отступления столь важные, что теперь представляется возможным перевести их, напр., на русский язык лишь «с пропусками и надлежащими разъяснениями» (слова «Энциклопедии»). Вот эту независимость отношения к древнему памятнику письменности, при отсутствии подозрения в его подлинности, независимость от X века до исследований Функа и Барденхевера, я и указывал в своей статье, основывая на ней право и наших дней сохранять то же отношение к памятникам полной достоверности. Дабы не только десятый век, но и век двадцатый имел свое «sic volo, sic jubeo» * в делах самонужнейших, и не только буквально исполняя древние памятники, а творил мужественно новую правду в обстоятельстве новых. Проф. А. А. Бронзов всем тоном и, так сказать, упорными точками своей

* «так хочу, так велю» (лит.).

полемики дает чувствовать, что он подозревает меня в арианстве и в желании опереть на «Постановления» арианство. Но я такой мысли не имел, и к арианству не только сердечного участия, но и археологического интереса не питаю. Буду очень рад, если, высказав полное согласие с ученою стороною его замечаний, получу *vice versa* согласие почтенного профессора на мои замечания, более относящиеся к будущему, чем к прошлому.

1902

В. Розанов

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ

(Письмо В. В. Розанову)¹

Боюсь, что злоупотребляю любезностью редакции «Нового Времени», прося ее напечатать еще одно мое письмо В. В. Розанову. Свою переписку с ним я считал поконченною, но вижу из заключения последнего письма моего собеседника (№ 9343, марта 9-го), что он был бы «рад» услышать от меня «согласие на» его «замечания, более относящиеся к будущему, чем к прошлому». Ограничусь оттенением некоторых пунктов. 1) Никто не спорит, что Фотий из IX в. не читал ни Функа, ни Берденхевера — наших современников. Но, что Фотий и «вообще все иерархи церковные... думали о древности и авторитетности постановлений то самое, что... сказал о ней в статье о папской непогрешимости» В. В. Розанов, — с этим согласиться нельзя. Дело в том, что «церковный приговор» издавна отверг авторитетность «сборника» этих *постановлений*. «Пято-шестой Собор 692 г.» (до Фотия) вторым правилом своим отверг *Постановления*, как содержавшие много «неподлинных и благочестию противоречивших еретических вставок». «Запад», в свою очередь, относился к *Сборнику* точно так же (чит. у Vardenhewer'a). Не ясно ли? Оказывается, что В. В. Розанов напрасно желает укрыться за «иерархами церковными». Никакого «высокого представления» о Сборнике никогда и не существовало, как видим; следовательно, нечего и говорить с изумлением об «отступлениях от него важных». История Сборника не оправдывает такого изумления. 2) Я вовсе не думал и не думаю, что для В. В. Розанова «важно подлинное время составления сборника». Заговорил я об этом потому только, что Сборник, не признанный древнею церковью, происшедший в IV—V вв., не мог пользоваться «наряду с книгами Н. З.» уважением «в апостольский век», т. е. в 1-й, как это изволил сказать В. В. Розанов. Эту ошибку его я только и устранил — не больше. 3) Мне и в голову не приходило обвинять собеседника в арианских тенденциях (об арианстве шла речь по поводу лишь решения вопросов о времени происхождения Сборника). Наконец, 4) по поводу моего мнения о «замечаниях» В. В. Розанова, «более относящихся к будущему, чем к прошлому», я считаю долгом заявить, что, как это видно было еще из моего первого письма, рассмотрение всей статьи В. В. Р-ва, по существу, мною отложено до будущего времени, что я и сделаю, получив некоторую возможность при моих многосложных прямых обязанностях. Тогда я и выскажу свое мнение с откровенностью и искренностью, в признательность за «полное согласие» В. В. Розанова «с ученой стороною» моих «замечаний». А пока воздержусь от всякой дальнейшей с В. В. Розановым переписки по данному вопросу.

Профессор А. Бронзов

Кому же верить, Петербургу или Москве?

(Последний ответ проф. А. А. Бронзову)

Я ограничусь только кратким и самым необходимым ответом проф. А. А. Бронзову. Читатель его писем в «Нов. Вр.» видит, что почтенный этот профессор С.-Петербургской духовной академии не признает ни древности, ранее IV века, ни авторитета «Апостольских постановлений»; и признает книгу эту не существовавшей в I веке, т. е. ни в каком случае не вышедшей от Апостолов. За такими книгами, приписываемыми тому-то, а в действительности ему не принадлежащими, усвоено имя «апокрифических». Каким же образом посмотреть на то, что в то время как это пишется в Петербурге, профессор Московской духовной академии Н. А. Заозерский в статье: «На чем основывается церковная юрисдикция в брачных делах», в февральской книжке «Богословского Вестника», полемизируя с «Церковным Вестником» по поводу его взглядов о возможности передать процессуальную сторону развода в ведение светских судов, приводит на своих страницах длинные выдержки из «Апостольских постановлений», именно на стр. 308 — из книги VIII, главы 32, на стр. 309 из книги IV, 1—2, на стр. 310—311 из кн. I, гл. 3 и 8, на стр. 314 из кн. VII, гл. 27—28, на стр. 317, кн. III и IV, и при этом ни одним словом не оговаривает, что памятник, из которого он приводит целые страницы, не достоверный, не древний, но апокрифический. Надо ученым людям пощадить читателей. Надо бы профессорам разных академий списываться, согласовываться и не убеждать в Москве в том, в чем в Петербурге разубеждают. Ибо читатель «Нов. Вр.» может не читать «Богословского Вестн.» и верить А. А. Бронзову, а читатель «Богосл. Вестн.» может не читать «Нов. Вр.» и верить Н. А. Заозерскому. Независимо от ошибок, какие отсюда проистекают для верующих мирян-простецов, позволим себе указать и более серьезное последствие: проф. Заозерский полемизирует против статей «Церк. Вестн.» за их мысль о передаче развода в светские суды и пытается остановить важную государственную меру. Он ссылается на «Апостольские постановления», заглавие которых, приводимое после цитаты под страницей, слишком много о себе говорит и парализует всякое желание и возможность спора. Хорошо в этом 1902 году, что случайная полемика проф. Бронзова раскрывает читателям глаза на памятник, — и статья проф. Заозерского о невозможности передать государству церковную юрисдикцию не убедит чиновников-практиков, ведущих меру, проектирующих закон. Но можно спросить: а сколько раз в прошедшие десятилетия и в прошедших веках добрые и заботливые меры государства на смежной между государством и Церковью линии были останавливаемы как печатными статьями, так и особенно писанными «докладами» со ссылками без оговорок, напр., на «Апостольские постановления»

или подобный памятник, о которых только специалисты знают, что сама Церковь их значение полупризнает, полуотвергает и вообще их правильным руководством не считает.

Я писал о папской непогрешимости и не могу не вспомнить из истории «возвышения» пап ссылок на «декреталии» испанского епископа Исидора, тоже очень поздно оказавшиеся «недостовверными». Осторожные да будут осторожнее...

В. Розанов

ПО ПОВОДУ ПОЛЕМИКИ МЕЖДУ гг. РОЗАНОВЫМ И БРОНЗОВЫМ ОБ «АПОСТОЛЬСКИХ ПОСТАНОВЛЕНИЯХ»

В своей последней заметке: «Кому же верить, Петербургу или Москве?» («Нов. Время», № 9345) г. Розанов, отвечая профессору С.-Петербургской духовной академии Бронзову, затрагивает весьма важный вопрос — об уместности ссылки в ученых сочинениях по каноническому праву на такие постановления (каноны), которые отвергнуты Церковью, а потому и не могут служить подтверждением положения, защищаемого ученым канонистом. По возбужденному г. Розановым вопросу считаю с своей стороны уместным заявить, что в нашей литературе по каноническому праву (кроме приведенной г. Розановым статьи) встречаются примеры таких ссылок — именно на «Апостольские постановления», «отложенные», как известно, 2-м правилом VI вселенского собора,— в защиту выставляемых авторами положений.

Так, в сочинении иеромонаха Михаила «Законодательство римско-византийских императоров о внешних правах и преимуществах Церкви» (Казань, 1901 год), на стр. 125, в подкрепление положения о том, что право распоряжения церковным имуществом перешло к епископам (в первые времена христианства) автор ссылается на канонический сборник «Книгу правил св. апостол», и тут же делает ссылку на «Постановления апостольские», т. е. на книгу, отвергнутую Вселенским Собором, причем при сопоставлении этих правил усматривается, что в первых из них, признаваемых Церковью, это право дается епископу с оговоркой о полной неприкосновенности этого имущества, предназначенного для христианской благотворительности, и с требованием о решительном отделении личной собственности епископа от церковной, а во вторых («Правилах», отвергнутых Церковью, говорится уже о безотчетном и бесконтрольном (со стороны мирян) праве епископа над церковною собственностью. Тот же прием доказательств, без критической оценки источников, употреблен и в сочинении П. Соколова «Церковно-имущественное право в греко-римской империи (1896 г.)». Именно, на стр. 215 и 216, где высказывается положение о свободном управлении епископом церковными имуществами во время гонений, в подкрепление этого положения делается зауряд ссылка и на «Книгу правил св. апостол» и на «Постановления апостольские».

Такие приемы, встречающиеся в ученых сочинениях по каноническому праву, положительно повергают в большое недоумение лиц, занимающихся церковно-общественными вопросами. И весьма было бы желательно получить авторитетное и беспристрастное разъяснение по этому недоумению.

А. Папков

Печальное «resumé»

Весь приведенный спор довольно важен, и отнюдь не в археологическом отношении. У Лекки в «Истории рационализма в Европе» записано о добросовестном средневековом судье, который, сжегши несколько сотен «ведьм» (истеричных женщин), которых он распознавал по нечувствительности их кожи к уколам иглы в некоторых точках тела (признаки истерии, в то время казавшиеся «волшебными»), кончил тем, что нашел у себя самого «признаки колдуна», и, тревожимый совестью, — предал себя в руки суда и, конечно, был сожжен. Героические и правдивые времена! Другие «станы людей», столь же варварские, не отличались этой наивной жестокостью к себе, и вот причина до нашего времени «аки живья» апокрифов. Каждому ясно, какое должно произвести впечатление на всякого христианина книга, на заглавном листе которой, без оговорок, примечаний и «ученых исследований» *тут же на титульной странице*, — значит просто и только:

АПОСТОЛЬСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,

или даже

АПОСТОЛЬСКІА ПОСТАНОВЛЕНІА

и каково должно быть *деловое* решение очень авторитетного светского лица, государя или «областе-начальника», когда в затруднительном случае ему делают ссылку, раскрывают страницу — подчеркивают строки какой-то ему неизвестной книги, а затем, отвернув назад страницы, с безмолвным упреком указывают на титул:

АПОСТОЛЬСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,

с которыми он, в некотором роде несчастный и «грешник», не согласовал и даже и теперь колеблется согласовать свое решение!! Не могу я не припомнить случившийся в царствование государя Николая Павловича эпизод с мелким чиновником Повало-Швейковским. Чиновник этот, женившийся на девице Ваулиной «в неправильной степени родства» (о каких степенях в Евангелии нет ни слова, а в Библии они установлены вовсе не те, какие приняты на католическом западе и у нас), и уже в счастливом супружестве приживший шесть человек детей — подвергся доносу злого человека в местную Новгородскую консисторию, которая 1) расторгла его брак, 2) детей, в нем рожденных, признала «незаконнорожденными» и лишенными как фамилии отца или матери, так и права наследования после родителей, 3) а «жене Повало-Швейковского» повелено вновь именоваться и быть девицею Ваулиною». Синод скрепил решение. В отчаянии чиновник этот ринулся к милости Государя: и на прошении, им поданном на Высочайшее имя, государь начертал взволнованно: «браки, скрепленные благословением Церкви, расторгать после того, как они уже заключены с ее дозволения, я не считаю ни справедливым, ни удобным». Нельзя представить всего волнения, каковое вызвало в высшем духовном управлении нашем такая резолюция. Дело

было взято для «поправления и рассмотрения» и проч. в Синод. Держалось здесь долго. И когда через долгое время было вновь доложено Государю,— то он, прочитав разъяснения Синода, уже удержался повторить свое милостивое решение, и брак был расторгнут. Получилось шестеро сирот, девица и холостой человек — взамен счастливой семьи. Все это рассказано подробно в «Истории обер-прокуроров Синода» проф. Казанской Дух. Академии Благовидова; и удивительно, как этот профессор не заметил всей многозначительности, принципиальной и житейской, приведенного им факта. Государь отказался от своего решения, и вот, можем ли мы быть вполне уверены, чтобы в этом случае или в другом аналогичном, когда авторитет иерархов или «милость Церкви» вдруг заподозривалась с высоты Престола,— чтобы в сей важный миг, в сию критическую минуту не была вынута из библиотеки ветхая книга в авторитетном кожаном переплете, с компетентными медными застежками, и Государю не было указано на заголовок —

АПОСТОЛЬСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,

между тем как мы с Бронзовым знаем, а теперь, после нашей полемики на страницах распространенной газеты, множество читателей с изумлением узнают же, что это — апокриф, полный *титул* которого *должен бы печатываться*:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ложно именуемые

АПОСТОЛЬСКИМИ,

или даже

ЛЖЕАПОСТОЛЬСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Не требовала ли бы, не говорим «святая истина», не говорим даже «истина», а простая добропорядочность, без которой не допускаются продавцы на рынок, не принимается в услужение прислуга,— и *ставит в титул то, что есть в содержании?*

Н. Суворов. «Учебник церковного права». Издание второе, вновь переработанное. Москва, 1902.

«Учебник», второе издание которого вышло недавно, принадлежит профессору канонического права в Московском университете, преемнику по кафедре знаменитого нашего канониста А. С. Павлова.

Название «учебника» дано ему по скромности, так как ни изложение, ни объем не говорят об учебно-руководственном назначении книги, излагающей, скорее, науку церковного права в твердо установленных, не проблематических рамках. В содержании ее есть очень много подробностей, волновавших в последнее время и общую печать. Такова глава вторая — «История источников церковного права от IV века до разделения церквей Восточной и Западной», в которой г. Суворов устанавливает, что 1) основой канонического права на Востоке служат постановления Трульского церковного Собора 692 года,

2) запретившего апокрифический сборник *Апостольских постановлений*, арианского и, вообще, не православного происхождения; 3) тогда как этот сборник признан священной канонической книгой в 85-м пункте «Апостольских Правил», которые тем же Трульским Собором объявлены *основною каноническою книгою*. Это такая связь и отношение вещей, которая устраняет мысль о достоверности которой-либо части. Вместе с тем (что едва ли вполне замечает проф. Суворов) самый предмет и все содержание его учебника является весьма и весьма проблематичным. Учебник «*Церковного права, основанного на апокрифах*»!.. Далее, мы можем положительно посетовать на профессора Суворова, что года два назад, когда сперва в печати, а затем и в законодательстве начало колебаться неосновательное и жестокое учение о незаконнорожденности, и в связи с этим стало определяться существо разных деталей брака, он не изложил во всеобщее сведение, через общую печать, следующие истины своей науки, могшие бы утешить тысячи волнующихся сердец, и строго юридически вернуть права тем, у которых они узорпированы:

«По католическому учению, всякое таинство имеет материю и форму; и, что касается таинства брака в особенности, то материю его составляет взаимная передача себя вступающих в брачный союз лиц друг другу, а форму таинства составляют те слова, действия и знаки, которыми в момент передачи выражается взаимное согласие на вступление в брак. С этой точки зрения, *формальное участие духовного лица или органа церкви в заключении брака несущественно для таинства*, ибо все, что принадлежит к существу брака — и материя, и форма — исполняется самими брачующимися, а не третьим каким-либо лицом. Другими словами, *совершители таинства суть сами супруги*. Отсюда выводится, что всякий, вообще, брак, заключенный между христианами в христианском духе, без противоречия требованиям христианства, или, иначе, брачный союз между лицами, получившими благодать крещения — не может не быть таинством».

Принимая во внимание, что таинство брака одно в католической церкви и в нашей и что множество объяснений католических богословов, да и некоторые обычаи, как, напр., введенный папою Иннокентием III обычай окликов перед браком, позаимствованы были православными от католиков,— невозможно думать, чтобы и это тонкое растолкование существа брака не могло быть также усвоено на Востоке.

«В Восточной Церкви,— продолжает автор,— прежде еще чем сделалась известною западная конструкция таинств, различавшая форму и материю и принимавшая *самых супругов за совершителей таинства*, фактически существовала масса браков, которые в качестве христианских браков должны были рассматриваться как *таинства*, а между тем были *заключены без церковного брачного священнодействия*. Да и вообще, до издания законов греческого императора Льва Мудрого, в конце IX века, и Алексея Комнена, в конце XI века, *для силы брака не требовалось церковного брачного священнодействия*, так что и вообще между христианами, вступавшими и в первые браки, это возможно было без церковного священнодействия. Только с IX века, когда, с одной стороны, закон стал требовать для действительности брака церковного венчания, а с другой стороны, установилась известная обрядовая форма венчания, как особого церковного чинопоследования,

в венчании же стала * поставляться и сущность таинства. Хотя западная богословская разработка не осталась без влияния на Восток и отразилась не только на сочинениях отдельных восточных богословов, напр. Гавриила Филадельфийского, но и на произведениях, получивших церковное признание, каково, напр., Православное исповедание Петра Могилы и 50-я глава Кормчей книги о тайне супружества: *no по новейшей византийской и русской теологии получил господство взгляд, что не самый брак, как союз есть таинство, а церковное священнодействие*» (стр. 352—353).

Таким образом, вовсе не по определению Церкви, а, во-первых, по не имеющим священного значения распоряжениям двух греческих царей, IX и XI вв., появившимся после того уже, как *окончились все Вселенские Соборы* и все догматическое здание церкви было установлено и *поправкам и изменениям не подлежало*, и, во-вторых, по «*новейшей византийской и русской теологии*» — создано современное церковное отношение к браку. И достаточно устранить из русского законодательства перенесенные в него распоряжения Льва Мудрого и Алексея Комнена, чтобы покончить совершенно с учением о «внебрачных» и «незаконнорожденных детях» и вернуть им права, неотъемлемо принадлежащие им. Желательно, чтобы по этому вопросу кратко и вразумительно высказался в *общей печати* кто-нибудь из ученых канонистов.

Почт. ст. Богушевичи. Пн. 18 мар. 1902 г. Простите, М. Г., что я, и оставаясь даже в неведении относительно ваших имени и отчества, пишу вам нижеследующую заметку относительно вашей статьи о «папской» и вообще «священнической» и «святоотеческой непогрешимости». Меня побудил к этому живой обмен мыслей, возникший после появления вашей статьи, и удивило то, что до сих пор не замечена ваша ошибка относительно «непогрешимости» Свв. Отцев и Учителей Церкви. Вы пишете, что «*святые*» суть святые «*по жизни*, а не по *infallibilitate* суждения». Конечно, *полная infallibilitas* принадлежит лишь Иисусу Христу и даже лишь Богу Отцу, но относительно многого она есть достояние Церкви **, а в отдельности и великих Ее представителей, которые до сих пор были и учеными людьми своего *** времени (Три святителя) и вместе с тем *высоко нравственными*. Но одна ученость не гарантирует безошибочности суждения даже относительно простейших истин Веры, если она не сопровождается «*подвигом*», если ее обладатель не «*светоч жизни*» ****. Епископы всегда бывают

* Т. е. обычно, а не догматически.— В. Р-в.

** Как суммы отживших людей? или, также и притом автономно,— как *суммы сейчас живущих* верующих?! Вот этого-то и не различают духовные люди, хорона живых ради мертвых, из жизни совершая гекатомбу гробу.— В. Р-в.

*** Раннего, архаического, младенческого. Для чего же автору, в *подпору своему тезису*, упоминать: «*были учеными*»,— если бы *все* основывалось здесь на «*благодатном даре свыше*»? А если он назвал «*ученость*» — как *плюс* в решении вопроса, то и я вправе положить сюда тот *минус*, который лежит в *наивности* тогдашней «*учености*». — В. Р-в.

**** И «*подвиг*» и «*светоч жизни*» имеют *ограниченное приложение*, именно только в моральной, и притом в лично-*моральной*, а не в *социально-моральной* жизни. Приведу здесь рассказ, который заставил меня когда-то улыбнуться. Был в семинарии о. инспектор — монах святой жизни, незлобивой души и младенческого опыта. Раз вернулись семинаристы позднее обыкновенного: и один из них не был вполне трезв. На вопрос инспектора он ответил, улыбаясь, что «*правда, выпил две бутылки пива*». — «*Две бутылки!?*» — изумился старец. — «*И ты остался жив!?*» Никогда не пробовавшему аскету это «*зелье*» казалось огненнее пороха. Не таковы ли же, напр., «*правила*» одного древнего Отца Церкви («*о браке*»), с вечною присказкою: «*аще кто соблудит — семь лет да не причащается*» и пр. Между тем как и в его время, и позднее, и вечно — «*блудили*» и «*блудят*» и люди, и монахи, и священники

порочны *, и если в них нет на виду тех обычных проступков, которые обыкновенно называются пороками, то всегда в них есть «гордыня», — «начало греха» (Арий и Л. Толстой в его последних произведениях), «гордыня» не человеческая, а прямо-таки замечательная иногда **. Наоборот, вдумайтесь в характеры «столпов» Церкви, и вы увидите нечто противоположное: святость жизни, соединенная со смирением (поступок Николая Чудотв. против Ария, отвергаемый, впрочем, историей, не противоречит этому смирению). Вообще: только ум, просвещенный *верою*, т. е. если обладатель его живет так, как требует вера, т. е. стремится к святости жизни, — будет правильно мыслить и разбираться в богословских вопросах; но одно знание, без поклонения верою, не спасает от грубейших ошибок и лишь помогает искусителю продолжать его работу (Протестантство). И наоборот: святая, благочестивая жизнь восполняет недостаток богословского образования (см. «Деяния I вс. собора», изд., кажется, казанское, года не помню: спор одного неученого епископа с философом). Да и апостолам, которым некогда было учиться, обещано, что их научит Св. Дух всему. Конечно, это не исключает необходимости учиться; но хочу лишь сказать, что наука не должна быть делом одного ума, но и воли, и чувства: иначе она не достигнет цели; и величайшие богословы нынешнего времени способны грубейшим образом ошибаться, если забудут, что наука должна быть сопряжена со святостью жизни, как было у оо. Церкви, учение которых поэтому «богоглаголиво» и согласно с преданием Церкви (см. догм. 7 вс. соб., кн. правил, стр. 7. М. 93 изд. in 8°) и «которые были *светилами в мире, содержа слово жизни*» *** (ib. стр. 70, втор. столб.).

Владимир Еречнев

1

(см. «Чин исповедания монахов» и «Чин исповедания священников») — также мало «умирая» и «погибая» от этого, как семинарист от двух бутылок пива. — В. Р-в.

* Ну, тут грубая историческая ошибка: даже в «Православно-Богословской Энциклопедии», к статье «Арий» — сказано, что это был человек изумительно добродетельной жизни, строгий к себе, мягкий к людям, воздержанный, трезвый, скромный и пр. А «ересиархи» Католической Церкви — Кальвин, Лютер, Саванаролла? а наш Аввакум? Что же, все это были «блудники» и «пьяницы»? Но с какой уверенностью автор произнес свой жестокий тезис?! «Будьте и в другом осторожнее», — хочется сказать ему, подчеркнув эту ошибку. — В. Р-в.

** Ну, ну... «Он добродетелен, это правда, не спорим, — но... но... он *горд* этого добродетелью, и *горд* умом, горд образованием... сущий Сатана! — в огонь его». Добренькая психология. — В. Р-в.

*** Все это глубоко верно, но... и молясь можно разбить лоб. Само собою разумеется, должна быть *целость человеческого состава*; и мы склонны не доверять рассуждениям злого или самолюбивого, напыщенного человека, а даже к коротенькому и наивному замечанию «святого простеца» прислушаемся. Все это — так. Но прежде всего: зачем эти противопоставления и разделения? Мудрые не лишены привилегии доброты (Ньютон, Пастер, Шеллинг, да и вообще — за *редчайшими исключениями*, с изумлением отмеченными историками — «мудрые» и «кученые», вообще, суть в то же время и добрые); с другой стороны — «неученые», «простецы» нисколько не застрахованы от злобы, своеобразного тщеславия, лживости. «Кулаки» по деревням не блистают ученостью, а весьма умеют «жать масло» из мужичков. Оставим, однако, эти споры. Да, за простым и добрым мы последуем скорее, чем за умным властолюбцем. Но не искусил ли нас сатана? «Простое и доброе», чему мы добровольно последовали вчера и третьего дня, вдруг сегодня уже требует, чтобы мы «вольны или невольны» следовали за ним; на нас атакуют со всех сторон, чтобы мы следовали непременно за ним, и только за ним; и, наконец, вырастает «infabillitas», «неперекаемость» суждения и даже философии «простого и доброго» — и вот тут оно вдруг находит у себя в котомке ту «гордыню», которую *само* всегда считало признаком «искушения сатаны», и притом в такой ужасающей степени, до какой не достигали мировые завоеватели, всемирные честолюбцы, какая не брезжилась первейшим гениям, поэтам и мудрецам. Все никнет «перед добреньким старичком», благословляющим мир... Осторожная оговорка (см. начало письма): «infabillitas» принадлежит лишь И. Христу и даже лишь *Богу-Отцу* куда-то проваливается; и автор письма *сам, сам*, потребует, с клещами и огнем, поклониться старичку, особенно из почивших — *именно* как Богу-Отцу. И только и можно ухватиться за *несокрушимый* Ветхий Завет, с его предостережением: «станете *яко бози*»... — В. Р-в.

I

Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный...

Пушкин

Советы могут быть глупые: это — те, которые вытекают из настроения лица, дающего совет; и — умные, вытекающие из обстоятельств лица, которое просит совета. В девяти десятых случаев, в недоумении душевном или в трудных житейских обстоятельствах, ища у «ближних» помощи, мы встретим только пропагандистов разных душевных настроений: они будут пользоваться временною нашей слабостью, «падением», чтобы перевести нас с нашей дороги на их собственную. И лишь из десяти случаев в одном найдем настоящего доброго и настоящего мудрого человека, который, разобравшись в наших собственных обстоятельствах, укажет из них выход в пределах нашего же собственного пути. Первые советы, которые мы назвали неумными, вытекают из душевной мелочности, безграничного эгоизма, ко всему глухого, и из инстинкта безграничного, так сказать, душеразширения: советчик хотел бы своею душою расшириться и вытеснить все другие разнородные души. Вторые советы, мудрые, вытекают из необыкновенной зоркости советчика, его душеумаления и безграничного интереса к мириадам чужих душ, чужих жизней.

Однажды мне пришлось пересекать по железной дороге Калужскую губернию, и, дремля в вагоне, я услышал разговор двух мещан ли, торговцев ли о делах душевных и житейских. Один все молчал, а другой все говорил. Говорившему было лет около пятидесяти; он был толст, красен и до такой степени дик видом, голосом, а также выражавшимися в разговоре понятиями, что как будто его предков никто не стриг, не чесал и не умывал от времен печенегов и татарщины. Он был виноторговец. Жадность к деньгам, скотское безучастие к людям, полная душевная запущенность, нераспаханность сказывались в стиле речи. Но, наряду с этим, что-то в нем было серьезное. Очевидно, он все сильно переживал, сильно чувствовал, — и стал сильным торговцем на том основании, что «сильно восчувствовал деньгу», и не плюшкински, не мелочно, а скорей как рыцарь-разбойник средних веков. С чрезвычайным волнением и удивлением он рассказывал молчаливому своему собеседнику о том, что вот уже много лет (хотя не излишне много, не всю жизнь) он состоит под духовным водительством о. Амвросия Оптинского (тут я насторожился), старца «дивного разума и богоугодности». Имя этого старца было не только хорошо известно, но как бы

наполняло приблизительно три смежные губернии: Калужскую, Орловскую и Рязанскую,— где редко кто из туземных жителей не рассказывал чего-либо о его слове или о его поступке. Я стал внимательно прислушиваться к рассказу проезжего. Он и теперь направлялся в Оптину, чтобы получить от старца периодически необходимое благословение и слова два «напутствия». По всему видно было, что торговец был человек, что называется, пламенной веры, но несколько каменистой,— не нежной (как бывает у некоторых), но твердой, резкой. Так, я думаю, веровали первые новгородцы и древляне, принявшие в X веке крещение. Бог — это абсолютное, с одной стороны, но, с другой — столь же абсолютною остается нимало не сдвинувшаяся со своего корня прежняя жизнь, еще до крещения, лесная, торговая, дикая, самоуправная, жесткая к соседу и к родному. Можно было бы думать, что встреча старца с кабатчиком, святого человека с грешником, выразится в драме борьбы, что старец начнет будить в торговце «Власа»:

Роздал Влас свое имя,
Сам остался бос и гол...

Ничего подобного не было. Оказалось, из рассказов его, что старец вошел «духовным оком» во всё подробности его материального и семейного устройства, почти вплоть до расшланировки избы и выправки «на тот год» еще более крупного патента на более крупную виноторговлю. Подробности за двенадцать лет я забыл, но храню ярко то впечатление свое, что, не переучивая и не переделывая, очевидно, крепкого мужика, старец как бы только стал с ним в соседство, придвинул свою келию к его кабаку. «Вот, когда-нибудь, может быть, и взглянешь; будет тихий вечер, мир у тебя на душе, и ты вместо привычного скверного ругательства — возьмешь и перекрестишься». С тем вместе, по колориту рассказов видно было, что со стороны старца не было и никакого мирволения кабаку, никакого вхождения в жадные и хищные вкусы мужика. Он их не прощал, но он о них молчал. Он только вошел в мир (душевный) хищничества и грубости святого статуею, но недвижно; прибавил к сумме жесточайших обстоятельств веяние мудрой и наставительной и кроткой души своей: как бы весеннего ветра, внесенного в обстоятельства зимы. «Где можно растаять — растает; а где не растает — там растопит Бог, когда придет время, и средствами большими, чем располагает человеческая мудрость».

Старец Амвросий в городах Орловской губернии, где я жил десять лет, назывался «прозорливым», и мне известен один поразительный случай этой прозорливости, вместе очень трогательный. Я выслушал рассказ, как с дочерью одного именитого купца, девушкою образованною, но скромною, провинциальною, случился «грех»: она полюбила одного начинающего профессора университета (его имя раза 2—3 мне потом встречалось в газетах), но была им почему-то оставлена, а между тем по неосторожности уже должна была стать матерью. Разъяренный

купец выгнал ее из дома ни с чем — на все четыре стороны. Переправилась она в соседний городок, разрешилась там от бремени, передала ребенка какой-то мещанке, обещаясь платить, а затем, как и все в этих губерниях растерянные люди, направилась в Оптину пустынь к старцу Амвросию «за прощением и советом» (раскаться и получить наставление). К посетителям, которых собирались большие толпы, старец выходил в четырехугольник, обнесенный веревкою: пришедшие стояли около веревки, дожидаясь очереди, когда он каждого позовет (и многие ждали по несколько дней, что всегда «незримо указывало на нечто»), а старец ходил внутри квадрата, то погруженный в задумчивость, то заговаривая с тем или другим, то вызывая к себе внутрь квадрата. В толпу эту вмещалась и молодая женщина. Нам совершенно понятно, что по красоте ее, молодости и, вероятно, взволнованному особенному виду 60-летний опытный старец мог и до признания о всем догадаться. Во всяком случае, она-то сама считала себя от всего света укрытой и готовилась к тяжелой, стыдливой исповеди. Каково же было ее недоумение и смущение, когда, минуя ближних, он позвал ее издали; и едва она к нему подошла и привычно поклонилась до земли, как он ласково и участливо (а голос его бывал и сердит) спросил ее, где она оставила рожденного ею младенца? Конечно, все это ей показалось «прозорливостью», и она, имея как бы вот святость перед собою, все рассказала в слезах. Тогда он ей указал немедленно вернуться назад, взять от женщины ребенка, вернуться в отцовский город, «а деньги на пропитание Бог пошлет». Советы его всеми, их спрашивавшими, уже исполнялись как неминуемый закон: считалось как бы неповиновением Богу — ослушаться их. Она так и поступила. До сих пор я передаю слышанное, а остальное уже видел своими глазами.

Во втором классе гимназии учился высокий, худенький и необыкновенно оживленный мальчик; вечные шалости, но необыкновенно наивные, невинные, так что без его шалостей было бы скучнее в классе. И все шалости были деликатные, тихие, скорее остроумные. Он был очень пуглив, впечатлителен, а вместе — открыт. В нем не было вовсе того маленького нахальства и назойливости, без которых, к сожалению, почти не встречается русских детей в возрасте 13 лет. Ставлю я раз ему балл в журналчик и вижу, что за предыдущую неделю «удостоверение в просмотре баллов» подписано фамилией не его, а другою.

— Отчего же ты родителям не дал подписать? — спросил я машинально.

— Это подпись мамы.

— Как — мамы?

И я указал на разность фамилии. У него выразилось на лице чрезвычайное удивление: очевидно, этого никогда ему в голову не приходило.

— Верно, твоя мама второй раз замужем и по второму мужу и носит эту (не сходную с фамилией мальчика) фамилию?

— Нет, я верно знаю, что моя мама не второй раз замужем.

Тут только я стал догадываться, что в семейном положении ученика есть ненормальность. Выставив ему балл и посадив на место, я потом, пользуясь веселостью и открытостью ученика, и как часто имел привычку делать почти со всеми учениками, стал его расспрашивать, где же и как и чем он с родителями живет. Все ответы были, так сказать, удивляющи, а вместе составили продолжение приведенного мною выше рассказа, слышанного мною как раз незадолго до случая с этим мальчиком.

«Мама моя рисует», «только образа пишет — больше ничего»; «вам она образа не напишет, потому что на посторонних людей не делает, а как напишет — отвозит к батюшке».

— Какому?

— Батюшке Амвросию, в Оптину пустынь.

— Как же она его знает?

— Мы с ним давно знакомы. Он такой добрый, как никто.

— И ты его видел?

— Меня-то он особенно и любит. Мы в год раза два к нему бываем. И всякий раз он поведет к себе в келью, и ласкает-ласкает меня, и всегда мне дает гостинцев. И веселый он преселый, постоянно шутит и смеется, мне же позволяет все делать у себя, и я у него как у себя в доме.

Между тем из других рассказов было мне очень и очень известно, что о. Амвросий бывает серьезен, наставителен, а временами даже суров («он меня ударил — не больно — посохом по спине, но, говорят, это хороший знак»). Очевидно, здесь связь была исключительная. Старец спас своим советом молодую женщину, спас и мальчика: и возлюбил их особенною любовью, как свое творенье, усыновил их себе, а благодарная женщина вся отдалась именно благодарному религиозному чувству, выразившемуся в писании икон для Пустыни. Как я расспросил и узнал, суровый отец ей выдавал немного денег на содержание, но в дом ее не впускал, и сам и семья его сношений с ней не имели.

Этим случаем в свое время я был восхищен. Хотя теперь думаю: *quod privatum est bonum — bonum publicum*. Зачем же личной воле становиться выше (святее) закона? Или о. Амвросий должен был прогнать с глаз своих эту женщину, если закон об отделенности незаконных детей от родителей был (до 1902 г.) государственно и церковно основателен; а если он хорошо поступил, приласкав и соединив мать с ребенком, то *отчего он вслух и отчетливо*, для направления самого закона, не высказался о подобных случаях? И в частности, отчего не наложил епитимью на жестокосердного отца девушки или не написал и не сказал всем таковым отцам поучения? Вообще, правда келейно и публично должна быть одна. Или о. Амвросий худо поступил, или он не доделал хорошего дела, не произнес «слова и дела» — не «царева» только, а «Богова» — о всех аналогичных фактах. Но я долгие годы в прежнее время умилялся на этот случай из жизни о. Амвросия, на его

деликатность, его мудрость. Читатель заметил, что здесь «руководство» велось уже совершенно иначе, чем в отношении грубого кабатчика. Другой человек, другие обстоятельства — и старец говорил иным голосом, иные речи. Мудрый старец!

Конечно, советы, приблизительно как его, мог давать и другой человек. Но не было такого авторитета: и от равного ума или доброты не получилось бы равной пользы. В городке, где я жил, некоторые, даже из образованных, поступали под водительство старца. Никто их к этому не нудил. Они начинали это, когда хотели, и оканчивали — когда хотели же. Но, обыкновенно, раз обратившийся уже никогда не хотел отойти вследствие явной пользы советов, основывавшихся единственно на обстоятельствах того, кто просил совета, а не настроения самого старца. Между прочим, обращались к нему люди в безвыходно трудном материальном положении. И вот я наблюдал, что в этих случаях совет всегда был рассчитан на терпение и чувство надежды советовопрошателя, и на уверенности самого старца, что семь бед сразу не приходят и что вскоре обстоятельства переменятся. Известно, как успешно лечат доктора, не подавляющие дух больного, а поднимающие дух больного,— и для которых неисцелимых болезней точно не существует. Старец действовал наподобие такого доктора, только в сфере нравственной, в бытовой и частью материальной. «Дом и думать не смей продавать»,— сказал он одной осиротевшей женщине, оставшейся с дочерью и внучкой вовсе без всяких средств, без пенсии и помощи. За дом можно было получить тысячи две и начать перебиваться; на первое бы время хватило. Но старец рассчитал не первое время, а именно далекое. Запрет его был равен закону. Жили три сироты в холодном и голодном домике: но помогли на первые месяцы родные, а затем нашелся жилец, стал на «хозяйский харч», и семья перебивалась десятый уже год, с трудом, но не впав в разорение и нищенство, которых бы без дома не избежать. Другой совет, мне известный: взрослый сын, уже учительствовавший в городской школе, пропадал от пьянства. Пьянство это было так неудержимо и вместе для всех несносно, что отец и вся родня давно не хотели ни видеть молодого человека, ни даже впускать его в чистый и благообразный дом. Только одна мать от него не отступалась. За выгоном из дома, он уже ночевал на огороде, в бане; находили его пьяным на улице, и, вообще, сраму было много. Между тем, в редкие трезвые минуты, несчастный был разумен, приветливого со всеми обращения, застенчивый и скромный. Пить его приучили в юности худые товарищи по семинарии. Приходившая в отчаяние его мать возила его несколько раз к «батюшке Амвросию» — и вот ее-то, эту заботливейшую и неистощимую в терпении мать, он и стучал посохом по спине; с пьянчужкою же обращался непрерывно ласково «и удостоивал слова». Думали сына уже в солдаты сдать, что можно было и по кроткому его характеру, и потому, что пьянство было очевидная неисправимая болезнь. Но это запретил старец, а матери он указал неизменно беречь его, о нем же самом

«предсказал дивную судьбу, что он священником станет возносить молитву перед Престолом Божиим». Таковое предсказание даже расхолодило желание обращаться дальше к нему за советами: пивший молодой человек не был даже посвящен хотя бы в псаломщики, а проходил учительскую службу, главное же — был в таком безобразном виде! Но по-прежнему ходила за ним мать; а там — женила; а там жена свезла пьяного мужа к какому-то мужику-начетчику, верно лечившему гипнозом, и он действительно «как рукой снял с него пьянство». Дальше открылось после смерти отца дяконское место, он посвятился; и, когда я слушал рассказ, он был уже действительно священником, и рассказывавшая мать жила у него в дому и распоряжалась всем обильным хозяйством и нянчила двух его сыновей и дочь!! Такими путями, каждого своим, старец Амвросий возводил мелких и ослабевавших людей все в гору, все к лучшему,— и, очевидно, сам цвел и жил этим возраставшим благополучием.

Он, собственно, вошел твердою волею в хрупкую волю обыкновенных людей. Я сказал выше, что такие советы могли бы и другие давать, но не было авторитета. В том смысле и значение старчества и состоит, что, воскресив в себе как бы «волхва древнего», который «с волею небесною дружен», старец входит в жизнь людей добрым волшебством, с магическою заклинательною силою: заклинательною против дурного и как бы открывающего рог изобилия для хорошего. «За старцем не пропадешь» — это становилось всеобщемою уверенностью. Хрупкие воли, переменчивые желания, раз они попадали в руководство старца, выглаживались, выравнивались, получали одно стойкое направление. Надежда ободряла несчастных. И из пропасти, рва или небольшой ямки они выцарапывались на свет Божий.

II

Козельская Введенская пустынь, где подвизался этот старец, не только вошла, таким образом, богатым и нужным фактором в народную жизнь, но с нею завязались, единственно из всех наших монастырей, живые и прочные литературные связи. Расположенная на берегу маленькой сплавной реки Жиздры (впадает в Оку), Пустынь отделяется ею от города Козельска, лежащего всего в 3-х верстах от нее. Это тот самый городок, который за упорное и кровавое сопротивление Батью получил от него прозвище «Злого города». Вверх и вниз от Пустыни по песчаному, неудобному для хлебопашества грунту тянутся на много десятков верст сосновые леса.

Двое Киреевских, Иван Васильевич и Петр Васильевич, имея помещицы свои владения невдалеке отсюда, подолгу жилали в этом монастыре. Затем они организовали при нем перевод важнейших греческих аскетических писателей. Таким образом, нельзя сказать, чтобы только монастырь давал литературе. Скорей он был первоначальною доброй

почвой, но с хорошо состоявшейся там аскетической атмосферой, с прекрасным настоящим духом монастыря, к которому эти два замечательные деятеля нашей литературы и просвещения уже от себя привили литературные вкусы. Проживая подолгу здесь, они не только сами трудились над переводами, но организовали это дело, привлекли к нему некоторых образованных монахов. Таким образом, начатое ими дело не остановилось и с их смертью. Ученый, литературный труд привился в монастыре; и он выработал те вкусы, понятия и язык, с которыми уже возможно было взаимодействовать образованным людям. Здесь они находили привычную почву образования, а вместе с тем знакомились с бытом и характером той монастырской жизни, которая в течение восьми веков светила народу русскому как единственная форма духовной деятельности, как идеал, как светоч. Монастырь для Московской и Киевской Руси был и университетом и парламентом; здесь единственно обсуждались далекие мирские дела; обсуждалось отечество; его состояние; высказывалось суждение о каждом текущем царствовании; жили надежды на грядущее, хранились воспоминания о прошлом. Здесь, наконец, учились — большею частью словом, устно, но мало-мальски и письменно. Всякому краю и времени своя судьба, свой путь: и мы вторично настаиваем, что чем для Англии и Франции средних веков были их *universitas* и *les états* («штаты», «собрание сословий», начало парламента), тем для лесной и степной Руси времен Мстиславов, Иоаннов и Василиев были эти пустыньки и пустыни. Нужно заметить, монастырским колоритом была подернута вся Русь. «Пустыньки» не имели официального положения: они не учреждались официально; о их существовании не требовали отчетов в Москву, в Киев, как позднее стали требовать этих отчетов в Петербург. Они зарождались сами собою, без всякой формы, без регламента; около редкой церкви в глухом городке не ютились старики, старицы, бездомные, сироты, бобыли, уже ранее монастыря жившие монашескою жизнью. При случае эти одиночки отходили в сторону, иногда в составе 2—3—5 человек, и основывали пустынь, никого не спрашиваясь. В лесу они находили свободу, независимость, беспрепятственность для молитвы; кой-какая работа давала кой-какой корм. А затем их жизнь, спокойное созерцание и случайное мудрое слово влекли сюда людей. Образовались как бы уединенные островки умной духовной жизни, вместе и глубоко народной, даже государственной; и — в нашем смысле — если угодно, даже и уединенно-кабинетной (затворнической).

Только что вышедшее из печати довольно обширное «Историческое описание козельской Оптиной пустыни», сделанное ею самою, знакомит со множеством любопытных подробностей в ее существовании, частью общерусского значения. Например, замечательно, что «старчество», начавшее появляться в первые годы XIX века, сперва в монастырях Ладожского и Онежского озер, встретило самое раздраженное сопротивление, как со стороны местной административной монастырской власти,

так и со стороны епархиального начальства. «Пастырь остался без паствы», — замечает составитель «Описания» об одном игумене, даже приближенные которого ничего не делали без благословения старца; «с прибытием старцев нарушился обычный порядок и мир обители» (жалоба игумена Валаамского монастыря Иннокентия митрополиту Петербургскому Амвросию); но «святое буйство их оказалось выше мудрости человеческой» (стр. 69), резюмирует положение дел автор-монастырь. Из дальнейшего изложения видно, что антагонизм между старчеством и официальной епархиальной властью не прекратился до конца. Так, старец Амвросий, о котором мы говорили, пользуясь вниманием таких иерархов, как митрополит Киевский Иоанникий, и получая просьбу о совете некоторых епархиальных владык, в самый даже год смерти имел беспокойства от своего епархиального начальства. Его заботами и трудами и на средства, жертвуемые по его указанию, воздвиглась в 12 верстах от Оптиной пустыни Шамординская женская обитель, что-то, кажется, на 300 сестер, как я слышал об этом в свое время. Здесь шли энергичные постройки. Любивший это дело, как свое творение, свое детище, о. Амвросий в один из теплых осенних дней 1891 г. поехал сюда; но неожиданно наступили холода, и старец, едва уже двигавшийся и притом никогда не выносивший комнатной температуры ниже 18 градусов тепла, никак не мог вернуться в Оптину пустынь. И вот

«от 7 октября канцелярия епархиального Владыки известила от. настоятеля, что Его Пресвященство предполагает на сих днях выехать в епархию и намеревается в Оптиной пустыни иметь ночлег. А калужский губернатор 8-го числа октября известил козельского исправника телеграммою, что епископ Виталий прибудет в Оптину пустынь в пятницу 11 октября. Исключительная цель поездки преосвященного в Оптину пустынь была водворение большого о. Амвросия в Оптину пустынь. Но цель оказалась невыполнимою. Старец о. Амвросий почил о Господе 10 октября. И преосвященному Виталию пришлось исполнить перед о. Амвросием последний долг — устроить погребение».

Шамординская община телеграммою испросила у Первоприсутствующего в Синоде разрешение сделать погребение старца на месте его смерти, т. е. в Шамордине, но Высокопреосвященный отклонил от себя это разрешение, предоставив его местному епархиальному. Епископ Виталий, ссылаясь на 47-е правило VI Вселенского собора: «Ни жена в мужском монастыре, ни муж в женском да не спит» («т. е. не погребается»), добавляет почему-то от себя составитель «Описания»), воспретил его похороны в Шамордине, и останки старца при огромном стечении народа были перенесены (за 12 верст) в Оптину пустынь. Не можем не спросить с недоумением: почему же в московском Новодевичьем монастыре и в таковом же петербургском похоронено множество мужчин? Автор приводит толкование Вальсамона на приведенное правило VI Собора. Вальсамон говорит, что правило это дано для «пресечения неблаговидного и воспрепятствования прелести, которая через самое

зрение вкрадывается в души и полагает начало падению. Поэтому пусть все повинуются этому закону, и пусть ни мужчины не полагаются в могилах женских монастырей, ни женщины пусть не зарываются в мужских монастырях» (стр. 145). Но это правило, подобно многим другим, очевидно, вышло из употребления: никто теперь не опасается, чтобы «не вкралась прелесть в души» умерших — и не повлекла их к прелюбодеянию.

III

К. Зедергольм, А. К. Толстой, К. Н. Леонтьев, Достоевский, Вл. Соловьев и Л. Н. Толстой — вот писатели, которые или посетили Оптиную пустынь, или живали при ней после Киреевских, Шевыревых и Гоголя, этой, так сказать, старейшей линии посетителей и почитателей Пустыни. В библиотеке ее сохраняются два письма Гоголя: одно — малозначительная записочка к игумену Моисею:

«Так как всякий дар и лепта вдовы приемлется, то примите и от меня небольшое приношение по мере малых средств моих: двадцать пять рублей на строительство Обители вашей, о которой приятное воспоминание храню всегда в сердце своем».

Другое письмо от 26 июля 1850 года очень значительно:

«Ради Самого Христа — молитесь обо мне, отец Филарет! Просите вашего достойного Настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится и любит молиться, — просите молитв обо мне. Путь мой труден, дело мое такого рода, что без ежeminутной, без ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться мое перо; и силы мои не только ничтожны, но их нет без освежения свыше. Говорю вам об этом не ложно. Ради Христа обо мне молитесь. Покажите эту записочку мою отцу игумену и умоляйте его вознести свои молитвы обо мне грешном, чтобы удостоил Бог меня недостойного поведать славу Имени Его, несмотря на то что я всех грешнейший и недостойнейший. Он силен, Милосердый, сделать все; и меня, черного как уголь, убелить и возвести до той чистоты, до которой должен достигнуть писатель, дерзающий говорить о святом и прекрасном. Ради Самого Христа, молитесь: мне нужно ежeminутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дразгу, и на всяком месте своего странствия быть как бы в Оптиной пустыни. Бог да воздаст вам всем за ваше доброе дело. Ваш всюю душою Николай Гоголь».

Письмо слишком явно своею тревогою говорит об утрате великим человеком всякого душевного равновесия. Что это был за червь, точивший Гоголя, — никому не известно. Можно только сказать, что и впечатление Оптиной пустыни, и знаменитые увещания от Матвея, ржевского протоиерея, пали на душу Гоголя, как брызги совершенно невинной воды на раскаленную заслонку топящейся печи. Дело в том, что ранее всяких богословских знакомств у совершенно молоденького Гоголя, в пору «Вечеров на хуторе близ Диканьки», появляются эти самые покаянные, тревожные ноты:

«— Отец, молись! молись! — вскричал вбежавший,— молись о погибшей душе моей!

Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул, но в ужасе отступил назад и выронил книгу.

— Нет, неслыханный грешник! Нет тебе помилования! Беги отсюда, не могу молиться о тебе».

Это совершенно тон приведенного письма Гоголя от 1850 года. Между тем это взято из «Страшной мести», юного его произведения. Очевидно, у Гоголя было что-то вроде врожденной мании преследования. Мы указываем на симптомы явления, как бы парализующего душу, неустрашимого, беспричинного, мучительного,— *ни мало не приписываемая писателю этой болезни*. Мы указываем на аналогию и этим ограничиваемся.

Гр. А. К. Толстой, В. С. Соловьев, Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой только приезжали в Оптину пустынь. А. К. Толстой, останавливаясь в Козельске, часто приходил в монастырь пешком. Для любителя природы и охотника три версты расстояния, конечно, не представляли собою серьезного расстояния. Кто знает, может быть, отсюда он взял некоторые картины для своего «Иоанна Дамаскина»:

Благословляю вас, леса,
Благословляю, горы, доли...

Как мог взять отсюда же и прелестные тоны для изображения монашеской жизни, монашеской «уставности» в этом его прелестном стихотворении. Эстетик Леонтьев так передавал свое впечатление от скита старца Амвросия:

«Все необыкновенно и оригинально здесь; лес, уединение, скит, розовый цвет св. ворот (ведущих в Пустынь), напевы, вдохновенный свыше Старец, совершенно бесстрастный,— даже к музыкальным звукам певцов. И все существующее здесь составляет необходимую принадлежность, чтобы среди всего этого проявлялся и возрос о. Амвросий» (стр. 124).

Самого Леонтьева в скиту обыкновенно звали просто «консулом». По приезде из Салонник, еще не покидая этой должности, он приезжал в Оптину пустынь, чтобы пожить близ о. Амвросия и пользоваться его беседами. Причиной его удаления с консульской службы было то, что он, не испросив отпуска и не передав никому должности, уехал на Афонскую гору и чуть ли не прожил здесь полгода. Конечно, это было нарушением всяких «уставов о службе», и он должен был выйти в отставку. К концу жизни он и совсем переселился в Оптину пустынь.

Составитель «Исторического описания» приводит рассказ о троекратном посещении Оптиной пустыни гр. Л. Н. Толстым. Нужно заметить, что в основанном о. Амвросием женском монастыре, в Шамордине, живет сестра знаменитого писателя, Мария Николаевна Толстая,

постригшаяся в монашество. Первый раз Толстой был с Н. Н. Страховым 22 июля 1877 года, второй раз был incognito с конторщиком своим и с учителем в 1881 году, а третий раз в 1890 году с супругою, тремя детьми и названною выше сестрою. В 1881 году он пришел сюда пешком (от Ясной Поляны до Оптиной пустыни 200 верст). Был вечер, звонили в монастырский колокол к ужину, когда путники добрались до обители. Они были все в крестьянских одеждах и в лаптях, так что их не пустили в чистые комнаты к трапезе, а поместили в третьей комнате, с нищами. Наутро Л. Н. зашел, между прочим, в монастырскую книжную лавку. Слышит он, как какая-то баба просит Евангелие за пятак, а монах отказывает: «Потому, — говорит, — что дешевые Евангелия все вышли, остались только дорогие». Узнал Л. Н., что баба хочет купить Евангелие для сына своего, взял с прилавка Евангелие, заплатил за него 1½ целковых и отдал бабе. «Вот, возьми, — говорит, — сама читай и сына своего учи, потому Евангелие утешает нашу жизнь» (стр. 127). Узнавший, Л. Н. должен был посетить и игумена, и о. Амвросия. Выйдя от последнего, он радостно сказал: «Этот о. Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога».

В 1890 году, приехавши сюда с семейством, Л. Н. отпустил детей и Софью Андреевну к старцу о. Амвросию, а сам пошел в скит к своему родственнику, бывшему здесь добровольным послушником. Он его расспрашивал о скитских правилах, одобряя пост и воспрещение входа в скит женщин; коснулся также вопроса о цели жизни — «для чего мы живем?». Послушник, слышавший изъяснение об этом за церковной службой, сказал, что «по воле Создателя мы должны восполнить число падших ангелов на небе». — «А кто это тебе сказал?» — переспросил Л. Н. — «Да я слышал в церкви», — отвечал послушник.

Возвратясь в гостиницу, Л. Н. встретил свою семью, возвращавшуюся от о. Амвросия в очень довольном расположении духа, и решил побывать и сам у о. Амвросия. После свидания с о. Амвросием Л. Н. зашел к К. Н. Леонтьеву, как к старому знакомому. «Как это ты, образованный человек, сделался верующим и решился тут жить?» — сделал Л. Н. вопрос Леонтьеву. Тот отвечал: «Поживи здесь, так сам поверуешь...» — «Еще бы, запрут тебя здесь, — возразил Л. Н., — так поневоле поверуешь!!» — «Я твою философию, брат, не читаю, а только беллетристику, — выразился Л. — в, — пиши, брат, пиши; в старости и от 80-летних авторов выходили знаменитые творения». Во время чая разговор коснулся старца о. Амвросия: «Вот человек хороший! Я был у него и завтра думаю опять побывать. Он преподает Евангелие, только не совсем чистое, а вот — мое Евангелие», — при этом взял из своего кармана книжку и подал Леонтьеву. В это время у Леонтьева была брошюра Елеонского, в которой доказана тождественность и неповрежденность Евангелия и отвергались противные

мнения Толстого. Леонтьев подал ее Л. Н-чу, но он сказал: «Брошюра дельная, она рекламирует и мое Евангелие». Тут Леонтьев не сдержал себя, вспыхнул и сказал: «Как это возможно, чтобы здесь, в Пустыни быть, где такой старец, как о. Амвросий, и говорить о *своем* Евангелии? Это можно разве в какой-нибудь глуши, в Томске, что ли». Замечание это задело гордость Л. Н. Он резко ответил: «Что ж, у тебя много знакомых, пиши в Петербург: может быть, сошлют меня в Томск». Затем ушел в гостиницу и уехал в Ясную Поляну, не побывав у старца. На другой день Леонтьев попросил Е. узнать от о. Амвросия подробности о его беседе с Толстым, но о. Амвросий одно только велел передать Л — ву, что Толстой был у него около часа. «При входе Толстого в мою келью я благословил его, и он поцеловал мою руку. А когда стал прощаться, то, чтобы избежать благословения, поцеловал меня в щеку». Рассказывая это, старец едва дышал — так сильно утомила его беседа с графом. «Горд очень»,— добавил о. Амвросий (стр. 128 «Исторического описания»).

Как нам приходилось слышать, и не из одних уст, сестра Л. Н., Мария Николаевна, сделавшаяся монахиней и ныне благополучно здравствующая, пользуется глубоким уважением знаменитого своего брата. Невозможно не заметить, что женщины вообще имеют в себе религиозное чувство большей степени напряжения, чем мы, и притом всегда пластичнее и конкретнее выраженное. Они любят молитву, тогда как мы любим философствовать. Мы можем философствовать и в кабинете, а они ищут храма. Это особенно замечательно, ввиду того что всю организацию свою женщина как бы немее нас (меньше у них воображения и словесного творчества), более нас придавлена, приплюснута к земле. Верно, земля имеет свою тайну к Богу: и кто к ней ближе — больше и о Боге думает. Еще замечательнее, что, несмотря на это религиозное чувство у женщин,— они, бедные, все-таки как бы отодвинуты в сторону в наших церковных представлениях. В сельских храмах я видал зрелище, раздражавшее меня: всю переднюю часть его занимали мужики, среди них ни одной бабы; бабы все столпились у задней стены, западной, и не все слышат в службе, а видят едва ли что-нибудь. И между тем самое-то горячие молитвы — отсюда. Грубость семейного нашего быта едва ли не вытекает из того наглядного для мужика факта, что он после всякого тяжкого греха, и даже выпивши, может войти в алтарь: но сюда не может войти 12—8-летняя девочка. «Курица — не птица, баба — не человек»,— думает мужик. И соответственно треплет свою «половину».

В свое время было передано в печати, будто о Вл. Соловьеве старец Амвросий выразился, что «он не верит в будущую жизнь». Составитель настоящего «Исторического описания» отрицает возможность этого определения. «Нам лично,— говорит он,— о. Амвросий сказал, когда шла полемика К. Н. Леонтьева с Соловьевым о теориях и трудах Н. Я. Данилевского: «Спроси-ка Соловьева, как он думает о вечных мучениях». «Уже самое задание этого вопроса,— справедливо разъяс-

няет автор,— указывает, что у о. Амвросия не было никакого сомнения о вере Соловьева в загробную жизнь: иначе не для чего было бы напоминать о подробности этой жизни». Позднейшие труды Соловьева: «Оправдание добра» и «Три разговора под пальмами» — рассеивают всякие сомнения относительно религии и философии Вл. Соловьева.

IV

Из прочных приобретений Оптиной пустыни, кроме К. Н. Леонтьева, надо назвать еще К. Зедергольма. Надо заметить, что слава о Амвросии переступила даже границы России. Так, к нему обратилась однажды за советом одна француженка (католичка) из Женевы (о. Амвросий знал пять языков). Его посещали в Оптиной и католики, и протестанты. Так, в 60-х годах сюда приезжал реформатский суперинтендант гор. Москвы Карл Зедергольм. У него был сын Константин, учившийся в Московском университете. Сын этот был особенно поражен всем, виденным в Оптиной; он подолгу беседовал с о. Амвросием и закончил тем, что перешел в православие, а затем и принял монашество под именем Климента. Он помогал о. Амвросию в ведении его обширной частной переписки по практическим и нравственным вопросам и принял деятельное участие в переводе древних восточногреческих аскетов на русский язык. Впоследствии К. Н. Леонтьев написал его биографию и характеристику: «О. Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни». Сам Леонтьев был, так сказать, беспощадный эстет. Монашество взяло его только под свою мантию, но не «забрало за-душу», как выражаются. «Скажут, что нельзя соединять монашество с чтением вольтерьянцев». Отчего же? Ничто так не волнует, как поразительные контрасты: и я нигде с таким удовольствием не перечитываю острые шутки Вольтера над христианством, как именно в те месяцы, когда приводится мне жить в святых обителях». Таким образом, монашество, так сказать, не отбило вкуса у него от житейского, от земного, даже от французского. Он в этом отношении был вовсе не похож на фанатичного и узкого Зедергольма.

В «Историческом описании», несмотря на официальное происхождение книги, проскальзывают местами намеки как будто на что-то недоговоренное в биографии о. Амвросия, напр.: «Его советы были краткие, практичные, мудрые, утешающие, с присущим ему юмором. Из любви к ближним *оставил он схимнический затвор, схимнические правила*» (стр. 131); «советы его *редко касались предметов догматики*, относясь преимущественно к вопросам нравственности» (там же); «перед отъездом (предсмертным) своим из скита в Шамордино о. Амвросий приказал уничтожить большую часть своей обширной переписки, а по его кончине уничтожены и все оставшиеся в его келье письма и бумаги» (стр. 140). Здесь ясно есть что-то недоговоренное: для чего обыкновенному «уставному» монаху уничтожать бумажные свидетельства своей деятельности, прославляемой во всей России? Еще последняя странность: «Вскоре

по рукоположении в иеромонахи о. Амвросий впал в неизлечимую болезнь (в другом месте сказано, что он «сильно в осень простудился и впал в неизлечимую болезнь»), в богослужениях не участвовал и наконец по указу Св. Синода зачислен был в 1848 г. в число заштатных иеромонахов» (стр. 106). Итак, от 1848 по 1890 г. он нес, в сущности, огромные труды, ездил за 12 верст в Шамордино, все оставаясь «неизлечимо больным, в богослужениях не участвуя» и (см. выше) «отложив в сторону ради любви к человечеству исполнение схимнических правил!» Картина — поразительная, вызывающая бездну вопросов, которые, может быть, так же «несвоевременно опубликовывать», как и «некоторые сведения о его жизни» (последние слова — биографов).

Закончим нашу характеристику передачей общего и зрительного впечатления от знаменитого Старца.

«Об о. Амвросии я ничего прежде не знала и только накануне встречи с ним слышала, что в скиту есть иеромонах о. Амвросий, который часто болел и редко выходил из скита и который очень умный. Больше ничего не знала; и самые понятия о монастырской жизни, полученные мною в миру, были крайне неясны. Итак, мое впечатление ничем не было подготовлено. Я увидела его подле скита в старой-старенькой накидке, с палочкой в руках. Он шел легко и имел вид совсем не такой, как другие монахи: он шел, казалось мне, не касаясь земли. Я была сзади его; но он вдруг обратился в нашу сторону и благословил меня. Впечатление моего сердца было такое, что это, должно быть, дух Ангела во плоти. Я ничего ему не сказала».

«Все, что до сих пор было напечатано об о. Амвросии, меня совсем не удовлетворяет; впрочем, полагаю, что меня никогда ничто не удовлетворит, хотя бы потому, что теперь еще многого нельзя о нем писать... (многоотчие рассказчицы). Что вы скажете или как выразите чувства того, кто лично пришел к Старцу с негодующим помыслом на него самого, и в мучительном раздумье, как бы победить нерешительность и высказать ему этот самый помысел свой? Что вы скажете, если Старец сам избавил от этого неприятного чувства, от пересказа такого помысла: встретив меня, он улыбнулся и положил свою руку себе на голову, изображая кающегося человека! Такие таинственные душевные движения, эту жизнь души — никак невозможно положить на бумагу!» (стр. 119).

Все это очень характерно. О. Амвросий, очевидно, принадлежал к тому порядку людей, которых мы назвали бы «озаренными». Представьте на верху горы группы людей: ранним утром светло-уже и в долине, но серо-светло, без блеска. Все можно видеть, все ощупать руками можно, не ошибешься. Но фигуры стоящих на горе светятся не таким светом, а совершенно особенным, с блеском и игрою. Они «озарены»; — и вот если такое физическое озарение от поднимающегося солнца переложить на психологические термины, то мы и получим определение этих людей, «ноги которых как бы не касаются земли», которые при первом на них взгляде дают впечатление «Ангела во плоти», и угадывают, и знают, во всяком случае, больше обыкновенного. Есть горные люди, есть долинные люди. Констатировали же юристы и медики присутствие в человечестве почти не подлежащего исправлению и лечению «преступ-

ного типа». Если есть долина, значит — есть гора; где минус — там возможен и плюс. Историк и психолог может договорить то что не договорено юристом и медиком. Раз врожденно и неисправимо существует «преступный тип», — существует столь же неодолимо, и притом постоянною составною единицею, в человечестве «святой тип». Принадлежащие к нему праведность *не приобретают, а имеют*. И если врожденный «преступник» имеет печать своего «минуса» на лице, так что антропологи зарегистрировали их в сериях фотографий, в обширных атласах, а при встрече мы поражаемся неблагоприятием их, — то совершенно следует допустить особенное и мгновенное впечатление, даваемое лицом «врожденного святого» на зрителя, на встречного. В рассказах о них нет никакого преувеличения. Какая неизмеримая разница между молоденьким учителем Липецкого духовного училища Гренковым, который, никому не сказавшись, не взяв даже отпуска, отправляется тайно в Оптину пустынь и здесь постригается в монашество с новым именем — «Амвросий», испрашивая сейчас же у епархиального владыки прощения в своевольстве и благословения на новый путь, — и между его сверстниками-современниками во всей России, описанными Помяловским в «Очерках бирсы». Ведь это — то же время, одна эпоха! Но какая разница в деятельности, в образе! «Святой тип» есть непременно лечащий, целебный в человечестве тип. Благоденствие от него льется духовное, да, наконец, и физическое. Все поднимаются духом, только взирая на него, как это явно записано об о. Амвросии. Самые проникательные люди посещали его: Толстой, Достоевский, Лентьев, Вл. Соловьев, и никто не сказал ничего отрицательного. Золото прошло через огонь скептицизма и не потускнело. «Святой» тип, — я сказал, — есть *целебный* тип. Это как бы разлитый в человечестве «Лурд», откуда исходят здоровье, веселье, облегчение жизненных тягот: веселье кроткое, веселье нравственное; ибо есть другое, — безнравственное и буйное, патологическое. И как, нам думается, «преступный тип» не только несет угрозы человечеству, но и сам в себе являет падение к смерти («вырождение»), так «святой тип» содержит какой-то намек на «возрождение». Не есть ли это отблеск, светлая тень (простите за выражение), откинутая назад, на землю, грядущую «вечною жизнью», «бессмертием души», загробным существованием? «Святой человек» есть совершенно обыкновенный, но с плюсом у него этого «загробного сияния», «вечной жизни». От этого он производит впечатление Ангела (в противоположность преступнику). Да ведь и откуда у человечества взялась сама идея об «ангеле», живописная, эстетическая, религиозная? Не поразительно ли, что никогда «ангела» не рисуют старцем, а всегда юношею; не рисуют даже в наших церквах, где все святые — старцы и все угодное Богу — старообразно. Но ангел, т. е. некоторый плюс перед всякою святостью, изображается юным, безбородым и вместе не детским (не наивным). Юное — жизненно: а жизнь, можно сказать, боговдохновенна. «И вдунул в лицо его (Адама) дыхание *жизней*, душу

бессмертную». Так что биологический принцип есть вместе божественный. Отсюда избыток, чрезмерность, как бы Лурд жизни и производит впечатление «богоподобности».

«Меня поразила его святость, которую я чувствовал, не разбирая, в чем она,— и та непостижимая бездна любви, которая, как следствие его святости, была в нем,— пишет об о. Амвросии известный писатель, скрытый под псевдонимом «Поселянин».— И я, смотря на него, стал понимать, что значение старцев — благословлять и одобрять жизнь и посылаемые Богом радости, учить людей жить счастливо и помогать им нести выпадающие на их долю тягости, в чем бы они не состояли».

От раннего утра и до позднего вечера толпы народа ежедневно шли к о. Амвросию, «шли монашествующие: приезжие и мирские люди, дворяне, купцы и простой народ обоего пола». Кто искал разрешения своих религиозных сомнений, кто исцеления от грехов и телесных болезней, кто утешения в скорби, кто совета в житейских делах и предприятиях, кто просто пособия; и с тем вместе все просили молитв и благословения св. Старца на христианскую жизнь. С отеческою любовью и ласкою встречал всех и провожал Старец. «В серьезных случаях принимал уединенно посетителей в своей келье, а высокопоставленных лиц — в отдельном зале». Все, входившие к Старцу, выходили от него довольными, утешенными, не исключая и тех из духовных детей его, которых приходилось вразумлять не только строгим внушением, но и костью или палочкой, или легкой плеткой. Почти ежедневно о. Амвросий выходил из своей келии по вечерам в теплые сени и залец на так называемое «общее благословение». Все — и сидевшие на стульях, лавках, на полу, и стоявшие — становились обыкновенно на колени при весте: «Старец идет». По выходе из кельи Старец молился на икону Божьей Матери и проходил в тесной толпе, благословляя народ (в полутьме) направо и налево; вместе с тем отвечал на просьбы простыми, краткими, но вдохновенно мудрыми ответами, в которых, кроме текстов Св. Писания, удачно пользовался вразумительными пословицами и притчами. Из сеней Старец переходил другими сенями в так называемую хибарку (из которой выход за ограду скита), где ожидали его благословения женщины; там, в хибарке, о. Амвросий точно так же благословлял и отвечал на вопросы.

«Когда Старец садился в залец или хибарке на диванчик, тогда все посетители становились на колени и с глубоким вниманием слушали его беседы и наставления. Всегда радостный, он умудрялся на предлагаемые вопросы отвечать безобидно, с присущим ему юмором. Многие посетительницы на женской половине так любили слушать ответы и наставления о. Амвросия, что с особым любопытством ходили на приемы и записывали его изречения и ответы. В теплые летние дни Старец выходил за ограду скита, на свежий лесной воздух; появление его было радостью для всех, томившихся ожиданием приема. Опираясь на костьль, он шел, в сопровождении келейника, по дорожке, в белом подряснике, меховой рясе и в теплой на вате камилавке, преподавая точно так же и благо-

словение всем по ряду, по временам останавливаясь и отвечая на вопросы, которые обращали его внимание. В этом разговоре с народом старец почти всегда утомлялся до изнеможения и отправлялся в келью не столько на отдых, сколько для другого труда — ответов на письменные вопросы. Народ, по обычаю, толпился вокруг него, шумел, некоторые хватались даже за края его одежды, чтобы, остановив его на секунду, сказать ему «словечко». Нередко, выбираясь из толпы народа, оставлял он в руках народа и верхнюю рясу, которую потом келейники его приносили в келью».

Так описывает дело историк и вместе очевидец. Уберем с фона русской жизни эту картину — и фон обеднеет, потускнеет. На этом пространстве эти же люди сложатся совершенно в другие сцены — злобы, пьянства, драки, преступления — слишком обычные наши сельские картины. Мы не убрали маленьких подробностей из рассказа: зальца получше «для высокопоставленных посетителей». Это черта русская, историческая, бытовая; ничему она не мешает, и не будем смотреть на нее завистливым взглядом демократии. Что ничему не мешает, пусть все останется. Иногда заходят речи о монастырях и их преобразовании в более утилитарном направлении. Может быть, это настанет. Но не станем утрачивать событий. Пусть *сами* монастыри пробудятся к новым задачам, даже к новому духу; но не повезем туда механично, холодно больных с ордером на бумаге: «Приказано принять столько-то». И в том виде, наивно-кротком, несколько бездеятельном, несколько созерцательном, как они существовали восемь веков, монастыри принесли неисчислимую тайную пользу. «Тихая обитель» есть такое же прекрасное и народное явление, как народные былины, как русские «духовные стихи», как наши пословицы и сказки. В ней выразилось *бытовое* творчество бессознательных исторических сил, — которому почти помешал «устав», «штат монахов» и т. п. новейшие распоряжения. Аскетизм прекрасен, — если он не официален, не «по должности», а есть личное биографическое явление, целомудренно-скромное и неприязнительное.

1903

БЛАГОЙ СТАРЕЦ .

«Господин Розанов!

Ваша статья в «Новом времени» 19 сего декабря понудила меня написать вам один знаменательный факт в моей жизни, над которым я неоднократно задумывался и искал объяснений, — и вы, мимоходом, дали мне это объяснение теперь.

Было это лет 28—30 тому назад, когда покойная моя мать повезла меня на первой неделе Великого Поста в Обитель Преподобного Сергия — Троицкую лавру. Мать моя была женщина набожная, воззрений своего века, очень добрая, отзывчивая. От Сергия Преподобного мы проехали в Вифанию, обитель Московского митрополита Платона. Там проживал, как сейчас его вижу, — седенький, худенький старичок, отец-казначей Серафим — покойный. Отец Серафим два раза в год приезжал к нам в Москву, на Рождестве и Пасхе. И мне больше других

всех священников и монахов, бывавших в нашем доме, нравился этот симпатичный старец — очень нежный, добрый, отнюдь не походивший на других монахов, каких мне приводилось знать. А его протяжный монашеский напев праздничных тропарей приводил меня в молитвенное настроение.

Отец мой, как помнится, говаривал мне, что «отец Серафим, окончив Московский университет в очень молодые годы, поселился в Вифании и был по скромности своей исключительной личностью!»

И вот к благословию отца Серафима повезла меня моя мать. Была *пятница первой недели Великого Поста*. После панихиды на могиле владыки Платона отец Серафим предложил чай в своей келье. И когда послушник подал все нужное и сервировал чай, отец Серафим сказал ему: «Поди на скотный двор и принеси ему,— указывая на меня,— молочка». Мать моя пришла в ужас. А смиренный Старец просил ее разрешения для меня: «Я в моих молитвах за него буду просить прощение у *Всевышнего*, а вы разрешите — как мать». И я с торжеством и с особенным удовольствием принял за чай с молоком и с вкусною монастырской просфоркою.

Этот эпизод послужил в моей жизни к тому, что не раз в нашей семье возникали споры о *грехе есть в пост скоромное*. Я авторитетно напоминал, что отец Серафим в *Чистую Пятницу* разрешил мне молоко, сам предложил мне его в своей иноческой келье. Значит, он знал, что мне нужнее молоко, чем постная пища.

Что, зачем и почему — я оставляю этот вопрос без объяснения. Вглядываясь в перспективы за 30 почти лет назад, могу сказать лишь одно, что много было разумных, честных, светлых людей. Мир Твоему Праху, Отец Серафим!» *

1903

* Прислано мне было по поводу статьи моей о желательности официального от Церкви дозволения и благословения употреблять в пищу младенцам до 2-х, 3-х лет молоко. Статья была написана, когда в самом конце 1903 года образовалось «Общество борьбы с детскою смертносью». Основная причина великой по деревням смертности детей, указывал я там, есть лишение их молочной пищи. Дозволение Старцем молока 7—8-летнему *здоровому* мальчику в *Великую Пятницу* устраняет, мне кажется, всякое затруднение. И «разрешение», мне думается, потому следует поторопиться дать, что, очевидно, очень скоро начнется повсеместное употребление молока и «без разрешения». Благоразумнее предупредить.—
В. Р.-в.

Народные чтения в Петербурге

Никогда я так не уставал, как в минувший праздник Благовещения. Говорят — «птица гнезда не вьет» в этот день, т. е. отдых царит во всей природе; и я, зная с детства это благородное поверье, предавался всегда в этот день исключительной лени. Так я рассчитал и нынче. Но вышло наоборот.

— Не хотите ли посмотреть и послушать чтения для народа?

— Какие? Где?

— Для этого надо быть готовым к шести-семи часам дня. В седьмом часу мы будем в зале Артиллерийского училища, потом — в манеже Мраморного дворца, потом в зале Нобеля на Выборгской стороне. В последнем месте народный концерт, в первых двух — чтения священника Петрова.

Делать нечего. Пусть птица не вьет гнезда, а публицисту надо смотреть, думать и рассказывать. И в самый сладкий час обычного сна, т. е. в самом плохом настроении духа, я был в зале Артиллерийского училища. Великолепный зал шел амфитеатром; по всему вероятно — это физическая аудитория. Начиная с пола от ног оратора, и до самого потолка были ряды голов. Во множестве были воспитанники Артиллерийского училища. Много было простонародья. Были и образованные.

Кто знает многочисленные книжки и брошюры священника Петрова, для того чтение его не представляло новизны. Я думаю, читая три раза в неделю в народных аудиториях, и не наберешь на каждый раз новизны. Да добрый пастырь, очевидно, и любит не себя, а простой народ. Образованный, просвещенный, и притом европейским просвещением, а не одною академическою схоластикою, он имел мужество убрать из своих тем, из своих оборотов речи все «интеллигентное», все сколько-нибудь затруднительное для понимания простецов, и бредет могучей речью, громовым голосом в нравственном «буки-аз-ба», в самом начальном «молочке», которое одно и усвоимо для младенца. Я дремал. Чтó мне было слушать? И час был сна, моего дорогого. Священник объяснял чудную молитву Ефрема Сирина: «Господи, Владыко живота моего». Но дремля и устремив стеклянные глаза на тысячную толпу, я, не имея себе пищи в чтении, думал о читающем. Его «Евангелие как основа жизни» вышло на днях восьмым изданием.

Один мой родственник, приехавший из провинции, сказал мне: «Я устал возить на родину тюки его книг: так велико и непрерывно требование» (в провинции есть маленький книжный склад при благотворительном учреждении). Можно без преувеличения сказать, что вовсе не Толстой и Максим Горький одни царят на книжном рынке, но и священник Петров — любимейший в Петербурге проповедник, любимый и черным народом, и собирающий огромную образованную, даже частью ученую и литературную толпу на свои четверговые собеседования при церкви Артиллерийского училища.

Что же соединило ученого и мужика около священника Петрова? Его евангелизм и полное изгнание из чтений схоластики, заученных и едва ли не притворных оборотов речи, заученных и надоевших тем, какие обычно и повсеместно встречаются в подобных чтениях и стали непереносимы для вкуса, как чеснок у жида, редька у русского и финики у араба; всего этого приторного, заношенного, тысячелетнего он избег в своих беседах, как избег и заносающейся в облака «образованности». Основная в ораторе черта, скорее, инстинкт, — это как бы нравственная очарованность Ликом Христа, и зов, но не приторный, а бодрый, сильный великорусский к подвигу «во след» Христу; и подвигу опять же не словесному, а почти мужицкому, уличному, мускулисту, вещественному. В тонкости «душевной музыки» христианства, так разработанной аскетами, он не входит. Изречения Исаака Сирина: «Как могу любить брата, когда люблю Бога? во имя Бога — ухожу от тебя, брат мой», — или: «Если не ожесточит кто собственного сердца своего и не будет с усилием удерживать милосердия своего так, чтобы стать далеким от попечения о всем дальнем, тот не может быть свободным от смущения и заботы и пребывать в безмолвии» и т. д., — этот тонкий и обольстительный и болезненный наркоз аскетизма просто не входит в рассмотрение, в соображения свящ. Петрова. Для него быть христианином — значит в малом и слабом виде, в миниатюре сил человеческих повторять Христа. Но что Христос творил? Больных исцелял, слабым помогал, с грешниками был, все благое творил, от всего злого удерживал. И вот, быть христианином — для свящ. Петрова и значит, как бы идя посреди улицы народной, направо и налево кидать мешочки с добром, или, еще точнее, в собственной своей душе растить, без всяких хитростей, пожелания доброго благорасположения и, срывая с него вечные зерна, бросать их в жаждущую и алчущую толпу. Кто-нибудь скажет, что тут мало философии? А не есть ли тут самая большая философия, окончательная философия, — та философия христианства, дальше которой опасно идти? И свящ. Петров не идет дальше просто как здоровый человек, который хочет прожить долго, как Авраам, и не желает рисковать ни физическим, ни душевным своим здоровьем.

Но я окончательно спал. Меня толкнули в бок, и я поехал в манеж Мраморного дворца. Тут было народу тысяч пять, не менее, уже совершенно простолюдинов. На 20 мужчин приходилась одна женщина.

И я не видел стариков: слушатели — между 18 и 30 годами. «Все были бы пьяны, если бы не здесь стояли», — подумал я. Это были мастеровые, фабричные. Плечи — сильные, лица — многие истощенные, худые, частью недобрые.

— Мне «По стопам»! «Мне «По стопам»!

Десятки рук протягивались к служителю с позументом, продававшему новую книжку свящ. Петрова — «По стопам Христа», которая продавалась здесь без комиссионных, без магазинной накладки на цену, т. е. за 25 коп. вместо 40 коп. Руки тянулись непрерывно. Это такая жажда чтения, жертва гривенниками! Продавалась тут же книжка об «Алексее Божием человеке» г. Хитрова, «К свету» и друг. книжки Петрова, и Библия. Эта спрашивалась редко, — по трехрублевой ее цене. Вышел наконец регент со скрипкой. Дал тон. И почти тысячная толпа чрезвычайно, к удивлению, стройно пропела «Отче наш», «Царю небесный», Символ веры, начальные молитвы литургии. Часа 1 1/2 народ стоял стеной, ожидая проповедника. Я приехал слишком рано и отыскал себе уголок, где покурить.

Курил и генерал, оказалось — из Варшавы. Он был взволнован, удивлен:

— Знамение времени! Какое знамение времени!! — повторил он, указывая на народ.

— А что?

— Что делается! Я пятнадцать лет живу в Варшаве, а раньше жил в Петербурге. Сюда приехал на несколько дней. Только что был в Артиллерийском училище и вот поехал сюда посмотреть и послушать. Что делается?!

— Да что же именно делается?

— Еще немного лет назад Русь в свободный час сидела по трактирам, горланила пьяные песни. Священника нигде не было видно, кроме как в церкви за службой. А теперь?! Ведь народ бежит сюда, ведь он вот второй час стоит. Не присядет. Не волнуется, не ропщет. И это чтобы услышать несколько поучительных слов, вовсе не поразительных, — слов обыкновенных. Какая, значит, жажда быть наученным у народа! И на эту-то жажду, на эту знойную пустыню ожидания, бывало, росы не капнет. Священники сидели по своим квартиркам. Но, слава Богу, взялось наше духовенство за разум. Пора, давно пора было. Много оно всяких минут проспало: пашковщина, разные секты — все родилось во время его сна! А теперь, — что тут найдет себе Пашков?! Еще немного лет, и священник станет другом народа: а до сих пор народ очень печально смотрел на священников.

— Ну, а в Варшаве как?

— У наших? Полная апатия. Да и везде еще апатия, кроме этого удивляющего меня Петербурга. «Отслужил — и с колокольни долой» — как сложилась поговорка.

— А у поляков?

— У поляков ксендз есть все. Он владеет женщиной, женой, любовницей, а она владеет мужем, любовником. Я говорю это потому, что во всей Польше чрезвычайно развиты внебрачные связи. Ксендзы этого не осуждают, лишь бы полячка не принадлежала москалю.

— А может быть, принадлежала бы ксендзу? — спросил я, зная секреты католической исповеди.

— Может быть.

— Ну, еще бы! Несколько тысяч, так сказать, монашествующих гусаров без прав женитьбы. Перед такой гвардией у женщин всякого племени голова закружится! Через этих черных Адонисов папа и держит в руках нити мира. «Цели» изменились с христианством, а колесо средств, система рычагов как и «до Р. Х.», так и «после Р. Х.» осталась та же. Озирис и озирианство непобедимы, неистребимы.

Свящ. Петров вошел. Он начал говорить, страшно повысив голос, и, видно, что голос этот достигал крайних углов огромного, в два света, зала, более похожего на небольшую площадь, одетую и крытую камнем, чем, собственно, на комнату. Говорил он, страшно резко произнося слова. Тут я более слушал: время моего обычного сна проходило. Речь его была полна примерами из жизни то народной, то своей, то своих знакомых, — полна жизни текущей, жизни сегодняшней. Он, так сказать, проверял «стопами Христа» наши ошибочные кривые шаги в жизни. Мужикам он говорил, какую цельную и прекрасную душу приносят они в город, приходя из деревни в нагольном тулупе; здесь, в городе, тулуп на них тает, и душа уродуется, делается пошлою, нищею, без Бога и совести: ибо приходящие не знают, чего искать в городе, и бросаются на пададь цивилизации, а не на жемчуг цивилизации. Хорош очень был эпизод речи его о граммофоне. Очевидно, он человек с воображением. Мысль его постоянно работает. И на чтениях он частью передает мысли, мелькнувшие у него на днях. Не надо объяснять, до чего это оживляет, одушевляет чтение. Граммофон поразил его случайно, в магазине, поразил несоответствием мудрейшего чудесного изобретения с тою пошлостью и плоскостью, какая закрепляется в нем. В магазине тысячный граммофон пел «голосом Аделины Патти» (пишу для примера) какую-то шансонетку. Быстро оратор перекинулся к Помпее, засыпанной Везувием, но которая являет свежие краски двухтысячелетней старины. И вот, — мелькнуло у оратора, — мы были бы так же засыпаны и так же открыты через две тысячи лет:

«Тронули бы штифтик у чудесного инструмента, и он запел бы нашим голосом перед будущими обитателями земли! Какое чудо!! Какой гений!! Живые звуки, подлинные, индивидуальные сохранились в машинке, по мудрости своей являющей почти начало человека! Слушатели приникли бы ухом, взяли бы словарь, грамматику, чтобы разобрать волшебное слово, которое предки полубоги закрепили в изумительный прибор. И что же они услышали бы?! Малоприличную чепуху грошового содержания!» — Пример был ярок и волновал мысль. В примере была

истина, больная, унижительная,— до корней которой добраться не легко.

В манеже Мраморного дворца от. Гр. Петров читает каждое воскресенье в восемь часов вечера. Повторяю, говорить здесь страшно трудно, по уличной почти величине помещения. Невозможно сомневаться, что грудь и голос священника не могут проработать здесь долго,— и треснут просто по несоответствию зала и человека. Он мог бы говорить тише. Но тогда не будет никакого смысла, и он не хочет и, конечно, не будет говорить тише.

А свящ. Петров дорог для Петербурга, и его надо бы сохранить. Тут нужен другой зал, гораздо меньше, втрое; или Петрову не следует читать здесь чаще раза в месяц. Иначе через три года от него, от его голоса, ничего не останется. Попробуйте войти на двор и часа полтора без перерыва кричать так, чтобы наполнить голосом двор и часть сада. Это утомление страшное, это сверхчеловеческое напряжение сил.

Но Г. С. Петров сознает, что он нужен народу, что он любим народом: и это одушевляет его, и он все идет и идет вперед, точно гребет могучими руками в волнах народной темноты. Отсюда он поехал на Выборгскую сторону, в зал г. Нобеля (керосинозаводчика), выстроенный на Ньюштадской улице, среди фабричного населения, и служащий для народа чем-то вроде клуба, где простолюдинам читают, поют, рассказывают. Маленький хор, из фабричных же состоящий, давал концерт в свою пользу: билеты были по гривеннику, включая и «благотворительный сбор» из двухкопеечных марок на каждый билет, и дал что-то около 100 рублей. Это — в помощь той бедноте, которая составляет хор, мужской и женский. Они очень мило пели, почти исключительно молитвы, а в антрактах мальчики и девочки живописно садились на крытую сукном огромную эстраду, и выступали чтецы. Студент-медик, г. С-цов, продекламировал чрезвычайно выразительно «Князь Репнин» (с аккомпанементом рояля) гр. А. Толстого, пропел: «Во Францию два гренадера из русского плена брели», и еще что-то. Голос у него, как у маленького Мазини, конечно,— для народа. Народ ему восторженно хлопал. Выступил студент здешней духовной академии (фамилии я не помню) и тоже декламировал громовым голосом, кажется, что-то из г. Вейнберга и из Надсона. Все было чувствительно, сладко, ходко,— и толпа упивалась, кричала «еще» и «еще», а ораторы и певуны только и ждали этого «еще» и «еще», и не знаю, кому было приятнее, певунам или слушателям. А всего приятнее, пожалуй, было смотреть на это содружество между учениками высших учебных заведений и рабочим людом под руководством священников. Я забыл упомянуть, что хор этот — из небольшой местной церкви.

О студенте С. мне тут же рассказали трогательную подробность. В клиниках умирала женщина, и в бреду перед смертью все говорила: «Мой Коля! Мой Коля! Куда пойдет мой Коля?!» Это был сирота-малютка, оставшийся у нее дома. Студент после смерти ее отыскал ее

квартиру, и как слышал ее предсмертные восклицания, то взял к себе малютку на воспитание. И вот уже пятый год живет с ним, поит, кормит, одевает, учит в своей одинокой студенческой квартире. Во время концерта я видел этого крошечного еще мальчика, тоже на эстраде: Когда говорил свящ. Петров прекрасную по глубокомыслию речь о Гоголе (покаянный момент в русской душе, в русской литературе, в существе каждой религии), мальчик этот наивно встал почти вплотную около него и, разинув рот, все смотрел в рот оратору, конечно ничего не понимая из речи и, верно, дивясь, как такие непонятные слова так долго выходят из человека. Верно, он наслаждался им, как граммофоном. Мальчик был прехорошенький. Однако запели «Боже, Царя храни», было 11 часов ночи, и, схватив шапку, голодный, без чаю, без сна, — я поспешил домой. Во всяком случае, большое спасибо, народное и историческое, здешним петербургским священникам.

1902

В июльские дни

Жарко. Душно. Пыль. Камень. Дым фабрик, запах начинающей портиться провизии. Вот впечатление столицы сейчас. Даже извозчики бессильно повалились головами набок и спят сидя, поставив пролетку в тень. Ломовики едут сонно и натываются на легковых извозчиков. И вспомнил я поэта:

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной,
Как бедный нищий мимо саду,
Бредет по жаркой мостовой.
Кто смотрит вскользь, через ограду,
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных светлых луговин.

Как бы хотелось сказать сильное, яркое слово, так сказать, «пророчески» загромыхать, чтобы... разжалобить и, наконец, принудить хозяев магазинов и лавок дать же, наконец, воскресный отдых сидельцам в них, приказчикам, подприказчикам и, наконец, «мальчикам». Право, я хотел бы быть Магометом и написать «сутру» в пользу приказчиков. Что за жестокость! И покупателей нет. Торговля теперь слабая, бессильная. В шесть дней недели решительно каждый может всем запасть: и к поздней обедне, в воскресенье, к десяти часам утра столица может умереть, замереть торгово. «Ступайте, миленькие, гуляйте: вот вам дом царя-батюшки на Петербургской стороне, вот Зоологический сад — десять копеек вход — и звери и деревья. А еще лучше поезжайте за пять копеек на острова, в Лесной, в Озерки, куда-нибудь, с детишками и маленькой закуской, на весь день». Право, хорошо бы это сказать. Нет — хорошо бы это повелеть, ибо гг. купцов «рассказнями не научишь».

От кого это зависит? Не знает ли кто? Город, что ли? или какое-либо министерство? Да в чьем ведении «воскресенье» находится? Хоть бы они пожалели народ и поучили властительно, что седьмой день дан человеку и человечеству на отдых, на радость, на совершенное исключение труда — даже до запрещения собирать дрова для топки. Невозможно восемь дней трудиться. Бог этого не указал. Бог это запретил. Об этом должно быть сказано твердое слово.

Мы начали с того, что разрешили труд *благодетельный* в седьмой день. «*Добро* можно сделать и в седьмой день». Но что из этого вышло!! Пришел купец и сказал: «Я тоже добрый человек; есть мало ли, кто нуждается в товаре, кто в хлебе, кто в огурчике: вот у меня и возьмет. Я никого не обременяю, я сам посижу в своей лавочке». Он «сам» посидел. А сын его разбогател, нашел дачу, а о лавочке сказал приказчику: «Ваня, посиди, ты молод. Хоть и седьмой день». Ваня — молод. Но сменилось еще поколение, и уже молодой богатый хозяин едет на рысаках в субботу с вечера на дачу, а робкому старику-приказчику наказывает: «Ты, Иван Семеныч, посиди воскресенье».

И сидит старик.

И сидит мальчик.

И сидят — потому что бедны и зависимы.

Началось с того, что овцу вытащили в седьмой день из ямы, а кончилось тем, что стали в седьмой день людей сталкивать в яму.

Вот отчего и рассказано в Св. Писании: «И привели к Законодателю одного человека, собиравшего сучья древесные для топки, в седьмой день, и спросили: «Что делать с сим человеком, отпустить или наказать?» И сказал Законоучитель: «Выведите этого человека за границу стана и побейте его камнями, потому что он нарушил седьмой день» (*Исход*).

Никогда я этого не мог понять. Всегда мне это представлялось чудовищно и жестоко.

Только смотря теперь на Петербург, я догадался, до чего это было человеколюбиво и народно. Мысль того жестокого дня раскрылась в веках.

Один — погиб. А миллионы — спаслись. И погиб, что не послушался с абсолютностью непонятной ему (обнаружилась в веках) правды заповеди Божией. Где Божье слово, там уж дрожжи, не «анализируй», а делай.

Вот о чем я думаю теперь, ходя по городским улицам Петербурга. Войдешь в лавочку, спросишь семикопеечную марку, а он подает городскую. Спят, больны от утомления.

Кто задерживает обновление Церкви?

Со времени напечатания моих «Римских впечатлений», и в письмах и устно, мне многие выражали сожаление и досаду, что я «заразился» католичеством; это подозрение отчасти повторяет теперь и г. Киреев, говоря, что я, как и Вл. Соловьев, «указываю на Запад и Рим для уврачевания наших местных недостатков». Все эти подозрения более чем неосновательны. Италия, которую я хотел бы еще раз посмотреть, так сказать, «отворила двери» моего религиозного созерцания, но только отворила, а не повлекла куда-нибудь. Стало просторнее на душе. Не выезжав никогда из России, я со словом «русский» и «русизм» сливал понятия: «христианин», «верующий», «христианство», «вера». Перевалив через Альпы, я прямо изумился увиденному. «А, так вот как еще можно верить, думать, молиться, созерцать — *оставаясь христианином*; а когда так можно, то еще можно и *по-третьему*», — подумал я. Признаюсь, звездочки *внутри церквей* на потолках (у нас никакого нет), проведение *на полу Церкви* линии римского меридиана, и на полу же церкви (около терм Диоклетиана) солнечной эклиптики со всеми фигурами зодиака — Стрелец, Водолей и проч., более меня заняло и привлекло мое внимание, чем всякие их «Miserere», органы и мужские сопрано. Мне кажется, эпоха догматического существования вообще прошла и выступает эпоха скорее художественных воплощений отношения к Богу, эпоха скорее певческая, нежели умственно-конструктивная (догмат). Больше всех догматов католических мне понравился, напр., обряд изготовления епископских паллиумов: монашки одного монастыря воспитывают совершенно белого ягненка; в годовалом возрасте его вносят в Латеранский собор, во время литургии, которую служит папа. Ягненок ставит на престол алтаря. Папа остригает его белую шерсть, и монашенки того же монастыря ткнут из нее паллиумы (ленты), которые папа посылает епископам при возведении их в сан. Это прелестно,— почти как животные в Соломоновом храме. Затем я поклонялся преспокойно мощам апостолов Петра, Матфея, Павла и ничего ни к кому враждебного не чувствовал. Но родную русскую березку в сердце носил, т. е. не забывал, что я русский и что каждый человек имеет только одну родину. Вообще «разделения церквей при Фотии» я не чувствовал, но и нового синтеза не производил. Просто мне до этого дела не было, и не хотел я быть «в кулачке» у иерархов, ни нынешних, ни минувших. Я свободный христианин, и мне везде просторно. Думаю, что это вполне отвечает идее «древней Церкви».

Г. Кирееву и г. Папкову и проф. Бронзову, вообще всем «чающим движения воды» в нашей Восточной русской Церкви, мне хотелось бы сделать одно практическое указание. Главный тормоз истины, правды,

праведного очищения от старых исторических нагаров, как я убедился и убеждаюсь все более, из слухов, из разговоров, лежит вовсе не в консерватизме иерархических слоев Церкви, очень просвещенных и вовсе не враждебных критике, а в несносном ханжестве самого общества русского, именно некоторых «любителей церковных дел» в нем. Будучи не знакомы ни с историей Церкви, ни с церковным правом, ни — основательно — с Св. Писанием, но в то же время любя «читать», напр., «Требник»; или вообще церковные книги, любя разговаривать с приходским своим священником, вообще — «беседовать по душе», они вырабатывают в себе тип старообрядческого «начетчика», без метода и науки, проникаются всем особенным фанатизмом «любителя домашних спектаклей» и начинают следить вообще за церковными делами, отмечая «ногтем» всякие новшества и отступления от их «начитанности»: Это люди без веры, без правды, без огня; тут очень много отставных чиновников, старых помещиков, генералов «с мундиром и пенсией», а всего больше барынь; тут стеной стоит купечество. Вот из этого стана невежества постоянно сыплются частные письма с предложением вам «исправиться», «исправить мысли свои», почитать, что они читали. Разговор с ними не имел бы конца, ибо им нужно сначала всему учиться. Для них не только «Апостольские постановления», апокрифичность которых и относительная новизна так своевременно и кстати разъяснена проф. А. А. Бронзовым, но и решительно всякая строчка какого-нибудь средневекового иерарха, иногда из полемического сочинения или из частного письма, представляется какою-то «XI заповедью» в ковчеге Православного спасения. Как мне передавали духовные лица, эти ханжи постоянно сплетничают «по начальству» на священников или на писателей; а высшая иерархия, чувствуя всю свою ответственность за соблюдение принципа: «Да житие тихое и безмолвное поживем» (прошение на ектении), решительно пугается возможного отсюда скандала, шума, жалоб, инсинуаций. Эти невежественные ханжи прямо определяют политику Церкви и ведут к тому затаиванию истины, памятник которой служил надпись на раскольничьей рукописи митрополита Платона, приведенная мною в статье о папской непогрешимости. Чрезвычайно приятно, что эти ханжи могли очень много нового для себя узнать как из сентенции митр. Платона, так и из последней статьи А. А. Киреева и писем проф. Бронзова. Но вообще нужно пожелать, чтобы повседневная печать, очень теперь распространенная, разредела эти ряды «старообрядцев», «старопечатников» господствующего исповедания, показала бы и убедила их, что собственная притча Спасителя повелевает нам растить «дерево» из горчичного зерна Евангелия, что сущность христианства и христианина есть чистое сердце — перед Богом, и правое дело — в руках: а «печатью старой и новой» Спаситель не занимался и ею заниматься нам не завещал. Вообще проницание критических лучей вот в это полуобразованное общество настоятельно нужно.

Тогда они перестанут держать за концы платий людей гораздо более их высоких по положению и просвещенных. И желаемые перемены могут настать скорее, чем мы помирились думать.

1902

О ДУХОВЕНСТВЕ В ОТНОШЕНИИ ЕГО К СВЕТСКОМУ ОБЩЕСТВУ

Мне кажется, что примирение духовенства с светским образованным обществом (иначе «интеллигенцией») возможно при общеобразовательном начале, когда веса знания той и другой стороны будут уравновешены. Когда в старое прошлое время, до Петровской эпохи, монастыри и духовные училища были рассадниками образования народной темной массы, то и духовенство стояло на высоте своего призвания. Но когда вскоре за тем светское образованное общество отпало от «буквы» духовного образования, сделалось самостоятельным и, конечно, определило эту букву: то «живая жила» в светском образованном обществе, жившем под влиянием Пушкина, Достоевского, Тургенева, Толстого и других, и интересовавшемся в то же время и историей Церкви, — эта «жила» под влиянием Запада хоть немного и отшатнулась от Истины, но для того, чтобы с новым взглядом, с новой силой энергии познать Истину (учение древнего философа Спинозы, основанное на отрицании: «чтобы постичь Божество, надо отречься от Него — чтобы с новой силой познать Его»). Светское образованное общество стремится тоже познать Истину, и все в жизни стремится к ней же: но только это идет с другой стороны. Оживить «мертвую букву» — вот задача нашего времени, и в частности — открывшихся в Петербурге Религиозно-философских собраний. Со времени Петра духовенство наше стало падать и падает до сего времени, — что замечилось и почувствовалось светским образованным обществом. Где же причина падения его? Это вопрос, над которым следует задуматься. Падение его совершилось фатально и неодолимо. В настоящее время вместо пастырей Церкви, ревнителей Православия мы видим чиновников, облеченных в рясу, исполняющих свои обязанности небрежно и халатно. Конечно, есть исключения, но их так мало, что они почти теряются в общей массе: много ли у нас проповедников, красноречивых ораторов? один, два, да и обчелся. Между тем мало-мальски образованный религиозный светский человек может (не может потому только, что не пострижен) отслужить литургию, знает наизусть всенощное бдение *. Почему так? Потому, что светское образованное общество живо интересуется всем, что задевает его интересы, что составляет его духовную пищу. Оно жаждет познания, живой Истины. За примерами ходить недалеко: возьмем недавно нашумевший и оставшийся открытым вопрос о браке. Если брак, по мнению некоторых, есть таинство, — то, как и каждое таинство, оно должно быть *чисто* ** и только

* Вот ответ о. Никону в его невежественно-самонадеянном суждении об образованном обществе, как «атеистическом». См. статью «Два стана» в томе 1-м, стр. 218—223. — В. Р.-в.

** Вот истина, на которой сходятся все «безбожники» светские и которой никак не могут понять и не хотят признать «праведные» Никоны и прочие «небесные человеки» (именование себя монахами): *таинства должны быть чисты*. Этот первый тезис духовные признают, не предвидя вытекающих из него последствий. В консисторских бумагах постоянно ex officio (по должности — *лат.*) повторяется «скверным» мирским человеком: «*блюдите святость брака*». Это не риторично? Тогда раз уже *факт загрязнения совершился, fait accompli*, как говорят французы: то не вытекает ли отсюда, что и *таинства разрушилось, его больше нет?* — «Что вы, — испуганно отвечают духовные, — это ведет к разводу по первой воле самих супругов, разлюбивших или ненавидящих друг друга и, *implicite*, хоть и невидимо, уже начавших изменять один другому, мысленно и затем осяземо? Допустить же для

чистотой * освящается всякое таинство. Что же на самом деле мы видим? Человек, мужчина не раз «познавший» и не одну, может быть, женщину, не раз имевший временных «подруг жизни», вступает пред алтарь Всевышнего, целует крест и Евангелие, заключает и закрепляет законными узами брак, и... и, конечно, оскверняет чистоту таинства, в чистый сосуд вливает помой; и духовенство, закрывши уши, молчит! Далее, 60-летний отживший, выживший из ума старый «дурень» сочетается законным браком с молодой девицею; и опять-таки наши духовные отцы спят **! Пойдем далее. В храме Божиим велегласно произносится: «И Господу Богу нашему наипаче поспешити» и т. д.— ектения *на врагов*; а Евангелие учит «любить врагов ваших, молитесь за ненавидящих вас и творящих вам зло»: как *соединить* эти две *разно-гласные, разно-видные формулы!*? Я не берусь на это ответить. В храме Божиим произносится даже «анафема»: и это меня невольно удивляет и должно удивлять всякого. Где ответ на эти вопросы в «мертвой букве» нашего духовенства? Бывая в некоторых священнических домах и зная несколько обстановку и жизнь и взгляды их, хочу поделиться с вами тем впечатлением, которое на меня эта обстановка их производит. Конечно, я не имею права и считаю для себя излишним и неудобным раскрывать здесь семейную сторону жизни наших пастырей Церкви; но укажу некоторые взгляды их. Во-первых, все духовные люди — крайне тяжелого, одностороннего взгляда на вещи. Спорить с ними не составляет интереса.— «Батюшка, да вы читали ли Толстого? — приходилось мне спрашивать. И в ответ получаю.— Да, перелистывал; стоит ли ломать голову».

отворачивающихся друг от друга супругов развод — значит снять с них крест терпения, упразднить Голгофу: разве же мы уже не христиане?! Не можем, не смеем,— повиняюсь Христу, указавшему *тесную дверь* в Небесное Царство. Будучи разведены, пожалуй бы, они полюбили другого и другую, т. е. стали счастливы: но ведь это — язычество!! Где же крест и терпение? Властною, нам данною через Апостолов — запрещаем, но приказываем разводиться и разводиться. Пусть, если уж не могут жить друг с другом — идут в монастырь».— «Прекрасно,— отвечает мир на это,— несем Голгофу, но любопытствуем: как же *чистота таинства* и *чистота таинства брака*? Ведь уже *факт*, что он — зlobен, внутренно (или и внешне, но потаенно) прелюбодеен, обманен, лжив»? — «На это и *благодать*, чтобы *очищать зло*: без зла и вечного его преодоления не нужны бы и дары благодати, таинства. Для этого-то и *венчание*, и брак как *таинство*».— «Но венчание *было*, а *теперь*, через шесть лет, в наличности *распутство*: как же *теперь-то*? Таинства такое сожитие или не таинство? Состоят тайно распутствующие супруги в *законном браке*, в браке как таинстве, или — вышли из него?» — Увы: то, что так ясно для мирян — для духовенства никак не умеет стать ясным; и потому собственно, что обращаются из алмазов в простой уголь (углерод там и здесь) все их прекрасные слова, о браке, что выпадает тогда из рук авторитет, «невод» Петра и «уловы» его. Вот источник гниения мира в разврате (безлюбовная семья, семья — зверино логово) и того, что к семье, этому эдему человечества, более и более кладут люди. Монахи при этом потирают руки: «Мы и всегда объясняли, да нас не слушали,— что семья есть гадость, сожитие — мерзость, плотское влечение полов — беззаконие и грех».— *В. Р-в.*

* Когда бы так, все бы зависело от мира, мирян: — «Причем же мы останемся? — испуганно говорят духовные.— Брак, напротив, основывается на *нашем скреплении*, на записи его нами в *священные церковные книги*, сей небесный нотариат. А если на чистоте и любви брак основывать: то ведь он тогда и возникал бы, где любовь, а где ее нет более — исчезал бы: т. е. любовь автономировалась бы, становилась свободною!! Нет, нет: потрясается Голгофа и крестный путь».— *В. Р-в.*

** И первый, и второй случай, конечно, требуют большего и спокойнейшего рассуждения, чем какое дается автором. Но он восклицает, удивляется, негодует, кричит: когда в духовном лагере так тихо! «В безмолвии пребываем»...— «Отчего в безмолвии?» — «Не наше дело, их (супружщихся) совесть»...— «Однако, штундисты, молокане?». «А это — *наше* дело: тут уменьшается наша паства; наш интерес»... Так и запомним, что в *счастье* и *чистоте* семейной «вашего интереса» нет. В самом деле: не собрано ни статистики, не объяснены мотивы, не рассказана судьба таковых «нечистых» браков и браков старых в духовной литературе. А о «неедении масла и молока в пост» — какая литература! — *В. Р-в.*

Этот наивно-детский ответ, к прискорбию — факт. Он характерен. Только одного из знакомых мне батюшек, и то в окрестностях Петербурга, почти сельского, я могу назвать «умницей», всесторонне образованным и полусветским человеком. С ним я спорила много, и спор был и мне, и ему также приятен. Но, может быть, я заблуждаюсь,— может быть, судьба меня познакомила именно с такими пастырями? Может быть и мой взгляд неверен? Но как бы там ни было, спор с знакомыми мне батюшками не представлял никакого интереса и мой противник скоро уставал. Теперь интересует меня один вопрос: из уст пастырей Церкви, а также и многих светских людей мне приходилось слышать, что сельский батюшка вынуждается жизнью и одиночеством своим «омужичиться» — если можно так выразиться. Правда ли это? Если правда, то отчего же сельский учитель не «омужичивается», а, наоборот, просветляет народ? Возьмем в пример Рачинского. Счастье нашего народа по отношению к духовенству в том, что темный люд верит ему, уважает его; и сельская миссия наших пастырей могла бы приносить и должна приносить плодотворные и целебные результаты. Мне возразят, что наше сельское духовенство материально не обеспечено, и с этим я вполне согласна; но на помощь им должны явиться монастыри и сытое городское, особенно столичное, духовенство во имя христианской братской любви к меньшому брату. Теперь коснусь я и «Толстовской истории», а с нею и неразрывно связанных в своем начале и возникновении Религиозно-философских в Петербурге совещаний. «Резюме» на Толстого, этого величайшего учителя и пророка будущего, я понимаю так: «Духовенство омыло свои руки и не желало входить в излишнее словоизлияние; поэтому прямо и категорически, без разбора постановило: *так и так* — мол?» И, конечно, оно обвинило только себя самого и скомпрометировало в глазах светского образованного общества. Иначе и быть не может. «Народился какой-то Толстой, и он может подорвать религию: но где же пастыри церкви, сохраняющие словом и нравственным авторитетом эту религию? Их нет, таких не видно, не слышно. Почтенный председатель Петербургских Религиозно-философских собраний, архимандрит Сергей, Церковь называет «телом Христовым». Оно выходит как-то «буквенно». — Реальнее и звучнее сказать: «Церковь — это союз душ верующих, ищущих, жаждающих, познающих Бога, живого Бога любви». Оно по сути одно и то же; но как-то лаконичнее. Теперь, в завершение, почтенный критик и судья моих мнений, к вам обращаюсь с некоторыми указаниями: надо настоять, чтобы Синод разработал и издал Евангелие на понятном для нас, православных, русском *народном* языке. Это — священная книга, где все с начала до конца бесконечно важно, и она служит настольною книгою каждой образованной и религиозной семьи. И, между тем, местами в ней прямо теряешься. Ведь¹ возьми Библию и «Иудейские древности» Иосифа Флавия; мне помнится, я как будто читала Библию — не вспомню теперь хорошенько — изданную с пространными объяснениями, кажется, в царствование Николая I, преосвященным Макарием; дай Бог памяти: и маститый старец пострадал за это объяснение. Но времена переменчивы, и теперь самое время обратиться на это серьезное внимание. Желаю успеха Религиозно-философскому обществу *, и дай Бог разрешение его миролюбивой задаче. Пусть светское образованное общество вольт хоть каплю живого бальзама в «мертвую букву» узких понятий наших пастырей

* Петербургские Религиозно-философские собрания, под председательством епископа Сергия, собирались, по два раза в месяц, в 1902 и 1903 гг. Протоколы их печатались в журнале «Новый Путь», за 1903—1904 гг.

Церкви, а пастыри Церкви пусть обсудят, обдумают, что и в пиджаках и в куртках могут быть религиозно-верующие,— что и под клобуком можно иметь дурные помыслы и поведения быть не тактичного.

PS. Я пропустила одно: ни у одного знакомого мне батюшки я не встретила серьезной светской (не в смысле сальной) порядочной библиотеки,— и, что же мы видим: у светского образованного общества совершенно наоборот!

Еще добавлю: прочитала всего Толстого, как здесь изданное и цензураю дозволенное, так и заграничное. Но это не помешало мне остаться верующей, потому что с детства заботами родителей я тверда в ней.

Софья Д-ская

Духовным это письмо следует обсудить.— В. Р-в.

Вера без церкви или Церковь без веры?

Позвольте высказать несколько горьких истин, навеянных всем, что вы пишете, и, в частности, протоколами Религиозно-философских собраний.

Церковь-хранительница веры, но она и губительница ее *. Во мне веру погубила Церковь, первая служба ** в ней. Я шел молиться, вознестись к Богу помыслами ***,— но обряд убил во мне настроение ****... В церкви среди внешних знаков я утратил ***** внутренний инстинкт, внутреннее предчувствие, что там на небе — Бог: Небесную мечту я потерял среди земных знаков... Навсегда потерял! Икона не смогла меня приковать к Богу, привязать к Нему: — Бога я уже не видел, я видел только икону. Говорят, что всякое чувство, всякая мысль, яснее, когда они выражены внешним образом, а по мне — знак затуманивает духовное ощущение *****. Христос погиб в страданиях за людей. Ясная

* Все письмо очень резко и самоуверенно. Читатель без труда увидит здесь логику и особенно психологию нашего *штундизма*: и для философа, как и для богослова, любопытного увидеть, где же родник и в чем пафос этого штундистского, точнее — *общепротестантского*, движения.— В. Р-в.

** Вот — борьба против *культа*, стремление к чистой *духовности*: но в качестве какой-то первоначальной *врожденной* инстинктивности. Не таковы ли были знаменитые «исесеи» при Христе, — противоположность фарисеям-«обрядовцам»? Тогда мы имеем целую *категорию* религиозных чувств, религиозных отношений к Богу; и наш штундизм, как и немецкое лютеранство, суть явления этой вечной и, следовательно, неуничтожимой. зачем-то нужной Богу, *существующей в природе* категории души.— В. Р-в.

*** Вот! Человек как бы *бестелесен*: так они чувствуют себя, такова *категория*. Но, ведь, на *самом-то деле*, фактически, у этой категории людей *есть*, конечно, *тело*: мускулы, кровь, *слух*, *обоняние* — требующие *звуков* и *фимиамов*, т. е. *службы*, *культа*? Это, т. е. всемерная человеческая *телесность*, и есть *критериум*, показывающий ошибочность приводимых суждений, и всего вообще исесео-протестантско-штундистского ропота и тенденций.— В. Р-в.

**** Вот! Но это — патология, ненормальность: *обряд усиливает* настроение, для этого и этим путем-дорожкой он и *родился*, и *развился*, *окреп*.— В. Р-в.

***** Если («утратил») — то для чего же он пришел в церковь? Зачем даже *вздумал* пойти туда? Ему и дома было хорошо; он в храм пришел из *любопытства* или *с враждою*. Просто, ошибся человек адресом: пришел булки спрашивать в часовой магазин, и — ну ломать все, потому что ему не подали булки.— В. Р-в.

***** Во всяком случае с психологией этойю надо считать ясное. Я могу сказать «она — не «моя», но и корреспондент может сказать мне: «это что-то — не мое». Остаются автономные права на самовыражение у меня и у него. Из тона письма этого всего лучше понимаешь, до чего *болезненно*, *патологично* принуждение в религии, *нестественна* унитарность, *одновидность* в вере: но вся Вселенная бесчисленными языками и в бесчисленных видах должна принести хвалу Создателю своему, как Ему же несет эту хвалу природа необозримо-прекрасною картиною бытия своего.— В. Р-в.

идея. Его распяли, терзали Его тело, лилась Его кровь... Но почему вино и хлеб — Кровь и Тело *? Моя мысль теряется, не может это воспринять. Когда мне дают вино, я думаю о вине, о вкусе его, но не о Христе **, не о незабвенной кончине Его. На меня действуют подавляюще католические соборы, они душат *** меня торжественной мрачностью, в них я себя чувствую жалким, беспомощным червем, но чувствую так себя не перед Богом, Его я в катедралях не ощущаю, — а перед чем-то стихийным, карающим, перед фатумом. И я готов перекреститься — духовно перекреститься при выходе из собора на воздух в природу ****, под синее небо, под теплоносное солнце. Как легко, точно под Богом ходишь, точно Он тут в этом солнце, в аромате воздуха, в журчании ручья *****... И вдруг встретишь католика истово крестящегося на собор, из которого ты бежал. Опять яд сомнения близко: неужели в этом усердном, полусмешном крестном знамении то Великое для меня, что я зову верою. Я знал простых людей, которые ревностно исполняли все обряды, посещали все церковные службы, но они мне не казались верующими, близкими к Христу *****... Вера для них вся выражалась в обрядах, вся выливалась в них, а для дел — вера без них мертва —

* Боже, да *потому*, что Христос об *этом* нам и именно *так* сказал! Ведь верит же автор, что «Христос пострадал за нас» и пр., т. е. он религиозен, христианин, поклоняется Богу-Христу: зачем же он борется против *божьего слова*? — В. Р-в.

** Передразнивая автора, могу сказать: «Когда мне говорят о Христе и Евангелии — я вижу *только переплетенную в голубенкий бархат книгу*; и даже: «когда мне говорят о штундисте-толстовце — я их не вижу, а вижу только две ноги и голову, больше ничего... ей-ей!» Глупо! Но как есть ослы в породе лошадей, и приносит пользу, и они суть красота Вселенной, так надо оставить и этих ослов «духовных». — В. Р-в.

*** Да, ради Бога — не ходите в них! Зачем вы бродите все по чужим местам? Что за любопытство, или — априорное негодование?! А ведь автор готов воевать. Так-то и вышли «Тилли и Густав Адольф» в истории, борьба осла с лошадьёю. — В. Р-в.

**** Чудное объяснение язычества: вот *его* голол, живой и не уничтожимый *крик*, даже — его истина!! Да! Да! И *небеса* — храм! Если так, мы берем назад свои окрики на «осла». — В. Р-в.

***** Вот, вот! это — пантеизм, т. е. то, что ученые называют этим коротеньким и выдохшимся словом, но что когда-то было живым цветком, да и кое-где или кое в ком не обронили последних лепестков. Это — религия до *бого-словия*, до формул. Спор между ним и теперешними или вообще позднейшими *культурными, наружными, осязательными* религиями — то же, что спор между ночными грезами музыканта и тем, что он играет в концерте с эстрады, или что спор между любовью Пушкина к Керн или Розетти — и стихотворениями, которые он посвятил им. — В. Р-в.

***** Все-таки это любопытно и даже поразительно как *наблюдение*. Все-таки *точно* есть факт, что люди, исполняющие *все обряды* не только *без Христа*, но и *вне орбиты* всемирной, всемирно-братской религиозности. «Зарезал человека, глядь в кармане его колбаса: был голоден, да вспомнил, что *среда* — и отшатнулся: разве я нехристь, чтобы оскоромиться в среду». Мне, в толпе миссионеров, где я раз был и с грустью заговорил об *обрядности*, — который-то из них, и тоже грустя, покаялся этим анекдотом ли, легендой, или случаем, но только — *быльё*. Действительно, обряд может быть и свеж был в пору своего рождения и недолго после него. Но затем он остался как фетиш в коллекции фетишизма, и уже ничего не будит, ни с чем не связан, а есть просто *бездущная вещь*. Был идол для бурята: и тогда-то он был не важная вещь, но еще с «душком» сердечных чувств. Но для его пра-пра-правнука он просто палка, чурбан, доска: и надо бы его на поленья сжечь — он он все еще валяется в его имуществе и переходит по наследству от деда к внуку. Но, Боже: неужели так пал и Соломонов храм, ветхозаветный культ? Нет — его *отстаивали*, за него лилась *кровь*; о том культе этого нельзя сказать. Да там ведь и не было (было *запрещение*) деревьев, а только образы и фигуры приносимых жертв. Кровь, *живая кровь* (жертв) — а это уже не фетиши, а мистицизм! «Идолы у евреев не было, — пишут историки. А «святыя жертвы», «святыня жертв»? «Вкушайте» или «не вкушайте» в такой-то день «святыни», т. е. *части* — не сожженные — жертвенных животных. Они и были живыми и поклоняемыми, как наши «учители церковные» или как «ангелы» (живопись на стенах храмов) «идолами» ветхозаветного культа. Ничего новая археология не поняла в древних религиях. — В. Р-в.

ее не хватало. Между исповедью и причастием они скорее пошли бы на смерть, чем съели бы кусок хлеба: но согрешить в это время, наругаться, налгать — их так и толкало *... Я бывал в церкви и наблюдал за народом — всюду было поклонение перед обрядом, почти нигде выражения истинной, из души идущей **, веры. Казалось бы, потеряв веру — и жить больше нельзя ***, нечем: ведь не земной сутолокой поддерживаться может наша жизнь. Но и без веры живут и в суете находят забвение ****. Некоторые делают добрые дела *на тот случай, если есть Бог!* А большинство удовлетворяется обрядовой стороной: обедню отстоял, значит — «все ладно», иди и греши... Говоря о Церкви — губительнице, я говорю не о Церкви — сокровищнице религии, а о Церкви — внешней, о совокупности внешних знаков, обрядов... Обряды губят веру, а Церковь позволяет это *****. Она не о вере думает, не о том, чтобы веру за людьми сохранить, потому что в вере их спасение, — а о себе, как бы себя сохранить. Отсюда — антагонизм между Церковью и наукой... Что может дать неразвитой священник — интеллигентному атеисту: растолковать ему обряды, да рассказать ему, что они изображают? Но *вернуть* его к Богу — никогда... Догматы мертвы без жизни, а духовной, особенной жизнью не все духовные пастыри могут похвастаться. Бог

* Поразителен был рассказ мне преосвященного Антонина: «Приходит ко мне священник и спрашивает, как ему поступить с одним — покающимся или непокаявшимся, трудно сказать — мирянином. Он был из торговцев-мещан. Исповедался после вечерни. Назавтра бы причащаться: но торговец приходит после утрепи к ставшему опять за вероисповедную ширмочку священнику и просит исповедовать его вторично. Тот удивлен, не хочет или колеблется.— «Да что такое?» — «Да я в ночь эту (после исповеди!) со скотиной согрешил». Священник окончательно оторопел, а лавочник, видя колебание, говорит: «Мне некогда, я должен по делам выехать сегодня из города, так мне надо поскорее — не ровен час в дороге помру, без исповеди и причастия». — Священник окончательно отказал. Совет преосвященного был: прогнать его с глаз долой. Замечательно, что и преосвященный, посетив меня и сядя на кресло, в присутствии жены моей рассказал об этом совершенно просто, когда я был так поражен. Очевидно, в духовном мире известны и постоянно передаются такие вещи, какие «и не снились нашим мудрецам» от Шекспира до Достоевского.— В. Р-в.

** Действительно — невозможно не заметить, что *мотив* присутствия и *волнения* присутствующих на богослужении бывают: 1) эстетический или 2) испуганно-надеющийся. Первые просто *смотрят* и наслаждаются привычным — лично и стародавним тысячелетним обрядом. Это как переплеты и миниатюры на старых венецианских манускриптах. Другие *плачут*, дрожат, поднимают глаза с невыразимой *мольбой* на образ: эти ждут *чуда* исцеления от болезни близкого, облегчения нужды своей и проч. Но где же «из души идущий», не экзальтированная и *спокойная* «вера», как вот видение Бога, Его ощущение? Действительно — этого нет!! — В. Р-в.

*** Вот как говорит человек, которого я почти назвал «ослом». Не повторить ли на себя эпитет? Недаром сказано: «Кто скажет ближнему своему рака́, что значит глупый человек — тот подлежит геене огненной». — В. Р-в.

**** Да; ведь возможна жизнь совершенно и окончательно без Бога. Не такова ли жизнь теперешнего общества? «Велосипедисты победили», как мелькнуло у меня в Мюнхене, при рассматривании средневекового кафедрала и тут же, вблизи его, проезжающих беззаботных велосипедистов. Но и вот еще вопрос: действительно, «велосипедисты» никак бы не «победили» то вот чувство живое и глубоко, возбуждаемое ежедневно небом, звездами, деревом и ручьем, которое так искренне исповедал автор. Но остался («музей фетишей», «среда без скромного»: почему же *это* не победить велосипедизму? Боялись нарушить среду этот год, боялись следующий: а на третий год взяли да и поехали на велосипедах, и все сразу забыли, потому что, в сущности, *ничего* давно и не было (музей фетишей). — В. Р-в.

***** Очевидно, есть где-то граница этого, в чем-то автор не прав и в чем-то он прав. Богословской науке, и вообще духовной литературе, надо бы посвятить разборю этого замечательного и искренности и меткости письма — свои силы, статьи. Очевидно, обряд должен быть *жив:* т. е. *личен* что ли, *индивидуален*? Не вижу ясно... Может быть обряд должен больше *задавать за душу*, не быть столь *гладко-эстетическим*? Он, может быть, должен быть больше *трагическим*? Нельзя не заметить, что в *древние жертвы* (их были десятки всякий день, в торжественных случаях — сотни) это *трагическое* входило... Это, ведь, была печаль и смерть, не человека — но все равно потрясающая! — В. Р-в.

есть, но путь к Нему затерялся; обрядами да знаками дорога, как мохом да валежником, заросла и завалилась... Рубить надо — и тогда свет взойдет: и вместо *Церкви без веры* будет *вера... без Церкви*.

Борис В-в

О сострадании к животным

Редко, но всегда с удовольствием я наблюдал в Петербурге такую сцену: седок на извозчике махает руками, останавливает лошадь, что-то кричит. Все смотрят на него с удивлением. Но он занят своим делом: заметил номер ломовика, нещадно колотившего лошадь на какой-нибудь колдобине, погрозил ему кулаком, выругался — и поехал дальше. Это член «Общества покровительства животным». И признаюсь и, пожалуй, извиняюсь перед читателем, что всякого такого члена я считаю как бы своим другом. Когда лет шесть — восемь назад я ездил на службу с Петербургской стороны к Адмиралтейству на общественных санях, тащимых ужасными клячами, худыми и голодными, то пассажиры, ругаясь на Общество, покупающее для трудной работы таких лошадей, тем не менее никогда не торопили кучера. Напротив, как только от легкого понуканья он переходил к битью лошади, нервному, жестокому, — его немедленно останавливали. Это бывало всегда, и я не помню исключений. Значит, сердце русское в зародыше доброе...

Да, в зародыше; в ожидании, в возможности. А на практике, в широком эмпирическом развитии далеко не так. Не без некоторого ужаса я прочел в № 9356 «Нов. Вр.» («В защиту кошек») о том, как кошатники в Вятской губернии расправляются с сим домашним животным. Ради меха своего, оно составляет товар. «Кошкодер» (хорошо название!) всех снесенных к нему с деревни кошек одурманивает так: берет ее за задние лапы и бьет головой о телегу или сани и потом бросает в воз. А в предупреждение побега кошек, недостаточно одурманенных, он руками переламаывает у кошки все четыре ноги. С таким полуживым, издыхающим несколько дней товаром воз ездит по селам, пока не наполнится. Перелом и одурманение настолько «удаётся» или «не удаётся», что множество кошек корчатся в конвульсиях от ужасных мук в случае неловкого перелома костей торговцем.

Вот «Обществам покровительства животным», чем поодиночке отстаивать ту или иную измученную лошадь, и следовало бы обдумать, проектировать, а, наконец, и практически провести в жизнь какие-нибудь меры менее варварского умерщвления кошек. Очевидно, промысла уничтожить нельзя. Его и не следует уничтожать, ввиду того, что и охота, и всякие виды звероловства и, наконец, убой молочного скота на пищу — существуют. Нужно уничтожить именно варварство, муку, длительность страданий. Укол шилом в продолговатый мозг, наподобие колотья рогатого скота, без мук умерщвлял бы и кошек. Мне неприятно и это писать. Но большее страдание заменить меньшим — это предложить я должен.

Очевидно, дикое колоченье кошек рассчитано на то, что торговец именно собирает их несколько дней, и ему нужно, чтобы они не умерли и не загнили в эти дни. Калечатся они, чтобы не убежали; а не убиваются — чтобы жили. Но здесь действует лень и халатность. «Обществам покровительства животным» совершенно возможно добиться полицейских мер, запрещающих такой сбор товара прасолами; и чтобы вместо этого тот же самый товар сносился к определенному пункту. Здесь не будет причин заставлять его жить несколько дней, и убой будет происходить нормальным способом. Скажут, «лень нести кошку так далеко, верст за пять, за семь». Ну, уж это пустая отговорка, и во всяком случае для прекращения такой лютой муки, и притом хронической, и множества животных, пусть «царь природы» немного потрудится ногами. Вообще это прекратить можно и следует.

И какие мы лицемеры и увертливые в слове люди. Еще на памяти моего детства водили по городам медведей. Татарин (а часто русский мужик) и медведь жили дружно. А детям и простецам это доставляло невыразимое, незаменимое зрелище. Вот «ведут медведя» — и весь околоток в тревоге и возбуждении. Коровы немного тревожатся по дворам, зато ребяташки ликуют. Издали слышен маленький барабан поводыря, иногда двух-трех поводырей с двумя-тремя медведями, молоденькими и старым, главным. Выбегаешь к концу улицы и смотришь все удовольствие. Или с ажитацией ожидаешь у ворот приближения процессии. И вот ей-ей же, те медведи в относительной свободе были далеко не то, что в зверинцах, в зоологическом саду, скучные, вялые. Тот медведь шел свободно и разумно, как второй и страшный человек за татаринком. У, какие лапищи! Походка! Бедро, уши, маленький хвост — все необыкновенно! Лесом пахнет. И с медведем бывало так и пахнет на околоток лесом и его сказками, лесом и его фантазиями. И чего-то, чего-то после ухода медведя не намечтаешь об этом лесе, его диковинках, страхах, о бывалых там «разбойниках»... А «разбойники в лесу» — это уж эпопея, — и вот, бывало, развиваешь эту эпопею, и когда придет ночь, то жмешься крепче в одеяло и страшишься выйти за дверь.

— Отчего теперь нет медведей? — спросил я не без тоски и удивления, став взрослым и вернувшись на родину.

— Нигде нет. Запрещено. Как же, жестоко продевать в губу кольцо.

Так тогда я с этим и помирился; и только теперь могу подобрать аргумент, что ведь продевают же девушки серьги в уши, для чего тоже делается, и притом человеком и добровольно, прокол. Между тем удовольствие с медведем, верьте, роднило с лесом, пробуждало чувство природы, а тем вместе и сблизало чудесно и сказочно с животным эпосом. А это-то чувство природы и родство с животным эпосом опять же, поверьте, и есть фундаментальное противоядие технической жестокости с животными, товарного отношения к ним, которое и проявилось напр. в зверском калечении кошек. Губу медведя мы пожалели, не заметив, что это игра, и притом, прелестная детская и вместе народная

игра. А на одну пощаженную губу медведя пришлось по сотне кошек, приведенных в беспамятство ударом головы о колесо. Какая дичь! Какое может быть сравнение между игривой и гуманной стариною и между техническим «живодерством» более просвещенного времени.

Я далек от того, чтобы настаивать на восстановлении «медведей». Что прошло, тому верно следовало пройти. Я припомнил их, как одну из подробностей вечно милого детства. Я хорошо знаю, что был бы несколько беднее воображением, если бы в их детстве не видел. Но вот, в заключение, моя серьезная мысль, моя давнишняя и упорная догадка: что человек не научится любить человека иначе, как *через путь любви к животному* домашнему, дикому, какому-нибудь, но вообще животному. Научись понимать простейшее, элементарное; заметь проблески характера, нрава, т. е. во всяком случае «души» у коровы, собаки, кошки, попугая, канарейки; полюби кролика, заведи на кухне кошку — и чуть-чуть твой характер смягчится, округлится и скажется в более веселом и спокойном тоне с прислугою, большею ласкою с детьми, а, наконец, и лучшим отношением к человеку. Я верю, что семья, где есть хоть одно комнатное животное, добрее той, где выметены из комнат все остатки «животного эпоса» и остались служба, деньги, успех и слава. Последние люди — худые люди, злые люди или черствые, сердитые. Заведение домашних животных есть добрый обычай, обычай доброты народной. Животное мирное и покорное, всегда ласковое к человеку, как-то страшно побить. А если в одном и в другом случае вы пожалеете животное, когда-нибудь в непредвиденном случае вы пожалеете и человека.

Бог недаром жертву Авеля-скотовода принял, а Каина-огородника отверг. Растение так далеко от нас, что уже не пробуждает к себе сочувствия, чутья, понимания. Хотя и здесь оно возможно, но трудно. А к животным чувство невольно, неизбежно. И оно соделывает человека добрым. Решительно невозможно себе представить и Эдема без животных. Мера греха человеческого выражается в удалении от животных, в отстранении от себя животных; а степень невинности и чистоты, детства — в сближении с ними. Вот почему распространение любви к животным и культивирование ее есть одна из серьезных сторон серьезного просвещения.

1902

МАЙСКИЙ СОЮЗ

Майский союз, одно из прекраснейших человеческих учреждений, ведет свое начало для нас, русских, с Финляндии. За границей, говорят, он возник раньше, но для нашей родины это не важно. Учредитель его в Финляндии был поэт и собиратель народных сказок Топелиус, и в Финляндии союзов этих сразу возникло много. Союз состоит в том, что дети сельского населения соединяются в «общество», обещающее не мучить и не убивать птиц и всячески заботиться об охране их яиц и птенцов. Поставив прежде всего на вид тот вред, который мы приносим и полям, и садам избиением полезных птичек, поедающих вредных насекомых,

Топелиус перешел потом к бескорыстному чувству сострадания, которое должно заставить нас любить и беречь беззащитных птичек и всех вообще зверьков, наполняющих для нашей радости Божий мир.

О культурном значении любви и сострадания к животным говорил еще Достоевский в «Дневнике писателя»; но, оставя в стороне эту прямую пользу для человеческого самовоспитания, мне кажется, что любовь к животным должна быть вложена в каждое неиспорченное сердце, и нужно только удивляться, как могут считать себя культурными государства, где можно безнаказанно истязать и мучить нашу меньшую братию.

Казалось бы, что уже раз такая светлая мысль, как соединение детей в Майские союзы, проникнет к нам хоть от чужих людей, она будет принята с восторгом, займет самое видное место в воспитании наших детей,— а между тем жизнь показала иное: кое-где Майские союзы даже учредились, например в Псковской губернии для сельских детей, в Одесском округе — для сельских и городских, и все-таки Майский союз остался чуждым для нас учреждением,— про него просто никто ничего не знает, значит, никто и не хочет знать: нам, вероятно, показалось это слишком незначительным, не стоящим нашего внимания,— пожалуй еще сентиментальным и смешным, и, заботясь о наполнении сельских библиотек романами Всеволода Соловьева и Салиаса, мы ничего не сказали сельским детям о том, что темная душа животного есть такое же прекрасное создание Божие, как должен был бы быть человек.

О том, как именно учреждать Майские союзы, могут существовать различные мнения: всякий постарается, конечно, административно устроить их так, чтобы они наиболее соответствовали данной среде, а потому, мне кажется, общих положений может быть только немного. Но дело, конечно, не в уставах, а ужасно бы хотелось, чтобы идея эта стала русским родной, чтобы на нее взглянули не с насмешкой и почти недоброжелательством, но с искренним сочувствием, чтобы она стала необходимостью наших школ. Не надо слишком много благообразных возражений: «Это хорошо для сел и деревень, но что же могут для животных городские дети?» Кто знает о жестокости городского люда к животным, о бесчисленных протоколах, составляемых членами Общества Покровительства Животным за истязание лошадей, собак и кошек, тот поймет, что если Майский союз научит ребенка хотя только тому, чтобы видеть в истязании животного противозаконный и отвратительный факт,— то цель его будет уже наполовину достигнута, не говоря уже о тех случаях, где знакомство с жизнью и характером животных может лучше всяких правоучений развить в сердце ребенка простую и теплую любовь к окружающей нас шумной и разнообразной животной жизни. Почему мы с большим удовольствием ведем наших детей в цирк смотреть на безобразное кривлянье клоунов и на печальное доказательство того, что ум животных во многих случаях стоит выше ума человеческого,— чем доставляем им простое и разумное удовольствие чтением интересных рассказов из жизни природы, которые можно дополнить и оживить соответствующими картинками волшебного фонаря?! Насколько удовольствие это более духовно здорово, более соответствует возрасту,— и какие хорошие семена, быть может, заложит оно в сердцах детей! А ведь подобные чтения составляют одну из забот Общества Покровительства Животным, обладающего и библиотекой и волшебными фонарями для подобных детских гуманитарно-научных развлечений. Но мы об этом ничего не знаем и, вычеркнувши природу из собственной жизни, продолжаем безжалостно и незаконно вычеркивать ее и из жизни наших детей.

Занимаясь 6-й год новой постановкой школьного дела путем устроенной мною в моей квартире Бесплатной Воспитательной школы, находящейся в Ведомстве Министерства Народного Просвещения, я вошла в сношения с Обществом Покровительства Животным как наиболее подходящим по своим задачам способствовать осуществлению одной из важнейших моих целей — сближению детей с природой, и нашла в Председателе Общества, Иване Ивановиче Назимове, необходимую мне поддержку и большое сочувствие моим идеям. Через мою просьбу Председателю Общество хлопотало о разрешении для моей школы Майского союза, который в настоящее время получил утверждение и рассмотрением «Устава» которого Общество займется в непродолжительном времени. — Не могу не выразить своей благодарности тому деятельному участию, которое приняло Общество Покровительства Животным и его Председатель Иван Иванович Назимов в деле устройства Майского союза; тем более, что за все 6 лет существования школы я не видела ни от одного благотворительного учреждения, ни от педагогических кружков, ни от публицистов, ни от частных филантропов — ни малейшего участия и помощи моему новому и трудному делу.

1904

А. Полотебнова

К падению башни св. Марка в Венеции

Весь мир, всесветная печать ахнули, когда телеграф принес и разнес траурную весть о падении одной из величайших архитектурных, исторических и религиозных святынь Европы — башни св. Марка в Венеции. «Страна святых чудес», «святые там могилы» — молвили русские лирики-мыслители. Но не всем это так кажется... И не все заскорбели о падении венецианского колосса. Ведь мы «юроды», кажущиеся «эллинам безумными и иудеям соблазнительными», и так уж это решено, и притом принципиально. Чем поэтому черней на Западе, тем светлее у нас на душе: и если бы там чумы побольше — то у нас совсем бы Светлый праздник на душе. Протоиерей Фоменко одевает белые ризы и поет «о здравии» себя и «своих», когда все на Западе одели черные ризы при этом, потрясем все сердца известия: ибо кто же не осматривал, не видел этой башни? Судите сами по тому, что он написал, а официальный орган нашего Духовного Ведомства «Церковные Ведомости» спокойно напечатал в № 29. Вся статейка до того характерна, что мы перепечатаваем ее почти целиком:

КОЛОКОЛЬНЯ СВЯТОГО МАРКА В ВЕНЕЦИИ

И рекоша: «Приидите, созиждем себе град и столп, его же верх будет даже до небесе: и сотворим себе имя»...

(Быт. XI, 4)

Как в библейские времена, так и в наши дни Вседержитель Господь сокрушал и сокрушает теперь гордыню человеческую. Не превозносись, смертный! Древнейший памятник горделивой, хотя уже и развенчанной «царицы морей» —

Венеции,— главная колокольня в Венеции пала, разрушилась, рассыпалась на части * и своими историческими обломками, своими статуями, из которых немало число языческие божества, как, например, Нептун, Паллада, Меркурий и Аполлон, наполнила площадь святого Марка. Вся Венеция в горе, скорби, трауре. Когда я прочел первую телеграмму о разрушении Венецианской колокольни, я не верил своим глазам. Так, по-видимому, был устойчив этот исторический памятник. Подробности разрушения, сообщенные печатью на другой день, не оставляли более места для колебаний и сомнения. Колокольня с именем святого Марка более не существует в Венеции. «*Столп, его же верх даже до небес*»,— потрясся и рухнул. Об этом глубоко скорбит не одна Венеция, но и весь образованный мир.

Крушение колокольни святого Марка живо напомнило мне 9-е июля 1897 г., когда, ранним утром, направляясь в Собор святого Марка, я предварительно остановился у панели этой колокольни. Впечатление получалось внушительное, грандиозное. Мне кажется, не я один, но и каждый русский священник, при первом пытливым взгляде на колокольню святого Марка в Венеции, прежде всего задаст себе вопрос: «знаменитые колокольни на родине, на святой Руси, уступят ли место Венецианской колокольне, или представляют из себя более внушительный вид?» — Несомненно, что колокольни наших двух великих лавр: Киево-Печерской Успенской и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры несравненно стройнее, изящнее и в архитектурном отношении недостижимо выше Венецианской колокольни святого Марка. К сей последней, по архитектурному стилю, наиболее приближается у нас на родине колокольня Ивана Великого в Москве. Только правильный четырехугольник Венецианского памятника гораздо обширнее фундамента колокольни Ивана Великого. Потому-то так и неожиданна была весть о том, что основание Венецианской колокольни не выдержало тяжести башни, хотя тяжесть эта равнялась 700 000 пудов веса. Думается, что если бы привести в известность вес наших знаменитых больших колоколов, то они по своему весу оказались бы гораздо больше 700 000 пудов. И еще одна заметка: наши Лаврские и Московские колокольни блестят своей чистотой и приятным колоритом покраски и побелки, а Венецианский монумент выглядел серой, неотштукатуренной, поросшей мхом башней. Но в извинение памятника Венецианской гордыни должно заметить, что это один из древнейших памятников зодчества во всей Европе. Через 80 лет этот памятник, если бы он не разрушился, то имел бы право праздновать свой 1000-летний юбилей. Юбилей почтенный!

Венеция имела у себя 3 исторические памятника, которые в хронологическом порядке занимают места так: первое место должно быть отведено колокольне, теперь уже не существующей; второе — храму святого Марка, и третье — дворцу Дожей.

Венеция основана на островах лагун Адриатического моря в 819 году дожем Ангелом Particiraso. Башня Венецианская заложена в 911 году, т. е. в то еще время, когда на Руси княжеская власть была в руках Олега.

Я не без цели пометил годы основания Венеции, колокольни в Венеции и Собора святого Марка. Из сопоставления этих годов видно, что колокольня собора Марка основана прежде храма святого Марка. Колокольня основана в 911 году, а храм в 976 году. Это не в порядке дела. Что это означает?..

* Точно счет: «раз, два, три», «пала, разрушилась, рассыпалась на части»... Ну, я думаю, от этого еще поднялась и засветилась колокольня в Царевококшайске, где получал образование автор? — В. Р.-в.

Венецианская башня не была даже увенчана крестом, как обыкновенно увенчиваются церковные здания в православных странах. На вершине башни стоял ангел, сделанный из дерева и покрытый золоченою медью. И водружен он венетским скульптором Сансовино только в XV столетии...

Само собою разумеется, что не одно любопытство, но и другие моральные причины побуждают нас, в заключение нашей заметки, поставить вопрос: где причина разрушения колокольни святого Марка?! — *«Аще не Господь созиждет град, всуе трудишася зяждущие»*, поучает племена и народы царь Давид... Не подходящее дело ставить на христианской колокольне статуи Аполлона-Паллады и других языческих идолов. И стряс Господь сих идолов в прах... Венеция и Неаполь — это самые светские города в Италии, даже более светские, нежели Париж и разные европейские курорты. Собор Марка без молящихся *, как и вообще большинство храмов в Западной Европе **. Эти храмы для туристов, а не для богомольцев.

«И стрясет Господь пустыню Каддийскую...» (Псал. 28, 8). Вразумляющий Господь потряс области ***, соседние с Венецией. Вековой памятник, как лишенный дозора, дал трещины. *«Господь с небесе возгреме»*. Молния пронзила колокольню ****. Думалось, что широкий и устойчивый фундамент выдержит высоту колокольни. Но здесь-то и обнаружилась ошибка архитектора. Центр тяжести оказался слишком высоко над фундаментом башни. *«Мудрии обьородеша»*. И на основании совокупности сих всех причин вековой памятник исчез и более не существует.

Протоиерей Кл. Фоменко

Характерно! Умирают ли на Западе — «от грехов умирают»... Но *мы* отчего? и отчего у нас голод? И отчего мы нищи, убоги?

* Я сам был там: не то чтобы полно *до давку* молящимися, — но очень полно. — *В. Р-в.*

** В Риге и в Берлине я видал храмы *переполненными*, и притом не простонародьем только, как у нас, — но почти сплошь людьми школы, образования. — *В. Р-в.*

*** Никакого землетрясения не было!!! Кстати: не так ли, в истории, произошли «нравоучительные» легенды. Пишет-пишет «летописец-Нестор», католический или наш: торчит в голове текст, который таланту-богослову хочется применить, например «и стрясет Господь пустыню Каддийскую» или подобный. И он пишет: «вразумляющий Господь потряс области, соседние с Венецией», т. е. буквально и только *красиво* пишет, будто бы было землетрясение, хотя ей-ей, ей-Богу его не было, и никто об нем не говорил!!! Но теперь есть телеграф, почта и газеты: ну а в XIII, IX, VI, III, I-м веке кто мешал производить в «летописях» сотрясения земли, молнии и пр., просто потому, что в голове беспокоится подходящий текст? Так пишется, т. е. писалась история:

...Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил:
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой груд усердный, безмянный...
Засветит он, как я, свою лампаду...
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет...

Так Фоменко-Нестор и Нестор-Фоменко «тихо» сочинял свои «летописи», откуда почерпали вдохновение, умиление и чаще всего «страх Божий» не одни «помещики» фон-Визина в идиллическом деревенском уединении. — *В. Р-в.*

**** Просто удивительно: ничего подобного не было! Башня рухнула разом и сама, рухнула страшно *поздно*, выстояв столько лет, сколько ни одно здание на Руси! Но (см. дальше): «мудрые обьородеша». И сколько злости у человека, *лично все это посмотревшего*: то-то «сущность Восточного вероисповедания, в противоположность гордому Западу, заключается в любви» (Хомяков). — *В. Р-в.*

И вид у нас запуганный, а сердце — оробевшее? «Отчего», «отчего», тысячи «отчего»... Впрочем, что же мы говорим: судя по тому, что он странствовал в разных местах, должно быть у протоиерея Фоменко и квартирка тепленькая, и на столе всякая рыбка, да и здоровьице еще не изменило: так что все наши «почему» для него «глас вопиющего в пустыне»...— В. Р-в.

Среди человеческих слез

Казалось бы, мы окружены филантропией и купаемся в ней, как лебедь в озере? Особенно здесь, в Петербурге? По шуму, объявлениям и отчетам судя — это так. А попробуйте вы с конкретной нуждой поискать помощи, и встретите что-то тупое и недвижимое, может быть, не столько в лицах, сколько в *строе*, в *уставах* учреждений, не допускающих никакого принорования к частностям, никакой *индивидуализации* филантропии. С прошлого лета, т. е. вот почти целый год, я искал удовлетворить маленькую просьбу: девочка 7 лет (теперь — почти 8) не имеет матери, отец, отставной подполковник, лежит больной, недвижимый, получает пенсии около 18 р. в месяц; временно девочка помещена дальнею своею родственницею, женщиною служащею на телеграфе, в приют для уличных «найденшей»; брат ее и сестра хорошо прошли курс учения, один — корпус, другая — институт, при родителях, очевидно, заботливых, и теперь или кончают учење, или работают на телеграфе же. Эта сиротка осталась последнею и не устроенною, и вот ее-то надобно было поместить куда-нибудь, однако, — в заведение приличное, пусть бедное, но хорошее, приблизительно с средним курсом образования и на полное казенное или «филантропическое» содержание. В течение 10 месяцев, куда я ни обращался, к людям то деятельным, то сильным, к людям, казалось бы, очень сильным, к которым только «дойти и постучать» — и дело будет сделано. Не тут-то было. «Вот если бы у нее ни отца ни матери — можно было бы»; «ах, батюшки, она из интеллигентной семьи, а мы призываем только мещан и детей ремесленников»; «мы — подкидышей». И, словом, сиротке-подполковнице, едва ли что понимающей в чине отца, жизнь которого для него самого и для ближних тягостнее смерти, — все двери закрыты. Кто не помнит великого шума, сопровождавшего у нас открытие церковных школ грамоты. Захарьин жертвовал на них тогда 500 000 руб. А на поверку в прошлом году всплыла на верх «гласности» — замороженная в хроническом голоде учительница таковой школы. Но эти «скорби мирские» становятся особенно многозначительны, когда кричит о себе не человек, а целый район, уезд. Вот с одною из таких просьб я и хочу познакомить читателя по переданному мне письму:

«В местечке Барановичи, Минской губернии, Новогрудского уезда с 1900 г. открылось Благотворительное Общество, которое задалось целью облегчить неотложную нужду жителей местечка и окрестного крестьянского населения

в вопросах обучения и подания медицинской помощи. Насколько неотложна помощь в этом отношении, можно судить по тому, что в сельских школах, рассчитанных на 50 человек, обучается до 200. Дети вынуждены пристраиваться с тетрадями и книгами не только по окошкам, но и на полу. Воздух в помещениях спирается до такой степени, что становится трудно дышать. В самом местечке Барановичи, насчитывающем свыше 12 000 жителей, до открытия школы Благотворительным Обществом, не было ни одной школы; благодаря стоянке в Барановичах войск, процент незаконнорожденных детей огромный, и этот элемент, не имеющий, в силу отсутствия отцов, никакого призора, часто не имеющий ни теплого угла, ни питания, особенно нуждается, чтобы о нем позаботились, чтобы его призрели, обучили, дали бы ему возможность зарабатывать свой хлеб честным трудом. Открытая Благотворительным Обществом школа дает в этом отношении очень мало, но и то, что дети получают в ней — грамотность и человеческое к ним отношение — велико, хотя, очевидно, недостаточно. Теперь Благотворительное Общество задалось целью открыть при школе ремесленное обучение, на что и собираются им средства. Медицинская помощь, оказываемая населению обществом, выражается в поездках врачей, членов Общества, к больным, по их приглашению, и выдаче им бесплатно лекарств, а также в бесплатном же их приеме в амбулатории общества 3 раза в неделю с выдачей недостаточным лекарств. Насколько эта помощь настоятельно необходима, видно по деятельности амбулатории, в которой в течение 3-х месяцев — наиболее тихих — было принято свыше 1000 человек и затрачено Обществом на медикаменты свыше 100 р. (по аптекарской таксе свыше 1000 р.). Больные приезжают в амбулаторию Общества за 80 верст и более; но главный контингент их составляют крестьяне окрестных деревень в районе 15 верст. На весь Новогрудский уезд, имеющий свыше 300 000 жителей, имеется всего один крестьянский врач и несколько фельдшеров. Не говоря о том, что при самом идеальном отношении врачей они не могли бы оказать помощи всему этому населению, отсутствие выдачи лекарств в большинстве случаев и самую помощь сводит к нулю, так как наша аптекарская такса совершенно не рассчитана на крестьянский бюджет; а между тем, болезненность населения растет прямо на глазах, напр., в деревне Заброды, Даровской волости, 4 года назад не было ни одного сифилитика, теперь же нет двора свободного от этой ужасной болезни. Еще 20 лет назад трудно было встретить крестьянина с катаром желудка, теперь же редкий из них не жалуется на эту болезнь. Чохотка, тиф сыпной и брюшной свили себе прочное гнездо среди крестьянского населения в окрестных деревнях. Нынешней зимой тифом переболели деревни Альсевичи, Екиховичи и Дубово из известных нам, и переболели так, что не осталось почти ни одного двора, в котором бы не было больных. Прийти на помощь крестьянам в этой беде настоятельно необходимо, а между тем средства Благотворительного Общества крайне ограничены. Необходимо пригласить постоянного платного врача для амбулатории, так как врачи, члены Общества, несущие, сверх своей необязательной службы Обществу, еще казенную — прямо-таки выбиваются из сил; принимая во внимание, что казенная служба отнимает ежедневно время с 9 до 2, а прием в амбулатории с 2 часов почти до 8, и, таким образом, работа врача продолжается почти непрерывно 10—11 часов, три раза в неделю, не говоря про поездки в деревни, которые тоже отнимают много времени и сил. Чтобы пригласить врача, необходимо минимум 300 руб. в год, за какое незначительное вознаграждение соглашаются поступить на службу некоторые из новогрудских вольнопрактикующих врачей. Амбулатория мало-помалу обзаводится различными инструментами; но сколько еще ей

не хватает! Прямо делается больно, когда можно было бы легко человеку вернуть зрение и приходится отказываться от операции, ввиду недостатка средств. Можно было бы из калеки сделать рабочего, но больного некуда положить,— и от сравнительно простой операции приходится отказываться! Все это крайне тяжело. Ввиду этого от лица Общества мы обращаемся с просьбою ко всем, кто имеет хотя какую-нибудь возможность помочь ему сколько-нибудь средствами, не стесняясь размером суммы пожертвования, с обозначением, на что именно, на школу или амбулаторию жертвуется,— и направляя таковые пожертвования на имя казначея общества Ивана Ивановича Дачиса, или же на имя председательницы Общества Ольги Александровны Владычанской на станцию Барановичи Полесских железных дорог Минской губернии».

Да, «больно читать», как пишет автор письма... За 10 целковых зрение можно вернуть и за 12 руб. поставить рабочего на ноги или вернуть ему здоровые руки. А у слепого или безногого за спиною еще ребятишки. Вспомним еще о позорной «французской болезни», распространяющейся в деревнях через ковш с водою, через общее блюдо щей, через употребление одной ложки. И тут дешевое лечение — и спасены от заражения по невежеству десятки людей. Мне рассказывала одна сельская учительница Вятской губернии:

— В одинокой брошенной бане несколько лет гнил от этой болезни, где-то и как-то заразившийся ею (через пищу, может быть, или через питье) мальчонко-пастушок. Ему было лет шестнадцать; деревня была наполовину инородческая; мальчик был русский, христианин; ему никто не помогал: — «Ишь, гнить начал изнутри». Родные удалились, т. е. его инстинктивно удалили из жилой избы, и положили в баню. «Не издыхает, все гниет». Через окошко туда подавали хлеб и ставили воду. Мальчику должно быть горько было — и он... разгневался что ли на судьбу: не умею, как выразить, но он, сперва молчаливый и терпеливый, позднее впал в человеконенавидение и богохульство. «Шайтан в нем,— решила деревня,— он — бесноватый, он — дьявол, Бога хулит». Мальчик,— как мне говорила учительница,— произносил действительно неслыханные богохульства, неслыханные ругательства, и деревня, считая его сумасшедшим или одержимым, считала проклятым самое место, где лежал несчастный.— «Да чем же он был болен!» — воскликнул я.— «Сифилисом». — «Как, в 16 лет?!» — «Заразился от кого-нибудь, от рукопожатия, от поцелуя, от слюны». — «А доктор?» — «Доктора не было». — «А... кто же был?!» — «Все были, люди, родные, соседи, священник в ближнем селе, урядник». — «Так они бы свезли до городу». — «Все они считали его одержимым сатаной; что в мальчике сидит дьявол, так как он столь страшно ругается,— в этом были все глубоко убеждены, говорили об этом серьезно и со страхом; не к болезни со страхом, а к присутствию дьявола; и мальчика этого прямо все ненавидели и желали, чтобы он скорее издох. Но он долго не умирал. Я пробыла там год учительницей, но он уже давно, годы лежал, весь в ранах, гное, с нестерпимым запахом из окна, потому что и естественные отправления он совершал под себя, ибо баня была ему обречена и туда никто не входил, а ее потом, по смерти его, приговорено было уничтожить вовсе».

Между тем несколько подкожных впрыскиваний ртути могло бы спасти от такого ужаса. Бедная Россия, гроза мира по оружию,

с миллиардным бюджетом, и о которой Погодин писал: «Безмерно подумать — мысль цепенеет»!

Да... «цепенеет», только не от пространства, а от того, *что делается и каково жить* на сем неизмеримом пространстве».

Позволительно сказать читателям: помогите новогородцам, ведь и там такие картины или есть, или возможны завтра.

* * *

А вот еще письмо, полученное мною от 70-летней почти бабушки. Я ее видел. Сухая, высокая, черная — она правда «как лишенная ума»: последние мысли, как и последние искры в ней жизни, тусклы. А около нее некрасивая, внимательная девочка лет 13—14 и мальчик лет 10—11, удивительной, меня поразившей красоты и одухотворенности. Это — внуки. Вот письмо: я никогда не читал такого. Замечательно, что в благотворительном учреждении, куда я обратился об устройстве внучки (через год она была устроена) — отказались прочесть это письмо: — «Привыкли — и на нас уже теперь ничего не действует». Когда из кабинета директора этого учреждения я пошел обратно — меня пропустили через «залу совета»: стены под мрамор, тяжелые с позолотой кресла, и такое величие обстановки, что я смутился и опустил голову. Эх, нужна нам *демократическая* помощь, из *демократических рук*, и мешаночками или крестьянками управляемая и распределяемая, а не графинями и княгинями:

Милостивый Государь, В. В.

Крайне неловко и трудно мне, неизвестной, утруждать собою и отнимать занятое ваше время.

Простите великодушно, и снисходительно выслушайте упавшую духом, совершенно отчаявшуюся, полуживую женщину. Не раз, с зимы начинала обращение мое к вам и рвала в горе от неумения своего выражать мысли и чувства. В переживаемой мной агонии, я мечусь и карабкаюсь, как мышь, попавшая в ловушку, нигде не нахожу выхода, — не знаю, что делать, как жить дальше; думала и передумывала я, 1000 раз, где найти мне человека с великой душою, чтобы хоть выслушал милосердно и участливо, — научил, посоветовал что-нибудь. — Вот и пришла мне мысль написать вам, которого знаю только по печати, впрочем: и не знаю, туда ли я стучусь. К кому же, как не к вам идти, молить о сострадании и добром отношении к погибающему брату-ближнему! Горе осилило меня, — захлебываюсь им, как утопающий; в слезах, у ног ваших прошу прощения; — с добротой вашей примите меня, — протяните руку, — так ужасно жить как в глухой пустыне: стукайся головой о стену, — кричи, — никто не услышит ни здесь, ни на небе. Микроскопические былинки мы в мятущемся живущем на земле, но тоже люди, — как-нибудь надо жить и нам, пока живы.

Задавят нас и не замечают, — нас же винят и клеймят париями, подонками. Лично для себя мне ничего от жизни не нужно, не обольщаюсь никакими благами ее, не верю в них; действительность и опыт вытравили все мои иллюзии. Ни на что хорошее не надеюсь и для птенцов своих, о которых и страдаю, — но что же мне делать с ними, куда укрыть их! Не выбросишь, как щенят в помойную за ненужностью, троих деток, участь которых связана с моею отжитой жизнью. —

Ничего определенного я не прошу, не решилась бы просить, сделайте для нас, что сами найдете возможным. Вы семьянин и поймете, услышите мои сокрушения. Посоветуйте, укажите, помогите содействием в добром деле. Одно ваше участие, мне кажется, будет нам уже спасением. Ваша известность (? В. Р.), знакомства с множеством лиц выдающихся (?!! В. Р.), больших и влиятельных, может быть, и дадут вам возможность как-либо помочь нам и спасти хоть одного ребенка, висящего над пропастью. Прошу об истинно несчастнейших ребятишках, в положении хуже сиротства. Виноваты ли детки, являющиеся жить в жестокий, полный неправдою и злобою, мир. Даже молодым, полным сил, в одиночку, — невыносимо стало жить: каково же с детками и каково деткам, в бедности, граничащей с нищетою?

Нависло что-то над жизнью, над всеми, — холодно, страшно жить! Все видят, испытывают, пишут об этом — во всех лагерях. Горе рождающим и рождающимся! Всякому только до себя и хорошим-то. А злодеи-звери совсем осатанели в злобе своей. Спасайся, кто и как может, — вот девиз настоящего. Все себе и своим забрали богатые и сильные, — нас оставляют червяками растоптанными, пресмыкаться; у детей наших отнято все: природа, воздух, питание, наука, красота, чувства; все, все решительно — не для нас, бедняков! Одному ребенку не вымолить пристанища, чтоб вырастал он без искушений на пользу общую и свою. Тщеславятся, — придумали оживлять и выращивать недоносков, чтоб этих же несчастных потом затравить медленной пыткой; здоровые, сильные дети гибнут нравственно и физически подавляющими массаами. Где же искать спасения?! В чем оно, — долго ли ждать его?! Как же жить сейчас? Третируют нас ничтожествами, леденят величественною неприступностью и презрительностью, и все одно говорят, что нуждающихся слишком много и из нас нужно выбирать достойнейших. Да разве дети не все достойны участия; слишком много и недостойных, благоденствующих, все отравляющих пошлостью и безумием своим и никому не дающих жить. Но почему же они одни, а не все! Господи, Господи, где же Ты?! Зачем же нужны наши страдания и жизнь наша! В религии нет прибежища. Некуда пойти услышать бодрящий привет и слово добра. Никому мы не нужны! Человек ничтожнее желтых башмаков. Культивируют деревья, растения, улучшают породы животных, а человек пропадай, как сам знаешь, для него только и придумываются все способы мучить в жизни, истреблять его ужасающими разум войнами. Ох, — простите меня, ради Христа: наболевшая душа невольно высказалась и стонет. Вы ли не знаете всего, — думаете за нас, ратуете за обойденных. — Дети, о которых упоминаю, — это внуки мои. Родной отец их существованием своим только вред приносит им; мать их, моя замужняя дочь, около 2-х лет как сошла с ума, находится в провинции, в губернской психиатрической больнице, имею об этом форменное свидетельство заведующего врача. Зять — маленький чиновник, погибший в пьянстве. Дочь помешалась от мученической доли своей. Двоих из детей ее мы с умершим мужем моим взяли к себе на воспитание с рождения их. Защитницею и радетельницею детям осталась я одна, бабушка, с пенсиою в 250 р. годовых.

Лелеяла их с колыбели, в них свет жизни моей, и ничего одна не могу для них сделать, — не нахожу никого, кто бы сжалился над ними и помог мне хоть одного устроить и поставить на честную дорогу труда. Умру, — оставляю все равно что на улице, несомненно пропадут детки неустроенными, — малы еще: немногие, как М. Горький, спасаются и выходят к свету из омутов. — Без родного дома, без ласки и поддержки любящих близких, потянут малыши мои долгую лямку зависимости бедняков. У меня уже нет и энергии отстаивать и бороться за этот

2-й мой выводок, — здоровье и силы (без преувеличения) уходят от меня с каждым днем, больная духом и телом, вдребезги разбитая пережитым и переживаемым, я только руина, обломки человека, — представляю собою движущиеся «живые мощи», мне уже не дадут и работы ради деток, — молодых многое множество. Я отстрадала уже во всех положениях свою долюшку женскую и как дочь, как жена и мать, и вот все еще терзаюсь и за внуков.

Родилась я в угасающем сословии потомственных дворян, видела и испытала ужасы крепостных времен и деспотизма; — отец мой, не ведая, что творил, взят был в опеку за расточительность и жестокое обращение с рабами, умер в больнице; чудное именованье наше погибло, т. е. продано и разделено между 9-ю наследниками. Большая семья моя рассеяна по России. Чиновными и богатыми никто из нас не вышел: братья — многосемейные труженики, а мы, сестры, все бедствовали и бедствуем с детьми своими. Из отчего дома я спаслась в 17 лет, замужеством за дворянина же 21 года. Покойный муж, ярославский лицеист, был тоже сыном своего переходного времени: кроткий и деликатный, с открытою душою и непрактичный, как младенец, карьеры он не сделал: большая часть его службы прошла в провинции по захолустным городкам. Все, кто близко знал мужа, располагались к нему, храним и мы о нем добрую и печальную память. Жизнь наша прошла без большой нужды, но и не празднично, и доставалась детям моим тяжелою битвой. К зрелым годам муж уже был больным совсем, и, не дослужив лет 3-х почти, — совсем ослеп, представлен был к 600 р. — получил 500 р. пенсии и 5 лет как умер полным слепцом. — Мужа всегда притягивал и прельщал Петербург и в 70-х годах служил он и здесь помощником делопроизводителя. Тогда же мы владели небольшою библиотекою для чтения, при нас она существовала на Владимирской ул. — Муж был горячим поклонником литературы, сотрудничал и сам рисунками и мелочами во всех юмористических изданиях того времени, начав еще с «Искры»; редактировал он и листок «Малляр», ныне «Шут», Н-в его фамилия. Трое детей моих все уже погибшие: сын давно умер учащимся юношею, в лишениях получив чахотку. Дочери 2 хорошо прошли гимназию, были недурны собою, и нравственны; но не улыбнулась судьба моим бесприданницам — не имели они свойств взять свое счастье с бою, скромные и даже застенчивые идеалистки, увлекались веяниями своего времени и неустанными труженицами провели лучшие годы молодости своей.

Старшая после курсов осталась в Петербурге, замуж не вышла, и учительствует уже 21 год. Крайне переутомленная, — не по натуре ей и не по силам — трудною деятельностью, безвременно отжившая и совсем больная, с разбитыми нервами, тянула она свой нелегкий труд; менять дорогу ей уже поздно и без средств и протекторов невозможно. Младшая дочь, мать ребятишек, жила с нами в провинции, много занималась музыкою, давала уроки, играла танцы на вечеринках, — стремилась она к простоте жизни по-толстовски, и в 27 лет пожелала хоть крошечного своего гнездышка: так немногого желала и так жестоко поплатилась, горемычная! Жизнь ее была настоящим мартирологом всяких страданий и скорбей. — В первые годы муж благоговел перед нею, считал счастьем и честью, что она повенчалась с ним, но нужда преследовала их: частые дети, болезни, неудачи и лишения довели его до падения. Мы взяли у них 2-х детей на воспитание, помогали им, но с переездом нашим в Петербург жизнь их стала совсем невозможною. Не дурной по натуре, зять вырос в грубой семье мелкого духовенства, с 15 лет его поместили уже служить с 4-мя руб. жалованья. Забитый и заброшенный в детстве, он много читал, но был замкнут и озлоблен и, по обычаю среды своей, искал общения с людьми в трактирах. Там же глушил и свои

невзгоды и обиды. Буйный в пьянстве, как разбойник, все он стал тащить из дома, и, требуя денег — бросался бить дочь чем попало. Всегда тревожная, сокрушаемая за участь деток, она приезжала к нам сюда, мы убеждали ее жить с нами, но она долго не решалась искать разрыва с мужем судом, а он не давал ей отдельного вида; и при первом же приступе к суду, после ужасного погрома, когда муж чуть не задушил ее — вырвавшись, где-то она проскиталась ночь, и найдена была уже помешанною с острыми галлюцинациями. Страшно и вспомнить, как пережила я это огромное горе мое, разразившееся неожиданно. Без ужаса и тоски не могу и сейчас думать о несчастной больной своей. О случившемся с нею меня известили родственники зятя и знакомые, и умоляли жалиться над дочерью, приехать за нею и взять ее к себе с оставшеюся при ней третьей дочкой 5 лет. Что могла я сделать в моем положении, живя с детьми по комнатам? кто помог бы мне здесь устроить дочь. Мне и ехать было не на что, просить не у кого, я рвалась и билась, как прикованная на цепи. Дочь-учительница лечилась тогда в Оренбургской губернии. И 2 года вот, а я все еще не могу съездить туда повидать дочь и взять третьего ребенка: мои и тетки-учительницы деньги все расходятся на содержание и на дешеских детей. Просила я тогда билет на проезд в полицию,— отказали без протекции. Нам ли, бедным, возможны чувства и поездки,— это привилегия богатых! После смерти мужа чего только не переиспытала я здесь с детьми на руках и с вдовьею пенсией. Мы снова перебрались сюда 8 лет назад, привезли с собою и внуков-воспитанников; муж все надеялся у знаменитостей глаза поправить, ведь так ужасно ослепнуть, и дочь у нас здесь служила; планировали мы, что и мать детей с нами здесь устроится и найдет себе что-нибудь. Но все это обернулось иначе. Имели мы и квартиру с жильцами, где муж умер, кочевала я по комнатам-каютам в 6—7 р.— ожидая приезда дочери; закладывала и продавала оставшееся и исчерпала все до образов и платья. Простите, я так много и скромно написала, но как, не объяснив, просить об участии; а дела мои так спутались и осложнились,— необходимо о стольком упомянуть,— сжато не выходит, хоть и понимаю, что могу утомить до невежливости. Хотела лично к вам представиться, взять с собою и деток, но без вашего ответа и разрешения не смею; самоуверенною не была я и прежде, а теперь и совсем убитая. Смущаясь, я волнуюсь и теряюсь, и хуже письма,— путано,— буду говорить. Теперь я живу с дочерью-учительницею, вторую зиму занимаем крошечную приемную при школьной ее квартире для учителей, под страхом навлечь на дочь неприятность. Она 20 лет безусловно уже прослужила городу Петербургу, по 2-м учреждениям,— 18 лет учительницею начальных городских училищ,— но не всегда имела помещение, могущее вместить нас всех. Все время, до прошлого лета, дочь получала не 50 р., а 43 р. жалованья в месяц — 5 р. вычиталось у нее на учителя пеня и 2 р. на пенсию. После юбилейных торжеств *, Комиссией по народному образованию учащим прибавлено по 10 р. в месяц жалованья, но за то их лишили Рождественской награды в 50 р. Дочь помогала мне и давала на детей больше, чем могла. Везде, где она могла, назанимала,— и запутала все дела свои ради внуков моих, а ее племянников: не на один еще год оставалось ей выплачивать долги. Всегда она желала взять у сестры одного из детей и усыновить, но это не состоялось вследствие помешательства другой дочери. Надеялась моя учительница, что ее продолжительная педагогическая служба даст ей право на стипендию для воспитанника-племянника; в этом убеждении ее поддерживали и училищные эксперты, гг. Валенс и Семенов, обещая свое содействие. Был и еще верный

* Юбилей 200-летия основания Петербурга в 1903 году.— В. Р-в.

протектор, устроивший ее в городские учительницы,— это Н. А. Варгунин; но все они, на наше несчастье, умерли, пока дети подрастали еще. По нервности своей дочь не может ко всем приставать с просьбами,— вылезать на глаза и выхвалять себя,— не любит она фигурировать и на базарах и других торжествах.— При ней переменялось уже 5 председателей Комиссии,— каждый имеет своих новых протежируемых,— давние учительницы не на виду и размещаются по окраинам Петербурга.

NN *, начальник дочери — земляк нам, и когда-то отцы наши были соседями и кумовьями, братья его в одной бричке ездили с моим мужем,— с каникул в гимназию,— однокурсница и я по пансиону с его сестрою: но теперь это — олимпиец, недостижимая знаменитость и величие для большинства подначальных.— Сам он на празднествах подносит букеты учительницам-юбилянкам и более всего поощряет все показное и декоративное,— повседневно же, по личным делам учительниц, на бегу выслушивает и двумя словами решает просьбы их. Мы перед ним — «трепещущие пескари», страшимся попасть под уничтожающие взоры его.— Просила дочь 2 года о стипендии для старшей внучки,— сказали сначала, что нужно девочку поместить в учебное заведение и тогда просить за нее. Поступила внучка в гимназию, 2 года тетка платила за нее по 100 р., повторяя просьбы свои по начальству,— тянули-тянули и наконец отказали бумагою, на том основании, что воспитанница — только *племянница* просительницы и имеет *отца*. Стипендии в Комиссии раздаются, как везде, по протекции и усмотрению; семейных учительниц немного, и получают стипендии вовсе даже не родственницы преподавательниц и не сироты; львиную же долю как-то ухитряются получать своим детям батюшки-законоучителя.— Везде, где только можно было, побывала и я,— просила за внуков; но одни отказы получала: — «не сироты»; да и чего-чего не наслушалась я,— то под «правила» и «уставы» не подходим, везде не туда я зашла,— посылают в другое учреждение, и слова просто не скажут, не то что совета и участия. Без протекторов лучше и не показываться; не выслушав — уже раздражаются, и с первых слов отказывают, уничтожая неприступностью и презрением. Возвращаясь с этих экскурсий, я выносила чувство такой приниженности и виноватости перед всеми, что и дома невольно хотелось, как побитой собаке, под стол запрятаться и выть, выть. Все не для нас и навсегда занято.— Не только детей устроить — комнату дешевую я ишу 2 года, обошла всех нарядных дам-патронесс, все общества и общежития для бедных, интеллигентных и престарелых, до простых богачен. Очевидно, и этого невозможно получить без протекторов, отказы под всеми предложениями.— В учреждениях Высочайших Особ просила о детях и о пособиях, отказали; и только душу мне изранили дамы, посещавшие меня из Комиссии прошений. Эти толстые получательницы синекур только и угощают назиданиями и советами — для себя им это выгоднее, конечно. В первый раз отказали и нашли, что я «имела свою квартиру с жильцами», хотя и жила с детьми в кухне у себя,— что я «не лежу в постели с неизлечимым недугом», что «муж был не здешний и не заслуженный»,— «что дочь моя служит» и проч.; у внуков «отец есть», к нему указывают «отослать детей, а самой жить покойно на свои 20 р.». Я должна для этого переродиться, чтоб одной благодушествовать,— а внуков к отцу отослать — то все равно, что здесь за дверь их вытолкать и сказать: «Живите сами как знаете, детки». Хорошо им, жирным тряпичницам, указывать: на себе бы попробовали. Велят еще детей в приюты раздать или ремеслу учить. Спаси Господь каждого от пытки о чем-либо просить,

* Имя лица, очень известного в Петербургском городском управлении.— В. Р-в.

не защищенной привилегиями и атрибутами состоятельности: от швейцаров — и то унижений натерпишься. Есть у меня землячка и соученица, с одинаковым чином мужа, с пенсией в 300 р.; 2 сына ее служат, дочери замужем за чиновниками и воспитывались они в Екатерининском институте. Муж ее не мудреный был полячок, служил на газовом заводе, и она отовсюду получает какие-то пособия, потому что дядя ее был и кузен есть фон-К — н. Это факты. Я же для всех презренная, докучная старушонка, виноватая, что живу и прошу. Без протекции шагу не сделаешь, — не дыши на свете; а с этою волшебною палочкой чудеса творятся, множество знаю примеров об этом. Внуки мои — нищие дети, но по полу, в грязи не валялись, за водкой не бегали, шелька на себе не видали, — живут с нами 8 лет здесь, отца своего почти не помнят. Рада бы я и ремеслам их учить, но на это нужны тоже деньги или протекция. А своими руками как погублю детскую душу, — вдумчивого, не по годам развитого * мальчика своего отдам в мастерскую русского ремесленника, пьяного, темного, и дикого, как зверь, — или девочку способную из гимназии к портнякам перемещу?

Моя родная сестра служила учительницею в приютах и знает, видела, как в наши дни издеваются и тиранят деток в этих клоаках — неучи, хамы богачей, попадающие по протекции в начальство. Царят там и большие еще ужасы. Всем известно, что приюты изготавляют испорченных и озлобленных, — на все готовые, будущих голодных хулиганов и проституток.

Обращалась я и к частным учреждениям: в «Общество попечения о детях умалишенных», — не подходим мы. Общество спасения детей «Синий Крест» исключительно помогает детям рабочего сословия. «Общество защиты детей», учрежденное покойным Г. Герард, тоже отказало мне — сначала потому, что у них спасают детей от жестокого обращения; — потом, благодаря доброй супруге секретаря Общества, г-на Оппель, он принял мое ходатайство, обещал содействие свое в устройстве внуков; но два раза вызывали меня, — пока только затем, чтобы передать полученные им для нас отказы в училищах принцев Ольденбургских. Заведующие чиновники в учреждениях Вдовствующей Императрицы по прошениям не протезируемых и хода не дают — это все знают.

Дочь-учительница была еще у покойного Попечителя Учебного Округа Г. Головина; участливо отнесся, признал за дочьерью право просить об образовании племянника в силу ее деятельности, обещал мальчику нашего освободить от платы за учение и принять потом живущим, когда он поступит в гимназию и хорошо будет учиться. Теперь Попечитель новый, молодой, иначе может взглянуть; да и с конкурсными-экзаменами долгие мытарства, тоже зависящие от протекции и усмотрения, — узнала я все это при определении внучки, — и выдержит ребенок, да скажут — «молод» и заместят другим. Нашему мальчику недавно еще 10 лет минуло. Еще дочь просила протекции у своего попечителя школьного Г. Г-нд; обещал все, — и любезным письмом известил, что по справкам его стипендий свободных не оказалось. К слову сказать: дочери этого богатого архитектора и домовладельца тоже служат в Комиссии, — одна учительницею рисования в многоклассных училищах, другая — заведующею бесплатной читальни: если такие состоятельные особы желают получать жалованье, то чего же нам-то ждать, беднякам? В то же время надумалась я просить о внуке гласного и члена Комиссии, беллетриста Н. А. Лейкина: лично я не была ему известна, написала так же, как вам. Он одновременно с мужем сотрудничал в «Искре», — и теперь был так добр, благосклонно отнесся к моей просьбе: через 2 недели

* Правда — удивительный мальчик. — В. Р-в.

девочку нашу назначили стипендиаткою города и будут за нее, — с прошлой осени до окончания курса, — платить в гимназию за учение. Это было бы большим благом для нас, но дело в том, что дочь-то учительница разболеется, — в эту зиму 3 месяца не занималась, лежала, в отпуску была. Не надеется она и меня пережить, или быть годною попечительницею и воспитательницею племянников. Я и сама уговариваю ее оставить службу: доктор говорит, что у нее возможен нервный, или прогрессивный паралич, или же того хуже — ипохондрия. Она уже выслужила полпенсии своей, что-то около 200 р. Придется ей больной и одной-то бедствовать с таким капиталом, — дешевых местностей нигде теперь не осталось в России, — помогать же племянникам нечего и думать. Взять продолжительный отпуск для лечения она не может, жить будет нечем; один исход — службу оставить. Проектирует она поселиться в глухом монастыре для покоя и тишины, — но без пострига там, вероятно, вклад спросят. Без нее и мне с детьми оставаться в Петербурге немислимо: если опуститься и до подвальных углов (которых я больше смерти боюсь за детей), то все-таки нам здесь троим не прожить на мои 20 р.; с голода уморю и себя и детишек, они все растут, им теперь больше всего нужно. Тетка тратила на них до 200 р. на одевание, учебники, плату за мальчика и проч. и проч. Моя пенсия уходила только на содержание, и так уже я измучилась за деток, и больше не вынесу такой муки-жизни: всякому видно, какие они у меня истощенные от недоедания, искалечены уже катарам и малокровием. В эту зиму корь вынесли оба, и за то пришлось дочери поплатиться: дети наши от школяров заразились, но по правилам Комиссии, если бы это были и родные дети учительницы, то их нужно было увезти из школы, для дезинфекции, и 6 недель я прожила с детьми в мебелированных комнатах.

Просить пособия по болезни племянников нельзя, — не дадут. Счастье еще, что внуки мои хорошо учатся, что и подтверждают отметки их, и развитее они большинства своих соучеников. Начальство хвалит их, особенно о мальчике получаю самые лестные отзывы, — способный, — но огорчает меня, что слишком он тихий, серьезный и нервный. Отчаянно жаль тех бедняжек, совсем не детскую жизнь ведут, без природы, без маленьких радостей и впечатлений; — шумного и счастливого детства не знали, со стариками в тесноте всегда, — учатся и читают целыми днями. Вот и притихли, вместе с нами вздыхают и разделяют все заботы о недостающих копейках. Тяжело ложится на них и атмосфера нашего уныния, или даже мрачности, разочарования болезненного. Третий год мы и из города не выезжаем; по конке, на пароходике, на травку съездить — и то уже для нас расход не по средствам. Горю как в огне и не знаю, о ком думать нужнее, кого жалеть больше: погибших или погибающих моих. Жизнь бы отдала за счастье внуков, но и самое ничтожное для них не в моей воле.

Ясно, что уехать отсюда необходимо, но и ехать некуда, — не на что. К зятю отвезти детей — жестоко: везде им будет лучше, только не с отцом. Совсем уже он потерянный. Иногда и служит, но за все время не вспомнил, не написал, не спросил о детях, не прислал им никогда 3-х р. на праздники. Его заботы о детях выразятся в том, что отнимет их у меня, раздаст куда-нибудь и будет пропивать их заработок. Если б он был крестьянин, рабочий, но трезвый, — не держала я бы детей при себе, для их пользы; но никто не верит мне и указывают, что «у детей — отец». Есть у меня и еще заноза глубокая, — это третья младшая внучка: чуть не стала и она калеккою от испуга, в ночь когда матери лишилась; сжалились посторонние бедняки и приютили ее у себя, пока я за ней не приеду; но, не дождавись меня, сдали родственникам зятя. Они все многосемейные и бедные тоже, пишут мне, просят взять малютку, ищут — с кем ко мне ее прислать,

и передают из дома в дом. Мы с детьми и вспомнить не можем без слез и страха об этой брошенной нами малютке несчастной,— я стону только и день и ночь, и ничего не придумано о ней, ее-то уж не спасешь и от приюта. Первое время, когда дочь была уже в больнице, отец, кочуя по трактирам, брал с собою и девочку эту,— прятал ее там под столами и в кухне, или ребенок дождался его у дверей, на улице; и это несчастное, береженное матерью дитя, и дома ночь и день находилась между пьяниц, валявшихся на полу. У меня есть письма об этом полуграмотной бабушки зятя. И все, что я пишу вам от слова до слова — истина самая отчаянная, которую могу доказать в каждом факте. Это ли еще не несчастные детки, хуже многих сирот их положение. И что же мне с ними делать,— Господи! — я на улице, бывает, готова закричать — «помогите, спасите, посоветуйте, люди добрые!» Ведь есть же добрые и добро на свете. Пусть я смешная, глупая старушонка, но не за себя я прошу, для меня одна могила нужна, но детки мои, детки,— и за что! Чем они хуже других, чем виноваты? Но уж знают они всю горечь бедности, тяжело им и за недочеты костюма быть последними между товарищами и у начальства. Бедность в наши дни не только что порок, но и язва прокаженного: от нее сторонятся, боятся. Не преступление ли беднякам детьми обзаводиться?

...Словом, я кажется еще не сошла с ума, но пишу вам как безумная, я так запуталась, измучилась в делах своих, что и представить себе не могу, что будет с нами осенью,— или даже через неделю. Простите Бога ради меня старую, мне уже 64 года, мне очень больно посылать вам мое неумелое, некорректное и домашнее письмо, если примусь его сокращать и переделывать, лучше не напишу и никогда не кончу, а откладывать дольше уже невозможно ради деток...

Александра Н-ва. 1904 г., 14 мая.

Вот, мне кажется,— пафос и стимул демократии, как он передан не другими, а говорит сам о себе и сам за себя.— *В. Р.*

* * *

Вот еще письмо — как бы о нищей и больной деревне, в параллель этой полуживой старухе. Привожу все это к тому, чтобы спросить: время ли нам завидовать венецианским колоссам, и, сравнивая их с лаврскими колокольнями, спрашивать: «которая выше и тяжелее», и радоваться, что «Бог стряс башню Св. Марка за гордость». Совсем другие темы... Орфографию письма сохраняю:

«Милостивый Государь, Г-н Редактор! Я осмеливаюсь попросить Вас (,) нельзя ли поместить мое письмо в Вашей много уважаемой газете (;) письмо мое следующего содержания. Я читал на первых неделях великого поста, что у многих Церквей были наклеены воззвания на расширение православия в Сибири (;) но поэтому поводу я осмеливаюсь на писать (,) что есть внутри российской на пример в Вологодской губернии в Тотемском уезде Пятовской волости в Новом Поселке (,) в котором на ходитца до 40-к домов (:) выехали в 1895 году за 40 верст от прежнего жительства и были вечные православные Крестьяне (,) но теперь начинают распространятца разные Секты, как то Старообрядцы (,) на пример Семеновская вера (,) Федосеевская (,) Андреевская и так далее; послушаю тово (,) что не имеют православной Церкви на рстояние более 25 верст (,) и не слышали церковной службы с 1895 года (;) ето только старые люди (,) а молодые даже

не знают что такое церковь, живут кругом в лесу (;) бывает в зимнее время на рождаетца младенец (;) родители должны вести для святого крещения за 25 верст (,) но как же тут не быть греху, таково младенца вести в зимнее время, а что весной когда разольютца речки (,) тогда и не думай ехать, бывают случаи кто либо помрет и скрестьян в такую распутицу (,) тогда куда же его деть (:) кладбища тоже не имеют (,) должны держать дома до просухи, а чтобы исповедать и причастить больного (,) то етого нельзя и сделать никак, никто не согласитца съездить за священником в такую распутицу на своих клячах (,) которые еле ходят по хорошей дороге. Хотя бы кто и согласился съездить за священником (,) но я уверен (,) что священник не осмелитца пуститца потокой дороге, так как не может быть не безопасной. Но как же тут сделать (?) крестьяне хлопочут уже более пяти лет (,) что бы разрешили построить церковь и кладбище в своем селе (,) но им разрешили и выслали план (,) но план оказался не правильной, отослали его переменить на следующей (,) но теперь уже три года прошло (,) а мужички не могут получить плану не того не другого (,) и подано прошенье (,) что бы разрешили рубить лес ис казенных дач для постройки церкви (,) но ничево досих пор нету, мужички уже сколько рас делали справки о получении ответа (:) на все ето получали только утешительные ответы (,) что скоро будет, и ето скоро уже прошло три года (,) все еще ничево нет, и кто ето удяргивает (—) крестьяне понять не могут, так же просят на счет школы (,) им прислали от города учителя Мальчика (,) который только окончил городскую школу (:) какойже ето может быть учитель (,) он только может играть в бабки с учениками (,) а не учить крестьянской жизни. Поэтому и просят крестьяне с почтением и глубоким прискорбием на печатать в Вашей уважаемой газеты (,) не откликнетца ли кто ис православных крестьян и не возьметца за ето Святое дело своими руками по закону Божию.

Пишу сослов Крестьян етого села.

Прошу перепечатать в другие газеты». 1903 г. *Н. Б.*

Вот письмо, которое просится в «Московский Сборник» К. П. Победоносцева.— *В. Р.*

Духовенство в училищах

И вот, около этих деревенских, городских и столичных картин,— что же делают «небесные человеки, земные ангелы», монахи, монашествующие, монастыри? Как напечатано («Богосл. Вестн.», 1905 г., сентябрь) в «Записках Преосвященного Саввы, архиепископа Тверского»,— Московский митрополит получает до 68 000 руб. дохода в год: довольно много для «не возлюбившего мира и лепоты мирской» отшельника. Итак, и они в стане тех «удовлетворенных и не жаждущих», которым, увы, не накормить, не напоить голодных и холодных. Да и вообще все духовенство лежит в сторонке, лежит смиреннько около этих слез, отчитывая свои «панихидки». Ну, как они по крайней мере хоть *учат?* или исполняют вообще... *прямое* свое дело? И на этот вопрос, кстати решающий спор и о том, *как и кому и чему* учить — отвечают следующие письма:

В газете «Новое Время», от 3 апреля текущего года № 10087, сообщается корреспонденция из Тихвина, что «незадолго до праздников, по распоряжению Инспекции народных училищ, были закрыты две школы Благотворительного Общества: одна воскресная для девочек, другая — для нищенствующих детей, подбираемых с улицы»; и что «причиною такого крутого мероприятия послужило неимение в обеих названных школах законоучителей; отсутствие последних произошло вследствие нежелания кого-либо из членов местного духовенства преподавать учащимся Закон Божий, несмотря на неоднократные приглашения сих лиц Правлением Общества, вследствие чего уроки Закона Божия велись там учительницами, утвержденными в своих должностях установленным порядком». Школы эти были закрыты временно «впредь до назначения туда законоучителей из лиц непременно духовного звания, а так как в Тихвине из духовных особ по-прежнему никто не выражает намерения принять предложения Благотворительного Общества, то занятия в школах последнего, по всей вероятности, прекратятся надолго».

Сообщенное очень грустно и потому, что все происходит лишь от *«нежелания»* кого-либо из членов местного духовенства преподавать учащимся Закон Божий: но это происходит в провинции и, быть может, по причине, что за труды законоучителя не может быть производимо вознаграждение. А вот чем же объяснить *«нежелание»* преподавать Закон Божий законоучителем, приглашенным специально с этой целью и с вознаграждением весьма приличным, если это можно считать при оплате годового урока в 200 рублей. Между тем это факт и почти в районе столицы: в С.-Петербургской Земледельческой Колонии, где число малолетних, в 200 человек, распределено по грамотности в девяти классах. Из них четыре класса представляют нормальную одноклассную министерскую школу, в которой обучается 60 мальчиков, не допущенных еще до изучения ремесла, как малограмотные и не достигшие соответствующего возраста; пять же остальных классов при мастерских существуют для мальчиков, допущенных к изучению ремесел: слесарного, столярного, сапожного, портняжного и шорного. Эти дети в свое время уже прошли вышеупомянутую школу, и впоследствии явилась нужда в повторении забытого, а некоторые из них допущены к изучению ремесел в силу великовозрастности и в тех видах, чтобы их не выпустить без знания ремесла — куска насущного хлеба. Учителем каждый из пяти последних школ состоит воспитатель, который все время, с 7 часов утра до 9—10 вечера, несет прямые свои воспитательские обязанности; и должен в то же время ежедневно уделять по четыре часа на учебные занятия со своими питомцами, с таким расчетом, чтобы на каждого питомца приходилось не менее двух часов классных занятий, а также прилагать все старания к тому, чтобы каждый мальчик, в возможно краткий срок, мог основательно восстановить в своей памяти забытое и усвоить те знания, которые требуются программой одноклассной министерской школы. Вот в этих-то пяти классах и не ведутся уроки Закона Божия, несмотря на неоднократное напоминание законоучителю, что мальчики эти требуют повторения для восстановления знаний по Закону Божию, — не говоря уже о знании истории Ветхого и Нового Завета, но хотя бы самых обыденных молитв с объяснениями; и что сами мальчики жаждут этих знаний и неотступно пристают к введению урока Закона Божия. По расписанию на повторительные уроки по Закону Божию, с воспитанниками, изучающими ремесла, назначено 6 часов в неделю, — и вот от этих-то уроков законоучитель совершенно уклонился, а дает лишь два урока в день по 50 минут каждый в первой школе, состоящей из четырех

классов, и тем ограничивается вся его педагогическая деятельность; тогда как заведение это, имеющее свою задачу исправление несовершеннолетних преступников, по своеобразным условиям, вызываемым этою задачею, во многом отличается от других учебных заведений и, между прочим, требует, чтобы законоучитель был не только настоятелем церкви, но и духовным отцом и воспитателем. Между тем, кроме вышеупомянутых двух уроков, уделяемых на обучение грамоте мальчиков, он только совершает церковные службы в воскресные и праздничные дни, на первой, четвертой и страстной неделях Великого поста и в первые три дня св. Пасхи,— получая содержания 1000 рублей, имея прекрасную квартиру с готовым отоплением. Если в деле религиозно-нравственного воспитания питомцев воспитатель должен «содействовать» законоучителю в развитии в детях религиозного чувства, то как же воспитателю «содействовать» законоучителю, когда последний совершенно уклоняется от прямых своих обязанностей? и чем же объяснить такое его отношение к делу воспитания питомцев Колонии!

Скорбящий
1904, 7 апреля

II

Прот. Ф. Орнатский, говоря о Законе Божием в школе, все-таки большую ответственность за детей кладет на плечи родителей и воспитателей, а законоучителей совсем выгораживает от этой ответственности и всю деятельность их сводит на старое, т. е. на полную индифферентность. Почина в добром деле с их стороны, по-видимому, не будет. Понятно,— им, столичным священникам, очень тягостно изменить свою сладкую, обеспеченную, плавно катящуюся, вполне светскую жизнь на жизнь более вдумчивую, полную забот о «малых сих». Надо правду сказать, что редко кто из них умеет говорить с юношеством, на которое действует сильно только одно искреннее, согретое любовью, слово. А их дела, их жизнь частенько расходится с их словами, что заметно бывает и малым детям.

От Ф. Орнатский говорит, что наше духовенство много делает..... между прочим живою проповедью! Но этой живой проповеди что-то мало слышно. Набравши побольше текстов и связав их кое-как, наши духовные воображают, что продолжают дело апостолов, и называют свой набор фраз «живой проповедью». Вот гораздо лучше было бы, если бы они отнеслись с «живым» чувством к вопросу о Законе Божьем в школе. Тут-то они все молчат, даже бывшие члены комиссии П. Н. Боголепова; а как миряне заговорили о заброшенности наших детей в религиозно-нравственном отношении, так они тоже сочли за нужное отозваться и оповещают «большую» публику о том, что и они толкли воду в ступе и пришли к тому заключению, что все почти обстоит благополучно, вот разве учебники плохи: да это дело поправимое, стоит только сократить Библию, руководясь заграничным примером. Другой еще слаще говорит, что законоучитель «не может влиять на детей в религиозно-нравственном отношении» (Л. П. в «СПб. Дух. Вестнике»). Да потому и «не могут», что слишком отошли от идеала пастыря и превратились в духовных чиновников. Если чувствуют свою слабость в идеальном отношении, так у нас есть сонмы людей, могущих быть поставленными в идеалы христиан на всех жизненных поприщах; почти двутысячелетняя история Церкви может их представить. Но наши «батюшки» не очень-то любят знакомить учащихся с этими образцами последователей И. Христа. Их симпатиями биографии святых не пользуются при обучении детей.

Третий законоучитель готов ставить полугодовые баллы за религиозную настроенность (см. письмо О. Лисицына).

По-видимому, эта наболевшая язва нашего времени не очень-то заботила наших пастырей. Общая реформа застала их врасплох, и теперь они начали говорить что-то несуразное. Но все они согласны в том, чтобы их не заставляли «учить» Закону Божию, что это для них невозможно, а вот они вместо этого будут «приходить и читать Библию». Нет, и учить должны и могут, и дети должны учиться, т. е. запоминать факты, связь между фактами, уметь объяснять их и рассказывать, через что они привыкли думать по-православному. И это вполне возможно. Один час в неделю можно посвятить непринужденной беседе детей с законоучителем. Этот час внесет оживление, разнообразие в занятия по Закону Божию. Вот тогда и батюшка будет влиять на поведение своих учеников, и дети полюбят священника.

От. Ф. Орнатский в конце сегодняшней статьи подводит итоги всему им сказанному: — эти итоги на практике сводятся к нулю; в одном своем тезисе он говорит:

«Необходимо заменить учебники по предметам Закона Божия подлинным Словом Божиим, для чего желательно издание учебной Библии».

Но ведь Новый Завет невозможно и нет никакой надобности сокращать; поэтому остается один Ветхий, т. е. курс I класса по теперешней программе. Значит, хлопочут только об одном первом классе. Счастливым же класс! А где шесть остальных? и что с ними предполагалось делать в комиссии П. Н. Боголепова? Ведь такое забвение целых шести классов более чем странно!

Невольно горько вздохнется при виде этой холодности, этого небрежения к святому делу воспитания.

Неужели же нашими законоучителями еще не сознается необходимость изменить, коренным образом реформировать программу по Закону Божию, так чтобы курс всех семи лет составлял в сущности одно стройное целое, а не так, как теперь, когда курс каждого класса стоит особняком, будучи ничем не связан ни с предыдущим, ни с последующим. Можно согласиться, что для наших законоучителей эти скачки очень удобны: во время прохождения одиночных программ никакой работы не требуется от батюшки. Но ведь главное-то здесь «малые сии».

Из письма о. Орнатского видно, что он человек светский и пред В. Вас. Розановым расшаркнулся и похвалил его, и с г. Н. Платоновым согласился, и защитил законоучителя Л. П., говоря, что его, — довольно ясные — слова «надо понимать в ином смысле», и свящ. М. Лисицына отчасти одобрил. Сейчас сказано человек, что умеет вести себя в обществе. А так как г. Розанов укорил законоучителей, будто они заботятся о своей выгоде, настаивая о прибавке недельных часов, то о. Философ уже ничего не говорит об этом. Но без этого не обойтись, если хотят серьезно поработать над воспитанием детей. Вообще, из всего его письма так и сквозит желание положить этот вопрос под сукно, как, по его мнению, не серьезный. Бедное русское, православное юношество!!

20 августа 1901 г.

Александр Русинов

III

Корреспонденция из Нижнего Новгорода

3 мая 1905 г. здесь происходило интересное заседание местного духовенства при участии обоих епископов — Назария и Исидора, на котором одним из местных ревнителей православия, доктором Апраксиным, был сделан доклад на тему: «Просветительно-воспитательное значение православного богослужения и способ

ведения его в настоящее время» *. Указав на громадное просветительно-воспитательное значение православного богослужения, *при условии правильного его исполнения*, содержащего в каждом церковном песнопении изложение и разъяснение догматов православной веры, автор нарисовал неприглядную картину современного ведения церковной службы. Все, что придает церковной службе красоту, смысл и содержание, чем обуславливается ее великое, просветительно-воспитательное значение, или *пропущено*, или *сокращено* до крайности. От многих прекрасных служб осталась одна голая или с жалкими обрывками содержания схема, слишком мало говорящая уму и сердцу. Некоторые службы сокращены настолько (отпевание), что в них встречаются стихи без подлежащего и сказуемого; другие службы (малая вечерня, повечерие, девятый час, полуночница) не правятся вовсе даже в некоторых церквях монастырских. То, что не пропущено, исполняется крайне небрежно, без всякого старания; священнослужители проникнуты, по-видимому, одним только чувством — поскорее покончить тягостное для них богослужение. Но особенно плохо чтение, об улучшении которого, видимо, совершенно не заботятся. Желательно, чтобы все чтение совершалось на середине храма.

О стройности пения на левом клиросе тоже мало заботятся. Если прибавить еще не в меру развязное поведение клириков, с их невниманием к службе, постоянными разговорами,— часто, по-видимому, на довольно веселые темы,— то картина получается прямо безотрадная. Выходишь нередко из храма не с радостным и умиленным сердцем, а с разочарованным и негодующим.

Как на причины этого печального явления, докладчик указал на общий упадок религиозного духа, охватывающий и современных священно-церковно-служителей, на чрезмерное совмещение должностей и проч. Последствия всего этого таковы: лишенное своих красот и содержания, богослужение перестает производить надлежащее впечатление на присутствующих в храме, посещение храма превращается в тяжелую обязанность, вместо восторга и умиления православный нередко выносит от такой службы горькое чувство недовольства и разочарования. Просветительно-воспитательное значение такого богослужения сводится почти к нулю. Богослужение перестает быть школой. В результате то ужасное религиозно-богословское невежество, соединенное с равнодушием, которыми характеризуются современное общество. Несомненно, что отпадающие от православия теперь в расколе, для которых «внутреннее» раскола непонятно, соблазняются неприглядностью главным образом нашего «внешнего», а это «внешнее» есть богослужение и образ жизни и поведение нашего духовенства.

* В литературе был поднят вопрос о расторжении браков, уже несчастных и ожесточенных в ядре своем. Протоиерей Петропавловского придворного собора, А. Дернов, во главе многих других из духовенства, выступил против всяких расторжений брака по каким-либо другим причинам, кроме засвидетельствованного в консистории прелюбодеяния, утверждая, что *«несчастные семьи и дурные браки вообще происходят от единственной причины — отсутствия страха Божия в людях, непослушания голосу пастырей, и, особенно, от того, что вступающие в брак женихи и невеста, как и сопутствующие им в храм родные и друзья — невнимательно, небрежно и легкомысленно относятся к великому таинству венчания. И что если бы этого не было, то браки вообще и всякие были бы счастливы, как были счастливы у людей старого времени и теперь у благочестивого сословия духовенства»*. К этой точке, как некоей «вифлеемской звезде», сводились все его рассуждения, как печатные, так и устные в Религиозно-философских собраниях в Петербурге (в 1903 г.). Таким образом, не нужно никаких реформ в воззрениях на брак, никакого изменения законодательства о браке — а только внимательное присутствие на богослужениях. Курина логика. Но, главное: а правда где? Доклад в Нижнем Новгороде, в присутствии двух архиереев, и притом сделанный ревнителем православия, вдруг на упрек духовенства: «Исцелитесь», отвечает: «О, врач! исцелился сам»...— В. Р.-в.

В заключение докладчик высказал взгляд, что богослужение не есть только молитва или собрание молитв, оно есть цельное художественное произведение, которое должно заставить присутствующих переживать те великие события, которые в нем воспроизводятся и воспоминаются.

Собрание затянулось до 12-ти часов ночи и вызвало оживленный обмен мнений. Большинство присутствующих признало приведенные в докладе факты безусловно верными, взятыми из жизни, и дополнило их некоторыми другими, весьма неблагоприятными, касающимися поведения диаконов за богослужением и дерзости псаломщиков. Преосвященный Назарий благодарил докладчика, просил иереев впредь совершать службу возможно ближе к «Уставу», а псаломщиков и диаконов повелел собрать к нему отдельно для личной беседы с ними. Постановлено: все чтение вести не на клиросе, а на середине храма; 2) ограничить своеволие регентов и псаломщиков; 3) устраивать время от времени пастырские совещания, под председательством Преосвященного, для обсуждения насущных вопросов церковной жизни.

* * *

Но, может быть, разбредшееся стадо — по пастуху? Каковы пастухи? Вот заметка из № 72 «Гражданина», именно — *Дневник его редактора от 9 сентября 1905 года:*

Пятница, 9 сентября 1905 г.— Я получил от одного священника из губернского города письмо, в котором, между прочим, значатся следующие строки: «Владыко принимает всех священников в передней, возле вешалки и галош,— принимает всех зараз и при публике; и если кто оробеет или не совсем гладко изложит свою просьбу, то такого священника на смех поднимает; так что некоторые любители комичных представлений нарочно заходят в приемные часы позабавиться, глядя, как это Владыко-Архипастырь над своими священниками издевается».

Эти строки рисуют достаточно живописно отношение Архипастыря к своим священникам и взгляд его на священника.

Не скажу, чтобы они сообщали что-либо новое, как бытовую картину в печальной жизни нашего духовенства. Еще в годы моей молодости, когда я много ездил по России,— только в виде редких исключений я встречал иерархов, которые принимали священников с уважением к их сану, а общим обычаем было обращение иерарха с священниками именно такое, какое изображает харьковский священник.

Следовательно, удивительного в том, что пишет священник, ничего нет.

Но удивительно вот что: сколько десятилетий прошло так называемого прогресса в России, худого или хорошего,— это другой вопрос, но все же вызвавшего известные, более уважительные отношения к людям низших положений, к подчиненным, даже к крестьянам; но в отношениях архиерея и, следовательно, секретаря канцелярии к священникам ничего не изменилось: то же неуважение к личности, та же грубость в обращении, тот же тяжелый грех забвения, что та самая божественная благодать, которая «пророчествует» епископа, лежит на священнике и делает его достойным служить Богу у Его алтаря и совершать тайны!

Этому нельзя не удивляться, и с горечью и с грустью удивляться, ибо именно этим объясняется, почему тому или другому архиерею, принимающему священника в передней, совершенно все равно, кто этот священник: такой ли, что уйдет

от него с этого оскорбительного для него приема со слезами, вырвавшимся со дна души на свободе, или такой, который скажет себе: «если ты на меня плюнешь, то и я на тебя и на все остальное плюю»; тот ли, который всю свою жизнь посвящает с любовью и верою служению Богу и пастве своей, перенося покорно и нищету, и страдания, и унижения, или тот, который живет только для своего брюха и для своего благополучия, не брезгая самыми гнусными пороками.

Жертвенник стоит. Духовные укоряют мирян: «отчего» те не «молятся»? Но где же на жертвеннике огонь?! — В. Р.

Новый свет из «Маяка»

Чудные осенние дни. Со станции Териок вхожу в вагон и вижу доброго моего знакомого, врача Н. П. С—ва, которого я знал еще студентом, бесплатно лечившим и учившим рабочих на Выборгской стороне. Всегда любил я слушать его мягкий баритон и смотреть в его глубокие глаза с загадочным мерцанием, происходящим от какого-то двусмысленного прищуривания век. Разговорились самым дружелюбным образом. Но, оставляя разговоры о погоде, даче и японцах, он вытащил из бокового кармана какую-то пачку бумаг и еще из портфеля тоже пачку бумаг:

— Я основываю среди членов общества «Маяк», что на Литейной, особую фракцию, под названием: «Луч Маяка, занимающийся исполнением седьмой заповеди...»

— «Занимающийся?» — переспросил я с удивлением.— Но ведь именно для вашей цели требуется *«не заниматься»* в особой, вами избранной сфере! Я понимаю «общество любителей хорошей еды», но, например, «общество *не* еды» никак не могу понять. «Общество, занимающееся *не* едою»... брр., это что-то бессмысленное.

Он пытался поправиться.

— И к чему,— продолжал я,— вам собираться в «общество»? Ну, *не* ел бы каждый про себя и для себя. Но я не могу себе представить, чтобы вот — вечер, зажигают свечи, собираются члены и один за другим начинают «реферировать».

— Я ничего не ел.

— Я тоже ничего не ел.

— Я весь день воздерживался от пищи.

— Я не обедал, не завтракал и не ужинал, а только пил чай, притом не с булкой, а с сухой просфорой, ибо был натощак.

И прочее. Просто — *нет* содержания! Я не понимаю, для чего «общество», а не каждый порознь «исполняет 7-ю заповедь», зачем *содружество* людей — во-первых, и громкая *аттестация* себя — во-вторых?!

— Но вы прочтите,— возразил он мне,— вот эти признания, какие мне делают молодые люди, эти излияния сердца, эти автобиографические признания.

Я прочитал несколько писем. Большею частью без соблюдения буквы «ф». Общий смысл их: «ел, обжирался, нажил катар желудка и теперь хочу на пищу св. Антония». Это в переносном смысле; в письмах трактовалось, конечно, не об еде, а о тех специальностях, которые относятся до 7-й заповеди и в печати «неудобь сказуемы».

Я отдал своему vis-à-vis эти письма.— «Скучно! Кому все это нужно знать? С кем этого не бывает, но все об этом молчат. И это скромно. Тут сказывается воля. А это какие-то неврастеники, которые полезли к вам с слабонервными излияниями и плачут о том, чтобы вы их вытащили из нарушения 7-й заповеди. Ведь вы доктор?»

— Доктор.

— Ну, пропишите им обтирание холодной водой поутру и на ночь, и припадки как неврастении, так и зуда по части «7-й заповеди» пройдут. Тут нужны вовсе не лекции, не рефераты, и не «общество», а гигиена, труд и свежий воздух.

— Да, но это будет безрелигиозно. Мы же именно хотим не просто быть здоровыми, а хотим поднять в нашем обществе знамя «исполнения седьмой заповеди», и образовали с этой целью кружок, который вы так осмеиваете.

— Пикантное занятие у этого кружка, т. е. пикантно собственно сосредоточение мысли и воображения на такой интересной теме «не делания». Постники, как и гастрономы, ведь одинаково думают о желудке, одни вследствие тяжести переполнения его, другие — от зуда желудка. «Что-то под ложечкой сосет»,— говорят оба. Я боюсь за членов вашего «кружка», что они будут иметь нездоровое воображение; и в конце концов я боюсь, что посетители заседаний вашего «кружка» будут иногда видеть перед собою в качестве референтов об «успехах» кружка бледных юношей с беспокойным блеском глаз и синими кружками под веками. Ей-ей, это нездоровое общество. Вода, воздух, лес — вот путь! А не «кружок» на Литейной. Впрочем, Бог с вами. А тарелочка есть?

— Какая тарелочка?

— В «кружке». Ведь вы «с истинно христианскими целями»? А я замечал, что с «истинно христианскими целями» только то дело идет успешно, в котором поставлена тарелочка. Ведь вы же будете собираться, нужны свечи, зал, т. е. наем зала и покупка свеч. Не из своего же кармана таким благовоспитанным юношам. Прилив посетителей, я думаю, будет значителен, и особенно из барышень: такой цветник не распустившихся бутонов! Положим, тут будут и цветы с облетевшими лепестками, и которые уже не могут расцвести. Но ведь не всем же известны предварительные письма и горестные признания. Все-то, вся публика будет принимать ваших «молодых людей» с утомленными глазами именно за нераспустившиеся бутоны, и это понятно интересно

для барышень, а паче — для пожилых дам «истинно христианского настроения». И вот тут — тарелочка.

— Что-о-о?!

— Очень просто. Будут класть полтинники, четвертаки и даже рубли... «на пропаганду исполнения 7-й заповеди». Какое же «Общество» без капитала? На что, «Армия спасения»... и та имеет средства и от пожертвований не отказывается. У вас тоже «Общество...» самоспасения что ли. Ведь в то время, в те вечера и ночи, когда вы будете «заниматься исполнением 7-й заповеди», вам нужно же что-нибудь определенное делать, как-нибудь тренировать себя, чем-нибудь занимать, наполнять досуг. Кроме воды и воздуха, знаете, есть еще отличное средство — карты. Очень отвлекает. Так что если вы специально только над 7-й заповедью трудитесь, то лучшее средство — винт по маленькой. На веревке не оттащишь. И ни в какой вертеп не пойдут. Да и синих кругов под глазами не будет.

— Но это не по-христиански...

— Зато здоровье цело будет. Поверьте, целее, чем в вашем кружке. Кстати, вы все хотите «по-христиански», тогда как 7-я заповедь — Моисеева закона, а в Евангелии сказано: «прости грешницу» и уж конечно «грешника». Напоминаю, что вы — ветхозаветного происхождения. В Евангелии тоже сказано и о тех «фарисеях», которые любят «останавливаться на перекрестках улиц, перед народом», и громогласно читать молитвы. Христос такой выставки из себя не одобрял и указал, наоборот, все делать безмолвно и скрытно: «Ты же войди в комнату свою, и затвори дверь за собою, и там помолись». Так что вы перепутали Заветы,— и это едва ли хороший знак ваших будущих успехов. Кстати, 7-я заповедь ни малейше не запрещает того, от чего вы предполагаете вполне *воздерживаться*, ибо Бог, давший заповедь «размножаться», притом в Раю, до первого *греха* человека,— конечно не мог поставить в грех этого самого размножения и естественных орудий и способов его. Из заповедей же каждая запрещает какой-нибудь грех: и «7-я» из них запрещает строжайше все ненормальное, всякое уклонение от естественных способов размножения, сопряженное обыкновенно с вредом для здоровья и с нездоровым направлением воображения. И я думаю, ваше «Общество *полного* воздержания» можно скорее назвать «Обществом *нарушения* седьмой заповеди», а уж никак — не исполнения.

I

Высокий талант или гений всегда внушает к себе уважение, кому бы он ни принадлежал,— встретится ли он в своих рядах или даже в рядах враждебных. Католичество к России и Россия к католичеству стоят уже много веков в положении недружелюбном. Но это едва ли лишает права чистосердечного русского человека высказать чистосердечно похвалу и уважение главе враждебного или во всяком случае недружелюбного нам мира.

Всего за несколько дней до его предсмертной болезни, в иллюстрациях помещался рисунок встречи его с германским Императором. Сухая, еле дышащая фигура 90-летнего старца, в характерном несколько женственном одеянии, низко согнулась перед цветущею фигурою Императора и Короля, молодцеватого, сильного, в военных доспехах, с каскою, ловко взятою в руку. Как, вероятно, шумно вошел Кесарь, и тихо сидел, еще за минуту, ожидая его входа, Первосвященник! В лице Вильгельма, как главного на земле представителя лютеранства и лютеранских народностей, входил к папе, в сущности, главный его враг, преемник и Гогенштауфенов и Лютера, сил материальных и духовных, поднявшихся на Рим из-за Альп. Немецкая добросовестность бросилась на латинский ум, гений, прозорливость, хитросплетения. Но паутина была только прорвана, а не изорвана: и на Тридентском соборе латиняне поправили или обрубали все те свои явные пороки и злоупотребления, которые вооружали против себя Гуса и Лютера. Затем, хотя католичество потеряло территориально Германию и страны германского корня, но внутренне зато оно сплотилось и окрепло, как никогда дотоле. Теперь и представить себе нельзя увоза папы в провинциальный городок чужой страны. Авторитет папский неизмеримо вырос, и времена Авиньона неповторимы. Папство, правда, теряет иногда материальные частицы католического мира: но папство и католицизм, как *система мысли и духа*, так же неразрушимы сейчас, как в самые цветущие свои времена. Мальчики могут не изучать философии Канта. Во времена Бюхнера и Молешотта на имя Канта плевали; материально философия Канта в то время все потеряла, ибо не имела вовсе учеников. Но чем это заделало философию Канта в ее существе, сплетении? Она стояла неразрушимою, одинокою. Настали другие дни,— «неокантианства»,— и она встала в полных

объеме и силе. Гонения на католицизм во Франции и Италии — суть чистоматериальные, военные или военно-полицейские: и они ни мало не сокрушают католицизм, как *систему*. Ее могла бы тронуть только *критика*. Но именно теперь критика религиозная или, в частности, критическое рассмотрение католицизма — слабее, чем когда-нибудь.

И вот на рисунке, представлявшем Папу, тихо и согбенно стоявшего перед Императором, можно было прочесть именно в склоненном необъятное упорство воли, почти заранее торжествующей победу. «Я все переживу, я терпелив; я склоняюсь и буду склоняться: но никогда — до земли, в которую сойдете вы все, и ты, и твой отец, и дед, мои современники, и Бисмарк, так кичившийся предо мной и умерший забытым во Фридрихсруэ. Все вы пройдете и сойдете в землю, каждый прогремев свой час, износив свои шпоры и растеряв перья на касках: но *камень* Петров, на котором сижу Я в этой женоподобной мантилье, остается целъ по обетованию моего и вашего Спасителя: *врата адовы не одолеют его*. Я верю слову этому: и сижу и просижу до конца мира на этом самом месте, в Ватикане, около костей св. Петра и близ *casa Romuli* на Палатине».

Могучая *приспособляемость*, и сохранение единства, так сказать, *темы* при всех вариантах *бытия* своего — составляют сущность католицизма. Так, как он рос, столь же медленно и, главное (самое главное!) *органично*, — росли только могущественнейшие организмы всемирной истории. Католицизм нельзя сравнивать с другими церквями или с царствами. Его можно сравнивать только с *категориями* исторического существования, наприм. с эллинизмом, с римской государственностью (юриспруденциею), с наукою в ее цельном сложении. Но католичество есть совершенно новый около всего этого порядок вещей, *res nova sui generis**. Его часто сравнивают с государством, но это ошибочно: что за «государство», помещающееся центром своим на площади чужого и даже враждебного народа?! Не менее основательно было бы католицизм назвать «наукою» как государством: ибо католическое богословие, начиная со схоластики, с трудов еще Фомы Аквинского и Альберта Великого, занимает в католичестве не меньшее место и имеет не меньшее влияние, чем всяческие ватиканские канцелярии и административные скрепы. Нельзя броненосец назвать «электричеством» (по освещению), «паром» (по силе движущей), «командой», «артиллерией»; все это частности и обнимают только стороны явления. Броненосец есть только броненосец: прочие определения не верны. Так все частные определения католицизма как «церкви», «государства», даже как «папства» — не верны. Католицизм есть просто католицизм — вот и все, и достаточно. А в имени этом — бесконечность; бесконечность и духа, и материи.

* новая вещь особого рода (*лат.*).

Лев XIII снова установил твердо корабль католичества, сильно качнувшийся при Пие IX. Он прибег в этом случае к постоянному средству всех пап, приспособляемости, — вечному средству всего живого и живучего. Возьмите организм: в свежем воздухе он глубоко вдыхает; в душном, отравленном — дышит короче; против ядов он вырабатывает сам в себе противоядия, необыкновенные, странные, не сотворимые в обыкновенных лабораториях. И все живет и живет среди опасностей и неудобств.

Так и папство: во всякую новую фазу истории оно входило и входит новым существом, но почерпнув «новизну» не через внешнее усвоение, и таким образом не покорившись обстоятельствам, а взяв ее в обновлении *своих* сил и извлекая новые теории и новые точки зрения из необозримого арсенала *своих* собственных учений. Папа нисколько не перестал быть «Pontifex Maximus», соединившись или начав подавать руку социализму и отвернувшись значительно от королей или принцев. Он не вел рискованные переговоры с Лассалем или с его преемниками, как Бисмарк; не вел их ни папа, ни кто-либо из кардиналов. Зола он не допустил до себя, принимая в то же время самых незначительных лиц. «Sum ut sum aut non sim» * — остается девизом папства и в самоновейшую его фазу. Он рекомендовал Фому Аквинского, как рекомендовал подумать и об обездоленном рабочем пролетариате: таким образом, он обнимал умом, как бы равно близко стоя к ним, века XIII и XIX. В осторожности Льва XIII, как и в пылкости Пия IX, при всей их, по-видимому, противоположности, мы, в сущности, наблюдаем лиц не столько индивидуально великих, как великих коллективно: велик тот холм на берегах Тибра, mons Vaticanus, на котором сидят и трудятся эти... люди с языческим еще титулом у себя: ибо «Pontifex Maximus», или сокращенно «Р. М.», под изваяниями — титул еще Римской республики, до Христа бывший.

Удивителен не *индивидуально* — папа, но — *папство*. С первых времен западного христианства оно начало расти и выделяться, как рос и вырос из casa Romuli — Рим: так же незаметно, мало-помалу, но так же постоянно, неустанно, точно имея «звезду над собою». Папство было и останется как бы нервной системой в организме католичества; без него католичество, как церковь, богословие, мораль, богослужение, мигом рассыпалось бы в ничтожество, в труп. Так теперь велика уже сила исторической к нему привычки, отнесения всего в католичестве к личности папы. Это единственная церковь — *личная*: тогда как остальные церкви, сперва по неудаче и потом принципиально, не только без-главны, но и без-личны: обобщены, смутны в выражении своем, и являют духовные и священные *учреждения* и *установления*, конечно, не без *администраторов*. Однако это огромное

* «Существовал бы, чтобы существовать, иначе не стоило бы существовать» (*лат.*).

развитие «олицетворения» в западном христианстве не следует смешивать с бессоборностью: напротив, во все трудные моменты или в моменты новые, новой фазы существования, католичество собиралось на соборы, имена которых всемирно известны. И хотя теперь папы объявили себя «непогрешимыми ex cathedra в догматической сфере» — но почти наверное можно предвидеть, что они и впредь не перестанут собирать, в сомнительные минуты или в минуты торжественные, «соборы», почерпая в них такой источник силы, оживления, красоты и влияния, каких нельзя же найти в глухих и темных канцеляриях, без всемирной видимости их, без вековой о них памяти. Слишком они мудры, чтобы выронить хотя малейшую драгоценность из рук: а соборы, несомненно, в общем придали необыкновенный цвет и оживление как в общем всему католичеству, так в частности и личности руководивших ими пап. В формуле папской «безошибочности» (infabillitas) вовсе не перечислена рубрика предметов, к каким она относится: и достаточно папе объявить какое-нибудь затруднение, вовсе не «догматического», напр., характера, вне своей «мудрости», — чтобы повод для собора, когда он станет нужен, вновь явился. Да и Ватикан, с громадной массой пребывающего там духовенства, при отсутствии вообще в последнем раболепия и подавленности, не есть ли, в сущности, скрытая форма постоянно пребывающего собора «parvae et privatae species» *: кадр уже готовый собора явного и на глазах мира.

Выбор нового папы не принадлежит предыдущему: это одно проводит резкую и вечную границу «олицетворения» католичества и сохраняет в нем колорит — употребим политические термины — скорее духовной аристократической республики, нежели монархии. Тут есть две стороны: обладая «infabillitate ex cathedra», папа в высочайшей степени олицетворяет Церковь. Таким образом Церковь там не есть «строй», «система органов», вообще какой-либо «институт», а — именно и непременно лицо, глазастое, слушающее, ласкающее, яростное, *человеческое*: к которому и относится все благоговение верующих. Но это лицо служит Церкви, а не себе; олицетворение — для церкви, для верующих, а не из своекорыстного *интереса* самого лица. Умер папа — и с последним вздохом абсолютно все его, ему лично принадлежавшее, умерло: выступает *respublica Romana*, *mons Vaticanus* **, «патриции» католичества в красных мантиях с шлейфом (у кардинальского парадного одеяния — длинный, чисто женский же шлейф, при узкой обтянутости вокруг туловища). Наконец, если принять во внимание, что сан священства с последнего «сигé» не может снять сам папа, даже при своей «непогрешимости», — хотя бы священник этот отступил от папы и проклял самое католичество («его будет судить Бог: но судить именно как священника», — говорят в таком случае его начальники, не решающиеся снять

* «малого и частного вида» (лат.).

** Римская республика, гора Ватикан (лат.).

с него сана), то мы увидим, что коллективная *соборная* личность миллионноголового католичества обеспечена так неизбежно, как бы там существовало «liberum veto». В самом деле, «свободное слово», с страшной абсолютностью этой свободы, не отнято у нижайшего члена служебной «армии Христу» (берем их понятия): и последний что бы ни говорил и как бы ни был наказан (ведь и носителя liberum veto * можно было убить) — имеет, однако, за собою и у себя слово с авторитетом непоколебленного своего священства. Невольно вспомнишь опять же античный Рим с его comitia patricia, centuriata и tributa **, с его reges *** и диктаторами: странная смесь, где столь оригинальные и неповторимо сплелись в один канат элементы цезарские, республиканские и даже охлократические. Но в Ватикане это качество *смешанности* повторилось без подражания,— вторично выросло из ветхой земли, как новое дерево аналогичного сложения. Все это сотворялось веками, в сложнейшем католическом богословии, без малейшей собственно мысли что-нибудь взять из государственных учреждений старого Рима. Можно сказать, Рим папский так же *приспосаблился* ко всему, как никогда ничему *не подражал*: он всегда рос из себя, убежденно и вдохновенно; шел — следуя «звезде своей».

III

Касательно католичества у нас, русских, можно сказать, существуют одни предрассудки и коротенькие смешки. Новая наша полемика против него есть только серьезная форма развития этих же смешков. «Там все поглотил папа: начала *соборности* там не существует вопреки нам, у которых начало соборности сохранено». Так писали не только славянофилы, полемисты ex professo ****, но мне пришлось формулу эту услышать в аудитории Московского университета от такого знатока истории и убежденного западника, как В. И. Герье. Между тем кто же не знает, что именно западная-то церковь и собиралась всегда на соборы в затруднительных случаях: Клермонский, Флорентийский, Базельский, Констанцкий, Латеранский, Ватиканский? И здесь «соборовавшие» представители духовной и светской властей были так независимы от личности пап, что порою папе приходилось бежать с собора. Это была революция, так сказать, введенная в душу церкви, как ее принцип, как liberum veto ***** в конституции Польши. И папство не только не погибло от этих революционных в себе принципов, но через них увеличился блеск и объем католицизма, а от него все это, т. е. блеск и сила, перешли на папство. Второе столь же частое обвинение католичества

* единоличное вето (лат.).

** собрания отечественные, народные и по трибам (лат.).

*** дворцами (лат.).

**** по роду своих занятий (лат.).

***** запрет на выпивку (лат.).

заключается в том, что они «не позвали нас» на эти свои совещания. Тут сказывается обида «дальнего родственника», которого обошли приглашением на именины; обида, всегда особенно язвущая и никогда не прощаемая. Но дело в том, что первое время нас звали туда, но мы сами не пошли по чванству, по узкому провинциализму своей мысли, из страха провратиться и загородить окошечку перед лицом целого мира. Известны споры Грозного с Поссевином, где он огорошил «западника» вопросом, для чего они бреют подбородок; и еще другой случай, где невежливо отвечавшему кардиналу Великий Князь Московский велел прибить шляпу гвоздем к голове. Таким «богословам» с гвоздями и интересом к подбородку было трудно выступить перед лицом мира. И вот обидчивый «дальний родственник» протестует: зачем же они собрались и советовались, когда «нас там не было» (взгляд Хомякова). Но ведь надо же было католикам что-нибудь ответить на критику Лютера и Кальвина; надо было исправить неясности в доктрине и злоупотребления в практике, которые вызвали ополчение реформации. И они собрались на Тридентский собор. Ибо решительно невозможно было, напр., на сомнения Лютера о спасении *верою* или *добрыми делами* ответить постановлениями Никейского собора. Как Никейский собор собрался и вынужден был собраться в виду критики и сомнений Ария, так Тридентский собор собрался и не мог не собраться в виду критики и сомнений Лютера,— не меньшей, чем у Ария, силы и искренности. Ведь это у нас только перед лицом купцов, обмеривающих покупателя в товаре, для вразумления их читаются громовые проповеди Иоанна Златоустого, поносившего развратный Константинополь за пороки роскоши и разврата. Такого неумного расхождения вопроса и ответа, нужды и удовлетворения на Западе не допускается, не допускалось.

Есть еще упрек католичеству, по-видимому, более основательный: что это давно уже только *политика* и *дипломатия*, а не *вера*, не *молитва*. Он не может быть отнесен к мирянам-католикам, ибо с кем же им вести политику и дипломатическую игру, когда они не имеют, так сказать, партнера? Как и нашим мирянам,— им предоставлено в религии только верить и молиться. Колорит религии этих простых людей тот же простой и теплый, чистосердечный и наивный, как и у нас. Посмотрите на солдат поляков и литвин, приходящих к исповеди в церковь св. Екатерины на Невском. У католиков только больше лиризма в вере, у нас — эпического, красивого спокойствия. Итак, политика и дипломатия — удел собственно иерархии католической, начиная от священника и восходя до папы. Но сказать, что и у них «вера свелась к политике» — невозможно, как невозможно было бы сказать о Филарете московском, что у него занятия делами епархии и вообще делами Российской церкви (как члена Синода) совершенно подавили подвиг монашества и память христианина. И для Филарета, и для папы сутки имеют 24 часа: и если все часы разобраны на «дела», разобраны нетерпеливо и требовательно, то зрителю со стороны представляется, что на верху церковной иерархии

стоит какой-то чиновник или дипломат, а не молитвенник. И о Кутузове, видя, что он не скачет перед войсками на поле, а все подписывает какие-то бумажки, с не меньшим правом, но и не с большею основательностью, можно было бы сказать: «Это столоначальник, а не полководец». Тут мираж и, пожалуй, несчастье главенствующего положения, а не принцип Церкви. Можно было думать о Боге и молиться 18 часов в сутки в Фиваиде, на Монте-Кассино; но с тех пор как у Церкви возникли «дела» и «делопроизводства», вообще механизм и механика,— и она приняла в себя невольно все недостатки, бездушие и формализм механического существования. Центр тяжести этой механичности падает невольно и непременно на главу или главы церквей, которые не *«не умеют»* молиться, но их молитва кратка, тороплива, едва видна, может быть не так тепла, как у простых священников, и во всяком случае не так наивна и пламенна, как у мирян. И какой-нибудь солдат, взрывающийся в нужную минуту пороховой погреб и в нем гибнущий, тоже храбрее и более выражает в себе картинную идею: «война», чем Кутузов или Наполеон, люди не без эгоизма и привычки к некоторой телесной холье. Здесь вообще печаль истории, прогресса и усложнения культуры, а не недостаток личности и не принцип учреждения.

IV

Сказанным мы ни мало не хотим утвердить, что католицизм не имеет недостатков. Но те недостатки, в каких привычно и стереотипно именно русские упрекают их, суть действительно кажущиеся. Вполне поразительно, что при всем огромном уме и тонкости, как администрации католической, так и богословия католического, они точно не видят, что стимул главный возмущенности против них народов и стран есть небрежное и частью преступное отношение их к семье и всем коллизиям брака. Ведь, в сущности, это именно было главным вещественным и нервным толчком, подвигнувшим германцев и англичан пойти за Лютером и Генрихом VIII. И не может же укрыться от католиков, что, может быть, германцы и англичане во всем проиграли, оторвавшись от Рима,— но что в семейном отношении, они несомненно через это выиграли: стали чище, здоровее, нравственнее, словом — биологически крепче латинской расы. *A in corpore sano и mens sana* *: они и духовно, культурно поднялись выше католических народностей вследствие оздоровления семьи, вышедшей из-под убийственного католического режима. Проходя в Риме на Corso мимо дворца конгрегации *De propaganda fidei*, этого почти второго Ватикана, не мог я не думать и часто думал: «Вот если бы таким же *громadным и всемирным учреждением*, столь же *гениально* организованным, зорким, мудрым и деятельным, католичество ответило на смиренные нужды семейных рабов

* в здоровом теле и дух здоров (*лат.*).

своих, если бы с таким же бесконечным милосердием и дальнорукостью и применяемостью к индивидуальным положениям оно относилось в области семьи и брака, с каким в *Пропаганде* применяется к особенностям веры и национальности индусов, японцев, негров, американцев: то без сомнения оно сохранило бы религиозную целость Западной Европы, да и вообще стало бы непобедимо, неуязвимо». Но они лишь картинно приветствовали семью, через Мадонн и св. Юлиана с младенцем на руках: а законодательно и административно и они судят ее не во дворце, как *Propaganda fidei* *, а на каких-то задворках, в какой-то лакейской конуре, едва ли не хуже еще, чем наши пресловутые «бракоразводные столы» в консисториях. Семейные сцены из Библии они изваяли в чудных изображениях бронзовых дверей во Флорентинской баптистерии (крестильне), но дальше бронзы дело не пошло: все нормы семьи взяты из римского языческого о ней законодательства, т. е. в сущности от Венеры Капитолийской (ибо брак везде часть религиозного культа), но ничего для брака не взято из неоспоримого Слова Божия о нем, записанного в Библии. Здесь, как и у нас, у католиков действует та же самая непостижимая слепота, *fatum mentis*, — та же короткость мысли, отсутствие догадок и какого-либо предвидения.

Пий IX, который у нас оценивается очень невысоко, в католическом сознании ставится наряду с самыми знаменитыми в истории папами: при нем произошло формулирование двух догматов, которые — без формул только — давно уже, много веков назад, вошли в веру и почитание у всех католических народов: о непорочном зачатии Пресвятой Девы и о «непогрешимости с кафедры» римского епископа. Первым догматом словесно завершился давно сложившийся «культ Мадонны», «религия Небесной Девы», — в которой, в сущности, очень мало евангельского образа Божией Матери; вторым догматом завершилось учение о «камне Петровом», на котором Христос «основал Церковь». «Паси овцы Мои» — это Иисус сказал не всем апостолам, но одному Петру, т. е. одним преемникам Петра, каковыми считают себя папы, утвердившиеся на месте его мученической кончины. Для нас, русских, все это чуждо и посторонне; но католичество имеет свою историю сознания, историю своих убеждений, и в ней-то Пий IX занимает огромное место. На мои слова, в Италии, что Лев XIII выше своего предшественника, мне отвечали удивлением: «Лев XIII есть только политик, а тот был великий *вероучитель*» (конструктор понятий).

V

Самый *тип святости* в католичестве иной, чем у нас. В то время как на Востоке культивировались идеи тихости, невозмутимости и незамутимости, а в случае страдания — покорности, на Западе входили в культ идеи

* распространение веры (*лат.*).

силы и деятельности. Пассивно-терпеливое христианство и христианство активно-поборающее, — так лучше всего можно выразить восточную и западную религиозные идеи. Когда обрушилась Западная Римская империя и на Европу хлынул поток варваров, то сама история для всякого, кто имел какой-нибудь авторитет, силу, мудрость и святость в себе, поставила задачу: заботу, устроение обломков как бы крушившегося поезда. Это приходилось делать, другое — оставить в стороне. И вот эта-то *помощь человеку*, энергичная, иногда насильственная, и решила мало-помалу из временной исторической задачи и нужды в идеал святости, не связанный больше с временем, отвлеченный и абсолютный. В тихих пустынях Египта и Сирии, на островах греческих, на уединенной горе Афонской нечего было и не от кого спасать: и выработался идеал жизни тихой, созерцательной, уединенной, с отложением «всякого житейского попечения». Вот отчего папы — войны и политики, которые были бы вовсе неуместны на Востоке и здесь не были бы возведены в «святые» — на Западе были почтены как «архистратиги Михаилы» человечества: как подобный образ Ангела-воина введен и нами в Небеса. Сообразно этому деятельному характеру и Пий IX, либерал и потом консерватор, и Лев XIII, подавший руку Французской республике и высказавшийся за правоту недовольства рабочего класса в Европе, ничем не нарушили оба традиций римского священничества и не вышли из круга и идеала понимаемой там святости. Оба, в соответственных новых условиях, пытались быть инженерами-архитекторами возводимого здания цивилизации, все растущей, этаж за этажом. В знаменитых своих энцикликах Лев XIII периодически высказывался о «современном положении вещей», и энциклики эти были всем слышны, — одними обсуждались и критиковались, другими принимались как «credo». Ими Лев XIII успешно или безуспешно вводил, как регент вводит камертоном, «тон» в хор европейских голосов, частью страстно враждебных папству, католичеству, даже вообще вере. Но это все равно: голос папы всем был слышен, а «будущее» и «судьбы», конечно, уже лежат вне его силы и предвидения. Через посредство энциклик он ввел голос в рев мнений европейских, какого не имели Виктория, Вильгельм или Франц-Иосиф. Голос этот во всяком случае слышнее, обдуманнее, сложнее, и всякий отдельный раз долее помнится, чем голос какого бы то ни было оратора в Европе. Он к тому же, обходя мелочи жизни, касается самых высших и принципиальных пунктов данного времени. Таким образом, через энциклики эти папа приобрел как бы ораторскую трибуну в современном парламентарном строе Европы, но только чрезвычайно независимо поставленную, вне частных стран и будничной политики. Он понял, что ведь и Гладстон или Биконсфильд не имели силы физической, как и он, — и однако двигали армиями и флотами: «мнение» вообще управляет и оружием в новом мире. И он, не довольствуясь владичеством над душами, которое более или менее отвлеченно, а иногда и платонично, решился тоже «иметь мнение вслух» и через него влиять на «мнения» же.

Голос и мнение его имеют еще то преимущество, что они никогда не «проваливаются» противною партией, т. е. он всегда что-нибудь выигрывает и никогда не проигрывает.

Папство и католичество — это *imperium spirituale*, духовное кесарство. Глава ордена иезуитов не называется ни игуменом, ни епископом, а «генералом». И вместо классического «*Pontifex Maximus*» к папе удобнее было бы прилагать классический же титул: «*imperator*». Клир, духовенство во всяком случае есть его духовное войско: черные легионы, во всем послушные лозунгам с *Mons Vaticanus*. Служение этой духовной империи привлекательнее, чем служение какому бы то ни было светскому государству на Западе, по чрезвычайному обилию в ней идеальных элементов, по ее седой древности, святому основанию (Евангелие), по величию ее совершившейся истории. «Когда я вошел в сенат, то мне показалось, что я вижу перед собою собрание царей», — передал свое впечатление соотечественникам один афинянин, посол и ритор. Вот такое впечатление, мне думается, затаивает в себе всякий светский сановник или политик Европы, наблюдающий или находящийся среди одной из Ватиканских церемоний, в собрании кардиналов или епископов. Все здесь еще царственно, и только здесь, — тогда как (я наблюдал в парламенте, в Вене) в остальных местах политика и вообще жизнь публичная и историческая захвачена пиджаком и блузою, спустилась в низшие ярусы манер и смысла. Блуза и пиджак, может быть, займут весь горизонт будущего, — очень может быть. Они, во всяком случае, имеют огромное право на существование, на отдых, на благородность человечества. Культура становится все более и более материальной, вещественной; и эти гномы, около нее трудящиеся, и частью ее извлекающие из-под земли, — эти другие легионы с крепкими мускулами и маленькой добросовестностью, имеют свое право сыграть огромную роль. Уже теперь невольно их судьба, о них забота более и более становится главным содержанием государственной европейской жизни. Европейские государства все национализировались. Государство — это теперь нация, с заботами о самопрокормлении и, в зависимости от этого, с улочками поглощения более слабых и низших соседних организмов. Почти вся политическая жизнь свелась к питанию, с значительной атрофией головных интересов. Но папство и католичество еще имеют «голову», — или иллюзии «головы», если последняя, как утверждают некоторые современные философы, вообще имеет в истории лишь иллюзионное значение (марксизм).

VI

Обнимая все нации, впитывая в себя элементы из всех сословий, давая шапку кардинала или тиару папы только заслугам и достоинству, только добродетели, разуму и энергии, католичество — в одно и то же время и республиканское и монархическое, и аристократическое и демократи-

ческое,— содержит в себе самые сильные возбудители для соревнования и самые сильные приманки для всего мечтательного, гордого, героического и романтического. «Рыцарем» в средневековом смысле можно еще быть только здесь. Вот отчего среди поляков, итальянцев, немцев можно встретить столько низших, даже служителей этой Церкви, без памяти любящих ее гордое и древнее здание. Стоит вспомнить «девоток», нищих и служанок, прибегающих только к ранней службе в костеле, или вечно толкущихся на его паперти, и которые готовы жизнь положить за своего ксендза. Стоит вспомнить фанатическую деятельность белорусского ксендза Белякевича, узы и темницу кардинала Ледоховского и «партию центра» в Германии, которая принудила и принуждает свое отечество, весьма любимое, к уступкам иноземной и иноплеменной, итальянской по крови и территории, власти. Католицизм весь талантлив и везде он сплочен, един. Это единство было достигнуто в чрезвычайно медленном и исключительно внутреннем процессе. Было время, когда Ватикан боролся с Латераном, и два папы, один в старом Латеране и другой в новом Ватикане, взаимно проклинали друг друга. Все шло так же упорно и страстно, как в Риме между сперва патрициями и плебеями, потом между оптиматами и пролетариями, и, наконец, между старым сенатом и новой империей. И как в старом Риме всякий век борьбы давал в итоге все высшее единство и еще более мощную силу, так и в папстве и католичестве тысячелетие борьбы выковало власть беспримерно единую, организацию беспримерно слитную, авторитет беспримерно могущественный. «Всюду, где есть грех, простирается власть римского первосвященника»,— так вымолвил, почти про себя, один из предшественников Пия IX задолго до провозглашения догмата о «непогрешимости». Формула эта мне представляется еще притязательнее и несравненно поэтичнее, чем формальная, почти юридическая «*infabillitas ex cathedra*», заявленная и полученная предшественником Льва XIII.

В не очень большой картинной галерее при Латеранском соборе есть портрет Льва XIII, подаренный сейчас по получению им тиары. Портрет почти квадратный, поясной, небольших размеров, но только очень хорошей работы. Под ним есть подпись папы, мною скопированная, но которую я затерял потом. «*Sancta Virgo*»*,— начинается она обращением,— и содержит краткую, строк в семь, молитву-обет. В ней пап-рыцарь, папа-воин клянется *Sanctae Virgini* не покладать рук в борьбе с врагами ее: молитва и обещание чрезвычайно личные и одушевленные. Нам все представляется, что папа только политик; за политиком мы не видим идеала, и папа, конечно, не рассказывает нам своих молитв, мечтаний, тихих ватиканских дум, которые, однако, *есть*. Но он есть священник прежде всего, идеалист-священник. В лице его священническая власть на земле выросла до величайшего своего выражения.

* Святая Дева (*лат.*).

И в этом-то идеализме его священнического сознания и укреплен фундамент его политики, которая настолько решительна, поскольку горяча хотя бы краткая безмолвная молитва.

В линии непрерывного религиозного сознания три храма мне представляются кардинальными точками: Луксор в Египте, храм-город (по обширности), откуда Моисей вынес многие из своих понятий, потребностей, психофизиологических привычек и законов, ритуальных учреждений; знаменитый Соломонов храм, под арками которого пелась уже нам родная Псалтырь; и наконец св. Петр в Риме. В последний мне случилось попасть как раз во время службы кардинала Рамполлы. Тянули «miserege», — но храм до того велик, что между тем как при главном, переднем алтаре шла служба, она именно занимала только угол здания, а по самой середине его было психологически так свободно, на столько чувствовалось здесь пространственно уже другое место, вне богослужebное, что не только большая толпа присутствовавших, но два-три и католические священника прогуливались взад и вперед как по залу, разговаривая громко о своих делах. Храмы древние как бы одевали камнем площадь, и это перешло во многие готические кафедралы (например, св. Стефана в Вене) и в св. Петра. Наши храмы теснее, субъективнее, провинциальнее. В них больше теплоты и по крайней мере привычного нам религиозного смысла. Я хочу и могу молиться только в своей церкви. Это так. Но при всем этом провинциальном устройстве своего сердца, не могу я не сознавать, однако, что «вон там лежат границы нашего уезда» и что с ними мир вовсе не кончен. Худо или хорошо, но я уже учился географии, и не могу погасить в себе знания, что есть иные страны — «где все обильем дышит». Католицизм, как бы мы его ни судили и ни осуждали, во всех отношениях мысли, художества, дел совершенных и задумываемых, — представляет чрезвычайное «обилие» и этим характеризуется всего точнее.

ЦЕРКОВЬ «ПРЕЖДЕ ПОЧИВШИХ» И ЦЕРКОВЬ ЖИВЫХ

Ἐκκλησία = народное собрание.

Греко-русский словарь.

Ἐκκλησία, Ecclesia = церковь.

Каноническое право.

I

Кротость и примиренность сердца многими русскими принимается за коренную черту христианина, за основное евангельское требование. Все помнят слова Спасителя: «Если ты имеешь нечто *против брата твоего* и хочешь принести *жертву* Богу — поди и примиришься прежде с братом твоим, и *потом* принеси жертву» также слова нагорной проповеди: «блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божиими». Сам Христос подал пример величайшей степени этого качества: умирая на кресте, Он говорил об иудеях: «Отче, отпусти им грех их, не ведят-бо, что творят». Иногда самого Христа называют «Примиритель», т. е. качество распространяют на существо поклоняемого Лица и передают в Его имени, *pro popen*. В свойстве кротости, таким образом, выражается как бы лицо христианства, т. е. главная существенная часть. Если бы миссионеров, едущих в Китай проповедовать Евангелие, на границе «срединного царства» спросили: — «Что́ такое вы едете возвещать желтолицым? что́ такое Евангелие и Христианство?» — то они никак бы не ответили: «Мы едем возвестить, что если кто в болезни дерзнет призвать еврея-врача и станет у него лечиться, то да будет отлучен, если это мирской человек, а если это священник — то да будет извержен из сана» (правило VI Трулльского собора).

Этого не ответили бы, потому что тогда китайцы основательно могли бы сказать, что им знать это вовсе не интересно, и ради этого правила они Будду не станут менять на Христа. Напротив, миссионеры сказали бы, что они едут повторить желтолицым слова Учителя «Блаженны алчущие *правды*»... «блаженны *чистые* сердцем», «блаженны *миротворцы*»... И все это произнесли бы с великим одушевлением. И такое объявление о себе раскрыло бы перед ними, да ведь и раскрыло подлинно, двери всех стран и всех вер.

В нашей религии есть *слава* ее; и есть подробности, почти безразличные.

Кто отрицается или пренебрегает *славою* своей веры, тот нам представляется как бы ренегатом ее, или тайным внутренним врагом; — червем, поедающим сердце своей Церкви. Но кто нарушает множество маленьких ее правил, тот только перестает быть фарисеем ее, каковая секта особенно возмущала Христа требованием ригористичности в исполнении правил.

Антифарисейство не есть ли сущность христианства? На такой прямой вопрос сонмы христиан воскликнули бы громко: «Веруем и исповедуем, что Христос и фарисейство — не совместимы и что кто после Христа остается еще фарисеем, тот как бы не слышал призывы Иоанна Крестителя: *Покайтесь — секира лежит у корня дерева... исправьте путь Господу*».

Вот маленькое размышление, основательность которого трудно заподозрить и которое, если бы пришло на ум в Вильне несколько времени назад, то предупредило бы печальный инцидент при похоронах генерала Гурчина. Инцидент заключался в том, что когда умер один из доблестнейших вождей нашей армии генерал Гурчин, командовавший войсками Виленского военного округа, и подчиненный состав войск хотел об усопшем помолиться, то местною епархиальною властью сделано было распоряжение, воспрещавшее православному духовенству служить панихиду по умершем, так как он был католиком. И желание множества русских, ничего не знавших о католичестве генерала Гурчина, но много лет видевших в нем заботливого о себе начальника, «отца-командира, верою и правдою служившего царю и отечеству», не было исполнено,— чем произведено было тягостное впечатление в войсках и населении.

Всегда русские гордились и как бы «славились» тем, что тогда как католический ксендз отказывается исповедать и причастить без отречения умирающего русского, который не имеет поблизости православного священника,— православный священник всегда это сделает для католика в час смертной нужды и когда поблизости нет ксендза. «Мы — *добрее* других, мы никого *не* клянем, мы — *христиане*». Инцидент в Вильне как бы пошатнул эту нашу давнишнюю, нашу историческую и национальную славу. С католиками нас разделяет не столько догмат, сколько эта наша всегдашняя антипатия к их нетерпимости, ригористичности, фанатизму, глядя на какую-то, мы иногда позволяем себе говорить: «Фу, они действуют точно не христиане; забыли, что дух Христов — *кроткий и примиренный*». И вдруг в факте большом, крупном, всеми видимом, оказалось, что *и мы таковы же*.

В газете «Свет», обильно читаемой военными, появилось несколько недоумевающих статей по этому поводу. Тогда за подписью г. Врублевского, секретаря Виленского епархиального Архиепископа, появилось в этой газете длинное разъяснение, почему именно нельзя было исполнить желание православных русских войск. Оказалось, что это «нарушило бы постановление Лаодийского и Антиохийского соборов, ясно и определенно запрещающих православным иметь какое-либо *молитвенное общение с иноверными*». Разъяснение это удовлетворило редакцию газеты «Свет», но не удовлетворило редактора «Гражданина», и один из своих «Дневников» он посвятил разбору мыслей г. Врублевского.

кого. Подпись г. Врублевского так мало авторитетна, а вопрос так интересен для христианской совести, что, конечно, каждому православному позволительно остановиться на этом факте и по возможности обвезать его мыслью.

II

Прежде всего — частности. Генерал Гурчин не был *иноверец* с нами, а только — *инославный*. Таким образом, правило Лаодикийского и Антиохийского соборов неправильно было применено в этом случае. Оно неправильно было применено и потому еще, что живые подчиненные сотоварищи вовсе не хотели «иметь молитвенное общение» со своим командиром, который умер и никакого уже «общения» ни с кем иметь не мог: они хотели от себя, и *только от себя*, в своем собственном храме, вознести молитву *о душе* умершего, *по памяти* о нем. Таким образом, здесь есть объект молитвы, предмет моления; а субъекта, «общающегося в молитве», вовсе нет. Тут не было двух *разнородно* верующих, соединенных *в одном молитвообращении* — и формула Лаодикийского собора сюда не применима.

Этот краткий обзор показывает, как мало у нас точности в определении своих поступков и в понимании древних правил.

Обратимся к другим подробностям.

Лаодикия и Антиохия лежали в пределах древней Римской империи. Разделения церквей в эпоху упомянутых соборов еще не произошло; и «римляне» молились там вместе, не разделяясь, с «цареградцами». Кто же был тогда «иноверцами»? Иноцерковников не было, потому что была одна Церковь; христианство и Церковь были синонимами. Иноверцы были не христиане, т. е. евреи и язычники, вовсе не признававшие Христа: и вот *с ними*-то и было запрещено духовенством Антиохийского и Лаодикийского соборов «иметь общение в молитве», т. е. было запрещено христианам ходить молиться *в синагоги и языческие капища*. Неужели же это одно и то же, что «общаться» с католиком?! «Иноверец» есть тот, который «верует в иное, чем я», имеет «иную веру», «инобога»; но католики с нами, «инославны», а не иноверны, ибо веруют, как и мы, в Господа Иисуса Христа, Пресвятую Троицу, Деву Марию и семь церковных таинств. В самой терминологии православного богословия протестанты и католики именуется «инославными», т. е. *иначе*, нежели мы, *славящими*, прославляющими Бога, но — Бога того же самого, которого славим и мы.

Далее, «общение в молитве» предполагает равенство положения обоих общающихся: например, что оба они живы, и вот оба, будучи разных вер,— идут в единый храм которой-нибудь одной веры. В таком поступке могло бы выражаться отречение от своей веры; и вот христианину и запрещено это делать, выходить из своего

храма и входить в синагогу или языческий храм («общаться»). Но ведь, молясь за умершего, мы скорей как бы вовлекаем *его* в *свой* храм, по крайней мере, *имя* его, *память* о нем, и, веруя в бессмертие души,— обращаем ее, уже сущую в загробном мире, вниманием и любовью к *молитвам в нашем храме*. Это есть скорей слабый и далекий вид приобщения к своей вере инославного, как бы его миропомазание в свое исповедание, а уж никак не приобщение русской души к католичеству. Ведь хотели совершить панихиду «по душе его», а не по его исповеданию как католика; помолиться о *прощении грехов* ему, совершить *милосердие, любовь* и неужели же русскому в словах своей «славы» (исповедания) нельзя молиться о душе католика? Клянусь, не изменяя Православию, я чувствую себя вправе молиться и за жида, и за татарина: напр., если еврей-врач вылечил моего ребенка и затем сам умер, а татарин-пастух пас мой скот, служил мне верою и правдою, и вот затем тоже умер. Есть «грехи» вне исповедных разниц, напр. грех обмана, грубости, неповиновения старшим; и вот если татарин или еврей имеют такие грехи,— я за них и об их прощении буду молиться моему Христу. Ибо хотя они Христа не признавали, Христос остается и их Богом, Творцом и Владыкою; и Его можно молить за этих слепых рабов Его, не знавших своего Господина.

Нужно, чтобы Бог их простил, и я молюсь Богу за них, хотя бы сами они и не молились этому Богу. Я виновен перед начальником своим: за меня может просить не только сослуживец мой, но и человек другого вовсе ведомства, но лишь знающий меня и знающий моего начальника.

III

Но и сверх этого, в данном вопросе содержатся три следующих принципиальных недоумения:

1) Церковь есть *общество верующих*. Это основное определение Церкви, вписанное во все катехизисы. Не нарушила ли своим запрещением епархиальная власть в Вильне желания «общества верующих», т. е. местной виленской «церкви»? Церковь не есть только память прошлого. Тогда она была бы библиотекой или музеем. Церковь есть совесть верующих, обращенная к Богу, сейчас глаголющая, сейчас трепещущая смыслом, могущая сейчас получить вдохновение и начать пророчествовать. «И Саул был во пророках», хотя не был очень угоден Богу. Виленцы русские, виленцы православные, когда заговорили: «Хотим помолиться за старого нашего командира», и были «во пророках»,— ибо праведно было движение их сердца; может быть, это лучшая была свеча Богу от православных за все время существования православия в Вильне. По крайней мере, на прямой вопрос: «Где церковь в Вильне?» местный епархиальный архиерей едва ли бы прямо ответил:

«Я — церковь». Это было бы слишком по Людовику XIV. Скорее бы он сказал, подведя спрашивающего к окну и указывая на сонмы идущего в храм народа православного, идущего, например, именно помолиться о генерале Гурчине: «*Вот — церковь православная, эти верующие*». Таким образом, именно церковь-то хотела помолиться в Вильне об усопшем, и ей помешала администрация, при том еще не точно без разумения прочитавшая постановления Лаодикийского и Антиохийского соборов.

Переходим теперь к ним. Наравне с правилом не призывать в дом свой «жидовина-врача» есть (читаю я сейчас в «Требнике») следующее: «Аще кто заставит боляры, да упроят епископа о священстве или сане — да извержется и да отлучится, и приобщающиеся ему вси, по тридесятому правилу св. Апостол». Правилом этим обеспечена совершенная свобода призыва епископа местною паствою, местною церковью («общества верующих»), органом совести которой должен быть епископ, — быть, так сказать, трубою их душ. Сообразно этому, «извержение из сана» или «отлучение» угрожает каждому епископу, который был бы *прислан* на паству, а не *позван* на нее. Епископ как бы обрuchается с народом, для жизни с ним в любви и единогласии: и это есть такой важный принцип, что уже с первых апостольских времен, в предупреждение нарушений его, постановлено приведенное правило. Правило это я списал с «Требника». Между тем глава виленской епархии в данном случае, с отпеванием генерала Гурчина, не только не был трубою своей местной церкви, но он ею и не был именно потому, что не был позван ею на пасение себя, а был прислан в административном порядке. Приведенное правило св. Апостол в «Требнике» печатается, но оно не только никем не исполняется, но не возбуждает о себе никакого беспокойства, а просто перепечатывается из издания в издание, с тою мыслью, что никто не просит об его исполнении, да и вообще никто «об этих *Правилах*», как и о правилах на счет жидов-врачей, не заботится. И, следовательно, припоминание одного правила, при похоронах генерала Гурчина, из сонма забытых или не исполняемых, содержит в себе нечто нарочное и преднамеренное. Само собою, если бы голос местной живой церкви был исполнен, никто не обеспокоился бы, что этим нарушено правило Лаодикийского и Антиохийского соборов.

IV

Дело в том, что есть две Церкви: Церковь живых и Церковь «прежде почивших», и обе они живут в любви, но *не связаны способом юридического подчинения*. Нужно совершенно отказаться от определения Церкви как «общества верующих», т. е. изменить все катехизисы и собраться на Восьмой Вселенский Собор для нового определения этого важнейшего понятия, чтобы отказать сейчас живущим сонмам верующих в праве

назваться «Церковью» во всей полноте и бесконечности ее прерогатив. Отсечь живых, убить в них голос, совесть, сделать из них повинующиеся трупы — вот к чему привело бы, если бы определить Церковь как «общество прежде почивших», как «сонм умерших и правящих». Повторяем, Восьмого Собора для этого определения еще не собралось. Теперь: постановления древней Церкви были постановлениями некогда живой волнующейся мыслью Церкви, — и только от употребления вместо слова «собрание» старинно-славянского слова «съборъ» и от ассоциации этого слова с «собором» в смысле храма, — происходит особенное и не надлежащее отношение к правилам, тогда выработанным. Через это, напр., «собрание, съборъ духовенства в «Трулле» или Лаодикии, т. е. голос тогдашней живой Церкви в смысле «общества верующих», преобразуется в представление еще какого-то чуть не храма Софии Цареградской, с золотыми маковками, в фимиамном дыме, в золотых одеждах, в священную минуту литургии. Известно, что первые старообрядцы так и понимали под словом «Церковь» не «собрание верующих», но Успенскую и Архангельскую церкви в Московском Кремле. Такое представление, передавая его, жестоко осмеивает Гиляров-Платонов; а вдуматься в него, так мы и сейчас все под словом «Церковь» разумеем: 1) храм, 2) литургию, 3) священника и 4) молящийся в ней народ, — а вовсе не «общество верующих», к каковому с значительными прерогативами принадлежим и сами. Дело в том, что «общество верующих» вне храма и не за литургиею, сейчас не представляется нам чем-то особенным. Таковым и всегда оно было. Но, прилагая к прежде жившим и «ныне почившим» древним обществам верующих старославянское слово «съборъ» и мешая его с «собором св. Софии», вообще с храмом во время молитвы и священнодействия, — мы думаем, что нарушить какое-нибудь правило этих «прежде почивших» есть то же, что совершить дебош, войдя в церковь, где происходит литургия. От этого, хотя большинство древних правил нарушено и о них никто не вспоминает, но это сделано молча, как бы по забвению и нерадивости; или как бы временно и местно, хотя едва ли кто питает иллюзию, что отошедшее в область «прежде почившего» опять когда-нибудь вздохнет свежим дыханием. Явно, что еврей-доктора в христианском обществе останутся, и никогда не подыметься вопроса об отлучении от Церкви всех, лечившихся у них. Мне известны случаи священников (в провинции), которые в случае тяжкого заболевания в доме звали из трех докторов: русского, поляка и еврея — именно последнего. Хотя «Требник» каждый священник знает.

Но достаточно для уничтожения сбивчивости в представлениях устранить стариннославянский термин «съборъ», и ввести простое слово «собрание», чтобы возвратить мысли своей трезвость и твердость надлежащего суждения. История этих «собраний», экклезий, написана; на них были праведные благочестивые мужи, в миру благочестия и сознания своей эпохи; были и неправедные. Они спорили, доказывали, при

доказательствах *ссылались* и вообще *искали опоры* — то в слове Божиим, то в логике, то в авторитете императора. На этих «собраниях» торжествовали одни мнения, не получали торжества другие. Говорившие на них не все имели равную силу, но одни — больше, другие — меньше; собравшиеся делились, и тогда как одни выражали Александрийскую школу, другие выражали Антиохийскую, еще третьи — Римскую, и т. д. Это факт, записанный твердо во всех официально одобренных, официально проходимых в духовных учебных заведениях учебниках церковной истории. Не было ни одного «собрания духовенства», в учебниках именуемого «собором», которое бы вдохновенно пророчествовало, вынесло бы решение свое *сейчас*, как только был поставлен вопрос, *под наитием Св. Духа*, его не *отыскивая* своим умом, о нем *не споря*. Но в христианстве всегда «прежде почившее» становилось особенно авторитетно, окружалось ореолом неприкосновенности. Мы замечаем, что покойнику в гроб кадят, перед ним зажигают свечи. Это совершилось и с мнениями. Едва живые, которых мнения были высказаны на этих собраниях — умерли, как каждое в направлении бездыханного тела их слилось с *каждением в направлении мысли их*. Это бывает и повседневно. Мысль умершего отца становится «ненарушимой» его волей, становится бережно хранимой истиной для детей. Это — мировой факт, мировая тенденция. Она — везде, и она почтенна. В пределах ее образовалось одно из лучших церковных украшений — учение о так называемом «предании». В учении этом выражается родное, роднящее через века, через тысячелетия веяние. Но это есть авторитет чисто нравственного характера, который тотчас потерял бы всю свою священность, поэтичность, ласку и глубину, как только живые, умерев, превратили бы его в какой-то вексель на предъявителя.

Священна память отца. Но если бы кто-нибудь живописный портрет его поместил в божницу и стал на него молиться — это было бы безумие: «не сотвори себе кумира».

V

Из мнений делившихся, волновавшихся, опиравшихся на логику и тексты, и были в последующих веках в значительной степени «сотворены кумиры». И взгляды, которые надо было благочестиво хранить, как веяние и дух прошлого среди настоящего, которые были сказаны даже и современникам-то как совет, а вовсе не как жестокое приказание, начали в последующие времена приниматься как вексель, как закон, как параграфы сложного договора, по которому получатели суть умершие, а плательщики суть живые.

Дань благочестия превратилась в подать. Ленивые тем ленивее стали, тем более замерли в сердце своем, тем охотнее начали думать, что «оброк Богу» заключается просто в «подати прежде почившим», и что достаточно исполнять «правила» первых десяти веков христианства,

дабы уже всю следующую тысячу и даже тысячи лет иметь как бы абонированными места в обителях небесного спасения. Наступили времена, которые иначе и назвать нельзя, как временами фарисейского лукавства. Все то, чем «спасались» фарисеи: *исполнительность* в отношении к *правилу* и *смерть* живого *сердца*,— стало *методом спасения* и в новом мире. И царство Христово через этот сонм ленивцев и лукавых вдруг снова отодвинулось назад, как бы ко временам Иоанна Крестителя. Те же молитвенники перед нами, становящиеся на видном месте, и которым Спаситель указывал: «Затворись в комнате своей, когда хочешь помолиться»; те же постники, которые упрекали Его, что ученики его срывают колосья хлеба в субботу и едят; и тот же вечный, на всех перекрестках христианства спор о субботе: можно ли в субботу извлекать овцу из ямы, исцелять слепого, или нужно подождать до понедельника?

Так докатилось и до Вильны в недавнем ее эпизоде. «Хотим помолиться за умершего командира своего»,— вопили души простые, души как у рыбаков галилейских. «Они невежды в законе,— ответил о них архиерей виленский через секретаря,— обои ученики не Иисуса, видимо, а законников и фарисеев:— ясно и определенно запрещено православным иметь какое-либо общение с иноверцами».

В статьях, печатавшихся в «Свете», было указано, что, когда умирает на корабле матрос или офицер инославный, все же его не выбрасывают в воду без всякого напутствия. Владыко виленский ответил на это, что над телом инославного покойника на православном корабле поют только «Святый Боже», а полного отпевания не происходит. Но ведь в пении этом или через него русский священник все же молится об инославном?! Кн. Мещерский припоминает, что митрополит московский Филарет дозволил раз молиться «о здравии» одного лютеранина; виленский архиерей ответил на это, что о здравии можно молиться, а за упокой нельзя. Но доблестнейший православный священник Иоанн Кронштадтский молится о здравии даже евреев и татар, и Бог по этой молитве *видимо помогает*: стало быть, Бог принимает молитву даже за магометанина и жидовина. Да что, разве виленский архиерей забыл, что Авраам молился даже о Содоме и Гоморре, и Бог несколько раз уступал перед силою молитвы Авраама? Что, эта страница Библии,— каноническая или не каноническая? Библия боговдохновенна во всех своих строчках или только в некоторых? Архиерей виленский, не отличивший «общения в молитве» живых от молитвы об усопшем, едва ли ответит на этот вопрос; да едва ли он ответит и на другие вопросы, здесь поставленные. Может быть, он даже не задумается о них. Наконец, вот и «прецеденты». Я помню хорошо, что когда умер известный писатель О. И. Каблиц, вместе со мной служивший в одном из петербургских департаментов,

то мы, чиновники, выслушали о нем *три православные панихиды*, а отпевание тела производил *лютеранский пастор*, и похоронен усопший был на лютеранском кладбище. Так же точно, когда умер покойный д-р Шперк, бывший директор Института экспериментальной медицины, лютеранин, то товарищи и подчиненные служили около его гроба православные панихиды. Очевидно, в Вильне произошло действительно недоразумение, потому что петербургское духовенство закон тоже знает.

Но так как подобные инциденты возможны на завтра же, то было бы весьма желательно, чтобы, не довольствуясь ссылкой: «исполняйте, как написано в Требнике», России было дано услышать принципиальное и общее, так сказать, имперское решение этого вопроса,— и при том такое, которое не расходилось бы с совестью живой церкви, т. е. «общества живущих сейчас верующих русских людей».

О «СЪБОРНОМЪ» НАЧАЛЕ В ЦЕРКВИ И О ПРИМИРЕНИИ ЦЕРКВЕЙ

Слова Символа веры: «верую в Церковь Святую *Соборную* и Апостольскую», включают уже в себе мысль о постоянном внутреннем *совете* Церкви, как *способе ее существования и жизни*. На эту мысль Символа веры и отвечает «Послание» Константинопольского Патриарха, обращенное в этом году к Петербургскому Синоду. Последний был основан Петром Великим с именем «Духовное *Коллегиум*» и с формами делопроизводства других одновременно возникших коллегий. Но имя «Духовное Коллегиум» не удержалось исторически, хотя историческое творение Петра осталось цело и неприкосновенно до сих пор. Дело в том, что «коллегиальный» и вообще какой бы то ни было бюрократический способ существования до того не отвечает духу и задачам основания Христом Его Церкви, что никто как бы не поверил, что она стала или может стать «коллегией», и все невольно и жалостливо стали именовать коллегию «синодом» (термин собственно кальвинистической церкви), — пытаюсь думать, что под этим неясным именем сокрыто то «соборное», *съборно*е начало, в которое мы «веруем» по Символу и о котором слышим, когда этот Символ поется на литургии. Но дела, текущие за «номерами», обилие чиновников в Синоде, способы его заседаний, способы «вызова в него» для «присутствия» очередных епархиальных владык, — все исключает приложимость к нему обычного термина древних соборов о себе: «*Духу Святому* и нам изволилось». Нет, мы имеем «Духовное Коллегиум», как оно возникло еще при Петре, но с Ореолом и прерогативами Собора.

Приглашение Вселенской Цареградской Патриархии к «советному», «*съборному*» с остальными вселенскими патриархиями существованию — должно бы быть дорого нам, русским, насколько мы еще веруем. Тысячи вопросов и трудностей, неразрешимых «коллегиально», разрешились бы «*съборно*»: ибо коллегия думает и «производит дела» бюрократически, а *съборъ* не может не думать вдохновенно, «благодатно». Возьмем староверческий вопрос. К нему «чиновнически» и дотронуться нельзя, до того он исполнен веры, фанатизма, энтузиазма. Достаточно вспомнить самосожигателей, самозакапывателей. Что тут сделает мундир и форма? Какую силу получит бумага «за номером»? Все это брызнет сюда, как холодная вода на раскаленную сковороду. Но «*съборно*» можно подойти к этой болячке русского народа, болячке

русской истории. Вдохновенно и «благодатно» она исцеляется и исцелится легко и быстро. Ибо разделением от нас терзаются раскольники, как разделением от них терзаемся мы; и самое наше разделение противу-евангелично, противухристианско.

Великая *отвычка* есть собственно единственное препятствие к Собору, *Събору*; отвычка и еще забота собственно чиновных элементов около Церкви о сохранении исключительного и неограниченного престижа своего. Зимую эту шли в печати толки и о восстановлении патриаршества в России, и об отмене обер-прокуратуры Синода, этой неясно выраженной формы опеки и опекуинства над духовным нашим сословием, как неким малолетним или малоумным классом людей и над духовными делами — дабы они не текли к ущербу Церкви же и ко вреду мирян. Ибо невозможно опровергнуть той исторической очевидности, что обер-прокуратура сделала чрезвычайно много доброго, заботливого в отношении, например, духовных училищ, мужских и женских, в отношении сельских училищ и положения белого духовенства. Но, хочется думать, духовенство наше не лишено сильных умственных даров, не лишено и сильных характеров в своих рядах: но только оно чрезвычайно несчастно поставлено и, пожалуй,— несчастно училось. Не оно бессмысленно, но мало заключает в себе смысла его строй и школа. Оно может все-таки думать и вершить дела содружно, как равный с равным, с светскими и государственными элементами; т. е. *роль обер-прокуратуры*, по существу верная и не отменяемая (ибо много светских интересов замешано в Церкви), может выразиться *многолично*, а не *единолично*, и без *верховенства над духовенством*, а как элемент *ему равный*.

«Церковь образует не *иерархия* церковная, но самое *тело народа церковного*»,— ответили восточные патриархи в «Окружном Послании» на послание римского епископа в минувшем XIX веке: вот обер-прокуратура и должна бы раствориться в такое «тело церковное» в советах, думах и вдохновениях иерархии. Вопрос о «приходе» у нас, как известно, туго подвигается; и даже не горит надеждами в будущем. Но это от того, что нет «прихода» около Петербургской Главной Церкви, около Всероссийского выражения Церкви; от того, что не «приходско», и опять, следовательно, «не соборно», существование Церкви в ее *целостном составе, in corpore*. И не является, не вырастает в малом масштабе того, чего нет в большом масштабе. Каков организм, таковы органы.

Теперешнее обращение Восточной Патриархии к нам с предложением «советно» подумать об общих делах христианского мира — многоценно и потому еще, что снимает вечное подозрение или отговорку, будто именно Восточные Патриархи так косны и консервативны, что всякий шаг вперед единоглавной Русской Церкви грозил бы нарушением целостности и единства Православия, древнейшие главы которого будто бы абсолютно недвижны. Теперь и этой отговорки нет. Слово движения

приходит с Востока; приходит из древности; приходит из вселенскости. Поместная и новейшая Русская Церковь, в то же время многозначительнейшая по обнимаемому ею Царству, не имеет более препятствий к собственному могущественному движению, именно в соответствии с величием Русского Царства. Русское Царство — не материальное только, но и духовное. Оно совершило великие дела в земной области; но в духовной области, с самых времен Петра Великого, оно более существует, нежели живет и движется и исполнено «духа». Оно исполнено «формы», но «духа» оно не исполнено. И теперь, когда и в светских-то областях повсюду видится усилие к духовной над собою работе, было бы странно видеть одно «Духовное Ведомство» чуждающимся духа, материально застывшим. Ныне статуя Государства оживает в живого человека; неужели живое существо Церкви окаменело навеки в статую?

Старообрядчество, сектантство — все вберется назад внутрь Церкви, все перестанет существовать и угнетать русский взор своим печальным отделением, как только Церковь получит не формально благодатное существование, а существенно благодатное. И выразит это в воззрениях благодатных, широких, любящих, как относительно своих внутренних членов (секты), так и внешних для нее членов христианства (иные церкви). В послании Вселенской Патриархии к нашему Синоду зазвучал тон чрезвычайно новый и в отношении к этим внешним членам христианского мира. Если припомнить практиковавшееся у греков правило: принимаемых в православие из «латинства» перекрещивать, т. е. поступать с ними как с язычниками,— то мирные слова Константинопольской Патриархии не только о старокатоликах, маленькой горсти людей без значения, но и об исконно враждебном Католицизме и Протестантизме прочтутся всеми как поразительные слова. Повеяло *обще-христианским* духом, *целостно-христианским*. Давно пора! Ведь время жгучести разделения церквей, начавшегося из-за «опресноков», т. е. способа печь хлебы, относится к такой незапамятной древности, и до того в то время оно осложнилось не только образовательною темнотою, но и государственным соперничеством и завистью, что переносить все эти отрицательные чувства в наше время совершенно изменившихся обстоятельств — невозможно. Когда Запад цвел, а Восток подпадал под власть турок, мучительная зависть к счастливому сопернику вырвала крик: «Мы мучимся, но зато — христиане, они торжествуют, но зато — они язычники». Но теперь, когда Католичество гонимо в древнейших своих родинах, Франции и Италии, да даже и в Испании, когда от него отпали все германские страны, время Востоку посмотреть на измученного брата взглядом великодушным и спокойным. Во всяком случае, для мрака дрезной вражды никакого нет основания. Вражда эта, собственно, как религиозная, давно угасла в сердцах верующих, в мирянах; и едва ли она была последнее время искренняя даже у самой иерархии. Ныне «разделе-

ние церквей» не имеет около себя психологии раздавленности, никакого *figo*г'a чувств; никто ближнего своего не зарежет (как в Варфоломеевскую ночь) за то, что он инославен. И таким образом, «разделение» это напоминает собою забор, со страшными шипами на нем, с угрожающими на нем надписями, между дворами двух соседей, давно мирно пьющих по вечерам чай вместе. Все имеет вид якобы отделения «волков» от «овец», когда по обе стороны «разделения» пасутся равно мирные коровы. А когда нет разделенности в сердце мирян, какое есть основание ему оставаться в сердце иерархии? Она должна быть выше по созерцанию и еще примиреннее, нежели миряне: ибо она именно произносит на литургии слова «о мире всего мира» и о «примирении всех», выслушиваемые мирянами. Вот почему слова Константинопольской Патриархии об объединении всего христианского мира — важны. Их уже не затрешь, они уже факт. Он них придется отправляться далее, но вернуться назад от них — нельзя. Русское Царство есть могущественнейшее и просвещеннейшее из всех православных царств: и второе и последующие слова великой примирительной речи лежат отныне на русской совести.

Повторяем эту важную истину, не всеми сознаваемую: при всех усилиях возбудить в сердце какую-нибудь досаду при словах: «он — лютеранин», или: «тот — католик», досада не возбуждается. Не видал я человека, да, вероятно, и никто не видал, который сказал бы: «не могу без отвращения видеть протестанта», «видеть без гнусности протестантскую кирку, католический храм»; или сказал бы: «мутит сердце, когда слушаю мессу». А нет этих чувств более, нет решительно ни в ком, — то что же в самом деле от старого «разделения» осталось? осталось — реально, действительно, психологично?! «Слова, слова и слова», — как говорит Гамлет, — и то «слова» в не читаемых никем и даже в непечатаваемых древних книгах. Поистине, — это как ассигнация «вышедшего из употребления старого образца», которую забыли сдать в казначейство и получить в обмен ее чистое золото. Золото — это любовь и мир христианского мира; ассигнация — ставшая давно призрачными и искусственными его «разделения».

1903

Из католического мира

По поводу этой статьи, и некоторых других, мною были получены письма от католиков, интересные в том именно отношении, что знакомят с психикой и с точками зрения, выросшими уже на почве Православного Исповедания. Ведь даже русский «нигилист», перебирающийся где-нибудь около границы через болото и лес в Австрию и, казалось бы, не имеющий уже ничего общего с Православием и проклявший веру отцов, — на самом деле продолжает оставаться в быте, тоске и радости

сердечной, в заботах *ума*, всецело сыном этой веры отцов, «семинаром из семинаров», вот-вот взятым из-под матери-бурсы. Не забуду восклицания, вырвавшегося у Толстого (Л. Н.) в горячем разговоре, вырвавшемся невольно и не то горестно, не то недоуменно. Уже прошло года два, как он был «отлучен от Церкви»; приблизительно он вовсе не сердился на это, и, как сказала его жена моей жене (мы единственный раз были в Ясной Поляне), «в утро, как пришло через газеты известие, что Синод отлучил его от Церкви, он собирался гулять и уже одел пальто. Принесли газеты с этим известием: и, прочитав тут же в прихожей об отлучении,— он подтянул кушак и, взяв шапку,— вышел». Таким обр., в то время, как Россия и частью Европа столь сильно волновались этим «событием», оно не нарушило его привычного моциона и, вероятно, пищеvarения. И вот мы говорим с ним: и вижу я, что весь пафос этого человека, все в нем идеальное как бы лежит подножием и поет славу русскому мужику в тулупе и валенках. Не мог я не умилиться и не почувствовать ответного восторга. Оба мы впали в пафос — и говорю я ему: — «Да, ведь, все это *смиренно-терпение* (предмет восторга Толстого) и пр. есть известный мотив наших церковных служб, вечный их припев и вечное назидание наших батюшек, сельских и городских попов!» Тогда, приподнявшись на кресле (он был очень болен), он воскликнул, с каким-то невыразимым чувством: — кажется, более всего удивления: — «Да разве я не знаю, что *вся душа русского человека сделана ему его Церковью*». Он сказал это иначе, другими буквами: но я абсолютно точно передал его мысль. Так как мы оба почти порицали духовенство и церковные порядки (но не дух) и весь строй церкви — то оба были как бы поражены этим открытием ли, признанием ли. *Пассивная красота*, Толстого умиляющая, умилявшая долго и меня,— но которой я теперь боюсь, как смерти, моей, народной, мировой! Это — красивая форма Молоха (Дух Небытия и Уничтожения), яд в золотом пузырьке, «родные» пальцы, берущие вас за горло. Пусть все это, *с нашей человеческой стороны*, и невинно, по-детски. Но дитя, сжигающий неосторожно дом родителей, чинит им тоже горе, как и вор ночной. И вот другое или другие исповедания — *лютеранское, католическое*. **Корень** там другой, и на нем выросла совсем новая *психика*. Но ее вовсе нельзя разглядеть, читая официальные споры католиков и лютеран с нашими. Тут мелет жернов схоластической мельницы, под которым ничего не разберешь. *Муки*: не видно. Мука — это *психика*. Она у католика, у лютеранина скажется иная и *иначе*, чем наша, в интимном разговоре, в частной записочке, в укладе домашнего обычая, в нравах дома и улицы; и в итоге — скажется в истории. *Активная, деятельная, страстная красота* — вот что разделило их с нами, а не *filioque* и не «опресноки». Может быть, мы формулируем слишком определенно. В *вере* ведь все тени и тени, оттенки и оттенки... В предлагаемых ниже вниманию читателей письмах сказалось *кое-что*, чего и предположить нельзя было в католическом мире и что для нас православных, во всяком случае совершенно ново

и тем более любопытно. Пусть зубчатые колеса логики, в частности богословской логики, вберут и это зерно в зубы свои — и смелют его в сладкую или горькую муку.

1905

I

Краков, 12 ноября 1903 г.

«Когда я перечитал, в октябрьской книжке «Нового Пути», вашу статью: «Среди иноязычных» и особенно: «О соборном начале в Церкви и примирении церквей», — вы встали в совсем другом свете в моих глазах!

На первую статью * я вам скажу, что в Католицизме (не говорю в Римско-католицизме, ибо есть ведь и Греко-католицизм, и Армяно-католицизм, и Халдейско-католицизм, и Эфиопо-католицизм и т. д.), хотя есть и официальная Церковь с ее необходимо-ограниченными, унормированными взглядами, но за ней или, лучше сказать, в ней есть и неофициальная. Не то, чтобы противоречащая первой, напротив, уважающая ее и уважаемая ею, и даже без нее не могущая существовать, — но все-таки неофициальная. Вот в этой-то неофициальной сохраняются действительные мистерии, не хуже элевзинских. А так как мы не знаем сути последних, то, может быть, даже их продолжение: подобно тому как орден Кармелитов есть продолжение ветхозаветных Эссеев с горы Кармель, а основателем его считается пророк Илия. К этому предположению я склонен вот почему. В Элевзинские мистерии принимались только люди с «примиренною совестью и незапятнанною честью», значит, высоконравственные и «посвященные»: то же самое, — католические мистики, — люди героически-нравственные и посвященные в мистическое богословие. Далее, Элевзинцы скрывали тайну не по запрещению, а потому что виденного и ощущаемого ими невозможно было передать человеческим языком **, и даже говорить о них профанам не подобает, дабы не осмелили святыни. Вот подобное происходит и у мистиков. Ведь можно бы собрать целую библиотеку мистических, чистокатолических сочинений, писанных такими святыми мистиками, как Франциск Селезий, Франциск Ассизский, Герсон, Руйсброк предивный, Катарина Сизэнская, Кат. Генуезская, Анджели ди-Фолиньо, Маргарета а-ля-Кок, Франциска Фремиот, баронесса де Шанталь (она святая, как дева, как жена, как вдова, как монахиня), Катарина Эмерих (описывает жизнь Спасителя с удивительными подробностями, ни в чем не противоречащими археологии, напротив — объясняющими ее), Тереза ***, П. Бальгазар Альварех и др.; но вся эта библиотека как будто бы не существует для ученых, даже для богословов — не мистичных. Значит, все названные мистики не скрывают виденного ими, они говорят, насколько божественное может

* В ней, разбирая до некоторой степени гностические идеи Д. С. Мережковского, — я коснулся неясного существа «Элевзинских» и иных древних «мистерий», «таинств». — В. Р-в.

** Замечательно! Конечно, суть «таинств» заключается в том, что рассказанные, переданные в словах человеческого языка — они ничего уже в себе не содержат; хотя не рассказываемые, а переживаемые содержат бесконечное! «Расскажите-ка кровавый шарик». — «Что?!», изумится ученый и профан. Чудовищный вопрос: кровавого шарика рассказать — нельзя, а вот жить — он живет. Так и жизнь и вся тайна жизни, так и Бог и вся тайна Божья: живут, действуют, но неизреченны. Обстоятельнее и конкретнее я говорил об этом в «Комментарии к одному стихотворению Лермонтова» в журнале «Весь». — В. Р-в.

*** У нас есть что-то еще лучше, чем приводимые вами слова: «шепот, робкое дыханье», там есть: «умираю от того, что умереть не могу». А у Иоанна от Креста такие зрительно-целомудренны стихи!.. Примеч. автора письма.

быть высказано: но слушают их и читают только «посвященные», посвященные же не внешним обрядам, а внутренним призыванием. А какое у этих мистиков бывает пламя духовной любви! Перед ним кажется вялым самое страстное пламя любви телесной; хотя, для выражения этой любви духовной, мистики пользуются словами той же любви телесной как символами *.

И вот почему нужно примирение церквей, именно чтобы сокровища духовные (эти Божии богатства) Западной стали достоянием Русской и государственная мощь Русской (церкви. — В. Р.) осенила бы (но не в таком смысле, как она осеняет свою) — Западную. Вот о чем мечтал Лев XIII и что Провидение, может быть, осуществит при Пие X и Николае II.

Вы говорите, что Мережковский прав относительно Христа и Диониса. Он был бы прав вот в каком смысле: если бы он характер Дионисовой плотской любви признавал только символом характера Христовой духовной любви. Ибо, в самом деле, полюбить, или, лучше сказать, влюбиться в человека ** до такой степени, чтоб, будучи Богом, стать человеком для того, чтобы быть распятым ради его спасения — согласитесь, что это что-то вроде восторга любовного. И так именно понимают эту любовь мистики, и тогда неудивительными становятся их ужасные иногда страдания, и даже потребность их; они через это чувствуют облегчение внутренних, душевных страданий, которые причиняет им неимоверная любовь, и этих страданий за весь мир они бы не отдали. Любовь имеет свою логику.

P. S. Относительно вашего замечания касательно брака: вы ошибаетесь, полагая, что у католиков «брак, повенчанный священником не своего прихода, расторгается»: он не расторгается, так как этот священник имел на то полномочия от законного; иначе он бы не венчал. А если и случится брак с тем или другим разрывающим препятствием, то он не расторгается, а испрашивается для него негласная диспенсация, и брак узаконен. Семьи законные и незаконные не могут (*ceteris paribus* ***) быть равно счастливы потому именно, что их терзает незаконность ****.

Ваш Ж-ич».

* Удивительно! Ничего подобного мы не знаем в Православной Церкви; и ничего подобного она не допустила бы. Это уже не «filioque», это что-то «в самом деле», что полагает пропасть между Православием и Католичеством. Вот такие-то «камешки» и надо вытащить со дна католического океана, чтобы что-нибудь разобрать в нем. А то все «filioque» да «как печь просфоры»: и нельзя понять, почему они *ненавидели и презирали* друг друга столько веков и так страстно! — В. Р-в.

** Совершенно необычная, *невероятная* для православного терминология! Но нет ничего в терминах, чего не было раньше в сердце: как же *они, католики*, чувствуют Бога? И как чувствуют Его отношение к человеку? Мы думаем и уверены, что Бог только «милосерд к человеку» и еще что Он «кого любит, того и накажет» (объяснение страданий). Действительно, очень коротко. Католики видят какую-то любовь наподобие влюбленности... Правда, и *евреи* думали, и пророки их выражались, что «Иегова есть *супруг* Юницы Израильской», и Апокалипсис говорит Церкви, что она «должна быть уготована Агнпу *яко Невеста*». Все как будто термины любовничества, восторгов любви между Землею и Небом и от Неба к Земле: но, не приуроченные православием — мы *ничего* в этом не понимаем. Только и могу сказать с матерью-бурсою: «Sum ut sum aut non sim», «да пребуду как *есть* или вовсе *не буду*». — В. Р-в.

*** при прочих равных условиях (*лат.*).

**** Ну, это наивность, против которой не стоит спорить. Режет мясник (католическое, да и восточное каноническое право) и приговаривает: «Кровь течет, *потому что* зарезана, и зарезана *потому что* должна была быть зарезанною». Ведь и изгоняемым из Фрэнции католикам можно бы тоже сказать: «Вы плачете? негодуете? Но на что? Прискорбно ваше положение, — но *потому что* вы *злы и беззаконны*». — В. Р-в.

Автор этого письма, как я позднее узнал, священник «Братства Иисуса» (иезуит), — человек чрезвычайно обширной учености, несколько угрюмый и печальный, — чрезвычайный фанатик католичества и «универсальности католицизма».

II

Вот еще письмо — очевидно, судя по знаку креста над ним, какой перед письмами и наши русские духовные ставят — от какого-то духовного лица. Оно прислано из Варшавы.



«Милостивый Государь, В. В., Вы, признаться, артистически владеете критическим скальпелем в области *человеческого* мышления, — не хуже Бокля; зато в отношении Божественных истин не лучше его впадаете в противоречия, по всей вероятности потому, что находитесь почти в одинаковых с ним условиях. Как он, так и вы, получивши (с детства, путем внушения) убеждение в непогрешимости национальной церкви и в несостоятельности всякой другой, *особенно* Римской, потом, *de jure* разрушив главные основы своей, *de facto* стараетесь иногда как бы залатать (? В. П.) наделанные прорехи; и в результате получается лишь одна странность. То же самое произошло с гр. Л. Н. Толстым; то же происходит и со всяким другим *не католическим* анатомом человеческого мысли на этот лад. То же самое произошло бы и со мною, если бы случай — точнее — промысл Божий не натолкнул меня на другие мысли совсем неожиданным образом.

Читая — в видах *искания истины* — полное Богословие митр. Макария, я был поражен его невольным, хотя не прямым, сознанием, что главный, *существенный* текст Евангелия от Матвея об основании Христовой Церкви при переводе с еврейского искажен греками «как будто невзначай» [как и 9-й член Символа искажен заменю *всех*-народного «католичества» * *все*-народною «сборностью»]. В еврейском подлиннике Евангелия (который греки постарались незаметно устранить со сцены) текст об основании Церкви читается так:

* Вот она, вечная католическая тенденция: говорить *всем* народам, orbis terrarum (всему миру. — *лат.*). Нельзя не заметить, что у нас, русских, этого пафоса нет: и мы если несем крест и Евангелие к бурятам или в Японию, то не с надеждою и мыслью о слиянии всех народов когда-нибудь в одну Церковь, а оттого, отчасти, что *неловко же* «не иметь своей миссии», напр. в Японии или Китае, католики и лютеране «захают», да и кой-что «нам останется», паствы прибудет, доход увеличится. Но ничего *патетического* тут нет! Мы совершенно не имеем *умиравших* на миссии и миссионерами героев среди язычников, дикарей. Т. е. «апостольство миру» нам чуждо! Мы глубоко *уездная* в религиозном отношении нация; конечно — с тем «милым и добрым», что всегда бывает в уезде сравнительно с «холодной столицей». «Уездность» и составляет самый наш пафос, на котором, напр., и строили «свое» все славянофилы (Хомяков, Гиляров, Аксаковы). Филологически, кажется, автор прав: действительно, греческий предлог «*хута*», входящий в состав слова «кафо-лическая», «като-лическая» Церковь, обозначает: «*поверх* (всех) и *совокупляя* (всех в одно)», т. е. он обозначает движение как бы *снаружи* и *вокруг* *обходное* — а вовсе не *внутрь* сложного, дробного предмета направленное, напр., *внутрь* толпы, *внутрь* народа. И мы, русские (в частности славянофилы), — от этого неверного перевода предлога «*хута*», усвоили то недостаточное представление о «сборности» Церкви, что, напр., *управление* должно исходить *изнутри* народа, быть *много-ручно*, *много-главно*, *много-сердечно* и *всенародно-умно*, тогда как настоящее представление должно быть о Церкви «*сверх-племенной*, *круго-язычной*, *вне-этнографической*». Тогда объясняется пафос католичества, отвергающего «племена и языки» и Церкви, *врожденно-враждебный* «кириллице и глаголице», «галликанизму» и проч. — в глубоком согласии с Христом, положившим *первый* этому камень развержением Иерусалимского

«Ты (говорит Господь Петру) скала (кифа קִיפָּא) и на сей скале (קִיפָּא) Я осую *Kagal* Мой (т. е. как бы здание с характером Гибралгара для собраний верховного церковного правительства, взамен изменнического — еврейского) и врата ада (морские волны, бури, враждебные приступы) не одолеют его». — Значит, здесь имеется в виду собственно *не тело Церкви* (как несправедливо утверждают греческие патриархи), которое без головы *всегда «погрешительно»* и подвержено разложению, но *самая голова его*, руководящая сим телом и способствующая его жизнедеятельности, хотя в этой голове мускульная и мышечная содержательность слабее, по-видимому, чем в теле, и органически она здесь менее нужна. А отсюда неизбежно прийти к совсем неожиданным выводам. Церковь, которую имел в виду Господь при Своем обетовании, собственно говоря, не есть собрание *всех* верующих, особенно *разнообразное* (такое собрание и невозможно на практике: отсюда невозможность греко-русских «вселенских» соборов), а прежде всего — их законное, *руководящее начало*, — глава их, составляющая как бы гарнизон неприступной крепости, охраняющий Христово Царство (получившее *от нее*, от главы название Церкви) от врагов и спасающий от них всех прибегающих к этой главе. Но это царство есть в то же время продолжение ветхозаветного, только с переменной состава его администрации* и некоторых неизбежных церковных порядков. Отсюда и ветхозаветные учреждения в Новом Завете принимают совершенно иной колорит. Обрезание, например, превращается** в целомудрие (обрезание

«окружая», Сионское «притвора», и указанием Апостолам: «отрясите прах от ног своих! идите к язычникам!! во все концы Земли, не оглядывая на Иерусалим!») А если мы спросим себя об этом «первом камне», копнемся под него, — то без труда увидим, что он есть лишь продолжение общего antagonизма, в Евангелии проведенного, с *кровью* (уничтожение жертв ветхозаветных) *родством, племенем*, со всем туземным и уездным. — В. Р-в.

* Можно только улыбнуться... Вот что называется историческим ослеплением! Да уж не об этих ли людях сказано, предсречено: «они будут видеть и не увидят, будут слышать и не услышат». Это отмена-то всего Ветхого Завета, который *весь и без остатка*, Самим Господом был утвержден в отнятии «крайней плоти» от *membri virilis*, таинственном обнаружении и обнажении его «головки», — этой столь *прото-типической* формы для устройства *головы* всех теплокровных, да кажется и не их одних, животных: эта-то отмена таинственного требования, сказанного и повторенного Аврааму в видениях, в явлениях, со страшными угрозами, с дивными обещаниями, есть «только перемена состава его администрации и некоторых неизбежных церковных порядков»!!! Бедные католики! Слепые католики! — Да и мы, и православные, и немцы — все так рассуждаем. — В. Р-в.

** Как бы я сказал: «Родство сына с отцом превращается в *фотографию*, снятую с сына и отца одновременно и вместе». Да неужели же Бог не мог сказать Аврааму: «Будь *целомудрен!*» Да и ведь не Бог, а Сарра прогнала от него 2-ю жену, Агарь, которую унести, в незабвенных словах, послал Ангела Господь!! Да и после смерти Сарры, имея уже много за 90 лет, Авраам имел Хеттуру «и еще наложниц», ни мало не помышляя о скопческо-католическом «целомудрии», и ни мало не подозревая, не чувствуя (ни одного нет слова об этом, ни одного свидетельства, памятника), что через сие («сужасное нецеломудрие» (с католической точки зрения), напряженную, постоянную на всех или многих женщин «похоть», он сколько-нибудь «разбивает кольцо завета», союз, заключенный с Богом! И главное — без всякого за это упрека, укора, наказания, запрещения от Бога: на каковые упреки Бог израильтянин был в Ветхом Завете весьма быстр и скор. Уж не скажут ли католики: «Бог онемел на эти недели, годы», «хотел проклясть — и заикнулся от ярости». Иаков, *возлюбленный* же Богом, так *благословленный*. Им в чадородии — совокупляясь одновременно и многогодно с 4-мя молодыми женщинами: как это было по католическому «целомудрию»? Нет, очевидно: какова пропасть между «каторгою» (за *многоженство* — *каторга у католиков и у нас*) и «наградой за службу» чином или орденом, такова же лежит, т. е. положена, пропасть между Заветом Ветхим, нами *опозоренным, затоптанным* — и между нами или руководящим нас Новым Заветом. И этой пропасти («Павловым словом») не засыплешь. Прочь риторику и софизмы. Скажем открыто и честно: «нам *ненавистно*, нами *проклято* то, что *специфически* было возлюблено, благословлено у евреев, у Израиля, Иеговою Элогимом». В. Р-в.

нерукотворенное в совлечении тела *греховного*: отсюда *омывание водою* в таинстве Крещения в предупреждение *, *хотя бы* нечистоты языческой проституции с ее детоубийством и отвратительными болезнями), назорейство ** превратилось в монашество (только не греко-лохматое), полигамия — духовные сообщества для благотворительных целей *** и т. п.

Вы смотрите на римский папизм сквозь греко-немецкие очки, как древние враги юдаизма — на еврейский во главе с Авраамом и «в хвосте» с «Каифашем»

* Скажите, пожалуйста! Ну, и что же: «предупрежденные» в крещении мы не гнем в сифилисе, от детоубийства избавились? Может быть, в Варшаве, среди католиков, не встречается ни детоубийц, ни детоубийств, ни заразных половых болезней? Хорошо известно, что этого «не встречается» *только* у народов «обрезанных» — магометан и евреев. Т. е. «обрезание»-то сверх иных и высших, религиозно-метафизических задач и целей, имело одним из побочных, «само-собою» вытекающих благодеяний ветхого завета с Богом, «предупреждение» и действительное, «на вот возьми», пресечение сих органических язв, вместе — сих моральных ужасов. Но «смотрим — и не видим, слушаем — и не слышим». Мгла легла на очи: и пока не рассветет — мы все равно ничего не увидим.— В. Р-в.

** Назорей (каковым был Самсон, своего назорейства не нарушивший, взяв себе в жены даже чужеземку-чужеврку Далилу) был всякий, кто, придя в храм, «перед очами Господа» остригал волосы, и притом *на всем теле*, кругом (не на голове одной): причем, они сжигались в «благоухание Господу» вместе с приносимому сейчас же тут жертвою. Это как и в обрезании: «вот я перед тобою, Господи» (как мы, подавая яйцо *без скорлупы*, говорим другу, ближнему: «на вот облупленное яичко», т. е. «чистенькое», без роговых, без *не живых* и не съедобных, посторонних частиц). Затем, волосы нарастали в «дни назорейства», и тогда они, — как деревья в заповедной роще, как звери в заповедном лесу, как девственная плева у девственницы, — не были трогаемы, «бритья не должна была коснуться их». *Психология и метафизика назорейства* вся дана и объяснена в слове Божьем, сказанном Израилю через пророка Иезекииля: «И проходил я мимо тебя (Израиль-Дева), и увидел тебя, брошенную на поприще в кровях твоих, и сказал: — *В кровях твоих живи*. Так Я сказал тебе: — *В кровях твоих живи* (вот это сохранилось ли в новозаветной «водице»?); И умножил тебя как полевые растения: ты — выросла и стала большой и достигла чудной красоты: поднялись груди (девственные, первые, начальные.— В. Р.) и волосы у тебя выросли (конечно в *этом* возраст не на голове они вырастают.— В. Р.); но ты была нага и непокрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот — это было время твое, время любви (первые менструации, еще лучше — время вот-вот перед ними, когда грезы клонят голову, а кровь приливает к тазу.— В. Р.); и простер я воскрылия Мои на тебя, и покрыл наготу твою (специальное значение этого объясняется из Второзакония, из слов Божних же: «*Наготы* сестры твоей *не открывай*», «*наготы* тетки твоей *не открывай*», со значением: «с сими родственницами — *не совокупляйся*»; если «не открывай наготу» значило «не сопрягайся», то «покрыть наготу» обнаженной Девы значило «совокупиться» с нею *покрыв* ее собой.— В. Р.); и поклонялся тебе и вступил в союз (т. е. супружеский, брачный, сексуальный) с тобою, говорит Господь Бог; и ты стала Моею» (Иезекииль, XVI, 6—8). Вот «назорейство» и было частицею, дробью, *повторением* от *каждого* израильянина и от *каждой* израильянки этого союза — супружеством с Богом. Ради чего обряд его и дан через Моисея. Едва на лобке отрока или отроковицы вырастали *первые три волоса* (чего уже ожидали и за этим следили родители и родительница, также левиты храма) — как вводили торжественно отрока или отроковицу в Храм и обривали эти волосы и вместе с жертвою-овцою приносили их во всеожожение Господу. После чего волосам давали расти, девственно, ненарушимо — и опять в храм, и тоже жертвоприношение Богу!! Так из года в год и даже из месяца в месяц Дева-Израиль как бы мысленно, да чуть-чуть даже и физически, через этот замечательный ритуал, возводился на ложе Отчез, Небесное, к возлюбленному и любящему Супругу своему. И это, видите ли, по объяснению автора письма, «сохранилось и продолжается в монашестве»!!! Остроумие... В. Р-в.

*** «Полигамия сохранилась, преобразовавшись, — в *духовных обществах* для благотворительных целей». Ну, послушайте, чем это богословие — не Лейкин, не Боборыкин, не «Конек-Горбунок», всероссийская утешительная сказка?! Такие-то «всекатолические», да и не одни «католические» сказки благочестивыми устами передавались от Пиренеев до Москвы-реки, и ведь кто им не поверит — бывало жгут таких! Да и как не «жечь», если от недоверия к таким сказочкам дрожит Ватикан, колеблется наш Кремль; уходит почва из-под ног и мы *тонем* между Ветхим и Новым Заветом, не принадлежа *ни к одному*, не имея *ни которого*.— В. Р-в.

(? В. Р.). Попробуйте снять эти очки; авось, на горизонте Церкви увидите что-нибудь и новое. Вдумайтесь, например, повнимательнее в притчи Христовы вообще и в частности — в касающиеся Его Царства Небесного, Церкви: и вы, быть может, увидите совсем иной свет, Глубокоуважающий вас, за искренность *изысканий*,—

«Лесовик».

Р. С. Очень прошу извинения за свой аноним, вынужденный бдительностью полицейски-почтового аргуса. Если предыдущее и это письмо дойдут по адресу и заинтересуют вас, тогда, быть может, найду возможность открыть свое «забрало», хотя под строжайшим секретом: еще и доселе томится в Суздальской крепости свящ. Тамбов. губернии Герасим Цветков за убеждения несколько согласные с моими, а отчасти и Вашими...— Значит: *tase*,— *jase in fornase*» *...

III

«М. г. В. В. Простите, что, не зная ваших имени и отчества с полной уверенностью, должен ограничиться лишь инициалами.

Возбуждаемые вами вопросы религиозного характера сильно интересуют меня, и даже больше того,— но я не нахожу пока подходящего для сего выражения. Человек я верующий с детства, но вера моя, как я давно уже убедился, недостаточна крепка, и слабее, чем была в детстве. Тем не менее, повторяю, религиозные вопросы меня волнуют. В настоящее время, в Петербурге учредилось Общество **, в котором свободно обсуждаются такие вопросы; страшно сожалею, что нахожусь — по службе, в командировке — за границей, так как в противном случае сделал бы попытку попасть в число этих счастливых избранных, которые могут присутствовать в этих заседаниях. Но, что невозможно — невозможно. Позвольте мне обратиться к вам за разъяснением некоторых мыслей: я православный, получил довольно солидное *специальное* образование (Морское Инженерское Училище в Кронштадте, потом Михайловская Артилл. академия), в то же время, у нас, конечно, проходил и закон Божий, а значит, и Православный катехизис и История Церкви,— и тем не менее я не вижу, не осязаю причин того,— т. е. причин *существенных, непреоборимых*,— почему отделение церкви — нашей Восточной, Православной, Кафолической от церкви Католической существует до сих пор?! Мало того, как будто не существует даже и намерения положить этому конец как можно скорее, или, если и есть какие-нибудь переговоры, то нам неизвестно, в чем дело, подвигаемся ли мы к разрешению этого важного вопроса, уходим ли мы от него еще более в глубь, или стоим в том же относительном положении, как было в момент разделения или при возглашении Католической церковью ее новых догматов Непорочного зачатия Пресв. Девы и непогрешимости Папы? — Вот именно по поводу этих догматов я и хотел спросить вашего мнения. На днях случайно мне пришлось прочитать сочинение некоего адвоката (кажется хорошенько не помню, но не священника во всяком случае или кого-нибудь иного из духовной католической иерархии) Henry Lassege под

* молчи или бросят в печь (*лат.*).

** Религиозно-философские собрания, бывшие в Петербурге в 1902 и 1903-м году. В. Р.-с.

названием «Notre-Dame de Lourdes» изд. 1893 года. В прекрасном изложении описывается явление в Лурде Божией Матери простой крестьянской девочке, Bernadette по имени, и явление неоднократное, образование там у скалы, где Она явилась, целебного источника и пр. Описывается много чудес, причем указываются и лица с адресами на случай справок, да и сам написавший это сочинение получил мгновенное исцеление глаз при омовении их водою из этого же источника. Так вот это видение, когда девочка спросила его об его имени, ответило, что оно *Непорочное зачатие, Immaculée conception*, причем слова эти девочка слышала в 1-й раз, не понимала их и, чтобы не забыть, твердила их все время, пока добежала до священника, чтобы передать ему слова с желанием Пресв. Девы о воздвижении ей часовни на месте ее явления. В этом католики видят подтверждение правильности принятия их догмата и считают его необходимым; так как только при том условии Воплотившееся Слово могло стать чуждым первородного греха, что Пресв. Дева была не только Чистая Дева, но и — сама Чистота.— Бог с ним, с этим Богословием, в котором я ничего не смыслю. Но сегодня утром мне пришла в голову мысль, которая заставила обратиться к вам. Начал я недавно — третьего дня — читать Св. Евангелие сначала понемножку; сегодня утром прочел я эти, недавно приведенные вами в статье, слова Спасителя, что Он «пришел принести не мир на землю (я понимаю: «не только мир на землю», т. е. не *один* мир, не *всегда* мир), но меч: пришел разделить человека с отцом его»... и т. д., и думаю, что это относилось к евреям и выражало, что «найдутся и должны найтись такие люди, которые должны последовать за Ним, хотя бы это совершенно разделило его с отцем, матерью, братом, мужем» и т. д. Мне кажется, что это подтверждается смыслом следующих стихов той же главы 10-й Ев. от Матфея, ст. 37 и 38. Но я хочу обратить ваше внимание на ст. 11 главы 11-й того же Евангелия от Мат. Спаситель, характеризую Иоанна Крестителя, говорит: «Истинно говорю вам: из *рожденных* женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном — больше его». Обыкновенно я не останавливался над этими словами, но сегодня, вероятно под впечатлением вышеуказанной вами мысли, мне пришло на ум: что ведь Спаситель не мог же *Себя* считать меньшим Иоанна Крестителя,— но он и не был рожден от «жены», а от «Девы»; а, однако, Пресв. Дева? И ее Спаситель тоже, конечно, не может считать ниже Иоанна Предтечи, потому что она «превыше Херувимов и Серафимов», а Иоанн Предтеча меньше «меньшего в царстве небесном»,— значит, и Пресвятую Деву Спаситель считал рожденною не от «жены», а от «девы», и, мне сдается, эти слова дают косвенное указание на «непорочность зачатия». Будьте добры, много уважаемый В. В., когда найдете свободную минутку — черкните мне словечко, что вам по этому вопросу известно или что вы сами думаете? Что вам известно о ходе работ и идут ли таковые для выработки соглашения по соединению двух главных церквей? Премного обяжете искренне уважающего вас

Ф. Р-цева».

30 декабря 1901 г.
France. St. Chamond (Loire).
Place Notre-Dame.

«М. г. В. В. Примите мою глубокую благодарность за ваше любезное письмо, а равно и за прекрасную статью неизвестного православного священника *, которую вы мне прислали для прочтения.

Я вполне согласен с почтенным автором этой статьи в том, что «давно пора всем нам, католикам и православным, забывши старые счеты, братски обняться в единении духа, и в самом союзе мира любовно воспеть стройную и вдохновенную песнь общему нашему Богу».

Вполне, поэтому, присоединюсь также и к выраженному в той же статье пожеланию: «Да рассыплется разделяющая нас преграда... Долго мы подчинялись руководству богословов-теоретиков; послушаемся теперь непосредственного, внутреннего чувства. Пусть голос сердечного сознания, исходящий от массы народной, от практиков жизни, зальет собою сухость и мертвенность в воззрениях черствых схоластиков. Пусть восторжествует истинное и подлинное начало Христовых заветов роду человеческому — взаимная любовь»...

Мне остается лишь пожелать, чтобы таких священников, проникнутых подобными, глубоко христианскими чувствами, было на Руси с каждым годом все больше и больше.

Я не сомневаюсь, что эти проблески христианского сознания среди православного духовенства немало вас радуют. С своей стороны могу присовокупить, что аналогичные факты имеются также и у нас, католиков. Как доказательство посылаю вам при сем вышедшую в прошлом году в Кракове брошюру, под заглавием «Письма католического богослова к православному». Если вы соблаговолите прочесть краткое предисловие, а также стр. 57—61 и 109—110, то увидите, что все то, о чем пишет в «В. Листке» этот православный священник, было уже значительно раньше высказано анонимным католическим богословом, только несколько в иной форме.

В Германии же издается даже особый католический журнал в христианско-единительном направлении («Friedens-Blätter. Monatschrift zur Pflege des religiösen Lebens und Kultus»), коего два номера также при сем прилагаю. Особого внимания заслуживает статья: Die Einheit des Christentums», позаимствованная из книги англиканского богослова-публициста Rev. Spencer Jones'a «Friedens-Blätter», julu, S. 226—231).

«Дабы испросить у Господа Бога воссоединение разделенного христианства, образовались в Германии два общества: одно, основанное 27 октября 1862 г. под названием «Der Psalmenbund»,— другое «Der Gebetsverein zur Wiedervereinigung aller getrennten Christen», существующее с 1878 года. Члены первого обязуются прочитывать ежедневно: 1) краткую молитву к Духу Св.: «Komm heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen, und entzünde in ihnen das Feuer Diener gottlichen Liebe, auf dass sie alle Eins seien. Amen» **, 2) особый на каждый день Псалом (отсюда и название общества «Der Psalmenbund»), законченный славословием: «Слава Отцу и Сыну», и 3) «Отче наш». Обязанности членов второго общества еще проще: прочитывать ежедневно вышеприведенную молитву к Духу Св., присоединяя к ней «Отче наш», «Радуйся, Мария» и «Слава Отцу».

* См. «Около церковных стен», т. 1, статья: «Русско-католические отношения», стр. 229—230.— В. Р-в.

** «Сойди, Святой Дух, наполни сердца Твоих верующих и зажги в них огонь Твоей божественной любви, в которой они пребывают едины. Аминь» (нем.).

Итак, как видите, добрых, христианских чувств по отношению к христианам-некатоликам у нас, в католическом мире, найдется ничуть не меньше, а даже, пожалуй, значительно больше, чем у вас, на «Святой» * православной Руси.

А если это так, если и с той и с другой стороны начинают проявляться добрые христианские чувства и примирительные стремления, то всякому истинному христианину, глубоко и искренне сочувствующему великому делу восстановления единства в Христианстве, по-моему, не останется ничего иного, как от всего сердца пожелать и всеми силами поспособствовать, чтобы эти голоса, призывающие христианский мир к всецерковному любовному единению, не оставались глухом вопиющего в пустыне, но нашли в окружающем нас обществе как можно более широкое распространение. От этого ведь никому и никакого вреда быть не может, напротив, следует ожидать самой настоящей, несомненной пользы как для Церкви, так и для Государства.

К сожалению, у нас в России, весьма многие этого никак не понимают или не хотят понять. Отсюда и происходит то, что такие статьи, как вашего анонимного батюшки, появляющиеся вообще крайне редко, места в больших столичных органах обыкновенно не находят, как не подходящие под общий тон, и потому должны ютиться где-нибудь на задворках печати **: в малораспространенных, захудалых, провинциальных листках, и пропадать никем не замеченными; а такого рода издания, как «Письма католического богослова к православному», хотя и ничего предосудительного и ничего обидного для Православной Церкви не содержащие, считаются плодом запретным и совсем в Россию не допускаются. Тот экземпляр «Писем», который я вам посылаю, выдан Комитетом Цензуры мне лишь как профессору, вследствие поданного особого на сей предмет прошения, оплаченного гербовой маркой и проч.

В виду этого, посудите сами, можно ли надеяться на широкое распространение в России христианских единительных идей? А это тем более, что, как вам должно быть неизвестно, в России есть немало людишек, составляющих особого рода черную сотню, занимающуюся исключительно делом бросания грязью в Католическую Церковь. Действовать им в этом направлении никто не мешает. Проповедуют, что хотят, пишут, что угодно, печатают, что пожелают. Никакого запрета, никаких цензурных стеснений, никакого в периодической печати порицания деятельность этой черной сотни не встречает. В виду этого охотников одерживать легкие победы над беззащитными католиками находилось в России всегда изрядное количество. Меня это несколько не удивляло, скорее забавляло. Но в этом году представился мне недавно случай настолько курьезный, что, признаюсь, не хотел глазам своим верить. Дело в следующем. Некий г. А. Ильин сочинил тощую брошюрку об иезуитах. Это, конечно, еще не беда. Отчего бы русскому человеку не познакомиться ближе с этим деятельным орденом католической Церкви! Но беда в том, что брошюра г. Ильина наполнена таким бессовестным вздором и такой колоссальной ерундой, что просто приходится недоумевать, кому г. Ильин нанес более чувствительное оскорбление: Католической ли Церкви, или же своей кровной русской публике, преподнося ей такие «сапоги всмятку», да притом еще в 10 000 экземпляров! Если мне не верите, соблаговолите для примера прочесть хотя бы стр. 60—61, где г. Ильин излагает

* Как будто есть немножко здесь иронии? Это уже не дело. Впрочем, «не увидим сучка в глазе брата своего». — В. Р-в.

** Статья, помещенная мною за подписью «Русский священник», была напечатана *вовсе* без всякой подписи, в качестве «передовой статьи» или «обозрения» в одном даже не губернском, а *уездном* (есть такие) газетном листке. — В. Р-в.

взгляды иезуитов на загробную жизнь. Впрочем, я бы и это простил г. Ильину, будь его брошюрка издана на свой риск и страх, под его личной ответственностью. Ибо — мало ли всякого вздора пишется и печатается! «Глупых несть числа» — это и в Писании сказано. Но тут не то. Названный памфлет претендует на некий *научный авторитет* как издание «Исторической комиссии учебного отдела Общества распространения технических знаний» (sic!). Вот это обидно и больно, да и срамит самое Россию. Всякий иностранец будет иметь право сказать: «Хороши же у вас *технические знания!*» В вашей войне с Японией это обнаружилось как нельзя более блистательно!..

Вам, конечно неприятно это читать. Простите! Но вместе с тем поверьте, что и мне не доставляет удовольствия писать вам об этом. Ах, как бы я желал видеть в России побольше людей, сеющих не вражду и ложные изветы, но «разумное, доброе, вечное», стремящихся пробуждать везде «добрые чувства» *. Но, к сожалению, этих идеальных сеятелей добра, проникнутых истинно христианским чувством, я признаюсь, со смертью незабвенного Вл. С. Соловьева, мало встречал в русской литературе, а еще меньше в обществе. (Говоря это, я конечно, не делаю тут никаких обобщений; русское общество мне мало знакомо; констатирую только факт моей личной жизни.)

По характеру я вовсе не пессимист. Знай я побольше таких людей, как ваш знакомый батюшка, или таких писателей, как Вл. С. Соловьев,— от моего пессимизма не осталось бы и следа. Вся беда в том, что я их не знаю. Происходит же это от того, что мы долго жили и продолжаем жить «во взаимном отчуждении», как пишет этот русский священник. Что же нужно делать? Последовать доброму совету того же батюшки: «Познаем свое духовное родство и взаимную близость друг к другу по вере». Совет вполне прекрасный. Ибо, что бы там ни говорили наши официальные полемисты, *общего* между католиками и православными *по вере неизмеримо больше, чем разностей*. В самом деле, если наше католическое, догматическое учение можно выразить формулой: $\Delta(k) = A + B + C + D + E + F + \dots + X + Y + Z$, где отдельные буквы означают отдельные догматы, то наше православное выразится в виде: $\Delta(n) = A + B + C + D + E + F + \dots - X - Y - Z$, т. е. при нескольких конечных величинах вместо плюсов будет стоять минусы. Этим символически выражается, что некоторые истины веры, которые нами *приемлются*, вами *отрицаются*. Таким образом, обе формулы почти тождественны, вся разница лишь в знаках при нескольких величинах. Но я уверен, что, пожелай, обе Церкви *во имя Христа и общей пользы сойтись* в новый «Портсмут», вся эта разница в знаках, быть может, оказалась бы простым недоразумением: ибо выяснилось бы, что в известных условиях при X, Y, Z могут стоять оба знака, и плюс и минус, как в математике. Самое же главное в этом деле, это то, чтобы обе Церкви в духе христианской любви и смирения решили: ««пора, мол, сойтись нам и переговорить по душе, искренне, не так как Витте с Комурой; но по «христиански»».

А если бы даже и не дошло до церковного «Портсмута», то все же, отчего бы не сойтись *хотя бы частным образом*; напр., отчего бы высокопреосвященному митрополиту Антонию или другому русскому иерарху не навестить при случае Его Святейшество Пия X в Риме и не познакомиться ближе друг с другом? Я уверен, что русский иерарх был бы принят в Ватикане с подобающими почестями.

* Первый стих из Некрасова, второй — из Пушкина. Видно, католики все же читают русскую литературу: и это, конечно, полезнее и вразумительнее и действеннее, нежели чтение случайных брошюр вроде названной выше.— В. Р-в.

Кроме того, по моему мнению, делу сближения Церквей могла бы оказать некоторую услугу и русская литература. Напр., одно из лучших сочинений Вл. С. Соловьева: «Великий спор и христианская политика», будь оно переведено на французский или немецкий язык, я уверен, произвело бы сильное впечатление на многих христианских мыслителей Запада, а равно и в самом Риме. Не найдете ли вы, В. В., хорошего переводчика и издателя, который бы согласился осуществить эту идею? Я был бы от души за это благодарен. Год тому назад, один знакомый журналист обещал было сделать это, но потом бросил.

В заключение позволю себе обратить ваше внимание на тот отрадный факт, что делом соединения церквей начинают интересоваться лучшие духовные и светские мыслители французские. Недавно в Париже образовалось новое общество «Société d'Etudes religieuses», подразделенное на два отдела: 1) section de philosophie religieuse и 2) section de l'Union des Eglises *. Председателем этого общества избран Victor Giraud, секретарь редакции «Revue des Deux Monde», секретарем Eugené Tavernier, один из редакторов «L'Univers». К этому последнему следует обращаться за справками насчет названного общества. По характеру своему, насколько можно судить по краткой заметке, помещенной в одном из последних номеров «Chronique de la bonne presse» (№ 271, p. 50), это общество будет иметь, по-видимому, много общего с блаженной памяти петербургскими «Религиозно-философскими собраниями». В виду этого я надеюсь, что многие из участников названных собраний не замедлят записаться в члены парижской «Société d'Etudes religieuses». На это ведь, если не ошибаюсь, не потребуются ни правительственного разрешения, ни благословения Святейшего Синода.

Участие русских в помянутом обществе внесло бы в него новую, свежую струю; от русских французы узнали бы про существование *славянской философии*, существующей в форме двух цельных, всеобъемлющих философских систем: поляка Ноене Wronski (1773—1853) и русского Вл. С. Соловьева (1853—1900). К этому времени, быть может, в Берлине или Лейпциге появится новая кафедра славянской философии и начнет выходить особый журнал вроде «Zeitschrift für slavische Philosophie». Русские и поляки сделать это, конечно, не догадаются. Но это, разумеется, не беда. Западные мыслители не будут ждать, скоро ли славяне заведут у себя кафедры своей философии... Одним словом, закипит умственная работа в Париже и Берлине. Перлы славянской мысли будут извлечены из-под спуда **. А когда немцы и французы поймут высоту славянской мысли, тогда, может быть, и мы обратим на нее свое внимание. А теперь нам некогда?.. Не правда ли?.. Ваш покорный слуга проф. NN).

* 1) секция религиозной философии и 2) секция союза церквей (фр.).

** Ну, что же: дай бы Бог.— В. Р-в.

О НАРЯДНОСТИ И НАРЯДНЫХ ДНЯХ КАЛЕНДАРЯ

Сколько появляется в газетах статей о вывозе сибирского масла: на Стокгольмскую выставку оно было представлено в недоброкачественном виде — посыпались статьи и письма; в Сибири невежественные крестьяне приняли молочные сепараторы за изделия дьявольские и положили их где-то — опять статьи. Статьи, разъяснения, недоумения, вопросы, советы — все смешалось в клубок, в умный и словесный клубок около житейского интереса; и, право, эта страница нашей газетной и журнальной жизни — не из худших. Что бы там ни говорили писатели повестей и комедий об исключительной высоте своего призвания и особливом значении своих произведений, — а хорошая статья о молочном скоте вызывает не только хорошее вкусовое ощущение, но и полное литературное удовольствие. Нет, это и есть культура — чтобы обвевать словом и мыслью каждый свой шаг, всякое наше дело, каждое новое предприятие.

Так. Соглашаемся. Одобряем. Однако шесть дней — труда, а седьмой день — *отдыху*; и наименован он не просто «отдыхом», т. е. освобождением от работы, но «праздником», чем-то — как это странно! — возвышающимся над днями положительной и определенной работы, оцениваемого на деньги созидания. Казалось бы, ничего человек не делает — значит *ноль*; делает — *единица*; и полная неделя должна бы выражаться через ряд поставленных друг около друга шести единиц, за которыми следует бессмысленный, бессодержательный ноль. Но, оказывается, совершенно наоборот: шесть палочек стоит низеньких, плохеньких, из какого-то недоброкачественного олова сделанных, а на седьмом месте — высокий и золотой знак! Неделание поставлено выше делания, доброжелательнее, святее, небеснее. Тороплюсь указать читателю, который захотел бы быть наивным и начал бы утверждать, что «седьмой день», «воскресенье», потому так много значит, что в него взрослые ходят к обедне, а гимназисты повторяют уроки за все шесть дней, — итак, этому наивничавшему читателю я тороплюсь указать, что седьмой день выделен в особливый «Божий день» в самом еще *сотворении мира*, и, таким образом, «пустой день», входит, так сказать, в самую утробу мира! А во-вторых, что строжайшие запрещения совершать в него хотя бы малейшую работу были даны во время пустынного странствования евреев, когда колокола не звонили, церкви не были

построены, и вообще «пустое место» было еще не застроено ничем праздничным! Нет, мы должны понять мысль праздника, исходя не от идеи работы, хотя бы посвященной Богу, а совершенно наоборот: самая идея праздника и факт празднования вырос мало-помалу и очень медленно просто из оставленного Богом *седьмого пустого промежутка* между шестью темпами положительной, движущейся жизни. Праздник в первоначальном и, может быть, таинственном смысле — *пустая* область, незаполненное место времени. Это — как алтарь в храме и как прототип его — Святая Святых в Скинии. Почем знать, это Святое Святых не знаменовало ли собою «день седьмой субботу», — *пространственно выраженную*. Как в субботу абсолютно нельзя было соломенки шевельнуть, собрать дров для топки печки, затопить печь, изготовить какую-нибудь пищу, а можно было есть только вчера приготовленное: так в эту небольшую часть храма абсолютно никто не входил, и там было темно, было черно и пусто. Ибо ни окна, и вообще никакого отверстия для света не было в странном, со всех сторон закрытом огромном кубе дерева, с единственной открытой стороны завешенным густо и сложно занавесами. «Я там, не входи туда; Я и мой закон», — сказал человеку Бог. Евреи так же боялись войти туда, как нарушить свою субботу. Единственный раз в году, когда входил туда первосвященник — он ужасно боялся; он не выходил, а почти выбегал оттуда, и народ спрашивал его, восклицая: «Жив ли ты?» Странное восклицание! Бог — в пустоте Святая Святых; но это — *пространственно, а временно* — Он в пустоте Седьмого дня. «Не внеси в него работы» — это столь же строгий завет, и аналогичный повелению: «не войди в Святая Святых»; в обоих случаях с предостережением: «чтобы тебе не умереть».

Я говорю, что собственно праздник, т. е. *заполнение некоторым содержанием* этого пустого промежутка произошло гораздо позднее. И послушайте, как оно произошло. «Промежуток стал расти в наряд, в наряженность, в сверкание драгоценностями. Человек, — естественно, догадался, что если «делание» дальше от Бога, чем «покой», «отдых»; а этот «отдых», т. е. сладкая истома мускулов, расправляющихся в «неделании» от шестидневной работы, *ближе к Богу*: то значит вообще Бог живет в *радости*, а не в печали.

«Я живу *здесь*», — сказал Бог о Святая Святых; «Бог живет *тут*», — подумал человек о своем *отдыхе*. И стал украшать свой «отдых»; как зарисовал и Скинию (заметьте! заметьте!) не одноцветными, не монотонными, не серыми покровами, но то — «червленной шерсти», то — «голубой», цветами неба и пурпура, радости и наряда. «Пустой промежуток» между шестью и шестью днями работы стал устрояться, складываться как бы в «храме времени», в ту же «скинию», но вытянутую не по категории пространства, а уже по категории времени. Идея и существо

празднества тогда родились в истории; но еще предстояло найти, считать, отметить праздники.

Человек разбил год на темпы; а века — на семилетия. Тот факт, что не шесть дней труда ближе к Богу, а седьмой день «не делания», — уже, в сущности, содержит в себе глубочайшее и вместе, конечно, древнейшее «определение существа Божия»: ибо сущность «праздника», эту вот белую и ликующую полосу времени, а не мрачную, не унылую, распространяет и на Бога.

Зрелище людей, проводящих праздник, вид толпы народной в этот день, — не менее говорит об их вере и «существовании Божиим», чем сколько говорит об этом же, напр., и зрелище храма.

Известно, что перед лицом народа Моисей, после беседы с Богом, выходил не иначе, как «закрыв лицо покрывалом». Так записано, и это многозначительно. Известные слова: «Бога никогда и никто не видел» — могут значить не только то, что он *невидим, как ночь, и неосязаем, как отвлеченное понятие*, если Бог «личен», как мы привыкли и обязаны думать, — то Он имеет именно «Лицо», не похожее на отвлеченное понятие, но, например, — еще *гуще и непроницаемое занавешенное*, нежели было у Моисея, понесшего на себе отражение сияния Божия. Сейчас мы и докажем свою мысль. Если Бог ближе к празднику, чем к работе, то это «покрывало Божие» — должно быть белое, и даже сверкающее белизною столь ослепительной, что она лучше предохраняет Его от нескромного любопытства человека, нежели могли бы всяческие черные и толстые покровы. Говоря о «покрове Божиим» не можем, по крайней мере, не назвать, в виде намека и аналогии, так привившийся, столь народный и любимый у нас праздник «Покрова Пресвятой Богородицы». «Покров Царицы Небесной» — что как подножие и фундамент для этого праздника мы имеем в Евангелии? Ничего! Но любовь народная и всенародная, не понимая, что она делает, на какой почве строит, восхотела «Покрова Пресвятой Богородицы». И во всю ночь на этот праздник как хорошо пение: «радуйся, радуйся Наша (Св. Дева), покрой нас святым Твоим омофором». Даже Некрасов заметил этот день:

Вот и праздничек Покров...

II

«Бог в отдыхе, а не в работе», эта первоначальная и древнейшая мысль уже сама по себе содержит какой-то «союз между Богом и человеком», по коему *угодное* Богу есть *отрадное* для человека. Для Бога человек должен наряжаться, веселиться, работать для себя. Отсюда веселье уже непременно сложится в изящные формы, потеряет грубость, станет

нежным и религиозным. Народы должны ждать праздника не как «ничего не деланья», тупого спанья или разгула, а как величайшего осмысленного и сложного народного удовольствия,— наряда домов, квартир, улиц.

Темпы годового празднования следовали после больших периодов годовой работы: праздники явились осенние — после жатвы, весенние — после посева. И еще на самом переломе лета и переломе же зимы, как передышка в зимней продолжительной и в летней трудной, изнуряющей работе. Их все, однако, надо было прикрепить к чему-нибудь; «придаться к поводу», чтобы поставить точку в работе и начать «ничего не делать и наряжаться». Мы среди нашей тусклой и скучной природы не имеем настоящего чувства ее. Руссо хотел Европе дать почувствовать природу; но, верно, не расти розам среди зимы, и в общем попытка его, хотя и великая, благородная — была неудачна и болезненна. В Европе чувство природы окончательно слабо. Кой-что в поэзии, немного в живописи (пейзаж во всяком случае не гениальная часть европейского искусства) — вот и все. Главное у нас нет природы в празднике или, пожалуй, праздник не вынесен в природу; у нас природа не внесена в храмы, за исключением прелестнейших душистых березок в Троицын день: но заметьте, как от этих березок день Пресвятой Троицы выдвинулся изо всех в году, какой он стал сверкающий, веселый, памятный нам от детства, из милых милый день. И что такое «береза», много ли? да еще срезанная с корня, несчастная? Но в день этот старый и юный идет в храм Божий с цветами в руках: и вот это соединение цветка и храма, молитвы и зеленого листочка — как это прекрасно, вероятно, угодно Богу, потому что действует на душу!» Замечательно, что единственный раз, когда свежая зелень вносится в церковь, она вносится в день, посвященный Св. Троице, а не исключительно новозаветному празднику. Тут есть в этих уставляемых в домах березках некоторая отдаленная аналогия, некоторый поздний атавизм еще ветхозаветных «кущ» (праздник кущ, т. е. кустов, молодых рощ).

Мысль Руссо воскресить природу — вышла оттого чахоточной, что если не считать праздника Троицы и еще крещения, где в религию введена стихия воды,— природа исключена и отделена от наших религиозных представлений. В католических церквях, вероятно, всякий замечал при входе каменный сосуд с небольшим количеством налитой в него воды. «Верховные» пасомые, входя в свою церковь, обмакивают в эту воду пальцы и касаются ими лба. Все познается в связи с прошлым. Путешествуя по Италии, я отмечал некоторые подробности в их богослужении, отличающиеся необыкновенной древностью. Напр., у них еще не развилось позднейшего (нашего) кадила, как и лампы не повешены на цепочках, кстати всегда несколько закрывающих, пересекающих перед глазами образ. Лампы у них поставлены на постамент; а вместо кадил — собственно ручные кадильницы. Пожалуй, наши кадила красивее; но эти их курильницы трогают душу древностью. Я с удовольствием

смотрел на них в Риме и Флоренции: они так ярко напоминали мне сходные точки в точках ручные курильницы у древних египтян, так же как и у католиков на короткой и толстой ручке! Достаточно открыть большой атлас Лепсиуса, Росселини и множества других экспедиций в Египет, чтобы везде увидеть этот католический жест-образ курения еще задолго до христианской эры, за тысячелетия! К числу подобных же древностей относится и увлажнение пальцев и лба при входе в католическую церковь. Обычай этот так же трогает: ибо он напоминает те все другие времена, давно погибшую эпоху, когда и священники, и Первосвященник прежде нежели войти в Святое или в Свята́я Святых,— погружался в так называемом «каменном море», огромном сосуде-вазе или сосуде-ванне, утвержденном в так называемом «дворе для народа» на шести высеченных из камня быках. Через эти погружения стихия воды, т. е. важная из стихий природы, все увлажняющая, все оплодотворяющая, была введена в храм, соединилась, как наши троицкие березки, с молитвою. Аналогий здесь приходит на ум бездна. Известно из Библии требование, чтобы священник был безукоризнен физически, т. е. здоров, цел, без уродства и болезней. Но я был поражен, прочтя в переполненном археологическими подробностями Талмуде, что Первосвященник должен был быть выбран из *самых красивых* и непременно *высоких ростом* евреев: таков был его «богословский элемент». *Tempora mutantur* *, только и можно сказать...

Все эти нарядные стороны древнего богослужения вытекли из основного представления, что Бог есть радость и что живет Он в радости, среди радующихся людей, в радостных местах, около нарядных одежд.

III

Чувство луны, и особенно начинающейся луны, молодой, послужило одним из предлогов к древнему веселью. «Новомесячий Моих не забывай»,— это сказано было Самим Богом — как и о субботах, в закон празднования. Знакомо всем то безотчетное чувство, по которому мы любим луну, и как-то делаемся при ней *нежнее*. Мне кажется, в лунную ночь нельзя сказать грубого ругательства. Луна вовсе не бездушное светило, пусть и замерзшее. Разве нет своей «души», т. е. психологии и на нас психологического воздействия, в зиме? Что касается луны, то на редких, исключительных людей,— а это уже все равно, потому что количество не изменяет дела,— луна производит странное действие, не объясненный никем феномен «лунатизма». Человек отрывается,— совершенно, окончательно,— от нашего мира и переходит в какой-то другой, нам вовсе неизвестный; и в этой другой действительности совершает движения и поступки, которые для наблюдающего за «лунатиком» кажутся сверхъестественными и необъяснимыми. Это происходит под

* времена меняются (*лат.*).

беспорным, удостоверенным действием луны. Итак, луна имеет какое-то особенное и исключительное отношение к душе; и кто знает, общее чувство какой-то милосердия, нежности, ласковости, какое и вообще все люди испытывают, гуляя при луне, не есть ли слабая-слабая тень «сомнамбулизма»? а сами сомнамбулисты, не невероятно, испытывают в магическом своем сне неизъяснимое счастье, блаженное состояние души! Как бы то ни было, «рождение» самой луны входило в круг древних торжеств. В одном месте Библии записан упрек пророка (Иезекииля): «зачем вы *кадите* луне?» Это было уже слишком — служить Светилу, когда можно служить одному лишь Богу. Евреи впали в «поклонение Святым», что противоречило всему духу и системе Библии. Однако нечто подобное, несмотря на запрещения пророков, они делают и до сих пор. Именно, в одной еврейской рукописи, случайно попавшей мне в руки и составленной солдатом или унтером (евреем) Николаевских времен, где описаны разные подробности их *теперешнего* быта, рассказывается, что «в ночь новолуния евреи выходят (религиозно-бытовое требование) на дворы свои и подпрыгивают кверху: и чем выше кто подпрыгнет — «тем лучше»: т. е. «богоугоднее» что ли?! Обычай на взгляд, для взора — пожалуй, и комичный. Но какая же это архаическая, еще ханаанская подробность: ибо ведь, очевидно, подпрыгивающие — собственно подпрыгивают как бы *навстречу* только что вот-вот родившейся луне; и это почти стоит *каждения* в ее направлении, что делали древние! Во всяком случае, у евреев тут есть и сохранено то, что потеряно в Европе и что не удалось воскресить бедному Руссо. Луна — это уже огромный факт природы, больше воды, больше ветра и троичкой березки. Это — небесный огромный цветок, как бы лилия в синеве небесных вод. И ввести ее в религию, в религиозное празднование — это в самом деле значило осуществить мечту Руссо! Вспомним Веновитинова и его слова о природе, что нужно

В ее таинственную грудь
Как в сердце друга заглянуть.

В «Талмуде», за ученый перевод которого нельзя не поблагодарить прилежного и неутомимого г. Переферковича, содержится множество любопытнейших архаических подробностей. И в отношении к луне я нашел одну. Астрономии еще не было и не было совершенно точного знания, когда же до точности суток, часа и минуты, «родится» эта ночная красота. Но вот ее ожидание проходило нервным током по Галилее и Иудее. В Талмуде сказаны подробности, как высылались самые сильные ходоки на возвышенные точки страны; имя Гаваона я хорошо помню; другое было имя Иерихона или Вифлеема. Высланные вперед люди сторожили первый луч «новомесечия». Едва его завидев — и счастлив был, кто его первый увидит — он спускался вниз, бежал к ближайшим толпам уже ожидавшего народа и возвещал наступление «новомесечия». Крик и оживление передавались далее. Вся страна

ликовала «навстречу луне», что опять же лишь немного отступает назад перед вызвавшим негодование пророка каждением; и, я думаю, этот праздник, начинающийся темным-темным вечером (в Ветхом Завете сутки начинались с вечера, именно с появлением первых трех звезд после заката солнца) на воздухе, под небом с мерцающими звездами — выходил прекрасен! Я заметил, что луна располагает к нежности: поэтому думаю, что этот праздник выходил особенно нежным, деликатным и как бы задумчивым. Ибо ведь праздники — как и мы чувствуем — имеют каждый свой психологический колорит, в зависимости от времени года, от смысла праздника и ритуала его празднования.

«Новомесячий Моих не забудьте»... Но мы все забыли и растеряли из этого прекрасного Ветхого Завета, т. е. попросту — из завета *древности*, из завета *предков*, из первой своей *родины*, первоначального своего *предания*. Мы теперь только бессмысленно повторяем (и на этом твердо настаиваем), что «Бог живет на Небе». Но если это *так действительно*, то почтим же хоть несколько Небо, и при том религиозно почтим, как жилище Бога, «дворец славы Его». Будем последовательны, будем целостны. Если Бог есть только отвлеченное понятие, то к чему говорить: «Небо — престол Его, и земля — подножие». К чему эти *осязательные* термины? А если мы их держимся, то почтим отчасти Землю и еще больше Небо, «и Орион, и Медведицу», как эти созвездия названы опять же у одного пророка. Не для чего «курить», «воссылать фимиам» к звездам, пусть это слишком: но *немножко*, но *что-нибудь* позволительно в этом направлении сделать и нам. Ведь никакого нет в Евангелии основания для «Покрова Пресвятой Богородицы». Но мы сотворили его. Будем не уставать творить, по намекам, по указаниям. Вспомним опять столь нужную Европе попытку Руссо, которая была бы благотворна, если б удалась. К троицыным березкам и цветам прибавим и реальное, осязательное и зрительное ощущение «Жилища Славы Божией» (Неба). Молитва, может быть, вспыхнет еще выше, чем в Троицу. Дети наши, проведя час празднования под звездами, под луною, на воздухе, среди природы, еще ярче это воспоминание перенесут во взрослую, угрюмую жизнь, как обычно переносят сейчас воспоминания о нарядной своей комнатке, убранной березкою в этот памятный и светлый и невинный день. Не забудем никогда того, что природа невинна; что общиться с нею — значит возрождаться самому в невинности; и что соединять, смещивать молитву, вообще религиозное, напр. праздник, с невинным (природою) — не только вполне позволительно, но должно бы составить и долг наш.

IV

Все высказанные мысли, очень у меня старые, очень болеющие в сердце моем, я высказываю по поводу недавно появившейся книги г. Е. Швидченко: «Святочная хрестоматия. Литературно-музыкально-этнографич-

ческий сборник для семьи и школы». Она имеет посвящение: «Дорогой России в лице ее юного поколения», и под этим посвящением — эпиграф

Чтоб развивалась она (Россия) веселясь
И чтобы веселилась благородно.

Курсивы эпиграфа принадлежат автору и выражают задушевную мысль, которая вдохновляла составителя книги, потребовавшей много труда. Судя по тому, что еще в 1898 году вышло его исследование: «Рождественская елка, ее происхождение, смысл и программа», видно, что идея эта — пролить изящество в веселье, а самое веселье сделать орудием духовного развития, — есть до некоторой степени задача жизни молодого или во всяком случае не старого автора. Дай ему Бог сил. О вывозе масла из Сибири, о тормозах Вестингауза мы уже имеем литературу. Но буквально ничего, кроме шутовства и каламбуров в теории и бешеных визитов на практике, мы не имеем около великого и святого явления: праздник. Церковь сложила на праздники «особенности богослужения». Но этим она выполнила *свою* часть задачи. Остается *народная* часть, *бытовая* — совершенно другая: образованная часть выразила ее в визитах, простой народ выразил в кабаке. Ни в визитах, ни в трактирном чаепитии не принимают никакого участия: 1) дети, 2) матери семейств. И вот вопрос, как же *им* с своей стороны, *своим* участием выразить отношение к празднику, новизну чувства и новизну поведения в эти дни, — может быть поведет к возрождению, а в сущности, к созданию заново праздника. Именно, если женам и детям удастся, при огромной помощи мыслящих людей, ученых, живописцев, музыкантов, поэтов разработать праздник в счастливую и нарядную картину, — то и гг. кавалеры, они же, к счастью, и отцы семейств, могут, побросав свои полуидиотические визиты, принять участие в домашнем и красивом ведении праздника.

В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;

Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.

Приведа этот стих из Жуковского, г. Швидченко пишет:

«Что и говорить — красно и живописно изображено! Но уж больно общо и неопределенно. Как и когда пели? Как и когда гадали? Ничего не известно! Некоторые строки у Пушкина не более освещают дело. Не мог я также выяснить для себя, в каком соотношении находятся уголь, хлеб и прочие вещи, употреблявшиеся при гаданьи, и подблюдные песни. Опять пришлось руководствоваться догадками да теми же позднейшими сборниками народного песенного творчества г. Шейна».

Из слов этих видна и маленькая литературная неуклюжесть автора, почти идущая к его книге: книге трудолюбивой, заботливой, дельной, практической. «Тем лучше!» — хочется сказать о недостатке у автора «стиля» и проч., когда, страницу за страницей отвертывая, мы видим его то в хлопотах ученого изыскателя, то в советах отцам семейства, инспекторам гимназий, институтов и корпусов, которым он подсказывает, как восстановить древние «комедьки», дает ноты народных песен (рождественских), частью им самим собранные и тщательно выбранные (из нескольких вариантов); и, наконец, перейдя от роли ученого и педагога к роли творца, дает для детских праздников две детские, скорее — отроческие пьески: «Елка, драматическая картинка» (стр. 425—445) и «Овсень (Новый год, представленный в фигуре жениха-боярина) и Коляда» (невеста, символизирующая день Рождества), — «мифологическая сказка, разработанная драматически». Все это необыкновенно интересно по количеству затраченного труда, по зрелости мысли автора, его отличным мотивам. И право, читая эту книгу и вспоминая еще другую г. Степанова: «Народные праздники на Руси», вышедшую в прошлом году, начинаешь верить: да уж не в самом ли деле нам выпадет на долю счастье сотворить себе *нарядный год*, восстановив из обломков, из дребезгов старины красивые древние обряды?.. Ведь стоит к трудолюбию г. Швидченко прийти на помощь гениальному вдохновению кого-нибудь нового Чайковского или Островского, да образоваться «Обществу восстановления древних игр», число соучастников которого, вероятно, моментально возрастет до нескольких тысяч, — и появится сегодня «кое-что», завтра — больше, а послезавтра и совсем большое, великое!

Грустно теперешнее зрелище праздника. Вот «казенная лавка»; но еще нет двенадцати часов и двери ее заперты. Гуськом, почти как около кассы железной дороги; стоит длинная вереница лиц унылых, скучных, молчаливых. Редок тут говор. Головы опущены. Все дожидаются угрюмо, упорно. «Шесть дней трудились, на седьмой — выпьем!» И хочется им крикнуть: «Нет, други! не здесь, не на мостовой, не в городе. Если и выпьем, то немного, и старинной не отравляющей бражки; а главное — заменим вино движением, весельем, песнею, игрою умною, и где были бы все участниками, а не только зрителями». Ведь что такое «вино», как не перенесение внутрь, в желудок и в кровь *движения*, которого недостает *членам*; что оно такое, как не поднятие спиртом *настроения души*, которое может быть поднято оживленною и сложною *игрою*, — игрою веселою и сладкою, игрою, запечатлевающеюся и вместе заманчивою?!...

V

Не будем излишне предаваться унынию и печали, и думать, что дар творчества, например праздничного и обрядового, дан только первобыт-

ным мужикам. Ведь возможно и нам воскресить в себе много-много наивности; будем сближаться с природою, с детьми: и с каждым шагом мы будем чувствовать, как и в нас самих через эту близость возобновляется заснувшая, а не умершая простота и детство. Возможно же было, что Лермонтов в «Купце Калашникове» взял чисто народные тоны; что у Пушкина в «Песнях западных и южных славян» слышатся Балканы, Дунай, старые княжеские усабицы. Возможно было этим двум — возможно другим; возможно в такой степени — значит возможно и в большей. Нужно только пожелать, чтобы творчество из кабинетного стало уличным; и, далее, из городского — хоть частью полевым. Мы украшаем комнаты: отчего не украсить улицу? Мы думаем о благоустройстве тротуаров и мостовых: отчего не разработать так же прилежно, но только еще и художественно, загородную рощу или рощу насаженную в самом центре города взамен никому не нужной «главной площади», всегда имеющейся в уездном городишке и в губернском городе. Праздники *весеннего древонасаждения*, так хорошо принявшиеся в России, и о которых, как и о пролете весенних птиц, приносит телеграф известия из разных городов в столичную печать,— подают самую большую надежду. Этим праздникам древонасаждения всего лет 5—6 росту. Это младенец, но могучий и любимый. Около праздников этих возможна музыка, поэзия; отчего первоклассному поэту не дать сюда свою дань? Возможна около них пластика изящной игры и танцев. И мы не можем угадать предела, до которого пойдет это веселое, полевое торжество. А сколько с ним свяжется детских воспоминаний, как они оживят старость!..

Уходи, Зима седая;
Уж красавицы Весны
Колесница золотая
Мчится с горной вышины!
Старой спорить ли, тшедушной,
С ней, Царицею цветов,
С целой армией воздушной
Благовонных ветерков.

«Зима медленно удаляется со сцены. Елка жадно смотрит навстречу Весне. Появляется Весна, с цветами в руках, веселая, радостная,— и показывает вид руками, что оживляет природу».

Это — отрывок из детской пьески «Елка» г. Швидченко. Сюжет и ход пьески выдуман составителем хрестоматии; но он вставил в нее отрывки стихотворений соответственной темы из А. Плещеева, Некрасова, Соллогуба. Все вышло хотя и сборно, а нарядно; детям же принесет неистощимую радость, да и родители порадуются на дочку 12—13 лет, которая, приехав из института на Рождество домой, является изумленным маленьким братишкам и сестренкам в виде «осыпанной цветами Весны, оживляющей Природу». Лет уже семь назад я был раз на такой детской пьеске. Трудно представить себе, что играли — «Стрекозу

и муравья» Крылова! Но когда в конце этой ли басни, другой ли какой, но тоже не более как басни, из боковых дверей небольшой квартиры показалась девочка лет 9-ти (старшая), одетая Солнцем, в желтых лучах около головы, и тоже, кажется, с цветами, и что-то стала медленно и торжественно декламировать,— то не было конца и смеху и умилению взрослых, а крошки братья были поражены величию сестры. И много я видал пьес потом, на большом театре и с большими актерами, но все они не закрыли в моем воспоминании этого маленького представления. Кстати, каждый, кто знает, какие сложные игры дети уже 6—7 лет устраивают со своими куклами и их домашнею обстановкою, как они водят куклу к куклам в гости, какие говорят при этом длинные монологи, а иногда и диалоги,— тот согласится, что театр едва ли не принадлежит к «*idée innée*» человечества, «врожденным идеям» (инстинктивным) его, и что, может быть, дети-то и суть самые естественные и самые даровитые сочинители возможных в будущем, необходимых в будущем, детских пьесок для рождественских праздников. Нужно начать внимательно слушать их игры; записывать за ними; изредка и осторожно дать направление течению рассказа. Хотя они чудеснейшим образом сочиняют самые необыкновенные приключения для своих кукол, а иногда, точно погрузившись в экстаз воображения, произносят негромко вслух целый рассказ о том, как «такая-то девочка шла туда-то, где была ее мама», кто к ней «подошел и ее напугал», или как «случился пожар, но все избегли опасности через такие-то и такие-то» манипуляции взрослых, а иногда и при помощи детей.

Книга г. Швидченко полна самого, так сказать, возбуждательного материала. Прежде всего отметим научные документы. Автор собрал, кроме великорусских и малорусских, еще чешские, польские, сербские, румынские, немецкие, французские, английские, итальянские, американские колядки (оригинал и перевод на русском языке), сопроводив наиболее музыкальные из них нотами; а по отношению к великорусским колядкам он разыскал лучше сохранившиеся в Добрудже экземпляры текста и напева; наконец, или от себя рассказал или заимствовал из писателей рассказ о праздновании Рождества: в Вифлееме, в Чехии, в Швеции и Норвегии, в Англии, в Испании, во Франции. В статье «Театр марионеток» рассказал о средневековых мистериях, о марионетках в Испании, Франции, Англии, Германии, Польше и России, о так называемом «вертепном представлении» в России и в Сибири (большая оригинальная статья автора). В оригинальной же своей статье «Ряженье» рассказал о мимах, агиртах, жонглерах, шпильманах, «дурацких обществах» и «праздниках дураков», о карнавале, скоморохах, «окружниках» и «халдеях». Наконец, в особом «Святочном словаре» дает филологию и историю святочных терминов, как христианских и славянских, так и древнеримских, древнегреческих и проч. Уже из перечня этого читатель увидит, что «Святочная хрестоматия» представляет сокровищницу всяческих сведений, решительно необходимую для каждого, кто задумал

бы сколько-нибудь принарядить себя в эти семь дней, принарядить себе эти дни. Остановимся на педагогических идеях книги.

Праздник — это торжество, радость, а в дни торжества присуще человеку единиться. Вот отчего вполне сочувственная мысль автора, принципиально проведенная в книге, поместить «Русское Рождество» в группу рождественских обычаев всех стран и народов, как бы и не было печальной грани между ними, и дабы для русских детей мы брали веселое и милое у кого попало, всем говоря «спасибо». Право, доброе и ласковое отношение к внешним ни мало не расхолаживает своего внутреннего, а как будто даже согревает и его. Есть такая точка зрения, возможна такая точка зрения. Далее, из отроческого бессознательного возраста автор переводит рождественские празднества в сознательный юношеский. Книга его в значительной степени имеет в виду гимназии, женские институты, кадетские корпуса, духовные училища. Он дает руководство к устройству школьных праздников, напр. литературно-музыкальных вечеров, но специально приуроченных к дням Рождества, к содержанию исторических увеселений в это время.

«В одной книжке,— говорит г. Швидченко,— я прочел, что нужно для ролевых вещей на детских праздниках выбирать только веселое и жизнерадостное,— и удалять все грустное. Я не согласен с таким мнением. Я понимаю, когда речь идет о детях, собравшихся на лужайке побегать, поиграть, или собравшихся в зале, в семье потанцевать, или когда речь идет о простой семейной елке,— что здесь не должно быть слез: веселье — для веселья! Но на школьную или вообще общественную елку следовало бы смотреть шире: она есть празднество, выдающееся для целой школы, на целый год. Она не простое гулянье, но в то же время и литературно-музыкальный вечер (или утро); это своего рода детский театр — в лучшем значении этого слова. И как таковое празднество, елка должна иметь воспитательное значение. А где дело касается воспитания, то тут уже идет речь о «добрых чувствах», которые, по выражению нашего великого поэта, следует «пробуждать» в детях. Теперь спрашивается: что скорее способно пробудить в детях добрые чувства: простые веселые рассказы и стихотворения или такие, которые заставят вздрогнуть все существо дитяти, потрясут глубочайшие основы духа и вызовут слезу умиления».

Далее автор приводит в пример известный рассказ Достоевского: «Мальчик у Христа на елке», который в свое время вызвал у него слезы на глазах, и с тех пор припоминается всякий раз при виде нарядной елки, и продолжает:

«Иное дело — печальное в жизни, и иное дело — в литературе, в поэзии: несчастное событие в жизни слишком поражает, рвет душу; печальный рассказ действует мягко, пробуждает нежное чувство. Он не помешает последующему веселью детей, он только окрасит их настроение, как некоей дымкой романтическим колоритом. А вызвать такое настроение у детей в данный вечер — я нахожу наиболее желательным. Веселое беспечное скользит по поверхности духа: печальное проникает в глубину души и оставляет в ней долгий след. Веселое больше развлекает, печальное — больше воспитывает. Веселое скорее делает детей беспечными, равнодушными к чужому горю, к ближнему; печальное делает их добрее, отзывчивее к другим. Говоря так, я лишь борюсь с крайностями

распространенного мнения. Одно печальное, как и одно веселое, повторяясь долго в одном направлении, так же перестает производить впечатление на душу. Вот почему самыми сильными эгоистами иногда бывают люди, которых жизнь протекла либо в полном довольстве, либо в сплошном горе».

Наблюдения слишком точные, чтобы их можно было оспаривать. Известен мягкий, задумчивый, сочувствующий страданию людскому характер русских людей за первые пятнадцать лет XIX века. Музы Жуковского и Карамзина, с их сюжетами, на наш взгляд наивными, но именно мешавшими печальное и веселое в надлежащей пропорции, были не без влияния на образование этого общественного характера.

Обращаясь к педагогам, г. Швидченко предостерегает их от такого устройства детских праздников, при котором играют игру только некоторые, а остальные являются зрителями, пассивными и поэтому скучающими, во всяком случае, не так уж оживленными. От этого в две свои пьески он вставляет обильно хоры, и при том не только поющие, но и мимические. Не у всякого есть голос, но двигаться в процессии уже всякий может. Далее он предлагает для устройства школьных праздников соединять вместе по две, по три народные школы, или, например мужской гимназии соединяться с женскою. Слишком понятно как это оживит праздник: и ожидать от этого дурных последствий — это такая же подозрительность, как ожидать вреда от того, что мужская и женская половины ходят не по разным на улице тротуарам, а смешанно идут по каждому. «Подобное соединение, — говорит г. Швидченко, — практикуется, например, в духовных училищах: там воспитанники семинарий нередко приглашаются в епархиальные училища на литературные и танцевальные вечера, и результаты получаются прекрасные». Ничего, кроме развития деликатности отношений, утонченности обращения от этого, конечно, и ожидать нельзя.

Автор жалеет, что по чисто экономическим причинам он не снабдил свою книгу рисунками — действительно необходимыми. И, извиняясь в этом, как и в других недочетах скромного и прекрасного своего труда, говорит: «Ведь это — *первый* опыт в своем роде; чужих следов и проторенных тропинок в этой области не было, и мне приходилось самому прокладывать дорогу к намеченной цели. А это потребовало труда огромного — и умственного, и чисто механического. Гармонизация некоторых великорусских, славянских и иностранных колядок сделана г. Ю. Извековым в Праге и г. Bratshi в Женеве — впервые по моей просьбе и под моим наблюдением». Перечислив и другие затруднения, испытанные при составлении книги, автор заключает извинением: «*Quod potui-fici*» *. Мы же можем ему ответить «*factum est magnum et bonum*» **.

На протяжении книги он везде жалуется, что вся почти старина растеряна, но нигде эта растерянность так не велика, как в России, и в ней

* «Что мог — сделал» (лат.).

** «деяние великое и доброе» (лат.).

самой — нигде, как в великороссийских губерниях. Отсюда странствования его в Добруджу и Румынию за напевами подблюдных песен, за текстом «коляд». В западных литературах существуют волломинозные труды, посвященные разъяснению святочных празднеств, увеселений, обычаев; и члены академий наук посвящали этому свое время, труд и многосторонние знания. У нас празднования Рождества с каждым, можно сказать, годом погасают. Я наблюдал, в Петербурге, в трех ближайших к моему месту жительства церквях, что на поздней литургии в первый день Рождества даже не зажигается люстра. В торжественности и нарядности храмовой службы нет никакого отличия от обыкновенного воскресения. Печально звучит вставленная в литургию панихида по Александре Благословенном: в самый день Рождества нашего Спасителя вспоминается все-таки гроб и смерть!! И икона Рождества Христова, к которой молящиеся прикладываются за всенощною накануне — тоже небольшой величины, обыкновенной работы, не выразительная и не умилительная в изображенных лицах. У нас не было Корреджио, и его «Святая ночь» неизвестна даже в снимках, копиях или подражаниях. Т. е. она известна, но в кабинетах, а не религиозно, не для молитвы. Вся Вифлеемская сторона Евангелия, в противоположность Западу, у нас выражена тускло. Точно мы не слышали или услышали и забыли «Слава в вышних Богу», пропетое ангелами близ вертепа для пастухов. Изображение этого пения, т. е. хора ангелов, поющих и толпы пастухов слушающих, я никогда не видел в наших храмах. Между тем слишком возможно и позволительно сюда продвинуться молящемуся желанию. Никакое религиозное усердие не напрасно, и, может быть, эти самые строки мои пробудят мысль в живописцах, в храмозидателях. Но я доскажу главную свою мысль. Отсутствие выпуклой постановки праздника Рождества Христова (свеча — не на подсвечнике, а плашмя положенная) отразилась и далее в том, что дома наши тоже не разрядились, не расцвелились в дни кончающегося декабря и начинающегося января. С этим в связи и то, что ученые не занимались нашими святками. Бешено скачут «лихачи» и медленно тянутся «ваньки», развозя гвардейцев и коллежских ассессоров «с поздравлением по начальству». Россия не живет, а «служит». То, что мы — «великая держава» — это имеет свои преимущества, но имеет также и некоторые печальные последствия. Уныло около «казенной лавки», в то время, как начальство спешит по визитам, стоит стенкой толпа «верноподданных», и ожидает часа, когда дверь раскроется и густой пар повалит из нее на мороз. И нет причины ученому взять перо, чтобы что-нибудь рассказать обществу об этих днях; опустилась бандура, замолкли мало-помалу певцы; и задумчивому и несколько религиозному человеку нет причины сказать даже хоть про себя: «благословен, Ты, Господи, что дал нам не только будни, когда мы наказываемся трудом и потом за грех непослушания, но и дал праздники, как обетование прощения и воскресения в новую жизнь».

1903

ИСПОВЕДАНИЕ СВЯЩЕННИКА

(По поводу споров о елке,
как языческо-христианском
празднике)

«В мире скорбни будете»
(Иоан. XVI. 33)

Несказанно тронут, В. В., вашим вниманием, пусть оно вылилось в форму «горькой правды» мне лично и вообще духовенству. «Лучше открытое обличение, чем скрытая нелюбовь» (Премудр. XXVII. 5). Но надо, чтобы обличение было «воистину правдой». «Судите суд», внушал Господь И. Хр., но «праведный» (Иоан. VII. 24). Как любитель правды, даже самой колючей, откровенно скажу, что в вашем суде я не усматриваю правды. Вы пишете в письме, что заметка моя об елках «*поправила*» вас «только в *последнем* листочке», а об остальном говорите: «вы (т. е. я) просто не можете войти в чужую, даже невинную радость»... Тут печальное недоразумение! на *последнем* листочке я твержу, что елочное торжество надо праздновать по-немецки: песни, гимны, рассказы о Рождестве Христовом, подарки, побратимство. Ничего отдающего русским скверным духом вносить на елку — дерево Христово — не следует. Если это Вам «нравится», то почему же все «остальное» поставили мне в упрек? Центр тяжести *всей* моей заметки не в том, что *всякое* веселье — грех, а в том, что противоестественно — назвав елку «боженькой», бросать этого «боженьку» на пол. «Прелестнь», вы говорите, «немецкие обычаи около елки». И я тоже говорю. А мы, русские, искажаем эту «прелесть» тем, что прибавляем к «немецкому» религиозному, высокому — пошлых «Кузнецов», «Калину» и иное «подходящее» к пошлости: фиглярство, скоморошество *. И как еще прибавляем! Да,— *вплотную* к религиозному отделу приделываем светский **. Я вот и говорю, что «нелепо это, противно»,— и при том «всякой», а не «поповской» только — душе учинять такое попури, где бы вслед за поэтическим гимном: «Дева Днесь», шел антипоэтический — «Кузнец» или «Калина» ***. Нет такой психологии, которая полагала бы, что на браке надо петь панихиду, что надо плясать около гроба. Также бесстыдно священный символ, елку, счесть стимулом к пляске под «камаринского»! Торговля, конечно, честная торговля — вещь нужная, но почему торгашей бичом гнал из храма кротчайший Христос? Ясно почему. И я говорю: — около символа «звезды волхвов» прилично Богу в землю поклониться, а не тащить под этот символ неподходящее, а уж тем паче не позволять себе ничего кабацкого, кабаком разящего, как это у нас бывает, потому, должно быть, что когда-то на кабаках торчала ель... Значит ли, что я не позволяю ничьей душе и ни на каком месте —

* Тут — бедность сотворившего духа, а тенденция сотворения, тема ее — прекрасны. Не сравниться белорусской песне «Циня дудка моя» и пр. с песнями Эллады; но и белорусская песня, которая *утешила* печальный и тусклый народ — стяжает у историка такую же благодарность себе, какую Илиада — у Геродота. Иное солнце — иные травы.— В. Р-в.

** Ах, вот в чем беда. Ну, я прав.— В. Р-в.

*** Боже! Да нужно и *ногам* потанцевать, и *ладошам* похлопать — после полугода каторжного труда! А ведь не затанцуешь и не захлопаешь в ладоши под *ваши* песнопения... Дело в том, что весь *ваш* труд — не грязный, не черный: круглый год поете заунывным голосом, без особенного уныния в сердце, и *потребности* в шумном, ярком веселии нет у духовенства. И оно, не нуждаясь, физиологически и психологически, само в нем — хочет отнять его и у народа.— В. Р-в.

веселья?! Ничуть не бывало. Я «подбираю подол рясы (ваше выражение бегу) *только* от веселья неуместного, неблагоприятного *». Вообще же — обеими руками благословляю ** всякое веселье, всякую радость, которая, при благовременности, дает отдых душе, возносит мысль к высоте небесной, проливает отраду в сердце ***. Люблю я музыку ****, поэзию ***** , картины, природу, пластику. Хотел бы любить в них только радостное, бодрящее, веселое, праздничное. Но не могу пропустить мимо ушей и слез и горя ***** в жизни и творчестве, если они искренни, уместны, благовременны, а не суть — натужное нытье, фальшивые завывания.

Но почему же попы, как вы пишете, «не дали миру ничего поэтически радостного, а дали лишь слезы и уныние»? — Как больно это слышать! Большой и очень большой вопрос поднимаете вы в подчеркнутых мною строках. О нем надо много говорить. На страничках короткого письма всего не уместить. Может быть, когда-нибудь в другое время и при другой обстановке и удастся потолковать об этих жгучих строках: я чую в них сжатую мысль вашу, не раз вами печатно высказанную. Тут несомненно *implicite* подразумевается ваш взгляд на *Церк.* законы о браке и разводе, — на *Церковн.* богослужение (для стариков), — на то, что будто Церковь все около гробов, да могил, да мук здесь и там, «превращающих жизнь в нравственный кисель» (ваши слова)...

Но одно-два слова позвольте молвить. Итак, духовенство обвиняется в том, что оно не поет чего-нибудь «миру угодного»*****. Чтобы судить *****

* Да, вот как зайдет дело об «местном» и «благовременном», то и сведется все к *панихидке*. На что «честен брак и ложе не скверно» (по Апостолу) — а около длинных, торжественных, сияющих служб поста — нельзя. Но зато, может быть, можно в вифлеемскую радость опустить *панихидку*? — «Можно!» И в самый *праздник Рождества Христова* мы ныне слушаем, на литургии, вечно милое нашему слуху «со святыми упокой». — *В. Р-в.*

** Да, все «вообще», а как дойдет до *конкретного* — «тпруу!» Бываете ли вы на серьезной драме в театре? на опере? Нигде вас не видно, где есть веселье человеческое. И ей-ей, кланюсь — вы человека не любите!.. Нет свидетельств этому, кроме словесных. Но кто же ввязь и прямо скажет о себе: «не люблю человека?» Каждый пишет себе в паспорт хорошие приметы: «белокур, строен, приветливого нрава». — *В. Р-в.*

*** Ну, да: одним словом — «приди к нам и послушай наши пения и чтения»; а, втайне: «полюбуйся на нас», «помолись нам». — *В. Р-в.*

**** Вероятно, *фисгармонию*? Слышал, семинаристы любят упражняться на ней, и все в своих напевах, сводящихся к *панихидке*. — *В. Р-в.*

***** Вероятно — *Ломоносова*? «Утреннее размышление о Божием величии». — *В. Р-в.*

***** Да разве мы, светские, их пропускаем, не понимаем? Да разве у Шекспира, *которого смотреть вы не пойдете*, напр. в «Короле Лире», в «Гамлете», мало горя? Какого еще вам надо? Разве черной печалью не покрывается сердце при чтении «Анны Карениной», «Рудина», «Дворянского гнезда», которые читать вы воздерживаетесь? Нет, все дело решается цифрами: «по статистическим данным кочерче всех оказывается — *жизнь врачей, и длиннее всех* — жизнь *духовных*: от крайнего беспокойствия профессии первых и от спокойствия жизни вторых». Вот это — *дело*. — *В. Р-в.*

***** Да не «угодного», а физически и психологически нужного. Примите во внимание *усталость* мира. Выслушал я от одного, почти миссионера, рассказ: что в Волынской губернии «паробки и девки — если когда случится, то к хороводу подойдет скрипач — *стоят и кружатся часы, бледные, с оловянными глазами* — и *все притопыпают в такт*». Я содрогнулся: вот до чего велика потребность в усталом человеке (за неделю) хотя бы в мизерном веселье, хоть в кое-чем!!! Наши алкоголь и пьянство, наш кабак — да, и он! — на 1/2 объясняется тем, что не допущена у нас церковная музыка, не допущена *настоящая* храмовая живопись! Везде мрак, везде слезы. — «Ну — тогда я пойду в кабак». Да, ей-ей, не будь у меня оперы, романов, ухаживания — и я запил бы! А теперь, ухаживание, и музыка, и картины заменяют мне виноградное вино. Замечательно, что в католических странах, где есть «культ Мадонны» — алкоголизма нет. Он удел нашего Востока и всех унылых, морализующих *протестантских стран*» (Англия). — *В. Р-в.*

***** Все нижеследующее — чрезвычайно важно. Это исповедание священника, торжественное, прекрасное, глубокое, наконец, трогательное; ему место бы не здесь, где разбира-

о деятельности кого угодно, надо поставить перед собою идеал этой деятельности. Духовенству, точнее, пастырству, идеал поставлен Пастыреначальником И. Христом и Его Апостолами. Вы, конечно, знаете, в чем состоит этот идеал. Ограничимся пока этими речами идеалоположников: «шедше, научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Св. Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам» (Мф. XXVIII. 19). Это слова И. Христа. Вот слова Апостола: «гони правду (стремись к ней), благочестие, веру, любовь, кротость, подвизайся добрым подвигом веры, молися за вечную жизнь, в ноже и зван был еси» (Тимф. IV. 10—12 и VI — 12). Нигде не указано, чтобы идеалом священства было — создавать или давать миру те радости, которые закрывали бы для него Небо, заставляли бы веселящихся забывать, что жилище наше на Небе, а здесь — *странничество*, и то по узкому пути, сквозь *тесные* врата. Не духовенство придумало *крестоношение*, *распятие* плоти с ее *похотью*. Не оно сочинило чудную по яркости притчу о богаче, светло *веселившемся* во все дни, и своими руками вырвышем себе *адскую* яму. Не духовенство сказало: «в мире *скорбни* будете» и «многими скорбями и нудностями *купуетя* Царство Божие» — эта вечная радость, жизнь, покой...

Вычеркните эти и другие множайшие строки и страницы, определяющие цели и содержание жизни,— тогда явятся и другое *веро-и-право-учение*, другой *культ*. В другом тоне запоет и заговорит и духовенство. А пока оно и *должно* делать то, что в лучших своих представителях делало и делает. Не мертвечину и слезы одни оно дало миру, а то, что должно было дать и что — смогло дать: идеала вдруг не достигнешь! Оно бросало в мирское тесто ту закваску, которую приготовил Глава Церкви — Христос. Закваска, вы знаете, не в миг все всквашивает. Тесто то не инертное ведь... «Но зачем же эта закваска не дает себя *радовствовать никому*, как нечто радостное»? Да разве это так? А вот завтра мы с *радостью* запоем, вместе с Ангелами, «Славу Богу, даровавшему нам мир и благоволие». С веселием сердца будем почерпать и пить, и кропить себя и жилища свои св. водою богоявленскою. С несказанным восторгом запоем поэтические песни «Пасхи красной». Слезами радости обольемся, когда отеческая рука духовника снимет с души нашей тяжкое бремя греха. Святая радость пройдет до глубочайших изгибов души и тела, когда «угль» пречистых Тайн попалит терны грехов... И мало ли случаев и поводов, когда «сердце и плоть наша радуются о Боге живом, душа наша горит радостью о Господе». Есть радость и в страданиях *.

ется «арифметика целых чисел» христианства, а в том, что я называю мысленно «логарифмами христианства». Разумеется, исповеданием этим снимается вся вина и все обвинения с нашего доброго, народного, милого духовенства; но сердце читателя этих строк отягощается, делается еще грустнее: ибо все отодвигается вдаль, тени удлиняются, и оказывается, *как совершенная истина*, что в XIX—XX веке мы живем в *начинающемся* рассвете после 19-ти веков ночи. Священник говорит: «Не мы, а Христос». Мне остается ответить: «Ты это сказал». — В. Р-в.

* Я не спорю. Но, Боже — это миру неподсильно... В Фиваиде, в конце концов ничего не деля, питаюсь «плодами и травами» (при хорошем-то климате), можно было упиваться восторгам *метафизическими*; ну, а в холодном климате — есть только физика и физики. Нельзя же не пожалеть бедного человека. Для духовенства, которое активно служит все службы, которое знает все, *но молчаливо про себя произносимые молитвы* (почему-то лучшие молитвы наших богослужений священником произносятся молча, их народ не слышит и не знает), наконец, которое *это* имеет свою специальностью, — для него можно быть насыпленным этими богослужебными восторгами, высокою богослужебною поэзиею. Совершенно иначе дело представится отсюда, из мира, где мы только стоим и слушаем, и не все слушаем, и бездны не понимаем *из-за работы, из-за пота, из-за забот*. Священник пропел Рождественские службы; и дожидается крещенских, а там — великопостных, наконец — пасхальных. Для него это сплошной круг торжества, художества, поэзии. Ибо он только поет и служит. Но для

Вспомните хотя ап. Павла. Мы — не Павлы, но призваны подражать ему: «подобны мне бывайте, якоже аз — Христу»... Даже и на могиле разве только — безнадежность *, слезы не отираемые? А что Христос сказал: «Несть Бог — Бог мертвых, но — живых» (Матф. XXII. 32). И апостол: «О умерших да не скорбите, яко же и прочии, не имущии упования» (1 Сол. IV. 13).

Не могу не сказать, что мы отцы духовные — болим болями сердца о каждой душе болящей скорбию и озлоблением. Боля, тщимся приложить пластырь к ране больного **. Не все мир знает, что мы делаем для него. У нас есть тайны с духовными нашими детьми, куда чужой глаз глядеть не может. Конечно, тайны эти не такого свойства, о которых поведал миру пресловутый Шиники или Хиники. Не с кафедр публичных громить *личный* грех каждого, не на виду у всех лечить и веночную болячку иного сердца. Это только г-жа Лухманова хотела, чтобы о. Петров разрешил ей задачу, какая была у нее в уме, чтобы он приложил свой перст к ране, которую она *не* показала ему. О. Петров «пел» о другом, и вот ему за это: «камнями тут поп кидается, а не хлебом кормит». Права ли она? Прав ли и тот, кто поставил бы перед духовенством *свою* цель, и стал бы осуждать его за то, что оно не дает миру того, чего мир хочет, а «поет свои песни». Надо петь — и поет. Может быть, плохо поет. Что же? У него голос человеческий. Ошибка — не фальшь злая. Ну, один поет плохо, придет другой — споет лучше. Зачем — безнадежие, к чему такой пессимизм: «ничего попы не дадут, мир уйдет от них» (ваши слова). Верьте, досточтимый искатель истины, что в *свое* время пошлет Бог в виноградник своих добрых делателей, а злых, ленивых, неумелых — вон выгонит. Виноградник — это Церковь; не труп, а жизнь; ибо Главарь ее всегда жив. Не уйти бы миру, отвернувшись от «попов», и — от Бога попов, от того Бога, Который Сам поставил попов в чине их, дал им известную «овчарню», с наказом: «Пасите стадо, взыщу с вас за каждую овцу». Но «овцы-де вас слушать не хотят»: весь мир начинает на «попов» смотреть глазами руководителей худших органов повременно печати, т. е. требуя, чтобы не было печатаемо «ничего от них и ничего о них». Прекорбно! Но «чего ради ненавидит нас мир»? Прочтите в ответ слова Христовы: Иоан. XV. 18—20. Это еще не доказательство нашей негодности, что мир оборачивает к нам спину.

пыльщика, который, согнув спину, *монотонно* шесть дней слышит лягз стали о дерево, и в сутки по 12 часов стоит в одной и той же *согнутой* позе — ей-ей эти песнопения уже не скажут того же! Нет, дайте пощады! Хочу для пыльщика роц, лугов, цветов, музыки. Буду яростен и скажу прямо, что пыльщика нужны «языческие священные рощи», и смычок, положенный на скрипку, и, наконец, девушки, хороводом взвисяшие за руки, — и не меланхолические, а с сочными губами, высокими бюстами, широкими бедрами. Нет, я тоже хочу быть жесток и закричу: «Шехеразаду! Шехеразаду сюда!» — В. Р-в.

* Все это — глубоко и вводит в самую метафизику христианства. Объясняет, почему «Христос победил мир». — Мир *ужасно* страдал (первородный грех), и не было света этому страданию, и не было дня из этой ночи. Христос сказал: «скорбные, где вы? Я с вами, бог ваш; отныне в самой скорби вы станете находить утешение, в отчаянии — радость, в слезах — улыбку». Великая тайна совершилась, что слезы, скорбь, смерть не отменились и не победились, конечно: но *как будто* победились, ибо в сердце человеческом совершилась такая диалектика, что черное и белое как бы смешалось и получилось серое, уже не столь страшное. — В. Р-в.

** Ну, ну — а консистории? Когда же *вы* против них протестовали?! А ведь там здорово мнут бока «болеющим ранами». И Амвросий Оптинский против них не возражал. И Серафим Саровский о них промолчал, и Феофан-затворник. А не возражали и промолчали, — так, значит, были в *согласии*. И, значит, все эти ваши слова, батюшка, хоть и чудные, берущие за души — однако суть благочестивая лирика, которую Церковь всегда из мира извлекала, — как ап. Петр «неведом» — «хороший улов рыб». Нет, опять воскликну — «Шехеразаду! Шехеразаду!» Дайте нам сады и дев, и рощи, и леса, и благоухания цветов, и манящую к восторгам музыку! — В. Р-в.

Сам Творец не удержал твари своей в раю, не мог удержать в подчинении Себе ангелов небесных. Христос Господь не спас от гибели сына погибельного — Иуду. Мало ли отцов и матерей, которые с грустью безнадежно смотрят, как их детища бегут из-под родного их крыла на «страну далечу» и живут всячески «блудно»... Дух наш свободен. В плоти нашей воткан закон греховный, который и дает нам всякие пакости. И видим доброе, да сил нет сделать его... И мы, попы, только с болью в сердце смотрим, как мир,— слава Богу, не весь,— читает нам отходную, как будто заживо сгнившим прокаженным, «Не вмени им, Боже, греха сею!» Вот наш ответ,— нашим погребателям.

Но пора ставить точку. Уж занялась почти предпраздничная заря. Пора полностью вступить в поэзию праздника...

Ради Христа родшагося, простите меня за эти наскоро, неладно набросанные строки. Да пошлет вам возлюбленный миром Господь всяческие блага, да вложит Он в вашу душу хотя маленькие искры снисходительности к нам презренным.

С полным почтением
Протоиерей Н. Дроздов
Полночь 24—23 дек. (1904 г.).

Строки эти, в ночь перед Рождеством написавшиеся, я считаю лучшим, что было сказано и написано пастырем о пастырстве. Это апология, в столь благородных формах выраженная, каких (позволяю себе сказать) напрасно ждало христианство, Церковь, духовенство; ждало и — *не имело*. Я посетил замечательного священника, с которым до этого его ответа перекинулся грубоватым письмом (из него наиболее резкие упреки приведены им при ответе). Священник мне показался угрюм и печален: да и есть отчего — постоянный больной в дому, сын-гимназист VI класса, который мне показался по росту и несформированности, мальчиком III класса. Страдает неясным туберкулезом, гнойники которого, то здесь то там проявляющиеся, удаляются периодически оперативным путем! Мрак повис над домом, какой мрак!! Мальчик, как и все страдающие,— с прекраснейшим одухотворенным лицом. Кто бы запел около этого песни, потребовал «трепака»? — Только изверг, каковым и мог и должен был я показаться *этому* священнику и отцу с моими требованиями *от Церкви и духовенства* — радостных, светлых, белых, наконец *веселых* мотивов и образов!! Так были неуместны мои *запросы* ему, грубы *упреки* ему. Вполне поразительно, что он ответил в письме еще так мягко. Он лично, со своею скорбью, именно *при неясности ее конечного исхода* (болезнь все-таки не окончательно определена, может быть и не туберкулез, «что-то», «худосочие», «позднее развитие») должен был весь примкнуть к длинным тягучим напевам Церкви, к ее загробным обещаниям, к ее сверхъестественным утешениям! Словом — к Голгофе и всем могильным пеленам около нее. Так. И мир с почтением и благоговением должен склонить колена и окружить незамутимую тишиною этот дом (очень многосемейный), семью, всю улицу. Так. Непременно. Но и пахарь есть, есть кузнец.

Отгородившись толстой-толстой стеной, дабы покоя скорбного не смутить,— он как *усталый* вправе предаться всяческому «веселью», скрипке, «трепаку», погулять и на «стране далекой» (упреки священника) и даже «блудно» погулять (его же упреки) без малейшей мысли о своем «окаянстве». Иногда думается, что есть две религии и есть и должны быть два *культа*, две категории богослужения: *черная*, или *темная*,— как ответ на скорбь и метафизику скорби, и светлая, белая,— как продолжение, украшение и дальнейшее развитие тоже *врожденных* нам радостей, восторгов, упоений, счастья. Первая уже есть: это — наша Церковь. О второй Церкви — даже *мысли ни у кого нет*. Для отрока, для юноши, для мужа-воина, для девушки-невесты что мы имеем, кроме этих же вечно панихидных припевов, кроме икон с желто-пергаментными ликами старцев? Ничего — кроме *испуга, пугающего!* А нужно бы ведь *им и в их особенном сложении и для их особого развития* — тоже культуру, идеал, украшение, тайный зов!! Да, позовите (я требую, это моя мысль) и «похоти», специально юношеские, девичьи; дайте им рост, свободу; дайте поливки на цветок. В Ветхом Завете и была для этого «Песнь Песней», начинающаяся строкою: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих»,— и о которой древние учителя еврейства сказали: «все сотворение мира не стоит *Песни песней*» (или: «сотворения», «написания», «вдохновения» *Песни песней*). Что же у нас есть подобного? Ничего!! В католицизме еще есть «кое-что» в этом роде, — «культ Мадонны»: на Востоке, у нас — совершенно и окончательно нет ничего!! Поэтому упреки мои,— не этому прекраснейшему священнику,— но духовенству вообще и даже принципиально всей Церкви, правы и неопровержимы: она осталась холодна и безучастна к $\frac{1}{10}$, даже к $\frac{9}{10}$ жизни, к труду, семейным радостям, юношеским грезам о подвиге, о героизме, о любви, ко всему вообще бодрому, свежему, смею сказать — лучшему и невинному! Да и не только осталась безучастна, а и соделалась часто, почти всегда, враждебна к этому и злобна; и — развращающа! Ибо оттолкнутое ушло в «блуд», и закутило, и завертелось! И не поправят этого никакие вздохи, никакие поэтические страницы, никакие святые «исповедания души»...

1905

Любите ли вы человека?

На мучительный и роковой этот вопрос, конечно, нельзя получить ответа, прочитав как одно-два и даже как десять-двадцать духовных лиц, особенно в патетическую минуту своего существования, какая выпадает в жизни всякого,— «расписались в чувствах». В *сословии* огромном может ли не быть *добрых* и даже *изумительно добрых* людей? Сам я встречал в жизни моей священников, дьяконов и монахов («старцев»

я не видал) изумительной благодати — и свидетельствую об этом. Но недаром к статье, посвященной памяти Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия, впрочем не ходившего, по «Историческому описанию Оптиной Пустыни», 20 лет к церковной службе и не занимавшегося вовсе догматическою стороною христианства, я взял в эпитафию эти стихи из Пушкина:

Из *темного леса* навстречу ему
Идет *вдохновенный* (кудесник,
Покорный Перуну старик одному)
Заветов *грядущего вестник*.
В мольбах (и гадаñях) проведший весь век.

Если выбросить из стихов этих поставленное в скобках, как умершую руину древности,— то останется *обстановка* древнего мудреца-предсказателя, которая донеслась до XIX в. и *действует* в этом XIX-м в. так же, как и в IX-м. *Природа* извечно навеивает на человека *доброту, благодать, прощение, мир*. Она-то и есть подлинный и неистощимый целебный «Лурд» человечества. Перенесенный в Москву или в Петербург и посаженный за журналистику, тот же «духовный человек» становится арх. Никоном (см. «Около стены церковной», в конце 1-го тома, статью «Два стана») или Аскоченским. Итак, если мы станем рассматривать *лица и ряды лиц*, прибегнем к этой бедной *inductio per enumerationem simplicem**, методу глупых и невежественных,— мы никакого *вывода*, никакого *заключения* не получим на мучительный вопрос: «как они любят мир?» Нужно отделить *сан* от лица: изучать, *благ* ли сан, оставляя совершенно в стороне лицо. И вот при этой-то постановке вопроса, не патетической, а мудрой,— мы и получаем ответ о *равнодушии, бездушии, бесстрадальчестве* и *бесстрадании*. А люди — они добры! Они — из леса, из поля; от солнца, луны «и всего воинства их» (выражение библейских пророков о звездах, «сопутствующих» ведущему их Солнцу и ведущей их Луне); в конце концов священники, монахи — из теплого гнездышка отца-матери, братьев-сестер, дяденек-тетенок и тоже «всего воинства их» (весь круг родства). Но *сан* и *должность? идеал* и *долг?* Конечно, он говорит законами, в законах, в учреждениях, в распоряжениях, которые идут уже не от *лица, леса и поля*, а от «истолкованной буквы», «переданной традиции», установленного взгляда, мерила и веса. И на патетическое, берущее за сердце письмо доброго священника *Н. Дроздова* я могу ответить только письмом же, которое может быть кого-нибудь тоже возьмет за сердце:

«Многоуважаемый г. Розанов! Обращаюсь к вам с покорнейшею просьбою: разрешите печатно — согласен ли с духом человеколюбия следующий факт,

* доказательство с помощью простого перечисления (*лат.*).

которому, как думается мне, наверное, имя легион. В с. Т-но Царскосельского уезда жила девица, круглая сирота, Аграфена Калинина, 24-х лет. Чтобы снискать себе пропитание, а также и своему малолетнему племяннику (тоже сироте), она служила в разных домах «находом» т. е. где полы вымоет, где воду принесет, где стирку справит и т. д. Сын местного лавочника, обещав на ней жениться, соблазнил ее и... ребенок. Отец ребенка отказался принять участие * в воспитании своего «плода любви», и Калинина, в виду своего бедственного положения, по совету сочувствующих людей ** обратилась в Окружной Суд, который и присудил ей с «виновника плода» по 3 р. в месяц на воспитание ребенка ***.

Пока шел суд, да рья, ребенок умер, а Калинина вышла замуж за вдовца, потерявшего недавно жену и оставшегося с грудным младенцем ****.

* Если бы не произошло «благое вмешательство» людей духовного чина в брак,— пришедших сюда «благословить, очистить и благоустроить» и вообще «спасти грешные чело­вечи», то брак, не замечаясь венчанием, и состоял бы в сожитии + деторождении. Т. е. и общество человеческое, общество языческое и натуральное, никак не допустило бы, чтобы отец ребенка сказал о нем: «мой, но как без венчания — то и не мой! нет мне до него нужды!» и о девушке соблазненной: — «не знаю, кто такая! Со многими имел дела — не упомню». Вырос бы из натурального общества натуральный закон — дающий права природе, священство натуральным явлениям («Солнце, Луна и все воинство их», созерцаемы, возлюбленные, чуть-чуть поклоняемы — как первая Тварь Божия, как идол Вселенной). И девушка не погибла бы, ребенок не погиб бы. Но пришли «благие человеки», с широкими рукавами, высокими камилавками,— и вот читайте дальше, как устроили.— В. Р-в.

** А, простые-то люди, что «из лесов и полей», «от природы» — сочувствуют: где же около них «сочувствующий» священник????! — В. Р-в.

*** Очень мало, но все же что-нибудь! Светский суд, гражданский «от природы» и «естественного устроения ума и сердца» человеческого не сказал: «не знаю», «отойдите прочь», «скверна»: он вмешался, подумал, потрудился и присудил 36 р. в год, все же сумму, равную квартирному налогу в столице с очень богатой квартиры!! Отец ребенка, верно, кисло поморщился, да даже и поежился — ибо это на много, очень много лет. Но что же «Духовный Суд»? Суд Епископа Епархиального? Синода? Церкви? — Молчание. «Не вемь». «Безгласны». Может быть что-нибудь о подобных случаях есть в проповедях, говоримых с амвона? Ведь случай-то частый, ведь это — нравы, обычаи? Ведь страдают слишком часто девушки в возрасте 24-х лет и убиваются их дети? — Молчание. Может быть есть что-нибудь в духовной литературе? — Ничего. Впрочем, что же я... есть! «В древности таких девиц побивали камнями. Но как мы уже живем во спасении, и подзаконное существование, по Апостолу, окончилось, с пролитием за нас крови Спасителем, то по великому милосердию нашему, мы девицу ныне прощаем и отпускаем на все четыре стороны, и со чадом — конечно, не без эпитемии во искупление грехов ее» (см. дальше письмо).— «А молодого человека, сделавшего ей ребенка?» — «Молодого человека? какого?» — «Да отца ребенка?» — «Отца ребенка?» (переминаются с ноги на ногу).— «Ну?» — «Что ну?» — «С отцом-то ребенка как же? Епитимью и ему?» — «Кому?» — «Да отцу-то ребенка?» — «Какому?» — «Да от которого девушка родила!» — «Как родила?» — «Ах, батюшки: да ведь мать ребенка вы наказали епитимьею, то ведь не одна же она родила, а с мужчиною: и вот что этому-то мужчине?» — «Какому мужчине?» — «Да отцу ребенка...» — «Отцу ребенка... Не знаем. Не значит у нас. Ни о чем не просит. Чего ему? Не награды же. Побаловался и пусть идет. По преизбыточеству милости мы ему прощаем. И как ей сказали: на все четыре стороны, матушка, и ему повторяем: на все четыре стороны, батюшка! Ибо ныне равенство, и Апостол сказал: во Христе Иисусе нет ни раб, ни свобод, ни мужеск пол, ни женск, но все — одно».— «Да ведь ему то удовольствие, а ей — без малого могила: скорбь и мука на всю жизнь?» — «Не знаем... Текст верен, и мы по тексту. А больше ничего не знаем»...— В. Р-в.

**** Он — сирота, она — сирота: пожалели друг друга — и оперли друг на друга: нравственной форма брака! Поразительно, что духовным законом этот нравственной тип брака, проистекающего из сострадания и взаимной поддержки, вовсе запрещен для юных семинаристов; и по гнусно-претенциозному, фарисейско-буквенному подражанию Ветхому Завету, по которому «жена священника должна быть цела (дева) и чиста непорочна». Но там это было частью органически связанного культа физической целости: священник должен быть без болезни и уродства, дрова на жертвеннике — без загнивших сучочков, жертвенное животное — абсолютно здорово; вообще весь Ветхозаветный культ был культом здоровья

В минувшем Великом посту она была на исповеди и приобщилась Св. Таин. Через несколько времени после ее замужества, она получает приглашение к местному о. Настоятелю, который заявляет, что она по решению СПб., Окр. Суда * отлучается на 4 года от Св. Причастия.— Баба она неграмотная, один младенец на руках (приемыш), а другой во чреве: и это решение Окружного суда поразило ее как громом. Как же она в ее мысли, «*Богом отвергнутая* — готовится матерью быть».

Народ темный, не могущий отличить дел человеческих от дел Божеских, но в Бога искренне верующий.

Хочет хлопотать о снятии с нее запрещения и достала от священника бумагу.

К о п и я

«По указу Е. И. В.— из 1 Экспедиции С.-Петербургской Духовной Консистории, от 28 июня 1902 года за № 4267, на имя помощника Благочинного, свящ. Конст. Самсоновского,— на основании отношения Окружного Суда о предании отлучения от Св. Причастия на 4 года крестьянки слободы Т—но Агрипины Никифоровой Калининой.

Свящ. А. Западалов».

и силы, ибо в сердцевине своей был культом жизни, биологии, растительности, роста. Но у нас, у христиан, поклоняющихся Богу не «в силе и здоровье», а «в духе и истине» — какое же имеет значение забредшая дробинка, затерянный сучочек целого «Древа жизни»: «жена или жены священника (ибо они большею частью бывали двуженны и многоженны), должны быть юны, здоровы абсолютно, не уродливы и не порочны (физически целы), девы?» — да ведь и по Апостолу, и фанатичному страстному учению всех богословов — «обрядовый закон Моисея пал», «*ритуальные житейские, бытовые*, напр. брачные правила Ветхого Завета для нас не обязательны!» Ну, во главе всех «обрядовых законов» Ветхозаветного культа должен был пасть и этот, о женитбе христианских священников: пусть избирают жен по «духу и истине» (Новый Завет), как вот в этом сладчайшем случае — сироты вдовца с сиротою — покинутою девицей. Но на это страдальческо-правовое указание в ответ вырастает из нас верстовой фарсей: «как?! Чтобы в Новом Завете, чтобы мы-то, новозаветные священники, появи жен себе с какою-либо *убавкою* против тех, каких брали ветхозаветные священники?! Да ведь Ветхий-то Завет поменьше ростом, чем Новый, и ветхозаветные священники куда ниже наших благолепных семинаристов; сии последние должны брать невест не по низжайшей оценке, чем те. Там — девы, девственницы: и у нас пусть также», — да еще и с реестром салопцев, платьев шелковых и шерстяных, и ложек столовых, десертных и чайных, и всего прибора, и тестиново домика (обыкновенно зять-семинарист поступает в дом тестя, уступающего ему место, и завладевает этим домом; обычная форма новозаветного брака). Да и не считать приданого нельзя: ибо брак новозаветный полагается без «греховной» любви, без греховного воззрения на «лепоту лица», да, конечно — и без воззрения на «уродство или неуродство» (непонятные для нас части ветхозаветного культа): лишь бы была 1) дева и 2) богата. И гонятся семинаристы на такой брак, гонятся стадом, захватывая торопливо, по окончании семинарии, свободные вакансии священнических и диаконских мест. Тестюшке еще сорокоуст не минул: а доченька его, по архиерейскому распоряжению, уже свадьбу играет. И в дому слезы и смех, вздохи и танцы, траур и невестин убор перемешиваются позорнейшим образом, жесточайшею и грязною, наглою картиною!! То-то «меньший в царстве новозаветном больше большого из рожденных женами в царстве ветхозаветном». Ну, что об этом скажет нам священник Н. Дроздов, епископы Никон и Антоний (вольский)? Уверен, впрочем, найдутся много сказать, на то и гомелетике учились, — и ни в коем случае не закуют ладонями лица. «Нам ли совеститься? Мы всегда правы». Это в Ветхом Завете был «дух сокрушен и сердце уничижено». Мы с румянцем, здоровы, не покашливаем, не покрываем. И гудим октавкой или баском — «проходите к закуской». — В. Р-в.

* Конечно, тут Окружной светский суд чисто формально применил требование духовных законов, применил *исполнительно*, а не *распорядительно*. Это по правилу Св. Василия Великого «прелюбодейца или прелюбодейца четыре года да не причащается». Это, впрочем, касательно падения светских: если же инок (см. «Чин исповедания иноков») соблюди даже со скотиною — то о таковом.. умолчено в «Правилах», а в «Чине исповедания» указано — «отпустить грех». Себе — соломки, а чужака — на рогатину, вот *дела* духовного чина, сана, Церкви. — В. Р-в.

По моему разумению, это распоряжение далеко от слов Христа, говорившего: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих, верующих в Мя». А эта удрученная горем молодая женщина, два года тому назад в грех впавшая, за который и болела и скорбела *, стыд девический приняла и за ребенка на суд вышла — она истинно «малая сия», да и вид у нее как у младенца.

Помогите, многоуважаемый Вас. Васильевич (простите, если ошибаюсь в отчестве), хотя постановкой в печати этого вопроса.

Учит. Т-ской школы *М. Н. Знаменский* **»

* До чего трогательно! до чего трогателен весь тон письма! Нет, хочу воскликнуть: «Не надо нам *вас*, и ваших *советов руководства!* И *очищений* ваших, и *прощений!* Не нуждаемся! не нуждаемся, отойдите!! Останемся *одни, совсем одни:* с грехом, скорбью, с молитвою Богу о помощи и прощении, но молитвою — на Восток или Запад обращенною, с взором в облака мутные (по нашему климату) упертые». И Господь услышит нас, Господь — Который «в буре и тихом ветре», коего подножие — Земля, а престол — Небо, Который везде и всякую скорбную душу услышит.— *В. Р-в.*

** Удивительно. И вступился какой-то «сосед», когда о вине ее, очевидно, донес «по начальству» какой-нибудь ревнитель церковного закона, настоятель местной церкви или благочинный.— *В. Р-в.*

А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря: «Так говорит Господь Бог» — тогда как не говорит Господь.

Иезекииль, XXII, 28.

И повелел царь Хелкию Первосвященнику вынести из Храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты, и оставил жрецов их. И вынес Астарту из Дома Господня за Иерусалим, к потоку Кедрону... и разрушил дома блудлищные, стоявшие при Храме, в которых женщины ткали одежды Астарты...

IV кн. Царств, XXIII.

I

История католицизма едва ли не занимает собою до половины европейскую историю. То сочувствием, то борьбой и противодействием, она входит в историю государств, наук, искусства, даже войн — как завоевание Англии норманами. Католицизм сплелся со всем. Только в нем, в силу особых исторических обстоятельств, мы наблюдаем христианство *свободным*, тогда как во всех других своих разветвлениях, во всех остальных странах оно является связанным, обусловленным, частью внутренне несмелым, придерживаемым за края одежды. Один папа и его слуги говорят открыто свою волю, перечая государствам, обществу, иногда игнорируя науку. До какой степени идеей свободы для себя, для «своих» проникнут католицизм, можно видеть из того, что священника католического не может лишить его сана даже папа: став еретиком, ренегатом, он не теряет «благодатных даров» однажды полученного священства. Это — царь без развенчания, вечный. Уже у мальчиков-семинаристов на макушке головы пробивается маленький, с величину монеты, кружок; и я не без удивления прочитал в католическом катехизисе, что это — очищенное от волос *место для тиары-короны*, общее отличие и обозначение всего католического духовенства. На этой неразрушимой царственности его членов основано замечательное явление: на Западе образовалось какое-то общество людей, служащих «черную обедню» («черную мессу»)... бесу, что ли, а всего вернее, какому-нибудь шуту

и в каком-нибудь шутовстве. Ее как «мессу» может только служить священник: и это делает перебежчик, «продавший душу дьяволу». И администрация католическая об этом знает... но не чувствует себя в силах отнять у него священство. «Он удесятеренно ответит за это на том свете, он будет страшно судим как священник; но как именно священник, а не частный человек: благодати священства он не может быть лишен ни в здешнем мире, ни в загробном». Это — последовательность. Католическая история сильна, ярка и последовательна. Тем интереснее она для наблюдения. Чтобы постигнуть поэзию, надо изучать поэта на воле, а не то, чтобы слушать его темничные «воздыхания», не перечитывать главы из «Lemie prigioni» * (Сильвио Пеллико)... Такие-то «свободные песни» христианства мы и слушаем на Западе, в странах лиловых епископов и красных кардиналов.

Года три назад я пересекал Рижский залив. Пароход «Император Николай II» проходил по самой середине залива, мимо крошечного островка Руно, чуть-чуть видневшегося купами деревьев на водяном горизонте. Среди пассажиров слышался говор о нем:

— Он населен почти одичавшим населением, латышами или немцами. Они ловят рыбу и занимаются огородничеством. Только раз в год, в самую стужу зимы, они приезжают по льду в Ригу и, закупив, что нужно на целый год — возвращаются. Так как остров мал и беден, то пароходы никогда туда не заходят, а владельцы острова не имеют ничего, кроме рыбачьих лодок, на которых нельзя отважиться в море. Поэтому никто их никогда не видит, не посещает, и они сами никого не видят, кроме Риги и рижан единственный раз в год.

Удивленный таким странным существованием, я спросил:

— Ну, однако же там есть исправник?

Я не умел сразу назвать другой должности, и назвал первую, попавшую мне на ум, как бы защищаясь от идеи: «город без начальника», «страна без начальства».

— Ну какой же там исправник, когда это поселок? Нет никого. Подати они привозят сами исправно, когда бывают в Риге. С материка, не туземец там живет один только пастор; живет по самоотверженной любви к Богу и из жалости к человеку. Но и ему иногда приходится плохо.

— Плохо?!

— Жители острова совершенно задичали, бесчинны, самоуправны, и не понимают ни того, что такое религия, ни что такое господин пастор, herr Pastor. И был однажды случай, что они его за что-то протащили под лодкой.

Я не понял. Тогда мне объяснили ехавшие на пароходе немцы, что протаскивание под лодкой есть единственное практикующееся

* «Мои темницы» (ит.).

на острове,— да и вообще в этих приморских местностях, где подичее, наказание. Оно состоит в том, что не нравящегося или провинившегося человека, какого у нас выслали бы из деревни по мирскому приговору, эти латыши берут на лодку, недалеко отъезжают от берега, спускают с борта в воду, захватывают с другого борта за ноги и, погружая в воду, протаскивают под днищем. Наказываемый захлебывается, и вообще терпит много неприятного, но ничего опасного. Операция длится минуты полторы, и он в полной целости обратно отвозится на берег. Такую шутку проделали на острове Руно его жители со своим духовным отцом.

Я не мог не почувствовать впечатления от рассказа, и все ежился, представляя себе, как это так тащат человека в полном костюме под днищем лодки. Затем я начал думать, чем бы это мог пастор раздражать таких Робинзонов, едва ли свирепых, ибо и самое наказание их более похоже на школьную забаву; и остановился, наконец, на мысли, что верно он был добрый, но несколько педантичный, заботливый и фанатичный лютеранин-пиетист. Ничего в нем худого не было, но вся жизнь рыбаков ужасно не согласовалась, не соответствовала формами и духом своим его отвлеченному и вместе упорному проповедничеству. И они с чувством надоедливости, как великовозрастные шалуны, выкупали его. Вышла краткая реплика, в ответ на год упорного, возвышенного и одушевленного красноречия.

Потом я в книге прочел о фактах в Пруссии, в сущности, не так далеких от происшествия на Руно:

«Упадок церковной жизни необыкновенно велик,— писал в конце минувшего века берлинский супер-интендант в пастырском послании к подчиненному духовенству.— Множество церквей посещается лишь немногими, и большинство населения заботится исключительно о временном и земном. Молитва в домах замолкла. Слово Божие не читается и еще менее исполняется. Число некрещеных детей и не венчанных браков до ужаса велико. Благодетель и уважение к божественному и человеческому порядку сокрушаются, и суды Божие не принимаются в соображение и не понимаются. Теперь вопрос не о *богословских размышлениях*, а о том, *есть ли Бог? есть ли у человека бессмертная душа и предстоит ли Вечный Суд?*»

Но эта жалоба очень обща, и дает скорей религиозную статистику, чем религиозную картину. Но вот конкретный факт, в котором мы можем рассмотреть почти психологию дела. Он представляет вырезку из одной провинциальной немецкой газетки:

«Несколько сотен рабочих, работающих на одном заводе в Вестфалии и живущих со своими семьями в одном поселении, *никогда не ходят в церкви и, пользуясь правами, предоставленными в Германии гражданским бракам, не венчаются и не крестят своих детей.* Однажды пришел к ним местный пастор. Собравшись, они выслушали его увещания и один старик от лица всех отвечал ему: «Господин пастор, мы не обижаемся на вас за ваши слова: это ваше призвание и вы говорите в своем роде хорошо. Но мы покорнейше просим вас не

беспокоиться заходить к нам более. Мы, большие и малые, не веруем в Бога и не желаем ничего знать о Нем; мы хотим работать, приобретать деньги, есть и пить и позволять себе иногда удовольствия. Мы верим в лучшее будущее, но не на Небе, а на земле; мы верим в Евангелие и спасение; но это есть социальная демократия, которую принес Иисус Христос и ввел бы, если бы этому не помешали его неблагоразумные ученики» *.

Мы заметили выше, что всякий раз, когда имеем в разных ветвях христианства параллельные течения, то течение Католической Церкви далее других идет и ярче выражено. Борьба с конгрегациями и, наконец, изгнание их из Франции, о чем так много шумела печать всей Европы за это лето, есть тот же факт, о котором мы рассказали на Руно и в Германии. Но в то время, как Церковь и народ в лютеранских странах лишь *поворачиваются друг к другу спиной*, во Франции они *яростно бросаются друг на друга*. Что за явление? где оно видано? Кто читал в истории о борьбе язычников со своими «жрецами» или находил в газетах сведения о борьбе евреев с раввинами, мусульман — с муллами? Явление собственно «клерикализма» и «клерикальной борьбы» есть *специальный факт Европы и христианства*. Здесь только почему-то мир, люди не ладят с представителями религии. В разных степенях,— но они почти везде не ладят **.

Эпизод с конгрегациями прежде всего нуждается в освобождении от риторики, «в упрощении». Например, прежде всего устраним этот ложный пафос. «Свобода умерла», писали на плакатах католические монахи в Париже и выдвигали эту сентенцию на длинных шестах для чтения народа. «Мы выдавали завтраки беднейшим жителям», «мы отлично ухаживали и ухаживаем за больными», яростно кричали в других местах «сестры». «Папа — социал-демократ: для чего же правительство с социал-демократическими тенденциями идет против нас и Святейшего Отца». Действительно, если бы во Франции — да и во всем мире, ибо это всемирное явление — происходил только торг *выгод и невыгод*, то филантропии французской надо бы соединиться с филантропией католической, одной свободе с другою, и Либкнехт должен бы иметь в Льеже XIII первого своего друга. Но ведь тут, очевидно, движутся *разные исторические процессы*, разные *от корня и до вершины!* Это как бы минутная встреча на одной ступеньке лестницы двух человек, из которых

* Цитаты заимствованы мною из соч. проф. Беляева: «О безбожии и антихристе», 1898 г. Огромная книга эта в 1040 стр. изобилует многими любопытными фактами, но едва ли сильными мыслями.

** Здесь, в целях *разъяснения*, нельзя не припомнить чрезвычайно важной поправки, сделанной католиком — «Лесовиком» (см. выше стр. 374) к переводу с еврейского языка на греческий слов Спасителя об основании Церкви: «созидается *кагал* моих приверженцев», «*кагал* мой», — «и мир, люди, врата адовы не одолеют его». Лично я совершенно согласен с этим объяснением католика, и беру назад все, что на почве неверной филологии (Εκκλησία = народное собрание) пытался говорить о Церкви. Говорил я это, желая куда-нибудь деваться от тоски, смущения. Но лучше взглянуть опасности *прямо* в глаза: «*кагал*», «сонм», «заговор» против человека и человеческого, против рода и семени и этнографии и народов. Ближе к Апокалипсису и суду «Блудницы», «севшей» царственно на «водах многих» (= народах).

один восходит, другой — нисходит, и они только сейчас стоят рядом, тогда как никогда ранее не были вместе, да и родились, можно сказать, с намерением задушить друг друга. Очевидно по всем обстоятельствам, что Лев XIII, берлинский супер-интендант, пастор на острове Руно спускаются вниз. Они слабеют. И если Лев XIII и хотел бы дружить с Либкнехтом, папство — с французской республикой, «сестры» с свободой нового общества, то Либкнехт, Франция и свобода не хотят с ними дружить. Нигде не сказано печатно, но можно прочесть во всех сердцах такой ответ им:

«Свобода... вы ее теснили 1800 лет, и хотите только *теперь, сейчас* свободы, потому что вам тесно... не скроем, *от нас* тесно. Вы ее ищете для себя, а не для человечества, и в ущерб именно свободе человечества. Мы вас и тесним, только одних вас, не надеясь от вас ни на завтра, ни на послезавтра ни для кого свободы. Отмените Index запрещенных книг, предайте торжественно анафеме всех кардиналов, епископов и пап, вводивших инквизицию в Европе: и тогда мы поверим, что вы за свободу. Но вы рвете клоч свободы из наших рук, нашей *специальной* свободы, *нами* в истории *начатой* и у нас в кармане лежащей, нисколько не вынимаемая другой и тоже *специальной* свободы из собственного кармана, весьма и весьма нужной бы миру. В специальных ваших областях вы нетерпимы и фанатичны совершенно так, как этого требовал и это проповедовал Фома Аквинат, творения которого вы предлагаете изучать своим современникам, предлагаете их нам. Вы даете завтраки беднякам: пустите лучше бедняков в ваши великолепные исторические сады и парки, уделите в монастырях ваших место больницам, словом — слейтесь с нами чистосердечно и полно, и тогда мы признаем вас частью себя или, пожалуй, себя частью вас. Будем с вами одно. Но единства нет и оно невозможно и никогда не будет, потому что мы посажены в *разную почву*, да и сами — *разные растения*. Слова, как «свобода», «любовь к человеку», «сострадание к несчастиям», будучи филологически теми же в ваших устах и в наших, на самом деле имеют у вас и у нас совершенно разный смысл. Напр. эти завтраки. Это — лицемерие: ведь вы ничего не работаете, вы выманиваете или выманили в старину из населения миллионы, и из них отсчитываете несколько десятков или сотен франков на завтраки. Нам полезнее сохранить миллионы, на которые мы и сами сумеем устроить завтраки: но устроим их на полный миллион, без вычета в вашу пользу. То же и о сестрах милосердия в больницах: мы можем нанять своих, не хуже ухаживающих, но ухаживающих *без всяких побочных целей*, каковыми руководятся ваши сестры».

И конгрегации уходят. С яростью, с неописуемым гневом, но уходят. Можно сказать, у них есть связи с французами, с частными людьми; но связи с Францией нет. Якорь цепляется за слишком маленькие величины и срывается. Как и у берлинского супер-интенданта есть связь с Правительством прусским, есть связь с духовенством, с благочестивыми

немцами. Но за глобус «Германия» он не зацепляется. И этим решает все.

Но что же остается или останется в Европе после их ухода? Что, вообще, это за всемирное явление как бы прощания пасомых с пасущими? Ибо никто не усомнится, что это огромный момент истории. Даже Робеспьер признавал *Être Suprême* *. Наполеон заключил конкордат с Ватиканом. А теперь само Правительство, целая Франция, рабочие, простолюдины в Вестфалии, идут дальше Робеспьера, верят менее Бонапарта, оставаясь в то же время совершенно мирными тружениками и семьянинами.

II

Европа расстается собственно с *пасторатом* своим: но Бога она не покидает. Обратимся к явлению, где оно всего ярче, к Католицизму. Если к немецкому пасторству население равнодушно, то к французскому или итальянскому духовенству оно гневно. Изгоняемые или оскорбленные, они кричат: «Народ остается *без Бога*, он *не хочет Бога*». Но на это нет доказательств. Или, точнее, из самой формулы: «отказываются от нас, значит отказываются от *Бога*» вытекает одно ужасное подозрение, где, быть может, мы и найдем ключ к разгадке всего этого печального и мучительного явления.

Распределительная линия, разделяющая Бога и пасторство, стерлась до «нет». Но она стерлась в сознании пасторства, или чрезвычайно близким к нему частям населения, но не стерлась в поле зрения всех, кто стоит сколько-нибудь поодаль. «Будете яко *бози*», этот соблазн Змия-Искусителя Еве незаметно в веках, но очень полно к концу веков осуществился. А изгнание конгрегаций тоже бессознательно, но едва ли оспоримо является реакцией к восстановлению строгого монотеизма,— как вынос «статуй ваалов и астарта» из Соломонова храма, какое время от времени совершали реставраторы чистоты Библейской веры, цари и первосвященники. «У нас нет других богов, кроме Бога: а как вы соделали себя *богами* и требуете *поклонения себе, отношения к себе, вовсе не подобающего людям смертным и ограниченным и грешным*: то мы не хотим вас более, просто не хотим вашего *присутствия*. Вы, как *экран*, принимаете на себя *молитвы наши*. Вы *затенили, застени* (стали стеною) от нас Бога. Но мы *хотим видеть Бога и отодвигаем экран, вас*».

Вот самая сердцевина дела. Она лежит в глубоких неосторожностях, вековых, тысячелетних, допущенных в обращении с понятием «служитель Божий» и «благодать». Что такое «служитель Божий»? «Ну — «служи». Но не *требуй себе служения, которое принадлежит и приличествует одному Богу. Служитель и имеет отношение к Тому*

* Высшее Существо (*фр.*).

Одному, Кому он служит. Больше ни к кому и ни к чему; к людям, к миру, к государству он отношения не имеет,— иначе как дружелюбия, равенства, одинаковости природы. «Первосвященник Соломонова храма выбирался, был временен, они чередовались, как еще во времена Иисуса — Каиафа и Анна. А папа любит отождествлять себя с Ветхозаветными Первосвященниками. Садок, первосвященник израильский, был низложен юношей Соломоном при самом его восшествии на престол и не жаловался, не роптал; и Соломон не был Богом за это наказан, а напротив, Бог уже после этого говорил ему в известном видении слова Свои и наставления. Таким образом в бесспорном и истинном богослужении, каково было Ветхозаветное, служитель Божий — применяя терминологию Ницше — не становился «сверхчеловеком». Мы употребили термин Ницше не без антипатии — единственно, чтобы выпукло объяснить читателю мысль свою. Произошло нарушение трех заповедей: «да не будут тебе бози инии разве Мене», «не сотвори себе кумира», «не приемли имени Господа, Бога твоего *всуе*». Отмена-то этих трех заповедей и образует почти все тело Католицизма, всю его *реальную* и *положительную* ткань, так что остающихся семи заповедей и нащупать нельзя сквозь покров отвергнутых этих трех. Едва все рванулись к чистому монотеизму, к «Аз есмь Господь Бог твой», как потянули одежду, много или мало, но непременно потянули царственный пурпур с живого и всех умерших пап и до последнего приходского каноника. Все они стоят «иными богами», «драгоценными кумирами», перед изображениями которых в храмах возжигаются лампы, свечи, кадится фимиам. Сколько бы ни говорили, что это «в аллегорическом смысле», «по заимствованному от Бога свету», «потому что они (почившие святые католичества) с^уть посредники», и что кланяются их изображениям все же не так низко, как Богу: это будут только смягчения, оговорки, софизмы. Ваалы и астарты не допускались Богом около себя ни в качестве младших братьев Иеговы, ни племянников, ни товарищей, ни даже служителей, просто — никак! Бог и — человек, *solus Deus — solus homo* *: и все человеки перед Богом уравниваются в пылеобразной малости своей. Тут-то лежит условие свободы человека, ужасно важное для Земли условие! Однажды и навсегда для человека есть единая господствующая и абсолютная точка: Бог. Между тем в Католичестве он окружен и почти затенен мириадами точек: католик слушает не одну струну (монотеизм), а тысячи струн. Молитва его, внимание его рассеяны: некогда и подумать о Боге — столько духовенства! Разве не священник был Авраам? С ним Бог заключил союз: кажется после такого «посвящения» он должен бы покинуть и дуб Мамврийский, и Сарру, и стада — одеться в какой-нибудь усыянный звездами хитон. Но этого не случилось. Как был Авраам до Завета пастухом и мужем, так мужем и пастухом остался

* один Бог — один человек (*лат.*).

и после Завета. Можно ли было Моисею-Законодателю не стать Первосвященником? или не надеть ризы Псалмопевцу и пророку? Но последний оставался семьянином и воином, а первый чисто храмовую и служебную должность первосвященника отдал брату. Никакой магии на Аароне не лежало: он не отколупнул от Бога частицы и не прикрепил ее на себя, он был монотеист, т. е. совершенно простой, частный человек, «дяденька» каждому жиду в пустыне. Апостол Павел не убрался в хламиду и не надел тиару, а был просто странником, странствующим учителем; а Петр продолжал оставаться рыбаком, будучи учеником Спасителя, избранным «апостолом». Монотеизм и в Новом Завете не разрушался, как и в Ветхом. Есть чреда службы, чреды «священничества»: но «священник» помогал Первосвященнику держать заколаемого в жертву козла, или собирал в чашу его кровь, или кропил кровью, или кадил: то, что у нас делают «служители храма», «причетники», трудящиеся почти физически, без всякой магии в себе.

III

От Бога идут лучи, соделывающие светлыми всех человеков; и как Давид в одном псалме называет людей (всех) «сынами Божиими», так в Новом Завете упоминается, что все люди суть «священники». Бого-усыновленность человечества и священство мира есть самая дорогая часть религии; потому я и в «religio», что через сыновность и священство нахожусь in religione, «в соединении, связи» с Богом. Какая же это есть моя «религия», когда я только смерд, чисто светская вещь, какая-то рациональная, гладкая; а непостижимость существа и связь с Богом, «religio», начинается лишь с каноника, одетого придуманнее и избраннее, чем ап. Петр, Моисей и Авраам. Я сказал, что монотеизм потянул бы одежды со всего католического священства; обратно: насколько священство существует — оно потянуло сияние с Бога, а затем и красоту, святость с мира, с человечества. Человек остался нагим, санкюлотом, без связи с Богом. Что такое Бог в отличие от человека; что такое божественное? Опять прибегаю к языку крупных слов, чтобы сделать мысль свою понятнее. Бог — магия, божественное — магично, а человеческое — просто. Конечно, «магия», т. е. языческого понятия, я не хочу приписать нашему Богу; моя мысль состоит в том, что *сверхъестественное* и *естественное* разделяют и очерчивают *божеское* и *человеческое*. Вот эту-то долю «сверхъестественного», магического и приписало себе духовенство. Незаметно в веках (для себя незаметно) оно стало как *малые* маги, *помогающие* маги, около великого мага Бога, естественно, ведь тогда несколько *беспомощного*. Часть Его *существа* и *свойств* они перенесли на себя; они *отколупнули* что-то от Бога. «Бога» стало меньше в мире от патеров. Но сия «магия» — не истинная: и сколько не поднялось «богов», «кумиров» перед человечеством, «вера в Единого Бога» в человечестве стала с тех пор неудержимо гаснуть. Все ее ищут, но нигде не находят. Пелена

тумана протянулась по небосклону; солнца стало не видно; на земле сделалось темно.

Все поступки Франции против Католицизма, как и Италии, — конечно, грубы, плоски, безвкусны. Эти полицейские сержанты, конвоирующие монахинь — отвратительны. Но есть, всегда есть «raison d'être» и в грубом. Есть «идея волоса» (мелкого, пошлого), как говорил Платон. Конечно, католическое духовенство уже само гипнотизировалось в веках, в тысячу лет; оно немножечко «почувствовало себя Богом», и ведет себя гордо и смело, «царственно», соответственно этому самовнушению. Французские полицейские ведут себя замечательно не «царственно». Но ведь в этом и состояла самая суть явления, что *чем более навивалось священство и царственная красота на духовенство*, тем более это *священство и величие свивалось с людей «не духовных»*, пока оно не очутилось простым «санкюлотом», «варваром». Когда этот процесс дошел до конца, санкюлот и начал поступать со священниками по-«санкюлотски», ничего в них не замечая, просто — ничего не чувствуя. Они сдернули красоту с мира. Дивиться ли, что мир стал безобразен? На кого же им жаловаться? Они сами выделали себе палача, беспощадного потому, что он глух ко всему святому, священному.

Вот почему, так сказать, «безбожие» светских государств Европы не вечное. Они только отдохнут от «богов» и возвратятся к Богу (Единому), но к Католичеству уже никогда не вернуться, не вернуться вообще к «магическому» на земле и в человеке. Что такое «кафоличность»? Универсальность. Образуют ли «тело церковное» народы? На прямой этот вопрос все скажут — «да!» Но вот проверка этой кафоличности. Известно, что папа, раньше чем избираться кардиналами, выбирался народом — да, прямо чернью, криками горожан римских! То был закон и обычай, *до магии*. Вот если бы вместо «завтраков бедным» папа сказал: — «Я в союзе с народом, и хочу быть любимым от народа пастырем, а ради этого распускаю дипломатическую канцелярию — и пусть меня по-прежнему, по-древнему выбирает добрый римский народ». Тогда в демократизм его можно было бы серьезно поверить. Скажут: «невозможно, трудно». Но ответим излюбленною формою, текстом: «разве есть что невозможного для Бога». На то и существует подлинное «магическое» в истории, «сверхъестественное». Если бы Лев XIII, распустив или понизив коллегию кардиналов, «непогрешимо ex cathedra» изрек: «Преемник мне да будет избран добрыми римлянами, моими возлюбленными детьми», то он тотчас из ложной и иллюзионной магии, поднявшейся до неба, и перешел бы в настоящее «священство», не большое, не высокое, но подлинное. «На всех людей падает по лучу от Бога, на меня — два луча». Это вовсе не то, что сказать: «на меня падают все лучи от Бога, а на человечество — ни одного».

Нужно отменить «index librorum» * — вот иная, миру нужная и миром требуемая, свобода. Но *ее*, эту *от себя* свободу папа скупится дать, протягивая руку к *общегражданской, не своей, чужой «свободе»*. Надо отлучить от теперешней Церкви всех инициаторов инквизиции: тогда Франция и Италия воскликнут: «мы слышим голос нашего возлюбленного отца». Вот соединение с человечеством. Не для чего омыwać, «аллегорически» омыwać нищим ноги в такой-то торжественный день в торжественной церемонии: надо просто-напросто в точности начать омыwać ноги человечеству. Ибо ноги эти — усталые, ибо ноги эти изъявленные. Тогда он (Лев XIII) может молиться усерднее Франциска Ассизского; и без дружбы с Либкнехтом, — народные массы от Лабы до Сены закричат: «он *сошел к нам, он среди нас, он наш*». И как для папы ни один теперь блузник не перекрестится, и тем гордо и честно выдерживает свою, может быть, минутную природу, убеждение предрассудков; так папа пусть молится Св. Марии с прежним тысячелетним усердием, вовсе не подражая блузнику. А то делаются попытки к какому-то взаимному переодеванию: «Я немножко переоденусь блузником — ну чуть-чуть, для виду; и пусть обратно блузником читает каждый день по разу Ave Maria, да громко читает, чтобы это короли и министры слышали». Но эта «комедия переодеваний» как бы не перешла, да уж и переходит, в «комедию ошибок».

IV

Мне хочется вернуться от тяжелых французских событий к более мирной сцене в Вестфалии, переданной московским ученым. Ну, а что если бы, пастор, выслушав холодный, но не враждебный ответ от старика-рабочего, не повернул спину к нему и не пошел «докладывать о виденном» (а в сущности — о «ничего не виденном») берлинскому суперинтенданту, а вместо этого сказал бы: «Я не хочу вас *учить*, но хочу с вами говорить, как брат с братьями, на полном равенстве», — и вошел бы туда: то что же бы он там увидел?! Нам не досказан факт, и недосказан в любопытнейшей своей части. Дело в том (и здесь причина всего «разделения сил», «шапки врозь» человечества), что пастор пришел в точности *только со своим и только для своего*, без малейшего любопытства *собственно к человеку, к деревне, куда он пришел*. И от этого эгоизма (столь явного!) деревня эгоистически отвернулась! Но пусть — эгоизм отложен, за околицей деревни пастор оставляет весь ящик наставительных книг: и идет туда один, как зритель (по проф. Беляеву) «наступающего царства Антихриста». Можно быть уверенным, это слышится из всего тона речи старика-представителя, речи сдержанной и представительства скромного, что он вовсе не увидел бы там зрелища буйной и пьяной улицы, парней «под ручку» с пятью-шестью «растерзанными девицами»,

* «список запрещенных книг» (лат.).

и вообще не увидел бы довольно знакомых нам картин, пример которых я приведу ну хоть из следующей газетной вырезки:

«В день Троицы в нашей местности, в деревне Гречина Гора, собрались по обычаю человек до 200 мужиков, баб, парней и девушек. Пелись скабрзные песни, разгул был полный. Пьяные мужики начали устанавливать какие-то межи и подрались. Один молодой парень разделся донага и неопозволительно вел себя по отношению к сельским девушкам. Безобразника едва не закололи вилами. А в соседней деревне Стохнове разгулявшиеся парни разломали по дороге изгороди, вынесли из избы квашню с тестом и посадили в нее старика» (Из «Бирж. Вед.», сообщение «Из мест. Жигова» г. *Ив-ского*).

Такой случай не занесен и не *занесет*, как «знамение пришествия Антихристова», г. Беляев в свою тысячелистную, внимательную книгу. Т. е. *почему* же не занесет? Обыкновенно, привыкли, так *всегда было*, и ничего тут *нового* нет, как есть *новое* в докладе пастора об отказе принять его Вестфальскою деревнею. Но в деревне — явная тишина, спокойствие, благообразие; как и на остр. Руно, где без исправника и при одном пасторе, без свидетелей целый год жители перерезали бы друг друга, заведи они *первую же ссору, подними кто-нибудь на кого-нибудь первый руку*. Есть такие условия полной свободы и уединения, где или — полная тишина, или всеобщее и быстрое каннибальство. Но если на Руно с незапамятных времен, может быть еще до Ливонских рыцарей, рыба-чили, как рыбачат сейчас, то — вероятнее, что там пронесли века, не возмущенные и легким ветерком «нравов». Во всяком случае, там не сердились так сильно, как сердится папа в следующем *официальном* документе:

«На днях «Messenger de Bruxelles» сообщил, что Леон Таксиль отлучен папою от церкви. Текст этого отлучения сохранил средневековый характер. Вот он:

Во имя всемогущего Бога-Отца, Сына и Святого Духа, Священного Писания, Святой и беспорочной Девы Марии, Матери Бога,— во имя всех славных добродетелью Ангелов, Архангелов, Престолов, Могуществ, Херувимов, Серафимов, во имя патриархов, пророков, евангелистов, святых преподобных, мучеников и исповедников, и всех прочих спасенных Господом, Мы провозглашаем, что отлучаем от Церкви и анафемствуем того злодея, который именуется Леоном Таксиль, и изгоняем его от дверей Святой Божией Церкви.

И Бог-Отец, который сотворил мир его проклинает, и Бог-Сын, который пострадал за людей,— его проклинает, и Святой Дух, который возродил людей крещением, его проклинает, и святая вера, которою искупил нас Христос,— его проклинает. И Святая Дева, Мать Божия — его проклинает. И святой Михаил, ходатай душ — его проклинает. И небо, и земля, и все, что на них заключается святого,— его проклинает. Да будет он проклят всюду, где бы он ни находился: в доме, в поле, на большой дороге, на лестнице, в пустыне и даже на пороге церкви.

Да будет проклят он в жизни и в час смерти. Да будет проклят он во всех делах его, когда он пьет, когда он ест, когда он алкает и жаждет, когда он постится, когда он спит или когда бодрствует, когда гуляет или когда отдыхает, когда он сидит или лежит, когда он ест, когда раненый он истекает кровью.

Да будет проклят он во всех частях своего тела, внутренних и внешних.

Да будет проклят волос его и мозг его, мозжечок его, виски его, лоб его, уши его, брови его, глаза его, щеки его, нос его, кисти рук и руки его, пальцы его, грудь его, сердце его, желудок его, внутренность его, поясница его, пах его, бедра его, колени его, ноги его, ногти его.

Да будет он проклят во всех суставах членов его. Чтобы болезни грызли его от макушки головы до подошвы ног.

Чтобы Христос, Сын Бога Живого, проклял его всем Своим могуществом и величием. И чтобы Небо и все живые силы обратились на него, чтобы проклинать до тех пор, пока не даст он нам открытого покаяния. Аминь. Да будет так, да будет так. Аминь».

Заметьте, что это формула *древняя*, т. е. тоже в своем роде привычная, как и «праздничный разгул» в наших деревнях: и *ее* также не пришло бы на ум проф. Беляеву внести в рубрику «особенно ясных свидетельств близящегося Царства Антихриста»; да и если он будет издавать вторым изданием свою книгу, или напишет к ней второй том, он не последует моему указанию и не занесет ее в «признаки». Т. е. это ему не кажется, как и шутки мужиков наших, *антибожественным*. С этой точки зрения вся его книга может быть принята как-то «наоборот». Ему не кажется антибожественным то, что явно антибожественно; а рабочим в Вестфалии, да может быть и французам, потребовавшим удаления «конгрегаций», может быть давно уже кажется «антибожественным» то, что проф. Беляеву вместе с нашим, с протестантским и с католическим духовенством кажется так «просто», «обыкновенно» и «простительно». Невозможно не заметить, что начало «как бы светопреставления» относится всеми ими к моменту *выпада власти из их рук*, падения *авторитета их*; в последнем анализе — «сведения» их к простоте и ясности «раба Божия Моисея, кратчайшего из людей», «странников Петра и Павла», «первосвященника Садока», которые служили, все служили, но Единому Богу (тогда еще *Единому*), и служили плечо с плечом с человеками, не получая поклонения *себе* от них. Но я вернусь к вестфальским рабочим, да и к более общей судьбе Франции. Что же осталось им, что же *станется?* Пройдут десятилетия, может быть, два-три века действительной пустынности или малорослости души; в роде нового *Moyen Age, Mittel Alter* *, — но не вечного! отнюдь не окончательного!! Отрастут ростки души, специально доселе атрофированные. Описывают зоологи, что в пещерных озерах, вечно темных, у рыбы есть глаза, но они *не видят*. У европейского человечества, у души европейской есть почти несомненно множество таких же еще «закрытых» способностей, начаточных или *подавленных* сил, главным образом в отношении к природе, но также и к Богу: которым проснуться возможно и которые проснутся! Рыбы, вынесенные из такого вечно темного озера, индивидуально, может быть, и умрут незрячими; но в дальнейших генерациях зачаточный глаз — *увидит*. «Мы не веруем в Бога и не желаем ничего

* Средние века (*фр., нем.*).

знать о Нем», — этот ответ вестфальца есть только *за себя* ответ; ну, за своего сына, наконец — внука; но не за внука этого внука! Шевельнутся ростки души, теперь совершенно не видные. Кто знает, как будет внук его внука смотреть на зеленеющее дерево? Мне пришлось прочесть о «безбожной Франции» известие, которое тронуло меня в Петербурге, потому что здесь оно невозможно: самые бедные парижане, вот такого же достатка, как и вестфалец-рабочий, целою семьею (всегда семьею!) выбирают за город, отъезжают несколько станций по железной дороге и, забравшись в лес или расположившись на лугу, имея привезенную с собою провизию, проводят целый день среди зелени! Это — характерно. Известно, до какой степени оголены от растительности наши несчастные великорусские деревни и села. Сказать, что у крестьян нет ни времени, ни сил посадить дерево, — невозможно уже от того, что находят же они время посадить старика в опару. Но чувства *природы* и *зелени* совершенно нет у него, и это я не могу не связывать чуть ли не с «природным» его алкоголизмом, как и с «разгулом 200 мужиков» до такой степени удали, что один парень показал себя голым девицам. Природа трезва, чиста и деликатна; а вместе — она и возбуждательна, живительна. Посадить дерево, раскинуться семьею на лугу — это все равно как потянуть вина из тонкого горлышка древнего сосуда, но вина благородного, не отравляющего. Алкоголизм и отсутствие зелени в наших селах я считаю застарелыми «знамениями пришествия Антихристового»; ибо это явно антибожественно; да и дикий вид деревни, описанный выше, являет полное забвение Бога, хотя бы они и «клялись Богом» пьяными устами. В вестфальской деревне — тишина; у нас — гам. Что зреет в тиши, что готовится в гаме — никто не знает. Но верится, что там, в тишине, в благообразии вызреет, ну пусть через века — но вызреет слово, понятие, образ: «Бог»; вызреет и молитва к Нему, ну, пусть новая, необычайная. А около квашни, с посаженным в нее стариком, как и около исключительного гнева папы, все будет ломаться, уменьшаться, опадать до совершенной пустыни, до непереносимого голода...

Памяти А. С. Хомякова

(1 мая 1804 — 1 мая 1904 г.)

Столетие, исполняющееся 1-го мая со дня рождения Хомякова, пробудит о нем если не в целом русском обществе, то в специальных литературных и общественных кругах теплую память и некоторое движение мысли. Личность покойного, мы знаем, для некоторых русских людей едва ли не первенствует на всем небосклоне русского XIX века. Его признают гением (мы слышали определения именно в этих словах). Заслугу его перед Россией признают неисчерпанной и неисчерпаемой. Он «был Колумбом, открывшим Россию». Так именно о нем писали и говорили. Но таких энтузиастов очень немного; их наберется несколько десятков, у нас и западных славян — людей уединенных, кабинетных, книжных, не весьма внимательных к живой истории своих дней. Напротив, из самого состава почитателей мы заключаем, что в А. С. Хомякове была большая историческая нужда, но только нужда своего времени, тех 40-х и 50-х годов XIX века, которым принадлежит рассвет его деятельности; но что, по миновании этой надобности, выполнив какую-то специальную миссию, он присоединился к великим книжным сокровищам русским, но не вошел живою частицею души в живую русскую жизнь. Он, который писал так много о «любви», увы, не объят любовью народной в ее обширном значении. Около «Пословиц русского народа» (В. И. Даля), «Толкового словаря великорусского языка» (его же), и еще далее — около «Слова о Полку Игореве», или позднее — около Крылова, Лермонтова, Пушкина, Кольцова, даже около Некрасова — имя его бледно, образ тускл, слова как-то не запоминаются, спутываются. Только его слова о Европе: «страна святых чудес» — вошли почти пословицею в живой оборот нового русского языка: какая насмешка истории, если принять во внимание, что во всех своих трудах он усиливался оспорить этот яркий афоризм. Теперь, когда прошло 44 года после его смерти, идеи его не представляют высокого и цельного здания. Они похожи на рассыпавшуюся башню св. Марка в Венеции. Было прекрасное здание, прекрасный план, от которого осталось много щебня. Но щебень этот есть, но здание это было, но есть много людей, хранящих о нем благоговейное воспоминание. В общем, все принадлежит истории, а не действительности. Так и Хомяков. Он все же упорно и монотонно (все в одном направлении) свою деятельность покачнул все

русское сознание в сторону народности, земли, в сторону большего внимания к своей истории и нашей Церкви. Цельного строя его мыслей, кроме специалистов, никто не хранит. Но отзвук, но «запах» его мысли распространился почти на всех. Дело в том, что широкая жизнь с ее множеством практических задач, с ее «нудностью», скорбью, болью, уторопленностью — прошла мимо Хомякова. Но он бросил в ее багаж (а многие говорят — ей под колеса) нечто такое, чего она не могла вовсе избыть. И вот она идет к другим целям, не Хомяковским; но нечто Хомяковское имеет у себя, в богатствах или дефиците — это не совсем и не для всех ясно.

* * *

Мне кажется, начала «любви», им проповедуемой, не так много было у него самого. Он был слишком индивидуалист, слишком особняком стоявший человек (для сравнения припомните Некрасова). С окружающей жизнью он не сливался. Таким образом, в «мирское», «хоровое начало» (его термины, его любимые идеи) он не вошел согласным с другими голосом, и именно от недостаточной в нем любви к другим, простоты и скромности. Все свидетельства о нем современников, как и его литературные полемики, говорят о нем, как об уме гордом, характере высокомерном; что вследствие примеси к этому шутовности оставляло впечатление заносчивости. Это до того противоречит всей программе его проповеди, что стоит задуматься. «Что имеем — не храним, потерявши — плачем». Его противники, западники, были гораздо проще его, любвеобильнее, смиреннее: но потому-то именно, что они имели эти дары души, они и не придавали им вовсе никакого значения, восхищались «гордой музой Байрона» и проч. Напротив, гордая и высокомерная натура Хомякова «вечно плакала о том, чего не имела»: о смиренномудрии, простоте, гармонии с ближним. Это составило его известные идеалы. Но как самый плач о них был несколько искусственный, то все это и пало на русскую ниву несколько искусственным и плохо принявшимся посевом.

Во всяком случае, не у Хомякова русские научились простоте, смирению и любви. Если хотите, они этому больше научились даже у Белинского и Грановского (с последним Хомяков вел ученую полемику). Осмелюсь сказать, что простоте и смирению они даже научились больше у Некрасова. Как и любовь к народу, подлинное реальное народничество, неистощимый труд для него и около него — они взяли вовсе не из славянофильских теорий. Мы вообще научаемся из примеров, а не из слов. И вот ряд людей, сонм людей, к которым Хомяков и его школа стояли во враждебном отношении, самым примером, жизнью, а также и безыскусственным словом (без теории) показали пример вообще доброго, скромного и внимательного отношения и к земле родной, и ко всем чужим странам.

Дом — не тележка у дядюшки Якова.

В этом стихотворении Некрасова больше чувства народности, непридуманного, само собой сказавшегося, чем во всех стихотворениях Хомякова. Этой несчастной истины кто же не видит.

«Любовь», говорим мы часто. Но тогда ли, когда больше всего любим? Любовь разлагается на внимание, на заботу, на ласку, на шутку, на прибаутку, на веселый дух, все сопровождающий. И когда этого пестрого спектра нет, подозрительна и «любовь». Напротив, когда человек поет песни и работает — думается, что он любит весь мир, хотя этого не высказывает и не доказывает. Много вообще антиномий кроется в странной душе человека.

* * *

Перейдем к оценке некоторых частых идей у Хомякова. «Только любовь (к предмету, к лицу) открывает нам истину (лица или предмета): без этого анализ наш, как бы ни был остер, скользит по поверхности вещей». Это — исходная точка его воззрений. Хорошо. Но была ли она им применена к лютеранству и католицизму, на оспаривание которых, на понижение уровня которых он положил значительную часть жизни? Вот — Лютер. Не нужно иметь братской любви всечеловечества, чтобы не отвергнуть, что этот одинокий монах был точь-в-точь то же, что наш родной Гус, что пламенный Савонарола, но только счастливый, получивший наконец удачу после стольких исторических неудач. Католициство, не знавшее себе возражений, заволокшее все небо тогдашней цивилизации, да частью и родившее из себя это небо, представляло авторитет, о каком решительно в наши времена разрозненности нельзя себе составить понятия. Будучи истинною сердечною (верю «religio»), оно владело и пользовалось силами государственного подавления, преследования. Представьте, что губернатор, полицмейстер, полиция и все местные войска повинуются мановению архиерея, с характером и претензиями Никона. Да что Никона... Представьте самого невозможного, несговорчивого, неуступчивого, самонадеянного и вместе самого корыстолюбивого, тщеславного и властолюбивого протоиерея, какого знали вы в своей жизни: и представьте, что умерла вся земля, умер или замер мир, и вот он один на нем среди послушных, отупелых от рабства и испуга поселян: и вы получите некоторое подобие средневекового строя после Иннокентия III, при Григории VII и его преемниках. Это такие душные потемки, каких мир не видел со времен Калигулы и Нерона: но построенные на золотом престоле Евангелия, и якобы — как «продолжение» его, как «укрепление» его. Все, что говорят нам о талмудизме и Талмуде, якобы дающих только разработку Библии, было в папстве и Католицистве, которые также смешались и были неотделимы (в то время) от Христа и Его Евангелия, как для правоверного еврея Талмуд неотделим от Моисея и пророков. Распутать эту паутину, разлепить эту слепленность, конечно, никому не было бы под силу («где тут разобраться»)! После великих личных страданий, великих колебаний

и сомнений веры, только опираясь — уж если хотите — на простоту, смирение и доброту своего сердца, простой августинский монах навалился всем грузным телом (темпераментом, характером своим) на эту паутину: и изорвал ее всю собою, разломил, можно сказать, всю Европу, как мина — броненосец, и произвел такое волнение в истории, какого от начала мира было не слыхано. Ибо цивилизация-то средневековая была почти закончена; университеты, жития святых, память Колизея, чудные (действительно чудные!) богослужения, сонм орденов монашеских — все являло в дивной красоте и гармонии эту Венецию всемирной истории, волшебную, всемогущую, страшную, очаровательную. Как мал перед его подвигом подвиг Колумба! Лютер, как и крестоносцы, тоже шел завоевывать «св. Землю», только не территориально, а идейно. Во всяком случае, если тут и были ошибки (а они, несомненно, были, и очень большие), как, однако, не понять — и именно любовью не понять — великое, до известной степени единственное в истории лицо, стоящее в центре этого невыразимого волнения европейской цивилизации? Хомяков подходит к нему (именно к лицу Лютера) с какими-то вопросами киевского семинара, с какой-то схоластической тетрадкой «вопросов» и «ответов», спрашивает его по «вопросам» и, не слыша от него «ответов», значащихся в киевской тетрадке, творит над ним суд до того неуклюжий и не в соответствии с событием и лицом, что читателя по коже дерет. Это был суд Бенкендорфа о «Капитанской дочке» («вроде романов Вальтер-Скотта, только слабее»), суд докторов над Гоголем: что-то рациональное и неумное, как будто благожелательное — а в сущности, злое, ученое — и однако невежественное. Видите ли, все они, и лютеране и католики, «не имели законного предания», которое сохранилось только в Киеве: лютеране вовсе отвергли киевское предание, по той простительной причине, что не знали его, а католики — по той, что «откололись» от Киева, стали «раскольниками». «Предания», и именно чистого, апостольского, конечно, все искали, особенно Лютер: о «filioque» (о нем одном и помнит Хомяков) они просто забыли, не постигая, какой жизненный и практический, душеполезный и душегубительный смысл соединяется с этим. Их интересовали более жизненные учения: о праве или неправоте личности судить о вопросах веры; о том, своим ли подвигам или заслугами Церкви спасается человек; об авторитете иерархическом (папском), да и о тысяче вопросов, которые возникли, но которые проспали в Киеве. «Как они смели на Западе думать, страдать и мыслить, когда мы на Востоке дремали и, в частности, я видел золотые сны о славе моего Киева»: вот удивительно местный, придирчивый, эгоистический и высокомерный вопрос, сквозь призму которого проходит вся богословская критика Хомякова. «Эгоист! ты только о себе и думаешь», — могли ему сказать равно лютеране и католики; «весь твой метод суждений напоминает рассуждения теперешней армяно-греgorианской церкви». Они, видите ли, эти армяне, посылали своих представителей на вселенские соборы до IV-го включи-

тельно, но за местными делами не послали представителей на V, VI и VII вселенские соборы. И не то, чтобы отвергают их, оспаривают: но остаются в стороне от позднейших утверждений и вообще наслоений, какие привнесли в жизнь христианского мира эти три последние собора. Но армяне, довольствуясь своею четыресоборностью, и не претендуют на вселенское значение. Между тем как с этим же армянским суждением Хомяков мнил себя Колумбом христианского мира.

«В 1847 году, плывя на пароходе по Рейну, я вступил в разговор с одним почтенным пастором, человеком образованным и серьезным. Разговор малопомалу перешел на предметы религиозные и, в частности, на вопрос о догматическом предании, которого законность пастор отвергает. Я спросил его, к какому исповеданию он принадлежит? Он был лютеранин. На каких основаниях он предпочитает Лютера Кальвину? Он предложил мне весьма ученые доводы. В эту минуту слуга, его сопровождавший, подносил ему стакан лимонада. Я просил пастора сказать мне, какому исповеданию принадлежит его слуга? Тот был также лютеранин. Почему он предпочитает Лютера Кальвину? Пастор остался без ответа и показал недовольный вид. Я уверил его, что не имею в мыслях ни малейшего желания его оскорбить, но думал только показать ему бытие предание в протестантстве. Смутясь несколько, но тем не менее дружелюбно, пастор сказал мне, что он надеется, невежество, условливающее эту видимость предания, рассеется перед светом науки. «А люди с слабыми способностями,— спросил я его,— а большая часть женщин, а рабочий, которому время едва достает для добывания насущного хлеба, а дети, а незрелые юноши, чье суждение о вопросах, столь ученых, каковые разделяют мир реформаторов, не выше детского суждения?»

Пастор замолчал и после нескольких минут размышления сказал: «Да-да, тут есть кой-что, *ist etwas darin*,— я об этом подумаю». Мы расстались. Не знаю, думает ли он до сих пор — И т. д.

Алексей Степанович победил. Но как побеждал Пигасов Рудина или Рудин Пигасова, как побеждали вообще на Собачьей площадке * в Москве в 40-х годах, и даже как вообще побеждают люди без истории, горящие в пустом жаре слов, людей истории, в слове не всегда искусных и находчивых. Ну да, конечно, и *предание*, и *авторитет* есть у лютеран, как у католиков; дети следуют за родителями, неученые за учеными, как и у нас «приход за попом: ибо поп учен». И «предание» и «авторитет» есть даже у революционеров: ибо и для них Мирабо авторитетнее Людовика XV, а дни 93-го года памятнее и священнее дней Трианона и Версаля. Не заключим ли из сходства слов, что эти «предание» и «авторитет» есть тоже у них, что у католика? а у последнего — как у лютеранина и революционера? Да, есть «предание» у каждого, но *свое*, другое: и ни одно из них уже не повторяет великого священного римского предания, страшного и опаляющего, убившего собою «я» в человеке. В Лютере родился действительно новый человек, ничего общего не имеющий с католиком Варфоломеевской ночи, и за Лютера держится («предание») лютеранин — но уже в *облегчение* себя, а не в *отягощение*

* Местожительство Хомякова и Аксаковых.

себе: Лютер не давит, а освобождает. И, может быть, каждый своими слабыми силами не удержался бы против римского авторитета и предания, но, держась за Лютера, но слыша в истории его могучий голос, видя его правдивую фигуру — все удерживаются против вихря с Ватикана. Лютер уничтожил *фетишизм* предания — и только. Маленький следует за большим — да, но насколько он мал и пока мал, и пока не может и не хочет следовать иному *сам*. Вырастет он, станет большим: пусть тогда выбирает лично для себя, что ему нужно. Лютер как бы обратился к человечеству со словом: — «Возлюбленные дети! я открыл, что признававшееся всемирною и окончательною истиною — есть всемирная и изначальная ложь. Перед Небом мы — сироты. Я сильнее вас — но и я слаб. Истина — не в истине, а в способе отношения к истине. Человеку ничего не дано, кроме удела — искания, в этом — грехопадение, в этом, наставшая после Адама, слабость. Я пойду, куда влечет меня ограниченное, но честное мое сердце; идите и вы все, но не за мною, а после меня, и как увидите, что я заблуждаюсь, не идите за мною вовсе, а идите за собою, и куда вам укажет ваше более зрячее сердце». Фетиш пал. Фетиш бессмысленный, бессмысленно поклоняемый; фетиш, перед которым не слабые только дети, не «слуга, подававший лимонад», а все были слабы, и Абеляр и Галилей. А это — разница: неужели Хомяков ее не видел?! Религия — очеловечилась. Человек скромно признал скромную свою земную ограниченность, — которую вовсе забыл Рим, и в этом-то, в этом-то забвении и заключался главный порок средневековой, почти законченной и страшной цивилизации! «Возлюбленные дети, — мы слабы — и я, и римский первосвященник»: небо средневековое потряслось и раскололось от этих скромных слов на Вормском сейме; «и я, и папа, и императоры, и князья — мы все сироты перед Небом и у Неба».

И потрясся Олимп многохолмный

как говорится часто в Илиаде.

Как, не посмотрев сердцем и любовью, Хомяков не понял великой драмы протестантизма — также, без любви отнесся к католикам, он не понял великой драмы Рима. О «римских заблуждениях» слишком часто приходится говорить, слишком естественно говорить православному, который, как известно, «чужд римских заблуждений». «Римские заблуждения» все суть поступки страстного (и гениального) игрока, который, видя на руках козырной туз, мечет карты смело, изумительно, долго — успешно: пока после невероятных выигрышей ему вдруг не начала мигать проклятая «пиковая дама», оказавшаяся напоследок на руках вместо беспроигрышного туза. Настоящее отношение к Риму есть отношение сострадания. В пределах человеческих папство совершило все возможное, как в смысле святости, так и мудрости; но никогда у него не было скромного сознания и своей человеческой участи — погрешать,

быть слабым, ошибаться; и идти вспять, дабы разыскать новую дорогу. Оно все шло прямо, без поворотов. После Варфоломеевской ночи оно не повернулось. После инквизиции — не повернулось же. «Все свято: ибо все — от Христа, и — начиная с Христа» по несомненному, проверенному преданию, с дачей людям всех прав сомнения и отрицания, но с необходимостью же для них согласиться, и уже тогда согласиться твердо и окончательно, когда сама свобода ничего не могла сказать в отрицание истины. Известно, что перед каждым возглашением нового святого католики «давали слово адвокату дьявола»: каждый мог без насмешки над собою, без угрозы себе, войти на кафедру и начать отрицать заслуги предлагаемого святого, критиковать его жизнь или «житие» и вообще отрицать его. Нет, у нас на Востоке этого бы не дозволили. О рабстве в Католицизме навраны горы пустыков: нет, такое гордое и долговечное здание на рабстве не основывается. Католицизм знал (и знает) безграничную свободу, но не вековечную, не переходящую в анархию: после свободы *сегодня* и для *меня* — на завтра и для моих детей вырастал столь же необыкновенный авторитет, как была необыкновенна свобода, на сегодня данная. «С чем отец согласился — да не отрицают того дети; но они в свою очередь суть тоже отцы, и для них есть свой удел свободы: однако только в отношении внуков, которым будет уже обязательно это решение теперешних детей». Пока, с прогрессом поле свободы не суживалось более и более — и ко времени Лютера, Коперника, Галилея, Колумба — не дошло до удушения, до невозможности для всего человечества дышать. Нет, католичество творило гениально и свободно; в самих делах веры оно было свободно до атеизма (бывали такие папы), до бунта, до революции (и такие папы были); последуюя и Фоме, который усомнился в воскресении Христа, и Петру, который от Него отрекся: и сохраняя во всем этом апостольство, т. е. необыкновенную преданность Христу, Который именно о преемниках Петра сказал необыкновенное и специальное слово, ни к кому иному не отнесенное: «паси овцы Мои». Пастырство всемирное — вот мечта Рима; пастырство по слову Христа, т. е. уверенное до самозабвения, не сомневающееся о себе и в Варфоломеевскую ночь. Как мы не можем сравнивать с Москвою Калуги, хотя Калуга тоже хороший город, так папы не могли уравнивать с Римом ни Константинополь, ни Аугсбург, ни Москву, ни Берлин. Папы, можно сказать, связаны с Римом и несут на себе его трагедию, а не то чтобы папы ввели Рим в трагическую судьбу. Рим больше пап — вот в чем секрет; в Авиньоне папы были уже ничто, и только пока были в Авиньоне. Вернулись в Рим — и все опять стало мощно, необыкновенно, стало опять значительно и влиятельно, несмотря на пережитые унижения (пощечина Бонифацию VIII). За Римом стоит Петр, таинственно пришедший туда и там умерший, способом, предсказанным Христом; за Петром — Христос... Папам ли было не замутиться в уме, не ослабеть перед такими обещаниями и соблазнами... пока скверная «пиковая дама» не замигала из сданных карт. Разумею все

теперешнее положение папства перед лицом европейской цивилизации: уже открытой Америки, вертящейся около солнца земли, рабочего вопроса, перед лицом светских королей, неверующих парламентов, отнятой у них Италии, отрешившейся от них Франции, не думающей соединиться с ними Россией и т. д. и т. д. Признаков «пиковой дамы» слишком много, и только азарт мешает Ватикану заметить то, что все видят. Да вековечная невозможность ему — «повернуть».

История Католицизма вся в этой великой игре страстей и сокрытой за нею таинственной магии, которая управляла папами, как гипнотизер своею сомнамбулою, или, пожалуй, как луна управляет лунатиком. Все знают безнравственное учение иезуитов (о чем писал Самарин): поверим ли мы, что все иезуиты лично и за себя безнравственны? Но они все и лично этого не чувствуют, как и инквизиторы вовсе не чувствовали своей жестокости. Вот пример сомнамбулизма, безответственности сомнамбулы, бесстрашия сомнамбулы. Тут именно шалости «пиковой дамы»: невероятного, чему пришлось поверить Герману, потому что умершая или убитая им старуха действительно всегда выигрывала и вообще имела секрет карт. «Как неоспоримо Христос повелел нам пасти своих овец: так несомненно мы и притом только мы одни правы, когда пасем и поскольку пасем человечество». Признак власти, невероятной, несбыточной — у них в руках: кроме зрелища, что никто им не повинуются (напоследок времен). «Ну так *должны* повиноваться! Ну так *будут* повиноваться!» Не это ли та вера, о которой сказано: «если с верою скажете горам — двиньтесь, они двинутся?»

Хомяков как в личную сердечную драму Лютера не заглянул глубоко (без любви) и не постиг ее земной великой правды,— так и на трагедию папства он посмотрел поверхностно, не открыв в ней этого небесного магического момента (сомнамбула). Все представил он как борьбу самолюбий. Перечтем такую же центральную у него страницу о папстве, какую привели о лютеранстве:

«Со времени основания своего апостолами Церковь была едина. Это единство, обнимавшее весь известный мир (не папы ли и папство и объединили, к X веку, этот «мир»?), связывавшее Британские острова и Испанию с Египтом и Сирией, не было нарушаемо. Когда восставала ересь (т. е. разделение? а когда же она не «восставала»?), христианский мир посылал своих представителей, своих высших сановников (ну, вот так католичество и собралось при появлении «ересей» Гуса и Лютера на соборы Констанцкий и Вормский) на эти священо-важные собрания, называемые соборами,— собрания, которые, несмотря на беспорядки и иногда даже насилия (где же тут «целокупная любовь?»), затмевавшие их чистоту (значит, есть «пятна»? но посмотрите — в итоге без «пятен»), представляют своим мирным (?) характером и возвышенностью вопросов, подлежащих решению, благороднейшее из всех зрелищ истории. Церковь всецело принимала или отвергала определения этих собраний («слуга»-то, «принесший лимонад пастору», не так же ли безмолвно с ним соглашался?), смотря по тому, находила ли их сообразными или противными своей вере и своему преданию, и называла «вселенскими» те из соборов, которые признавала выражением своей мысли.

Временный авторитет в вопросах дисциплины (почему «временный», если решения абсолютно верны? а если они не абсолютны вообще, почему для следующего, второго поколения, также имеющего право судить, они авторитетны?) — они становились неопровержимым и непоколебимым свидетельством в вопросах веры. Они были голос Церкви. Ереси не нарушали этого божественного единства: они были заблуждениями личными (да арианство обнимало почти весь Восток; прочие ереси увлекали царства и во всяком случае провинции), а не расколами провинций или епархий. Таков был порядок церковной жизни, внутренний смысл которого скоро забыт был на Западе».

Всякий понимает, что «расколы» перестали подниматься не от отсутствия возможности их, а от потери интереса к предметам их. Все, целое море мысли и вопросов, стало относиться к области «схоластики»: и когда образованные слои европейского человечества обратились к другим вопросам, политическим, философским, экономическим, то «перестали быть и ереси», а народы, как подавший лимонад пастору слуга, пассивно пошли за большинством и за прошлым. Этот-то вождельенный «мир», который был миром равнодушия, Хомякову представляется достигнутым «организмом целокупной любви» и «не подлежащим пересмотру решением всех вопросов». И вот он начинает критиковать, в мотивировке — слащавый, а в цели — беспощадный:

«Предположим, какой-нибудь путешественник, в конце или в начале IX века, пришел с Востока в один из городов Франции или Италии. Полный мысли об этом древнем единстве, полагаая себя среди братьев, он входит в храм, дабы освятить (!) седьмой день недели. Полный искренности и любви, он присутствует при богослужении. Он слышит эти высокие молитвы, наполнявшие его сердце радостью с самого раннего детства. Он слышит слова: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа». Он слушает. А вот в церкви возглашается Символ веры христианской и католической, — Символ, для которого каждый христианин должен жить, и за который должен умереть (да почему за один Символ веры, а напр., не за слова Христа: «Паси овцы Мои», или не за слово апостола, соблюдаемое в англиканской церкви: «епископ должен быть единыя жены мужем»? Но на Востоке оба эти слова выслушаны были глухо). Он слушает... это Символ измененный, Символ неизвестный (т. е. вставлено *filioque*). Наяву или во сне он это слышит? Он не верит своим ушам *, сомневается в своих чувствах. Он осведомляется, просит пояснений. Он полагает, что зашел в собрание сектантов, отвергнутых местною церковью. Увы, нет. Он слышит голос самой местной церкви. Весь патриархат, и наиболее обширный, целый мир произвел раскол... Удрученный печалью (!), путешественник жалуется; его утешают. «Мы прибавили самую малость», — говорят ему, как не перестают повторять нам это латини до сих пор. — «Если это малость, зачем же вы прибавили?» — «Это вопрос совершенно отвлеченный». — «Почему же знаете вы, что вы его поняли?» — «Но это наше местное предание». — «Как оно могло

* Замечательно, до чего во всем этом месте гнусно-ханжеский тон у Хомякова! Вот уже московская просфория, вздумавшая поступить в охранное отделение, и для «удобства службы» одевшая захваченный со стороны «стихарчик». Уверен, не иным тоном пытали подсудимых в московских застенках и в «святейшем судилище» (инквизиция) Рима, этих «охраненных отделениях» Иисусова «кагала» (см. выше стр. 374).

найти место во вселенском Символе, вопреки формальному (да что «формальности», и с прокурорской строгостью, в вере, да еще основанной на «целокупной любви») определению вселенского собора, воспретившего всякое изменение Символа?) — «Но это предание общее, и мы выразили его смысл по местному мнению». — «Мы не знаем этого предания; да и во всяком случае, каким образом местное мнение может найти место во всеобщем Символе? Познание божественных истин разве уже не есть дар, ниспосылаемый всеобщности Церкви? Чем заслужили мы такое исключение? Не только не подумали вы с нами посоветоваться, но даже не приняли на себя труда уведомить нас! Ужели мы так глубоко пали! И однако, едва ли век прошел, как Восток произвел величайшего из христианских поэтов и, может быть, блистательнейшего из богословов, Дамаскина! И мы считаем еще среди себя исповедников, мучеников веры, ученых, философов, полных знанием христианства, подвижников, чья вся жизнь есть молитва (и у католиков, даже у иезуитов, все это было и есть, нисколько не прекратилось после «разделения церквей»). За что вы нас отвергли (за что *мы* их «отвергли?»)... Но сколько бы ни говорил бедный путешественник, раскол был сделан. *Мир римский* (курсив Хомякова) *совершил действие, в котором подразумевалось объявление, что мир Восточный есть не более как мир илотов в вере и учении. Церковная жизнь* (т. е. основанная на любви, согласии) *кончилась для половины Церкви*».

Так Хомяков похоронил весь Запад: не говоря о лютеранах, «церковная жизнь кончилась и в католичестве». Она осталась на Востоке, где на фундаменте «целокупной любви» не позволили даже напечатать это и другие его богословские сочинения, изданные в Праге. «Путешественник, зашедший в римский храм», в действительности зашел туда не чтобы «единомыслием исповедать Отца и Сына и св. Духа», а с довольно каверзною и уже заранее решенною мыслью — найти там что-нибудь, чтобы отвергнуть, осудить; и осудить молящихся в нем по тому собственно мелочному мотиву, что его «в свое время не уведомили». Здесь во всем этом «армянском» методе рассуждения разверзается такая сухость сердца, придиричивость ума, такое жестокое отношение к ближнему, к страдальцу западному во время нашего векового сна, какие возможны именно в стране, где только *спорили*, а не *жили*, и даже где только снизу поглядывали на чиновников, которые одни все и делали. Ядовитый путешественник забыл, что у католиков не одно «filioque», а и культ Мадонны, без всяких подобий его у нас; что у них иное все понятие о Церкви, все *чувство Церкви*; что у них, однако, на церковно-религиозной почве вылилось такое великое создание, как «Divina Comedia», когда у нас на той же почве появилась у бесспорно гениального человека только «Переписка с друзьями» и проч. Католики вовсе не «забыли нас уведомить»: а просто между Гибралтаром и Эльбой (пространство довольно обширное, состав народов довольно сложный) продолжали жить по-своему, совершенно поглощенные внутренней своей работой. «Илотами» они нас не называли; а Хомяков с таким наслаждением назвал их «илотами веры» («потеряли церковную жизнь»). Что практический спор: у кого сохранилась жемчужина простоты, любви и мира — этим решается бесповоротно.

Еще о славянофилах и о г. Ник. Соколове

На вопрос, отчего малочитаемые журналы и газеты говорят в полемике таким картинным языком, какого остальная литература не выдерживает, он нигде не принят,— можно ответить: «они оттого и употребляют невозможный язык, что их приблизительно никто не читает». Плеснуть серной кислотой в лицо человеку — это ужасно! А выплеснуть ее на двор? — это ничего не значит.

Без комментариев, без доказательств, без цитат, г. Ник. Соколов в статье «А. С. Хомяков и Н. Я. Данилевский» так отвечает на мою статью, написанную по поводу столетия со смерти Хомякова:

«Г-н Розанов, отбросив всякий стыд перед читателями, которых он, должно быть, считает сущими невеждами, клеветнически оболгал Хомякова, приписал ему мысли, каких у него никогда не было (да ведь я взял *цитаты*!!) и для борьбы с Хомяковым обворовал Хомякова, т. е. мыслями Хомякова мечтал его прикончить. Он говорит, что в проповеди любви у Хомякова мало любви и это любовь не настоящая, а настоящая любовь только у него, г. Розанова, и что только он, г. Розанов, свехблудник и свехбосьяк, весь татуированный хитрыми узорами растлеваемого им богословия, любить умеет... Про какую любовь говорит г. Розанов, можно видеть по его совершенно непристойной статье об еврейской микве и об индивидуальной физиономии всякого, даже совершенно негодного фаллуса».

Так «крепко» говорят не только мальчики в сапожных мастерских, но и заслуженные чиновники Министерства Внутр. Дел, пописывающие в «Русском Вестнике». Оставим брань в стороне. Упрекая не одного Хомякова, но и весь московско-аристократический кружок славянофильства в недостатке простой и *непосредственной* любви к народу, я имел в виду совершенно определенный документ, именно предсмертное письмо, написанное Т. Н. Грановским к К. Д. Кавелину. Умиравший профессор диктовал его своей жене; не только собственное личное тяжелое положение, но и страшные минуты, переживаемые тогда всею Россией (падение Севастополя, весть о котором только что разнеслась) — все это исключает мысль о несерьезном тоне письма. В нем он, между прочим, сильно порицает и Герцена, только что начавшего тогда издавать «Полярную Звезду»:

«Личность осталась та же, не стареющая, горячая, благородная, остроумная, но деятельность — ничтожная и понимание вещей самое детское».

Но вот что он говорит о славянофилах, и не забудем, что это — непосредственное нравственное впечатление от людей, которых он *лично* знал и видел:

«...Самарин, поступивший в ополчение, доказывает всю важность теперешних событий тем, что по окончании войны офицерам, служившим в ополчении, можно будет носить бороду: следовательно, кровь севастопольских защитников не даром

пролилась и послужила к украшению лиц Аксаковых, Самариных и братии. Эти люди противны мне, как гробы. От них пахнет мертвечиной. Ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда» (Барсуков, «Жизнь и труды Погодина», том XIV, стр. 183).

Что же делать, если таковы впечатления? Если рассуждения, что падение Севастополя способствовало к украшению бороды, — напоминают о чем-то среднем между французскими кокотками и Нероном, во время пожара Рима воспевавшим падение Трои?! Нет, в самом деле, это — мелочь, но как она важна, до чего характерна!! У людей, у партии, очевидно, нет *общерусского* чувства, нет трудовой и нравственной солидарности *с народом*, если по поводу бедствия России, при виде слез России (кто тогда не плакал?) люди заговорили только о куафюре! Письмо — предсмертное, писанное за два дня до кончины, и крик: «противны, как *гробы*, ни одного *благородного* взгляда» — выражает именно этическое и именно непосредственное, почти физическое, зрительное и слуховое впечатление от хорошо узанных людей... Письмо это не могло не запечатлеться и в моей душе. И когда пришла минута сказать о Хомякове свое слово, я сказал: «В них не было любви, они никого, кроме *своей партии* и *своих предубеждений*, не любили».

Вот и все. Пусть г. Соколов справится не со мною, а с Грановским (это — документ, из истории этого письма не вычеркнешь); пусть порицает в равных нравственных пороках не меня, а его.

Кстати, и о впечатлении его от моей литературной деятельности. Это впечатление, конечно, каждый может иметь свое. Но уже доведя до широкой публики аттестацию из нечитаемого журнала, напоминающего мне «петербургские катакомбы», я вправе уравновесить этот отзыв другим, во всяком случае, морально и научно-компетентным: приведя взгляд Дарвина на законы наследственности и на предложение его государственною властью запрещать браки между «производителями» недостаточно здоровыми, проф. Московской Духовной Академии М. М. Тареев пишет:

«Нельзя не упомянуть с глубочайшею благодарностью о литературной деятельности нашего В. В. Розанова на пользу этики зачатия (следует ссылка на книгу «В мире неясного и нерешенного»). Сравните с этим голосом разума (sic!) бесчувственность в этом отношении народной религиозной совести, которая, однако, очень чувствительна к ритуальным мелочам, окружающим таинство брака» («Религия и нравственность», «Богословский Вестник», ноябрь).

Г-н Соколов может выругать и проф. Тареева. Между тем он (т. е. Тареев, а не Соколов) понял ту простую мысль, которую не понимают почти все читатели книги «В мире неясного»: что я существенно сгущаю и продолжаю мысль Церкви, как она выразилась в III—IV вв. по Р. Х. (время происхождения обряда теперешнего венчания) относительно супружества и семейной вообще жизни. Объясню все сравнением. Корабль выплывает из гавани для далекого, неверного и опасного путешествия.

Не подобна ли ему всякая супружеская чета? На берегу служат молебны мореплавателям, по особому, содержащемуся в «Требнике» чину «отходящим в путь». Добрый обычай, счастливый закон. Ободрение и некоторая надежда странствователям. Но не надежнее ли, однако, *взять священника на борт корабля и непрерывно слушать молитвы и пение, и все слова утешения и ободрения, на самом корабле и во все время пути?* Кто из одобряющих молебен на берегу имел бы право и основание порицать этот *другой способ того же отношения к той же вещи?* Ведь в III—IV веках мысль могла наклониться к одному vesselу и к другому. Между тем взгляните на результаты. Ведь, например, девять месяцев беременности закладывают *фундамент души* будущего новорожденного; и, в конце концов, и у всего населения — закладывают, образуют и несколько воспитывают *душу целого народа*. «Каков в колыбельку — таков и в могилку» — это решило 1000-летнее наблюдение. Это ли не месяцы *особого настроения* будущих матерей? И не можем ли мы, не могла ли бы, напр., религия, уступив хоть моим словам, сообщить им в это *усиленно важное время усиленно возвышенного настроения?* Далее, если мы имеем (в Петербурге) «Собор всей гвардии», «Собор всей артиллерии», с знаменами, развешанными по стенам, с пушками, возле паперти, с молитвами о «воинстве» и «победах»: то чего же не быть *отдельному храму* и некоторым *особым молитвословиям*, со своими напевами, с созерцанием особой стеной живописи (библейские картины) для матерей, для беременных, для начинающих?! где было бы вовсе исключено все аскетическое и раздвинуто и выражено все *жизне-творческое, семейно-домашнее!* Совершенно позволительная мысль, о которой мечтал, путешествуя на Афон, уже знаменитый епископ Порфирий Успенский. Легко догадаться, что душа человека, столь неотделимая (увь!) от его физиологии, от таинственного особого сложения его организма, будучи *в самой физиологии сплетена в один клубок с религиею* — стала бы вообще более чутка и впечатлительна ко всему нездешнему, ко всему загробному, ко всему премирному. Ибо ведь что же такое «песня Ангела», которую «слышал и полужабыл, но забыл не вовсе» человек до своего рождения?! Конечно, это только настроения матери, особо передающиеся ребенку! Ребенок, еще из темной могилки своей, видит душу матери с такой особой стороны, какая никому не открыта, да и она сама о себе всего не знает. Все, что мы именуем «врожденными идеями», довременными предчувствиями,— Бог, загробный мир. Последний Суд, грех и правда, идеалы терпения и подвига — все «врожденное» и есть просто *переживания* матери, думы и песенки ее, песенки и молитвы, и страх возможности смерти (в родах), своеобразно отразившиеся на плоде в ее чреве, *толкнувшие его, обласкавшие его, согревшие...* Вот религия-то, через *соответственное чтение, обряды, службы, музыку, живопись, наконец, через соответственные легенды и воспоминания*, могла бы сотворить *чудные по высоте и нежности мотивы для душевной жизни*

беременных, грядущих матерей! И вместо того, чтобы уже *потом делаться* (воспитание, суд) благородными,— вместо того, чтобы приучаться к благородству,— люди (младенцы) уже *рождались бы благородными, с естественною* («врожденною») *склонностью к добру и отвращением ко злу*. Вот это я и называю: взять священника на корабль вместо того, чтобы отслужить напутственный молебен *. Мне кажется, этого уже инстинктивно ищут теперь; матери в это время *избегают дурных впечатлений*; родные, ближние, друзья боятся *испугать, расстроить* беременную. Но это только *азбука*, когда есть *целая книга*! Если есть эта тенденция у частных людей в хороших семьях,— отчего религии не выступить ей могущественно на помощь навстречу? И звать к этому,— неужели «развращать богословие»? Если оно *принципиально* вне жизни, тогда, пожалуй,— *да*. Но я считаю богословие *жизненным*; и позволительно *глубже* звать его в жизнь.

1904

Об одной особенной заслуге Вл. С. Соловьева

Все, слушавшие в 80-х годах лекции в Московском университете, сохраняют, вероятно, длительную и теплую память о покойном профессоре церковной истории, протоиерее Иванцове-Платонове. Человек европейской науки, он по характеру и всему внешнему облику был кровно русский человек. А я давно уже наблюдал, что, кажется, нигде не находишь столько света, как в этом, к сожалению — редком сочетании русской сметки, добродушия, благожелательности, прямого отношения к делу, с европейскою осведомленностью и заинтересованностью. Европа дает темы; но когда к решению их подходит русский характер, не изменивший земле своей и силе этой земли, получается волнующее по интересу зрелище. Таков-то и был наш покойный наставник в Москве, в простой коричневой рясе, с грубым выговором на «о», но посвятивший нас, между прочим, во все тонкости германского философского идеализма, сплетшегося с протестантским богословием, из какого сплетения выросла чудовищная по объему и значительности германская наука об истории Церкви, о судьбах и характере христианства. И вот Иванцов-

* Теперешняя форма брака, обнимающая лишь час времени перед 30—40 годами семейной жизни. Иногда думается: ну, пусть бы остался, какой есть теперь, обряд венчания, но пусть бы он для супругов повторялся через известные темпы времени, по полугодиям, во всяком случае ежегодно (как исповедь, напр.), дабы продолжать и возобновлять свое действие, «благодать» что ли или (по-моему: ибо в венчании я отрицаю «таинство») молитву и художественное воздействие. Еще: есть в «Требнике» чин молебна, служимого над колодецем, из которого вытащена дохлая мышь. Это очищается питьевая вода. Но отчего же Церковь не сложила молебна, особенного трогательного богослужения, для семей *начавших ссориться*? Только и есть один на это ответ: да Церковь никогда о семье не думала и никогда о ней не заботилась, ибо она — *девственная, монашеская, аскетическая, скопческая, анти-дружеская и анти-семейная!*

Платонов, кончив за год обзор католического и протестантского богословия, переходил к родным нивам на той же почве, около тех же религиозных вопросов. Он привставал от волнения и неуклюже обдергивал на себе рясу. Так же голос звучал на густое «о». Лицо его делалось унылым и стыдливым: «что касается до нас, русских, то грустно и стыдно становится за родную литературу, за родное наше богословие»... Я, конечно, не могу передать сейчас дальнейшей его речи: но ее слушали десятки русских филологов, и, верно, все они сохраняют воспоминание об этом переломе в лекциях почтенного ученого, переходившего от глубокой заинтересованности, от великого почтения, пока шла речь о западном мышлении и эрудиции, к унынию, разочарованию и скуке, когда он переходил к книгам отечественным.

Тот же отзыв дал Н. П. Гиляров-Платонов: «Наше отечественное русское богословие дальше компиляций не шло; возьмешь лучшие труды,— и все же это только компиляция, без знакомства с первоисточниками».

Еще раньше его Ю. Ф. Самарин тот же взгляд высказал в известной диссертации «Стефан Яворский и Феофан Прокопович» (опубликованной много позднее после написания): «Прокопович и Яворский выражали: один — протестантские тенденции, другой — католические без всякого подозрения, что может быть русское направление».

И вот, суммируя эти взгляды трех равно русских, равно светлых душ, спрашиваешь: «Да отчего же, отчего?»

Находишь ответ на это косвенный, в знаменитом (по удачности) мнении, какое высказал о Вл. Соловьеве профессор Московского университета г. Лопатин: «Он (Соловьев) первый у нас стал заниматься *темами* или *предметами самой философии*, а не мнениями об этих темах западных философов; и через это стал первым русским философом». Определение это необыкновенно удачно. По бессилию ли, по скромности ли, по какой ли иной причине, русский «философ» никогда не брался за исследование самого предмета, самой темы, бывшей интересно уже начиная с Фалеса; но с Фалеса и до наших дней он знал все *мнения*, высказанные об этой теме греками, итальянцами, французами, голландцами, немцами, англичанами. Все они, русские философы до Соловьева, были как бы отделами энциклопедического словаря по предмету философии, без всякого интереса и без всякого решительного взгляда на что бы то ни было. Соловьев, можно сказать, разбил эту собирательную и бездушную энциклопедию и заменил ее правильной и единоличной книгой, местами даже книгою страстною. По этому одному он и стал «философом». Теперь,— если эту удачную мысль г. Лопатина перекинуть на богословие, то и ее судьбы, над которыми плакались Иванцов-Платонов, Самарин и Гиляров-Платонов, можно очень объяснить тем, что наша литература здесь тоже «занималась не предметами, а мнениями». Уныние своего профессора, когда он перешел от иностранных литератур к русской, я могу пополнить глубоким собственным унынием, какое

испытал, читая обширную статью проф. Б. Тураева в первом томе «Православной богословской энциклопедии» об... абиссинской церкви! Посмотрите, например, о чем спорили:

«Они (часть абиссинцев) право верили, что Сын существенный есть Христос по человечеству, и в признании различия этой человеческой стороны заходили дальше всех монофизитов. В связи с этим они говорят о трех рождениях Спасителя: предвечном — от Отца, во времени, от Матери, и от св. Духа; второе — есть соединение, третье — «помазание» («помазанием — Сын благодати»). Оно совершено Отцом в момент соединения, т. е. воплощения, но явлено миру в Иордане. Как прямая противоположность этому близкому к православию учению, выдвинулась в Тигрэ (столица Абиссинии) из учения «кебат» наиболее крайняя монофизическая доктрина, заслонившая годжамскую. Она учит, что Христос помазал Сам Себя Самим Собою, что человечество Его поглощено Божеством, что при вознесении Он совлек с Себя даже плоть. Этот толк получил название «веры ножа». В связи с этими крупными вопросами стоят еще другие, волнующие абиссинцев: 1) о природе человека новорожденного и 2) о почитании Божьей Матери. Держась воззрения о возможности греха лишь при сознании, одна партия утверждает, что младенцы рождаются безгрешными; но другая, к которой примыкает и партия «соединения», считая сознательное с первого мгновения существования человеческой души — единственно достойным Богочеловека, из этого выводят сознательность вообще утробной жизни всякого младенца, а следовательно, и о возможности греха до рождения (т. е., что 1) Христос пережил все фазы утробной жизни при воплощении; 2) но как Божеству, Ему нельзя приписать когда-либо бессознательности; 3) следовательно, и в утробе младенец сознает, а значит, и может согрешить). С другой стороны, последователи «веры ножа» боясь неумеренным чествованием Богоматери напоминать об единственности нам Спасителя по человечеству, тогда как враждебная им партия утверждала, что Божьей Матери подобает вместе с Ее Сыном божеское поклонение. Борьба толков происходила и на соборах, и при дворе, и отражалась в политике. На соборе 1681 г. годжамцы были преданы анафеме и изгнаны; при царе Иясу, царствовавшем от 1682 по 1706 г., было три собора, окончившихся также в пользу партии «соединения». И т. д.

Три церковные собора за одно царствование! Спорят не только в народе, но при дворе, и это отражается в «политике», т. е. непременно это было серьезно, реально, это не ошибка мнений, красноречий, а энтузиазм и убеждение! Да о *чем* спорят, не о *пустяках* ли? Ну, кто же решится сказать, что это то же, что вопрос об «аллилуе сугубой и трегубой» (вопрос о том, петь ли дважды: «аллилуйя, аллилуйя», или три раза «аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя») или о хождении «посолонь или против солнца» (т. е. по направлению вправо обходить престол или обходить его же по направлению влево при богослужении), писать ли «Иисус» или «Иисус». Мы не хотим отнять глубины и интереса в нашем сектантстве: но это уже приводящая сюда глубина народного *характера* и интересы *быта*, которые осложнили собою собственно *религиозные* мнения. А последние... Да они никогда и не были мнениями «религиозными», относящимися до «religio», т. е. «связи» человека с Богом: ибо

какая же это «religio», «отношение» к Богу, ходить так и этак, два или три раза произносить одно и то же слово? Всякий скажет, что абиссинцы спорили о предметах, вникали в Существо Божие, искали не ошибиться в своем отношении к этому Существо (споры о поклонении Божией Матери); и, как лестницу к Божеству,— испытывали грех, размышляя: когда и откуда он начинается. Это — споры о вещах, а не о мнениях. И всякий же скажет, что «вещи, до религии относящиеся» даже и не приходили вовсе на русский ум, занимавшийся исключительно «мнениями», именно — какие были составлены еще в Греции задолго до начала Русского государства. Родилось наше царство: но ничего о Боге не подумало, а только об этих греческих о Боге мыслях, пугаясь неточно их скопировать, радуясь, когда копия выходила точна. Здесь, в этом единственном страхе, Никон и его противники слились до тожесловия.

И вот последствия этого — религиозная картина страны, лежащая перед нами. От споров о «двугубой и трегубой аллилуйя» русский без всякой ступени, без всего промежуточного переходил к атеизму. Уже через 50 лет после того, как Аввакум сгорел в деревянном срубе, у нас появляются в XVIII веке полные атеисты. Народ наш и общество или волновались около «аллилуйя», или не верили вовсе ни во что. Как и в философии до Соловьева русский или знает мнения от Фалеса до Канта, или просто поступает не на тот факультет, идет в медицину или адвокаты, и уже тогда равно считает вздором и Фалеса, и Канта, считает вздором самую философию. Но здесь и там, в религии и в философии, лежит одна причина этих ужасных скачков: незаинтересованность вещами и исключительно энциклопедическое, формальное, бездушное вращение в сфере «мнений» и подражательности.

Отсюда — бедность и всей богословской литературы; отсюда, в частности, холод к ней образованного общества. Пусть литература, философия, политика ниже религии; однако все же русская литература занимается подлинною русскою действительностью, политика наша относится до существенных интересов России. Здесь темы подлинны, а следовательно, и интерес реален. Но не хочет ли кто-нибудь принять участие в споре о четырехконечном или восьмиконечном кресте? «Право, не интересно», — скажет всякий; «право, не интересно», — вторит литература; и вторит этому общество, засаживаясь — в полной мере материализации духа — за винт, за маленькую интрижку, за последний газетный лист, за служебную сплетню.

Между тем, что бы так могло поднять силы страны, как религия? Что так могло бы обновить силы народные? Посмотрите на Германию до реформации, и на нее же после нее? Чем было пресвитерианство для Англии и Шотландии! Мы напоминаем факты, конечно, ни малейше не маня Россию повторить их. Но Англия, Германия, как, впрочем, и Абиссиния, проникали в самое существо религии, занимались «божественными вещами», чем заняться никогда не было делом России.

Острый, волнующийся, вечно досадающий ум Вл. Соловьева оказал и на этой почве огромные заслуги нашему обществу, нашей России. Споривший с Хомяковым, он в существенном продолжал его. И он, как Хомяков, но с несравненно большим влиянием и успехом, начал выводить русскую мысль к подлинным темам религии, разрушая царящий вокруг религии формализм; хочется добавить: «формализм почтения», который так родственен с тайным и полным отрицанием. И здесь ему приходилось трудно. «Вы разрушаете форму, когда мы формою-то только и живем», «когда кроме формы и формального отношения — у нас и нет ничего!» Но Соловьев был подлинно религиозен; теперь, когда он умер, и известны (из посмертного рассказа кн. С. Трубецкого) его последние дни, ни у кого нет сомнения, что это был подлинно религиозный человек и даже человек благочестивый. Итак, он прошелся «ледоколом» по нашему религиозному формализму именно от того, что в нем уже загорелся энтузиазм к подлинным религиозным темам, к самому «существу» религии, а не «мнениям» около нее.

Он вошел спокойно и твердо в следующий этаж религиозного сознания, вошел сюда вместе с Хомяковым и Самариним, хотя и споря до гнева с ними. Это — уже все равно. По тому одному, что раздали споры «о подлинных религиозных вещах», — все необозримое компилятивное наше богословие, «без веры, любви и вдохновения», очутилось разом в нижнем этаже. Все еще опровергают здесь «раскольников», шпыняют «штундистов», подсмеиваются над «хлыстовством». Но как-то без уговору всем становится ясно, что это — мужичьи оспаривания мужиков; что полемика здесь в уровень с объектом нападения, что это — допетровский боярин и его мужик, оба равно безграмотные, равно милые, но равно не выдавшие голландских верфей. Собственно, все наши секты, безграмотные в своих темах, и не возникли бы вовсе, не будь у нас самих уж слишком элементарного анафематствования — «Исуса без и», «двуперстного» перстосложения, и т. п. По полю — и травы, по климату — и флора. И как весь небосклон наш был занят формализмом, то и прорывы его были и могли быть только формального же, пустого и бессодержательного смысла. Всегда это так бывает, что какова «система», таковы и «изъяны» в ней, каков тезис — таков и антитезис.

У Соловьева есть прекрасный взгляд на старообрядческий вопрос, именно переводящий его в тот «нижний этаж» религиозных тем, где возможна о нем улыбка и невозможно ни 1) сочувствие к сектантам, ни 2) борьба с ними.

«В Деяниях Московского собора 1654 г. рассказывается, каким образом патриарх Никон начал то исправление церковных книг, из-за которого произошел наш раскол. Здесь с полной ясностью можно видеть сущность тех воззрений, которых держался московский патриарх, и действительный характер нашего церковного спора.

«Войдя в книгохранительницу,— рассказывается там,— Никон обрете ту грамоту, в ней же писано греческими письмены, како и коим образом в царствующем граде Москве начались патриархи поставлятися; написана же сия грамота в лето 7097 (т. е. 1589). И обрете еще книгу, написанную с Собору вселенских патриархов греческими же письменны: бе же Собор тот в Новом Риме, в Константинополе, в лето 7101 (т. е. 1593 г.). В коей книзе соборные глаголы сицевы: *«Яко понеже убо совершение прият православных Церковь не токмо по благоразумия и благочестия догматам, но и по священному церковных вещей уставу* (курс. Вл. Соловьева),— праведно есть и нам всякую церковных ограждений новизну потребляти,— и яже наученная невредима, без приложениа же коего-либо и отнятия, приемлющим (Вл. Соловьев подстрочно переводит: «т. е. так как православная церковь завершена или достигла совершенства не только со стороны догматического учения, но и со стороны церковной дисциплины и обрядов, то» и т. д.)... И яко да *во всем* (курс.С-ва) великая Россия православная со вселенскими греческими патриархи согласна будет». Прочетчи же сию книгу Государь Святейший патриарх Никон *«в страхе велик впаде: не есть ли что погрешено от их греческого закона* (т. е. «нет ли у нас какого-нибудь уклонения от греческого закона»). И нача в нужных рассмотреть, еже есть Символ православныя веры: «Верую во единого Бога» и прочая, и узре в *Сане святительском*, его же от грек в царствующий град Москву прежде 250 лет принесе Фотий, российский митрополит, Символ праведной веры воображен шитыми письмены, во всем согласующая Святой Восточной Церкви: потом узре той же Символ в московских в новых в печатных книгах, и многая обрете несогласия».

«Известно,— продолжает Соловьев,— в чем состояли эти несогласия, испугавшие патриарха Никона. Во втором члене Символа вместо «рожденна, не сотворенна» в московских книгах было напечатано: «рожденна, а не сотворенна»; в седьмом члене вместо: «Его же царствию не будет конца» — в московских книгах стояло: «Его же царствию *несть* конца»; в восьмом члене вместо: «и в Духа Святого, Господа животворящего», в московских печатных книгах читалось: «и в Духа Святого, Господа *истинного* и животворящего»...

«То же и святую литургию рассмотрев,— продолжают «Деяния собора 1654 г.»,— обрете в ней святейший патриарх Никон ово прибавлено, ово же отъято и превращено. По сем и в иных книгах узре многая несходства».

Все эти «многие несходства» (говорит Соловьев) в чине литургии и в иных книгах — были того же самого рода, как и указанные выше в Символе. Никон, будучи, как он сам заявлял, «по вере греком», — вполне разделял то основное заблуждение византизма (начинается центр возражения Соловьева), что будто бы уже «совершение прият православных Церковь». И хотя он совершенно не мог бы определить, когда же именно она «прият совершение», тем не менее он твердо верил, что это произошло когда-то в Византии, и что это «совершение» обнимает собою, безусловно, все в Церкви и не допускает изменения в малейших подробностях. Так, по его (Никона) словам, в скрижали

«страшная заповедь их, Св. Вселенских Соборов, равне подлагает анафеме и прилагающего, и отъемлющего и применяющего наименьшее письмо, даже едину черту, или иоту, еже есть і, в Символе... Яко отнюдь не подобает в Символе веры или мало что, или велика, или гласа, ни склада тамо положенного, передвигаги, или преминити, но цело подобает хранити со всею силою и вниманием, аки зеницу ока, да не под анафему толиких и толь великих Святых Отец подложим» («Византизм и Россия» — статья, написанная в 1896 г., см. «Сочинения» Вл. Соловьева, т. V, стр. 546 и след.).

В состоянии «старообрядчества» пребывает до 10 миллионов русского народа, которые томятся отделением от них остального населения, томятся пренебрежительным на них взглядом всей державной, исторической, движущейся вперед России: и позволительно нам здесь привести это ясное изложение исторического начала спора с ними. В чем был испуг Никона, та первоначальная *психология*, которая положила начало всему *последующему* движению, вековому и кровавому? Да, это была та же самая психология и тот же самый испуг, какой издревле и поднесь владеет старообрядцами: тот же круг интересов, вопросов, страха, наивной веры, что «к IX веку все уже совершение прият». Вся эта область — вербальная (*verbum* = слово), словесная, а — не *эссенциальная*, не существенная, до вещи, до «*religio*» относящаяся. Только в пространстве пустом, где вовсе не было «вещи» религии, *rei religionis*, или, что то же, при явно покинувшем нас Боге, мог возникнуть наш спор о словах. Ну, вещей нет, тогда будем заниматься словами; нет золота, довольствуемся «кредитными знаками». Но страшно, что «кредитные-то знаки» (в поле нашего религиозного сознания) не обеспечивались никаким позади лежащим фондом золота. Итак, пора сознаться, что Никон имел всю структуру коренного керженского старообрядца, не имея ни вершка роста против него. Какую он книгу читал, поразившую его? Как и темные наши старообрядцы, он читал книгу «большую, старую», без всякого вопроса о происхождении ее, достоверности, значительности. Просто: «прочел и испугался»: история множества «испугов» наших несчастных сектантов. И как близко его рассуждение к рассуждению латинян о невозможности перевода Св. Писание с латинского на какой-нибудь другой язык: если непозволительно написать вместо: «рожденна, не сотворенна» — «рожденна, *a* не сотворенна», то по тому же рассуждению еще грешнее и еще страшнее написать вместо «*pater*» — «отец»: ибо несходство букв, еще больше, «глас и склад» еще более «передвинуты»: а что смысл остался тот же, то ведь он и при вставлении «*a*» («рожденна, *a* не сотворенна») не изменился?! Наконец, мысль Никона, что «все уже в Византии совершение прият не токмо по догмату, но и по священному церковных вещей уставу»: ведь теперь ученик старшего класса духовного училища знает, что правила так называемой церковной «дисциплины» нигде и никогда характера универсальности и вечности не принимали; что местные церкви (какова была и русская при Никоне) всегда имели свободу сохранить оттенки своего исторически сложившегося обычая,

законов (дисциплинарных) и т. п. Да и что говорить об «иоте», за применение которой будто бы угрожает вечная гибель и «анафема», когда во всех изданиях Евангелия (с посланиями апостольскими) ясно значится текст: «Но епископ должен быть непорочен, *одной жены муж*, трезв, целомудрен, благочинен, страннолюбив» (Послание ап. Павла к Тимофею, гл. III, ст. 2), — и между тем только одна англиканская церковь исполняет этот текст. Когда однажды посетило меня несколько старообрядцев, приглашая прийти и послушать их словопрение с миссионерами, — я, отказавшись от этого словесного пиршества, спросил их, как они примиряют «верность иоте» с тем, что у них все-таки епископы непременно неженаты. Учено, тонко и лукаво они ответили: «Мы не отмечаем текст апостола: епископ может быть семейный. Но только мы (миряне, заведующие у них практическими делами церкви) ради своего удобства и по тому, что они нам более любы, — приглашаем на епископское *служение* (т. е. к исполнению обязанностей, что есть иное, нежели сан) людей не семейных. Это наше соизволение и обычай, и он нам не запрещен никаким текстом». Во всяком случае это учено и тонко, и не напоминает аляповатых статей вроде: «Раскольник, а не старообрядец и не старовер», г. Гринякина в «Миссион. Обзрении». Вообще, теперь можно наблюдать, до чего мысль старообрядцев тоньше, острее и научнее (от осторожности), нежели их неуклюжих полемистов: последних ничто не стесняет и они несут, на смех своим противникам, невообразимую околесу*.

* Прошлую зиму здесь, на Стремянной, я посетил «религиозно-нравственные собеседования» с народом, имевшие полемическую окраску. К сожалению, я не слышал красноречивого миссионера Булгакова, а услышал молоденького и неопытного миссионера г. Боголюбова. Он говорил о «предании и писании», что на них «все основывается», забыв совершенно, что самая *суть* проповеди Христовой на стогнах иерусалимских заключалась в *отмечении* «предания старцев», т. е. в зыблости вообще почвы «предания», когда оно не тождесловит со *словом Божиим*. Если бы кто-нибудь из слушающих мужичков встал и напоянил г. Боголюбова о *тексте* Апостольском («епископ *должен* быть единой жены мужем») и спросил его, как же теперь православному соединить и *повиновение* тексту и *повиновение* преданию, его отметшему, то красноречивому оратору пришлось бы покраснеть и сойти с кафедры. Может быть, ни перед чем не пасующий Гринякин разрешил бы вопрос, подавший повод в 60-х годах спросить с высот власти: «Какое подлинное основание *монашества* у нас епископов». Ввиду компетентности вопроса, митрополит Филарет поручил смоленскому епископу Иоанну написать диссертацию: «О монашестве епископов», но тоже совершенно компетентный в богословии Н. П. Гиляров-Платонов называет (в статье-некрологе об Иоанне смоленском) это рассужденье-диссертацию наполненной софизмами. Разве что вот надежда на Гринякина; авось подопрет Иоанна своими аргументами. Но вообще говоря, ввиду ясного текста Апостола и еще ввиду того, что из самих Апостолов некоторые были женатыми (Ап. Петр) и никогда никто этого в упрек им не ставил и брака не считал несовместимым с его трудом и заботами даже *апостольской миссии* (путешествия, страдания, мученичество), — нельзя, иначе как блудодействуя языком, отвергать допустимость и для нашего времени, и для всех времен, семейных епископов. Люди, занимающиеся рассмотрением вопроса о нашем примирении, сближении или соединении с англиканской церковью, должны бы начать раньше всего говорить о *нашем приближении к ним в этом важном пункте разединения*: ибо характер епископства, монашеского или семейного, ярче всего кладет печать на весь строй церкви, на оттенок религиозного духа. Мы же верим, что высокий и идеальный тип английской семьи (лучшей в Европе; с этим все соглашаются) объясняется более всего из семейственности у них епископата: ибо в нем миряне почерпают практические образцы, наглядные, всегда воочию, семейных добродетелей. И это могущественные поучения издали. Кстати, тут и «предания» одно другому противоречат: напр., «предание» *шести* первых вселенских соборов было за семейный епископат, а «предание» *одного седьмого* собора *противостало* ему? И как тогда применить сюда ту удобную и лукавую схему мысли,

Я посмеялся софизму старообрядцев, «отцедивших комара и поглотивших верблюда», т. е. «не отметших букву апостольского послания, но изменивших весь дух его; ибо весь тон и колорит Церкви, конечно, является не тот, смотря по тому, будет ли весь высший слой духовенства — семейный или монашествующий. Между тем апостол вложил прямо сердце свое в приведенную мысль, повторив ее — и как лирически — и в «Послании к Титу»: «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности; ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель» (гл. I, стих 6—7). Взору апостола, устремленному в будущее, очевидно, предносилась живая картина создаваемой Церкви; и из приведенных слов видно, как эта теплая, домашняя, «с покорными детьми» и «заботливыми родителями» Церковь (строй ее) не походил на сухой и чисто административный порядок, установившийся от Гибралтара до Артура под влиянием того повсюду однородного факта, что семья снята со всего верхнего слоя церковных людей.

Толкуя слова Никона: «по роду я русский, но по вере и мыслям — грек», Вл. Соловьев говорил: «Если можно быть по вере *греком*, вместо того чтобы быть просто христианином, то отчего же не быть по вере *русским*? *Старая русская вера* не должна иметь силы перед всемирною христианскою верою, но перед *старой греческой верой* (курсив везде Соловьева) она в данном случае имеет равные с тою права» (т. V, стр. 546).

Полемизирующие стороны, в жару спора, часто не видят самой очевидной истины, давно ставшей ясною для всех, кто смотрит на них со стороны. До настоящего времени все еще ищут люди квадратуры круга, как другие верят в мудрость столоверчения, и третьи повторяют сказку о «белом бычке», сколько их не уверяют со стороны в бессодержательности такой сказки. Споры с старообрядцами все еще интересны для составителей старых полемических книг; но для всех, взирающих со стороны, они относятся к курсу средних классов духовного училища. Никто серьезного сердца к этому приложить не может. Победа или поражение которой-либо стороны равно здесь не интересны. С научной ли точки зрения, с исторической, с логической — обе партии суть равно партии «старого обряда» и «исполненной буквы», при неисполнении духа. Обе партии, однако, не откажутся от надежды победить; такова

движущейся без примеров, в пустом пространстве, будто «в доктрине наших упований ничего не переменалось, нового ничего не входило, но только век последующий *вскрывал дотоле подразумеваемо содержащиеся и исповедуемые истины*», как-де и солнце выгоняет ствол и листья из зерна. Красивые построения и удобные схемки. Ну, как это из «зерна»: «епископ должен быть женат», «епископы до седьмого собора *имели право* жениться без упрека и возражения» — выгнать *стебель*: «епископ должен быть не женат», и, далее, листочки «а если который епископ женится без снятия сана — то подлежит» чуть не «ссылке в Сибирь». Гг. Рункевич и Лепорский, утверждавшие на Религиозно-философских собраниях, что «у нас истины остаются без изменения и мы только растим пшеницу из зерен, причём и пшеницу, и зерна вкушали *все, всегда и всюду*», и это есть отличительная черта «наших непоколебимых истин», — может быть, рассеет мое недоумение?! Впрочем, может быть, им поможет «Алеша Попович» из «Миссионер. Обзорения», т. е. все тот же безусый миссионер г. Гринякин?!

логика спора. Но время их перерастет. Время их забудет. Время не может не расти, не переходить к новым интересам. Одна из больших заслуг Вл. Соловьева заключается в том, что, показав интерес и значительность религиозных «вещей», он тем самым, без всякой особенной полемики, перевел двухвековые споры о словах в область нижнего этажа, откуда слова уже раздаются глуше, невнятнее. Забвение есть высшая сила истории. Забвение все сможет. Посыпав землицею могилы когда-то горячие споры, все еще и теперь по недоразумению длящиеся, она создаст почву для лучшей религиозной жизни: для той жизни, которая вырастет около подлинных религиозных вещей, около отношений к Богу, а не книг «никоновой» и «иосифовой» печати.

И в заключение — вспомним об абиссинцах и их более счастливой, более завидной исторической доле: и три собора при одном царе, и великие, истинно интересные споры о грехе, о Божестве.

Прекрасный Иосиф и его братья

И сказали друг другу: — Вон, идет наш сновидец!

Бытие. XXXVII, 19.

И с восхищением, и с негодованием я слежу за полемикою против священника о. Гр. Петрова, вокруг священника о. Гр. Петрова, ведущую всю эту зиму и в петербургских, и в московских журналах и газетах, отчасти в светских, но главным образом в духовных. Змеиным кольцом сомкнулись его недруги. Речи их тихи, но в тишине этой — буря ненависти. Прислушайтесь к тону: «мы уверены, что наступит время, когда о. Петров внемлет братским (?) советам нашим и откликнется на наш призыв... Не вотще же он носит благодать священства!..» «С грустью в душе (почему «с грустью», а не с ненавистью?) отмечаем эти резко выраженные в сборнике статей его крайность увлечения, односторонности и заблуждения молодого автора-священника, намеренно или ненамеренно им творимые»... «Мы были поражены при чтении *Евангелия как основы жизни* своеобразной манерой изложения, небывалой и неприкрытой у лиц духовного сана». «Автор не умеет вести рассказ в спокойно объективном тоне, он не занимает читателя цепью длинных рассуждений и выводов, а дает и часто мастерски рисует картину того или иного явления жизни, приковавшего его внимание». «В очерках о. Петрова преобладают краткие картины текущей жизни на Руси и притом самого неприглядного характера, за редкими исключениями». «Сильно бросается в его книжках в глаза какое-то намеренное замалчивание о православно-христианской *догме* и *культе* и сужение христианского жизненного идеала и превращение требований этого идеала в одну лишь моральную доктрину». Все это пишет автор-рецензент, разбирая в московском журнале «*Вера и Церковь*» вредоносные книжки отца Г. С. Петрова: «Долой пьянство», «К свету», «Божьи работники», «Зерна добра», «Божий путь». В самих заглавиях книжек уже содержится призыв, лозунг. Вся Россия разом оглянулась на смелого священника. Неожиданно и также сразу у всех других священников вытянулись лица, потускли глаза, искривились губы. Не будь, к несчастью, наши духовные писатели так глубоко бесталанны, как это мы наблюдаем в текущую историческую минуту, — да они на руках подняли бы и понесли бы о. Григория, который с такой необоримою силою и поразительным успехом подъял на плечи свои и несет священническое в мире служение, оздоровление мира словом Божиим, укрепление сил народных голосом бодрим, верующим. «Того, чего мы *не умели*, — ты сделал: *слава тебе!*» Вот братское отношение, какого мы ждали бы. Но есть братья и «братья». Вспомина-

ется история Иосифа и «братьев» его. Идет вдали караван измаильтян. «Продадим брата нашего, а одежду его вымочим в крови ягненка, и скажем отцу, что хищный зверь растерзал его». Так рассуждают Рувим, Завулон, Иуда, все эти Гринякины, Гобчанские, Козицкие (какие скверные фамилии), В. М. Скворцов (этот, верим, по неразумию, как младший брат Вениамин).— «Братья, не продавайте меня: что я вам сделал?» — «Что сделал?! Ты любим, мы — ненавидимы. Ненавидим тебя утроенною, гробовой ненавистью».

И караван торговцев близится. Брата связывают братья. И переговариваются, сколько за него взять и как доложить отцу.

Восхитительное в о. Петрове — его какая-то вера, что Бог ему поможет и его защитит, и неумение или нежелание защищаться самому. Многие слова о нем были сказаны так язвительно (напр., старой амазонкой, г-жою Лухмановой, которая приехала к нему на чтение в Артиллерийское училище «искать утешения» и «не нашла»!), что самая боль их выслушивания вызывала немедленный и острый ответ. Но о. Григорий от ответа удержался. В его молчании есть какая-то почти физиологическая неловкость, как именно у людей очень чистых и молодых. Сколько, бывало, случалось мне наблюдать таких в ученические годы. Товарища разумного и скромного, что называется «цыганят» циники-товарищи. Ему больно; он ежится. Насмешки так остры; и он покрылся румянцем и подымает руку к лицу, чтобы закрыться, но — молчит, неуклюже и вместе восхитительно. В конце концов благородство побеждает. Когда толпа цыган-бурсаков выйдет из комнаты, подойдешь к зардевшемуся юноше — и уже дружба с ним становится неразрывною. Нечто подобное мы наблюдаем в о. Петрове. Его чистая и, наконец, великая любовь к Христу, к Евангелию, к евангелизму в жизни — так непорочны, и наивны, и прекрасны. Я думаю, в душе он спрашивает себя и о себе: «Я люблю Христа, я — христианин; *чего* они от меня хотят?» Действительно, *чего* хотят эти цыгане без Христа, без Евангелия, с какими-то только «манерами» (см. выше) протоиерейскими, с улыбочками умильными и хитрыми, со словечками тихими и язвительными, с «любовью» на устах и ненавистью (о, какой ненавистью!!) в сердце — невозможно понять! Но язвящие о. Петрова действительно «старшие братья». Прочтя брошюрку-язву г. Преображенского, чувствуешь ум, ловкость, дальновидность — но только вовсе без веры в Христа. Чувствуешь какую-то языческую мудрость. Точно гладиатор из цирка. Вступи (как они и вызывают) о. Григорий в полемику с ними — они его запутают, собьют и обвинят; обвинят не в недостатке христианства (до этого им и дела нет), а в недостатке знакомства со схоластическою ерундою, которою их пичкали и в семинарии, и в академии, и каковую они все почитают гораздо выше, значительнее и ценнее Евангелия. Они все — талмудисты, отец Григорий — как бы караим, чтущий Писание, но презиравший талмудические к нему прибавления. Спор печатный поднялся бы именно около европейского средневекового Талмуда,— ибо никто о. Григория

в незнании или в нелюбви к Евангелию и не подозревает, — и, вероятно, о. Григорий был бы действительно «сбит», «уличен и обвинен». — «Ну вот, мы говорили же, что Иосифа надо или убить, или продать измаильтянам; он не может быть братом нашим, ни сыном отца нашего Иакова».

Но дело вовсе и не в схоластической премудрости. Мало ли кто ее не знает? Прекрасный Иосиф в библейском рассказе был возненавиден братьями за то, что он *был наиболее из них любимый*. И причина ненависти к о. Григорию лежит в замечательной к нему *любви его слушателей*, которыми, кажется, мало-помалу делается весь Петербург. Начал он свою деятельность на Выборгской стороне, около фабрик; перенес ее в манеж Мраморного дворца; — уже позднее всего, и едва ли с наибольшим вниманием открыл чтения для интеллигенции сперва в маленькой комнате при церкви Артиллерийского училища, а затем в большой физической аудитории его. И где бы он ни появлялся, около него образуется теснота, сквозь которую продрасть невозможно. Долго я наблюдал и долго размышлял над причинами поразительного людского тяготения к о. Григорию. Я знал всю силу *его любви* к простонародью, к русскому человеку, русской натуре, так прекрасно и благотворно сплетшейся с любовью к Евангелию и Христу. Но мало ли кто любит народ: не всех таких любит *сам* народ. Причина тяготения здесь в той черте о. Григория, которую я не умею лучше выразить, как следующим двустушием гр. Алексея Толстого, которым он оканчивает очерк любимого ученика Христова:

*К земным утехам нет участия
И взор в грядущее глядит.*

Не по одному сходству отношения к нему «братьев» я назвал о. Григория Иосифом; но и потому, что этот народный любимец Петербурга действительно «прекрасен как Иосиф», и *этим самым типом красоты*, отмеченным в Библии. Страхов, в одном месте описания наилучших Афонских иноков, упоминает о «прозрачном и спокойном цвете их глаз, как признаке удивительной плотской чистоты». Этот признак глаз я распространил бы, как характеристику, на все лицо и, наконец, на всю фигуру о. Григория, которая и соделалась для всех людей прекрасною и привлекательною своей плотскою чистотою, своею духовностью в высшем смысле, своею безучастностью к «сору земному». Так и хочется еще повторить:

К земным утехам нет участия...

Приманки славы, богатства, наконец, хотя легкого физического кокетства так понятны были бы, были бы почти извинительны (хоть они и не извинительны) в о. Петрове. Признаюсь, я долго, почти инквизиционно следил за этим: и поразился, до чего это все даже не приходит ему на ум.

Имея много денег, имея много славы, имея, наконец, столь явное притягательное действие вообще на людей, но особенно — на женщин, он всему этому радуется, но какою-то задумчивою радостью, рассеянною, имея фиксацию взгляда совсем на других предметах...

И взор — в грядущее глядит.

Никогда я не видал, чтобы он посмотрел на женщину «как женщину»; или с *тищеславием* сказал об успехе трудов своих (хотя он об этом говорит: «Уже девятое, уже одиннадцатое, уже тринадцатое издание» такой-то книги); или жадно упомянул о деньгах. И что поразительно: никогда не говоря о женщинах, не считая *своею* их красоту, он, однако, ни о деньгах, ни о любви к нему народной, ни о славе и не молчит, как Плюшкин молчал о своих богатствах. Но он только *упоминает* об этом всем, «без пристрастия». Вот эта бесстрастность к земным и суетным вещам, у человека, стоящего в самом центре суеты и толчеи, и составляет магию притяжения о. Григория. Все тянутся, чтобы пожать его чистую руку. «Говори нам о Христе, ибо уста твои чисты»: вот что безмолвно несется к нему из тысячи взоров. Все, весь Петербург, а наконец, и вся читающая Россия почувствовали в о. Григории чистого человека, «не заинтересованного» — в особом и утонченном смысле; «не интересанта», как говорят приказчики о торговце. Он не «интересант». Вот отчего им все заинтересовались. Ибо все мы «интересанты» и самая эпоха наша — лукавая и эгоистическая, но, конечно,— с плачем
...великой души над погибшей великою мыслью.

Я хочу сказать, что душа у человека — великая и святая; и всегда она плачет о своем падении, своей суете, о своем загрязнении.

Будем же следить, с волнением, с замиранием за перипетиями интереснейшего повторения «истории о Иосифе и его одиннадцати братьях». Это — интереснейший эпизод нашего времени. Может быть, Иосиф «будет продан в Египет»; но там-то именно и совершится многозначительнейшая часть его странной и драматической судьбы. Все у Бога уже написано на Его скрижалях истории. Но лист за листом этих скрижалей медленно отвертывается. Будем терпеливы. Будем ждать.

Я уже кончил эти строки, когда, открыв Библию,— перечел историю, которую напоминает мне современный эпизод с добрым русским священником. Не могу удержаться, чтобы не процитировать нескольких стихов, обычно так обесцвечиваемых в «Кратких историях Ветхого Завета». Если все применить к Спасителю, пославшему в мир учеников своих,— то выйдет поразительная аналогия с эпизодом, разыгравшимся на наших глазах внутри ограды церковной.

«И сказал отец Иосифу: *«Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ»*. И послал его из долины Хевронской. И вот он пришел в Сихем.

И нашел его некто *блуждающим в поле*, и спросил его тот человек, говоря, *«чего ты ищешь?»*.

Он сказал: «Я ищу братьев моих; скажи мне, где они пасут?»

И ответил тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дафан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дафане.

И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его.

И сказали друг другу: вот идет сновидец; пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его слов

Когда Иосиф приблизился к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров, ров же тот был пуст, воды в нем не было.

И сели они есть хлеб. И, взглянувши — увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян...»

Пока — мы в периоде «снятия разноцветных одежд» со свящ. Петрова, убийства — имени его, чести его. Посмотрим, что и как будет далее.

1903

Воздыханцы

— Чем спасаетесь?

— Воздыханиями...

Этот краткий диалог между двумя старцами, подслушанный мною лет семь назад, глубоко запал мне в душу. Сколько я ни присматривался потом, ища, где сердцевина «нашей веры», в чем сердцевина «русского основного религиозного настроения» — я постоянно приводился и наблюдениями, и размышлениями к идее и факту постоянных, повсюдных «воздыханий». Религиознее человек — больше «воздыхает», религиознее место — слышнее «воздыхания»; приходит время года усиленно религиозное — опять же и опять это выражается в том, что «воздыхания» становятся громче и переходят во всхлипывание, в плач или в «скрежет зубовный». Так что в «воздыханиях», очевидно, содержится наше не официальное, но интимное «сredo».

В дни поста, как теперь, эти «воздыхания» учащаются, сгущаются. Их приходится услышать не только там, куда специально приходят их послушать, или сами приходят туда специально повоздыхать, но они переходят, наконец, в политическую печать, являя здесь довольно необычайное зрелище. Одно из таких «воздыханий» мне только что пришлось прочесть.

Это — помещенное в № 60 «Москов. Ведом.» «Слово о Страшном Суде и о современных событиях» одного из наших южнорусских епископов. О нем, сейчас же после появления в газете, заговорили в Петербурге и, как я слышал, очень видные литераторы собираются на него возражать. В газетах уже появились именно возражающие заметки об этом в некотором смысле достопамятном «Слове».

Конечно, епископское слово священно и никому не придет на ум оспаривать его, когда оно движется в пределах Св. Писания или излагает

догматическое учение Церкви о предметах веры. Но если бы коснулось дело географии, историй, то как можно согласиться, например, с неверной хронологией или с приписанием Наполеону Католаунской битвы? Тут наша робость отваживается на возражения. Равно нельзя сказать, чтобы политические и общественные дела, напр. хоть Земский Собор, толки о котором, кажется, вызвали достопамятное «Слово», были приурочены к специальному епископскому ведению или «досмотру». И раз уже епископ отважился в сие бурное море, то он сам же и подверг себя возможности бурь, мелей и невидимых скал. Не доходя пока до темы, остановлюсь на подробностях. Епископ предсказывает, что у нас, «если все так пойдет далее», то

«жестокие и упорные начнут с того, что отнимут у народа возможность изучать в школах Закон Божий, а кончат тем, что будут разрушать храмы и извергать мощи угодников Божиих, собирая их в анатомические театры».

С последним предвидением или предсказанием никак нельзя согласиться, ибо «мощи угодников Божиих» весьма мало представляют интереса и важности с анатомической стороны. Но здесь не одна научная ошибка. Пылкие предсказания народ принимает уже за сущее. Ведь нужно же ведаться с психологией толпы! Если «будет», «наступает время», то может кое-где уже и есть, уже наступило теперь. Надвигается на нас холера. Будут врачи лечить холерных. И вот как-то в деревнях примут таких людей, которые «собираются» или «будут» анатомировать... св. угодников!!! Ведь епископскому гласу, раздавшемуся с «Московск. Вед.», могут начать в неосторожных проповедях подражать губернские, уездные и сельские батюшки.

Да и к чему такое недоброжелательство в предвидениях? Ну, когда «будут», тогда и судите. Как же судить вора, прежде чем он украдет? Поистине «страшный суд»...

В другом месте епископ говорит, что Руси грозит расхищение и разорение

«от руки таких народностей, о которых наши газетные писаки даже ничего и не знают, каковы, например, татары казанские, крымские и кавказские, так смело проявляющие себя за последнее время».

Как же они «не знают их», если почти ежедневно о них пишут? Да один из «газетных писаков», покойный Евг. Марков, дал классическое описание древностей, этнографии и быта Крыма, а о татарах казанских и кавказских тоже осведомляли Россию вовсе не архиереи и другие духовные особы, а путешественники, этнографы, собиратели народных песен и обычаев, т. е. все люди светские и писатели или, по «воздыханию», писаки.

Перехожу к теме.

Автор «Слова» поистине «судит живых и мертвых» и предваряет собою Страшный Суд. Суть горьких его упреков образованному обществу заключается в том, что последнее живет в «мрачном самооправда-

нии». Что, например, доктора лечат народ — и уверены, что приносят народу пользу, учителя учат и тоже верят в пользу этого. В этом корень зла. Обращаясь к читателям-слушателям, автор громит:

«Вы смутно чувствуете, что не устоять вам на этом допросе Небесного Судьи, что ваше правдолюбие было лишь личиной вашего мятежного духа, вашего внутреннего человеконенавистничества, что о любви к меньшей братии вы только говорили, а любили исключительно себя самих и пышные слова, которыми питали свое тщеславие и под которыми укрывали свою себялюбивую праздность».

Перефразирую «писак» и общественных деятелей,— оратор говорит как бы от их имени:

«Помилуйте, мы ли не работали для общественной правды и для меньшей братии? Мы ли не старались о введении равенства, участвуя в современном освободительном движении, мы ли не боролись против чиновничьего произвола?» Так заговорят представители передовых слоев общества, оправдывая себя от наших обвинений... О, если бы они не говорили так! О, если бы эти несчастные безумцы такими словами не осуждали невольно самих себя прежде, чем услышать осуждение от Господа! Ведь те блаженные праведники, которых Он призывает в Свое царство, не найдут в своей памяти дел любви, а будут в смиренном покаянии только грехи свои вспоминать, и скажут Христу: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, и жаждущим и напоили?» и проч. (Матф. глава 25, стих 37). Напротив того, нечестивые будут проникнуты тем же духом мрачного самооправдания, каким исполнены наши несчастные современники... Да, чем более самооправдания у людей, тем ближе они подходят к изображению осужденных навеки».

Но ведь, отлагая великопостное время и «воздыхания», как уже и не почувствовать себя бодрым и в настроении «слава Богу!», когда в самом деле с утра не покладаешь рук и хоть по малому разумению все трудишься около людей. Вне монашеской обстановки ей-ей нам, не монахам, монашеское настроение непонятно. Работаем, а к вечеру веселимся, а то отдыхаем в семье, и — «слава Богу!». Все «слава Богу!». Как труд, так и «слава Богу!». Нет ничего веселее труда, счастливее труда. И просто монашествующие потому слишком скорбят и «воздыхают», а наконец, несколько и злобятся на мир, что слишком предаются созерцаниям и мало имеют физического моциона, в частности — работного моциона, ну, хоть по ухаживанию за больными в деревне, за ранеными на Востоке. Известно, и не раз сообщались в печати сведения, как «утружденно», с «воздыханиями» растворяют обители двери для приема даже раненых, и чаще этих дверей не отворяют вовсе, ссылаясь, что стоны умирающих нарушат их «молитвенный покой».

Оратор упрекает образованных, что они «не любят слушать и говорить о Страшном Суде». Напротив, очень любим. Ведь автор сократил притчу и переставил в ней предметы в обратном порядке, указанном Христом. К счастью, великая эта притча известна всем до малых ребят.

Грешные и праведные приходят перед И. Христа, и Он отделяет овец от козлищ. Добрые плачут, но Христос утешает их: «Я жаждал — и вы дали мне пить, алкал — и дали есть, был в темнице — и вы посетили Меня». Изумленные праведники спрашивают: «Когда же это было? Мы Тебя не видели». Тут Он и разъясняет: «Так вы поступали с *людьми*: и, следовательно, со Мною поступили так». Это ведь общеизвестно. Общеизвестно это великое, грядущее обетованиями, отождествление Себя Христом с человечеством. Сколько надежд-то, сколько надежд! Войдут ли в это обетование доктора, лечащие от холеры, войдут ли сельские учителя — пусть судят об этом читатели. Евангелист продолжает:

«Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его. Ибо алкал Я и вы не дали Мне есть; жаждал — и вы не напоили Меня; был странником — и не приняли Меня; болен и в темнице — и не посетили Меня». Тогда скажут Ему в ответ: «Господи, когда же мы видели Тебя жаждущим и алчущим, или нагим, или в темнице,— и не послужили Тебе»? Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших: то не сделали Мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

Вот полное-то обетование! Без урезок и комментариев, дословное. Отчего же работающим и унывать? Ведь бесспорно же, ведь это факт же, что они кормили в голод (народные столовые), лечили в болезнях, а вот добрый Пругавин и посетил узников «в Суздальской темнице». Правда, имя Божие не частит у них на языке. Да ведь и «оправданные» на «Страшном Суде» сперва испугались было за себя: «Когда мы Тебя видели, Господи Христе? Видали *только людей*». Т. е. они как бы забыли Бога: но сын Божий нарекает их «возлюбленными Отца» Своего! Ну, оратор, может быть, доскажет, кто же пошел налево, не кормив, не лечив, и иногда, как в Суздале, держа в оковах? Не нужно разъяснения. Читатель знает, все знаем.

О чем «вздыхаете»? О себе вздохните!

1905,

1-я неделя Великого Поста.

«Слово» до того характерно и все так исторически важно, что я перепечатаваю его целиком, для пополнения иллюстрации «Двух станов» (см. т. 1, стр. 214—223).

«СЛОВО О СТРАШНОМ СУДЕ И О СОВРЕМЕННЫХ СОБЫТИЯХ» *

Господь, долготерпящий о наших грехах, сподобил нас дожить до преддверия Св. Четырдесятницы и еще раз услышать в храме Божиим Его предсказания о Своем втором пришествии.

* Произнесено в Исаакиевском соборе 20 февраля 1905 года.

Страшный Суд! О, горестное слово для сынов суетной современности.

Страшный Суд! Как *они* не любят напоминания об этом Суде! Даже те, которые согласны тебя слушать, пока ты говоришь о некоторых евангельских заповедях, лишь только услышат о Страшном Суде, или о неизбежной для каждого смерти, сейчас же омрачают свои лица, стараются переменить разговор или даже ответить тебе каким-нибудь грубым кощунством.

Увы, они испытывают при этом то же настроение духа, как некогда нечестивый язычник Феликс, любивший слушать Апостола Павла: но когда последний говорил о правде, о воздержании и о будущем Суде, то Феликс пришел в страхе и отвечал: *«теперь пойди, а когда найду время, позову тебя»* (Деян. 24, 25).

Иначе, братие, относились к мысли о Страшном Суде древние христиане. Не страшным, а вожделенным представлялся он им. Они не отворачивались с ужасом от представления Суда Божия, но радостно простирали к нему руки. Когда Господь вознесся на небо, и облик Его исчез из глаз Святых Апостолов, то они не могли отвести своих взоров от небесных высот до тех пор, пока не явились два светлые ангела и удостоверили их в том, что — *«сей Иисус, вознесыйся от вас на небо, такожде придет, им же образом увидите Его, идуща на небо»* (Деян. 1, 11).

Тогда святые Апостолы обратили к земнородным свое слово и им посвятили свои труды, но свою силу и свое терпение почерпали в том блаженном ожидании грядущего с небес Вечного Судии, каковое они завещали и своим ученикам из поколения в поколение. Этим же ожиданием жили первые христиане, безропотно перенося житейскую неправду, тяготясь данною в удел людям многострастную плотью и созерцанием человеческих беззаконий. Они утешали себя уверенностью, что придет конец сему безбожному веку, что возвратится на землю сладчайший Господь Иисус и Своим нелицеприятным судом посрамит возносящееся нечестие, вознесет и прославит угнетаемую правду. Подобное ожидание по временам охватывало христианские общины с такою нетерпеливостью, что люди оставляли свои обычные занятия и ни о чем не хотели слышать, кроме как об ожидаемом Спасителе и *«наступающем дне Его»*, так что Апостол Павел принужден был особым посланием охлаждать их неумеренный пыл (2 Солун). Да и та книга, в которой заключены слова нашего спасения, т. е. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, заканчивается мольбой к Нему о скорейшем возвращении на землю для последнего суда. *«И дух и Невеста говорят: прииди! и слышащий да скажет: приди! Ей, гряди Господи Иисусе!»* (Апок. 22, 17, 20).

Скажи теперь, современный христианин, почему же ты испытываешь иные чувства при мысли о втором пришествии Господнем, почему они более подобны чувствам врага Христова Феликса, а не Его блаженных Апостолов и их учеников? почему ты содрогаешься, когда слышишь о том, как небеса с шумом падут, как будут распадаться гробы и восставать умершие по трубному звуку Архангела, как море отдаст своих мертвых, и все нагими предстанут пред Сына Человеческого? Ведь не для тебя должно казаться все это страшным, ведь тебе, как христианину, сказано иное: *«когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше»* (Лук. 21, 28). Зачем же ты трепещешь, слыша то, чему должен радоваться? Не тебе должно страшиться и плакать, а врагам Христовым, язычникам; не будь же подобен тем, о коих сказано: *«Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные»* (Мтф. 24, 30) и еще: *«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные»* (Апок. 1, 7).

Ты тоже страшишься и плачешь? Плачь же, но не о Суде Божиим, а о своем отступлении. Исповедай Богу, что сердце твое отступило от Его Евангелия, что возлюбил ты нынешний век и с его неправдой, что отвратился ты делами своими от Христа и Его правды, что ты ложно носил Его имя, а служил Велюару, у которого нет общения с Христом. Принеси покаяние Богу, вступи в предстоящее поприще поста и молитвы, как возвращающийся в дом отца блудный сын, бей себя в перси, как кающийся мытарь,— и тогда не потеряна твоя надежда, ибо небесное царствие восхитили и благоразумный разбойник, и покаявшаяся блудница, и мытарь, отрекшийся от своего стяжания. Спеш и ты подражать их примеру.

Но увы, если б ты был близок к ним по духу, то не отвращал бы ушей своих от слушания о Страшном Суде. А если, слыша о нем, нахмуриваешь лицо свое, то вижу в нем не покаянное чувство, столь мало доступное сынам нашего горделивого, лживого века, но злобное упорство, выражающееся в попытке найти отговорку своему невниманию. Кто из нас, духовных, не знает этих отговорок, чьи уши не были поражаемы ими, как ударами бича? «Мы не суда грядущего боимся,— так говорят теперешние люди,— мы не союзники врагов Христа и Его учения, но мы берем из последнего лишь высокие заповеди о правде и любви к меньшей братии, а туманными предсказаниями о конце мира мы не интересуемся, и потому не любим слушать этих мрачных предвещаний, сжимающих сердце безотрадными ужасами».

Но зачем же вам ужасаться, если так? Вы любите правду и милосердие? Тогда Страшный Суд будет днем вашего торжества. Там откроется высшая правда, там упразднится разность между людьми по сословиям и состоянию: цари предстанут вместе с рабами, иерархи с простецами, старцы с юношами, богачи и нищие вкупе. А если вы избрали милосердие к бедным знаменем своей жизни, то для чего боитесь суда Божия? Ведь на нем только об этом и будет спрашивать Господь. Ни о благочестии, ни о молитвах, ни о постах, ни даже о целомудрии,— вообще ни о чем, что вам так не по душе, не спросит вас Небесный Судья, а только о питании алчущих, о посещении больных и заключенных в темницах.

Или вы смутно чувствуете, что не устоять вам на этом допросе, что ваше продолжение было лишь личиной вашего мятежного духа, вашего внутреннего человеконенавистничества, что о любви к меньшей братии вы только говорили, а любили исключительно себя самих, и пышные слова, которыми питали свое тщеславие, и под которыми укрывали свою себялюбивую праздность?

«Помилуйте, мы ли не работали для общественной правды и для меньшей братии? Мы ли не старались о введении равенства, участвуя в современном освободительном движении, мы ли не боролись против чиновничьего произвола?» Так заговорят представители передовых слоев общества, оправдывая себя от наших обвинений.

О, если б они не говорили так! О, если б эти несчастные безумцы такими словами не осуждали невольно самих себя прежде, чем услышат осуждение от Господа! Ведь те, которых Он признает исполнившими заповедь любви, те блаженные праведники, которых Он призовет в Свое царство, не найдут в своей памяти дел любви, а будут в смиренном покаянии только грехи свои вспоминать, и скажут Христу: *«Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили?»* и прочее (Мтф. 25, 37). Напротив того, нечестивые будут проникнуты тем же духом мрачного самооправдания, какими исполнены

наши несчастные современники: *«когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице,— и не послужили Тебе?»* (44).

Да, чем более самооправдания у людей, тем ближе они подходят к изображению участи осужденных навеки.

Горе, горе вам, лукавые, хвастливые лжецы! Не столь ужасны ваши беззакония, ваш разврат, ваша черствость, ваше забвение Бога и вечности, сколько пагубный дух самооправдания, закрывающий пред вами все пути к исправлению себя, все двери к покаянному воплю.

А духом этого горделивого оправдания и осуждения других проникнута вся современная жизнь; ему научают детей от школьного возраста, им извращают русский народный характер, народный дух, тот дух смиренномудрия, терпения и любви, в котором Русские познавали Христа, в котором пребывал Христос, как принято говорить, родившийся в Вифлееме и живущий в России.

Но этот дух смиренного самоосуждения давно вытравлен из нашего общества языческим бытом (культурой) еретического Запада, и оттуда общая ненависть к слышанию о Страшном Суде Божиим, когда никакая ложь не поможет самооправдывающейся гордыне, но она будет избличена, посрамлена и осуждена пред лицом целой вселенной.

Но чтобы и теперь явить безответными носителей сего горделивого духа в глазах людей искренних и благоумных, подвергнем беспристрастной оценке предмет их ложной похвалы, то есть их общественную деятельность, их общественные стремления. Это ли дело любви? Исполненные исконною злобой, ненавистью ко всему русскому, руководители этого движения не останавливаются ни пред чем, чтобы такую же злобой исполнить сердца юношей-студентов и тех слоев простолудинов, которые могут быть доступны их влиянию. Пользуясь легкомысленной неопытностью одних и обманывая других чрез разного рода переодетых самозванцев, они влекут их к участию в уличных беспорядках, под пули и плети *, имея в виду лишь ту единственную цель, чтобы потом кричать о строгой расправе начальства и поселять озлобление против Правительства.

Разгоряченные, разочарованные юнцы, как учащиеся, так и фабричные, действительно не могут разобрататься в том, кто виновники их беды, и готовы верить, со слов своих лукавых руководителей, будто неизбежная строгая расправа с ними есть произвол Правительства, на которое они озлобляются еще более, и затем еще более слепо отдаются во власть зачинщиков мятежа, как кролики, бросающиеся в пасть удава.

А что сказать о преобразовательных толках в нашей печати и в различных общественных собраниях?

Может быть здесь видно попечение о благополучии Родины? Увы, нечто совершенно противоположное! О чем хлопчут они во всех своих постановлениях? Только о том, что выгодно для самих мятежников. О том, чтобы разделять власть с законным Правительством, да о беспрепятственном распространении мятежных идей чрез печать и другие средства, так чтобы никто не имел права ограничивать таких преступников иначе, как посредством судебной волокиты. Вот что легко уразуметь под криками о свободе печати и об отмене административной высылки и административных арестов.

* Намек на 9-е января 1905 г., только что совершившееся, с небольшим за месяц, перед произнесением «Слова».

Больше они ни о чем и говорить не имеют, да и что сказать им о России, о Русском народе, которого они не знают, которого изучать не хотят, которого в душе своей глубоко ненавидят?

И вот такие люди пользуются теперь самым широким влиянием на наше общество, на наше общество. Попущением Божиим оно предано «*в неискусен ум творити неподобная и исполнено всякой неправды*» (Рим. 1, 29).

Не так, совсем не так совершилось в сегодняшней день февраля сорок четыре года тому назад действительное освобождение меньших наших братий от крепостной зависимости. Там не было ни скандалов, ни крамолы, ни борьбы за свое собственное право, а нечто совершенно обратное, возможное только в жизни Русского Государства: там был государственный и общественный, добровольный и самоотверженный *подвиг*. Царь и лучшие люди просвещенного общества, никем не понуждаемые, руководимые единственно Божиею правдой и милосердием, напомнили помещикам о том, как незаконно держать в рабстве православный народ — своих братьев, за которых умер Христос и которого многие из них не только мучили непосильным трудом и жестоким обращением, но и калечили нравственно, заставляя сынов народа, вместо любезных ему священных молитвословий, заниматься кривлянием на своих театрах, — растлевая чистоту дев и разрушая священные узы брака.

И вот помещики, в огромном большинстве своем, дружно откликнулись на Царский призыв, и народ, получив свободу, не домогаясь ее, получил не как завоеванное право, но как добровольный дар. Вот это по-нашему, это по-русски, это достойно России, объединенной не через формальное право, но посредством правды Божией и добровольного послушания.

Не то мы видим теперь. Теперь почти все слои общества, как голодные волки, требуют себе всяких прав и льгот, не желая знать нашей общей беды на Дальнем Востоке, да и собственных своих прав, своей настоящей пользы, вовсе не разумея.

Да, воистину, это общественное помрачение, эта нравственная эпидемия, охватывающая просвещенные слои русской жизни, достойны многих слез, если у кого еще остались слезы по прошествии нынешней печальной години. Всегда холодные к своей Родине, передовые сыны России обрушились на свою мать, увидев ее угнетенною внешним врагом. Чего не сделал бы ни один более благородный неприятель страны, на то дерзают ее неблагоприятные сыны. Они злорадствуют всякой малейшей неудаче нашей на войне в то время, как их самоотверженные братья, измученные, истомленные продолжительным походом, видят постоянную смерть пред глазами и спокойно бросаются в ее холодные объятия за Веру, Царя и Отечество.

Итак, смотрите, какое право имеют хвалиться правосудием и братолюбием наши безумные современники. О, печальное, горестное время! О, непростительное, жестокосердное легкомыслие! Поистине, мы видим нечто напоминающее последние дни земной жизни Спасителя, когда народ, возглашавший Ему сегодня: «*осанна*», через пять дней кричал: «*Распни Его, кровь Его на нас и на чадах наших*». Не подобную ли противоположность представляют собой народные шествия в нашей столице: в начале прошлого года патриотические и верноподданнические, а в начале нынешнего года мятежные, исполненные себялюбивых требований.

И пусть бы сходили с ума уже давно опьяненные мятежным духом крайние либералы, люди никогда не имевшие ни общественной почвы, ни веры, ни воспитания, ни Отечества: но ведь теперь слова их повторяют и мирные граждане,

которые сами ужаснулись бы, если б услышали от кого-нибудь подобные речи полтора года тому назад. Тьма общественного одурманивания сгустилась до такой степени, что если Сам Господь не умилосердится над бедною, оксверненною, оплеванною страной нашей, то неоткуда нам ждать избавления. Многие старые люди, любящие свою Родину и свой народ, при виде возносящегося нечестия, молятся теперь только об одном,— чтобы Господь послал им скорее смерть, дабы не видеть нравственного растления своей Отчизны: *«довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих»* (3 Цар. 19, 4).

И вот, среди таких печальных размышлений, дожили мы до недели Страшного Суда. Теперь мы понимаем, почему о нем не желают слышать современные люди, почему и вовсе неверующие среди них, и те, которые еще не отрешились от некоторых верований, одинаково смущаются и злятся, когда вспоминают о том, что некогда должен прийти день, когда Господь *«во свете приведет тайные тьмы и объявит советы сердечные»* (1 Кор. 4, 5). Они чувствуют, что все их поведение, все их речи есть сплошная ложь, что им чужды всякая любовь и сочувствие к братьям, что они дышат себялюбием, ненавистью и злорадством и что обманывать людей возможно лишь в продолжение недолгого времени, а вечность откроет для всех их злодейское настроение.

Но что переживаем, что думаем о Страшном Суде мы, хотя грешные, но верующие христиане? Скорбь о том, что приходится слышать и видеть, пересливает в нас страх пред Праведным Судией, и мы снова испытываем то нетерпеливое желание дожидаться Его присшествия, которым исполнены были древние христиане. *Ей, гряди Господи Иисусе*, посрами светом Твоей правды, обнажи сердца и помышления развратителей народа и юношества. Пусть труба Твоего Архангела пробудит уснувшую совесть общества, дабы оно воспользовалось последними минутами земного бытия для покаяния в своем себялюбии, в своей гордыне, в своем разврате, бывших причинами его теперешнего помрачения.

Такова наша первая молитва: но если Господь еще будет медлить Своим праведным судом, то будем умножать свои молитвенные воздыхания о том, чтобы Он не попустил простому Русскому народу заразиться общественным омрачением,— чтобы народ продолжал ясно сознавать, кто его враги и кто его друзья, чтобы он всегда хранил свою преданность Самодержавию, как единственной дружественной ему Высшей Власти, чтобы народ помнил, что, в случае ее колебания, он будет несчастнейший из народов, порабощенный уже не прежним суровым помещиком, но врагами всех священных ему и дорогих ему устоев его тысячелетней жизни,— врагам упорным и жестоким, которые начнут с того, что отнимут у него возможность изучать в школах Закон Божий, а кончат тем, что будут разрушать святые храмы и извергать мощи Угодников Божиих, собирая их в анатомические театры.

Предвещения таких ужасных действий обнаруживались неоднократно на глазах у всех в последние годы нашей печальной действительности.

Впрочем, конечно, прежде чем они успели бы это сделать, сама Россия, через какие-нибудь 25 лет после отмены Самодержавия, перестала бы существовать, как целостное государство, ибо, лишенная своей единственной нравственно-объединяющей силы, она распалась бы на множество частей, начиная от окраины и почти до центра, и притом даже от руки таких народностей, о которых наши газетные писаки даже ничего и не знают, каковы, например, Татары Казанские, Крымские и Кавказские, так смело проявившие себя за последнее время. Такого

распадения нетерпеливо желают наши западные враги, вдохновляющие мятежников, чтобы затем, подобно коршунам, броситься на разьединенные пределы нашего Отечества, на враждующие его племена и обречь их на положение порабощенной Индии и других западноевропейских колоний.

Вот то печальное будущее, которое ожидает Россию, если б она доверилась внутренним врагам своим, желающим сдвинуть ее с вековых устоев.

Не забывая же о них, Русский народ, берегись богохульников, кощунников, мятежников, желающих оторвать тебя от вечной жизни, от ожидания грядущего Суда Божьего и Царства Христова, которого да не лишит нас Господь, которого память да хранит Он в нас,— которого памятью да оградит Он нас от современного развращения. Аминь.

Антоний, епископ волынский.

С этим «Посланием к русскому народу» грозного волынского епископа,— бесполезно сопоставить полученное мною в 1902 году одно любопытное «Исповедание». Из него епископ увидел бы, до какой степени обессилели перуины, которыми он грозит людям; а читатели увидят, до какой степени у «неверов» сохраняется более благодушия и привязанности к человеку, заботы о человеке, нежели у держателей земных и загробных перунов. Автор письма — еврей, тот самый, который в феврале 1877 г. написал Ф. М. Достоевскому письмо в защиту евреев и которое вызвало у Достоевского, в мартовском номере «Дневника писателя», знаменитое рассуждение о еврейском вопросе («Еврейский вопрос», «Pro u contra», «Status in statu» *, «Сорок веков бытия», «Но да здравствует братство!»). У Достоевского приведены и отрывки из «длинного и прекрасного письма» этого еврея, по которым можно судить, что он и в старости («Почему я не верю» писано уже на 61-м году возраста) сохранил ту же манеру суждения, жар его, какую имел в молодости, 25 лет назад. Еврея этого я потом видел один раз (он случайно приезжал в Петербург). Он во 2-й раз женат на русской, сравнительно молодой женщине типа «курсистки», ради которой (т. е. чтобы получить право жениться) принял христианство. Очень (до редкости) семейно счастлив, очень любит русский народ, страшно как и всегда болеет за еврейский народ, подавал, еще при Сипягине, ему и другим министрам «записки» о снятии «черты оседлости». Но как *еврейство*, так и *христианство*, и всякую вообще *религию*, и самую *религиозность* он считает *предрассудком, суеверием и темнотою*. Между прочим, от него я услышал замечательную фразу, сказанную о чиновниках-сослуживцах: «Все они к Рождеству, к Пасхе просят *наградных*, и в году тоже стараются получить *пособия*: а откуда взять русскому народу?? Он нищ. Но самые образованные чиновники точно не понимают, что казначейство и народная котомка — это одно: и народ они жалеют, а себе все-таки просят». Это он ответил на вопрос мой о наградных ли или пособии ему, на что он ответил, что никогда их

* «За и против», «Государство в государстве» (лат.).

не получал и никогда не просил (жалованье его 150 р. в месяц). По воззрениям он — либерал с оттенком радикализма,— «Писарев» еврейства или «Русское Богатство» среди евреев. Вот письмо, при котором он прислал мне тетрадь свою:

В-ка, 31 декабря 1902 г.

Дорогой В. В.!

...Посылаю вам мой этюд: *Почему я не верю?* Не думаю, чтобы вы его могли где-нибудь поместить, хотя бы с целью опровержения... Хотя сам Псалмопевец полемизировал же с *негодяем* (*новол*), который в сердце своем говорил, что «нет Бога». Во всяком случае, я ужасно хотел бы, чтобы вы, по крайней мере, указали мне, в двух-трех строчках, в чем *главная* моя ошибка*,— а что я в чем-то ошибаюсь — это сам отлично *чувствую*. Рукопись предоставляю в полное ваше распоряжение.

Ваш А. К-р.

ПОЧЕМУ Я НЕ ВЕРЮ?

I

В чем сущность веры, религии?

Всякая вера основана на убеждении (или предположении) людей в существовании личного Бога, имеющего связь (*religio*), завет и определенные отношения к человеку, которые вызывают определенные обязанности человека к Богу.

На этой почве выросли: Библия, Веды, Евангелие, Коран и прочие религиозные законы и уставы.

Но существуют ли в действительности эти отношения между Богом и людьми, и должны ли существовать какие-либо обязанности человека к Богу?

Логический и правильный ответ на этот вопрос вытекает из выяснения самого главного вопроса:

Что такое, по нашему представлению, **Бог**?

Убежденные последователи существующих религий Откровения говорят:

— Бог есть живой творец мира и миров, безначальный, бесконечный, всемогущий, всеблагий, вездесущий, всеведующий,— словом, верховное *живое* существо, которое дает жизнь всему существующему и *сознательно* управляет всем на земле, во всей солнечной системе, во всей вселенной, доступной и не доступной человеческому представлению и разуму.

Представители же религий, основанных на философии разума, утверждают, что «сознающего, живого Бога — нет, но, несомненно, существует великая, нам непонятная, мировая Сила, которая бессознательно и неведомо для чего вечно творит и разрушает, которая составляет источник жизни всего существующего, цель и смысл которого нам непостижимы».

О том, что нет никакой причинной и сознательной связи между божеством-Силой и человеком и что не могут быть никакие обязанности у человека к этой

* *Главная* ошибка — в *физическом* представлении вещи *не физической*; еще скажу (и да простит мне автор) — что его ошибка вообще в поверхностности суждений. Применюсь к дочерям Лира: «вот — не Корделия!».. Я не хочу сравнить его ни с Реганой и Гонерильею, а просто он сторонний «батюшке» человек, лишь присутствовавший при драме деления отца с дочерьми...— В. Р-в.

Мировой Силе, кажется, и говорить не стоит. Мы видим, что силы природы: свет, тепло, движение, электричество, разные космические соединения — вечно действуют и творят без всякой сознательной связи с творимым *. Мы знаем, что целые планеты, солнца, солнечные системы зарождаются из космического эфира и исчезают бесследно **. Было бы нелепо думать, что эта Мировая Сила, которой постичь не можем, имеет какие-либо сознательные отношения к человеку-инфузории ***, предъявлять к нему какие-либо требования и что человек-инфузория имеет какие-либо обязанности к этой Силе. Если человеческий разум не допускает больше поклонения (т. е. сознательной связи) солнцу, этому видимому источнику всей жизни всей солнечной системы, признавая, что у этого видимого творца жизни нет никакого сознательного отношения к творимому, — то тем менее можно допустить какую-либо причинную связь между ничтожным атомом, называемым человеком, и величайшею Силой ****, творящей по непостижимым для нас законам самое солнце, все солнца, бесконечную вселенную; тем менее могут быть какие-либо обязанности у бесконечно малого существа, человека, к бесконечно великой творящей и разрушающей Мировой Силе *****.

* Т. е. что есть *последствия*, а *целей* нет. Глубокое и важное возражение. Но откуда *красота* и *смысл* мира, отчего мир не *сумасшедший*, отчего нельзя сказать (даже филологически «язык не гнется»): «мир как с ума сошел: точно горох, который кто-то бросил (сумма причин), но никто не собрал» (цели). Нет, мир — *собранный*, собран — *в систему*: и от этого одного о нем возможны наука, философия, предвидение, как возможно от этого же и *любования* им. — В. Р-в.

** Слишком мал срок истории и возраст науки, чтобы хотя об одной планете или звезде сказать: «Родилась так-то, умерла так-то». Все — гипотезы астрофизики, без единого наблюдения. — В. Р-в.

*** От объема автор заключает к *важности*. Этак рассуждать, то придешь к мысли, что лошадь *важнее* человека, дуб — лошади, скала — дуба, и проч. и что не в Шекспире или Моисее важность, а в племени кафров, пожирающих пленника. — В. Р-в.

**** Автор письма имеет жену и ребенка: в одной $2\frac{3}{4}$ аршина роста, в другом 1 аршин. Итого $3\frac{3}{4}$ арш. человеческого мяса. Ну и что же: он не имеет никакой интимной, любовной и разумной, святой и страшной связи с этими существами, ибо ведь он «не имеет связи даже с целым селом в 1000 человек, через которое проезжает, позвякивая колокольчиком»? Связь имеет с малым и дорогим: и Бог *имеет* же или *может* иметь связь (religio) с человеком, несмотря на его объемистую, вообще физическую, малость, *вследствие бесконечности его души*. Автору надо бы показать *ничтожество, микроскопичность, сор души* человеческой: чтобы на этом фундаменте доказывать, что Богу «не стоило связываться (religio) с человеком». Но он этого не доказал и, по-видимому, даже не хочет показывать. — В. Р-в.

***** Весь этот тезис, вся первая глава, *космологическая* — слаба. Она принимает за *сущность* дела физику, тогда как вся трактуемая область (religio) имеет своею сущностью *нравственную красоту и психическую глубину*. Связь через «religio» часто уподобляется «пиріііі», браку (у пророков в Ветхом Завете, в *Откровении* Иоанна — в Новом Завете). Вот у автора этой его записки есть жена, и мне известно (по другим его письмам), что он именует и чувствует ее «Единственнойю». Я, став на его точку зрения и аргументируя его доказательствами, мог бы с пафосом этой его записки против религии говорить, что она, его положим Анна Павловна, не только не есть «Единственная», — ибо таковой «единственной» и быть не может среди совершенно подобных ей женщин, не хуже ее лицом и душою, даже выше ее ростом и толще объемом (аргументация г. К-а), — но что «ее даже и нет *вовсе* в качестве супруги» г-на К-а, что «он *вовсе не женат*». Автор бы замахал руками, а я стал бы его убеждать: «1) ну, как можно *предпочесть* единственную женщину среди десятков миллионов других во всем ей подобных, а по оценке других людей (других мужей) и лучших? 2) Да и не только предпочесть, а стать к ней в необыкновенно близкое отношение, до бесстыдства голое, до ужаса интимное, до пожертвования за нее жизнью — дороге, когда все другие женщины поставлены им на почтительно далекое расстояние, и он к ним абсолютно холоден и безучастен»? *Религия во всем подобна браку и есть такое же чудо, как он, — и такая же, как он, сущность и очевидность*. Она основана и состоит на *избрании* Богом человека «в союз» (religio) с Собою: и на *открытии* этому дорогому существу, Невесте или Супруге (Апокалипсис, пророки), истин *изумительной* важности, чрезвычайной интимности, для всего остального мироздания оставленных сокрытыми. Да, но для этого надо «уневеститься» Богу:

Но связывающего и обязывающего начала между творцом и творимым немислимо допустить и при предположении о существовании Бога, управляющего вселенною целесообразною волею.

Не говоря о том, что всякая воля, желание, хотение, радость, блаженство, удовлетворение, милость, как свойства ограниченного существа, немислимо у Бога-совершенства, Самоисточника всех сил и всей жизни вселенной,— просто нелепо полагать, что эта всеобъемлющая, живая, всемогущая Сила-Бог, эта всемирная Воля чего-то желает, чего-то требует от ничтожной пылинки-человека, удовлетворена или не удовлетворена мыслями и поступками этого ничтожного творения *.

Если человек не чувствует и не замечает миллиардов инфузорий **, которые он глотает с воздухом, которые живут в его организме и которые он уничтожает миллионами каждым своим движением,— то тем менее мыслимы сознательные отношения всемогущего Божества к инфузории-человеку, копошащемуся ничтожный миг *** в видимом нами мире. Мысль же о том, что Божество направляет жизнь и поступки человека, едва выскочившего из животного состояния и бесследно исчезающего, как пылинка в воздухе; что этому Божеству нужны какие-то обязанности к нему человека,— прямо противоречит и несовместима с понятием о Божестве, как абсолюте и всесовершенстве в самом себе.

Думать же, что этому Творцу вселенной, этому Источнику всех сил нужны жертвы, молитвы, обрезание, крещение, посты, совершение таинств и вообще какие бы то ни были внешние проявления любви, благоговения, повиновения, благодарности, раскаяния и умиления человека,— не только нелепо, но и ко-

истина, особо непостижимая для православных, в Православии, с его духом постничества, сухости и оскпления. Православные *не в силах* мыслить Бога иначе, как скопцом, и себя в отношении Его скопцами же, скопцами и скупцами, суховькими, тощенькими, безобразненькими. И вся «религия» для них есть только план и последовательность «смирительного» воспитания человека Богом. По этой концепции Земля населена была зверьми-людьми; но милостивый Бог-смиритель сжалился над людьми и взамен зеленых лугов и диких лесов устроил им Смирительный Дом — «Esslesiam». Это построение есть план и задача смиряющей, укрощающей Церкви: главный принцип которой есть *страх и покорность*. «Начало премудрости есть страх Божий», а послушание духовенству есть первенствующая добродетель. При наличии этих двух качеств в «верующих», в рабах — «спасение» обеспечено. Но едва рабы заглядывают через забор «спасительного острога», в глубь темных лесов и нескончаемых лугов, как «смирители» приходят в ужас, крича узникам: «Разве вы не слышите, как там воет ветер? Разве вы не знаете, что там бродит хищный зверь? Перепрыгните через забор — и вы будете разорваны, а мы лишимся жалованья». Не эта ли бедная концепция «религии» подняла лафос автора против *существования* ее, которого он вовсе не видит.— В. Р-в.

* Здесь продолжается все та же ошибка о «малом» и «большом», «макрокосме» и «микрососме». Да почему же «совершеннейшему» не радоваться и не скорбеть: разве эти феномены *уничжительны*? Тогда автор будет доказывать, что мухи вечно ревут, а слон прыгает от радости, или что осел волнуется гамлетовскими скорбями, а «несравненно совершеннейший его» Шекспир пребывал в спокойствии сытого осла.— В. Р-в.

** Ну, опять наивности! И ваша жена — «инфузория» в человечестве: а вы *ее одну* любите больше всего остального человечества.— В. Р-в.

*** Взять «микрососме» времени: да ведь иногда *одна минута* или *час* жизни, *день, месяц* важнее всего бессмысленного и бесполезного «хвоста» ее. Ньютон жил 80 лет: а *закон тяготения открыл год, и этот год* был важнее 79 лет!! Есть *святые* минуты даже у народов: Бородино у русских, Саламин и Платея у греков, Синай у евреев. *Краткость* как и *физический объем* суть человеческие категории, и едва ли что значат они в божественном созерцании, где может век быть как секунда и секунда растянуться в век.— В. Р-в.

шунственно с богословской же точки зрения,— ибо при таком предположении выходит, что Божество уже не абсолютное совершенство, а огражденная субстанция *.

III

Но богословы и некоторые философы утверждают, что Божество — несомненно абсолютное совершенство, внешние же признаки любви, повиновения и благоговения человека нужны не Божеству, а самому человеку для достижения последним какого-то высшего идеала; что человек, когда он молится и преклоняется перед Творцом, становится сам лучше, идеальнее и приближается к совершенству творца.

Рассуждение это не имеет разумного основания.

Во-первых, мы не знаем — и не можем знать — ни цели и смысла личной жизни, ни цели и смысла существования всей вселенной,— следовательно, всякое стремление к неведомому идеалу, всякое искание неведомого совершенства, всякая вера, что такие-то и такие-то действия и помыслы приведут нас к намеченной Божеством цели и к неведомому совершенству — не имеют человеческой логики и здравого смысла.

Во-вторых, нелепо и прямо смешно предполагать, что неизвестного и непонятного для нас совершенства можно достигнуть через обрезание, крещение, причастие, созерцание, путем постов и молитв.

В-третьих, разнородность способов достижения, предлагаемых нам представителям разных религий, служит лучшим доказательством, что самого совершенства нет. Евреи утверждают, что совершенство, т. е. приближение к Богу, достигается через обрезание и субботу, христиане — через крещение и совершение таинств, буддисты — через созерцание и отречение, магометане — через посты и молитвы, язычники — через жертвоприношение и дикие обряды,— причем многое, что допускается одной религиею, строго запрещается другою — и наоборот. Так не ясно ли, что если требуемое совершенство так разное понимается представителями разных религий; если к предполагаемому совершенству ведут такие, находящиеся в противоречии между собою пути и поступки,— то нет и самого совершенства **.

* Тут есть *полу-истина*. Мне тоже кажется, что *множественность* и *дробность* всего перечисленного автором — излишня в религии. Человек должен быть только безмерно привязан к Богу, «верен» Ему (именно — как Невеста), не впадая в эту деталь вечных «обнаружений», «манифестаций» и «доказательств» своей любви и верности. А то выходит какая-то «юридичность» отношений «законной супруги», которая после каждой ночи свидетельствуется у нотариуса. Что-то плоское и религии недостойное. Вспомним Эдем, где не было постов и ритуалов, а *близость* к Богу была как никогда потом. Человек должен только вечно *помнить* и *в сердце* чтить Бога: из «обрядов», и то при вдохновении, выбирая лишь кое-что для исполнения, и даже если совсем *ничего* (Эдем) — то и это неважно и не нарушает общности с Богом (Апокалипсис).— В. Р-в.

** Тут кое-что есть правильное и кое-что ложное. Автор уже слишком *бегло* всего касается, пошатнув (как думает) фундамент: но и фундамент цел, и подробности, может быть, тоже имеют в себе разные *интимные* основания, не видные автору. Автор вообще не «супруг» в вере: а не супругу как и объяснить детали семейного отношения? О всем он скажет: «пустое», «пустяки», но мы, пожившись от его порицания, по-вчерашнему приберем дом, устроим постельку, там поставим герань, здесь олеандр, развешаем любимые занавесочки; и словом, устроимся в подробностях тепло и уютно, не придавая им исключительной важности, но помня и думая, что так угодно, *мило, дорого* Небесному Посетителю нашему.— В. Р-в.

Но многие мыслители говорят, что если в человеческой натуре есть стремление к идеалу, если многие вечно ищут его, а некоторые находят полное удовлетворение, даже блаженство, в отречении от всего земного, в воображаемом слиянии с великой Волей, называемой Богом,— то это самое доказывает существование идеала, совершенства и Бога,— ибо к «Ничто» никто не стремился бы, никто не искал, не алкал и не жаждал бы познания его.

Увы! это искание, это стремление к неведомому идеалу не более, как самогипноз.

Психология и психиатрия знают бесчисленные примеры развития в ненормальных * мозгах душевнобольных фантастических представлений, грандиозных планов, поэтических комбинаций, которые не имеют никакой реальной почвы. Если вообще трудно определить точную грань между больной и здоровой мыслью **, то в отношении представления о Божестве, религии, взаимной связи между Божеством и людьми — человеческая логика находится в полном хаосе. Логика эта, правда, с веками оздоравливается; от грубых представлений первобытного человека о фетишах, о многобожии, о загробной жизни она перешла к более утонченным фантазиям, к поэтическим и псевдофилософским объяснениям непонятных человеку явлений. Но последние, в области сверхчувственного, всегда оставались — и останутся — неразрешимыми; и объяснять их фантазиями религий, гипотезами мудрецов и самообманом глупцов столь же бессмысленно, как попытка логически объяснить бредни и фантазии душевнобольных ***.

V

Что у человека, во всяком случае, не может быть никаких обязанностей к Божеству — это вытекает из самой человеческой природы. Человек рождается не по своей воле, все его свойства и склонности, как бы индивидуальны они ни были, составляют продукт эволюции множества предков; он не только раб окружающих условий, но и не свободен в своих помыслах,— следовательно, он не должен отвечать за свои понятия и мысли. Вся природа человека, вся его умственная и душевная деятельность, зависящая, в сущности, от бесконечной цепи причин и условий, направляется, по словам богословов же, высшей Волей, Божеством

* Ну, ведь нельзя же 100 000 000 «верующих» признать с «ненормальными мозгами», и только одного г. К-а с «нормою человеческого мозга». Почему он думает, что не может быть «самогипнозом» атеизм, как и вера? Если браниться и называть другого «дурак», — то неизвестно, *какой же дурак: я ли, которому он это говорит, или он, которому я это говорю.* Это разговор, а не философия.— В. Р-в.

** Ну, не так трудно: здоровое и *ведет последствия здоровые*, а больное влечет *больные последствия*. Люди и целые народы с *ясною и спокойною верою* были и лично и народно здоровымысленны, крепки, добродетельны. Это можно сказать об язычниках, евреях, буддистах, магометанах, христианах. Только нужно выбросить эксцессы религиозные, юродство и уродство. Сократ был верующий, Ньютон тоже, Моисей и Авраам — тоже: неужели они все «психопаты»? А если бы *религиозность*, и притом *всякая* была непременно психопатична: то она на *каждом индивидууме отражалась бы непременно болезненно*, ломала бы его, как лихорадка организм. Но этого нет. И след. религия есть норма, а не отступление от нее.— В. Р-в.

*** Все это — пустыня, на которых не будет настаивать добросовестный автор, пробежав предыдущие мои возражения ему.— В. Р-в.

(«волос не падает» и т. д.). Как же он может отвечать за свои поступки (и помыслы) перед этим Божеством, которое следит за каждым дыханием и движением * человека?

VI

Наконец, если допустить, как утверждают богословы и некоторые философы, что и человеку, и самому Божеству нужно, для неведомых нам целей, познание Бога человеком, исполнение таких-то и таких-то заповедей, такое-то повеление,— то почему это всемогущее и всеблагое божество не внушает человеку полного убеждения в существовании Его, Божества, не указывает настоящего, единственного пути ** к идеалу? Человек, желая, чтобы низшие существа (животные и проч.) его понимали и любили ***, употребляет для этого определенные способы, которыми он, в конце концов, достигает своей цели. Высшая человеческая воля (царь, полководец, мудрец) употребляет прямые, понятные и разумные способы, чтобы люди ее ценили и любили, поклонялись и повиновались ****.

* Может быть, аналогия между женихом и невестою, супругою и мужем,— опять ответит на это. И жена вправе сказать «я — *потомок* своих предков», но не говорит этого мужу и чувствует виновною перед ним, являясь дурною хозяйкой, или лживою, или лукавою, или изменницею. Есть *законы* над человеком, но и есть *свободная* воля в человеке; есть «обстоятельства», горестные, но есть и «идеал», вечно присущий человеку. «Греховная» (как все) девушка, обручаясь жениху, каким-то гигантским порывом точно сбрасывает с себя всю «власть предков» и говорит: «вот — я *твоя, верная, правдивая, любящая*. Любовь к тебе исцелила меня: и со всеми я буду гадкая («первородный грех», слабость), а с тобой и в отношении тебя — только хорошая». Так и все религии. Любовь дает *силы*, религия тоже рождает *новые силы* в человеке: и посмотрите, как в самом деле «возрождаются» народы, принимая «новую религию», т. е. попросту переходя к *вѣре* из фазы *потухнувшей, похолодевшей* прежней веры.— В. Р.-в.

** Было бы слишком машинно, арифметически «верно». А любовь не так достоверна, как $2 \times 2 = 4$, но *слаще* этого. Я думаю, автор не захотел бы выбрать в невесту себе такую девушку, которая лишена *механической* возможности измены, *физической* способности обмана и лжи, которая ему была бы «верна» как доска или сильнее «верно» кучеру, который на нем сидит. *Такую бы он не полюбил*. И Бог не выбрал себе в «связь», «religio» рабского, и даже хуже — механического существа, которому бы «раз указал» то-то и то-то: и он потек бы туда мертво и механично, как вода из опрокинутой бутылки. Зачем *такой* Богу? Избирают свободное и гениальное, «привязываются» к капризному и мучительному. Человек, безверием и пороками, *измучил* Бога; но и умилил Его восторгами, жертвами и любовью. «Такого-то» и нужно было Богу. Вспомнил бы автор, Иаков «боролся с богом» (ночью), Иов — *роптал* на Него: и оба были *любимцами, избранными, драгоценными* Богу. Великая черта религии, «знамение» ее. Но мы, русские, правда, ничего в этом не понимаем, зная и приучаясь лишь к «рабству веры» (вина нашего духовства, едва ли что в религии понимающего).— В. Р.-в.

*** То-то «низшие существа»: вот и проговорился автор. Собаку он *приучает* к покорности, а у жены постарается *возбудить* ее. А не «возбудил» — то примирится, по любви, и с непокорностью. Бог *мучит* человеком (непослушание, пороки) и любит его: и в этом суть религии. Мы оттого и любим восторженно религию, эту «связь» свою с Богом, любим ее не как царство и правительство, но именно как *любовь свою* — что при всех заблуждениях своих, во всяких «забвениях» Бога, все же напоследок видели и видим: вон Он любящий Глаз — опять смотрит на нас с нежностью и бережет, и заботится. Тогда-то мы и кричим «осанна», кричим не Начальнику Небесному, а какой-то этой небесной любви, небесному слинию своему с Творцом миров и человека.— В. Р.-в.

**** Ну, «мудрец» употребляет не такие «прямые» способы, как «полководец и царь»: и от этого Декарта и Ньютона чтут больше, чем Веллингтона и Наполеона. Бог, как *непременное условие* religionis,— взял способы *еще менее прямые*, еще более нежные, гибкие и хрупкие, вовсе исключив «доказательства», арифметику и научность из свидетельства *бытия, могущества и любви* своей. Можно так сказать, что все мироздание *знает научно Бога*, управляемое «прямыми» законами Его, неодолимыми. Но одному человеку Он «открылся» с гибкой и разрушительной для веры стороны, чтобы прибориста его «в любовь», а не «в покорность». И миру Он — Хозяин, а человеку — Жених. Вот тайна.— В. Р.-в.

Если познание, любовь и повиновение человека для чего-то нужны Божеству, то Оно, понятно, имеет для достижения этого более возможности и средств, чем царь, полководец и мудрец. Почему же Оно не делает этого прямо и просто, без всяких мудрствований и чудес? А раз находится хотя бы один человек, который не признает каких бы то ни было обязанностей к Божеству,— то этим самым доказываемся, что Божество не требует * этих обязанностей, что никаких обязанностей и нет. Отвечать же чем бы то ни было — на этом или на том свете — за непризнание и неисполнение обязанностей к Божеству человек, во всяком случае, не должен, так как в этом виновато, если можно так выразиться — само Божество, которое не вложило сознания их в самую природу человека.

VII

Но гордый ум человека, поднимающийся на высочайшие вершины мысли и гения, погружающийся в самые бездонные глубины так называемой души, повелевающий законами природы, создающий чудеса техники, достигающий такого совершенства в области поэзии, искусства, музыки **, не может мириться с мыслью о том, что человек есть продукт минуты, что вся его жизнь есть «дар напрасный, дар случайный», что он исчезает, как мыльный пузырь, и потому он мнит себя частицей какого-то Божества, вместилищем божественной души, будущим небожителем.

Самомнение похвальное, что и говорить; но, к прискорбию, фантастическое и бесцельное. Свойственное избранным натурам, стремление к какому-то высшему идеалу и желание быть в непосредственной связи с божеством столь же непонятно и необъяснимо, как смысл существования земли, солнца, всей вселенной, самого Божества. Никакие мудрецы, никакие умствования не в состоянии уразуметь цель и смысл мирового процесса. Мы видим только явления, но смысл их для нас сокрыт. Понятия о Божестве, который нам дают существующие религии, слишком наивны, чтобы удовлетворить пытливый ум. Гипотеза о существовании сознательного Бога-творца в сущности ничего не объясняет. Закон тяготения — гипотеза, движение земли вокруг своей оси и вокруг солнца — гипотеза, теория эфира — гипотеза, теория света — гипотеза. Но все эти гипотезы все же что-нибудь объясняют; на основании этих гипотез— люди науки открывают законы природы, предсказывают известные явления, которые сбываются. Гипотеза же о существовании Бога-творца, напротив, все спутывает в уме мыслящего человека, ничего логически и разумно не объясняет, ибо, раз нам не дано понять свойства Божества, является примитивный, с первого взгляда — детский, но в сущности самый глубокий и самый проклятый вопрос — кто создал самого Бога?

Приписываемые же Богу свойства менее всего могут объяснить цель и смысл существования всей вселенной, а существующие религии своими сказками и фантазиями о Синае, чудесах, Троице, Голгофе, Воскресении, видениях Магомета и проч., и проч. представляются слишком первобытными и... детскими ***.

* И не «требует», а ждет: что на это скажет К-р? — В. Р.-в.

** А, вот то-то: где же теперь «инфузория», «пылинка», «чепуха и сор», не могущая быть взятою в «союз» с Богом? Нет, автора любит Бог; хоть он и брыкается от «союза». Вель есть и «односторонние» любви; но зачем эта грусть? Бог и без нашей любви к Нему будет нас любить: но для чего эта мука, и не лучше ли «вернуться к Жениху своему» из страствий и ошибок? В. Р.-в.

*** Все это — поверхностно, «наскоро». И мы пропускаем это без возражений. Человек не входит в подробности; зачем мы станем тащить его туда? Пришлось бы от «аза» до «жижицы» писать книгу.— В. Р.-в.

Богословы и мудрецы в конце концов говорят нам: Божество и его пути непостижимы человеческому уму. Ну, и прекрасно. Непостижимы, так непостижимы. Какое же дело человеку к Божеству? Между тем эти же мудрецы и святоши пишут миллионы томов, чтобы объяснить непостижимое *. Какая нелепость!

VIII

Поразительно, что все богословы и философы вовсе не затрагивают вопроса о, так сказать, младенчестве религий Откровения. Казалось бы, что если бы какая-нибудь вера в Божество была истинною, то она должна была существовать, во всей своей истинности и правде, спокон веков **, с колыбели человечества, без всяких изменений и реформ, как ясно для всех существует солнце. Между тем мы видим, что рациональное лютеранство существует всего около 400 лет, магометанство — около 1300 лет, самое христианство — около 1900 лет, иудейство — около 4000 лет, буддизм — столько же. И все считают свою религию истинною, и никто из исповедующих эти религии не задает себе вопроса: почему признаваемая ими *истина* открылась миру тогда-то ***, а не раньше и не позже? Если религии установлены во времени, если все якобы истинные религии так юны в сравнении с человечеством, то не доказывает ли это, что ни одна из них не божественна, а следовательно, ни для кого не обязательна?

IX

Вопрос о бессмертии, т. е. о загробной жизни после смерти, тесно связан с ответственностью человека за свои поступки. В нашу задачу не входит рассмотрение этого вопроса, которого не могут решить окончательно и величайшие мыслители. Я допускаю, что отсутствие причинной связи между человеком и Божеством не исключает возможности человеческого бытия после смерти в какой-нибудь форме. Не имея никаких данных для точного определения этой формы, можно, однако, с полною уверенностью утверждать, что ни одна форма бытия по ту сторону жизни, которую рисуют нам представители той или другой религии, не может считаться истинною. Уже одно то, что конфуцианство, буддизм, еврейство, христианство, магометанство — рисуют разные формы загробной жизни, доказывает, что ни одна из них не истинна, ибо Истина может быть только одна ****. Возможно только логически допустить, что так как ни материя, ни энергия (сила) никогда не уничтожаются, а вечно изменяются и принимают

* Конечно, религия превратилась в «многомотность», и это не из второстепенных причин ее теперешнего упадка. Религия должна быть проста и ясна как цветок, и как он (его жизнь) — тайна. — В. Р.-в.

** Ну, т. е. как истина, что $2 \times 2 = 4$? Такая материя скучна и для Бога и для человека. — В. Р.-в.

*** Почему ваша «единственная» (автор в самом деле так, и никогда иначе, называет жену свою) «открылась вам на 45-м году вашей жизни, а вы не молились на нее сразу и даже с самого рождения? Позволю себе эти аналогии, чтобы короче убедить автора. — В. Р.-в.

**** Автор (всюду) имеет только арифметические представления об «Истине»: 2×2 не 5 и не 3, а *единственно* 4. Но, например, у меня 5 человек детей, и я их всех (действительно) люблю *разно*, не сливая привязанности и любования в одну линию, в одну непрерывную нить!! Напротив, нити — разные, от каждого ребенка идет своя ко мне нить. Припоминая и друзей своих, все «уважаемых», я нахожу, что нет двух из них, к коим я имел бы одно и даже схожее чувство. Чувств — *много*, и все — *разные*, и, однако, все — истинные!!! — В. Р.-в.

новые формы, то и человеческий организм, и действующая в нем сила, вероятно, также принимают после смерти какую-нибудь форму бытия, которой мы не знаем.

Но само собою разумеется, что это неведомое нам новое бытие ни к чему нас не обязывает в осязаемой жизни. Не по нашей воле мы получаем жизнь, не по нашей воле она прекращается (самоубийство в счет не идет), и не от нас зависит продолжение бытия в какой бы то ни было форме после смерти,— следовательно, мы ничего в этом процессе изменить не можем.

Многие мыслители, не допуская, чтобы гениальные люди, поэты, праведники, мудрецы превращались в прах наравне с животными, фантазируют о том, что с прекращением видимой жизни они превратятся в более совершенные организмы, сохраняя при том сознание с земною жизнью.

Подобных иллюзий нельзя окончательно отрицать; подобную мысль можно допустить, как гипотезу; но, повторяю, раз эта новая форма бытия будет продолжаться без нашего согласия, раз мы не можем способствовать ни улучшению, ни изменению ее, бесполезно о ней думать, надеяться, радоваться, сокрушаться. Не наше это дело, не нам о нем заботиться.

Думать же, что от наших молитв и постов, от исполнения тех или других обрядов, от тех или других поступков может измениться цель и смысл нашего бытия после смерти,— это все равно, как если бы муха, залетевшая в вагон курьерского поезда, подумала, что от того, что она сядет на ту или другую точку, зависит быстрота и направление локомотива, везущего поезд.

X

Многие в полном бессилии доказать существование Божества и продолжение сознательной жизни человека после смерти, ссылаются на то, что и в том, и в другом убеждены миллионы людей; поэтому они требуют, чтобы это убеждение было принято всеми как нечто непреложное, без всяких размышлений и философствований.

К счастью, один зрячий видит больше, чем миллион слепорожденных; один взрослый человек в одно мгновение обнимает и обхватывает больше явлений, чем тысяча детей в продолжение года. Мыслящим людям известно, что стадное верование в Божество, в загробную жизнь, в возмездие имеет свое начало в доисторической эпохе, когда люди, едва вышедшие из животного состояния, видели во всякой силе, которой они не могли себе объяснить, Божество: боготворили мертвецов, поили и кормили их и связывали свою жизнь со смертью родителей и родоначальников. Путем эволюции это верование с веками приняло более утонченную форму. Но из дегтя, как его не очищай, душистое вино не выйдет; как ни облагораживай суеверие, оно не может превратиться в откровение и просветление. Умственный мрак никаких утешений дать не может.

XI

Но представляется вопрос громаднейшей важности:

Как жить, какие будут и должны быть отношения между людьми и обязанности людей друг к другу без верования в правящую волю Божества и в продолжение сознательной жизни за гробом?

История культуры нас поучает, что жизнь человека становится легче и удобнее при помощи союзов: семейных, общинных, государственных. Союзы эти возникли и окрепли не во имя Божества и бессмертия, а на почве самосохранения и пользы личности, рода и племени. Еще до появления человека на историческую сцену, подобные союзы выработались среди некоторых групп животных, птиц и насекомых (пчел, муравьев), которые путем эволюции и подбора стали инстинктами. У людей эти союзы не превратились в инстинкты, но с веками они все улучшаются и совершенствуются. С полной уверенностью можно, поэтому, предсказать, что и без всякой идеи о Божестве и бессмертии, которой, конечно, нет у пчел и муравьев *, люди со временем выработают такой *modus vivendi*, такие формы и условия общежития, которые будут основаны исключительно на законах разума и справедливости. Разум же говорит, что если человек, как член общества (союза), желает пользоваться благами, вытекающими из существования последнего, то он должен нести определенные к союзу обязанности, без которых немислим сам союз. Затем с развитием культуры, с накоплением знания и опыта, неизбежно увеличивается сумма благ, которые возможно извлечь из сил окружающей природы, — а с улучшением условий жизни, личность получает высшее развитие и возможно полное удовлетворение потребностям ее физической и умственной природы. Если же обязанности личности к союзам будут основаны на правде и справедливости, то они не потребуют от нее больших жертв, не будут ее стеснять и не уничтожат ее индивидуальные особенности и наклонности.

ХII

По законам разума и справедливости, руководящим принципом поведения человека в союзе должна быть не заповедь: «люби своего ближнего, как самого себя», высказанная Моисеем неоднократно (Левит, гл. 19, ст. 18 и 34) и повторенная Христом, которая не соответствует человеческой природе, а жизненная мудрость, высказанная, как главное правило поведения, еврейским же мудрецом Гиллелем, жившим до Рождества Христова, именно:

Не делай ничего того, что вредно твоему ближнему **.

В это правило, как глубоко определил великий гуманный раввин, укладывается все учение, вся этика, а по-моему — и все социальные принципы человеческого общества. Если А. допустит себя сделать то, что могло бы быть вредно для Б., то он должен согласиться, что и Б. может позволить себе то, что вредно ему, А. Ясно, что при таком порядке немислим никакой разумный прогресс, никакие условия улучшения человеческой жизни.

Что касается положительного добра, в котором люди по своей физической природе и организации так часто нуждаются (каково учреждение больницы, приютов и убежищ для больных, детей, беспомощных) и которое, с первого взгляда, связано с признанием Божества и бессмертия, — то при устройстве

* Это еще вопрос: они «исполняют» Бога, человек Его «ищет» (*закон и любовь*). Тело мое химию не знает, а живет — по химии. Так весь мир «по Богу»: кроме человека, страшного, неизмеримого, «как божество», который один только и смог и сумел как бы оторваться от сотворившего его Солнца, чтобы затем тяготеть к нему порывами гениальными и свободными, — «ангелоподобными». Поезд идет по рельсам, и рельсы «знают» поезд, но поезд не «любит» рельсов. А дорожка лесная и не ждала, что на нее вступлю вот я: а как я люблю ее! — В. Р.-в.

** Я бы сказал: «со всеми благодушествуй». И прибавил: «а козни врагов обращай в комизм».

общества на началах разума и справедливости, оно может осуществиться и без религиозных импульсов *. Во-первых, при *неделании зла* люди менее будут нуждаться в общественной помощи; во-вторых, при лучшем устройстве общества, всякая необходимая членам общества помощь будет организована так разумно, что она не будет в зависимости от побуждения и произвола той или другой личности. Наконец, если будет меньше зла, то потребуются и меньше положительного добра, которое теперь совершается как жертва, и потому оно произвольно и так несущественно.

XIII

Но как устроить, чтобы отдельные личности не имели власти и возможности делать вредное и зло другим личностям? Решение этого вопроса составляет более задачу социологии, чем религии. Последняя в течение тысячелетий ничего почти не сделала для облегчения страданий человечества. Напротив, все религии божиею милостью, в том числе и религия любви и сострадания, христианство,— санкционировали деление людей на касты, рабство во всех его видах, религиозные войны, инквизицию, пытки, казни, неравномерное распределение труда и богатства, беспричинное человеконенавистничество и всякий деспотизм **. Все это зло совершилось и совершается во имя религий, проходит красной ниткой по всей всемирной истории и составляет главную суть. Между тем все освободительные начала, все великие дела, совершающиеся для блага человечества, все попытки сокрушить деспотический строй государств, все гуманные инициативы в пользу трудящихся масс — выросли и развиваются на почве разума и справедливости, помимо бредней религии о Божестве.

* Со всем этим я глубоко согласен. Это Достоевский наклеветал на человека, что «без Бога и веры в загробную жизнь люди начнут пожирать друг друга». Прежде всего, они при «вере» и «в Бога, и в загробную жизнь» жгли друг друга,— что едва ли лучше пожирания; и жгли веками, не индивидуально, а церковно. Но оставим эти старые истории. Для меня совершенно очевидно и из непосредственных фактов мне известно, что люди совершенно не верившие в Бога и в загробную жизнь были людьми в то же время изумительной чистоты жизни, полные любви и ласки к людям, простые, не обидчивые, не завистливые. Мне ужасно грустно сказать,— ибо это есть страшное испытание для всякой веры,— что этих особенно чистых и особенно добрых, правдивых и ласковых людей я встречал почти исключительно среди атеистов. Это до того страшно и непонятно, что я растериваюсь: но должен сказать, что видел. И у этих людей нет никакой меланхолии, так что они «не от грусти добры», напротив — пресветлые. Веселые, здоровые, друг к другу изумительно *внимательные и всемогуществующие*: и без всякой веры «в чох» и «глаз», «рай» и «ад», «Бога» и «душу». Так что, очевидно, социальное строительство может или могло бы произойти вовсе без религии и чувств к Богу. Я думаю, только, что это *индивидуально грустно было бы*. Мне было бы грустно! Я, если бы и один остался верующим на земле — остался бы верующим; и если бы мне сказали, что я «никому не нужен с моею верою», все же я остался бы с нею. Может быть от того, что я худ? Может быть. Но и говоря так, я все-таки подтверждаю, что неверующие люди почему-то лучше верующих. Все это ужасно грустно. Чтобы, однако, не обидеть и верующих, я должен сказать, что и среди их наблюдал людей изумительной отзывчивости, красоты и тишины души: но только это бывало как *личное исключение*, а у неверов это — в *толпе, толпою*.— В. Р-в.

** Вне всякого сомнения, если бы «типично религиозные люди» были «типично добрые», то и «религия» была бы типично «доброю», «благодеющею». Но на самом деле этого никогда не было, и «религия» никогда не возмущалась никаким злом (исключения не в счет), потому что «религиозные люди» всегда были изумительно равнодушны к добру и злу. Типичные примеры: доктор Гааз и митрополит Филарет, папы и ученые. Между тем наука никакой особенной морали не проповедует. Но она оставляет человека «самим собою» (язычником). И человек «сам собою» и растворил (или растворяет) темницы, кормит, поит, лечит, в то же время шутя, забавляясь, веселясь («религиозные» обычно плачут, или «раздумывают о чем-то»).— В. Р-в.

И замечательно, что идеи, основанные на разуме и справедливости, сделали такие, сравнительно, колоссальные успехи в какие-нибудь полтора века, в течение второй половины XVIII и XIX столетий,— тогда как религии на протяжении тысячелетий не только не принесли никакой осязаемой пользы человечеству, но творили и творят положительное зло, порабощая ум и волю человека *.

И если горсточка людей науки и разума, вопреки яростному сопротивлению официальных представителей религий, достигла в короткое время таких полезных результатов в благоустройстве хотя бы рабочих масс, каковы: школа, больницы, эмеритуры, взаимное страхование, сокращение числа рабочих часов,— то вполне можно рассчитывать, что с упразднением религиозных предрассудков и бредней, с расширением знания и опыта, с просветлением умов, сумма положительного добра превзойдет сумму царствующего теперь зла, и что идея справедливости, хотя бы в формуле: «Не делай ничего того, что вредно твоему ближнему»,— сделается регулятором человеческих судеб **.

XIV

Остается сказать еще несколько слов по вопросу о так называемой нравственности, о половых отношениях между людьми при отсутствии нормирующих их религиозных правил.

Если нет Божества, если у человека нет никаких обязанностей к Божеству, не воцарится ли в человеческом обществе полный разврат, от которого последует вырождение человеческого рода?

Не говоря о том, что ни одна религия не уничтожила так называемого разврата, а лишь слегка, едва заметно смягчила его; что некоторые религии, как известно, даже поощряли культ любви: что некоторые религии вызывали в жизнь аскетизм, который, в конце концов, также ведет к вымиранию,— следует уразуметь раз навсегда, что правильные и рациональные половые отношения между людьми могут быть урегулированы не религиозными бреднями и таинствами, а научными законами физиологии и гигиены, а также социологии в широком ее значении.

Несвоевременность половых функций (в незрелом возрасте), их излишества, происходящие от них болезни, истощение человеческого организма, половая неврастения и извращение — все это составляет одну из главнейших задач физиологии и гигиены, но ничуть не религии, как функции питания, которые также допускают всевозможные вредные отклонения,— и которые, однако,

* Все это грустная истина.— В. Р-в.

** Мысли эти (все вообще) «против религии» имеют в себе ту долю правды и очевидности, что религия действительно нуждается в огромном упрощении. Пусть растет «как цветок», у человека и народов; и хоть вовсе не растет у кого и где-то все равно. «Томы» о ней решительно надо выбросить. Но вот *вздыхнет* кто-нибудь; умирая кто-нибудь посмотрит с грустью на закат солнца: «больше его не увижу». И кто-нибудь старым воспоминанием вспомнит слова нашей всеобщей: «видевши *свет вечерний* поем Отцу, Сыну и Святому Духу — Богу». А не вспомнит он этого — пусть и не вспомнит. Будем расти как цветы у Бога. Гиллель все-таки был «верующий», и такой — добрый. Может быть когда-нибудь, через тысячу перерождений и возрождений, мы дождемся же такой меры и веры и добра, что «веровать» и будет значить только «быть добрым», а «всякий добрый» будет и «веровать»,— не уторопленно и напряженно, а ясно и покойно, как «растет» цветок.— В. Р-в.

не нормируются религиозными предписаниями и не составляют предмет «тайнств».

Если и животные, у которых половые функции не регламентируются ни идеею о Божестве, ни законодательством, не вырождаются: то тем менее можно опасаться за свободный рост человечества, тем менее можно допустить вырождение его от свободных половых отношений, при урегулировании их законами физиологии и гигиены.

Что касается возможности, при устранении вмешательства религии в половые отношения, разрушения существующего среди культурного общества семейного начала, а вместе с ним и общественного,— то это уже прямая задача социологии, как и все другие начала этики и взаимные отношения между членами одного и того же союза. Божество тут уже ни при чем.

Поэтому, если прельщаемся мыслью, что при устройстве общества на началах разума и справедливости, жизнь станет радостнее и целесообразнее, то позволено также надеяться, что тогда поведение человека в отношении половых функций будет нормировано тем же принципом, который должен регулировать поведение человека вообще среди членов союза:

Не делай ничего того, что вредно другому.

Резюмирую все вышеизложенное:

1) Существование Божества, как сознательного Творца вселенной и сознательно ею управляющего, ничем не доказано.

2) Мировая сила, все творящая, непонятна и непостижима для нас.

3) Ни Божество, как сознательный Творец вселенной, ни Мировая Сила — не имеют никакой живой, непосредственной связи с человеком.

4) Человек не имеет никаких обязанностей ни к тому, ни к другому Божеству, если бы оно и существовало.

5) Идея о Божестве не врождена человеку, а привита ему средою и воспитанием.

6) Разнородные формы и требования разных религий доказывают, что ни одна из них не истинная, ибо истина только одна.

7) Если бы Божеству для чего бы то ни было нужны были познание, повиновение и любовь к нему человека, то оно вложило бы эти свойства в самую природу человека.

8) Возможное продолжение бытия человека после смерти в какой-нибудь форме ни к чему его не обязывает.

9) Благие отношения между людьми скорее установятся законами разума и справедливости, чем правилами религий.

10) Религии до сего времени санкционировали всякое зло.

11) Крупица добра, встречаемая в обществе людей, есть дело науки и разума, а не религии.

12) Половые отношения должны регулироваться законами физиологии и гигиены, а не правилами религий.

13) Разумное устройство семейного начала есть дело социологии, а не религии.

14) Главное — и единственное — правило поведения человека среди себе подобных:

Не делать ничего того, что вредно другому.

А. К-р.

Везде у автора в рукописи «божество» вместо «Божество». — Уже из замечательного недоумения его (ни от кого из русских я не слышал): «как просить прибавки к жалованью, когда народ так беден?» — видно, что писавший — добрый человек и хороший член всякого возможного «союза» (общества, корпорации, государства). Но и кроме того, кто умеет по *стилю* письма судить о человеке, — увидит, что это — правдивая и ясная душа, «каких дай Бог». Если же эту атеистическую записку сопоставить с злобною речью волынского «владыки» о Страшном Суде, то контраст выйдет поразительным: того очевидно нельзя пустить ни в какой «союз», корпорацию, государство, да он *угрюмо* и сам никуда не войдет иначе, как с условием и целью сесть всем на головы и стать над всеми «владыкою» (так и именуют себя: «мы — владыки»). Вот, может быть, лучшее объяснение и гонимого теперь всюду папства, и наших русских «обер-прокуроров», этой незаметной и вкрадчиво-ласковой формы «со всем этим покончить». Но если папство даже вовсе пропадет, и «владык» не останется иначе как «в ливрее» на запятках государственной кареты: то все же останусь я, мой сосед, кто-нибудь, маленькие, незаметные, кто иначе, чем все, взглянет не великую Божию *тайну* — мир, поймет как неисповедимость — *судьбу* свою, почует какую-то связь межзвездных бездн с своею совестью, как стрелка компаса, «такая крохотная» (возражение К-ра), чует же перемены на поверхности солнца, неизмеримые и в неизмеримой дали; и скажем мы все, братьям и братья: «не хорошо нам теперь одним, грустно, тяжело; мы хороши и Бог, правда, не необходим нам: но оттого именно, что мы хороши и счастливы, допустим ли мысль, чтобы никто не полюбовался нами, не утешился нашим видом, как дети наши играя — не думают, чтобы кто-нибудь за ними следил: и однако мы именно и непрерывно любимся ими. Так и цветы не знают, что человек ими наслаждается: а он — наслаждается однако. И все в мире смотрится друг в друга, все связано, не рабством и господством, но вот этим соединением, *religio, nuptiae*. Соединен и человек с целым миром — супруг его, и сам он — Невеста Бога. Вот корень наук и философии, и корень веры и вер». Папы похолодеют, но *эта* вера — никогда не похолодеет. Скажу последний совет и К-ру: «не делай ничего того, что вредно другому» (Гиллель) — «не делай этого и Богу».

В. Розанов

В «РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ СОБРАНИЯХ» В С.-ПЕТЕРБУРГЕ 1902—1903 гг.

А вы не называйтесь *учителями*: все вы — братья. И *отцом* не называйте никого на земле: Ибо один у вас Отец, Который на небесах.

Матф., XXIII, 8—9.

О священстве и «благодати» священства.— Об основном идеале церкви.— О древних и новых жертвах *

Споры наши, имея темою расхождение Церкви и общества, спустились в очень невысокую сферу взаимных, хоть и не прямых, упреков. При этом мы, интеллигенция, имели поучительный пример со стороны представителей духовенства: от него мы не слышали еще ни одного укора, тогда как сами высказали, с первых же слов несколько. Ход дебатов невольно приобрел публицистическую окраску. «Исправьтесь!» — «Мы постараемся начать верить, а они пусть начнут делать», и — «все окончится благополучно». Между тем стоит так поставить вопрос: да отчего же тысячу лет *духовенство не делало*, и опять же тысячу лет *интеллигенция* была или *скепична*, или *еретична*, — чтобы рассеять наши публицистические надежды и заставить спуститься ниже, глубже. На поставленный здесь тревожный вопрос: «отчего мы разошлись?» в поверхностном слое публицистики вовсе нет никакого ответа, или есть ответы — пустые. Подобно тому, как некоторые запутанные вопросы арифметики, наприм. о непрерывных дробях, находят решение свое только в высшем алгебраическом анализе, так и тема, конечно, публицистическая, о «расхождении интеллигенции и Церкви» имеет решение не в собственной своей сфере, — а в религиозной или, точнее, в философско-религиозной.

Присмотримся к духовенству, вдумаясь, оценим. Не есть ли это личный и живой, ходящий фетишизм. Говоря это, я не укоряю, а определяю. Ибо очевидно каждое духовное лицо, принимая сан, вступает в ячейку, не им приготовленную, и в которой он не может пошевелиться. Итак, укорам здесь нет места. В ризах священник, в эпитрахили, и он же просто в рясе — как бы различное бытие. Он в ризе как бы икона в окладе; без ризы — живопись без отнесения к ней молитвы. От царя до нищего перед священником в эпитрахили мы все безмолвны, безропот-

* Прочитано в 2-м «Рел.-фил. собрании», посвященном обсуждению доклада В. А. Гарнавцева: «Церковь перед великою задачей» (Церковь и русская интеллигенция).

ны, покорны. Нельзя не заметить на литургии, что мы, конечно, молимся святому месту (храма), святой службе в нем, но немножко также молимся и священникам. «Adoratio» * в отношении лица священнического и даже, ослабляясь, всего служащего причта — неизгладимо выгравировано во всем круге церковных служб, их пластике, жестах, словах, взаимообращениях. В архиерейской службе, самой торжественной, это становится уже очевидно, неоспоримо. Самое слово «священник» — «священная вещь», «священное существо», «священный, не касаемый человек». Почему-то одеяние их, именно ризы, получили тот же металлический, золотистый или серебристый отлив, как и оклады на образах: тенденция, невольная и бессознательная, к слиянию — очевидна. Усопший архиерей часто переходит на икону: Святители Николай, Филипп, Алексей, Петр. И, конечно, жизнь и всего духовенства тянется сюда, все они узкою тропею, «тесным путем», идут как бы на алтарную стену. Не доходят, падают, но это все равно: важна верхняя площадка, на которой стоят избранные. В попечении об этом «узком пути Марии» духовенство и забыло мир, широкие пути Марфы, забот, трудов, реальной помощи реальному миру. Священники и особенно черное духовенство суть поклоняемые *dii minimi* **, нижний ярус христианского Олимпа; да это ясно и выражено в словах: «Земные ангелы, небесные человеки». Откуда так все сложилось? Пошло все от *таинства священства*. Уже в первые апостольские времена священники «рукополагаются» (Деян. 14, 23: «рукоположив пресвитеры в каждой церкви»). Какое это имело значение? И Авраам, посылая слугу отыскать жену Исааку, и другие ветхозаветные лица, посылая слугу или сына на какое-нибудь дело, возлагали руки им на голову. Так же сделал Иаков, благословляя детей. Это знак *отечества* рукополагающего; знак *учительства*, жеста *заботы*, *повеления*, *поручения*. Но «посланный», «получивший поручение», «учитель» еще не суть «священники». В веках установилось и развилось понятие об особой «благодати священства». И вот тут, мне кажется, произошло в истории одно странное и мучительное обстоятельство.

Когда древний закон был разрушен ап. Павлом, как «не нужный для спасения» (*К Галатам*: — «а если законом оправдание, то Христос напрасно умер»), а *jus sanonicum* еще не родилось, то в эту пору, так сказать, «междущарствия» двух законов для человечества, которому нужно же было чем-нибудь руководствоваться в подробностях жизни, создано было понятие и чувство «благодати», как какого-то *вне* законного, *поверх* законного веяния. «Благодатью спасаемся», дан был им лозунг, плачущим, что Синай скрывается под водою, тонет в волнах небытия; — и обрезание, и субботы, о коих Бог сказал: «Даю вам это в закон вечный». Из таких выражений, как, напр., во 2 послании Иоанна: «Да будет с вами *благодать*, милость, мир», или «*благодать* вам и мир

* «Поклонение» (*лат.*).

** малые боги (*лат.*).

от Бога-Отца» (1 Коринф.), и множества подобных, видно, что благодать представляет высшую степень человеческо-божеской духовности, какого-то веяния, реяния с небес на землю, или восторгов человеческого сердца, — без всякой принадлежности кому-нибудь, без всякой специализации, без всякой классификации. Теперь, что же совершилось далее? «Благодать сердца», неуловимая и не материализуемая, как и «мир сердца» в приведенных выше выражениях, стала какой-то уловляемой, помещаемой, перемещаемой, делимой и классифицируемой духовной эссенцией, несомненно пространственно-ограниченного значения. И, кажется, это возникло в момент сложения новозаветного закона, когда спасительный лозунг «благодать» просто перестал быть нужен и даже стал опасен, как характерное врезаконное и поверхзаконное «веяние в сердце». Стала благодать «братся» и «даваться»; и поделилась иерархически; и в то же время полог благодати, некоей природной святости, врожденного богообщения, был сдернут с мира. Мир стал гол, светск, нищ, безблагодатен; зато священство и, вообще, иерархия стала утроенно благодатна; притом так материально благодатна, что глагол Предтечи: «*покайтесь*, ибо приблизилось царствие Божие» — замолк для него, замолк от Пиренеев до Вятки.

Лично духовенство, я думаю, прекрасно. Но именно в золотящихся одеждах оно, иконообразное — ужасно, потому что непоправимо, неисправимо, нераскаянно. Я не преувеличиваю чувства и идеи греха, но без нее слабому человеку трудно бы прожить. Согрешил — и стараешься добрым маленьким дельцем поправить занозу в сердце. Я видал студентов кающихся, гимназистов, чиновников, сказывающих вины свои друг перед другом. Все мы знаем, как черною полосой проходит четвертая и седьмая недели Великого поста для мирян: они каются, и это видно, заметно в обществе, это маленький духовный траур в стране. Совесть очевидно растревожена. Но видал ли кто и заметно ли вообще покаяние духовенства? Нельзя не обратить внимание, что это таинство как бы ослаблено для них, стало не чувствительно, разрежено *. Теперь сейчас вы поймете, как это важно: светская литература полна самобичевания; но возьмите духовные журналы: это сплошное счастье и самоуверенность, самодовольство. Таким образом, духовенство почти потеряло в укорах совести жгучий момент к подвигу, о недостатке коего здесь в собраниях говорилось: оно не побежало к голодающим, оно

* Лично я — не за «таинство исповедания», в его ритуальных формах, в какое мало-помалу превратилось, или, точнее, духовенством же *переработано* было всемирночеловеческое — и прекрасное, и необходимое — чувство *раскаяния*, чувство *угрызений* совести, муки, темноты, скорби. В этом «переработанном» виде оно потеряло и остроту, и цветок в себе. Все стало слишком механично, просто и «уже заранее известно, что будет отпущено» вот, положим, к 11-ти часам ночи этого дня (когда кончается исповедь). У нас ведь те же «индульгенции», только дешевле католических. Оставим полемику. Но дело в том, что когда у духовенства ослабилась в значимости и впечатлении «таинство исповедания», то несколько не вернулось общечеловеческое и натуральное раскаяние, ибо все-таки форма и процедура «покаяния» сохранилась и у них. Но без «рыданий» и «биений в грудь», что у мирян все-таки хоть иногда бывает.

не предстательствовало пред Грозным, не волновалось от Аракчеева; не торопилось учить детей в школах. Греки называли богов «блаженными», οἱ μακαρεῖς; вот такие «счастливые боги» суть эти «земные ангелы, небесные человеки», «священники», «святые существа», и, словом, весь чин духовенства в эпитрахили. В рясе он — *друг; человек, ученый*, в душе — иногда *поэт*, часто — *гражданин*. Но он надел ризу, теперь вы к нему не достучитесь, теперь умерло его сердце и умер его ум.

Как только благодать материализовалась и распределилась между духовенством, мир стал рабом его, от царя до нищего. От Матвей Ржевский говорит Гоголю: «не подходишь под мое благословение, бегаешь *благодати*». Благодать ему представляется электричеством, струящимся с его рук — как с иголки громоотвода. Гоголь пусть и гений, но все же человек, а от Матвей, каков бы он ни был лично — по простой способности каждый день надеть эпитрахиль и идти по «узкому пути», на алтарную стену, в киот, под ризу — вовсе не человек, а некоторая божественная вещь, божественное существо. У него ни тоски, ни горя; θεοὶ μακαρεῖς, «блаженные боги». Наука, жизнь, труд, заслуга, гений — все померкло, понизилось перед «возложением рук», непосредственно от апостолов до от Матвея: то «возложение», которое, кажется, первоначально имело характер просто доброты и заботы посылающего о посылаемом. Сколько праведников, как Бруно, погибло от духовенства, на сколько праведных дел, событий, жизни — прямо плюнуто с «узкого пути Марии» (мученичество, инквизиция, у нас — сектанство). Странно: семьдесят толстовцев и полторы тысячи пашковцев заставило духовенство «разодрать ризы на себе». Но вот нарисуйте картинно, ярко, как жгли Джордано Бруно: ни Боссюэт, ни пастор Штекер, ни В. М. Скворцов не посыплют пеплом головы от зрелища. И до сих пор католичество ведь нисколько не раскаялось в инквизиции; Восточная Церковь не раскаялась, что около V—VI вв. почти повально вырезывались жида за печать Ветхого Завета на себе. И когда спрашиваешь себя: «да как на это все духу хватало?» — то и находишь ответ в этом преобразовании учения о благодати: перед «богами» все человеческое — ничто, и гений, и заслуга, и жизнь. В то же время христианское человечество, как-то лишенное *доли собственности* в благодати, подпало или, точнее, подведено было духовенством под «иго закона» гораздо жестче, неумолимее и мелочнее, чем под каким стояло, до «искупления», ветхозаветное человечество. Духовенство подвело людей под «иго» своих специальных, «духовных» законов — активно: а пассивно оно же подвело их под ужасное «иго» через допущение государству издавать для «стада» какие угодно законы. В этом стаде, у каждой овцы, у нас, отнято всякое внутреннее сопротивление, всякий упор, твердость — против внешнего давления. Твердость — *правая*, упорство — *святое*, которое опиралось бы на листочек общего венца: благодати, *всему человечеству данной*. Это бессильное и бесправное стадо, со сломанными у него

костями (отнята точка упора), естественно, повело себя нервно, патологично, немощно и буйно, повело как санкюлот. Идея царственного достоинства, священства «по чину Мельхиседекову» (вне иерархического порядка, чьего-либо назначения), откуда в Ветхом Завете и родилось пророчество, — эта благороднейшая и замечательная идея была снята с человечества: и угасло пророчество. Осталась только публицистика, мелкая, сорная, блеклая. Но, хоть и по-мещански, общество все же делает добросовестно свою грубую работу. Тогда как его «старший брат», духовенство, и не пророчествует, и не делает, а только, ссылаясь на «благодать Христову», зажимает нос от пороков младшего брата. И обвиняет, упорнее всего обвиняет его перед Отцом своим, «богом *щедрот*», как мы продолжаем и будем верить.

И, повторяю и кончаю: я далек от того, чтобы порицать, а призываю только слушателей к историческому рассмотрению.

* * *

Сверх этого, обратим внимание на основной идеал Церкви и основной мотив жизни в ней, — и придвинем к этому идеалу и мотиву те реальные факторы, которыми живет живое общество.

Церковь есть поклонение *прошлому* — вот основной факт и коренной дух ее, который произвел разрыв между нею и интеллигенцией, представительницею и выразительницею *настоящего* и, особенно, *будущего*. Нельзя не заметить, что *глубочайшими* своими принципами Церковь неумолимо, гневно и, наконец, мстительно разошлась с *глубочайшими* же принципами интеллигенции. Ей противен не только факт интеллигенции, но самый *дух* ее, дух *недовольства*, дух *движения* и *искания*, дух сомнения относительно настоящего и лучших надежд в будущем. *День* церкви — прошел: это Христос, это — святые; окрест себя и особенно впереди себя она видит только *Ночь*, которой не умеет сочувствовать, с которою не может не бороться. Отсюда разум она называет «лжеименным» (излюбленное слово), искусство — развращающим; прогресс — «бесовским», языческим явлением. Церковь есть поклонение гробам. Оттуда смотрят ее великие авторитеты: во главе всех — Христос в гробу, «плащаница» коего так поклоняема; окрест Его — мощи, благоухающие из раков. Ничто из бытия Христа не взято в такой великий и постоянный символ, как смерть. Уподобиться мощам, перестать вовсе жить, двигаться, дышать, в особенности — волноваться, есть общий и великий идеал Церкви. Всякое волнение — «от Лукавого». А прогресс есть волнение, а цивилизация есть движение. Поверхностно, на минуту, ради любезности между духовенством и интеллигенцией как будто есть мир, согласие, взаимопонимание; но это мир и любезность двух смертельно разошедшихся врагов: нечто вроде «трубки мира», выкуриваемой вождями индейских племен, из которых мысленно каждый снимает скальпель с другого. Кто же не знает, что занимающийся или следящий за «прогрессом» священник есть изменивший своему

знамени, своей «хоругви» и своему стану человек, а богомольный ученый есть «святоша», «ханжа» — лицо антипатичное и гонимое в обществе.

Из «житий» и из картин мы знаем, что чистый тип святого есть сидящий в своей пещере, безмолвный человек, смотрящий в гроб; а чистый интеллигент — это Эдисон, забавляющий нас своими штуками, по правде сказать — довольно презренными, но кое-кому нужными, или Фултон и Стефенсон, изобретатели парохода и локомотива. Вспомнил смерть — и стал христианином; забыл о смерти — и выпорхнул в интеллигенцию. Но что же значит это ужасное явление, как не то, что сущность Церкви и даже Христианства определилась как поклонение смерти, как трепет и ужас, а вместе и тайное влечение к Смерти-Богу; тогда как интеллигенция сонмов «богов» своих имеет классифицированную жизнь. Возьмите живопись церковную, возьмите музыку церковную: страстное начало, живое, движущееся до такой степени устранено из них, что нарисованы, собственно, мощи с открытыми глазами, а поют — точно лики усопших из драгоценных рак. Ни одна фигура на образе церковном — не идет. Все — стоят. Почему? Разве святые не ходили? Да, но это было в них недостаток, они должны были лежать, и собственно на иконах они представлены лежащими, и только как бы приподнятыми от спинки, поставленными для поклонения. Все святые имели молодость; но они все представлены старыми, предсмертно. Предсмертно — это *свято*; живуче — *грешно*. Жизнь есть грех, смерть есть святость: как при этом было интеллигенции и Церкви не разорваться, не опротиворечиться, как тетива и лук, а стрела этого — в сердце нашем, в душе каждого здесь священника, каждого здесь интеллигента. Мы пришли «мириться»... Будто бы? Мы пришли позвать друг друга с его «вышки», оторвать от его идеала. Священники ждут, насколько мы можем отречься от науки, искусства, прогресса; интеллигенция ждет, насколько духовенство может «отрясти прах от ног своих», — прах святой, прах недвижимый; точно бессмертный в веках, в бытии, и вместе столь смертный, «умерщвляющий» дыханием.

* * *

Кроме этих частных, *внутри*-христианских причин смущающего нас явления, есть и *вне*христианская, мировая. Ведь о чем мы тоскуем? О *нереальности* христианства. Об этом *все* плачи, в целой Европе. Человек бы должен *бежать* к Богу, а миссионеры, инквизиция, католическая «De propaganda fide», Боссюэт и Штекер явно *ухаживают* за «неверными», прямо — волочатся за публикой. Явление и комичное и страшное. Волокитство верующего за неверующим есть *общий* факт целой Европы, и притом начиная с Тертуллиана. А евреи, например, прямо не пускают в свою веру, грозят, пугают: и все же «от Израиля быть спасение» и Библию никому не нужно навязывать, ее иллюстрирует. Доре, изучает невер Ренан, все ее чтут, о ней плачут,

и с изумлением мы формулируем — «боговдохновенно» о страницах истории, повелениях закона, о повествовательных рассказах (Руфь и Товия).

Европа не «боговдохновенна». От того и нужно всякого недоверка ловить лесою Петра. Отсюда «De propaganda fide» и даже отчасти, пожалуй, наши собрания. Что за факт?

Да есть ли *реализм, реальность, реалистический момент* в самом христианстве? Возьмите картину. Один и тот же ее узор можно начертать *карандашом, чернилами, акварелью, масляными красками*. Мне думается, христианство есть истина, начертанная карандашом, и самое большее — акварелью, а ни в каком случае не масляною краскою. Опять, значит, истина *остаётся* истиною, я ее *не оспариваю*; а указую только на отсутствие налитости *кровью и соком*. *Бескровное* и *бессочное* — вот что такое наши религиозные понятия. Даже дико сказать: «*понятия*». Почему религия должна быть *понятием*, а не фактом? Книга «*Бытия*», а не книга «*рассуждения*» — так началось ветхое богословие. «*Вначале бе Слово*» — так началось богословие новое. *Слово* и разошлось с *бытием*, «слово» — у духовенства, а *бытие* — у общества; и «слово» это бескровно, а бытие это не божественно. Но, повторяем, где же корень этого расхождения?

Перемена жертв. Как часто и любовно мы повторяем изречение псалма: «*жертва Богу, — дух сокрушен, сердца уничтоженного* Бог не уничтожит». Но отчего *это* слово Давида нам так понравилось, а разные слова других мест Писания о «принесении жертвы Богу в *сладкое благоухание*» — мы не помним, пренебрегли ими. Я читал у Златоуста о древних жертвах: «конечно — не надо, конечно — гадость, потому что воняет этот убитый скот». Он только и понял, что дурной запах от древних жертв. Но ведь кровь есть не запах, кровь есть *мистицизм* и *факт*. Златоуст даже не вспомнил слов Писания: «кровь (животного) — не проливай, а закапывай в землю: ибо *в крови — душа животного*». Златоуст уже ничего не понимает в жертвах, и с новых точек зрения долбит слушателям: «жертва Богу — дух сокрушен». И сокрушились мы «в духе», т. е. пали, разрушились, потеряв *кровный, родной* путь к Богу в таинственных древних жертвах. Настали бескровные жертвы, водянистые, риторические; мы будто бы «сокрушены в сердцах», а на самом деле обдělываем свои делишки. Просто — мы не делаем *сладкого Богу*, и Бог *нас забыл*, а Европа потеряла *Богоощущение*, оставшись при одном *Богопонятии*. Отсюда потекла атеистическая наука, атеистическое искусство; отсюда же — полемика духовенства и печальные «волокичества». Европа в религиозном отношении просто являет отвратительное зрелище, и я уже в Тертуллиане-риторе чую носом первого стилиста прошлого века, Ренана-историка. Все они одной категории: или риторы, или политики. И ни у кого из новых, а у древнего Давида вырвался глагол: «жертва Богу — дух сокрушен» и проч., ибо около таинственных-то

древних жертв вспыхнул и фосфор веры, молитвы, пения, музыки сердечной.

Повторяю и формулирую: кровь есть *жизнь*, кровь есть *растущий* факт, кровь есть *источник сил* и *сильного*. Религия, взявшая кровь в нить соединения своего с Богом,— и была *жизненна*, *растуща* и *реальна*.

А вода — она и есть вода. И все наши религиозные представления и чувства, и слова, и усилия — водянисты. Думая о перемене жертв в древнем и новом мире, я невольно обращаюсь к «изгнанию торгующих из храма»,— сцена, которую мы так слабо понимаем. Не было ли это иносказательным «не нужно» против установленных в Ветхом Завете жертв? Но в таком случае отчего Иисус прямо и вразумительно для людей не сказал, что ветхие и кровные и животные жертвы Он отменяет по праву *Бога* же: ибо те были даны и указаны ведь *Богом*? Почему сцена вся названа и описывается в учебниках как «изгнание *торгующих* из храма», с ударением на «торг», с обвинением в торге, и как будто с умолчанием о жертве животной. Тут, в наших учебниках, содержится порицание: «они *торговали* в храме, брали *деньги*», как будто у нас за восковые свечи в пределах храма не берутся тоже деньги. И как же бы не брать деньги, если торговать? А когда исчезнет торг — не будет и *товара*, т. е. жертв. Явно, что «изгнание торгующих» было, собственно, отменой древних жертв и приказанием убрать из «места Божия» голубочков, овец, козленочков: всякой *твари* Божией, всего *универсализма* Божия, и *тепленькой*, *родной* лесенки с земли на Небо. Жертву и от Авеля Бог принял; принял овна от Авраама; Моисею предписал, прямо предписал и именно Сам Бог — обширный ритуал жертвоприношений. Насколько это подробнее, длиннее, настойчивее дано, чем «десятисловие» (10 заповедей). И если мы жертвы отменили, то кто меня заставит исполнять: «не убий», «чти родителей», «не прелюбодействуй»? Да я и не хочу слушаться тех, кто отменил *более сего*. Это я говорю на тот случай, если не Иисус, а *мы сами* отменили древние жертвы. Если же Иисус их отменил, то непостижимо: для чего Он не сказал этого *прямо*? Это бы важнее знать и более было бы понятно человечеству, в смысле «новой эры», нежели знать которую-нибудь из множества *притчей*, ничего особенно нового, никакой «эры» не обещающих и не начинающих.

Так вот в чем дело: *теизм* наш — не *реален*. И если Бог есть *Существо* и притом *Реальное*, а не одно «наше понятие» религиозное: то мы потеряли реалистическое к нему отношение. Кстати: если Бог не есть Существо, физически *зрящее* и физически *обоняющее*, то для кого в церквях мы жжем *свечи* и *ладан*? Для *себя*? Себе угождаем? Ибо, очевидно, «Богу-Духу» ни света, ни запахов (ладана) не нужно. Между тем погасите в церкви свечи и лампы и загасите курильницы: как глубоко померкнет храм! А и свечи, и ладан — явный *остаток*, уже бессмысленный у нас, древнего, реальнокровного теизма.

Об отлучении гр. Л. Толстого от церкви *

Акт Синода относительно Толстого я считаю невозможным теоретически, а потому и в действительности как бы не состоявшимся вовсе. Это по следующим причинам. «*Similia similibus expelitur*» («подобное подобным изгоняется») — равно в органической и духовной природе. Нельзя алгебру опровергать стихами Пушкина, а стихи Пушкина нельзя критиковать алгебраически.— Синод может быть святым и, вероятно, *праведен* по личностям, его составляющим: но нужно же всмотреться во все его учреждение, в рождение его и историю, в механизм его устройства в смысле вызова епископов заседающих и в самый процесс заседания, и, наконец, в постоянные двухвековые темы его суждений, чтобы понять, что это есть строгое, точное, так сказать, алгебраическое учреждение, без всякой собственной души в нем, волнения, совести, свободы,— непременных элементов религиозности. Синод не есть религиозное учреждение, почти не есть, очень мало есть. И не имеет ни традиций, ни форм, никаких способов религиозно судить. Отсюда прозаичность бумажки о Толстом, им выпущенной: Синод не умеет религиозно говорить. Митрополит Антоний в ответном письме графине Толстой не назвал Синод «Святейшим», что тогда же меня поразило, как правда, как пример невозможности употребить сей эпитет в языке неофициальном, серьезном, частном, сердечном. Синод, не говоря о лицах, а говоря об учреждении, не имеет сердца и вообще никаких признаков личного и живого свободного существа. А Бог — личен, жив, свободен — и от Бога и именем Божиим что-нибудь сказать Синод просто не может, не умеет, не имеет формы по отсутствию в самом нем «образа и подобия Божия». Между тем Толстой при полной наличности ужасных и преступных его заблуждений, ошибок и дерзких слов, есть огромное *религиозное* явление, может быть,— величайший феномен религиозной русской истории за 19 век, хотя и искаженный. Но дуб, криво выросший, есть дуб, и не его судить механически-формальному учреждению, которое никак не выросло, а сделано человеческими руками (Петр Великий с серией последующих распоряжений). Посему Синод явно не умеет подойти к данной теме, долго остерегался подойти; и сделал, может быть, роковой для русского религиозного сознания шаг — подойдя. Акт этот потряс веру русскую более, чем учения Толстого. «А, так вот *в чем наша вера*»,— могли воскликнуть русские в параллель толстовской «*В чем моя вера*». Там, у Толстого,— тоска, мучения, годы размышлений, Иово страдание, Иова буря против Бога. Даже бесы видели Иисуса и трепетали, но Синод вовсе не видел никакого Иисуса и похож на рожденных до Христа: ни мучений, ни слез, ничего, а только способность написать «бумагу», какую мог бы по стилю и содержанию написать каждый

* Прочитано в 3-м Рел.-фил. собр.

учитель семинарии или гимназии. Толстой — как бес перед Иисусом (допустим), но поступок Синода просто есть решение византийского или римского юрисконсульта, до рождения Христа высказанное: до такой степени в характере и методе и то не его не отражается ничего христианского.

Толстой написал: «Чем люди живы». Он как бы видел Ангела у мужика; я настаиваю на слове «видел»: густота размышлений уплотнилась до осязательности этого образа. Скажите: какие «видения» видел когда-либо Синод? Никаких. Покажите мне «знамения» Синода — ибо верующие требуют «знамений», когда философы спрашивают «доказательств». У Синода есть доказательства, а вот «знамений» — нет; и он в одной части есть административное учреждение, а в другой — философская академия, без всякого «помазания». Вот, в самом деле, еще термин: каждый из членов Синода — помазан, но ведь не *каждый* отдельный член Синода судил Толстого от себя и за себя, а судило учреждение, которое ни на коллективные суждения, ни на коллективные решения помазания не имеет.

Все это чувствовали и все остались холодны к решению, безотчетно чувствуя, что в нем нет ни святости, ни религиозности, а исключительно светскость, мирской характер.

Это — мирское дело, только совершенное не мирянами.

1902

Р. С. Толстого могла бы осудить, «отлучить от Церкви» толпа закричавших мужиков, баб,— веру и даже «суеверия» которых он оскорбил. Пусть и «суеверия», но под ними века, кровь, и умиление. Я хочу сказать, что «отлучение» понимаю и даже допускаю (ведь отлучение — «от *себя*» только, от верующих, без универсального тезиса): но нужны эти воспламененные лица, горячо дышущие груди, поднятые руки, загоревшиеся глаза. Нужно «с кровью» оторвать такое явление, такого человека от своей груди, от народной груди; а вот «крови»-то мы и не видели, а только бумагу и номер. Это кошунство, а не серьезный факт; и менее всего — факт «церковной жизни». Отлучение было *а*-экклезиастично, *вне*церковно.

1902—1906

Об адогматизме христианства

Есть догматы, и мы о них спорили, допуская или не допуская их приращение. Но есть еще *догматизм*, как такое устройство ума, связанное с надеждами сердца, из которого произрастают самые догматы, как из вдохновения произрастает поэзия. Вот об этом-то «вдохновении Церкви» от IV и приблизительно до VII века, когда было построено догматическое христианство, я и хочу здесь говорить.

Евангелие нечто утратило бы в себе,— и утратило бы *существенное*, в чем и открылся людям его небесный характер,— если бы мы исключили из него те несколько слов Спасителя, где Он начертал целостный образ угодного Ему человека, дал фигуру ученика своего, «верного» Своего: — «Взгляните на лилии полевые: они не имеют одежд, но истинно говорю вам, что и Соломон не был прекраснее их в убранствах своих; взгляните на птиц небесных, которые не сеют, не жнут,— и Отец Небесный питает их». В 33 года жизни Спасителя воздушные облачные сферы как бы свисли над землей, и небо и земля коснулись друг друга осязательно, непосредственно. Но не удовольствовался человек этим. Ему захотелось «одежд». Он вознамерился стать несравненно красивее этих евангельских лилий, рыбаков Петра и Андрея, Нафанаила и Иоанна; и вот, как Адам, не послушавшийся Господа, начал шить себе одежды, так, не послушавшись предостережения Спасителя о лилиях и птицах, христиане начали шить полотно догматов между IV-м и VII-м веками. На место Галилейских рыбаков выступили так называемые «учители церквей»: Петр и Андрей сменились Оригеном и Климентами. Ни один из представителей Церкви не отвергает, что за *золотым* веком христианства наступил по крайней мере *серебряный*, а я думаю — и меньше, хуже.

Растительное христианство начало преобращаться в *каменное*; по-видимому,— *более твердое*, но — *не живое*. Свеаборг хорош, не спорю, но ни финский художник не срисует с него картин, ни птица гнезда не совет в нем и не выведет детенышей. Работу *догматическую* над своим устройством я называю *саморазрушением* христианства и проистекшим из какого-то не то отчаяния о Боге, не то из простого уличного легкомыслия. На базарах Византии торговки и торговцы заспорили об «единосущии» или «единокачественности» Отца и Сына. К чему? Я думаю, это было уличное легкомыслие! Но когда эти же споры внеслись под своды императорских дворцов и в них приняли участие так называемые «учители церкви», я не могу назвать это иначе как отчаянием о Боге. В словах проф. Лепорского * о догмате я нахожу признание ненужности вообще догмата. Во-первых, он сказал, что догмат «*непостижим*»; во-вторых, он сказал, что догмат «*уже содержится в Евангелии*». Позвольте, что же это такое, зачем же великолепное слово Евангелия переделывать в сравнительно гнилое слово догматики? Ибо, кажется, весь мир признал, что чудеснее Евангелия, во-первых, *по простоте* и, во-вторых, *по мудрости* — не появлялось ничего. Из слов профессора догматики Лепорского я заключаю, что Вселенские Соборы занимались гнилым делом переделки простого в непростое и мудрого, может быть, в не очень мудрое. Лилию полевую, с цветочками, с листочками, срезали, размочили в воде

* Профессор догматического богословия в С.-Петербургской Дух. Академии, только что перед этим говоривший о догматах: что они никогда ничего *нового* не вносили в учение Церкви и что самый предмет их — вовсе непостижим.

плохого красноречия и ссучили из него веревку, на которой можно только удавиться. Я говорю, — тут прошло отчаяние о Боге и легкомыслие относительно Евангелия. Возьмите «учение о Троице». В Евангелии это — чудные речи Спасителя об «Отце Небесном» и речи Самого Отца Небесного: «Сей есть Сын мой Возлюбленный: Его послушайте». И в виде голубя Дух Св. сходит на крестящегося Спасителя. Все картина! Все умиление! И вот умиленные земные травки склоняются перед Небесной Лилией, в простоте грядущей на ослице: «Осанна Сыну Давидову! благословен Грядый во имя Господне!» — Я говорю — небо и земля касались осязательно. Теперь, что же сделано было потом, по кафедре догматического богословия, так сказать, «в снедь» профессору Лепорскому? Из всего этого человеческого умиления, и слез и картин, из неясного и бесконечного богатства евангельских слов выстрогали логическим рубанком доску: «Бог есть Дух поклоняемый во Св. Троице». Да позвольте, для чего мне это знать «как догмат», когда я это читаю в Евангелии: но там я читаю это *в богатстве таких подробностей*, в таких *тенях и полутенях*, в звуках такой *нежности* Сына к Отцу, *любви* Отца к Сыну, такой живой и *органической* между Ними связи, от которой в доскообразном «догмате» ничего не сохранилось. Ведь это все равно, что вместо Пушкина читать какое-то рассуждение Скабичевского о Пушкине: одно и то же, но только хуже, бледнее, в нищенском безобразии. Иногда поднимется вопрос или слышатся намеки на какую-то реформу Церкви: нет для этого более надежного и краткого средства, как закрыть в академиях и семинариях две кафедры, догматического богословия и канонического права, а книги по наукам этим поместить в список «неразрешенных к чтению». Это значит сразу закрыть для публики сотни Скабичевских и открыть ей Пушкина; в отношении к христианству — это значит начать вдыхать «душу живу» в красную глину, из которой слеппен, ожил было и снова умер — «во грехах» — Адам христианства.

Во Вселенских Соборах, их догматизировании, их применении логического начала к нежному и неизъяснимому евангельскому изложению, — и превзошло смертное начало, «неодушевленная глина» к юному телу первозданного христианства. Как было не поразиться тем, что *Сам* Спаситель, за исключением минуты в храме наедине с грешницею, *ни разу* не взял *пера* и не написал ни одного слова. Ведь догмат — нечто каменное, твердое. И ни одного такого каменного, недвижимого догмата Спаситель не оставил людям. «Идите ко Мне, человецы: Я научу вас догматическому богословию», — такого слова не сказал Спаситель людям, а если бы такое безобразное слово поместить в Евангелие, то страница с этим словом вдруг потухла бы, перестала бы светить привычным нам небесным смыслом. Поэтому, когда проф. Лепорский, заглядывая в коридор академии, говорит: «студенты, идите — я буду преподавать вам догматическое богословие», то он последует во всяком случае не Спасителю, а скорее всего Скабичевскому.

Итак, Спаситель не дал *догмата*, самого *духа* его, этой «таблицы умножения» религиозных истин. Но и вот еще доказательство *адогматизма*, так сказать, *души христианской*. Ведь христианство в глубине его, в чарующих его особенностях создано уже никак не умами от Оригена до Лепорского, труды которых знают только академики, а оно вышло все из *народных* вздохов, народного умиления к Богу, из таких молитв, как Херувимская, из таких житий преподобных «авв», трогательные примеры которых, например, разбросаны в «Луге духовном» Иоанна Мосха. Жили в пещерах, в кельях на далеких расстояниях эти «аввы»; и изредка перекидывались друг с другом кратким словом, кратким «здравствуй» приветствия, или коротеньким в три строчки поучением. Эти «аввы»-отшельники — еще *продолжение* евангельских лилий, также *просты и мудры*, а не учены и не велеречивы, как стали последующие Златоусты, Кириллы Александрийские и вообще строители больших томов и библиотечного христианства. Все слово Божие Нового и Ветхого Завета умещается в одном томе, а Кирилл Александрийский один написал гораздо больше Бога. Вся эта вода красноречия, потребовав к себе внимания, углубления в себя, разбора своих мнений и примирения своих противоречий, отвлекла души от вечного и исключительного умиления словом Божиим. Архимандрит Антонин говорил нам об «экскоммуникативности» христианства; применяя его слова, мы скажем, что Евангелие и так называемые «учители Церкви» экскоммуникативны по отношению друг к другу: в них *дух* различный, *метод* не тот, противоположен способ действия на душу, орудия действия. И все «святоотеческое» *авангелично*, а все евангельское — *асвятоотечественно*. Это — как Валаам: и «пророчество» — да не то, и горячее слово — но уже *не от Бога, а от себя*.

Все ереси и само *еретичество* и произошло из *этого догматизирования*, догматизма. Просто нельзя себе представить еретика среди полевых лилий, в их запахе, среди их цветов. Не было ни одного еретика из «авв» Фиваиды. Ересь — городское явление. Это в торговой Александрии, в шумном Константинополе, по Сирийскому торговому побережью, вообще в условиях библиотечности начали появляться еретики. Каждый из них есть неудавшийся «отец Церкви», «учитель Церкви», или, скорее, скажем так: что *еретики* суть учителя Церкви, на которых было рассмотрено как на *транспарант с ярким освещением позади его*, так что все ошибки выступили *в яве*, тогда как остальные учителя Церкви не получили в свое время освещающей лампы позади и похожи на транспаранты, не вынутые из ящика. Года три назад я взял 6 томов Кирилла Александрийского и начал читать. Это гораздо хуже, чем у Скабичевского: такого неуважения к Слову Божию, таких почти каламбуров в отношении к нему цензура бы не пропустила сейчас. Из множества подробностей приведу одну. Он останавливается на вопросе: «отчего Бог шел перед Израилем в виде *столба* огненного». И разрешает: «для того, чтобы знаменовать *выражение* Апостола Павла о Церкви: Церковь есть *столб*

и утверждение истины». Это все равно, как если бы спросить: «для чего была война 12-го года». И ответить: «для того», чтобы на циферблате часов цифра 12 знаменовала *середину дня*. Несоответствие, разнокатегоричность явления Божия Израилю и простого литературного выражения, словооборота в одном из апостольских писаний — поразительна. Бог явился *грамматической фигурой* для строки, имевшей быть написанной через 2000 лет. Так можно объяснить, что Иаков и ночь, когда он боролся с Богом, лег *на камень*, дабы пророчесственно предсказать слова Христа: «Ты — Петр, и на сем *камне* воздвигну Церковь Мою». И много таких «разъяснений» могли бы сделать семинаристы в свободную перемену между уроками, но от них удержался бы, я думаю, студент Академии. Но вот Ария *все читали и им волновались*; позади *транспаранта* был поставлен *свет*; Кирилл Александрийского читали мало, его смутные и неважные мысли никого не волновали, ничего определенного не задавали, — и на заглавной странице его трудов пишется: «Иже во святых Отца нашего Кирилла Александрийского творения». Наконец, недавно мне пришлось прочесть несколько статей Афанасия Великого. Да, серьезно все, хорошо, основательно. Но ничего поразительного, трогательного, умиляющего; все в высшей степени обыкновенно, человеческо, — и только неприятна постоянная желчность страниц, чисто логическая воспаленность против Ария, торопливость в наборе текстов против его учения об «единоподобии», а не об «единосущии» Слова и Отца. Наконец — и здесь я закончу — я прочел у Василия Великого рассуждение о постничестве и посте:

«Пост — дар древний», — убеждает Отец древних и новых слушателей, — дар не ветшающий, не стареющий, но непрестанно обновляемый и цветущий во всей красоте. Думаешь ли, что древность его считаю со времени происхождения закона? Пост старше и закона. Не думай, что День Очищения, установленный для Израиля в месяц седьмой, в десятый день месяца, есть начало поста. Углубись в историю, и ищи древность его происхождения. Пост — не новое изобретение, но драгоценность отцов. Он современен человечеству. **Пост узаконен в раю.** Такую первую заповедь принял Адам: «*от древа, еже разумети доброе и лукавое — не снете*» (Бытие, II, 17). А сие: «*не снете*» — есть узаконение поста и воздержания».

Можно ли сильнее глумиться над текстом Св. Писания? поверхностнее, ничтожнее понимать это удивительное место о Древе Жизни и Древе познания добра и зла? И между тем никто не говорит: «он объясняет Писание как Лейкин», а все говорят: «вот *учение* иже во святых Отца и нашего Василия Великого».

Отцы и учителя Церкви, они же сотворители всего догмата, вместо умиления к Писанию стали его *исследовать, расчленять, анатомировать*, расстригать на строчки («тексты») — и изъяли весь его аромат и смысл. Это были малологические предшественники Канта и малоученые предшественники Штрауса, но работавшие *их* приемами *мысли и знания*. Христианство в них потеряло наивность и сердечность, против

чего ни у кого, кроме разбойника, не поднялась бы рука. Дитя беззащитно, но вместе оно и защищено этою самою своею беззащитностью и одновременно миловидностью. В Отцах Церкви и с построением догмата оно потеряло *наивность* и *прелесть*, трогательность и силу *привлечения*. Оно стало *мужиком*, превратилось в *Свеаборг*; ну, а есть такие пушки, которых ядра и через Свеаборг перелетают, и на всякого *здорового* мужика найдется *еще более* здоровый. Началась *борьба* против Церкви, *умственная*, *умная*, *ученая*; выступили Штраусы и Гарнаки, перед которыми Оригены оказались неучеными мальчиками. Выступил Вольтер и его смех, Ренан и его скептицизм. Ну, поставлю я перед Вольтером младенца; он станет серьезен, нет предмета для шутки; пропою перед Ренаном колыбельную песню — он умилится, прочту Гарнаку вход в Иерусалим: и сухой немец воскликнет с израильтянами: «благословен Грядый во имя Господне».

Христианство перестало быть *умилительно* «с догаматом»: и на него *перестали умиляться*. Просто — его *перестали любить*. Вот великий факт, против которого «догматисты» зажгли на Западе костры, у нас — срубы, не понимая, что дело не в ереси и не в еретике, а в том, что самими догматистами введен был в христианство главный и первоначальный яд: срыв момента *умиления* и замена его моментом *мнимой убедительности*, *доказательности*. Право, у меня может быть такой учитель геометрии, что в теореме-то его я убежусь, а затем возьму учебник, да и ударю им самого учителя по голове. Бывают всякие несносные люди, даже из самых умных.

Никто не падает за литургией при пении «Верую», да и самое-то пение *прозрачно*. Но когда запоют Херувимскую,— хотя смысл ее никому неизъясним — все *сами* склоняют колена, главное — *сами!* И *счастливы* склонить главы.— Перед Евангелием *все* человечество и было *счастливо* склонить главу. Ведь за что-нибудь умирали же мученики, ведь не по «повелению Бога»: это слишком сухо, да и повеления такого никогда не было. Ну, вот теперь стоит «догматическое здание» Церкви: Свеаборг штурмуется, а люди проходят *мимо*, одни *посмеиваясь*, другие *немного жалея*, но никто — до *муки*, до *принятия* тернового венца за Свеаборг. И ведь все чувствуют, что он падет, падает. Жалуют, качают головами, находят опасным это для цивилизации, для народа, для устойчивости правительственной, и вообще по тысяче утилитарных соображений, заметьте — *все* утилитарных, *все именно* не небесных. Небесного-то, «херувимской»-то песни в Церкви и не чувствуется; «души»-то в ней и нет, а одно тело. Ну, представьте, на виду всей цивилизации, народов, человечества какой-нибудь Полифем до неба поднял бы тысячепудовую дубину против безвинно и доверчиво на него смотрящего младенца: *нашлись* бы мученики, *бросились* бы под дубину и своей *кровью* заплатили бы за счастье *выхватить* беззащитного из *опасности*. На пожарах ведь и бывает это, бывают *чудеса* самопожертвования. *Отчего* же их нет около великого, божественного здания Церкви? Мне кажется,

Бог есть *милое из милого*, центр мирового умиления: и вот с потерей Церковью «милого» мне брезжится, что Бог *отлетел* от нее. Что как только начали догматики «строить» с мыслью, что Христос *не сумеет* Сам защитить Свое дело, так Христос невидимо и *заплакал*, и отошел от строящихся. Свеаборг потому и берется, что ведь он пуст. Он только хитро построен, а защитника-то и нет, «Помощника и Покровителя» — скажем словом Иоанна Дамаскина.

«Дух дышит иде же хочет», и еще: «истинно говорю вам: хула на Сына Человеческого простится вам, но хула на Духа Святого не простится ни в жизни сей, ни в будущей». Кстати, эти слова Спасителя подрывают один из «основных» догматов: о *равенстве* лиц Пресвятой Троицы. В каком-то одном отношении, здесь указанном Христом, Дух Святой имеет преимущество перед Сыном Божиим. Вообще «Троица» вся божественна, но она вовсе не исповедима, равная в Себе, равна вовсе не *арифметическим равенством*, как это по-мужичьи «умеренно» в догмате, а имеет *выпуклости, органическое сцепление, горы и пропасти* в себе. Словом, Троица — *глубь* миров, перед которою мал и прост и *не сложен* наш видимый мир. Возвращаюсь к Духу Святому: вот поступком против него и является *догматизм*, как метод. И дитя-Христос и удалился из нашего Свеаборга не только от того, что мы не поверили слову Его о полевых лилиях: это еще хула на Сына Божия, и за Себя Христос нам простил бы, но мы похулили Дух Святой, который «дышит иде же хочет», задумав дать этому Святому Духу медные латы для защищения. Отсутствие *надежды* на Бога, да и не ее одной: «веры, надежды и любви» — вот что сказало в догматизме христианском. Теперь эти три добродетели — только присловие в разговорах. Как и «догмат о Троице» — это какой-то арифметический треугольник, из которого не мерцает ни которое в сущности Лицо.

Мы угасили дух пророчества в себе. Бытие догмата угасило возможность пророчества. Мы чрезвычайно обеднели даже сравнительно с ветхозаветым еврейством. В Евангелии Троица светится таким особенным, богатым и бесконечным светом, что и я, и всякий могли бы *еще* обратиться к Отцу Небесному в нужном случае жизни, не повторяя слова Иисуса, «не приводя текста», но свое новое творя слово. Ибо Иисус говорил к Отцу, но Он не закрыл Отца перед людьми. Я говорю, что слово каждого из нас могло бы быть *вдохновенно*, и неужели, напр., в случае Поваловшвейковского * этот человек в защиту детей своих не смог бы воззвать к Отцу Небесному, так сказать, «в силе Илии». «Отче

* Случай расторгения брака сперва Псковскою духовною консисториею, а потом (после апелляции родителей) и Св. Синодом в царствование императора Николая I. Родители воззвали к самому Государю. Государь пожалел и вступился было: но Синод употребил все усилия, чтобы настоять на своем, и расторг брак; все 7 человек были признаны «незаконнорожденными», потеряли имя и фамилию отца, а этот отец был объявлен «холостым» с правом новой женитьбы, а жена его, мать семерых детей, была объявлена «девицею» с правом выйти замуж за другого. При браке не была соблюдена какая-то подробность из «Правил иже во святых Отца нашего Василия Великого», каковые «Правила» до сих пор служат единственным законом у нас при заключении браков.

Вседержитель! Ни в глубине океана, ни у людоедов — нигде и никто злой не отнимает детей у родителей! Только в христианском обществе и только именем Твоим Церковь, именуемая Твоею, берет из-под отца и матери любящих и любимых детей, целых вот семеро,— и выбрасывает их хуже чем в пустыню и в лес — на поругание и презрение этих твоих христиан, злейших и беспощаднейших, нежели гиены и шакалы в пустыне». Что-нибудь в этом роде мог бы он сказать. Но теперь, когда есть «догмат о Троице», безглагольный, без пульса в себе — Повалотшвейковскому вовсе даже и не пришел на ум Отец Небесный. Догмат вообще закрыл все три лица пресвятой Троицы, самого Христа обратив в начетчика, который принес на землю только кучу текстов. Из этих текстов выбрали нужный и припечатали им мокрую петербургскую курицу так, что у нее спина по гроб болела. Вот одно из деяний Свеаборга. Да и все так стало. На текстах и на «соборных уложениях» зажгли костры, отняли свободу, заставили повиноваться властям держащим, включительно до зверя-помещика и чиновника-казнокрада, ну и дальше, все в том же роде, все без противоречия «догмату» — пока не поднялся штурм на целостный Свеаборг, при равнодушии, а частью и при язвительных насмешках проходящих. Повалился «Дух Святой» в латах, как у Александра Невского — как херувим картонный рождественской елки. Но и неужели же в самом деле на земле религия падает, религиозное исчезает, Небо закрывается? Слышим Слово Спасителя, на этот раз как бы *уклончивое* и уже *издалека* раздающееся: «Дух дышит иде же хочет», и другое, вещее: «Я вам пошлю Утешителя, Духа истины, который наставит вас всему».

Вопрос о «догмате» поднялся в связи с вопросом о *творчестве* в христианстве. Настаивая и доказывая адогматичность христианства, я только говорю, что это творчество может быть бесконечно, и как бы отворяю ворота в это творчество. Но *нужно* ли оно? Здесь я должен изменить тон своих слов и, обратившись к слушателям, как братьям по вере, по сердцу, спросить: «братья, да как же мы *можем*, хотя *на минуту*, удерживаться перед мыслью о *творчестве*, когда признать status quo христианства окончательным это значит сейчас же усомниться в божественности, в самом *мессианстве его*». Вот это лето вышла книжка,— имя автора забыл,— о мессианских местах прор. Исаии. Покупаю и приношу домой, раскрываю: известные слова, что вот «ляжет овца около льва и волк около ягненка» — «суть несомненная», по автору, «слова мессианского характера, указующие на личность Христа, ибо Христос принес на землю эру такого мира». Слова эти как бы заставили меня пасть на пол. Все богословские книги так написаны. Все эти книги суть какая-то красивая сомнамбула. Быть богословом — значит спать и видеть видения. Дело в том, что автор книги на том основании и изъясняет мессианский смысл данного пророчества Исаии, что вся эра наша, т. е. уже фактически, есть эра небывалого до Христа мира на земле, каковой только и можно сравнить с лежанием овцы

около льва. Тут поразителен тон книги. И не спит автор, ибо ведь писал: но он хуже, чем спит. Его невозможно пробудить от догматического сна. Так в «догматах» формулировано: «примирил», «искупил», «загладил грехи» и «Ориген изъяснил, что овца легла около тигра» и, значит — «Мессия пришел». Это связь уравнений, связь слов; в задачах арифметических пишется: «купец купил столько-то сукна, поделил пяти сыновьям и осталось столько-то», хотя все знают, что никакого купца нет, сукна нет и дележа не было. Все для «примера»; вот и догматы построены для какого-то «словесного примера», с полным убеждением самих догматиков, что ничего соответствующего им нет. Формулировано: «мир на земле», и он говорит — «мир». Указывают на старообрядцев, рассаженных по тюрьмам, на инквизицию, на вырезание перуанцев и иноков, он это знает хорошо и говорит: «это по кафедре истории церкви, а я читаю догматику: по моей кафедре стоит на земле мир». Ну, а в христианстве как? «Кафедра догматики,— отвечает он,— основная, а история церкви — прикладная кафедра, иллюстрирующая. Поэтому на земле вообще должен быть мир и есть мир, не принимая во внимание бывающих исключений». — Я здесь напоминаю вам об ученике по геометрии, который после доказанной ему теоремы разбивает голову учителю. Положение христианства не только не окончено, но оно полно решительного отчаяния, хуже не от нападков на него, не от равнодушия к нему: а потому, что внутри его собственных стен сидит несколько Акакиев Акакиевичей и несколько Собакевичей, которые спорят о каких-то мертвых душах и что-то между собою делают.

По моему представлению, исторические судьбы христианства — тайна. Тайна эта заключается в такой великой иллюзии, выше которой никогда не создавалась; и в такой не отвечающей этому комической действительности, ниже которой, пожалуй, тоже ничего не создавалось. Взять только дивные пророчества мессианские, о семени жены — стершем главу Змия, о конечной победе над дьяволом: посмотрите — ведь это небо стелется в словах и земля все зацветает в каком-то невыразимом обилии *, счастья, красоте, славе. И представьте, эти Собакевичи

* Трудно вообразить и было бы невозможно поверить, если бы мы не читали печатному, как «разъясняется» в духовных академиях и семинариях поистине несчастным отрокам и юношам Слово Божие. Вот образцы. «Благодатное Царство Мессии характеризуется ниспосланием членам сего Царства бесчисленных милостей и разнообразных даров Св. Духа, 6 ст., прор. Исаии читается: *и сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин.* Здесь выражение: *для всех народов* подтверждает идею универсальности мессианского царства. Трудно отрицать (!!), что в сем пророчестве под символами *тука и вина* любвеобильный Небесный Отец обещает испуленным теперешнее таинство евхаристии)... «Дальнейшие слова этого пророчества (7-й стих) по еврейскому тексту читается так: *и уничтожит (Саваоф) на горе сей покрывало, покрывающее все народы,— покрывало, лежащее на всех племенах.* По переводу же Семидесяти-толковников и нашему славянскому: *помажутся миром на горе сей: предаждь сия вся языком: той бо совет на вся языки.* Чтение LXX толковников в данном месте имеет то бесспорное преимущество перед еврейским, что глубже проникает в смысл всего мессианского пророчества. По замечанию блаж. Иеронима, еврейские переводчики, призванные Птолемеем для перевода еврейских книг на греческий язык, выражением: *помажутся миром на горе сей* — указывали на установленное позднее в Церкви таинство

нам твердят, что все уже сбылось, что патока течет по земле, и нет ни пьяницы, режущего ради 3-х целковых товарища — чтобы опохмелиться, ни скопцов с отрезанными органами, ни ежовых рукавиц миссионерства, ни пресловутых «дел» духовных консисторий. Легла овца около тигра! сбылось! Да позвольте, не вправе ли робкое и честное сердце сказать: «не сбылось! ничему не верю!» — Маленький я человек и маленькое во мне сердце: но и им я сужу, что на земле — Содом и Гоморра, а не «мир и искупление», и что передо мною не «ягненок около льва», а несколько зловных крыс, пожирающих одна другую в зловонной клетке. Я веду слово к *творчеству*. Ведь *ничего, ничего* этому маленькому честному сердцу не ответят все догматики, самые мудрые люди, ни Гарнаки и Ренаны, ни Отцы святые. Представьте, может ответить только вот наше собрание и этим роковым вопросом, который оно поставило. В эту минуту наше собрание велико: «утешься», может оно сказать: «ничего нет, но... *может быть*». Конечно, это то же — слово, тоже отодвигание дела вперед, может быть обман, может быть иллюзия. Но это *не немедленное, не сейчас отчаяние*. А то ведь сейчас только равнодушные, похожие на алкоголика, режущего для опохмеления товарища, живут вне отчаяния. Эти алкоголики иногда утешают нас: «что же, мало сбылось, пожалуй! Но старайтесь, но упражняйтесь! Возрастайте в добродетели и близьте Царство Небесное». — Как будто Мессиянство и не состоит все во «вдруг, разом, сейчас», не состоит в Тайне и таинственном преобразовании вещей. Что это такое за «мессиянство», которое зависит от хорошего расположения моего духа? И Сократ учил, что послушают его — будет хорошо, и Спенсер так учил. Тайна мессиянства во «вдруг», по всей земле, против желания людей. Это как дуновение вулкана на Мартинике. Секунда — и не стало ничего. Вот и Мессиянство содержит обещание *такового* же дуновения, но *благодатного*: секунда — и выросло все, деревья стали давать вместо ста тысячу плодов. Так ведь в Апокалипсисе об открытии Древа Жизни и сказано. Мессиянство — магия, святая сказка, но могущественнее всякой реальности, воочию имеющая наступить, дневная, очевидная. Поэтому, когда говорят, что оно «не исполнилось от того, что в добродетели мало упражняются» — то просто уравнивают Христа со Спенсером: и так поступают богословы, моралисты, писатели бесчисленных духовных статей. — Говоря таким образом о творчестве, я не говорю о «мало-помалу» в христианст-

миропомазания». («Пророчества Исаии о Мессии и его царстве. Библейско-эзетическое исследование проф. Казанский дух. академии *И. Григорьев*, Казань, 1902 г.) Вот и «снимет Бог покрывало со всех племен» (у евреев покрывало на голову надевается во всяком *горе, несчастии* — как *траур*), когда «собирают» (миропомазание) какого-нибудь умирающего титулярного советника в Костроме или Калуге. И в самом деле, ведь «собирающий» священник при этом получает рубля два, и как же ему не воскликнуть: мессиянское царство! сбылось речение Исаией: *се Дева во чреве примет и родит*, и еще: *и помажутся миром на горе сей*). И это все — без всякого страха, без всякого религиозного ужаса, и у священников, и у семинаристов, и у профессоров... Между тем до чего просто это место Исаии. «Снимется покрывало, лежащее на всех племенах» = «снимется траур со всех людей» = «отрет Бог всяческую слезу человеческую» (Апокалипсис). Прим. 1906 г.

ве, не предлагаю вновь этого успокоительного опиума, а о том, что мы и вообще весь христианский мир стоит перед дилеммой: 1) или признать, что что-то нам всем еще *не открылось в христианстве*, что народы просто прошли мимо Христа, завернули по ошибке в какой-то закоулок, когда площадь, озаренная огнями, находилась перед ними, или 2) что некуда идти, незачем идти; нет вообще никакой площади, а только закоулки и их путаница в каком-то скверном уездном городишке. В последнем случае — отчаяние; в первом — какое-то «может быть».

Таблица вопросов религиозно-философских *

А. Серия вопросов, касающихся суждения в Церкви.

1) о *материале* суждения. *Писание и Предание*

2) о *методе* или *средствах* суждения: своей мыслью судили и судим, или —

Св. Духом?

3) о *лицах судящих*: «святые» и «духовенство».

Б. Серия *объектов* суждения (см. ниже).

А, 1-а, Св. Писание. Слово Божие. Ветхое. Новое. Почему ветхое обветшало и что это значит? *Устарело? Практически не нужно* (обрезание и отсутствие у обрезанных детоубийства; права обрезанного, предупредившие детоубийства, и обязанности его же, предупредившие половое загрязнение)? *Ошибочно?* Но там сказано: «завет вечный даю вам». *Азбучно?* в целях «детоводства» дано? Но ведь таблица умножения не отрицается логарифмами, она сохраняется и при них, а «ветхое» или «обветшавшее» слово не сохраняется нами. Может быть, оно *жестко?* Но разве Бог жесток? Не содержится ли в этом клеветы и упрека на Ветхий Завет?

Искать математически точного и совершенно чистосердечного отношения к Ветхому Завету, — каковое для нас, мирян, не ясно у Церкви и в устах и учении духовенства.

Слово Божие *полно* ли? и почему *нет* пророков? и можно ли их *ожидать?* — Понижение *одушевления* в Евангелии: нет восторга и порыва ветхозаветного. Слезливый пиетизм, как черта христианства, от спокойствия Евангелистов потекшая. Апокалипсис — опять порыв. Его роль и положение в новозаветных книгах: *одного* ли они духа? к *одному* ли устремлены? Некоторые главы Апокалипсиса, как, напр., о «Жене, облеченной в Солнце и кричащей в муках рождения», — *не вписуемы* вовсе в Евангелия, и, если бы их вписать в их текст, стали бы, по-видимому, разрушать его.

* Когда духовные лица, с епископом Сергием, ректором С.-Петербургской духовной академии во главе, и светские лица условились собираться вместе для обсуждения, с полной свободой религиозно-философских вопросов, то, думая, что для 1-го собрания их естественно не будет темы и все почувствуют неловкость незанятого времени, — я накидал серию вопросов, о которых нам, светским, интересно было бы узнать мнение духовных лиц, и которые могли бы наметить план годовых дебатов. Но 1-е же заседание было очень оживленно и вообще полно содержанием, — почему этот набросок мною и не был предложен к прочтению.

А, 1-б. Св. Предание. Новизны. Они были необходимы, и в будущем необходимы: ибо о погребении, о труде, о семье в Евангелиях — или умолчания, или отрицания. Отсюда: Церковь имеет право быть творческою и не на почве Слова Божия (наш чудный обряд погребения). Praesens, perfectum и plusquam-perfectum в Церкви: Церковь шла не по прямой линии в своем «предании», а были в ней «течения», «направления», и они образуют все вместе «ломаную линию» ее развития: напр., в вопросах об аскетизме, о монашестве, о браке. *Одни* соборы (первые) — допускали брак епископов, *другие* (позднейшие) — запрещали: которым же нам следовать? и почему, следуя, напр., позднейшим, мы будем уверены в правоте своей, т. е. уверены в *неправоте* вероозерцания, вероучения древнейших учителей Церкви и Соборов церковных? Вообще, что такое «новое» и «древнее», «прежнее» и «теперешнее» в Церкви, когда она «вечна и абсолютна» и притом «от основания и всегда»? В истинах, как математики, так и нравственного порядка, нет «новизны» и «старины», а только *худое* и *доброе*, *ложное* и *правильное*.

А, 2. О методе или средствах церковного суждения. Мыслью своею судили и судим в Церкви? или **Св. Духом?** *Споры и сомнения* не причастны Св. Духу, а они суть история соборов, история самых догматов.— Св. Дух не колеблется. Св. Дух пророчествует, а на Соборах *рассуждали* и *доказывали*. Флорентийский собор формально был правилен, но его решение не было принято в Москве, и Москва осталась и чувствует себя «православною». Какие же, вне вкуса века и предпочтения нации, абсолютные критериумы «истинного собора», «руководившего Св. Духом»? Эту последнюю санкцию вправе ли были применить к себе люди спорившие, колебавшиеся, не пророчествовавшие, доказывавшие: а если не вправе, что почти очевидно, — то как понять «всуе» («не приемли имени Господа Бога твоего всуе», «кто произносит хулу» — напр., приписав несовершенное личное мнение Ему — «на Духа Святого — тому не простится ни в век сей, ни в будущий») на пространстве стольких веков? относительно таких тем суждения? и из уст людей, которых мы почтили (тоже, конечно, «всуе») таким авторитетом?

А, 3. О лицах судящих. а. Святые. Они были святы по *жизни*, а не по infallibilitate («непогрешимости») суждения. Они разумом погрешимы. Василий Блаженный — праведник, а не догматик. Святые суть светочи жизни, бытия, а не творцы *непрерывно руководственных* книг.

б. Духовенство. Не есть ли это личный и живой, ходячий фетишизм? В ризах священник, в эпитрахили, и он же в рясе — как бы разное бытие. Он в ризе — как бы икона в окладе; без ризы — живопись без отнесения к нему молитвы. Священники суть поклоняемые *dii minimi*. Откуда это? *Таинство священства*. «Руки накладывать» — знак отечества, учительства. Учитель еще не священник. Благодать «священства»; но эта благодать священности дана миру; и не произошло ли как бы материализации благодати, присвоения ей пространственных почти особенностей, «берется» она, «дается»: и иерархически поделилась и в то же время, как полог, слернулась с мира. Мы — подлы, светски, камни, безблагодатны. А ведь по существу-то весь мир священен и все люди — «священники по чину Мельхиседекову». Это бы сделало нас серьезными, ответственными. Безблагодатный в идее человек есть безыдеальный *in se* *. Отсюда — нравственное падение мира.

Следовательно, одна из «пророчественных» задач Церкви — разжижение ставшей материальной почти благодати, овоздушение ее и разливание ее на мир.

* в действительности (лат.).

Б. Серия объектов суждения

1. *Дух — веяние — закон.* Откуда у нас (в Церкви) законы, когда ап. Павел сказал: «а если законом оправдание, то Христос напрасно умер» (*К Галатам*). Он умертвил не законы ветхие, а *принцип законности, юридичности, точности, математики, как антиблагодатный.*

Что умерщвлен именно *принцип законности*, а не которые-нибудь законы Ветхого Завета, видно из гордого и уничижительного, в отношении Ветхого Завета, самопревознесения христиан: «*подзаконное* человечество» (иудеи), «*подзаконная* Церковь» (ветхозаветная). Между тем мы имеем каноническое право, которого — томы, и за несоблюдение мельчайшего параграфа которого священники лишаются сана, архиереи удаляются от служения («на покой»). И эти архиереи и священники говорят о «подзаконном» — там, и о «благодатном» — у себя, и все цитируют из «Послания к Галатам» слова ап. Павла. Что это — дрозды наученные? которые не разумеют человеческого, заученного слова, ибо оно не их и не родное им, дроздам, слово. Явно, что Церковь, принявшая каноническое право, *согласившаяся* на него (а она ведь еще и *сама* выработала его, чему трудно поверить!!) — тем самым сделала, что «Христос напрасно умер», и 1500 лет хвастается богатством, которого не имеет («под благодатью живем, а не под законом»).

2. *Недоумения об истории христианства.* Христианство — *не реализовано, не реально.* Да и имеет ли оно реальные цели? Начала *реализма* в Новом Завете: в Ветхом — любят и рожают, влюбляются, как Давид — в Мелхолу, как Амнон, сын Давида — в Фамарь; в Новом не рожают и в этом смысле не любят. В Ветхом смеются: Сарра на слова Божии о рождении от нее; в Новом Завете, во всем, нигде нет улыбки, *ни о ком не сказано, что он — улыбнулся.* Тон его совершенно другой, более *печальный и меланхолический.*

В Евангелии есть ли *обычай, быт, нравы?* Оно слишком небесно, отвлеченно; и трудно его связать с землей, с *подробностями.*

3. *Метафизическая нерелезуемость Евангелия.* Обрезание касается центра реализма и берет мир с середины: через обрезание Ветхий Завет схватил и *обычай, и нравы, и привычки.* Обнял человека.

Через *учение, и только учение,* Евангелие подчиняет себе учащиеся в человеке части, ум, внимание, прилежание. Оно школьно, а, так сказать, не базарно, не бытийственно.

1902

Post scriptum. Еще «таинства»,— крещение, причащение, миропомазание,— все *уже Церковью, т. е. потом и исторически* установленные, сообщают некоторую реальность христианству: без них оно буквально превратилось бы в школу и проповедь, в чтение книг и беседы, во что-то *поверхностное и наносное;* ибо, во всяком случае, не «беседами» и не «книгами» «жив будет человек» (у Иезекииля Бог человеку говорит: «в кровях твоих живи», и опять повторно: «*кровью* твоею живи»). Но как связь с *бытом, жизнью, организмом* человека «таинства» причащения, крещения, миропомазания и проч. не ясна, вопросительна и как-то лишь «духовна», то опять вопрос о *реализме, реализуемости и реальности* в христианстве и, наконец, даже самого христианства уходит в неясность, мнимость и аллегоричность. Мы больше *утешаемся,* что у нас есть что-то «реальное»: вот «хлеб», вот «вино», «вода» и «елей». Прекрасно и приемлем. Но когда спрашиваем себя: какое же это отношение имеет к *дому, в котором я живу, к семье,*

с которою живу, *детям, жене, хозяйству, экономике, чистоплотности, гигиене, здоровью* — что все довольно необходимо для человека — то размышление переходит в безбрежность, загадочность и рассеивается как облако, которого не было. Очевидно, в «тайнствах» Церковь сделала *попытку* (гигантскую!) к реальности, и — неудачную: все же это не «сердочка» и даже не кусочек «периферии», а «что-то» «где-то» и, в общем, — «духовно», «благодатно», «исцеляет» и «спасает» — на словах и «во утешение». Разрушение «завета» с Авраамом и домочадцами его и слугами (иноплеменники для евреев, напр., и *мы*) до того очевидно расколело, раздробило *реальный теизм*, реализм в теизме и теизм в реализме, — что человек тоскливо начал собирать дробинки, песчинки, «фетиши». И этому тоскою искания можно объяснить весь благородный *культ* христианских общин и церквей, в котором, собственно, и содержится вся *теплота* христианства. Лютер, потрясший *культ* (только культ) — точно отнял «религию» у своих последователей, сведя все к проповеди, морали и, вообще, разумному и добропорядочному в поведении и мышлении, что, конечно, не есть «тайна», «религия», «Божие у человека и в человеке». Таким образом, «культ»-то в христианстве (как очевидно из попытки Лютера) и составляет, к удивлению, «метафизику» его, зерно, теплоту и хоть приблизительную «кровь». И отнимите от него «суеверия», готику, «обряды», «непонятные и ненужные жесты и слова» (требования рационалистов, требования штундистов) — то оно останется без «зерна», «крови» и «кровообращения». Отсюда чрезвычайная (и верная!) привязанность народов, христиан, Церквей (западной и нашей), духовенства и духовных профессоров именно к культу, «обрядности» и даже «суевериям»: все это — суррогат «обрезания», как реализма, кусочки павшего действительного — Неба. Но все, однако же, не «обрезание», все это — *последующая* (тоскливая) работа Церкви, а не «по слову» *Божью*, «завету» *Божью*; и, словом, все это не документально и не достоверно, все это не есть *Самим Богом указанный, как ему нужный, реализм* («обрезание»). И обряды эти дают реализм кажущийся, поэтический, утешающий, но именно не *спасающий*.

Опыт штундистов и лютеран указывает, что вне *культы* нет зерна подлинной религиозности в христианстве: открытие страшное, если принять во внимание, что культ все же сотворен людьми, сотворен *после Евангелия и после Христа*. Где же евангельское и Христово «зерно»? Или согласиться со штундистами, что, неустанно читая Евангелие, ведя о нем беседы, не куря, не пьянствуя и не ссорясь, — они нашли «религию», — «истинную и универсальную»? Но тогда врожденно добрый и нравственный человек, не пьющий, не курящий и мирно живущий с соседями, скажет: «Я всего этого достиг и без Евангелия: на что оно?»

4. *Метафизика христианства* — не в штундизме и не в культе (там ее, очевидно, нет, как *подлинной*, а не «утешительной» только). Она и притом подлинная и новая («Новый» Завет) лежит в **гробе, смерти и монашестве**.

Смерть — ужас, подлинность, очевидность, всеобщая и вездесущая.

Смерть — непостижимое, «тайна»!

О смерти — все думают, все ею испуганы, томятся, тоскуют!

Смерть — так же метафизична, как зачатие. Это — другой *полюс* мира, черный, противолежащий белому полюсу — *обрезанию*. Евреи отвратительно хоронят своих мертвецов, бросая их в землю и с ужасом убегая; о смерти, как «тайнстве», — ничего в Библии; «смерть» в Слове Божием — только *наказание* (Бытие, 4). Христианство «смерть» преобразовало в **гроб**.

Гроб — это поэзия, а не голый ужас; не испуг, а что-то и «надеющееся».

Гроб — красота грусти, воспоминаний, сожаления, любви оставшихся на земле к «ушедшему туда».

Гроб — новые звездные миры, поднявшиеся над плачущей землей после того, как «звездные миры» (совсем другие) закатились с Голгофою за горизонт.

Монастырь есть длинная мантия гроба; красивый креп, веющий на тоскующем человеке, плачущем над своим гробом и о своем гробе, как *неизбежности*.

Монастырь есть вся душа и вся поэзия христианства; его реальная метафизика; единственное в нем «таинство»; зерно, из которого все оно, как историческое явление, выросло.

Тени монастыря — в каждой черте христианства, в живописи, иконах, музыке, напевах, в законах, ритуалах, характере духовенства, нравах, обычаях, политике, во всем, во всем!!! Где нет монашеского духа и монастыря — нет христианства; где он есть — христианство налицо и действует!

Как «гроб» есть преобразование смерти («в поэзию»), так монастырь есть преобразование «гроба» в целую цивилизацию — поэтически грустную, меланхолически возвышенную. Смерть — секунда, удар; гроб — уже сутки и даже трое суток, наконец, сорокоуст молитв и воспоминаний; монастырь уже обнимает всю жизнь. Таким образом, «секунда ужаса», метафизическая, какую не перенести человеку — как бы размазалась кисточкою на пространство годов, жизни, всего зрелища цивилизации. В кусочке от нее — умереть; в этом «раскрашивании» ею — только *грустно* жить, даже — возвышенно прекрасно, и даже истинно прекрасно!! Смерть создала лучшие вдохновения в христианстве — гимны Дамаскина: сердце плачет, слушая их, но уже не убито, не ушиблено, не упало мертвым. И что «христианство победило самую смерть» — это не аллегория, не «лишнее слово», а чудесная в нем действительность. Только поэтому, и притом единственно поэтому, оно и есть «новая религия», не буддизм и не стоицизм, не мораль и «улучшение быта», но именно «религия», со своею новою тайною и магиею.

Новый Завет относится к Ветхому, как смерть к зачатию, или похороны — к рождению, или монастырь — к семье, гарему (у Давида и Соломона) и площади (базару). Это не «развитие», не «переход к возмужалому после педагогической подготовки», не «благодать вместо закона», а — совсем другой и противоположный метафизический мир! Христиане дружат с язычниками: но с держащимися «Ветхого Завета» евреями и «измаильтянами» они — как вода и пламя, взаимно пожираются, без возможности сожигания, разговора, психологического понимания. Греки и римляне, даже японцы и китайцы, — уважаемы, изучаемы, постигаемы у нас; «обрезанцы» жида и турки — только ненавидимы! Ни одной легенды о них; ни одной грациозной оперетки («Гейша»), ни шуток, ничего кроме гробовой, черной ненависти. Именно — как зачатие и смерть, свадьба и похороны, базар и монастырь. Два неба, два полюса.

5. Отсюда — «*мощи Св. Угодников*» и положение их в христианстве. Где нет «мощей» — нет христианства, как метафизики, а есть только его физика (слова и «мораль»). Замечательно соотношение между «мощами» и монастырем: где (у народов, в странах, церквях) есть монашество, монастырь — непременно есть и мощи, как учение о них, легенды около них, самый факт их; а где есть мощи — непременно там есть и монастырь; и где которого-нибудь нет (лютеранство, пуританство) — нет и другого. Все это указывает, что метафизика в христианстве — везде одна, и что каждая «буква» этой метафизики — из алфавита смерти. На самом деле соборы, догматы, «filioque», папство, самые «отцы и учителя» и все даже «вероучение» и, наконец, само Писание есть для нас «убор» в одной части

и «предлог» в другой; а *сущность* везде одна: что мы — умираем, и боимся что умираем, и не понимаем — что такое это что мы умираем, и восторг — что «нами и за нас умер, наконец, и Господь!» «Кончина Бога», «Голгофа» — вот невероятное *случившееся*, что и образует зерно, из которого выросло *все христианство*. Бог «вечно жив», «Сущий», «Сый», «Который *есть* и который *будет*», «Я — то, что *было, есть* и *будет*» (надпись на статуе Нейт в Саисе): и вдруг — умер, «кончается», «страдал и погребен!» сам Бог!!! Это такой *перелом* всех древних представлений, разрушение всей Библии — что небеса затрещали, история разломилась и вышел в самом деле «новый Завет», новое громовое явление, задвинувшее даже и Синай от павшего в ужас человека.

Мощи — непременно «святых угодников». Кто «угодил» в христианстве «Богу»? В Ветхом Завете — это рождающие от 3—5—10 женщин детей; живущие не с женою, а с женами, и еще лучше, если при них — и с возлюбленными. Вообще — тут *maximum*, и непременно — *бытия, роста*. Ибо и «Бог» то — «Сый», и основная книга — «Бытие», «Genesis». У греков и римлян, не «обрезанных» — все это пошло в «убор», в все не человека и людей — а *истории и дел*: «святой» («полубог») — не многоженец, а герой, сперва мифический, потом исторический, сперва Тезей, а потом Фемистокл, Перикл, Цезарь, Август. Так выросла цивилизация, как *религиозная радость* (греки, римляне), или совершилось *религиозное размножение*, появилось «Божье племя» (евреи). Но у нас, при «сконачшемся и погребенном Боге», очевидно и «угодный Богу человек» есть умяляющийся, хилеющий, маловкушающий, малопьющий, вовсе не деятельный, всего лучше даже не живущий среди людей человек, старающийся остаться всем неизвестным и ни для кого не видимым, ничего не совершивший: *минус и минус бытия, отрицание и отрицание* его, но не активное, не бурное, что вышло бы опять «героизмом», т. е. возвращением к «язычеству» и «Ветхому Завету», а это новое тихое отрицание, бесцельное, бескровное, бездеятельное, попадающее в самое сердце жизни и побеждающее ее победою неотразимою!! Победило (христианство) смерть, победило и жизнь! Еще бы оно не «метафизично»! Еще бы «царства не поклонились Ему» (Иисусу): что «царства» — поклонилась самая Смерть, поклонилась — и Жизнь! И поклонился весь «созданный мир», коему создав его Бог заповедал: «расти! множись! вкушай от всех плодов земных» и «будешь со Мною и передо Мною». Все отвернулось и повернулось с поворотом как бы оси мира: «вкуси смерти, и вкушая смерть — радуйся; а поскольку живешь и за то одно, что живешь — скорби, страдай и сожалей».

Это совершенно невероятное убеждение, внушенное человеку, и в котором убедить его, казалось, невозможным не только по прямому противоречию с Заветом от Бога, полученным (в раю), но и по противоречию со всем «костным и кровавым», живым и дышащим его составом, — совершилось через чудо Евангелия, как *Слова* и через чудо *Лица* Христова: что открыло человеку новый мир, — не реальный, но затмивший собою реальный, — мир идеализма, духовных восторгов, чаяний, грез, ожиданий, изменив вовсе весь характер души человеческой. Отношение можно выразить так:

1) Бог *создал* мир («Бытие», «Genesis», «Бара Элогим...») и человека в нем, как венец всего, возлюбленнейшую тварь Свою; и заключил с человеком этим союз; и человек стоял, миром очарованный, и в нем начавший сам творить, созидать, «украшать», беспечально и беспечно (дети, генерация, история)...

2) Сошел Христос на землю и, обратив очи человека на смерть, которою действительно несчастным образом умирал человек, «согрешив» и «наказанный», сказал: «за этою смертью и даже в этой смерти скрываются новые миры,

сладчайшие всего созданного мира; но чтобы стать причастным им, им — надо начать своеохотно умирать, при жизни уже возненавидит жизнь, отвергнуться от мира» («кто не возненавидит отца, братьев, детей и *самую жизнь свою* — не может быть Моим учеником» — Его слова, записанные у евангелиста...).

Человек попытался. Со смертью как фактом и «наказанием» привзошла в него и «наказующая психология» — как фактическая способность души отдаваться отрицанию, как «аппетит небытия».

Едва, живя,— он пожелал не жить: как от трения этих двух мировых колес в нем, действительно чудовищных осей мира (бытие и небытие, жизнь и смерть),— фосфорически засветились в нем такие картины, образы, иллюзии, надежды, сожаления, скорби, отчаяние, жестокость с нежностью, любовь и ненавидение, что в самом деле «умер ветхий человек» и родился «новый», который вербально только помнит о сотворении мира и себя, вербально только и повинуется «Отцу миров»; а на самом деле следует совершенно иному — именно игре фосфористых видений, в нем субъективно открывшихся. Так художник *за картину* забывает накормить себя; бывает даже, что забывает детей и родину.

Церковь, в ее историческом великом движении, с «соборами» и «догматами», и появилась как средний соединительный цемент между двумя кусками расколовшегося Неба; Церковь есть факт, но она вместе была и *задачей*: «словесно и идейно», «верую и правдою» показать, что все в этих двух мирах «вышло одно из другого» и «продолжалось одно другим» и что «не произошло ничего из того, что произошло». Но, наконец, пора же действительности мужественно взглянуть в глаза.

1906

«Ветхие» тезисы и «новые» антитезисы

Расхождение «нового» с «ветхим» всего лучше усматривается из простого сравнения:

Исход, XXIII. «*Даров не принимай, ибо дары делают зрячих слепыми!*.. «Шесть дней делай дела твои, а в седьмый день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой и успокоился сын рабы твоей и пришлец»... «*Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял в поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою*»... «*Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего*» (ст. 8, 12, 16, 19).

Второзаконие, XXVI. «И скажи перед Господом Богом твоим так: — Вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне.— И поставь это перед Господом Богом твоим, и поклонись перед Господом Богом твоим»... «И веселись всяким благом, которое Господь Бог твой дал тебе, и дому твоему,— ты, и священник, и новообращенный, и пришелец и неверный, который будет у тебя (стихи 5, 10, 11).

Числа, XVIII. «Все лучшее из *елея* и все лучшее из *винограда* и хлеба, *начатки* их, которые они дают Господу,— я отдал тебе» (левитам, потомству Левия). «Все *первые произведения земли* их, которые они принесут Господу,— да будут твоими». «*Все разверзающее ложена у всякой плоти, которое приносят пред Господа, из людей и из скота,— да будет твоим; только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено*» (стих 12, 13, 15).

«Правила Святых Апостолов, Святых Соборов Вселенских и поместных, и Святых Отцев».

Правило 3. «Аще кто, епископ или пресвитер, вопреки (!?) учреждению Господню о жертве, принесет к олтарю иныя некоторыя вещи, или *мед*, или *млеко*, или вместо вина приготовленный из чего-либо другого напиток, или *птицы* или некоторые *животные* или *овощи*, вопреки (!?) учреждению, кроме новых классов или винограда в надлежащее время: *да будет извержен от священного чина*. Да не будет же позволено приносить к олтарю что-либо иное, разве елей для лампады и фимиама, во время святого приношения».

Правило 4. «Всякого иного плода начатки да посылаются в дом епископу и пресвитерам, но не к олтарю (сравни *Исход*, XXIII, ст. 8 — о «дарах», что их «не принимай»). Разумеется же, яко епископ и пресвитер разделяет с диаконами и прочими причетниками».

Т. е. что, «нужно, выгодно нам» — сохранили, а что Бог Себе спросил — упразднили.

А вот еще целостное рассуждение Иоанна Златоуста о всем странстве Священного Писания Ветхого Завета, о всех там законах, о всей *первой, древнейшей* воле Божией. До чего все дышит злобою и презрением:

**Иоанна Златоуста —
«Слово о Синайском законодательстве
и завете Бога с Авраамом»**

«Нашею целью служит доказать, что делаемое теперь иудеями есть беззаконие и нечестие, брань и война людей против Бога. Ибо, если бы они и имели надежду опять получить свой город, возвратиться к прежнему устройству и видеть свой храм восстановленным, чего, впрочем, никогда не будет, то и в таком случае не могли бы ничем оправдать того, что теперь делают. Может быть, кто скажет: «ужели обрезание так вредно, что при нем бесполезно для евреев все домостроительство Христово»? Точно, обрезание так вредно не само по себе, а по неразумию обрезывающихся. Было некогда время, когда закон был полезен и необходим; но теперь он прешел и остался без действия *. Посему, если бы ты принял его не вовремя, он бы сделал для тебя бесполезным дар Божий. Потому-то и Христос иудействующих ничтоже пользует, — что они не хотят прийти (к Нему). Если бы кто, за прелюбодеяние и (другие) гнуснейшие пороки, заключен был в темницу, а потом, когда уже надлежало бы произвести суд и произнести ему обвинительный приговор, пришло от царя письмо об освобождении всех заключенных в темнице **, без всякого допроса и исследования, между тем тот (человек), не захотев принять (царской) милости, стал бы настаивать на том, чтобы его подвергли допросам и розыскам: то он, конечно, уже не может пользоваться этой милостью. Предав сам себя суду, розыску и приговору, он добровольно лишил себя царской милости. То же случилось и с иудеями. Смотрите, все человечество улично в самых гнусных пороках. *Вси согрешивши*, говорит апостол (Рим. 5, 12), и заключены были под проклятием греха, как бы в темнице;

* «В закон вечный даю вам», — сказано решительно после всякого учреждения ветхозаветного, прежде всего — об обрезании, но затем — о субботах, жертвах, всех праздниках, всех великих общественных и семейных установлениях. — *В. Р.-в.*

** Т. е. приводится параллель тому, что «Христос уже без всякого закона всех освободил» и «избавил». — *В. Р.-в.*

надлежало уже произнести приговор над ними, как пришло с небес послание Царя, или лучше — пришел сам Царь и освободил всех от уз греха, не произведя ни исследования, ни допросов *.

«Посему все, прибегающие к спасителю, пользуются даром и спасаются благодатью; а те, которые хотя оправдаться законом, лишаются и благодати. Стараясь спастись собственными силами, они не могут воспользоваться царским человеколюбием и привлекают на себя проклятие закона, *заче не оправдится от дел закона всяка плоть* (Гал. 2, 16). Посему-то апостол и говорит: *аче обрезаетеся — Христос вас ничтоже пользует* (5, 2); ибо, усиливающийся спастись делами закона не имеет никакого общения с благодатью. То же самое разумел Павел, когда говорил: *аче ли по благодати — то не от дел: заче благодать уже не бывает благодать. Аче ли от дел — к тому несть благодать: заче дело уже несть дело* (Рим. XI, 6). И опять: *аче бо закон правда — ибо Христос туне умре* (Гал. II, 21). И еще: *упразднистесе от Христа, иже законом оправдается: от благодати отпадосте* (V, 4). Ты умер для закона, сделался мертвым и уже не находишься под игом и неволею его. К чему же все и напрасно усиливаешься беспокоить сам себя? Но для чего Павел поставил здесь свое имя и не сказал просто: «се аз глаголю вам»? Он хотел напомнить галатам о той ревности, какую сам прежде показал в пользу иудейства. «Если бы я был из язычников,— как бы говорит он,— и не знал иудейства, то иной, может быть, сказал бы, что я потому изгоняю обрезание из церковных догматов, что не знаю силы его, так как сам не жил в иудействе». Вот для чего он поставил свое имя,— чтобы напомнить им о том, что сделал он для закона. Как бы так говорит он: «это делаю не по вражде к обрезанию, но по знанию истины; это говорю я, Павел, тот Павел, который обрезан осмидневно, от рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от еврей, по закону фарисей, по ревности гоних Церковь (Фил. III, 5, 6); в дома входя и влача мужи и жены и предаях их в темницу (Деян. VIII, 3); все это может убедить самых безрассудных, что я постановил этот закон (об упразднении обрезания) не по вражде какой, или по незнанию иудейства **, но по знанию высочайшей Христовой истины. Свидетельствую же паки, говорит он, *всякому человеку обрезанному, яко должен есть весь закон творити* (Гал. V, 3). Для чего не сказал: «возвещаю же», или «заповедую же», или «говорю же», но: «свидетельствую»? Для того чтобы *** этим выраженным напомнить нам о будущем суде: ибо, где свидетели,— там суд и приговор. Так он устрашает слушателя, напоминая ему о царском престоле, и показывая, что эти слова будут ему свидетелями в тот день, когда

* Ну, хорошо; зачем же потом-то законы? зачем потом возникло каноническое право? да для чего, вообще, вопреки этой мысли Иоанна Златоуста, Соборы и Св. Отцы трудились составлять «правила», да еще такой непременной, несокрушимой твердости? Да, то — Бог, и Он — не велик; а это уже мы, «епископы и весь облаченный чин»; «аче кто преслушается наших правил — да будет извержен» — вечная присказка. Что же вот нас-то никого не «избавил» Христос?! Не избавило никого сие «царское письмо с Неба»? Вспомните *свои* расторжения счастливых браков, недопущение для несчастных развода, и тогда очевидно будет эта Иоаннова ложь. Не золотые уста говорили ее, а хладные и бездушные.— В. Р.-в.

** Из того, что он с такою жестокостью гнал Христиан, не зная их, можно заключить только о том, что, с такою же жестокостью начав гнать потом обрезание и весь Ветхий Завет — он также мало *проникал внутрь и его* (как первоначально — во внутрь Христианства). Вспомнишь горькое его самосознание: «дано мне *жало* в плоть, аггел *Сатаны* (2 Коринф.. 12, 7) — и им «ужальный», он поднимал бичи то направо, то налево, но в обоих случаях именно — бичи, гонения, «в дома входя и влача мужи и жены», сперва — крещеных и потом обрезанных. Этой грустной реальной правды нельзя затушевывать никакою силою и никаким величием слова. «Втуне слова, когда жестоко дело» — перефразируем его слова о законе и о благодати.— В. Р.-в.

*** Какое пустословие! — В. Р.-в.

каждый должен будет дать отчет в том, что он сделал, что сказал и что слышал. Эти слова апостола слышали некогда галаты, а теперь пусть послушают и страждущие болезнию галатов. «Свидетельствую же всякому человеку обрезанному, яко должен есть весь закон творити». Т. е. не говори мне, что обрезание составляет только одну заповедь: эта одна заповедь налагает на тебя все иго * закона. Если ты хотя частью подчиняешь себя владычеству закона, то необходимо должен повиноваться и прочим повелениям его; если же не исполняешь их, то по всей необходимости подлежишь наказанию и навлекаешь на себя проклятие. Исполняющий одну заповедь закона, об обрезании ли то, или о посте, из-за этой одной заповеди отдал всего себя во власть закона, и не в состоянии уже освободиться от нее, пока имеет желание повиноваться ему, хотя отчасти. Мы говорим это не с тем, чтобы обвинять закон, нет **, но чтобы показать преизобильное богатство благодати Христовой. Закон не противоречит Христу ***, да и как это может быть, когда он дан Им **** и к Нему руководит нас? Но говорить обо всем этом мы вынуждаемся неуместною ревностью тех, которые пользуются законом не так, как должно. Они-то и оскорбляют закон, когда то повелевают отстать от него и приступить ко Христу, то снова держаться его. Согласен и я, и никогда не буду отрицать, что закон принес очень много пользы нашему роду; но ты, держась его не вовремя, не даешь (вполне) обнаружиться его великой пользе. Как для воспитателя самою великою похвалою бывает то, что воспитанный им юноша уже не имеет нужды в его надзоре для сохранения целомудрия, потому что уже довольно укрепился в этой добродетели, так и для закона величайшею похвалою является то, что мы уже не имеем нужды в его помощи *****. Ибо этим-то самым мы и обязаны закону,— что душа наша сделалась довольно способною к принятию высшего любомудрия. Значит, кто доселе остается при законе и ничего не может видеть больше того, что там написано,

* Да «обрезание» и огромные права и преимущества, с ним неразрывно данные человеку, есть вовсе не «иго», а — *облегчение*. Так ведь можно и о крещении, и о хождении на исповедь и к обедне тоже сказать: «к чему это *иго*? Да, кажется, так и поговаривают в людях,— так что «отозвались медведю коровьи слезы!». «Как вы с ветхим, обветшавшим, не нужным вам словом,— так вот теперь и с вашим новым, которое к XIX—XX веку тоже обветшало, и менее занимает нас, чем заработная плата и Карл Маркс». — В. Р.-в.

** Интересно! Вот что называется истинным остроумием. — В. Р.-в.

*** Но если «не противоречит», то для чего же «городить огород» всего этого рассуждения? и для чего ап. Павел потребовал «не обрезывайтесь»? и, отдаленно и таинственно — для чего умер Христос? Но *таинственно* Он умер, конечно, не по поводу 30 сребренников («но для *часа* сего и пришел Я в мир», т. е. настоящая цель, *телос* пришествия Христа на землю — и есть Голгофа, в которой 30 сребренников не играли, в сущности, никакой роли, ибо все уже было «предопределено» и «предусмотрено»), но вот для того именно, чтобы с высоты Креста и страшною силою его («Бог, умерший за наши грехи») пронзить обрезание; и установить «новый завет», с Собою, с Крестом Своим; и чтобы приписать печать этого нового завета вечно ненавистью ненавидели тот первый завет, как мы «жидов» и вот Иоанн Златоуст — весь древний закон, сказавши прямо: «кто слушается велений Иеговы — тот ведет *брань с Богом*». — В. Р.-в.

**** Закон *ветхий*, о котором говорится во всей этой статье, законодательство *Синайское*, держащееся коего объявляются «воюющими с Христом», в этой же статье приписываются Христу!! Это даже не Боборькин пишет, а просто Ноздрев передвигает шашку рукавом. — В. Р.-в.

***** Ну, хорошо: вот и я, предки коего все крестились и знали закон евангельский: «возлюби ближнего своего» и проч., сам по себе и без напоминания Евангелия люблю всех ближних своих. *Дозволил* ли бы мне Иоанн Златоуст, как константинопольский епископ, или, положим, митрополит петербургский Антоний, не ходить более к обедне и даже не крестить детей? да и не только «позволил» бы, а и *запретил* бы весь «новозаветный обряд», ибо я теперь и без обряда водки не пью и с ближними не дерусь. Таково же рассуждение Златоуста, что «законодательство Синайское не нужно» для жителей Цареграда, ибо они уже «созрели в добродетели». — В. Р.-в.

тот не получил от него большой пользы, а я, который оставил его и возвысился до высочайших догматов Христовых, могу восхвалять его особенно за то, что он сделал меня способным возвыситься над мелочностью написанного в нем и взойти на высоту учения, преподанного нам Христом. Закон много принес пользы нашей природе, если только приблизил нас к Христу; а если нет, то повредил еще тем, что, привязав нас к меньшему, лишил большого, и доселе держит в бесчисленных греховных ранах *.

Иоанна Златоуста —

«Слово о праздниках ветхозаветных» .

«Праздники их, скажете, имеют в себе что-то важное и великое? И их сделали они нечестивыми. Послушай пророков, или, лучше послушай Самого Бога, какое сильное отвращение показывает Он к ним: *возненавидех и отвергох праздники ваши* (Амос. V, 21). Бог ненавидит их **, а ты принимаешь в них участие? Не сказано, что ненавидит такой-то и такой-то праздник, но вообще все ***. Хочешь знать, что Бог ненавидит (иудейское) служение **** Ему? *Отстави от Мене*, сказал Он, *глас песней твоих, и песнь органов твоих — не послушаю* (ст. 23). Не мерзки ли ***** самые жертвы их и приношения? *И аще принесете Ми семидал — всуе: кадило — мерзость Ми есть* (Исаия I, 13). Кадило их — мерзость, а место — не мерзость? И когда же мерзость? Прежде чем они совершили самое главное злодеяние, прежде христубийства. Так не гораздо ли более мерзко их кадило теперь? Что может быть благовоннее кадила? Но Бог судит о приношениях, обращая внимание не на свойство даров, а на расположение приносящих. *Призре на Авеля — и потом уже на дары его; увидел Каина — и потом отвратился от жертв его. На Каина, сказано, и на жертвы его — не внят* (Быт. IV, 4, 5). Ной принес в жертву Богу овец, тельцов и птиц, и *обоня Господь,—*

* Вот то-то «держит в греховных ранах». То «созрели и перезрели», то «не дозрели», — все смотря по надобности красноречия, абсолютно не заинтересованного в истине, абсолютно растерявшего все концы, да, и не интересующегося ими никакого. «Шапка на мне золотая, жезл правления — в руках, стою на амвоне, слушатели разинули рты: и не все ли равно, что буду говорить? За все — вознесут, почтут, возведут в икону» — и... «поклонятся Иконе все, живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни» (по-моему — «которые не обрезаны») (Апокалипсис, XIII).— В. Р.-в.

** Да ведь Бог их ненавидел? Как же Он их возненавидел?! Перед безграмотными гуляками (игры в цирке) Константинополя Златоуст мог скрыть, что Бог, конечно, не о праздниках, Им установленных, сказал через пророка Амоса, а об *дурном, пошлом, легкомысленном* настроении духа, в каком или с каким еврей осмеливались праздновать праздники Господни. Вот и у нас за свадьбою часто напиваются, и был бы понятен возглас священника: «ненавижу ваши свадебные гулянья», или сокращено: «ненавижу ваши свадьбы», «эти ваши способы торжествовать брак». Но значило ли бы это в устах его: «чин венчания — отменяется»?! — В. Р.-в.

*** Да для чего же тогда Он, Бог, установил их? Нужно было по крайней мере не поленился объяснить это. Но, впрочем, что же я: ведь ветхозаветные праздники все, как напр. в особенности многодневный праздник кушей, были *полевые или семейные*, с вайями и тимпанами в руках, *глубоко счастливые и радующие народ, подымавшие в нем сердце*. Как же тут можно разреветься-то? А пореветь надо, без этого нет христианства. И «праздники ветхозаветные возненавидел Бог», т. е. возненавидело новое духовенство — собственно чтобы опротестовать место для своих «сред» и «пятниц», для своих «постов» и, словом, рыданий и «панихидки». — В. Р.-в.

**** ?! Просто — страшно читать; или уж очень забавно. Но, во всяком случае, это — сплошное кощунство над Св. Писанием и всем вообще Законом Божьим. — В. Р.-в.

***** Прямо страшно читать. Можно подумать, что Златоуст никогда не раскрывал Библию, чтобы прочесть там *тысячи нежнейших строк* именно о праздниках, об этих радостях человеческих. Но если он читал Библию, то для дерзости его только и найдешь, что ответить из той же главы Апокалипсиса: «И отверз он (и такие, как он) уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его и живущих на небе» (XIII, 6). — В. Р.-в.

говорит Писание, — *воню благоухания* (Быт. VIII, 21), то есть принял принесенное. У Бога, конечно, нет ноздрей: Божество — бестелесно. С жертвенника возносится кверху запах и дым от сжигаемых тел, а зловоннее этого запаха ничего не может быть; однако ж, чтобы ты знал, что Бог то принимает жертвы, то отвергает их, смотря по расположению духа приносящих. Писание называет этот запах и дым вонюю благоухания, а кадило мерзостью, потому что душа возносящих его исполнена великого зловония. Хочешь ли знать, что Бог отвергается, вместе с жертвами, органами, праздниками, фимиамом, и от храма из-за людей, которые собираются в нем? Лучше всего Он показал это на деле, когда в известное время предал храм иудейский в руки варваров *, а потом и совершенно разрушил. Как же глупо и безумно праздновать вместе с людьми, покрытыми бесчестием, оставленными Богом и раздражившими Господа? Если бы кто убил твоего сына, скажи мне: ужели ты мог бы смотреть на такого человека, слушать его ** разговор? Не избежал ли бы ты его, как злого демона, как самого дьявола? Иудеи умертвили Сына твоего Владыки, а ты осмеливаешься сходиться с ними в одном и том же месте? Умерщвленный (Иисус Христос) почтил тебя так, что сделал Своим братом и сонаследником, а ты столь бесславишь Его, что уважаешь убийц и распинателей *** Его и угождаешь им участием в их праздниках, ходишь в скверные места их собраний, вступаешь в нечистые преддверия и участвуешь в бесовской **** трапезе? У них нет ни опресноков, ни пасхи. Что у них нет опресноков, — выслушай от этого слова законодателя (Моисей): *не возможеши жрети пасхи ни в едином от градов твоих, яже Господь Бог твой даст тебе: но токмо на месте, еже избрет Господь Бог твой, призывать им Его ту* (Втр. XVI, 5, 6), разумея здесь Иерусалим. Видишь, как Бог, привязав этот праздник к одному городу, впоследствии разрушил и самый город, чтобы и поневоле отклонить их от прежнего порядка жизни *****? Всякому известно, что Бог предвидел будущее. Для чего же Он собрал их туда со всей вселенной, если предвидел, что этот город погибнет? Не ясно ли, что Он хотел отменить и самый праздник *****?

* Так ведь и о Цареграде можно заметить, что он «попал в руки турок», и о Москве — что она даже при собственных государях «сошла на нет» в смысле столицы; а теперь, после японской войны, и о нас, вообще «православных христианах», что нас «предале Бог в руцѣ язычников, яко Ахаза и Ахава». И вообще красноречию этому нет конца. На то и гомелетика, чтобы не устать. — *В. Р.-в.*

** Вот тут, пожалуй, тайный и *настоящий* смысл Голгофы. «О семени твоём благословятся все народы земные», сказано о народе-любимце, народе избранном. Как же было *все человечество поднять против этого народа* до такой силы ненавистия, чтобы из него только «остаток малый сохранился» (Апокалипс.). Как любимое Богом сделать отвратительным для человечества? Но Златоуст договаривает: и нам нечего разьяснять. «Ты избран Богом? Вот с тебя с живого будут сдирать шкуру за то, что ты сделал» то-то и то-то, «потому что ты — демон, дьявол» (слова Златоуста). — *В. Р.-в.*

*** Вот-вот!! Здесь уже совершенно дух средневековых преследований, дух и наших Кишинева и других городков. «Распи их», — воскликнуть о тысячах, «распи», — сказать о народе Божием, как об этом удостоверено, как об этом сказано в Писании, и воскликнуть это на основании тоже, но другого «Писания». Смысл Голгофы совершенно становится ясен: что его *ноуменально* возводилось на Голгофу вступившее с Богом в завет племя, дрожжи и масло человечества. — *В. Р.-в.*

**** Страшно читать: это сказано о Бого-учрежденном празднике!! Нет, нельзя поверить, чтобы Златоуст когда-нибудь читал Библию. — *В. Р.-в.*

***** ??? — *В. Р.-в.*

***** Слишком сложно и похоже на схоластика: «чтобы отменить еврейские праздники» — Бог не сказал: «не празднуйте их», а привел Тита с войском и побил тысяч 60 народа. Эта тенденция представляет Бога — Аракчеевым земли, весьма любопытна и тоже почти *ноуменальна* у Отцов и благоговейных их слушателей. Бог ненавидит и гонит всех «нехристиан» — это непременно; но затем и у самих христиан не очень любит католиков —

Бог отменил его, а ты последуешь иудеям, о которых пророк говорит: *и кто слеп, разве рабы Мои; и глуши, разве владеющие ими?* (Ис. XLII, 19). В самом деле, к кому не были они неблагодарны и бесчувственны? К апостолам ли, к пророкам ли, к учителям ли своим? Но что и говорить об учителях и пророках, когда они убивали даже детей своих! Они, ведь, закаляли в жертву демонам своих сыновей и дочерей (Пс. CV, 37). Они не познали самой природы и усердствовали соблюдать дни. Попрали родство, забыли детей, Самого Бога, создавшего их: *Бога, рождшаго Тя, оставил еси, и забы Бога питающаго тя* (Втр. XXXII, 18). Оставили Бога и усердствовали соблюдать праздники? *Тя бы мог сказать это? И Христос праздновал (с иудеями) пасху, не для того, чтобы мы праздновали ее с ними, но чтобы посредством тени ввести истину* *. Он и обрезыванию подвергся, и наблюдал субботы, и совершал их праздники, и вкушал опресноки, и все это делал в Иерусалиме; но мы ни к чему этому не обязаны; напротив, Павел взывает к нам: *лице обрезается — Христос вас ничтоже пользуется* (Гал. V, 2). И опять об опресноках: *тем же да празднуем, не в квасе все, ни в квасе злобы и лукавства, но в безквасных чистоты и истины* (I Кор. V, 8). Наши опресноки состоят не в замешанной муке, но в безукоризненном поведении и добродетельной жизни **.

Для чего же Христос совершил тогда пасху? Так как древняя пасха была образом будущей, а за образом надлежало следовать истине, то Христос, наперед показав тень, потом предложил на трапезе и истину. Иудейская пасха есть образ, а христианская — истина. Смотри, какая между ними разность: та избавляла от телесной смерти, а эта прекратила гнев (Божий), которому подпала вся вселенная; та избавляла некогда от Египта, эта освободила от идолослужения; та погубила фараона, эта — дьявола, после той — Палестина, после этой — небо. Что же ты идешь со свечью, когда уже взошло солнце? Зачем хочешь питаться молоком, когда дается тебе твердая пища? Для того тебя и кормили молоком, чтобы ты не оставался на молоке; для того и светила тебе свеча, чтобы ты пришел к солнцу ***. А с появлением истины, тень уже скрывается и делается неуместною. Итак, не представляй мне этого в возражение, а докажи, что Христос повелел делать это и нам. Я, напротив, докажу, что Он не только не повелел нам наблюдать дней Моисеева закона, но и освободил нас от этой необходимости. Послушай, что говорит Павел (а когда назову Павла, разумею Христа, потому

у православных, «схизматиков» (греков и русских) — у католиков, у них обоих и согласно — лютеран, у лютеран — православных и католиков. Наконец, если взять тесное стадо напр. одних православных, то окажется, что и из них Он почти всех не любит («за тяжкие грехи»). И если выбрать последний, ничтожный остаток праведных и удостоверенно «угодных», то и относительно их сохраняется все-таки розга моральной аксиомы: «Бог кого любит — того и наказует». Так что кого собственно «любит» «Бог любви», без двусмысленности («любит — наказует») и экивоков — совершенно непонятно. — В. Р.-в.

* ??? — В. Р.-в.

** Скажите, пожалуйста! Ну, а однако, когда дело дошло до *точного способа печения просфор*, из пресного или кислого теста (так, кажется) их печь, то и раскололся весь христианский мир. От Гибралтара до Эльбы и от Шотландии до Сицилии поднялись кулаки за «кислую квашню», и от Дуная до Месопотамии поднялись другие кулаки («за квашню пресную»). А из-за «поведения и добродетельной жизни» не только в сем случае, но и ни в каком христиане не разделялись, не поссорились никогда, и не выделили ни одной секты. Так что во все дни христианства и во всех уголках мира христианского это всегда и для всех было «все равно». — В. Р.-в.

*** Удивительно: под «солнцем» — а так ссорятся. И сам Златоуст до того «укусив» был в своих проповедях, что его пришлось силой выпроводить из Константинополя. А все — «небо», «солнце», «добродетели и безукоризненное поведение». Тогда для чего же кусать и кого кусать? Но «кусали» в христианстве всегда. — В. Р.-в.

что Он движет душою Павла). Так что же говорит он? *Дни смотрите, и месяцы, и времена, и лета. Боюсь о вас, еда како все трудихся в вас* (Гал. IV, 10, 11). И опять: *елижды бо ащеясте хлеб сей, и чашу сию пиете — смерть Господню возвещаете* (I Кор. XI, 26). А словом — *елижды* (всякий раз) апостол отдал на волю (христианину, когда) приступать (к таинству евхаристии) и, таким образом, вовсе освободил его от наблюдения времен *. И так, когда настало совершеннейшее состояние, не будем возвращаться к прежнему, — не будем наблюдать дней, времен и годов, но во всем неуклонно последуем Церкви, всему предпочитая любовь и мир».

(«Слово против иудеев и иудействующих». I—III. Творения Иоанна Златоуста, т. 1, кн. 2. 1895 г., стр. 646—662.)

Одним словом: «мы — лучше, и все наше лучше». И хоть это против Бога, но «это ничего не значит, ибо мы все-таки — лучше». Счастливое убеждение, «благодатная» психология!

* Зачем же тогда пасхалию-то ввели, если «не нужно наблюдать времен»? Но, собственно, через «не надо времен» оттолкнулись от сроков Божиих, от сроков еще Синайских, от этих прекрасных «новомесечий», «жатв», «посево», *природы*, — дабы ввести свои «усекновения главы» и разные «успения», — все частицы гроба и гроба, все слезы и слезы: и вот эти новые «гробовые сроки» уже никто не посмел бы и до сих пор не смеет никто сдвинуть. — В. Р.-в.

Комментарии и указатель имен

Книга Розанова «Около церковных стен» вышла в октябре 1905 г. (хотя на самой книге и обозначен год 1906-й). Она собрана, главным образом, из статей, которые Розанов публиковал в периодике в конце 1890-х и начале 1900-х годов. Большая часть статей — газетные (особенно это касается первого тома), многие из них публиковались без подписи, т. е. были своего рода «заметками по случаю». В книге же эти, казалось бы, «проходные» материалы зазвучали более весомо. Достаточно ознакомиться с главой «Слово Божие в нашем учении» в первом томе или «Спор об апокрифах» во втором, чтобы уловить, как из малозаметных «реплик в газете» складывается драматический сюжет. Так, случай со смертью учительницы Еремеевой — вызвавший «Необходимое разъяснение» члена Ученого комитета при Св. Синоде А. Ванчакова — становится тем «зернышком», из которого вырастает картина бедствий сельской школы (последующие статьи).

Обильное использование читательских писем (многие из них были опубликованы на страницах «Нового времени» под рубрикой «Письма в редакцию») наполнило эти главы множеством чужих голосов — и в поддержку Розанова, и в его осуждение, что придавало основному сюжету редкий драматический накал. Иногда материалы, составляющие подобные главы, публиковались в одном номере газеты, но Розанов при этом не придерживался строгой хронологии. Более поздние публикации могли переместиться в начало главы, как и более ранние — в ее конец. Иными словами, композиция статей, заметок и читательских писем играет у Розанова довольно важную роль. При этом из чужих материалов Розанов старался включать лишь то, что лучше оттеняло не *мысль*, а *тон* книги. Характерен в этом смысле «Спор об апокрифах»: Розанов включает статьи Бронзова и Папкова, но пропускает статью А. Киреева (см.: *Киреев А. Письмо в редакцию // Новое время. 1902. 12 марта. № 9346*).

Широко использует Розанов и жанр комментария. Позже, в 1926 году, прошедший «школу» Розанова Георгий Адамович, пытаясь познакомить читателя с интересным «человеческим документом», опубликованным в советской печати, так обрисовал «комментаторство» Розанова: «Мне кажется, что комментари к этому дневнику мог бы сделать один только Розанов, — окружить его сетью тончайших догадок, пояснений, вскриков, намеков. Розанов весь оживал над такими «человеческими документами», он вился и трепетал около них» (Звено. Париж, 1926. 21 февраля. № 160. С. 1).

Многие книги Розанова, вышедшие и до, и после «Около церковных стен», в том числе и близкие по тематике «В мире неясного и нерешенного» (1901), «Темный лик» (1911) и «Люди лунного света» (1911), включают в себя замечательные образцы розановских комментариев. На это дарование Розанова — умение оживить обычные читательские письма — обратил внимание в своей рецензии Андрей Белый: «Розанов, хватаясь за любую неинтересную тему, незаметно свертывает в излюбленную сторону. Тогда он бережно прибирает свою тему: тут оставит совершенно бесцветное письмо какого-то священника, наставит восклицательных знаков, снабдит сверкающим примечанием, и вдруг от совершенно обыденных слов протянутся всюду указательные пальцы в одну точку; тут спрячется сам и точно нежной акварелью пройдет, изобразив беседу живых лиц,

натравив их друг на друга, запутает; и потом вдруг выскочит из засады, подмигнуть: «Видите господя: я прав!»...» (Весы. 1906. № 1. С. 69).

Любопытно, что составленная из статей примерно того же периода (конец 1890-х — первая половина 1900-х гг.) книга «Итальянские впечатления» (статья «Кто задерживает обновление церкви?», кстати, — под разными названиями — вошла и в ту и другую книгу) вообще не использует прием введения «чужого текста», здесь нет этого «многоголосия» чужих писем, заметок, реплик, окружающих авторский «голос», как в книге «Около церковных стен». И этот факт имеет свое объяснение. Розанов вводит «человеческие документы» только в те книги, которые носят подчеркнuto проблемный характер. Там это «poleмическое многоголосие» (живые голоса сторонников и оппонентов) дает возможность подчеркнуть именно «неясность» и «нерешенность» затронутых вопросов, сложность самого их решения. Вместе с тем очевиднее становится и то, что тема, выбранная автором, действительно тема «животрепещущая», затрагивающая чувства и умы многих и многих людей.

В ряде рецензий на книгу «Около церковных стен» заметно то же «диалогическое начало», которое отчетливо обозначилось и в самой книге, в ее главах «с poleмикой», поскольку среди рецензентов книги оказались и ее «герои». Одним из первых на новое произведение Розанова откликнулся священник Г. Петров. Отметив, что «церковные журналы и церковные писатели чаще всего недовольны писаниями В. Розанова по церковным вопросам, считают его своим противником и пристрастным обличителем», он назвал ошибочной эту точку зрения: «В. Розанов не враг принципиальный духовенства. Он строгий судия, предъявляющий к духовенству требования, соответствующие величию пастырского служения. Он — человек верующий. Он любит церковь в ее даже художественно-бытовых и обрядовых проявлениях. Он сознает высокое назначение церкви в жизни как отдельных лиц, так и целых обществ. Он живо чувствует потребность проявления в жизни сокрытых в церкви сил и дарований и с болью сердца, с мучительною скорбью видит, что духовенство бездеятельно, что дело пастырское в небрежении, что царство Христа названными слугами Его в людях не воплощается» (Русское слово. 1905. 30 ноября. № 316).

Другой, более эпизодический «герой» книги, М. М. Тареев, откликнулся на первый том рецензией, состоящей почти целиком из большой цитаты. При этом Тареев объяснил столь обильное цитирование тем, что «этим путем скорее можно дать понятие о тоне книги, о ее направлении», поскольку «статьи рассматриваемого сборника как-то не поддаются изложению. В них важнее не *что*, а *как*: в последнем именно и талантливость автора, и душевность его пера» (Богословский вестник. 1905. № 11. С. 547). По мнению Тареева, книга Розанова, «содержание и тон хотя и верны общему направлению последних писаний его, но ограничиваются сферами общедоступными, берутся в масштабе популярном, без той остроты и специфичности, с которых начинается слишком индивидуальное» (там же. С. 543).

Совершенно иной была реакция этого рецензента на второй том «Около церковных стен», где его имя появилось в контексте статьи Розанова о Ф. Бухареве. Теперь Тареев ответил на книгу большой статьей «Христианство и религия В. В. Розанова». Главное возражение Тареева перепелось с его собственной попыткой обрисовать задачи нравственной философии:

«Первая (богословская) часть ее — привести чистое евангельское христианство к источникам жизни и ее корням. Вторая часть нравственной философии — раскрытие красоты самой жизни в ее источниках, в ее сочном благоухании, в ее изначальной и вечной влажности, в ее непрерывном воспроизведении и неиссякаемой радости... Эту «половину дела» с яркою талантливостью и художественным совершенством выполнил В. В. Розанов. И те, которым дорого «евангелие в жизни», с радостью протянут руку этому «жизнелюбцу», ненавидя символы, отторгавшие дух божественный от жизни. Но пусть и «жизнелюбцы» раздвинут рамки жизни и, наряду с физиологией, дадут в ней место не только социальному

началу, но и высшему духовному подвигу... Пусть они поймут, что как жизнь нужна для идеи, чтобы ей воплотиться, и плоть нужна для духа, чтобы ему реализоваться, и язычество нужно для христианства, чтобы быть ему живым, — так и плотскому язычеству нужен христианский дух, чтобы оно не было мерзкою плотью...» (Богословский вестник. 1907. № 12. С. 661).

Наиболее сильной частью книги Розанова Тареев признал конец второго тома: «В целях борьбы с церковью и христианством это самое разрушительное и неотразимое, что только было сказано на протяжении веков... Если церковь и христианство есть не что иное, как религия смерти, то оно временно-историческое явление, искусственно привитое европейскому человечеству и уже пережитое им. Монашеская религия ныне встречается только ненавистью и презрением. Но... характеристика, данная Розановым, относится к азиатскому буддизму, а не христианству» (там же. С. 657).

Несомненный интерес представляет и рецензия Андрея Белого (подписанная подлинным именем писателя: Борис Бугаев) в «Весях», где он назвал Розанова одним из учителей своего литературного поколения. В книге «Около церковных стен» Белый увидел «кусталога» Розанова. «...«Около церковных стен» — собрание статей и заметок, написанных не на главные темы Розанова. Здесь нет огня, оплеснувшего нас из книги «В мире неясного и нерешенного», ни красоты статей, напечатанных в «Мире искусств», ни внушительности «Семейного вопроса»...» (Весы. 1906. № 1. С. 69).

Высоко оценив отдельные статьи из книги, Белый вместе с тем заметил о них: «Прочитаешь — скажешь: глубоко, занимательно. И отложишь, принимаясь за круг обычных дел. И вдруг испугаешься при мысли, что, быть может, оттого-то и нечего делать с этими бесконечно-тонкими узорами и разводами, что они относятся не к тому, что будет, а к тому, что могло бы быть, да не случилось. Неужели в таком случае интерес к ним — антикварный интерес? Дай Бог, чтобы это не было так» (там же. С. 70).

На книгу откликнулись также Е. А. Ляцкий, Лазарев-ъ, А. М. Белов, Д. В. Философов (см.: Сукач В. Г. Материалы к библиографии В. В. Розанова // *De visu*. 1993. № 3). Была отмечена «страстность», с какою написана книга Розанова, «фундаментальной по глубине мысли» была названа «Таблица вопросов религиозно-философских» (Лазарев-ъ. Новое время. 1906. 17 мая).

В предисловии к первому тому Розанов заявил, что содержание книги «Около церковных стен» — это лишь «арифметика» церковной проблематики. «Алгеброй» он назвал статьи, которые готовились для книги «В темных религиозных лучах». Но в конце второго тома, в «Таблице вопросов религиозно-философских», читатель обнаруживает уже своеобразное введение в обещанную Розановым «алгебру». Здесь уже звучат мотивы, которые войдут в «Темный лик».

Содержание книги «Около церковных стен» дается в том виде, как было напечатано в первом издании, хотя названия в тексте и Содержании не всегда совпадают. В Содержании Розанов нередко разъяснял темы своих статей.

В настоящем томе учтены комментарии в книгах: *Розанов В. В. Религия. Философия. Культура*. М.: Республика, 1992; *Розанов В. В. Несовместимые контрасты жития*. М.: Искусство, 1990; а также: *Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев)*. О духовных потребностях жизни. М.: Столица, 1991.

Текст публикуется по изданию: *Розанов В. В. Около церковных стен*. СПб., 1906. Т. 1—2.

ТОМ ПЕРВЫЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

С. 7. ...что за праздник «Покрова Пресвятой Богородицы»? — Праздник Покрова Богородицы отмечается в православной церкви 1 октября (14 по нов. стилю) в честь чудесного спасения Константинополя от нашествия «сарацин» (X в.): по преданию, Богородица распространила свой покров (омофор) над христианами и ободренные греки отбили сарацинов.

...на одном из *Религиозно-философских Собраний в 1903 году* — см.: Новый путь. 1903. № 3 (Записки Религиозно-философских собраний в Петербурге. С. 135). Религиозно-философские собрания начались в Петербурге по инициативе Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, Д. В. Filosofova и В. В. Розанова в 1901 г., 5 апреля 1903-го были запрещены. Последней темой, вызвавшей их закрытие, был вопрос о христианских догматах. За их незыблемость выступили П. И. Лепорский и С. Г. Рункевич. Мережковский и Розанов отстаивали религиозное творчество (см.: Новый путь. 1903. № 11, 12; 1904. № 1).

С. 8. ...*В окно несется: «Иже Херувимы».* — «Иже херувимы тайно образующе...» (Херувимская песнь), духовная песнь православных христиан, исполняемая во время литургии верных при перенесении святых даров. Розанов вспоминает свою жизнь в Ельце в доме А. А. Рудневой рядом с церковью Введения.

С. 9. «*После арифметики*» — сборник, о котором идет речь, под позднейшим заглавием «В темных религиозных лучах» не был пропущен цензурой (полностью издан в 1994 г. в настоящем Собр. соч. Розанова), свет увидели две книги: «Темный лик» и «Люди лунного света» (1911). Первую из названных книг главным образом и составили перечисленные в тексте статьи: «Трепетное древо» (Мир искусства. 1901. № 10. С. 245—248), «Случай» (Мир искусства. 1900. № 23—24. С. 217—226, в книгу «Темный лик» вошла под заглавием: «Случай в деревне»), «Об основаниях церковной юрисдикции, или Христос — Судия мира» (Новый путь. 1903. № 4. С. 134—150, в книгу «Темный лик» вошла под заглавием: «Христос — Судия мира»), «Святость и смерть» (Новый путь. 1903. № 7. С. 161—165), «Тревожная ночь» (Северные цветы на 1902 г. М.: Скорпион, 1902. С. 3—15), «Об Иисусе-сладчайшем и горьких плодах мира» (доклад, прочитанный на заседании Религиозно-философского общества 21 ноября 1907 г., опубликованный в журнале «Русская мысль». 1908. № 1. С. 33—42).

РЕЛИГИЯ КАК СВЕТ И РАДОСТЬ

Впервые: Новое время. 1899. 14 апреля. № 8301.

С. 12. *действительные монахи* — *Леонтьев К. Н.* Наши новые христиане — Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой. М., 1882. С. 30.

С. 13. «*История рационализма*» *Лекки* — Лекки, Вильям Эдуард Гартполь. История возникновения и влияния рационализма в Европе: в 2 т. Пер. с англ. А. Н. Пыпина. СПб.: Поляков, 1871—1872. С. 30—32.

«*Кто равен Мне в поднебесной*» — Дан. 4, 27.

С. 14. «*стой, солнце, и не движься, луна*» — Ис. Н. 10.12.

Бог есть любовь — 1 Ин. 4,8.

«*...дьявол есть отец лжи и человеконенавистник искони*» — Ин. 8,44.

Ходит Ректор... — *Знаменский П.* История Казанской духовной академии. Казань, 1891. Вып. 1. С. 171. Стишок «Ходит ректор, Иван Грозный, / Палкою стучит...» рассказывали об архимандрите Иоанне Соколове (1818—1869).

С. 15. *Кто говорил о красоте полевых лилий...* — *Петров Г.* Евангелие как основа жизни. СПб., 1898. С. 79.

- С. 16. «...не любите мира, ни того, что в мире» — 1 Ин. 2,15.
Христианство прямо утверждает...— Петров Г. Указ. соч. С. 79.
- С. 17. *Проповедь Спасителя...*— Петров Г. Указ соч. С. 80—81.
Морельщина — существовала лишь на первых порах раскола, морельщики замаривали себя голодом из страха мучений от «гонителей-никониан».
- С. 18. *Той бысть язвен за грехи наши...*— Ис. 53,5.
...«меньший в царстве благодати — больше Иоанна Крестителя и Моисея» — Мф. 11,11.
- С. 19. «*Несть человек...*» — 3 Цар. 8,46.
Элои, Элои...— Мр. 15,34.
- С. 20. «*Пастырство... Христа Спасителя*».— Это исследование протоиерея С. Соллертинского, участника Религиозно-философских собраний и оппонента В. В. Розанова, основанное на его лекциях в Санкт-Петербургской духовной академии (1884—1885), было напечатано в 1887 г. и оказало значительное влияние на русское богословие.

ФЕДОСЕЕВЦЫ В РИГЕ

Впервые: Новое время. 1899. 27 августа. № 8440.

С. 22. *Федосеевцы* — старообрядческое согласие в беспоповщине, основанное на рубеже XVII—XVIII вв. дьяком Феодосием Васильевым, проповедовало непримиримость к государству и официальной православной церкви, строгий аскетизм и безбрачие.

С. 26. *Солея* — возвышение перед иконостасом в православной церкви.
«Всякое дыхание хвалит Господа» — Пс. 150, 6.

ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ, ИНТЕРЕСНОЕ ВРЕМЯ И ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ

Впервые: Новое время. 1900. 11 июня. № 8753.

С. 29. «*Жизнь и труды М. П. Погодина*» — труд известного историка литературы и общественной мысли Николая Платоновича Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина» выходил в Санкт-Петербурге с 1888 по 1910 г. и не был завершен (всего вышло 22 тома). Книга 14-я вышла в 1900 г. См. также рец. Розанова на кн. 1—9 в книге «Религия и культура» (Спб., 1899).

«*Сборник сочинений Н. П. Гилярова-Платонова...*— Оба тома вышли в Москве в 1899—1900 гг. В более ранней рецензии Розанов писал, что в этом издании Гилярова-Платонова читателю «открывался чрезвычайный ум, показывался глубокий мыслитель, которого Россия не успела заметить у себя» (Новое время. Приложение. 1899. 9 июня).

С. 37. «*Письма к духовному юношеству*» — Письма С. А. Рачинского к духовному юношеству о трезвости. М., 1899.

НА ЧЕРНОМ И ЖЕЛТОМ МАТЕРИКАХ

Впервые: Новое время. 1900. 18 июня. № 8730. Под названием «Лицемерие» (подпись «Ибис»).

С. 41. *Война с бурами...*— англо-бурская война (1899—1902), в результате которой в 1902 г. республики Оранжевое свободное государство и Трансвааль были превращены в английские колонии.

...в лице Панамы... — имеется в виду известная афера правления акционерной компании, созданной во Франции в 1879 г. для сооружения Панамского канала, окончившаяся крахом компании в 1888 г.

С. 42. *Волны новой борьбы, на этот раз в Китае...* — Ихэтуаньское (боксерское) восстание в Китае (1899—1901).

Боролась Пруссия с Австрией — австро-прусская война 1866 г., кончившаяся поражением Австрии.

...так внимали только февральским дням в Париже, мартовским в Берлине — революционные события во Франции и Германии: 24 февраля 1848 г. свергнута монархия во Франции, 18 марта 1848 г. произошло восстание в Берлине.

ЖЕЛТЫЙ ЧЕЛОВЕК В ПЕРЕДЕЛКЕ

Впервые: Новое время. 1900. 28 июля. № 8770.

С. 48. *«Фу, белоглазая чужь!»*... — «чужь белоглазая» — так в первоначальных русских летописях назывались финские племена к востоку от Онежского озера.

С. 55. *Триденцкий* (Триентский) *собор*. — Собор католической церкви, проходил в 1545—1547, 1551—1552, 1562—1563 гг. в г. Триент (совр. Тренто), в 1547—1549 гг. — в Болонье.

Аугсбургское исповедание — изложение основ лютеранства, составленное в 1530 г. протестантским богословом, сподвижником Лютера Филиппом Меланхтоном.

Никейское исповедание — составленная на первом Никейском соборе (325) формула христианского вероучения.

НАШИ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ УСОПШИЕ

Впервые: Новое время. 1900. 24 сентября. № 8828. Под названием: «Живые и мертвые».

С. 63. *И хоть бесчувственному телу...* — А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

С. 64. *Я похоронил малютку-дочь...* — речь идет о похоронах первой дочери В. В. Розанова Нади, которая умерла в Петербурге 25 сентября 1893 г., не дожив до года.

ИЗ-ЗА ЧЕГО СЫР-БОР ЗАГОРЕЛСЯ

Статья должна была появиться в «Новом времени», но была снята с набора. Впервые в кн.: *Розанов В. В.* Около церковных стен.

С. 66. *Прочтя в № 8855 «Нов. Врем.» статью...* — А. Киреев. К старокатолическому движению.

В довольно наивных рассуждениях Хомякова, во 2-м богословском томе его «Сочинений»... — Хомяков А. С. Сочинения. В 4 т. Под ред. и с предисл. Ю. Самарина. Прага, 1867. Т. 2.

С. 67. *«Симон Ионин — паси агнцев моих, паси овец моих»* — Ин. 21.15, 21.16. *«...ты — иди за мною, а этот пребудет, доколе я не приду»* — Ин. 21, 21—22.

С. 68. *Да это — новозаветная милость (одежда), как и брошенная Илиєю пророком ученику своему Елисею...*— 3 Цар. 19, 19.

«Миссионерское обозрение»... — журнал «Миссионерское обозрение» издавался в Санкт-Петербурге с 1896 по 1917 г.

С. 69. *...ты будешь, как и Я же, распят, но — там, в Риме* — вольный пересказ евангельского сюжета; ср. Ин. 21, 15—19.

С. 70. «*Павел раб Иисуса Христа, признанный Апостол*»...— Рим. 1, 1.

...«всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и мир»...— Рим. 1, 7.

СЛОВО БОЖИЕ В НАШЕМ УЧЕЬИ

I. Закон Божий в училищах

Впервые: Новое время. 1900. 5 февраля (под назв.: «Закон Божий в гимназиях») и 19 марта (под назв.: «Нравственное воздействие закона Божия в школах»).

II. Семинаристы-студенты

Впервые: Новое время. 1901. 22 июля. № 9116 (без подписи).

III. Слово Божие в нашем ученьи

Впервые: Новое время. 1901. 16 и 26 августа. № 9141, 9151. Исползованные Розановым письма законоучителя священника М. Лисицына «Кто виноват» и «Еще о слове Божиим в школе» были опубликованы в «Новом времени» от 19 и 23 августа 1901 г. (№ 9144 и 9148).

С. 75. *Палимпсест* — рукопись на пергаменте поверх соскобленного или смытого текста.

С. 80. *...«окропиши мя исопом и очищуся, омыеши мя и паче снега убелюся».*— Пс. 50,9.

С. 82. «*Ты о многом заботишься, Марфа, а между тем — единое на потребу*»...— Лк. 10, 41—42.

IV. Весеннее и осеннее древонасаждение

Впервые: Новое время. 1901. 25 августа. № 9150 (без подписи).

С. 82. *Из груди благой природы...*— Ф. Шиллер. Песнь радости. Пер. Ф. И. Тютчева (1823).

V. Физическое и нравственное

воспитание юношества

Впервые: Новое время. 1900. 30 сентября. № 8301. Под названием: «Местная личная инициатива» (без подписи).

С. 83. «*Комитет содействия молодым людям в достижении нравственного и физического воспитания*» — был основан американцем Джемсом Стоксом и открыт 22 сентября 1900 г.

VI. Рождественские елки

в сельской школе

Впервые: Новое время. 1901. 17 декабря. № 9264.

VII. Смерть учительницы Еремеевой

Впервые: Новое время. 1901. 5 августа. № 9130. Под названием «Важный случай» (без подписи): «Необходимое разъяснение» члена Учебного комитета при Св. Синоде А. Ванчакова — ответ на статью Розанова — было опубликовано в «Новом времени» 18 августа (№ 9143). На эту публикацию последовал отклик председателя Ручьевского церковно-приходского попечительства Александра Зноско-Боровского (см.: Письмо в редакцию // Новое время. 1901. 29 августа. № 9154), из которого следовало, что «в отношении школы попечительство не принимало никакого участия», а комната учительницы Еремеевой представляла собой крошечное помещение без дверей и окон, т. е. то, что «называется углом».

С. 87. «Вестник Новгородского Земства»...— выходил с 1899 по 1906 г. два раза в месяц.

VIII. Нищета деревенской школы

Впервые: Новое время. 1901. 19 августа. № 9144. Под названием: «Бедствие деревенской школы» (без подписи). Письма К. Гре-ва «О школах грамоты» и «Драгоценные черты» церковных школ грамоты» были напечатаны в «Новом времени» 25 и 20 августа 1901 г., № 9150 и № 9145 (Розанов изменил последовательность этих писем).

IX. Педагогические архаизмы

Впервые: Новое время. 1901. 21 августа. № 9146. Под названием: «Бесплезные архаизмы» (без подписи).

X. О деревенском ученьи

Впервые: Новое время. 1901. 30 августа. № 9155. Под названием: «Срок деревенского ученья» (без подписи).

XI. Нечто о мыле, грахоме и «Заветах Минина и Пожарского»

Впервые: Новое время. 1901. 24 августа. № 9149. Под названием: «Народная темнота» (без подписи).

С. 97. *Далекая восточная газетка («Приамур. Вед.»)*...— газета «Приамурские ведомости» выходила в Харбине с 1894 по 1918 г.

МИССИОНЕРСТВО И МИССИОНЕРЫ

Миссионерство и миссионеры

Впервые: Новое время. 1901. 30 октября. № 9216. Под названием: «Из разговоров и литературы на религиозные темы».

С. 99. «*Ответ гр. Л. Толстого св. Синоду*» — статья Л. Н. Толстого «Ответ на определение синода от 20—22 февраля и на полученные мною письма» была опубликована в «Листках Свободного слова» (Лондон, 1901, № 22) и с пропуском некоторых мест перепечатана в журнале «Миссионерское обозрение» (1901. № 6).

С. 103. ...я читал в лондонском издании Кельсиева...— по предложению Герцена, Вас. Ив. Кельсиев подготовил и сопроводил вступительной статьей 4 выпуска под названием: «Сборник правительственных сведений о раскольниках», изданных в Лондоне с 1860 по 1862 г., данная статья вошла в книгу Розанова «Темный лик» (1911).

С. 106. ...если глаз твой правый соблазнил тебя...— Мф. 5,29—30.

Голоса из провинции о миссионерстве

Впервые: Новое время. 1901. 29 ноября. № 9246.

С. 109. ...и видение Апокалипсиса о 24 000 старцах, которые «не осквернились женами»...— смешаны два фрагмента из «Апокалипсиса» о 24 старцах, сидящих на 24 престолах в белых одеждах (Откр. 4,4) и 144 тысячах, «искупленных от земли», которые «не осквернились с женами» (Откр. 14, 4).

...архим. Хрисанф в III-м томе своей классической «Истории религии древнего мира».— Хрисанф (Ретивцев В. Н.). Религии древнего мира в их отношении к христианству. Историческое исследование. Т. 3. Библейское вероучение в сопоставлении с религиозными воззрениями древности и его отличительный характер. Учение о язычестве у древних отцов и учителей церкви. Взгляд на состояние вопроса о язычестве в современном богословии. СПб., 1878.

С. 111. «...оставь мертвым погребать мертвых» — Мф. 8, 22, Лк. 9, 60.

«Раздай имение нищим и возьми крест свой и иди»...— Мк. 10, 21.

...«взгляните на птицу небесных: они не сеют, не жнут» — Мф. 6,26.

«Не на сей горе и не в Иерусалимском храме...— Ин. 4, 21.

С. 112. «Я емь лоза и вы ветви»...— Ин. 15, 5.

Женщина, когда рождает...— Ин. 16, 21.

С. 113. ...Златоуст громил императрицу Феодору, супругу Юстиниана Великого.— Иоанн Златоуст жил до Юстиниана и Феодоры, он порицал за пристрастие к роскоши и суетности знатных дам, в результате чего императрица Евдоксия, приняв эти порицания на свой счет, подвергла Иоанна Златоуста преследованиям. О развратном поведении императора Юстиниана и его жены Феодоры писал Прокопий Кессарийский (*Прокопий Кессарийский*. Тайная история. М., 1991).

С. 118. Малеванцы — христианская секта, имеющая много общего с хлыстами, основанная в конце XIX в. на Украине К. Малеванным, который объявил себя Христом.

О больных старообрядцах

Впервые: Новое время. 1901. 6 сентября. № 9162.

О совести

Впервые: Новое время. 1901. 7 октября. № 9193.

С. 122. «Свобода совести, как христианская основа» — статья епископа Никанора в «Московских ведомостях» от 3 октября 1901 г.

В их сердце дремлет совесть — А. С. Пушкин. Братья-разбойники (1821—1822).

Совесьть — отношение к Богу — отношение к Церкви

Впервые: Новый путь. 1903. № 4. Записки Религиозно-философских собраний в С.-Петербурге. С. 209—213.

С. 125. «Вложи персты в язвы и ощупай»...— Ин. 20, 25.

...*блаженный Августин в борьбе против донатистов*...— Движение донатистов возникло в Северной Африке в начале IV в. в период гонений на христиан. Донатисты возрождали раннехристианский культ мучеников, требовали чистоты церкви, святости ее членов. Главный оппонент донатистов, Августин, доказывал спасающую силу церкви вне зависимости от святости и нравственных качеств ее членов.

С. 126. ...*Стефан Яворский написал громадную книгу «Камень веры»*...— Книга «Камень веры, православным церкви святых на утверждение и духовное созидание, премыкающимся же о камень претыкания и соблазна — на восстание и исправление», направленная против лютеран, была окончена в 1718 г., но была издана только в 1728 г. с разрешения верховного тайного совета.

ЛЮДИ И КНИГИ ОКОЛО СТЕНЫ ЦЕРКОВНОЙ

Об одном сомнении

гр. Л. Н. Толстого

Впервые: Миссионерское обозрение. 1901. № 7—8. С. 89—90. Под названием: «О главном сомнении гр. Л. Н. Толстого» с сокращениями.

С. 129. «*Детство и отрочество*» — имеются в виду повести Л. Н. Толстого «Детство» (1851) и «Отрочество» (1854).

...«*пейте Мою кровь, ешьте Мою плоть*»...— Ин. 6, 54.

28 января 1881—1901 г.

Впервые: Новое время. 1901. 28 января. № 8952.

С. 130. «*L'ancien régime et la révolution*» — сочинение А. Токвиля «Старый порядок и революция» (1856).

С. 131. «*Папа покинет бессильных королей и обратится к демократии*»...— из «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского за май — июль 1877 г. Гл. 3.

«*Бисмарк отлетит в сторону...*» — Достоевский Ф. М. Из записной тетради 1880—1881 гг. // Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 27. С. 59.

На панихиде по Вл. С. Соловьеве

Впервые: Новое время. 1901. 1 августа. № 9126.

С. 133. ...*посвятивший памяти деда «Оправдание добра»*...— Соловьев Вл. Оправдание добра. Нравственная философия. СПб., 1897. Книге предпослано следующее посвящение: «Посвящается моему отцу историку Сергею Михайловичу Соловьеву и деду священнику Михаилу Васильевичу Соловьеву с чувством живой признательности и вечной связи».

Кажется, он чувствовал себя в родном гнезде только у Иматры, которую так часто любил посещать.— В Финляндии Соловьев жил с осени 1894 до весны 1895 г. Иматре посвящено одноименное стихотворение Вл. Соловьева (январь 1895 г.).

...*хотя в «Кризисе западной философии» и выступил он «против позитивизма»*...— Соловьев Вл. Кризис западной философии. Против позитивистов. М., 1874.

Скептический ум

Впервые: Новое время. 1901. 23 ноября. № 9240. Дополнение — рецензия на книгу: *Победоносцев К.* Воспитание характера в школе. СПб., 1900, представляющую собой перевод брошюры Е.-А. Barnett. *Common sense in education and teaching.* London, 1899. (Новое время. 1900. 31 мая. № 8712.)

С. 134. *Пятое издание книги К. П. Победоносцева «Московский сборник»...*— Московский сборник. Изд. 5-е. М., 1901. Книгу составили произведения Победоносцева, С. Рачинского, Карла-Густава Каруса, Томаса Карлейля и др.

С. 135. *«Срывая с дерева засохшие листья...»* — стихотворение Фридриха фон Саллета (1812—1843) в пер. К. Победоносцева.

С. 136. *«И счастье было так возможно»...*— А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Гл. 8, 42 (см.: Московский сборник. С. 126).

Его небольшая книжка «Вечная память»...— *Победоносцев К. П.* Вечная память. Воспоминания о почивших. М., 1896.

С. 137. *«Дух же уныния, лобначалия и празднословия отжени от меня»* — великопостная молитва Ефрема Сирина.

«Ума холодных наблюдений...» — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Посвящение.

С. 139. *Во Франции был великий теоретик Буало...*— имеется в виду трактат Буало «Искусство поэзии» (1674), написанный стихами.

С. 140. *«В начале жизни школу помню я...»* — стихотворение А. С. Пушкина 1830 г.

«Здесь — я владею, я — люблю»...— М. Ю. Лермонтов. Демон. Ч. 2, IX.

Из оклеветанной книги

Первая публикация не установлена.

С. 142. *Опресноки* — хлеб из пресного неквашеного теста. Употребление католиками опресноков при причастии послужило одним из поводов к спору между православным патриархом и папой около 867 г.

С. 146. *Синедрион* — верховное судебное политическое учреждение иудеев в Иерусалиме, состояло из 72 членов, под председательством первосвященника.

Благовидов и его книга «Обер-прокуроры Св. Синода в XVIII и в первой половине XIX столетия»

Впервые: Новое время. 1901. 28 января. № 8952.

Талантливость и бесталанность в духовенстве

Первая публикация не установлена.

С. 149. *Так решал, эти дни, в одной распространенной газете...*— имеется в виду «Новое время».

С. 153. *...«последние — будут первыми, а первые — последними».*— Мф. 19, 30; 20, 16; Мк. 10, 31; Лк. 13.30.

Писатели-целители

Раздел составили две рецензии на книгу: *Петров Г. К свету* (Новое время. 1901. 17 октября. № 9203, прилож.) и на книгу: *Независимый*. Как нам жить. Этика обыденной жизни (Новое время. 1898. 30 сентября. № 8115, прилож.).

С. 153. *...он издал брошюрки...*— *Петров Г. С. Зерна добра: Сборник статей*. М., 1901; *Петров Г. С. Долой пьянство: Сборник статей*. М., 1901; *Петров Г. С. Божьи работники: Сборник статей*. М., 1901; *Петров Г. С. Христос Воскресе: Сборник рассказов для детей*. М., 1901.

С. 154. *Псевдоним едва ли удобен в книге...*— под псевдонимом Независимый выступал писатель Иер. Иер. Ясинский (1850—1931).

НЕБЕСНОЕ И ЗЕМНОЕ

Впервые: Новое время. 1901. 11 декабря. № 9258.

С. 156. *Кроаты* — употребительное в России заимствованное из некоторых западноевропейских языков название хорватов.

С. 160. *Умереть — уснуть...*— В. Шекспир. Гамлет. Пер. А. И. Кронеберга (монолог из 1-й сцены третьего акта).

С. 161. *Петр очнулся первым...*— имеется в виду Петр Великий.
Ультрамонтанство — направление в католицизме, отстаивающее идею неограниченной власти римского папы, его право вмешиваться в светские дела государства.

С. 162. *...даны нам благие порывы...*— Н. А. Некрасов. Рыцарь на час (1862).
...о последнем явлении Иисуса ученикам своим при Тивериадском озере.— Ин. 21.

С. 163. *Латеран* — комплекс построек на холме Латеран в Риме, ставший собственностью пап при Константине I.

Храм св. Петра — Собор св. Петра в Риме — один из самых больших и наиболее известных христианских храмов, строился на протяжении столетий с участием Д. Браманте, Рафаэля, Микеланджело и др.

С. 164. *«...ты Петр и на сем камне созижду церковь мою»* — Мф. 16, 18.
«Помяни меня, егда приидеши во царствие Твое».— Лк. 23, 42.

С. 168. *...он, любитель Рима, — да какой любитель, певец Анунциаты!* — имеется в виду «Рим» (1842) Н. В. Гоголя.

«Я пришел разделить человека с отцом его»...— Мф. 10, 35.

«Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери»...— Лк. 14, 26.

С. 170. *«целые народы вышли, Моав и Амалик»* — неточность: по Библии (Быт. 19, 37—38) дочери Лота родили от отца своего сыновей Моава и Бен-Амми, от которых произошли моавитяне и аммонитяне. Амаликитяне — могущественный народ, занимавший страну между Палестиной и Египтом (1 Цар. 15, 6), за свой грех противодействия благосостоянию народа Божия подверглись страшному суду Господню и исчезли с лица земли (1 Цар. 30, 17).

С. 171. *«Православно-Русское Слово»* — журнал, выходил в Петербурге в 1902—1905 гг.

Желчные мысли в желтом журнале

Впервые: Новый путь. 1903. № 10. С. 212—218. Под названием: «Из истории журнальной полемики».

С. 172. «*Церковный вестник*» — еженедельный журнал с ежемесячными книжками приложений, издаваемый при С.-Петербургской духовной академии с 1875 по 1917 г.

С. 173. «*И сказал Агарь Ангел Господень: вот ты беременна, и родишь сына...*» — Быт. 16, 11.

С. 174. «...*сколько горьких слез украдкой*»... — М. Ю. Лермонтов. Казачья колыбельная песня (1840).

«...*Одни я в мире подсмотрел святые, искренние слезы*»... — Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны...» (1856).

Ответ о. Ф. Орнатскому

Впервые, вместе с «Письмом в редакцию Прот. Орнатского»: Новый Путь. 1903. № 12. С. 212—224.

ДУХОВЕНСТВО, ХРАМ, МИРЯНЕ

Впервые несколько иной вариант статьи: Новый путь. 1903. № 1. Записки Религиозно-Философских собраний в С.-Петербурге. С. 50—56. Под названием: «Записка В. В. Розанова».

С. 181. «*Non, signore, io povro improvisatore*»... — в «Египетских ночах» Пушкина эти слова даны по-русски: «Нет... я бедный импровизатор».

С. 186. «*Жертва Богу — дух сокрушен, сердца уничтоженного Бог не уничтожит*». — Пс. 50, 19.

С. 187. «*Покайтесь — приблизилось Царство Небесное*» — Мф. 3, 2; 4, 17.
Будто для нас и у нас нет «отцеживаенья комара и поглощения верблюда» — Мф. 23, 24.

С. 188. «...*сокровище на земле*»... — Мф. 6, 21; Лк. 12, 34.
«*вы называете себя детьми Авраамовыми...*» — неточное цитирование Мф. 3, 9; Лк. 3, 8.

С. 189. «*Восплачьте — и я убелю вас паче волны*» (*шерсти*). — Ис. 1, 18.

ИЗ ПОДРОБНОСТЕЙ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

Где было хорошо на Новый год

Впервые: Новое время. 1902. 3 января. № 9281.

Священнический совет при Епископе

Впервые: Новое время. 1902. 6 июля. № 9459.

О поместных соборах в России

Впервые: Новое время. 1903. 27 ноября. № 9962.

С. 198. *Примас* — в католической и англиканской церкви почетный титул главнейших епископов.

С. 200. *Spectator* — псевдоним Грингмута В. А.

С. 202. *...вы и в «Новом Пути» тоже кивали головой на богатое «Общество религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви»* — см. выше статью «Желчные мысли в желтом журнале».

О пенсиях духовенству

Впервые: Новое время. 1902. 25 июня. № 9449.

С. 204. *Никто... так хорошо не писал, как известный священник Беллюстин...* — имеется в виду книга Ивана Степановича Беллюстина «Описание сельского духовенства» (Лейпциг, 1858), изданная одним из знакомых М. П. Погодина без имени автора и без его согласия (см.: *Погодин М. П.* Объяснение // Русский вестник. 1859. Май. Кн. 1).

О неудобстве частых перемещений в Духовном Ведомстве

Впервые: Новое время. 1904. 17 июля. № 10192.

Из оценок русского народа

Впервые: Новое время. 1900. 13 марта и 17 апреля. № 8636 и 8669. Под названиями: «Опасное чувство» и «Русский народ не техник, а идеалист» (без подписи).

С. 211. *...«пусть тлеет внешний человек, лишь бы обновлялся внутренний»...* — 2 Кор. 4, 16.

«Бог — любви есть» — 1 Ин. 4, 8 и 16.

«А если законом оправдание, то Христос напрасно умер» — Гал. 2, 21.

О милости к животным

Впервые: Новый путь. 1903. № 6. С. 170—172.

С. 212. *...прочел два известия, которые поразили меня контрастом...* — обе заметки, приведенные Розановым, были опубликованы в газете «Новое время» от 21 мая 1903 г. (№ 9773).

«Южный край» — газета, выходившая в Харькове (1880—1917).

ДВА СТАНА

С. 214. *...я приведу частное письмо, напечатанное в «Новом Пути».* — *Гриневиц Вера.* Иродовы жертвы // Новый путь. 1903. № 6. С. 242—248.

РУССКО-КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

С. 227. *«Будьте изгнаны правды ради»* — Мф. 5, 10.

ТОМ ВТОРОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

С. 234. *Ignotus* — псевдоним А. С. Хомякова.

ОГНИ СВЯЩЕННЫЕ

Впервые: Новое время. 1902. 14 апреля. № 9379.

С. 236. ...знаменитый светильник из разрушенного Соломонова храма.— В храме Соломона было 10 светильников: 5 к востоку и 5 к западу, все «из чистого золота» (3 Цар. 7.49).

С. 237. ...межзвездные пространства имеют чуть ли не тысячу градусов холода, ниже нуля.— В действительности — минус 273,15 градуса Цельсия.

С. 239. Вам — автору статей «Священные огоньки» и «Маленький фельетон» — имеются в виду статьи Розанова «Огни священные» (см. выше) и «В поисках за трудом и просвещением» в рубрике «Маленький фельетон» (Новое время. 1902. 20 апреля. № 9383).

АСКОЧЕНСКИЙ И АРХИМ. ФЕОД. БУХАРЕВ

Впервые: Новое время. 1902. 12 декабря. № 9618; 17 декабря. № 9623 (Под названием «Интересный этюд нашей умственной жизни»).

С. 242. ...брошюра заслуженного профессора Казанской духовной академии...— Знаменский П. Богословская полемика 1860-х годов об отношении Православия к современной жизни. Казань, 1902. П. Знаменский считал «Домашнюю беседу» В. И. Аскоченского «органом крайнего консерватизма».

С. 244. ...«хождение перед Богом» (выражение Библии об Энохе)...— Быт. 5, 22.

...«ложь есть конь во спасение». Слово это взято из неточного перевода по-славянски которого-то псалма.— Ср.: «Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею».— Пс. 32, 17.

«Православное Обозрение» — ежемесячный журнал. Издавался с 1860 по 1891 г. в Москве.

«Странник» — духовный журнал современной жизни, науки и литературы. Издавался в С.-Петербурге с 1860 по 1917 г.

«Душеполезное Чтение» — ежемесячное издание (М., 1860—1917).

«Руководство для сельских пастырей» — журнал при Киевской духовной семинарии (Киев, 1860—1917).

«Дух христианина» — журнал выходил в С.-Петербурге с 1862 по 1865 г.

«Духовный Вестник» — издавался в Харькове с 1862 по 1867 г.

«Труды Киевской духовной академии» — ежемесячник (1860—1917).

С. 245. В книжке, несколько лет назад вышедшей...— работа П. В. Знаменского «Печальное 25-летие» была впервые опубликована в журнале «Православный собеседник» за 1896 г., отдельной книгой издана в Казани в 1896 г.

«Домашняя беседа для народного чтения» — еженедельная газета, выходила в Петербурге с 1858 по 1877 г. Издатель-редактор — В. И. Аскоченский.

С. 246. «Толкование на Апокалипсис», одобренное уже духовною цензурою к напечатанию...— «Исследование Апокалипсиса» Феодора (в миру Александра Матвеевича) Бухарева было запрещено Св. Синодом в 1862 г. (опубл.: Сергиев Посад, 1916).

С. 247. *Погодин в одном месте своих «Простых речей о мудреных вещах» говорит...*— «Воспоминания об Александре Матвеевиче Бухареве» помещены М. П. Погодиным в «Сборнике, служащем дополнением к Простой речи о мудреных вещах» (М., 1875. С. 203—212).

С. 249. *...«раздирают ризы церковныя»...*— неточная цитата из Пс. 21, 19.

С. 252. *«Дух дышет, идеже хоцет»* — Ин. 3, 8.

...«в доме Отца Моего обителей много»...— Ин. 14, 2.

С. 253. *Как выразился о нем священник А. П. Устьянский...*— см.: Розанов В. В. В мире неясного и не решенного. Изд. 2-е. Спб., 1904 (статья «Брак и христианство»).

С. 257. *...я прочитала в июньской книжке «Нового пути» добрый ваш отзыв о статьях о Светлова...*— Розанов В. В. чаяниях «движения воды» // Новый путь. 1904. № 6. С. 247—252.

«Богословский Вестник» — журнал, издававшийся Московской духовной академией (Сергиев Посад, 1892—1917).

...я возмущена статьей проф. Тареева..., где он решительно восстает против верования в Воскресение Христа во плоти.— По выходу в свет книги «Около церковных стен», в ответ на присланные Розановым два тома, А. Бухарева писала 14 марта 1906 г. ему об опубликованных им ее письмах: «Не могла не рассмеяться, прочитывая письмо о Тарееве: представляю себе недоумение его,— философа, богослова... Он имеет ведь обыкновение наносить удары своим оппонентам, а я представляю такую незначительную величину, что все удары попадали бы мимо,— так что оказия такая, думаю, в первый раз случилась с ним» (РГБ. Ф. 249. Кн. 4195. Ед. хр. 1). В рецензии на второй том «Около церковных стен» Тареев ответил на приведенное Розановым письмо Анны Бухаревой, процитировав и фрагмент из собственной статьи, критикуемой ею, следующим образом: «Что в воскресении Христа было воскресение Его души,— этого я не только не говорил, но это именно я отрицал, считая «элементарным положением в библейском богословии ту истину, что дух не есть вторая (дух и тело) или третья (дух, душа и тело) часть человеческой природы, но дух есть божественное начало человеческой жизни, божественное начало в человеке»...» (Тареев М. М. Христианство и религия В. В. Розанова // Богословский вестник. 1907. № 12. С. 649).

С. 258. *...«яко та есть мать жизни»* — Быт. 3, 20.

С. 259. *Александр Матвеевич Бухарев в своей книге «О современных духовных потребностях мысли и жизни»...*— полное название: «О современных духовных потребностях и жизни, особенно русской» (М., 1865).

ПАПСКАЯ «НЕПОГРЕШИМОСТЬ» КАК ОРУДИЕ РЕФОРМАЦИИ БЕЗ РЕВОЛЮЦИИ

Впервые: Новое время. 1902. 19 февраля. № 9326.

С. 263. *В интересной статье г. А. Киреева «Новая энциклика папы» высказано...*— см.: Новое время. 1902. 7 января. № 9283.

...учитель сказал — выражение средневековых схоластов, при помощи которого они ссылались на мнение своего учителя Аристотеля как на непреклемое доказательство.

С. 264. *Уже Паскаль в «Provinciales»...*— Паскаль Б. Письма к провинциалу. Спб., 1898.

С. 265. *Фагоциты* — клетки животных и человека, способные к активному захвату и поглощению живых клеток и неживых частиц. Играют важную роль в защитной реакции организма против воспалений.

С. 267. *В свое время резолюция эта была напечатана Владимиром Соловьевым в одной статье...* — Соловьев Вл. Вопрос о самочинном умствования // Вестник Европы. 1892. Декабрь. С. 863—868.

С. 270. «Устав духовных консисторий» — 1-е издание в 1841 г., 2-е, исправленное — в 1883 г. Излагает основные законы для деятельности консистории, предметы и пределы консисторской власти, говорит об епархиальном суде, о личном составе консистории и о порядке ведения ею дел.

«Кормчая» — «Кормчая книга», сборник правил церкви и касающихся ее государственных постановлений, перешедший на Русь после принятия христианства из константинопольской церкви.

Для *мудрых достаточно* (сказанного) — выражение встречается у Плавта (сер. III в. до н. э.— ок. 184 до н. э.), «Перс», IV, 7, 727—729, и Теренция (ок. 195—159 до н. э.), «Формион», III, 3, 8.

СПОР ОБ АПОКРИФАХ

Основная часть раздела — полемика на страницах газеты «Новое время», которая началась с письма проф. А. Бронзова об «Апостольских постановлениях» (отклик на статью В. В. Розанова «Папская «непогрешимость» как орудие реформации без революции»), опубликованного 28 февраля 1902 г. в № 9326.

С. 272. *Новое Время, 3 января 1901 г.* — имеется в виду статья С. Н. Сыромятникова «Заметки писателя» (подпись: Сигма).

С. 273. «Апостольские Постановления» — древние тексты церковного права.

Где же границы апокрифичности?

Впервые: Новое время. 1902. 4 марта. № 9338. Новый ответ проф. А. Бронзова «Еще об «Апостольских Постановлениях» появился там же 6 марта 1902 г. в № 9340.

С. 274. *Тюбингенская школа* — направление в немецкой протестантской теологии, развивалось в университете г. Тюбинген. 1-й период — конец XVIII в. В 1830 г. возникла новая Тюбингенская школа, основанная Ф. К. Бауэром. Занималась критикой текста Библии, выявляя противоречия между различными евангелиями. Работы представителей школы Д. Штрауса и Б. Бауэра оказали влияние на Ж. Ренана.

С. 275. *Антиохийский собор* (341) — постановил 25 канонов, составляющих лишь более подробное развитие правил апостольских.

Ответы не на тему

Впервые: Новое время. 1902. 9 марта. № 9343. Под названием: «Спор не на тему». Ответное письмо проф. А. Бронзова «Разъяснение недоразумений» было опубликовано там же 11 марта 1901 г. в № 9345.

С. 276. *...так хочу, так велью* — Ювенал. Сатиры. VI, 228.

Кому же верить, Петербургу или Москве?

Впервые: Новое время. 1902. 11 марта. № 9345. Подзаголовок в газете: «Последний ответ А. А. Бронзову». Письмо А. Панкова «По поводу полемики об «Апостольских Постановлениях» было опубликовано там же 12 марта 1902 г. в № 9346.

С. 279. «*декреталии*» — с конца IV в. постановления пап римских в виде посланий, составляющие главное содержание «Корпуса канонического права» — свода законов католической церкви. В V в. появлялись подложные декреталии, используемые папством для укрепления власти. Наиболее известные из них — так называемые «Лжеисидоровы декреталии».

О книге проф. Н. Суворова «Учебник церковного права»

Впервые: Новое время. 1903. 12 марта. № 9705 (прилож.).

С. 283. *Три святителя* — Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.

С. 284. ...«*станете яко бози*»... — Быт. 3, 5.

ОПТИНА ПУСТЫНЬ

Впервые: Новое время. 1903. 21 января. № 9656; 23 января. № 9658. Под названием: «Из житейских и литературных мелочей».

С. 285. *Оптина пустынь* — Оптиная—Введенская—Макариева пустынь, по преданию, основана еще в XIV в., упразднена в 1724 г., восстановлена в 1795 г., в 1821 г. основан скит.

Из темного леса навстречу ему... — А. С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге (1822).

С. 286. *Роздал Влас свое имя* — Н. А. Некрасов. Влас (1854).

С. 289. *В городке, где я жил*... — В 1887—1891 гг. Розанов преподавал в гимназии в Ельце.

С. 294. *Причиною его удаления... было*... — В 1871 г. в Салониках, где К. Н. Леонтьев был консулом, он внезапно заболел. В первые же дни болезни, страшась смерти, Леонтьев дал обет принять монашество на Афоне, если останется жив. После выздоровления он поехал на Афон; но «афонские старцы» Иероним и Макарий ответили отказом на его желание принять постриг. Об этом К. Н. Леонтьев подробно рассказывает в письме к Розанову от 14 августа 1891 г.

С. 295. ...*с конторщиком своим и с учителем* — Л. Н. Толстой пришел вместе со слугой Сергеем Арбузовым и учителем Яснополянской школы Дмитрием Федоровичем.

...*пошел в скит к своему родственнику*... — имеется в виду двоюродный брат С. А. Толстой Борис Шидловский.

«...*мое Евангелие*» — имеется в виду работа Л. Н. Толстого «В чем моя вера» (1884).

...*брошюра Елеонского*... — *Елеонский Н. О новом евангелии гр. Толстого*. Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1887; 2-е изд. М., 1889.

С. 296. «...*сошлют меня в Томск*». — Существует и другая версия разговора. Леонтьев якобы сказал Толстому: «Вы — несправимы. Правильно было бы, если б я через свои петербургские связи устроил бы, чтобы вас сослали подальше в Сибирь, да так, чтобы графиня и дочка не могли посещать и заботиться о вас в тюрьме». На что Толстой воскликнул: «Голубчик, Константин Леонтьевич! Напишите, ради Бога, чтобы меня сослали. Это моя мечта. Я делаю все возможное, чтобы компрометировать себя в глазах правительства, и все сходит мне с рук. Прошу вас, напишите» (Прометей. 1980. Вып. 12. С. 90).

...*полемика К. Н. Леонтьева с Соловьевым о теориях и трудах Н. Я. Данилевского* — имеется в виду полемика вокруг книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (СПб., 1888) и, в частности, статья К. Н. Леонтьева «Владимир Соловьев против Данилевского», вошедшая в 7-й том собрания его сочинений.

... «О. Климент Зедеггольм, церомонах Оптиной пустыни» — биографический очерк К. Н. Леонтьева о К. Зедеггольме был опубликован в «Русском вестнике» (1879. № 11—12), а затем вышел отдельной брошюрой в Варшаве в 1880 г.

С. 299. ...разлитый в человечестве «Лурд» — Лурд — город на юго-западе Франции. В 1858 г. неподалеку от Лурда произошло чудесное явление Богородицы 14-летней Бернадетте Субиру (в 1933 г. причислена к лику святых). Это событие послужило темой для романа Э. Золя «Лурд» (1894).

С. 300. *Поселянин* — псевдоним писателя Е. Н. Погожева, автора книги «Русские подвижники XIX и XX вв.» (СПб., 1901).

МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЬМОЮ

Народные чтения в Петербурге

Впервые: *Розанов В. В.* Новое время. 1902. 27 марта. № 9361.

С. 304. ...изречения Исаака Сирина — на Религиозно-философских собраниях (1902) этими словами византийского монаха Д. В. Философов иллюстрировал «аскетическую сторону учения Христа» как возобладавшую в историческом христианстве (Новый путь. 1903. № 1. Прилож.: Записи Религиозно-философских собраний в Петербурге. С. 40).

С. 305. ...книжка об «Алексее Божиим человеке» г. Хитрова — неоднократно издававшееся сочинение о. Михаила Хитрова «Св. Алексей, Божий человек».

С. 307. ...студент-медик, г. С-цов — об участии Н. П. С-ва, уже в бытность врачом, а не студентом, в организации «Луч Маяка», занимавшейся «исполнением седьмой заповеди» см. в наст. изд. статью «Новый свет из «Маяка».

«Во Францию два гренадера из русского плена брели...» — Г. Гейне. Гренадеры (1820), пер. М. Л. Михайлова (1846).

В июльские дни

Впервые: Новое время. 1901. 5 августа. № 9130. Под названием: «Кого надо пожалеть».

С. 308. *Пошли, Господь, свою отраду...* — стихотворение Ф. И. Тютчева (1850).

С. 309. *Добро можно сделать и в седьмой день* — Мф. 12, 12.

Кто задерживает обновление Церкви?

Впервые: Новое время. 1902. 16 марта. № 9350. Под названием «Практические указания» (под назв. «Post-scriptum» вошло также в книгу «Итальянские впечатления»).

С. 310. ...это подозрение отчасти повторяет и г. Киреев — имеется в виду письмо А. А. Киреева в редакцию «Нового времени», где автор письма пишет: «Как для исправления наших церковных неладов некоторые верующие люди (между прочим, покойный Вл. Соловьев и благополучно здравствующий В. В. Розанов) указывают на Запад (на Рим), так и для исправления наших кричащих неладов политических нам зачастую указывают на Запад (на правовое государство)» (Киреев А. Письмо в редакцию//Новое время. 1902. 12 марта. № 9346).

Г. Кирееву, г. Папкову и проф. Бронзову... — имеется в виду полемика о строкатоличестве и об апокрифичности «Апостольских постановлений» на стра-

ницах «Нового времени» (см. в наст. изд. главы «Папская «непогрешимость» как орудие реформации без революции» и «Спор об апокрифах»).

...«чающим движением воды» — Ин. 5, 3.

С. 317. ...кто скажет ближнему своему рака... — Мф. 5, 22.

О сострадании к животным

Впервые: Новое время. 1902. 23 сентября. № 9538.

С. 318. ...как кошатники... расправляются с сим домашним животным... — статья «В защиту кошек», опубликованная без подписи (Новое время. 1902. 22 марта. № 9356).

К падению башни св. Марка в Венеции

С. 322. ...весть о падении... башни св. Марка в Венеции. — Башня-колокольня св. Марка, высотой 99 м, самое высокое сооружение в Венеции, начало строительства которой относится к IX в., неожиданно рухнула 14 июня 1902 г. Этому событию посвящена также статья Розанова «К падению башни св. Марка» (Новое время. 1902. 22 июля. № 9475), перепечатанная в книге «Итальянские впечатления». В 1912 г. башня была восстановлена.

«Церковные Ведомости» — еженедельное издание при св. Синоде, выходило в Петербурге в 1888—1917 гг.

С. 323. «Столп, его же верх даже до небес» — Исх. 33, 9—10.

С. 324. «Аще не Господь созиждет, всеу трудишася зиждующие» — Пс. 126, 1.

«Господь с небесе возгреме» — Пс. 28, 3.

«Мудрии объюродеша» (мудрые обезумели) — Рим. 1, 22.

Среди человеческих слез

Впервые (начало статьи): Новый путь. 1903. № 5.

С. 162—167. Под названием «Мирские слезы».

С. 330. «Искра» — сатирический журнал, выходил в Петербурге в 1859—1873 гг.

«Малляр» — еженедельный журнал сатиры, литературы, современной жизни и юмора, издавался в Петербурге в 1906 г. (вышло пять номеров).

«Шут» — художественный журнал с карикатурами, издавался в Петербурге (1879—1914).

С. 332. «трепеущие пескарри» — образ из сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескаррь» (1883).

Духовенство в училищах

Впервые: Розанов В. В. Около церковных стен. Т. 2.

Новый свет из «Маяка»

Впервые: Новое время. 1904. 30 августа. № 10236. (Подп.: В. Р.)

ЛЕВ XIII И КАТОЛИЧЕСТВО

Впервые: Новое время. 1903. 13 июля. № 9805.

С. 345. ...рисунок встречи его с германским Императором... — речь идет об императоре Вильгельме II Гогенцоллерне (1859—1941).

...времена Авиньона неповторимы. — В 1309—1377 гг. резиденция пап, укрывшихся от самовластия римской знати под покровительством французских королей. Авиньонское, или «Вавилонское», пленение — время наибольшего упадка силы и авторитета папства.

С. 349. *liberum veto* — право наложения единоличного вето в Польском сейме XVII—XVIII вв.

С. 353. В знаменитых своих энцикликах Лев XIII периодически высказывался о «современном положении вещей»... — С первой же своей энциклики Лев XIII изложил программу примирения церкви с современной цивилизацией. В дальнейшем признал возможность сотрудничества с парламентскими и республиканскими режимами.

С. 356. Тянули «*miserere*»... — «*Miserere mei, Deus*» («Помилуй меня, Боже») — католическая молитва, которая представляет собой текст 50-го псалма, начиная с 3-го стиха.

...готические кафедры (например, св. Стефана...) — готический собор св. Стефана в Вене, построенный в основном в 1304—1454 гг.

ЦЕРКОВЬ «ПРЕЖДЕ ПОЧИВШИХ» И ЦЕРКОВЬ ЖИВЫХ

Впервые: Новый путь. 1903. № 2. С. 227—238.

С. 357. ...«если ты имеешь нечто против брата твоего...» — Мф. 5, 24—25.

...«блаженны миротворцы...» — Мф. 5, 9.

«Отче, отпусти им грех их, не ведают бо, что творят» — Лк. 23, 34.

«Блаженны алчущие правды»... — Мф. 5, 6.

...«блаженны чистые сердцем» — Мф. 5, 8.

С. 358. «Свет» — ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, выходила в Петербурге (1882—1917).

С. 364. ...когда умер известный писатель О. И. Каблиц... — см. о Каблице некролог Розанова «Памяти Осипа Ив. Каблица» (Русское обозрение. 1893. № 11. С. 513—518; перепеч. в кн.: Розанов В. В. Литературные очерки. Спб., 1899).

С. 365. ...когда умер покойный д-р Шперк... — имеется в виду доктор медицины Эдуард Федорович Шперк (1837—1894), отец близкого друга Розанова Федора Эдуардовича Шперка, мыслителя и литературного критика.

О «СОБОРНОМ» НАЧАЛЕ В ЦЕРКВИ И О ПРИМИРЕНИИ ЦЕРКВЕЙ

Впервые: Новый путь. 1903. № 10. С. 194—202.

Из католического мира

Впервые: Розанов В. В. Около церковных стен. Т. 2.

С. 372. ...евреи думали... что «Иегова есть супруг Юницы Израильской»... — см., например, книгу пророка Осии, главу 2.

...она «должна быть уготована Аггцу яко Невеста» — вероятно, Розанов имеет в виду следующие слова: «И я Иоанн увидел светлый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». — Откр. 21.

С. 374. ...«они будут видеть и не увидят, будут слышать — и не услышат». — Мф. 13, 15.

С. 377. ...«не только мир на землю»... — Мф. 10, 34.

...«меньше меньшего в царстве небесном»... — Мф. 11, 11, Лк. 7, 28.

С. 379. ...«не увидим сучка в глазе брата своего». — Мф. 7, 3, Лк. 6, 41.

С. 380. «Глухих несть числа...» — Иерем. 5, 21.

...«разумное, доброе, вечное» — Н. А. Некрасов. Сятели (1876).

...«добрые чувства» — А. С. Пушкин. Памятник (1836).

...сойтись в новый «Портсмут»... — имеется в виду «Портсмутский мир» (5 сентября 1905), завершивший русско-японскую войну 1904—1905 гг.

С. 381. ...одно из лучших сочинений Вл. С. Соловьева — Соловьев Вл. Великий спор и христианская политика// Русь. 1883. № 1—3, 14, 15, 18, 23 (отд. изд. М., 1883).

О НАРЯДНОСТИ И НАРЯДНЫХ ДНЯХ КАЛЕНДАРЯ

Впервые: Мир искусства. 1903. Т. 10. Хроника. № 11. С. 105—110.

С. 384. «Бога никогда и никто не видел»... — 1 Ин. 4, 12.

Вот и праздничек Покров... — Н. А. Некрасов. Коробейники (1861). Гл. 5.

С. 386. Достаточно открыть большой атлас Лепсиуса... — Lepsius Richard [1810—1884]. Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien... Berlin, 1849—1856. 12 Bd.

«Новомесячий Моих не забывай»... — По всей вероятности, пересказ Розановым одного из многих ветхозаветных мест, вроде: «И в день веселия вашего, и в праздники ваши, и в новомесячия ваши трубите трубами при всесождениях ваших и при мирных жертвах ваших; и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш» (Чис. 10.10) в форме наставления, по типу: «Сын мой! наставления моего не забывай» (Притч. 3.1).

С. 387. «... зачем вы кадите луне». — Вероятно, Розанов имеет в виду слова Иеремии (а не Иезекииля) о гневе Господнем на Иудеев в Египте: «За нечестие их, которое они делали, прогневно Я Меня, ходя кадить и служить иным Богам...» (Иер. 44.3) и ответ иудеев из Египта: «мы кадили богине неба» (Иер. 44.19).

В ее таинственную грудь... — Д. В. Веневитинов. Монолог Фауста в пещере (1826—1827).

С. 388. «Небо — престол Его, и земля — подножие» — Ис. 66, 1 и Мф. 5, 34—35.

...«и Орион и Медведицу» — Ам. 5, 8.

С. 389. ...сборниками народного песенного творчества г. Шейна.— Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. Спб., 1898—1900. Т. 1. Вып. 1—2.

С. 392. шпильманы — средневековые странствующие актеры-музыканты в Германии, Австралии.

С. 397. ...«честен брак и ложе не скверно» — Евр. 13, 4.

С. 399. «Пасите стадо, взыщу с вас за каждую овцу»... — Иез. 34, 10.

С. 400. «Не вмени им, Боже, греха сего»... — Деян. 7, 60.

С. 401. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих» — Песн. 1, 1.

Любите ли вы человека?

С. 402. ...«и всего воинства их» — Быт. 2, 1.

С. 404. «меньшей в царстве новозаветном больше большего из рожденных женами в царстве ветхозаветном» — ср. Мф. 11, 11.

...«блюдите, да не презрите единого от малых сих, верующих в Мя». — Мф. 18, 10.

ВЫНОС КУМИРОВ

Впервые: Новый путь. 1903. № 6. С. 152—164. Под названием: «Политика Комба» (с цензурными сокращениями).

С. 407. ...не перечитывать главы... Пеллико... — речь идет о тюремных размышлениях итальянского писателя Сильвио Пеллико «Мои темницы» (Le mie prigioni, 1832), проникнутых духом христианского смирения.

С. 409. Цитаты заимствованы мною из соч. проф. Беляева... — Беляев А. Д. О безбожии и антихристе. Сергиев Посад, 1898. Т. 1. Подготовка, признаки и время пришествия антихриста.

...«и мир, люди, врата адавы не одолеют его» — Мф. 16, 18.

С. 411. ...вынос статуй «Ваалов и Астарт» — 1 Цар. 7, 4.

С. 412. «Не сотвори себе кумира» — Втор. 5, 8.

«не приемли имени Господа Бога твоего всуе» — Притч. 30, 9.

«Аз есмь Господь...» — Исх. 3, 6.

дуб Мамврийский — местопребывание библейских патриархов, где они жили, умирали и были погребены (Авраам и др.).

С. 414. «...идея волоса» (мелкого, пошлого), как говорил Платон. — См.: Платон. Парменид 130, с-д.

С. 417. ...«раба Божия Моисея, кротчайшего из людей» — Чис. 12, 3.

А. С. ХОМЯКОВ

И ВЛ. С. СОЛОВЬЕВ

Памяти А. С. Хомякова

Впервые: Новый путь. 1904. № 6. С. 1—16.

С. 419. Около «Пословиц русского народа» (В. И. Даля). «Толкового словаря великорусского языка» (его же)... — Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1862; Даль В. И. Толковый словарь великорусского языка. Спб., 1861—1868.

...«страна святых чудес»... — А. С. Хомяков. Мечта (1835).

С. 420. ...с последним Хомяков вел ученую полемику... — имеется в виду полемика Грановского и Хомякова в 1845—1847 гг. по поводу статьи Хомякова «Вместо введения» к «Сборнику исторических и статистических сведений о России и о народах, ей единоверных и единоплеменных» (М., 1845).

Дом — не тележка у дядюшки Якова... — Н. А. Некрасов. Дядюшка Яков. Из цикла «Стихотворения, посвященные русским детям» (1867).

С. 421. ...после Иннокентия III, при Григории VII... — Григорий VII (1073—1085), борющийся за неограниченную власть папы, жил раньше Иннокентия III (1198—1216), при котором папская власть достигла апогея. Иннокентий III первым стал называть себя наместником Христа.

...простой августинский монах... — Мартин Лютер.

...суд докторов над Гоголем... — Тарасенков А. Т. Последние дни жизни Н. В. Гоголя // Отечественные записки. 1856. № 12.

...рассуждения теперешней армяно-григорианской церкви... — христианская церковь, объявленная в VI в. самостоятельной, отказалась признать постановление Халкидонского собора о двойственной природе Христа. Считает Христа только Богом.

С. 423. «В 1847 году, плывя на пароходе по Рейну...» — См.: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Прага, 1867. Т. 2. С. 42—43.

...дни 93-го года памятнее и священнее дней Трианона и Версаля. — С февраля 1672 г. до начала Великой французской революции Версаль был резиденцией французских королей. Трианон — название двух дворцовых павильонов (Большого и Малого) в Версальском парке. Во время Великой французской революции пришли в запустение.

С. 424. *Вормский сейм* — собрание государственных чинов Германии в г. Вормсе (1521). Центральным пунктом занятий сейма был вопрос о ереси Лютера.

С. 425. ...несмотря на пережитые унижения (пощечина Бонифацию VIII). — На самом деле Бонифаций VII, римский папа (1294—1303) до «Авиньона». Пытался вернуть папству былое могущество. Наибольшее унижение претерпел от французского короля Филиппа IV, отлученного им от церкви. Филипп послал канцлера захватить папу. Во время ареста папу стащили с престола, один из свиты ударил его железной перчаткой по лицу.

С. 426. *Все знают безнравственное учение иезуитов (о чем писал Самарин)*... — Самарин Ю. Ф. Иезуиты и их отношение к России. 2-е изд. СПб., 1868.

«Со времени основания своего апостолами...» — Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 44, 45.

Константицкий собор — созван в г. Констанце в 1414 г. В центре внимания искоренение ересей, прежде всего Яна Гуса (1369—1415).

С. 427. *арианство* — ересь, основанная Арием, епископом в Александрии (ум. 336). Арианство осудил Никейский собор (325).

«Предположим, какой-нибудь путешественник...» — Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 45, 46.

С. 428. «*Переписка с друзьями*» — имеются в виду «Выбранные места из переписки с друзьями». Н. В. Гоголя (1847).

Еще о славянофилах и о г. Ник. Соколове

Первая публикация не установлена.

С. 429. ...г. Ник. Соколов в статье «А. С. Хомяков и Н. Я. Данилевский»... — «Русский вестник». 1904. № 7.

Об одной особенной заслуге Вл. С. Соловьева

Впервые: Новый путь. 1904. № 9. С. 157—170.

С. 433. Ю. Ф. Самарин тот же взгляд высказал... — Самарин Ю. Ф. Сочинения. М., 1880. Т. 5. С. 163.

...мнени, какое высказал о Вл. Соловьеве... г. Лопатин... — Лопатин Л. М. Философское мирозерцание В. С. Соловьева // Вопросы философии и психологии. 1901. № 1. С. 54.

С. 434. ...в первом томе «Православной богословской энциклопедии» — Православная богословская энциклопедия. СПб., 1900. Т. 1. С. 45—47.

...*монофизиты* — сторонники христианского религиозно-философского учения, возникшего в Византии в V в. Отвергали возможность смешения божественной и человеческой природы в Христе, трактовали их соединение как поглощение человеческого божественным.

...*крайняя монофизическая доктрина, заслонившая гаджамскую*. — В Годжаме (княжество в Эфиопии) возникло «строго монофизическое учение о помазании (кебат), через которое Бог-Слово неизреченно соединился с человечеством...» (Православная богословская энциклопедия. С. 45).

С. 436. ...*это был подлинно религиозный человек и даже человек благочестивый* — см.: *Трубецкой С. Н.* Смерть В. С. Соловьева // Вестник Европы. 1900. № 9. С. 420.

...*В «Деяниях московского собора 1634 года» рассказываетя...* — см.: Деяние московского собора 1634 г. М., 1873. С. 8—10.

С. 439. ...*поручил смоленскому епископу Иоанну написать диссертацию: «О монашестве епископов»...* — опубликована в «Православном собеседнике» (1863, № 1, 2).

...*в статье-некрологе об Иоанне смоленском...* — Современные известия. 1869. 25 марта.

...*«предание» шести первых вселенских соборов было за семейный епископат, а «предание» одного седьмого собора противостояло...* — соборы Никейский I (325), Константинопольский I (381), Эфесский (431), Халкедонский (451), Константинопольский II (558), Константинопольский III (680, 691), Никейский II (783, 787).

ВНУТРИ ОГРАДЫ ЦЕРКОВНОЙ

Прекрасный Иосиф и его братья

Первая публикация не установлена.

С. 442. ...*вредоносные книжки отца Г. С. Петрова...* — *Петров Г. С.* К свету: Сб. статей. М., 1901; *Петров Г. С.* Божий путь: Сб. статей. М., 1902. См. также коммент. к с. 276.

С. 444. *К земным утехам нет участия...* — А. К. Толстой. Грешница (1857).

С. 445. ...*«пойди, посмотри, здоровы ли братья твои»...* — Быт. 37, 14.

Воздыханцы

Впервые: Новое время. 1905. 8 марта. № 10420.

С. 446. ...*одного из наших южнорусских епископов* — имеется в виду еп. Волинский Антоний.

С. 447. ...*с приписанием Наполеону Кatalаунской битвы?* — Речь идет о битве в 451 г. в Кatalаунских полях (сев.-вост.-Франция), в которой войска Западной Римской империи в союзе с франками, вестготами, бургундами, алланами и другими разгромили гунов и их союзников (остготов, гепидов и др.) во главе с Атилой, что привело к распаду гуннской «державы».

С. 449. *«Я жаждал — и вы дали мне пить...»* — Мф. 25, 35.

Св. Четыредесятница — Великий пост.

С. 455. ...*рассуждение о еврейском вопросе*... — см. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского за 1877 г. Март. Гл. II.

С. 456. *А. К-р* — А. Г. Ковнер (1842—1909).

**В «РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ СОБРАНИЯХ»
в С.-ПЕТЕРБУРГЕ 1902—1903 гг.**

**О священстве и «благодати» священства.—
Об основном идеале Церкви.—
О древних и новых жертвах**

Впервые: *Розанов В. В.* Около церковных стен. Т. 2.

С. 470. Доклад *В. А. Тернавцева «Русская церковь перед великою задачею»* — доклад прочитан на первом Религиозно-философском собрании в 1901 г. и напечатан в приложении к № 1 «Нового пути» за 1903 г.

С. 471. ...*«а если законом оправдание, то Христос напрасно умер»* — Гал. 2, 21. «Благодатью спасаемся»... — Еф. 2, 5.

...*«даю вам это в закон вечный»*... — Исх. 27, 21.

...*«да будет с вами благодать, милость, мир»* — 2 Ин. 3.

...*«благодать вам и мир от Бога-Отца»* — 1 Кор. 1, 3.

С. 472. ...*«покайтесь, ибо приблизилось царствие Божие»* — Мф. 3, 2.

С. 476. ...*«жертва Богу — дух сокрушен, сердца уничиженного Бог не уничижит»* — Пс. 50, 19.

...*«принесении жертвы Богу в сладкое благоухание»* — Быт. 8, 21.

...*«в крови — душа животного»* — Вт. 12, 23.

**Об отлучении
гр. Л. Толстого
от Церкви**

Фрагменты статьи были опубликованы как выступление В. Розанова на третьем и четвертом заседаниях Религиозно-философских собраний, посвященных теме «Лев Толстой и русская церковь» (Новый путь. 1903. № 2. Прилож.: Записки Религиозно-философских собраний в Санкт-Петербурге. С. 100—102).

С. 478. *Акт Синода* — 24 февраля 1901 г. «Церковные ведомости» опубликовали определение Синода от 20—22 февраля 1901 г. об отлучении Л. Н. Толстого от церкви.

«*В чем моя вера*» — написано Л. Н. Толстым в 1884 г. и опубликовано отдельной книгой.

С. 479. «*Чем люди живы*» — рассказ Толстого, впервые был опубликован в журнале «Детский отдых», 1881, № 12.

**Об адогматизме
христианства**

В основу статьи был положен реферат, прочитанный В. Розановым на 18-м заседании Религиозно-философских собраний (Новый путь. 1903. № 11. Прилож.: Записки Религиозно-философских собраний в Санкт-Петербурге. С. 455—463).

С. 480. «*Взгляните на лилии полевые...*» — Мф. 6, 28.

С. 481. *«Сей есть Сын мой Возлюбленный: Его послушайте»*.— Мф. 3, 17.

«Осанна Сыну Давидову! благословен Грядый во имя Господне!» — Мф. 21, 9.

С. 485. *...хула на Сына Человеческого простится вам, но хула на Духа Святого не простится* — Мф. 12, 31.

С. 486. *«Я вам пошлю Утешителя, Духа истины, который наставит вас всему»*. — Ин. 16, 13.

С. 488. *се Дева во чреве примет и родит, и еще: и помажутся миром на горе сей* — Ис. 7, 14.

Таблица вопросов религиозно-философских

Впервые: *Розанов В. В. Около церковных стен. Т. 2.*

С. 490. *...«не приемли имени Господа Бога твоего всуе»...* — Притч. 30, 9.

...«кто произнесет хулу... на Духа Святого — тому не простится ни в век сей, ни в будущий»... — Мр. 3, 29.

С. 491. *...«В кровях твоих живи»* — Иез. 16, 6.

«Ветхие» тезисы и «новые» антитезисы

Впервые: *Розанов В. В. Около церковных стен. Т. 2.*

С. 499. *вайи* — листья папоротника.

С. 501. *«Бог кого любит — того и наказует»* — Евр. 16, 6.

С. Р. Федякин

- Аарон*, в Ветхом Завете первосвященник, старший брат Моисея — 261, 413
- Абеляр* Пьер (1079—1142), французский теолог, философ, поэт — 256, 424
- Аввакум* (Аввакум Петрович) (1620/1621—1682), протопоп, глава старообрядчества, писатель — 284, 435
- Август* (63 до н. э.— 14 н. э.), римский император (с 27 до н. э.) — 494
- Августин* Аврелий (354—430), христианский церковный деятель, теолог, философ, писатель — 103, 125
- Авель*, в Ветхом Завете сын Адама и Евы, убитый своим братом Каином — 320, 477, 499
- Авраам*, в Ветхом Завете патриарх, прародитель еврейского народа — 109, 127, 188, 241, 244, 261, 304, 364, 374, 375, 412, 413, 460, 471, 477, 492, 496
- Агарь*, в Ветхом Завете служанка-египтянка, наложница Авраама — 173, 174, 374
- Адам*, в Ветхом Завете прародитель человечества — 19, 35, 127, 299, 424, 480, 481, 483
- Адонис*, в финикийской мифологии бог плодородия — 213, 306
- Акиба* бен Иосиф (50—132/135), иудейский теолог и проповедник (законоучитель) — 145, 146
- Аксаков* Иван Сергеевич (1823—1886), публицист и общественный деятель, редактор газет «День», «Москва», «Русь», журнала «Русская беседа» и др. — 30
- Аксаклы* — 36, 210, 373, 423, 429
- Александр I* (Александр Благословенный) (1777—1825), российский император (с 1801) — 29, 34, 76, 83, 184, 241, 243, 395
- Александр II* (1818—1881), российский император (с 1855) — 29, 30, 101, 241, 269
- Александр III* (1845—1894), российский император (с 1881) — 38, 204, 208
- Александр Невский* (1220—1263), князь Новгородский (1236—1251), великий князь Владимирский (с 1252) — 199, 486
- Алексей Божий человек* (V в.), сын знатного римлянина, избравший путь христианского служения — 123, 305
- Алексей I Комнен* (Комнин) (ок. 1048—1118), византийский император (с 1081) — 282, 283
- Алексей Михайлович* (1629—1676), русский царь (с 1645) — 208
- Алексий* (Алексей) (90-е гг. XIII в.— 1378), митрополит русской православной церкви (с 1354) — 471
- Альберт Великий* (Альберт фон Больштедт) (ок. 1193—1280), немецкий философ и теолог, монах-доминиканец — 346
- Альбов* Иоанн Федорович, православный священник, с которым полемизировал Розанов, участник Религиозно-философских собраний в Петербурге — 99
- Альцог* Иоганн (1808—1878), немецкий католический историк церкви — 273
- Амвель* (Амьель, Амьель) Анри (1821—1881), швейцарский франкоязычный писатель и философ — 115
- Амвросий* (Алексей Иосифович Ключарев) (1821—1901), архиепископ Харьковский (с 1882), религиозный писатель — 86

- Амвросий* (Андрей Подобедов) (1742—1818), церковный деятель и проповедник, митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский (с 1801) — 292
- Амвросий Оптинский* (Александр Михайлович Гренков) (1812—1891), иеросхимонах, старец Оптиной пустыни, православный подвижник — 36, 39, 157, 285—290, 292, 294—300, 399, 402
- Амнон*, в Ветхом Завете старший сын царя Давида — 491
- Амос*, ветхозаветный пророк — 499
- Анджель ди Фолиньо* (Анджела да Фолиньо) (ум. 1309), итальянская католическая подвижница, мистик — 371
- Андраши* Дьюла (1823—1890), граф, глава правительства Венгрии (1867—1871), министр иностранных дел Австро-Венгрии (1871—1879) — 47
- Андрей Боголюбский* (ок. 1111—1174), князь Владимиро-Суздальский (с 1157) — 209
- Андрей Первозванный*, в Новом Завете апостол, в летописи назван первым проповедником христианства в русских землях — 69, 70, 480
- Андромаха*, в греческой мифологии жена Гектора — 75
- Анна*, по христианскому преданию мать Богоматери Марии — 26
- Анна*, иудейский первосвященник, назначенный римлянами (6 до н. э.—15) — 187, 412
- Анна Болейн* (ок. 1507—1536), вторая жена английского короля Генриха VIII, казнена — 169
- Антоний* (Александр Васильевич Вадковский) (1846—1912), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (с 1898) — 380, 478, 498
- Антоний* (Медведев) (1792—1877), архимандрит, наместник Троице-Сергиевой лавры (1831—1840), религиозный писатель — 33
- Антоний* (Алексей Павлович Храповицкий) (1863—1936), епископ Волынский (1902—1906), митрополит Киевский и Галицкий (1918) — 404, 455
- Антоний Великий* (ок. 250—356), отшельник, считается основателем христианского монашества — 343
- Антоний Печерский* (983—1073), основатель Киево-Печерского монастыря (1051), один из родоначальников русского монашества — 123
- Антонин* (Александр Андреевич Грановский) (1860, по др. данным, 1865—1927), старший цензор Петербургского духовного цензурного комитета (1899—1903), епископ Нарвский (1903), участник Религиозно-философских собраний в Петербурге — 7, 317, 482
- Апраксин*, нижегородский православный деятель — 339
- Аполлон*, в греческой мифологии бог — целитель и прорицатель, покровитель искусств — 323, 324
- Аракчеев* Алексей Андреевич (1769—1834), граф, политический и военный деятель, пользовавшийся большим влиянием при Александре I — 135, 473, 500
- Арий* (ок. 260/280—336), священник из Александрии, основатель еретического течения в раннем христианстве — арианства — 244, 269, 273, 284, 350, 483
- Аристотель* (384—322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый-энциклопедист — 26, 141, 237
- Арсений* (Александр Мациевич) (1697—1772), противник церковной реформы Петра I, митрополит Сибирский (1741), епископ Ростовский и Ярославский (1742—1763), был низложен и приговорен к пожизненному заключению в Ревельском каземате (1767) — 188
- Аскоченский* (наст. фам. Оскошный, затем Отскоченский) Виктор Ипатьевич (1813—1879), писатель, журналист, историк, магистр богословия, издатель еженедельника «Домашняя беседа» (1858—1877) — 241, 244—253, 402
- Аспазия* (Аспасия) (р. ок. 470 до н. э.), афинская гетера, с 445 до н. э. жена Перикла — 51
- Астарта*, в финикийской мифологии богиня плодородия, материнства и любви — 406, 412

- Афанасий Великий* (295—373), христианский теолог и писатель, епископ Александрийский (с 328) — 244, 483
- Афанасьев Захар* (XVIII в.), дьякон Крестовоздвиженской церкви в г. Севске — 147
- Ахав*, царь Израильского государства (877/871—854/852 до н. э.) — 500
- Ахаз*, царь Иудейского государства (736/731—725 до н. э.) — 500
- Ахилл*, в греческой мифологии герой Троянской войны со стороны греков — 98
- Байрон Джордж Ноэл Гордон* (1788—1824), английский поэт, член палаты лордов (с 1809) — 157, 161, 167, 420
- Бальтазар Альварех* (Альваре с Балтазар) (XVI в.), испанский мистик — 371
- Барденхеве* Отто (1851—1935), немецкий католический теолог и историк христианства — 273—277
- Барсуков Николай Платонович* (1838—1906), историк литературы и общественной мысли, археограф, библиограф, издатель, мемуарист — 29, 30, 430
- Батый* (Бату) (1208—1255), монгольский хан — 290
- Баур Фердинанд Кристиан* (1792—1860), немецкий протестантский теолог и историк христианства — 275
- Белинский* Виссарион Григорьевич (1811—1848), литературный критик, публицист, общественный деятель — 109, 420
- Белюстин* (Белюстин) Иван Степанович (ок. 1820—1890), православный священник, публицист — 204
- Беляев Александр Дмитриевич*, богослов и религиозный писатель — 409, 415—417
- Белякевич*, белорусский ксендз — 355
- Бенкендорф Александр Христофорович* (1783—1844), граф, политический и военный деятель, шеф жандармов и начальник III отделения (политического сыска) — 422
- Бернадетта Субуру* (1844—1879), французская крестьянка, уроженка Лурда, которой в четырнадцатилетнем возрасте было явление Девы Марии — 377
- Бернет* (Бэрнет), английский автор книги о здравом смысле в воспитании и обучении — 139
- Бернштейн Г.*, автор письма к Розанову — 240
- Биконсфильд* — см. Дизраэли
- Бисмарк Отто фон Шёнхаузен* (1815—1898), князь, первый рейхсканцлер Германской империи (1871—1890) — 47, 131, 346, 347
- Благовидов Федор Васильевич* (1865—?), церковный историк — 146, 147, 281
- Благосветлов Григорий Евлампиевич* (1824—1880), публицист, редактор-издатель журналов «Русское слово» и «Дело» — 149
- Блюдов Дмитрий Николаевич* (1785—1864), граф, политический деятель, министр внутренних дел (1832—1838), председатель Государственного совета (с 1862) и Комитета министров (с 1861) — 30
- Боборыкин Петр Дмитриевич* (1836—1921), писатель, мемуарист — 375, 498
- Боголепов Николай Павлович* (1846—1901), министр народного просвещения (с 1898) — 338, 339
- Боголюбов Дмитрий Иванович* (1870—?), миссионер-проповедник и религиозный писатель — 439
- Бонифаций VIII* (Бенедетто Казтани) (1235—1303), папа римский (с 1294) — 425
- Борджиа Родриго* (Александр VI) (1431—1503), папа римский (с 1492) — 267
- Борис Годунов* (ок. 1552—1605), русский царь (с 1598) — 270
- Бородаевская-Ясевич*, Варвара Ивановна (1850-е гг.—?), исследовательница сектантства — 203
- Боссюэт* (Боссюэ) Жак Бенинь (1627—1704), французский церковный деятель и писатель — 473, 475

- Боткин** Петр Сергеевич, дипломат и публицист, секретарь русской дипломатической миссии в Вашингтоне, автор статьи «Голос за Россию» (1893), направленной против книги Дж. Кеннана «Сибирь и ссылка», ответом на которую явилась статья Кеннана «Голос за русский народ» — 117
- Брачи**, швейцарский фольклорист — 394
- Бронзов** Александр Александрович (1858 — после 1917), богослов, религиозный писатель, профессор Петербургской духовной академии по кафедре нравственного богословия — 273—279, 281, 310, 311
- Бруно** Джордано (1548—1600), итальянский философ и поэт, монах-доминиканец — 65, 473
- Буало** Никола (1636—1711), французский поэт и теоретик классицизма — 139, 140
- Будда** (букв. «просветленный»), имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме (623—544 до н. э.) — 357
- Булгаков** Н., миссионер при Санкт-Петербургском духовном ведомстве — 201, 203, 439
- Буонаротти** (Микеланджело Буонаротти) (1475—1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт — 207
- Буслаев** Федор Иванович (1818—1897), филолог, фольклорист, литературовед, искусствовед — 245
- Бутс** Уильям (1829—1912), английский методистский священник, основатель международной религиозно-филантропической организации Армия спасения (1878) — 265
- Бухарев** Александр Матвеевич (в монашестве архимандрит Феодор) (1824—1871), религиозный мыслитель, богослов, публицист, критик — 241, 245—259
- Бухарева** Анна Сергеевна, жена А. М. Бухарева — 253, 254, 256—258
- Буханов** Евграф, автор письма к Розанову — 271, 272
- Бэкон** Фрэнсис (1561—1626), английский философ и политический деятель — 143
- Бюхнер** Людвиг (1824—1899), немецкий врач, естествоиспытатель и филолог — 245, 247, 345
- В-в** Борис, автор письма к Розанову — 318
- Ваал** (Баал, Балу — «господин», «владыка»), древнейшее название бога или богов в Финикии, Палестине, Сирии — 406, 412
- Валаам**, ветхозаветный прорицатель — 482
- Вальдо** (Вальд, Вальдес) Петр (Пьер) (ок. 1140—1206), лионский купец, основатель христианской секты «лионские бедняки» (вальденсы), требовавшей возврата к нормам евангельской жизни — 226
- Вальсамон** Феодор (XII в.), византийский церковный деятель, знаток православного канонического права, патриарх Антиохийский (1193) — 292
- Ванчаков** А. М., член Учебного комитета при Синоде — 91—95
- Варвара** (ум. ок. 306), христианская мученица — 123
- Варнава** (ум. 1906), старец Троице-Сергиевой лавры — 36, 157
- Василий Блаженный** (ок. 1469—1552/1557), московский юродивый, аскет, обличал власть имущих — 264, 490
- Василий Великий** (ок. 330—379), христианский церковный деятель, теолог, философ, епископ Кесарийский (Малая Азия) — 193, 263, 274, 404, 483, 485
- Ваулина** Ефросинья, жена Повало-Швейковского — 280
- Введенский** Алексей Иванович (1861—1913), богослов и философ — 210
- Вебер** Теодор (1836—1906), немецкий теолог и философ, епископ старокаатоликов (с 1896) — 66
- Вейнберг** Петр Исаевич (1831—1908), поэт, переводчик, историк литературы — 307

- Велиар*, в Новом Завете обозначение сатаны — 262, 451
- Веллингтон* Артур Уэлсли (1769—1852), герцог, английский военный и политический деятель, фельдмаршал (1813), главнокомандующий армией (с 1827), премьер-министр (1828—1830) — 461
- Веневитинов* Дмитрий Владимирович (1805—1827), поэт, философ, критик — 387
- Вениамин*, в Ветхом Завете младший сын Иакова, родоначальник одного из колен (племен) Израилевых — 443, 497
- Веспасиан* (9—79), римский император (с 69), основатель династии Флавиев — 39
- Вестингауз* Джордж (1846—1914), американский изобретатель — 389
- Виктория* (1819—1901), английская королева (с 1837) из Ганноверской династии — 353
- Виллие* Яков Васильевич (1765—1854), хирург, шотландец по происхождению, президент Медико-хирургической академии, его имя получила клиника, построенная после его смерти на выделенные им средства — 191
- Вильгельм II* (1859—1941), германский император и прусский король (1888—1918) из династии Гогенцоллернов — 56, 345, 353
- да-Винчи* (Леонардо да Винчи) (1452—1519), итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер — 207
- Виргилий* (Вергилий, Публий Вергилий Марон) (70—19 до н. э.), римский поэт — 168
- Вирсавия*, в Ветхом Завете жена царя Давида, мать царя Соломона — 186, 189
- Виталий* (Василий Иосифов) (1833—1892), епископ Калужский — 292
- Витте* Сергей Юльевич (1849—1915), граф, политический деятель, председатель Комитета министров (с 1903), Совета министров (1905—1906), мемуарист — 380
- Владычская* Ольга Александровна, председательница местного благотворительного общества — 327
- Волконский* Сергей Михайлович (1860—1937), князь, театральный деятель, критик, писатель, мемуарист — 103
- Вольтер* (наст. имя и фам. Мари Франсуа Аруз) (1694—1778), французский писатель и философ — 167, 297, 484
- Вронский* (наст. фам. Гёне) Иозеф Мари (1778—1853), польский мыслитель и математик — 381
- Врублевский*, секретарь виленского архиепископа — 358, 359
- Вышнеградский* Иван Алексеевич (1831/1832—1895), ученый, основатель научной школы по конструированию машин, министр финансов (1888—1892) — 74, 149
- Гре-в К.*, бывший член епархиального училищного совета — 93—95
- Гааз* Федор Петрович (Фридрих Иосиф) (1780—1853), главный врач московских тюрем, много сделавший для улучшения содержания заключенных — 466
- Гавриил Филадельфийский*, восточно-христианский богослов и церковный деятель, епископ г. Филадельфия (Малая Азия) — 283
- Галилей* Галилео (1564—1642), итальянский естествоиспытатель и мыслитель — 14, 65, 424, 425
- Ганнибал* (247/246—183 до н. э.), карфагенский полководец — 75
- Гарнак* Адольф фон (1851—1930), немецкий протестантский теолог и историк христианства — 484, 488
- Гегель* Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831), немецкий философ — 248, 252
- Гейне* Генрих (1797—1856), немецкий поэт и публицист — 167
- Гектор*, в греческой мифологии троянский герой — 75
- Генрих VIII* (1491—1547), английский король (с 1509) из династии Тюдоров — 169, 351
- Герард* Владимир Николаевич (1839—1903), адвокат, учредитель «Общества защиты детей» — 333

- Гердер* Иоганн Готфрид (1744—1803), немецкий философ, критик, эстетик — 25
- Геродот* (490/480 — ок. 425 до н. э.), древнегреческий историк — 237—239, 396
- Герсон* Жан (1363—1429), французский проповедник и теолог-мистик — 371
- Герцен* Александр Иванович (1812—1870), писатель, публицист, философ, общественный деятель — 245, 429
- Герье* Владимир Иванович (1837—1919), историк — 65, 349
- Гёте* Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель — 25
- Гизо* Франсуа (1787—1874), французский историк и политический деятель — 158
- Гиллель Старший* (ок. 60 до н. э.— ок. 10 н. э.), председатель синедриона, толкователь ветхозаветного учения (законоучитель), пытавшийся примирить его требования с новыми историческими обстоятельствами, создатель школы, выступавшей против школы Шаммая — 143—145, 465, 467, 469
- Гильдебрант* — см. Григорий VII
- Гиляров-Платонов* Никита Петрович (1824—1887), публицист, философ, литературный критик, издатель — 29, 38, 267—269, 339, 362, 373, 433, 439
- Гладстон* Уильям Юарт (1809—1898), английский политический деятель, неоднократно премьер-министр — 41, 44, 134, 353
- Глинка* Михаил Иванович (1804—1857), композитор — 160
- Гобчанский* Владимир, сотрудник журнала «Миссионерское обозрение» — 443
- Гогенштауфены* (Штауфены), династия германских королей и императоров Священной Римской империи (1138—1254) и королей Сицилийского королевства (1197—1268) — 143, 345
- Гоголь* Николай Васильевич (1809—1852), писатель — 23, 149, 152, 167—169, 293, 294, 308, 422, 473
- Голицын* Александр Николаевич (1773—1844), князь, обер-прокурор Синода (1803—1817), министр народного просвещения и духовных дел (1817—1824) — 184, 241
- Головин* Харлампий Сергеевич (1844—1904), попечитель Петербургского учебного округа — 333
- Гомер*, полулегендарный древнегреческий эпический поэт — 15, 41, 168
- Гончаров* Иван Александрович (1812—1891), писатель — 149, 245
- Городцев* Павел Дмитриевич (1851 — ?), протоиерей, богослов, религиозный писатель — 99
- Горький* Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков) (1868—1936), писатель, литературный критик, публицист, общественный деятель — 141, 304, 329
- Грановский* Тимофей Николаевич (1813—1855), историк, литератор, общественный деятель — 25, 420, 429, 430
- Грибский*, генерал-лейтенант, высокопоставленный местный чиновник — 97
- Григорий* (Георгий Петрович Постников) (1784—1860), митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский (с 1856) — 246
- Григорий VII Гильдебранд* (1015/1020—1085), папа римский (с 1073) — 208, 267, 421
- Григорьев* Иван Федорович, религиозный писатель, исследователь Ветхого Завета — 488
- Грингмут* Владимир Андреевич (1851—1907), педагог, публицист, организатор Русской монархической партии, редактор-издатель газеты «Московские ведомости» (с 1897) — 200—202
- Гриневич* Вера, екатеринославская помещица, корреспондентка Розанова. — 115, 119, 218
- Гринякин* Н., сотрудник журнала «Миссионерское обозрение» — 439, 440, 443
- Гурчин* Александр Викентьевич (1833—1902), генерал, командующий войсками Виленского военного округа (с 1901) — 358, 359, 361

- Гус Ян* (1371—1415), чешский религиозный реформатор, ректор Пражского (Карлова) университета, сожжен по приговору Константинопольского церковного собора — 345, 421, 426
- Густав II Адольф* (1594—1632), шведский король (с 1611) из династии Ваза, полководец — 316
- Д-ская Софья*, автор письма к Розанову — 315
- Давид*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 1004 — ок. 965 до н. э.) — 17, 127, 186, 189, 264, 324, 413, 476, 481, 491, 493
- Далила* (Далида), в Ветхом Завете возлюбленная Самсона, выдавшая его противникам тайну его силы — 375
- Даль Владимир Иванович* (1801—1872), писатель, лексикограф, этнограф — 419
- Данилевский Николай Яковлевич* (1822—1885), социолог, философ, публицист — 296, 429
- Данте Алигьери* (1265—1321), итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка — 161
- Дарвин Чарлз Роберт* (1809—1882), английский естествоиспытатель, разработал теорию эволюции органического мира — 48, 54, 182, 430
- Дачис Иван Иванович*, казначей местного благотворительного общества — 327
- Двоеслов*, прозвище Григория I Великого (ок. 540—604), папы римского (с 590) — 35, 38
- Декарт Рене* (1596—1650), французский философ, математик, физик, физиолог — 103, 143, 461
- Демосфен* (ок. 384—322 до н. э.), афинский оратор — 75—77
- Державин Гаврила Романович* (1743—1816), поэт — 15
- Дернов Александр Александрович* (1857 — ?), протоиерей Петропавловского придворного собора, публицист, сотрудник церковных изданий, полемизировал с Розановым — 173, 174, 340
- Дизраэли Бенджамин*, граф Биконсфилд (1804—1881), английский политический деятель, премьер-министр (1868, 1874—1880) — 41, 47, 353
- Диоклетиан* (243—313/316), римский император (284—305) — 310
- Дионис*, в греческой мифологии бог виноградарства и виноделия — 372
- Дмитрий Донской* (1350—1389), великий князь Московский (с 1359) и Владимирский (с 1362), полководец — 34
- Добролюбов Николай Александрович* (1836—1861), литературный критик, публицист, постоянный сотрудник журнала «Современник» — 149, 255
- Доре Гюстав* (1832—1883), французский график — 475
- Достоевский Федор Михайлович* (1821—1881), писатель и мыслитель — 11—13, 15, 130—132, 157, 214, 249, 293, 294, 299, 312, 317, 321, 393, 455, 466
- Дрейфус Альфред* (1859—1935), офицер французского генерального штаба, родом из эльзасской еврейской семьи, обвиненный в шпионаже в пользу Германии (1894) и полностью реабилитированный (1906) — 41, 256
- Дроздов Николай Георгиевич*, протоиерей, сотрудник церковной газеты «Колокол», полемизировал с Розановым — 400, 402, 404
- Друммонд Генри* (1851—1897), английский теолог, пытавшийся примирить естествознание с Библией — 20
- Дю-Туа*, французский священник, публицист — 262
- Ева*, в Ветхом Завете жена Адама, пра-матерь человечества — 19, 258, 411
- Екатерина II* (1729—1796), российская императрица (с 1762) — 32, 188, 243
- Елеонский Николай Александрович* (1843—1910), богослов, религиозный писатель — 295
- Елисей*, в Ветхом Завете пророк, сподвижник и преемник Илии — 68, 163

- Еремеева*, учительница школы грамоты в Новгородской губернии — 87—91, 93, 95
- Еречнев* Владимир, автор письма к Розанову — 284
- Ермак* (Ермак Тимофеевич) (ум. 1585), казачий атаман, участник освоения Сибири — 41
- Ефрем Сирин* (ок. 306 — ок. 373), христианский теолог, проповедник, поэт — 303
- Жиро* Виктор (1868—1953), французский публицист, критик, председатель «Общества религиозных исследований» — 381
- Жуковский* Василий Андреевич (1783—1852), поэт, переводчик, критик — 389, 394
- Заведей* (Зеведей), в Новом Завете отец апостолов Иакова и Иоанна — 163
- Завулон*, в Ветхом Завете сын Иакова, родоначальник одного из колен (племен) Израилевых — 443
- Закревский* Арсений Андреевич (1783—1865), политический деятель, генерал от инфантерии, министр внутренних дел (1828—1831) — 35
- Закхей*, в Новом Завете главный сборщик податей (пошлины) в Иерихоне — 187
- Заозерский* Николай Александрович (1851—1919), профессор церковного (канонического) права в Московской духовной академии, полемизировал с Розановым — 195, 197, 198, 278
- Запаладов* А., православный священник — 404
- Захарын* Григорий Антонович (1829—1897), врач-терапевт, профессор и директор терапевтической клиники Московского университета — 88, 138, 325
- Зевс*, в греческой мифологии верховный бог — 152, 223
- Зедергольм* Карл Альберт (1789—1867), протестантский пастор, доктор философии, отец Климента Зедергольма — 297
- Знаменский* М. Н., учитель сельской школы, автор письма к Розанову — 405
- Знаменский* Петр Васильевич (1836—1917), церковный историк — 14, 242, 244—248, 251, 254
- Золя* Эмиль (1840—1902), французский писатель — 347
- Зосима* (ум. 1478), игумен Соловецкого монастыря — 33
- Иаков*, в Ветхом Завете патриарх, родоначальник «двенадцати колен Израилевых» — 228, 261, 374, 444, 461, 471, 483
- Иаков*, в Новом Завете апостол — 228
- Иван IV Грозный* (1530—1584), первый русский царь (с 1547) — 41, 350, 473
- Иванцов-Платонов* Александр Михайлович (1835—1894), протоиерей, профессор церковной истории Московского университета — 432, 433
- Ignotus* (Неизвестный — лат.), псевдоним А. С. Хомякова — 234
- Иегова* (Яхве, рус. перев. Суший), в Ветхом Завете имя Бога, которым он назвал сам себя — 137, 372, 374, 412, 498
- Иезекииль*, ветхозаветный пророк — 232, 253, 375, 387, 406, 491
- Иероним* Евсевий Софроний (ок. 342/345—420), христианский теолог, писатель, переводчик на латинский язык Библии — 487
- Извеков* Ю., фольклорист — 394
- Измаил*, в Ветхом Завете сын Авраама и Агари, родоначальник измаилитов-кочевников — 173
- Иисус* (VI в. до н. э.), иудейский первосвященник — 142
- Иисус Навин*, в Ветхом Завете сподвижник Моисея, а после его смерти вождь израильтян при завоевании новых земель — 14, 262
- Иисус Христос* — 9, 12—14, 16—20, 55, 67, 69, 70, 72, 73, 102, 103, 105, 112, 114, 115—117, 119, 120, 125, 129, 134, 141, 142, 153, 162—164, 171, 177, 183, 187, 188, 192, 193, 195, 202, 203, 211, 214, 220—222, 228—230, 240, 246,

- 248, 250—252, 257, 258, 260—262, 267, 268, 271, 283, 284, 293, 304—306, 313—316, 329, 338, 344, 347, 349, 352, 357—360, 364, 366, 372—375, 378, 380, 393, 395—400, 403, 405, 409, 412, 416, 417, 421, 425—427, 434, 436, 439, 443—445, 448—455, 465, 471, 474, 477, 478, 484—486, 488—492, 494, 496—501
- Илия**, ветхозаветный пророк — 68, 163, 164, 371, 485
- Иловайский Дмитрий Иванович** (1832—1920), историк и публицист — 57, 70, 77, 128, 162
- Ильин Алексей**, автор брошюры об ордене иезуитов — 379, 380
- Иннокентий** (кон. XVIII — нач. XIX в.), игумен Валаамского монастыря — 292
- Иннокентий** (Иван Евсеевич Попов-Вениаминов) (1797—1879), миссионер, епископ Камчатский, Курильский и Алеутский (с 1840), митрополит Московский и Коломенский (с 1868) — 269
- Иннокентий III** (Джованни Лотарио, граф де Сеньи) (1160—1216), папа римский (с 1198) — 208, 226, 267, 282, 421
- Иоаким**, по христианскому преданию отец Богоматери Марии — 26
- Иоанн** (Владимир Сергеевич Соколов) (1818—1869), епископ Смоленский — 439
- Иоанн Богослов**, в Новом Завете апостол и евангелист — 14, 67, 68, 112, 129, 162, 253, 457, 471, 480
- Иоанн Дамаскин** (ок. 675 — до 753), византийский богослов, философ, поэт — 111, 294, 428, 485, 493
- Иоанн Златоуст** (344/354—407), византийский церковный деятель, епископ Константинопольский (398—404), проповедник — 35, 38, 113, 263, 264, 350, 476, 482, 496—502
- Иоанн Креститель** (Иоанн Предтеча), в Новом Завете пророк, предшественник Иисуса Христа — 18, 164, 358, 364, 377, 472
- Иоанн от Креста** (Хуан де ла Крус, наст. имя Хуан Иепес) (1542—1591), испанский церковный деятель, теолог-мистик, поэт — 371
- Иоанн Кронштадтский** (Иоанн Ильич Сергиев) (1829—1908/1909), настоятель Андреевского собора в Кронштадте, религиозный писатель, проповедник — 36, 39, 364
- Иоанн Лествичник** (ум. 649/650), христианский подвижник и писатель — 260
- Иоанн Мосх** (ум. 619), византийский (палестинский) монах, религиозный писатель — 482
- Иоанникий** (Иван Максимович Руднев) (1826—1900), митрополит Киевский (с 1891) — 292
- Иов**, ветхозаветный праведник — 17, 77, 78, 153, 461, 478
- Иона**, ветхозаветный пророк — 195
- Иона**, в Новом Завете отец апостола Петра — 67, 68, 70, 163, 164
- Иосиф**, в Ветхом Завете сын Иакова, проданный братьями в рабство — 228, 442—446
- Иосиф Волоколамский** (Иосиф Волоцкий) (Иван Санин) (1439/1440—1515), основатель и игумен Иосифо-Волоколамского монастыря, религиозный писатель — 188
- Иосиф Флавин** (Иосиф бен Матафие) (37 — после 100), древнееврейский историк — 314
- Ирод I Великий** (ок. 73—4 до н. э.), царь Иудейского государства (с 40/37 до н. э.) — 214
- Исаак**, в Ветхом Завете патриарх, сын Авраама — 228, 261, 471
- Исаак Сириянин** (VII в.), христианский подвижник и писатель — 260, 304
- Исаия**, ветхозаветный пророк — 77, 143, 233, 486—488
- Исидор** (Яков Сергеевич Никольский) (1799—1892), церковный деятель и писатель, экзарх Грузии (с 1844), митрополит Киевский (с 1858), Санкт-Петербургский и Новгородский (с 1860) — 244—246, 249, 251
- Исидор**, один из иерархов нижегородской епархии — 339
- Исидор Меркатор**, псевдоним неизвестного составителя сборника церковных документов (главным образом подложных), вышедшего во Франции в сер. IX в. и имевшего

- целью обосновать верховенство власти пап над светской властью, сборник получил название «Лжеисидорovy декреталии» — 279
- Иуда*, в Ветхом Завете сын Иакова, родоначальник одного из колен (племен) Израилевых — 443
- Иуда Искарюот*, в Новом Завете апостол, предавший Иисуса Христа — 16, 234, 250, 400
- Иясу I* (ум. 1706), император Эфиопии (1682—1705) — 434
- Кер А.* — см. Ковнер А. Г.
- Каблиц Иосиф* (Осип) Иванович (1848—1893), публицист — 364
- Кавелин Константин Дмитриевич* (1818—1885), историк, правовед, философ, публицист, общественный деятель — 429
- Каиафа Иосиф*, иудейский первосвященник, назначенный римлянами (18—37) — 187, 412
- Каин*, в Ветхом Завете сын Адама и Евы, убивший своего брата Авеля — 189, 320, 499
- Калигула* (12—41), римский император (с 37) из династии Юлиев-Клавдиев — 421
- Калликст* (ок. 155—222), папа римский (с 217), до избрания папой занимался устройством христианских кладбищ — 195
- Калинина Агриппина* (Аграфена) Никифоровна, крестьянка Царскосельского уезда, отлученная от причастия — 403, 404
- Кальвин Жан* (1509—1564), деятель Реформации в Швейцарии — 103, 126, 284, 350, 423
- Каннинг Джордж* (1770—1827), английский политический деятель, премьер-министр (1827) — 135
- Кант Иммануил* (1724—1804), немецкий философ и ученый — 25, 345, 435, 483
- Карамзин Николай Михайлович* (1766—1826), историк и писатель — 394
- Карлейль Томас* (1795—1881), английский историк, философ-моралист, публицист — 135
- Карус Карл Густав* (1789—1869), немецкий биолог, врач, психолог, натурфилософ — 134, 137
- Катарина* (Екатерина) *Генуэзская* (ум. 1510), итальянская монахиня, автор мистических сочинений — 371
- Катарина Сиенская* (Екатерина Бенинказа) (1347—1380), итальянская монахиня, автор мистических произведений и писем — 371
- Катарина* (Анна Катарина) *Эммерих* (1774—1824), немецкая монахиня, склонная к мистическим видениям — 371
- Кельсиев Василий Иванович* (1835—1872), писатель, общественный деятель, этнограф мемуарист, в 1859—1867 гг. находился в эмиграции — 103
- Кеннан Джордж* (1845—1924), американский журналист, автор книг о Сибири: «Кочевая жизнь в Сибири» (1870) и «Сибирь и ссылка» (1891), которая была переведена на все основные европейские языки — 117
- Керн* (урожд. Полторацкая) Анна Петровна (1800—1879), знакомая А. С. Пушкина, посвятившего ей один из шедевров своей лирики, мемуаристка — 316
- Киприан* (ок. 201/210—258), христианский теолог, епископ Карфагенский, мученик — 274
- Киреев Александр Алексеевич* (1833—1910), генерал от кавалерии, публицист, сторонник движения старокаатоликов, не признававших догмата о непогрешимости папы римского — 65, 66, 68, 69, 263, 266, 269, 270, 310, 311
- Киреевский Иван Васильевич* (1806—1856), философ, литературный критик, публицист — 290, 293
- Киреевский Петр Васильевич* (1808—1856), фольклорист, археолог, публицист — 290, 293
- Кирилл Александрийский* (ум. 444), христианский церковный деятель и теолог — 482, 483
- Кирилл* (Флоринский, Флорианский) (1729—1795), епископ Севский — 147, 148

- Киселев Павел Дмитриевич* (1788—1872), граф, политический деятель, провел реформу управления государственными крестьянами (1837—1841), был сторонником отмены крепостного права — 30
- Клейнмихель Петр Андреевич* (1793—1869), граф, главноуправляющий путями сообщения (1842—1855) — 135
- Климент Александрийский* (ок. 150 — ок. 215), христианский теолог и писатель — 106, 480
- Климент Зедергольм* (Карл Густав Адольф Зедергольм, после принятия православия Константин Карлович) (1830—1878), иеромонах Оптиной пустыни, религиозный писатель, переводчик — 293, 297
- Климент Римский*, христианский теолог, папа римский (ок. 89 — ок. 97) — 480
- Ключевский Василий Осипович* (1841—1911), историк — 74
- Кляцкин Хаим-Элья Абрамович*, автор письма к Розанову — 239
- Ковнер Аркадий* (Авраам-Урия, Альберт) Григорьевич (1842—1909), публицист, писатель вел переписку с Достоевским и Розановым — 456, 457, 460, 462, 468, 469
- Козинский*, сотрудник журнала «Миссионерское обозрение» — 443
- Колумб Христофор* (1451—1506), испанский мореплаватель, родом из Генуи — 419, 422, 423, 425
- Кольцов Алексей Васильевич* (1809—1842), поэт — 419
- Комура Дзютаро*, японский министр иностранных дел (1901—1906, 1908—1911) — 380
- Константин I Великий* (ок. 285—337), римский император (с 306) — 243, 274
- Коперник Николай* (1473—1543), польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира — 14, 267, 425
- Корнель Пьер* (1606—1684), французский драматург — 139, 140
- Корреджио* (Корреджо) (наст. фам. Аллегри) Антонио (ок. 1489—1534), итальянский живописец — 395
- Костомаров Николай Иванович* (1817—1885), историк и писатель — 245
- Кошелев Александр Иванович* (1806—1883), публицист, издатель, мемуарист, общественный деятель — 31
- Крупп Альфред* (1812—1887), немецкий промышленник, владелец сталелитейных заводов в Эссене (Вестфалия) — 56
- Крылов Иван Андреевич* (1769—1844), баснописец, драматург, журналист — 135, 392, 419
- Кутузов Михаил Илларионович* (1745—1813), князь, генерал-фельдмаршал, командующий русской армией, разгромившей армию Наполеона — 244, 351
- Лаврский Валериан Викторович*, соборный протоиерей в Самаре, во время учебы в Нижегородской духовной семинарии товарищ Н. А. Добролюбова — 254, 255, 257
- Лазарь*, бедняк из притчи в Евангелии от Луки — 154
- Лассаль Фердинанд* (1825—1864), немецкий политический деятель, социалист, публицист — 347
- Лассер Поль Жозеф Анри де Монци* (1828—1900), французский писатель, автор книги о Лурде как месте явления Богоматери — 376
- Лахотский* (Лахостский) Павел Николаевич, протоиерей, публицист, составитель «Проповеднической хрестоматии» (1912) — 173, 174
- Лебедев Александр Алексеевич* (1833—1898), протоиерей, религиозный писатель — 248, 255
- Лебедева Екатерина Александровна* (1861—?), писательница — 254, 255
- Лев IX* (Брунон д'Эгисхейм-Дагсбург) (1002—1054), папа римский (с 1049) — 229
- Лев XIII* (Джоаккино Печчи) (1810—1903), папа римский (с 1878) — 39, 131, 169, 225, 226, 265, 345, 347, 352, 353, 355, 372, 409, 410, 414, 415
- Лев VI Мудрый* (866—912), византийский император (с 886) — 282, 283

- Левий*, в Ветхом Завете сын Иакова, родоначальник племени левитов, из которого вышли священники, служители храмов — 495
- Левецкая* Елена Сергеевна (ум. 1915), директриса школы в Царском Селе, знакомая Розанова — 119
- Ледоховский* Мечислав Халка (1822—1902), граф, польский церковный деятель, кардинал — 355
- Лейкин* Николай Александрович (1841—1906), писатель и журналист — 333, 375, 483
- Лекки* Уильям Эдуард Гарполь (1838—1903), английский историк культуры — 13, 159, 280
- Леонтьев* Константин Николаевич (1831—1891), философ, писатель, публицист, литературный критик — 12, 13, 157, 181, 182, 293—297, 299
- Лепорский* Петр Иванович (1871/1872—?), протоиерей, профессор Петербургской духовной академии, религиозный писатель — 440, 480—482
- Лепсиус* Карл Рихард (1810—1884), немецкий египтолог — 109, 386
- Лермонтов* Михаил Юрьевич (1814—1841), поэт и прозаик — 140, 371, 391, 419
- Либкнехт* Вильгельм (1826—1900), один из основателей и руководителей социал-демократии в Германии — 409, 410, 415
- Лисицын* М., православный священник, автор письма по поводу преподавания Закона Божьего — 78—80, 338, 339
- Лия*, в Ветхом Завете первая жена Иакова — 239
- Ломоносов* Михаил Васильевич (1711—1765), естествоиспытатель, поэт, художник, историк, общественный деятель — 25, 397
- Лопатин* Лев Михайлович (1855—1920), философ и психолог — 433
- Лопухин* Александр Павлович (1852—1904), богослов, редактор журналов «Христианское чтение», «Церковный вестник» и Православной богословской энциклопедии — 269, 274
- Лот*, в Ветхом Завете племянник Авраама, спасшийся со своими дочерьми после гибели Содома — 78, 170
- Лухманова* (урожд. Байкова) Надежда Александровна (1844—1907), писательница и переводчица — 399, 443
- Людовик XIV* (1638—1715), французский король (с 1643) из династии Бурбонов — 361
- Людовик XV* (1710—1774), французский король (с 1715) из династии Бурбонов — 423
- Лютер* Мартин (1483—1546), немецкий религиозный реформатор — 55, 86, 124, 125, 178, 266, 284, 345, 350, 351, 421—426, 492
- Магницкий* Михаил Леонтьевич (1778—1844), поэт, публицист, деятель народного просвещения — 241
- Магомет* (Мохаммед, Мухаммед) (ок. 570—632), основатель ислама, в котором почитается как пророк, глава первого теократического мусульманского государства (с 630) — 308, 462
- Мазарини* (Мазарини) Джулио (1602—1661), кардинал, первый министр Франции (с 1643), по происхождению итальянец — 30
- Мазини* Анджело (1844—1926), итальянский певец (тенор) — 307
- Маи* Анджело (1782—1854), итальянский ученый, иезуит, библиотекарь Ватикана, издатель памятников древней литературы — 75
- Макарий* (Михаил Петрович Булгаков) (1816—1882), богослов и историк церкви, митрополит Московский и Коломенский (с 1879) — 257, 258, 373
- Макарий* (Михаил Яковлевич Глухарев) (1792—1847), архимандрит, переводчик, религиозный поэт — 314
- Макарий Египетский* (Макарий Великий) (301—390), христианский монах-подвижник, проповедник аскетизма — 221, 260
- Маколей* Томас Бабингтон (1800—1859), английский историк — 158
- Максимов*, лавочник, автор письма к Розанову — 130

- Маргарита Мария Алакок* (1647—1690), французская монахиня, автор мистического сочинения «О святом сердце Иисуса» — 371
- Мария* (Дева Мария), в Новом Завете Богоматерь, мать Иисуса Христа — 359, 378, 415, 416
- Мария*, в Новом Завете жительница Вифании (селения около Иерусалима), последовательница Иисуса Христа — 471, 473
- Мария Магдалина*, согласно христианской легенде, грешница, ставшая последовательницей Иисуса Христа, изгнанного из нее «бесов» — 241
- Мария Египетская* (V в.), раскаявшаяся блудница, ставшая христианской отшельницей — 249
- Марков Евгений Львович* (1835—1903), писатель, публицист, критик — 447
- Маркс Карл* (1818—1883), немецкий мыслитель, основоположник коммунистической теории, названной его именем — 177, 498
- Марфа*, в Новом Завете сестра Марии из Вифании — 82, 471
- Матвей Ржевский* (Матвей Александрович Константиновский) (1791—1857), протоиерей из Ржева, духовник Н. В. Гоголя — 149, 152, 153, 167—169, 189, 293, 473
- Матфей*, в Новом Завете апостол и евангелист — 109, 310, 373
- Мелхола*, в Ветхом Завете дочь первого всеизраильского царя Саула, жена царя Давида — 491
- Мельхиседек* (Мелхиседек), в Ветхом Завете царь и священник Салимский, благословивший Авраама — 241, 250, 474, 490
- Мережковский Дмитрий Сергеевич* (1865—1941), писатель, публицист, философ, общественный деятель — 260, 261, 371, 372
- Меркурий*, в римской мифологии бог торговли, покровитель путешественников — 323
- Мефодий*, архимандрит, публицист, цензор — 174
- Мещерский Александр Иванович* (1730—1779), князь, главный судья таможенной канцелярии — 15
- Мещерский Владимир Петрович* (1839—1914), князь, писатель и публицист, издатель газеты-журнала «Гражданин» — 364
- Милан* (1854—1901), сербский князь (1868—1882), король (Милан I) (1882—1889) из династии Обреновичей — 43
- Минин* (Захарьев-Сухорук) Кузьма Минич (ум. 1616), нижегородский посадский, один из руководителей борьбы против польской интервенции — 97, 98
- Минский* (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1855—1937), писатель, философ, теоретик символизма, критик — 203
- Мирабо* Оноре Габриель Рикети (1749—1791), граф, французский политический деятель, стал известен своими выступлениями против абсолютизма в Генеральных штатах (1789) — 423
- Миссаил* (Мисаил) (XIX в.), епископ Орловский — 111
- Михаил*, архангел, «архистратиг», глава небесного воинства, согласно христианской традиции — ангел-хранитель церкви — 353, 416
- Михаил* (Павел Васильевич Семенов) (1874 — после 1916), богослов, религиозный писатель, после 1906 г. перешел в старообрядчество — 213, 279
- Михаил Керулларий* (Кируларий) (ок. 1000—1058), патриарх Константинопольский (с 1043) — 229
- Моисей*, в Ветхом Завете предводитель израильских племен, основатель иудаизма, пророк — 18, 109, 141, 144, 261, 344, 356, 375, 384, 404, 412, 413, 417, 421, 457, 460, 465, 477, 500, 501
- Моисей* (Тимофей Путилов) (1782—1862), архимандрит, игумен Оптиной пустыни (с 1826) — 293
- Молешотт Якоб* (1822—1893), немецкий физиолог и философ — 345
- Молох*, древнепалестинское, западносемитское божество, которому приносились человеческие жертвы, упоминается в Библии — 229, 370
- Муравьев Андрей Николаевич* (1806—1874), религиозный писатель — 269

- Н-ва* Александра, автор письма к Розанову — 335
- Навуходоносор II*, вавилонский царь (605—562 до н. э.), о его «преображении в зверя» говорится в Ветхом Завете (Книга Даниила) — 13
- Надеждин* Александр Николаевич (1844—?), религиозный писатель и публицист — 173, 174
- Надеждин* Николай Иванович (1804—1856), критик, эстетик, издатель журнала «Телескоп» (1831—1836) — 149
- Надсон* Семен Яковлевич (1862—1887), поэт — 307
- Назарий*, архиепископ Нижегородский, религиозный писатель, историк церкви — 339, 341
- Назимов* Владимир Иванович (1802—1874), политический деятель, высокопоставленный чиновник — 31
- Назимов* Иван Иванович, председатель «Общества покровительства животным» — 322
- Наполеон I* (Наполеон Бонапарт) (1769—1821), французский император (1804—1814, март — июнь 1815), основатель династии Бонапартов — 161, 351, 411, 447, 461
- Нафанаил*, в Новом Завете апостол — 163, 480
- Независимый*, псевдоним писателя, журналиста, издателя, критика Иеронима Иеронимовича Ясинского (1850—1931) — 154
- Некрасов* Николай Алексеевич (1821—1877/1878), поэт, прозаик, общественный деятель — 162, 194, 380, 384, 391, 419—421
- Нептун*, в римской мифологии бог морей — 323
- Нерон* (37—68), римский император (с 54) из династии Юлиев-Клавдиев — 39, 421, 430
- Нестор* (XI — нач. XII в.), древнерусский летописец, монах Киево-Печерского монастыря — 324
- Несторий*, патриарх Константинопольский (428—431), основатель еретического течения в христианстве — несторианства — 276
- Никанор* (Александр Иванович Бровкович) (1827—1890/1891), архиепископ Херсонский и Одесский, богослов, религиозный писатель — 38
- Никанор*, епископ, религиозный публицист — 122—124
- Никодим* (Александр Кононов) (1872—?), архимандрит, религиозный публицист — 172, 174
- Николай I* (800—867), папа римский (с 858) — 229
- Николай I* (1796—1855), российский император (с 1825) — 27, 29, 32, 103, 243, 280, 314, 387, 485
- Николай II* (1868—1918), российский император (1894—1917) — 372
- Николай Чудотворец* (Николай Мирликийский), епископ г. Миры в Ликии (Малая Азия), облик которого в значительной степени мифологизирован, в легендах он изображается как наделенный даром совершать чудеса, считается, что он жил в 260—343 гг. — 154, 264, 284, 471
- Никон* (Никита Минов) (1605—1681), патриарх (1652—1667) — 38, 151, 226, 435—438, 440
- Никон* (Николай Иванович Рождественский) (1851—1918), архимандрит, затем епископ, член Синода, религиозный писатель, издатель «Троицких листков» (с 1879) — 214, 223, 312, 402, 404, 421
- Нил Сорский* (Николай Майков) (ок. 1433—1508), богослов, глава нестяжательства в России, основатель монастыря на реке Соре — 188
- Нириль* Йозеф, немецкий теолог — 273
- Ницше* Фридрих (1844—1900), немецкий философ — 160, 412
- Нобель* Эммануэль (1859—1932), шведский промышленник, занимавшийся предпринимательской деятельностью в России (1888—1917) — 303, 307
- Новоселов* Михаил Александрович (1864—1938), религиозный писатель и мыслитель, издавал «Религиозно-философскую библиотеку» — 99, 102, 108

- Ньютон** Исаак (1643—1727), английский математик, механик, астроном, физик, создатель классической механики — 103, 182, 284, 458, 460, 461
- Озирис** (Осирис), в древнеегипетской мифологии бог умирающей и воскресающей природы — 109, 306
- Окунцов**, инспектор народных школ в Приамурье — 97
- Олег** (ум. 912), древнерусский князь — 323
- Ольденбургский** Александр Петрович, принц (1844—1932), член Государственного совета, генерал от инфантерии, попечитель различных учебных заведений и домов призрения — 83, 333
- Ольденбургский** Петр Георгиевич, принц (1812—1881), член Государственного совета, попечитель воспитательных и образовательных учреждений — 333
- Ориген** (ок. 185—253/254), христианский теолог, философ, филолог — 106, 480, 482, 484, 487
- Орнатский** Философ Николаевич (1860—1918), протоиерей, председатель совета «Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви» — 176, 178, 179, 338, 339
- Островский** Александр Николаевич (1823—1886), драматург — 390
- Павел**, в Новом Завете апостол — 17, 70, 153, 168, 228, 263, 274, 310, 374, 413, 417, 439, 450, 471, 482, 491, 497, 498, 501, 502
- Павлов** Алексей Степанович (1832—1898), специалист по каноническому праву — 281
- Паллада**, в греческой мифологии один из эпитетов богини Афины, означающий, что ее изображение упало с неба — 186, 323, 324
- Палладий** (Павел Иванович Раев) (1827—1898), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (с 1892) — 40
- Пальмер** Уильям (ум. 1879), англиканский священник, перешедший в 1855 г. в католичество, многолетний корреспондент А. С. Хомякова — 185
- Пан**, в греческой мифологии бог природы — 213
- Папков** Александр Александрович (1855—1920), богослов, религиозный публицист — 279, 310
- Партечипацио** Аньелло (ум. 827), венецианский дож — 323
- Паскаль** Блез (1623—1662), французский математик, физик, религиозный философ, писатель — 264
- Пастер** Луи (1822—1895), французский микробиолог — 137, 284
- Патрокл**, в греческой мифологии один из героев Троянской войны, друг Ахилла — 98
- Патти** Аделина (1843—1919), итальянская певица (колоратурное сопрано) — 306
- Пашков** Василий Александрович (1834—1902), отставной полковник-кавалергард, основатель секты «Общество поощрения духовно-нравственного чтения», в конечном счете запрещенной в 1884 г., сам он был выслан за границу — 305
- Пеллико** Сильвио (1789—1854), участник освободительной борьбы в Италии, писатель — 407
- Пенелопа**, в греческой мифологии жена Одиссея — 15
- Перевлесский** Петр Миронович (ум. 1866), педагог и писатель — 76
- Переферкович** Наум Абрамович (1871—?), филолог, переводчик на русский язык Талмуда — 141, 387
- Перикл** (ок. 490—429 до н. э.), афинский политический и военный деятель — 51, 62, 494
- Перун**, в индоевропейской и славяно-русской мифологии бог грозы — 402
- Петр**, в Новом Завете апостол — 67—70, 163, 164, 166, 227, 228, 261, 265, 270, 274, 310, 313, 346, 352, 374, 399, 413, 417, 425, 439, 476, 480, 483
- Петр** (ум. 1326), митрополит всея Руси (с 1308) — 34—36, 471

- Петр** (Петр Семенович Могила) (1597—1647), митрополит Киевский — 283
- Петр I Великий** (1672—1725), русский царь (с 1682, правил с 1689), первый российский император (с 1721) — 31, 32, 149, 161, 162, 199, 208, 209, 241, 251, 252, 270, 312, 366, 368, 478, 483
- Петров Григорий Спиридонович** (1868—1925), православный священник, публицист, депутат II Государственной думы, был лишен сана, умер в эмиграции — 10, 11, 14—17, 20, 153, 154, 303—308, 399, 442—446
- Печерский-Мельников** (наст. имя и фам. Павел Иванович Мельников, псевд. Андрей Печерский) (1818—1883), писатель — 25
- Пий IX** (Джованни Мария граф Мاستаи Ферретти) (1792—1878), папа римский (с 1846) — 131, 265, 266, 347, 352, 353, 355
- Пий X** (Джузеппе Сарто) (1835—1914), папа римский (с 1903) — 372, 380
- Пирогов Николай Иванович** (1810—1881), хирург; анатом, педагог, общественный деятель — 97, 245
- Писарев Дмитрий Иванович** (1840—1868), публицист, литературный критик, общественный деятель — 456
- Питт Уильям Младший** (1759—1806), английский политический деятель, премьер-министр (1783—1801, 1804—1806) — 135
- Платон** (428/427—348/347 до н. э.), древнегреческий философ — 26, 131, 132, 139—141, 158, 159, 414
- Платон** (Петр Георгиевич Левшин) (1737—1812), богослов, философ, митрополит Московский (с 1775) — 264, 267—271, 301, 302, 311
- Плещеев Алексей Иванович** (1825—1893), поэт — 391
- Победоносцев Константин Петрович** (1827—1907), обер-прокурор Синода (1880—1905), автор историко-юридических трудов — 134, 136, 138—140, 267, 268, 336
- Повало-Швейковский** (Поваловшвейковский), городской секретарь — 280, 485, 486
- Погодин Михаил Петрович** (1800—1875), историк, писатель, издатель — 29—37, 39, 247, 328, 430
- Пожарский Дмитрий Михайлович** (1578—1642), князь, боярин, один из руководителей борьбы против польской интервенции — 97, 98
- Полифем**, в греческой мифологии великан-киклоп (циклоп) — 484
- Полотебнова А.**, автор письма об отношении к животным — 322
- Помяловский Николай Герасимович** (1835—1863), писатель — 299
- Порфирий Успенский** (1804—1885), епископ Чигиринский, археолог, писатель — 431
- Поселянин** (наст. имя и фам. Евгений Николаевич Погожев) (1870—?), публицист, сотрудник церковных изданий — 300
- Поссевино** (Поссевино) Антоний (Антонио) (1534—1611), иезуит, дипломат, папский посланник в Россию в 1581 и 1582 гг. — 350
- Потанина** (урожд. Лаврская) Александра Викторовна (1843—1893), жена исследователя Центральной Азии и Сибири Г. Н. Потанина, участница почти всех его экспедиций — 255
- Преображенский Андрей** (XVIII в.), протоиерей гвардии — 148
- Преображенский Иван Васильевич** (1854—?), религиозный публицист, магистр богословия, начальник отдела канцелярии Синода — 443
- Прокопович Феофан** (1681—1736), политический и церковный деятель, писатель, сподвижник Петра I — 33, 166, 243, 244, 251, 433
- Протасов Николай Александрович** (1799—1855), граф, обер-прокурор Синода (с 1836) — 38
- Пругавин Александр Степанович** (1850—1920), публицист, историк, этнограф, религиовед — 449
- Птолемей II Филадельф** (308—246 до н. э.), царь Египта (с 285/283 до н. э.), при котором, согласно легенде, был осуществлен перевод на греческий язык Библии (Ветхого Завета) — 487

- Пушкин Александр Сергеевич* (1799—1837), поэт и прозаик — 63, 128, 140, 152, 167—170, 181, 245, 246, 285, 312, 316, 380, 389, 391, 402, 419, 478, 481
- Р-цев Ф.*, автор письма к Розанову — 377
- Рамполла дель Тиндаро Мариано* (1843—1913), итальянский церковный деятель, кардинал — 356
- Расин Жан* (1639—1699), французский драматург и поэт — 139, 140
- Рафаэль Санти* (1483—1520), итальянский живописец и архитектор — 192, 207, 208
- Рахиль*, в Ветхом Завете вторая жена Иакова — 239
- Рачинский Сергей Александрович* (1833—1902), ученый-ботаник, деятель народного образования — 37, 49, 52—54, 134, 180, 244, 314
- Ревекка*, в Ветхом Завете жена Исаака, мать Иакова — 239
- Ренап Жозеф Эрнест* (1823—1892), французский филолог, историк-востоковед, писатель — 167, 182, 186, 475, 476, 484, 488
- Робеспьер Максимилиан* (1758—1794), деятель французской революции, один из руководителей якобинцев — 411
- Розанов Василий Васильевич* (1856—1919) — 78, 88—90, 115, 116, 170, 171, 175, 179, 200—203, 214, 223, 228, 230, 233, 239, 240, 254—258, 271, 273, 275—277, 279, 283, 284, 301, 302, 312, 313, 315—317, 323—325, 328, 329, 331—333, 335, 336, 339, 340, 342, 371—381, 396—399, 402—405, 429, 430, 456—463, 465—467, 469, 496—502
- Розанова* (урожд. Руднева, по первому мужу Бутягина) Варвара Дмитриевна (1864—1923), вторая жена Розанова — 7
- Розетти* (Россети, Россет) — см. Смирнова А. О.
- Росселини* (Роселлини) Ипполито (1800—1843), итальянский египтолог и археолог — 386
- Ростовцев Яков Иванович* (1803/1804—1860), граф, политический деятель, один из руководителей подготовки Крестьянской реформы 1861 г. — 30
- Ротшильд* (наст. фам. Бауэр) Майер Ансельм (1743—1812), франкфуртский банкир, создатель банкирского дома Ротшильдов, обосновавшегося затем в ряде стран Западной Европы — 131
- Рувим*, в Ветхом Завете старший сын Иакова, родоначальник одного из колен (племен) Израилевых — 443
- Рудаков Александр Павлович* (1824—1892), протоиерей, богослов, автор популярных книг о Библии — 71, 77
- Руйсброк* (Рюисбрёк, Рейсбрюк) *Удивительный Ян ван* (1293—1381), нидерландский монах и теолог-мистик — 371
- Рунич Дмитрий Павлович* (1780—1860), попечитель Петербургского учебного округа — 241
- Рункевич Степан Григорьевич*, церковный историк — 440
- Русинов Александр*, автор письма о преподавании Закона Божьего — 339
- Руссо Жан Жак* (1712—1778), французский писатель и философ — 385, 387, 388
- Руфь*, в Ветхом Завете прабабка царя Давида — 476
- Рыбинский Владимир Петрович* (1867—?), религиозный писатель — 78
- Рюрик* (ум. 879), по летописному преданию, предводитель варяжского военного отряда, обосновавшегося в Новгороде — 91
- С-в Н. П.*, врач, знакомый Розанова — 342
- Сабурова*, домовладелица — 54
- Саваоф*, одно из имен Иеговы (Яхве) — 109, 487
- Савва* (Тихомиров) (1819—1896), архиепископ Тверской — 336
- Савватий* (ум. 1435), соловецкий подвижник — 33
- Савонарола Джироламо* (1452—1498), итальянский религиозный деятель, настоятель монастыря доминиканцев из Флоренции, выступал с проповедью аскетизма — 284, 421

- Садок*, в Ветхом Завете первосвященник во времена Давида и Соломона — 412, 417
- Салиас де Турнемир* Евгений Андреевич (1840—1900), писатель — 321
- Салисбюри* (Солсбери) Роберт Артур Толбот (1830—1903), маркиз, английский политический деятель, премьер-министр (1885—1892, с перерывом, 1895—1902) — 42
- Саллет* Фридрих фон (1812—1843), немецкий поэт — 134
- Самарин* Юрий Федорович (1819—1876), историк, философ, публицист, общественный деятель — 36, 66, 68, 152, 426, 429, 430, 433, 436
- Самсон*, в Ветхом Завете судья (правитель), обладавший богатырской силой — 375
- Самсоновский* Константин, священник, служащий Петербургской духовной консистории — 404
- Сансовино* (наст. имя и фам. Якопо Татти) (1486—1570), итальянский скульптор и архитектор — 324
- Саотэ* Сергей, японец, принявший христианство — 49—53
- Сара* (Сарра), в Ветхом Завете жена Авраама — 239, 374, 412, 491
- Саул*, первый всеизраильский царь (примерно до 1004 до н. э.) — 360
- Сварог*, в славяно-русской мифологии бог неба и небесного огня — 160
- Светлов* Павел Яковлевич (1861—1941), протоиерей, богослов, религиозный писатель — 257
- Секки* Анджело (1818—1878), итальянский астроном — 265
- Селиванов* Кондратий Иванович (ум. 1832), крестьянин, основатель секты скопцов — 109, 199
- Серафим*, казначей в обители митрополита Платона — 301, 302
- Серафим Саровский* (Прохор Сидорович (Исидорович) Мошнин) (1759/1760—1833), православный подвижник — 399
- Сервет* Мигель (1509/1511—1553), испанский мыслитель, теолог, естествоиспытатель, был сожжен по обвинению в ереси — 126
- Сергиев* Иоанн — см. Иоанн Кронштадтский
- Сергиевский* Николай Александрович (1827—1892), богослов, религиозный писатель, издатель журнала «Православное обозрение» — 54, 249
- Сергий* (Иван Спасский), архиепископ Владимирский, доктор богословия, религиозный писатель — 276
- Сергий* (Иван Николаевич Страгородский) (1867—1944), ректор Петербургской духовной академии, председатель Религиозно-философских собраний в Петербурге, епископ Финляндский (1905—1917), член Синода, митрополит Московский и Коломенский (с 1934), патриарх Московский и всея Руси (с 1943) — 119, 314, 489
- Сергий Радонежский* (1314/1321—1392), православный подвижник, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря — 33, 34, 218, 219, 247, 301
- Сикст V* (Феличе Перетти) (1520/1521—1590), папа римский (с 1585) — 13
- Симеон*, сельский священник в Орловской губернии — 85, 86
- Симон* — см. Петр
- Сипягин* Дмитрий Сергеевич (1853—1902), министр внутренних дел (с 1900) — 455
- Скабичевский* Александр Михайлович (1838—1910), литературный критик и историк литературы — 481, 482
- Скворцов* Василий Михайлович (1859—1932), чиновник Синода, публицист, редактор-издатель ряда церковных изданий — 99, 100, 104, 106, 114, 119, 200, 201, 203, 443, 473
- Скотт* Вальтер (1771—1832), английский писатель — 422
- Смирнов-Платонов* Григорий Петрович (1825—1898), протоиерей, религиозный писатель, общественный деятель — 217
- Смирнова* (урожд. Россет) Александра Осиповна (1809—1882), фрейлина (1826—1832), жена дипломата Н. М. Смирнова, знакомая А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и

- других деятелей культуры того времени — 30, 316
- Соколов* Дмитрий Павлович, протоиерей церкви Зимнего дворца, религиозный публицист, составитель учебников по Закону Божьему — 71
- Соколов* Николай Матвеевич, публицист, полемизировал с Розановым — 429, 430
- Соколов* Пл., церковный историк, правовед — 279
- Сократ* (ок. 470—399 до н. э.), древнегреческий философ — 158, 460, 488
- Соллертинский* Сергей Александрович (1846—1920), протоиерей, богослов, профессор Петербургской духовной академии — 20
- Сологуб* Владимир Александрович (1813—1882), граф, писатель — 391
- Соловьев* Владимир Сергеевич (1853—1900), религиозный философ, поэт, публицист — 132—134, 157, 229, 234, 257, 267, 293, 294, 296, 297, 299, 310, 380, 381, 419, 432, 433, 435—438, 440, 441
- Соловьев* Всеволод Сергеевич (1849—1903), писатель — 321
- Соломон*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 965 — ок. 926 до н. э.) — 7, 24, 186, 412, 480, 493
- Spectator* (Наблюдатель, Зритель — лат.), псевдоним В. А. Грингмута — 200, 202
- Спенсер* Герберт (1820—1903), английский философ и социолог — 54, 182, 488
- Спенсер-Джонс*, англиканский богослов и публицист — 378
- Сперанский* Михаил Михайлович (1771/1772—1839), граф, политический деятель, ближайший советник Александра I (1808—1812), генерал-губернатор Сибири (1819—1821), руководил работой по законодательству — 149
- Спиноза* Бенедикт (Барух) (1632—1677), нидерландский философ — 312
- Стахович* Михаил Александрович (1861—1923), политический деятель, предводитель дворянства Орловской губернии, публицист — 102, 103, 107, 122
- Степанов* Н. П., фольклорист — 390
- Стефенсон* Джордж (1781—1848), английский изобретатель — 475
- Стокс* Джеймс, американский общественный деятель, член различных филантропических и образовательных организаций — 83
- Страхов* Николай Николаевич (1828—1896), философ, публицист, литературный критик — 295, 444
- Суворов* Николай Семенович (1848—?), автор книг по церковному праву — 281, 282
- Сципион Африканский Старший* (ок. 235 — ок. 183 до н. э.), римский полководец, разгромивший войска Ганнибала — 75
- Тавернье* Эжен, французский публицист, секретарь «Общества религиозных исследований» — 381
- Таксиль* Лео (наст. имя и фам. Габриель Антуан Жоган-Пажес) (1854—1907), французский публицист, автор антиклерикальных произведений — 416
- Тареев* Михаил Михайлович (Максим Матвеевич) (1866—1934), религиозный философ, богослов, профессор Московской духовной академии — 257, 258, 430
- Тезей* (Тесей), легендарный афинский царь (ок. XIII в. до н. э.), совершивший множество подвигов — 494
- Теньер* (Тенирс) Давид (1610—1690), фламандский живописец — 159
- Тереза де Хесус* (Тереза из Авилы) (1515—1582), испанская монахиня, автор мистических сочинений — 371
- Тернавцев* Валентин Александрович (1866—1940), богослов, чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода, религиозный писатель — 99, 102, 108, 470
- Тертуллиан* Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — после 220), христианский теолог и писатель — 475, 476
- Тилли* Иоганн Церклас (1559—1632), граф, германский полководец, фельдмаршал (1605) — 316

- Тиморев В.*, автор письма об отношении к животным — 212
- Тимофей*, в Новом Завете ученик и сподвижник апостола Павла — 439
- Тит* (39—81), римский император (с 79) из династии Флавиев — 236, 500
- Тит*, в Новом Завете ученик и сподвижник апостола Павла — 440
- Тихомиров Лев Александрович* (1852—1923), революционный народник, после 1888 г. монархист, редактор газеты «Московские ведомости» (1909—1913) — 197—199
- Тихонравов Николай Саввич* (1832—1893), литературовед и археолог — 26
- Товит*, в Ветхом Завете отец Товии — 77, 78, 80, 81
- Товия*, центральный персонаж ветхозаветной неканонической Книги Товита — 81, 476
- Токвиль Алексис* (1805—1859), французский историк, социолог, политический деятель — 130
- Толстая Мария Николаевна* (1830—1912), графиня, сестра Л. Н. Толстого — 294, 296
- Толстая* (урожд. Берс) *Софья Андреевна* (1844—1919), графиня, жена Л. Н. Толстого — 295, 478
- Толстой Александр Петрович* (1801—1873), граф, обер-прокурор Синода (1856—1862) — 244
- Толстой Алексей Константинович* (1817—1875), граф, писатель — 178, 293, 294, 307, 444
- Толстой Лев Николаевич* (1828—1910), граф, писатель и мыслитель — 12, 24, 99, 128—130, 141, 149, 157, 221, 222, 245, 252, 284, 293—296, 299, 304, 312—315, 370, 373, 478, 479
- Топелиус Цакариас* (1818—1898), финский писатель — 320, 321
- Торквемада Томас* (ок. 1420—1498), монах-доминиканец, глава инквизиции в Испании (с 1480-х гг.) — 126
- Троцкая*, учительница школы грамоты — 90
- Трубецкой Сергей Николаевич* (1862—1905), князь, религиозный философ, публицист, общественный деятель — 436
- Тураев Борис Александрович* (1868—1920), историк и филолог-востоковед — 434
- Тургенев Иван Сергеевич* (1818—1883), писатель — 312
- Урия*, в Ветхом Завете муж Вирсавии, которого Давид послал на заведомую гибель — 186
- Устынский Александр Петрович* (1854/1855—1922), протоиерей из Новгорода, друг Розанова и его многолетний корреспондент — 99, 253—258, 262
- Ушинский Константин Дмитриевич* (1824—1870/1871), педагог, теоретик педагогики — 97, 98
- Фалес* (ок. 625 — ок. 547 до н. э.), древнегреческий философ — 433, 435
- Фамарь*, в Ветхом Завете дочь царя Давида, обеспеченная своим сводным братом Амноном — 491
- Фаррар Фредерик Уильям* (1831—1903), английский писатель и теолог — 20
- Фейербах Людвиг* (1804—1872), немецкий философ — 246—248
- Феликс Антоний*, римский прокуратор (правитель) Иудеи (52—60), в Новом Завете по его указанию апостол Павел 2 года находился в заключении в Кесарии — 450
- Фемистокл* (ок. 525 — ок. 460 до н. э.), афинский полководец — 494
- Феодора* (ок. 502—548), византийская императрица (с 527), жена Юстиниана I — 113
- Феодосий Печерский* (ок. 1036—1074, по др. данным, 1091), игумен Киево-Печерского монастыря (с 1062), религиозный писатель и политический деятель — 123, 160, 161
- Феодосий Углицкий* (30-е гг. XVII в.—1696), архиепископ Черниговский (с 1692) — 165
- Феофан Затворник* (Георгий Васильевич Говоров) (1815—1894), епископ Тамбовский (с 1859), Суздальский и Владимирский (с 1863), с 1866 г. в Вышерской пустыни,

- с 1872 г. стал отшельником, богослов, религиозный писатель, переводчик — 262, 399
- Филарет**, иеромонах Оптиной пустыни — 293
- Филарет** (Дмитрий Григорьевич Гумилевский) (1805—1866), архиепископ Черниговский, богослов, историк церкви — 273, 274
- Филарет** (Василий Михайлович Дроздов) (1782/1783—1867), митрополит Московский (с 1821), богослов, религиозный философ, историк, проповедник — 20, 30, 32—37, 39, 149, 183, 244—246, 249, 268—270, 272, 350, 364, 439, 466
- Филипп** (Фёдор Степанович Колычев) (1507—1569), митрополит всея Руси (1566—1568) — 471
- Фирмилиан Кесарийский** (ум. 269), христианский церковный деятель и теолог, епископ Кесарии Каппадокийской (Малая Азия), председатель ряда церковных соборов — 274
- Фома**, в Новом Завете апостол — 125, 163, 425
- Фома Аквинский** (1225/1226—1274), монах-доминиканец, средневековый философ и теолог — 161, 170, 265, 346, 347, 410
- Фома Кемпийский** (Томас Гемеркен или Хемеркен) (1379/1380—1471), монах, теолог-мистик, писатель — 110
- Фоменко** Климент Иоанникийевич, протоиерей, автор статьи о колокольне св. Марка в Венеции — 322, 324, 325
- Фонвизин** Денис Иванович (1744/1745—1792), писатель — 95, 96, 98, 324
- Фотий** (ок. 810/820—890-е гг.), патриарх Константинопольский (858—867, 877—886) — 229, 270, 273, 276, 277, 310
- Фотий** (ум. 1431), митрополит всея Руси (с 1408) — 437
- Фотий** (Петр Никитич Спасский) (1792—1838), церковный деятель, архимандрит, оказывал влияние на Александра I — 241
- Франц-Иосиф I** (1830—1916), австрийский император и венгерский король (с 1848) из династии Габсбургов — 353
- Франциск Ассизский** (1181/1182—1226), итальянский проповедник, автор мистических сочинений, основатель ордена францисканцев — 371, 415
- Франциск Селезий** (Франциск де Саль, Сальский) (1567—1622), католический церковный деятель, епископ Женевский (с 1602), религиозный писатель-мистик и проповедник — 371
- Франциска Фремиот** — см. Шанталь Ж.
- Фултон** Роберт (1765—1815), американский изобретатель — 475
- Функ** Франц Ксавер фон (1840—1907), немецкий католический теолог и историк христианства — 275—277
- Хелкия**, в Ветхом Завете первосвященник — 406
- Хеттура**, в Ветхом Завете вторая жена Авраама — 374
- Хитров** Михаил Иванович (ум. 1895), протоиерей, религиозный писатель и переводчик — 305
- Хомяков** Алексей Степанович (1804—1860), религиозный философ, писатель, публицист, общественный деятель — 29, 30, 33, 36, 66, 68, 84, 180, 185, 210, 234, 324, 350, 373, 419—424, 426—430, 436
- Хрисанф** (Владимир Николаевич Ретивцев) (1832—1883), архиепископ, религиозный писатель, историк — 109
- Цветков** Герасим, православный священник из Тамбовской губернии — 376
- Цезарь** Гай Юлий (102/100—44 до н. э.), римский диктатор, полководец, писатель — 75, 494
- Цирицибель**, сторонник старокатоличества в Германии — 66
- Цицерон** Марк Туллий (106—43 до н. э.), римский политический деятель, оратор, писатель — 34, 75, 210
- Чайковский** Петр Ильич (1840—1893), композитор — 390
- Чаннинг** Уильям Эллери (1780—1842), американский религиозный и общественный деятель — 262

- Чебышев** Петр Петрович, административный деятель, обер-прокурор Синода (1770—1774, с 1768 исполнял обязанности обер-прокурора Синода) — 148
- Чернышевский** Николай Гаврилович (1828—1889), писатель, публицист, литературный критик, философ, общественный деятель — 149
- Чехов** Антон Павлович (1860—1904), писатель — 141
- Шамай** (Шаммай) *Старший*, еврейский законоучитель (50—20 до н. э.), строго следовавший букве ветхозаветного учения — 143
- Шанталь** Жанна (Жанна Франсуаза Фремиот), баронесса де (1572—1641), после смерти мужа приняла монашество, увлекалась мистическими учениями, под руководством Франциска Сальского основала орден визитанток — 371
- Швидченко** Евфимий Созонтович, составитель хрестоматии о святочных праздниках — 388—394
- Шевченко** Тарас Григорьевич (1814—1861), украинский поэт и художник — 245
- Шевырев** Степан Петрович (1806—1864), публицист, критик, историк литературы, поэт, общественный деятель — 293
- Шейн** Павел Васильевич (1826—1900), фольклорист и этнограф — 389
- Шекспир** Уильям (1564—1616), английский драматург и поэт — 143, 317, 397, 457, 458
- Шеллинг** Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854), немецкий философ — 284
- Шиллер** Иоганн Фридрих (1759—1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства — 25, 82
- Шопенгауэр** Артур (1788—1860), немецкий философ — 19, 157, 161
- Шперк** Эдуард Федорович (1837—1894), врач — 365
- Штёкер** Адольф (1835—1909), немецкий пастор и политический деятель — 473, 475
- Штраус** Давид Фридрих (1808—1874), немецкий теолог и философ — 167, 182, 483, 484
- Шуман** Роберт (1810—1856), немецкий композитор — 25
- Эдисон** Томас Алва (1847—1931), американский изобретатель и предприниматель — 475
- Эмерсон** Ралф Уолдо (1803—1882), американский философ и писатель — 135
- Энгельгардт** Николай Александрович (1867—1942), писатель, публицист, критик, историк литературы — 149
- Энох** (Енох), в Ветхом Завете потомок Сифа, третьего сына Адама и Евы — 244, 250
- Эрос** (Эрот), в греческой мифологии бог любви — 213
- Эсхин** (ок. 390—314 до н. э.), древнегреческий оратор — 75, 76
- Юлиан Госпитальер** (ум. ок. 313), христианский мученик — 352
- Юпитер**, в римской мифологии верховный бог — 186
- Юстиниан I** (482/483—565), византийский император (с 527) — 16, 86, 113, 243
- Яворский** Стефан (1658—1722), украинский и русский церковный деятель и писатель — 33, 126, 433
- Янышев** Иоанн (Иван) Леонтьевич (1826—1910), церковный деятель, богослов, религиозный писатель — 100
- Ярославна** (Ефросинья Ярославна) (2-я пол. XII в.), жена князя Новгород-Северского Игоря Святославича, дочь князя Галицкого Ярослава Владимировича Осмомысла — 75

Составитель *В. М. Персонов*

СОДЕРЖАНИЕ

Том первый

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
РЕЛИГИЯ КАК СВЕТ И РАДОСТЬ	10
ФЕДОСЕЕВЦЫ В РИГЕ	22
ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ, ИНТЕРЕСНОЕ ВРЕМЯ И ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ	29
НА ЧЕРНОМ И ЖЕЛТОМ МАТЕРИКАХ	41
ЖЕЛТЫЙ ЧЕЛОВЕК В ПЕРЕДЕЛКЕ	48
НАШИ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ УСОПШИЕ	58
ИЗ-ЗА ЧЕГО СЫР-БОР ЗАГОРЕЛСЯ? (О старокатоличестве)	65
СЛОВО БОЖИЕ В НАШЕМ УЧЕЬИ	71
I. Закон Божий в училищах	—
II. Семинаристы-студенты	74
III. Слово Божие в нашем ученьи	75
Кто виноват. Письмо законоучителя свящ. <i>М. Лисицына</i>	78
Еще «о слове Божиим в школе». <i>Его же</i>	—
IV. Весеннее и осеннее древносаждение	82
V. Физическое и нравственное воспитание юношества	83
VI. Рождественские елки в сельской школе	84
VII. Смерть учительницы Еремеевой	87
Необходимое разъяснение члена Учебного Комитета при Св. Синоде <i>А. Ванчакова</i>	88
VIII. Нищета деревенской школы	91
О школах грамоты. Письмо <i>К. Гре-ва</i>	92
«Драгоценные черты» церковных школ грамоты. <i>Его же</i>	93
IX. Педагогические архаизмы	94
X. О деревенском ученьи	96
XI. Нечто о мыле, трахеме и «Заветах Минина и Пожарского»	97
МИССИОНЕРСТВО И МИССИОНЕРЫ	99
Миссионеры на Орловском съезде и речь г. Стаховича	—
Голоса из провинции о миссионерстве	107

Письмо о миссионерах <i>Веры Гриневиц</i>	115
О больных старообрядцах	120
О совести. По поводу суждений епископа Никанора	122
Совесьть — отношение к Богу — отношение к Церкви	124
ЛЮДИ И КНИГИ ОКОЛО СТЕНЫ ЦЕРКОВНОЙ	128
Об одном сомнении гр. Л. Н. Толстого	—
28 января 1881—1901 г. (о Ф. М. Достоевском)	130
На панихиде по Вл. С. Соловьеве (годовщина смерти)	132
Скептический ум (К. П. Победоносцев и его «Московский сборник»)	134
Из оклеветанной книги. Талмуд, легенды о благочестивом Гиллеле и о равви Акибе	141
Благовидов и его книга «Обер-прокуроры Св. Синода в XVIII и в первой половине XIX столетия»	146
Талантливость и бесталанность в духовенстве	148
Писатели-целители. Свящ. Г. Петров и его книга «К свету». Независимый и его книга «Как нам жить. Этика обыденной жизни»	153
НЕБЕСНОЕ И ЗЕМНОЕ	156
Недоуменные вопросы читателей и ответы редакции «Православно-Русского слова»	170
Желчные мысли в желтом журнале	171
Письмо председателя Совета «Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви» протоиерея <i>Ф. Орнатского</i>	175
Ответ о. Ф. Орнатскому	176
ДУХОВЕНСТВО, ХРАМ, МИРЯНЕ	180
Два письма: 1) об образовании духовенства, 2) о византизме в России	189
ИЗ ПОДРОБНОСТЕЙ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ	191
Где было хорошо на Новый год?	—
Священнический совет при Епископе	195
О поместных соборах в России	196
Открытое письмо к автору СПб. миссионера <i>Н. Булгакова</i>	200
О пенсиях духовенству	203
О неудобстве частых перемещений в Духовном Ведомстве	205
Из оценок русского народа. «Московские Ведом.» о русских идеалах, о правах русского народа, о принципах любви и закона	207
О милости к животным	212
ДВА СТАНА	214
Екатеринославская помещица и троицкий инок о нуждах русского народа.	—
РУССКО-КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ	224
Письмо из Андрианополя о русско-католических отношениях	225
Что мешает соединению церквей?	226
О примирении церквей. <i>Русского священника</i>	229

Том второй

ПРЕДИСЛОВИЕ	233
ОГНИ СВЯЩЕННЫЕ	235
Еще о «святых огоньках». <i>Еврей-сиониста</i>	239
Об «отпущении грехов» у христиан и евреев. <i>Г. Бернштейна</i>	240
Статистика преступности у христиан и евреев	—
АСКОЧЕНСКИЙ И АРХИМ. ФЕОД. БУХАРЕВ	241
Четыре письма <i>Анны С. Бухаревой</i>	253
Раздвоенность жизни. <i>Свящ. А. Устьинского</i>	258
ПАПСКАЯ «НЕПОГРЕШИМОСТЬ» КАК ОРУДИЕ РЕФОРМАЦИИ БЕЗ РЕВОЛЮЦИИ	263
СПОР ОБ АПОКРИФАХ	271
Апокрифический спор в «благословляемых к печатанию» церковных книгах. <i>Евг. Быханова</i>	—
Открытое письмо об «Апостольских постановлениях». <i>Проф. А. Бронзова</i>	273
Где же границы апокрифичности? <i>В. Розанова</i>	—
Еще об «Апостольских Постановлениях». <i>Проф. А. Бронзова</i>	275
Ответы не на тему. <i>В. Розанова</i>	276
Разъяснение недоразумений. Письмо В. В. Розанову. <i>Проф. А. Бронзова</i>	277
Кому же верить, Петербургу или Москве? <i>В. Розанова</i>	278
По поводу полемики об «Апостольских Постановлениях». <i>А. Папкова</i>	279
Печальное «resumé»	280
О книге проф. Н. Суворова «Учебник церковного права»	281
Светочи церковной жизни как руководители церковного суждения. Письмо <i>Вл. Еречнева</i> . С примечаниями <i>В. Розанова</i>	283
ОПТИНА ПУСТЫНЬ	285
Благой старец о посте и об облегчениях в нем	301
МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЬМОЮ	303
Народные чтения в Петербурге	—
В июльские дни. Как нарушилась «суббота» и что из этого вышло	308
Кто задерживает обновление церкви?	310
О духовенстве в отношении его к светскому обществу. <i>Софьи Д — ской</i>	312
Вера без Церкви или Церковь без веры? Исповедание духовного христианина. <i>Бориса В-ва</i> . С примечаниями <i>В. Розанова</i>	315
О сострадании к животным	318
Майский союз <i>А. Полотебновой</i>	320
К падению башни св. Марка в Венеции	322
Среди человеческих слез	325
Маленький Иов на гноище	327
Рассказ бабушки	328
Забывтое село	335

Духовенство в училищах	336
Письмо — <i>Скорбящего</i>	337
О преподавании законоучителей и о проповедничестве иереев. <i>А. Русина</i>	338
Духовенство на богослужении	339
Отношение епископа к священникам	341
Новый свет из «Маяка». Общество ревнителей VII заповеди	342
ЛЕВ XIII И КАТОЛИЧЕСТВО	345
ЦЕРКОВЬ «ПРЕЖДЕ ПОЧИВШИХ» И ЦЕРКОВЬ ЖИВЫХ.	357
О «СОБОРНОМ» НАЧАЛЕ В ЦЕРКВИ И О ПРИМИРЕНИИ ЦЕРКВЕЙ	366
Из католического мира	369
Мистицизм и хлыстовские течения в католичестве. Письмо из Кракова <i>Ж — ча</i> . С примечаниями <i>В. Розанова</i>	371
Какую «Церковь» основал Иисус Христос и точное значение слова «кафолический». Письмо <i>Лесовика</i> . С примечаниями <i>В. Розанова</i>	373
О культе Девы Марии и догмате «непорочного зачатия» ее. Письмо из Франции <i>Ф. Р — цева</i>	376
О взаимном отношении Католической и Православной Церквей. Письмо <i>проф. N.N.</i>	378
О НАРЯДНОСТИ И НАРЯДНЫХ ДНЯХ КАЛЕНДАРЯ	382
Исповедание священника. Почему мы не входим в мирские радости? <i>Свящ. Н. Дроздова</i> . С примечаниями <i>В. Розанова</i>	396
Любите ли вы человека?	401
ВЫНОС КУМИРОВ	406
А. С. ХОМЯКОВ И ВЛ. С. СОЛОВЬЕВ	419
Памяти А. С. Хомякова	—
О славянофилах и о г. Николае Соколове	429
Об одной особенной заслуге Вл. С. Соловьева	432
ВНУТРИ ОГРАДЫ ЦЕРКОВНОЙ	442
Прекрасный Иосиф и его братья	—
Воздыханцы	446
Слово о Страшном Суде и современных событиях. <i>Антония, епископа Вольнского</i>	449
Почему я не верю? Исповедание атеиста. <i>А. К — ра</i>	456
Религия как чудо и очевидность. Примечания к размышлениям неверующего. <i>В. Розанова</i>	468
В «РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ СОБРАНИЯХ» В С.-ПЕТЕРБУРГЕ 1902—1903 гг.	470
О священстве и «благодати» священства.— Об основном идеале Церкви.— О древних и новых жертвах	—
Об отлучении гр. Л. Толстого от Церкви	478
Об адогматизме христианства	479

Таблица вопросов религиозно-философских	489
О странности понятий «ветхого» и «нового» в Слове Божиим	—
О «предании» в Церкви и невольных «новизнах» в ней	490
Как была находима Церковью «истина»?	491
«Святые» и «духовенство» в Церкви	—
Дух — веяние — закон в Церкви	—
Недостаток реалистических начал в Евангелии	—
Из какой необходимости произошли «тайнства» в Церкви и «культ» ее	—
В чем скрыта метафизика христианства	492
О монашестве и св. мощах	493
Победа христианства над жизнью и над смертью	494
Церковь в ее минувших задачах	—
«Ветхие» тезисы и «новые» антитезисы	495
Сопоставление требований «Исхода», «Второзакония» и «Числ» с 3-м и 4-м «Апостольскими правилами» о принесении «пред Господа», в Храм, начатков плодов земледелия и всего «перворождающегося»	—
Иоанна Златоуста — «Слово о Синайском законодательстве и Завете Бога с Авраамом». С примечаниями <i>В. Розанова</i>	496
Иоанна Златоуста — «Слово о ветхозаветных праздниках». С примечаниями <i>В. Розанова</i>	499
Заключение	502
КОММЕНТАРИИ	505
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	532

**Василий
Васильевич
Розанов**

Собрание сочинений

Около церковных стен

Заведующий редакцией
В. Г. Голобоков

Редакторы
П. П. Апрышко и Ж. П. Крючкова

Художник
Ю. Н. Маркаров

Художественный редактор
О. Н. Зайцева

Технический редактор
Ю. А. Мухин

ИБ № 9837

ЛР № 010273 от 10.12.92.

Сдано в набор 05.12.94

Подписано в печать 04.04.95.

Формат 60x84¹/₁₆.

Бумага книжно-журнальная, офсетная.

Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 32,55. Уч.-изд. л. 41,19.

Тираж 20 000 экз. Заказ № 342. С 006.

Российский государственный
информационно-издательский
Центр «Республика»
Комитета Российской Федерации
по печати.

Издательство «Республика».
125811, ГСП, Москва, А-47,
Миусская пл., 7.

Полиграфическая фирма
«КРАСНЫЙ ПРОЛЭТАРИЙ».
103473, Москва,
Краснопролетарская, 16.

выпускает

**Собрание сочинений
В. В. Розанова**

В 1994—1995 гг.
вышли следующие тома:

Среди художников

Мимолетное

В темных религиозных лучах

О писательстве и писателях

Около церковных стен

В 1995 г.
выходят следующие тома:

**В мире неясного
и нерешенного**

**Легенда
о Великом инквизиторе
Ф. М. Достоевского**